



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ
СМОЛЕНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СОЮЗА РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

ПРОЗА СМОЛЯН

ГОСТИ НОМЕРА

НАШЕ ВРЕМЯ

ДЕБЮТ

КРАЕВЕДЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ПАССАЖ

НАШИ АВТОРЫ

ПОД ЧАСАМИ

№ 15 • КН. 2 • 2016

ББК 84Р7
УДК Р2
П 44

Составитель – Владимир Макаренков

Тексты печатаются в авторской редакции

П 44 **Под часами: альманах. Кн. 2** / Смоленское отделение Союза российских писателей. – Смоленск: Свиток, 2016. – 400 с.

ISBN 978-5-906598-37-0

ББК 84Р7

ISBN 978-5-906598-37-0 © Смоленское отделение Союза российских писателей, 2016
© Оформление. «Свиток», 2016
© А. Макаренков. Рисунки на обложке, 2016

**ПРОЗА
СМОЛЯН**

- 5 Олег ЕРМАКОВ.** Там, где дельфины! (дорожная повесть).
- 42 Курт ВОННЕГУТ.** Рассказы из сборника «Пока смертные спят» в переводе **Андрея КРИВОЛАПОВА:** Руфь. Обманщики.
- 58 Алексей ПРАНОВ.** Рассказы: Герой и камышница, «Однажды в студёную...», Охота вовсе не забава. Пища богов.
- 70 Александр МАКАРЕНКОВ.** Сердечная недостаточность (сентиментальный роман, продолжение).
- 104 Андрей АГАФОНОВ.** Хроники Николая. Девичья гора (рассказ).
- 115 Виталий СЕРГЕЕНКОВ.** Неоконченная пьеса для провинциальной интеллигенции (эссе). Рождественская встреча (рассказ).
- 120 Александр ЛИТВИНОВ.** О ранее неизвестной болезни лермонтовского героя Г.А. Печорина, княгини М.К. Тенишевой и поэта А.С. Пушкина.

ГОСТИ НОМЕРА

- 125 Левон ОСЕПЯН.** Телефонный звонок (рассказ).
- 130 Александр МОРОЗОВ.** Моя поездка на Донбасс.
- 135 Михаил КУЗИН.** Рассказы: Ваня и смерть, Праздник Победы.
- 142 Олег КУИМОВ.** Провинциальная история.
- 146 Владимир МОНАХОВ.** Эссе: Коллекция грусть-банк. – Записки копеечного коллекционера; Мой писчий дух за словом; Свет тьмы тьмущей.

НАШЕ ВРЕМЯ

- 155 Сергей ОВЧИННИКОВ.** В поисках утраченного (очерк).
- 161 Валерий СДОБНЯКОВ.** Испив из чаши горькой... (Из дневника писателя).



- 244 Елена КРЮКОВА.** Солдат и царь (складень, фрагменты романа).
- 294 Олег ВОРОПАЕВ.** Форт (рассказ).
- ДЕБЮТ** **302 Кирилл СЛОВОХОТОВ.** Рассказы: Живое слово, Весна, Настоящее Рождество, Карьерный рост, Почём? Пианино.
- КРАЕВЕДЕНИЕ** **317 Ирина БУДАЧЕНКОВА.** Твардовский и Глинкинский район. Твардовский и Приставкин – боль одна на двоих...
- 324 Александр МОРОЗОВ.** Объединённые литературой.
- 325 Зинаида ПАСТУХОВА.** Новые скульптурные памятники Смоленщины.
- ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ** **332 Борис БУРШТЫН.** Четыре года (воспоминания о литературной жизни Смоленска, 1921–1924 гг.).
- 371 Борис ЛУКИН.** Наполеон в романе Лермонтова, или О датах в «Княжне Мери» (роман «Герой нашего времени М.Ю. Лермонтова).
- 375 Иван ЛУКИН.** Два писателя и соловьи.
- ПАССАЖ** **383 Сергей ЖБАНКОВ.** Химчистка. Шампанское. Каша с комочками. Пробуждение. Виagra. Без шансов. Автоновости. Патриот. Розы. Две дробинки.
- 391 Геннадий ПАСТУХОВ.** Слава КПСС (из цикла «Записки голя».
- НАШИ АВТОРЫ** **394**



Олег ЕРМАКОВ

ТАМ, ГДЕ ДЕЛЬФИНЫ*

дорожная повесть

1.

Мечте этой лет сорок. Осуществление ее вроде бы простое: купить билет и доехать до самого северного города Смоленщины – Сычѣвки, а дальше пешком километров пятьдесят, повезет, может и попутка подобрать. И всё. А – не получалось как-то. Проще оказалось добраться до сердца заповедной земли в Подлеморье, как называют баргузинские берега Байкала, и до кордонов алтайской земли, или до скал на заполярной речке Застретенке в Коми, или до озера в Карелии возле Белого моря. Все странствия закончились возвращением в Смоленск, хотя на Байкале я предполагал провести всю жизнь. Не удалось. И не байкальская волна, а днепровская уносила эти годы куда-то к устью. А меня манили истоки.

Прописные истины: Днепр – наш Иордан, осевая река русской цивилизации, по ней шли варяги до Киева, на ней родилась Русь, и, возможно, даже название это – Русь – от одного из притоков Днепра, речки Роси; по Днепру восходила византийская вера и культура, – все эти истины только подогревали желание подняться к истоку, к началу сего великого пути-дела. Ведь начало любого большого дела интересно и знаменательно, а там, в истоке, это начало сотворяется как будто вновь и вновь, как в празднике, когда обновляется время и открывается его священная суть, по Мирче Элиаде. (Его тоненькую книжку «Священное и мирское» можно назвать походной)

Днепр берет начало в летописном Оковском лесу, великом лесу трех рек: Западной

Двины, Волги, Днепра. Лес Оковский на Валдайской возвышенности.

Ощущение далекой высоты пришло в первую же попытку туда подняться. Сделать это я решил на байдарке еще в начале девяностых прошлого века: идти вверх по течению, пока днище не начнет скрести песок. Днепр река спокойная, но, когда идешь против течения и перелопачиваешь его воду, кажется, что это горная река, по крайней мере, каждый вечер походного дня приносил это убеждение. Днепр мощно напирал на резиновые бока байдарки и норовил поворотить ее, словно призывал гребца не *противоречить*. И он переспорил меня: подняться я смог километров на сто двадцать или больше, до Соловьёвой переправы.

Вторая попытка была на велосипеде. Но я сразу допустил грубую ошибку – поехал проселочными дорогами по карте, выпущенной несколькими годами раньше, а сведения-то для нее собирались еще раньше, совсем в другой стране – СССР; и за это время многое изменилось: исчезла страна, обвалились мосты, опустели многие деревни и заросли дороги – да так, что их почти невозможно было найти, а, найдя, по ним можно было передвигаться разве что на танке. И я увяз в этих родимых хлябях. Иногда увязал в буквальном смысле – брел по пояс в воде, толкая тяжелый велосипед. После дождей реки разлились. И было жарко, душно. Но настоящей преградой и казнью стали полчища слепней. Я двигался в черном воющем облаке, и сам временами взывал. Хляби выплюнули меня снова на Соловьёвой переправе. Недельные блуждания лишили меня воли. Покусанный, с

* Из книги «Смоленский мост»



обгоревшим на солнце носом покати я обратно, да так резво, что за полдня проделал недельный путь, – всё дело в том, что возвращался по асфальтированной дороге.

И примерно на пятнадцать лет я оставил эту затею. Но время от времени взгляд падал на карту, где у северных ее пределов дрожала синяя жилка Днепра. Дрожала – это не метафора, на самом деле между деревнями Бочарово и Дудкино Днепр обозначен пунктиром. Там его начало, Исток. И Дудкино это тихонько выпевало песенку странствий. А еще выше деревня Лесные Дали. Дудкино да Лесные Дали...

Исток мешал как неисполненный обет.

Можно было, конечно, все-таки сесть в автобус. И я уже склонялся к этому, оправдываясь годами. Доехать до Сычёвки и пятьдесят километров топтать. Но будет ли это тем восхождением, о котором мечталось?

Смотрел документальный фильм о Тибете, о священной вершине тибетцев Кайласе, с которой стекают четыре великие реки Индии, Тибета и Непала, среди них Инд и Брахмапутра. На самом деле Инд начинается в семидесяти километрах от горы, Брахмапутра в ста десяти километрах. И все это лишь поэтические вольности. Но Кайлас все равно притягивает паломников, хотя и находится в труднодоступном месте, и почитается священной горой.

Мысли мои обратились к Оковскому лесу на русской горе – Валдае. То, что с нее стекают три великие реки, не миф, а факт. Валдайская возвышенность обширная. А я продолжаю гадать, как выглядит смоленский бок этой горы и начало Днепра, как будто для паломничества мне нужны документы, билет за тридевять земель и много денег. Сколько можно откладывать?

19 августа я выехал. Скрываются высотные дома окраины Смоленска, кружная дорога, мост через Днепр, полноводный, несущий воды с ленкой к Смоленску и дальше, в Белую Русь и в Киевскую – в историческом, а вовсе не политическом ракурсе. А я еду вверх.

До Вязьмы буду двигаться по Старой Смоленской дороге по вехам исторического времени, зримо обозначенным на протяжении всего пути верстовыми столбами. И это важно. Любое паломничество начинается с первого шага и похоже на медитацию или подготовку к принятию чего-то, к восприятию истины, которая и таится в конечном пункте. Старая Смоленская дорога настраивает на старое.

И мой путь вплоть до Дорогобужа будет примерно совпадать с направлением Днепра и пересекаться с ним.

Шоссе в ранний час было пустынным. Солнце еще не распалилось. Посвистывали птицы, мягко шелестели шины. И уже позади оставались всякие долгосрочные заглядывания, загадывания. В чем целительный смысл дороги? Прежде всего в этом. Это похоже на соизмеримые с человеком дома. Почему среди небоскребов человек чувствует себя подавленным? Он не может разглядеть цвет занавесок в окнах последних этажей. Лучше всего, когда тебя окружают двухэтажные или вообще одноэтажные дома. В дороге жизнь становится одноэтажной, простой и понятной: из пункта А доехать до пункта Б. Всё остальное уже от тебя не зависит: ремонт квартиры или поиски денежной работы, издание книги или починка зубов. Всё свершается только здесь и сейчас, здесь – в радиусе двух-трех метров и в течение получаса. Ну, хорошо, на расстоянии пятидесяти километров и до захода солнца. Эти пятьдесят километров и заход солнца только и важны. И небо над тобой. А оно было бестрепетно ясным.

Первая остановка у верстового столба возле Валутинского поля сражения в августе 1812, в котором любимцу Наполеона генералу Гюдону ядром оторвало ногу, и он умер, а генералу Павлу Тучкову была нанесена рана штыком во время вечерней атаки, и он попал в плен; всего с обеих сторон здесь погибли около тринадцати тысяч человек. После этого сражения Наполеон впервые заговорил о возможности достижения мира.



Вид поля боя, на которое он приехал утром, производил гнетущее впечатление. Но царь уже не желал слышать о мире, а фортуна, всегда благоволившая к Наполеону, влекла его дальше. Здесь, можно сказать, была пройдена точка невозвращения. То есть возвращение-то состоится несколько месяцев спустя, но это будет за гранью воображимого, Старая Смоленская – а тогда Московская – дорога станет одним из выпрямившихся кругов ада, когда европейские витязи будут поедать мясо своих товарищей и лошадей, драться за место у костров и все равно обмораживать конечности, сталкивать больных и немощных с повозок, прямо скакать по упавшим сподвижникам, проламывая им грудные клетки и дробя черепа. Какое боевое братство?! Братство под воздействием русских атак и русского мороза быстро превратится в стаю.

А пока еще август и впереди великие богатства монастырей и московских дворцов, русские девы, не успевшие покинуть имений, румяные девки в деревнях; созревшие хлеба и плоды неведомой диковинной России...

По старому стилю сражение у Валутина произошло 19 августа. А сегодня было как раз 19 августа, но по новому стилю. Да ведь праздник все равно был сегодня – Яблочный Спас, или Преображение Господне, когда Христос явился своим ученикам в сиянии на горе – этот свет называют фаворским. Свет этого события как будто упразднял различие в календарях, что соответствовало словам пророчества Иоанна: «...времени уже не будет».

Световая символика волнует любого фотографа. И старт именно в этот день давал мне повод надеяться на удачу.

И вот начались холмы Старой Смоленской дороги. Я уже знал эти стремительные спуски и затяжные подъемы. Дорога асфальтированная, но узкая, появившиеся машины проносятся близко, обдавая лицо жаром и гарью. Но меня этот запах не раздражал, а странным образом волновал, – как старого

индейца. Да, индейцы придумали ловушку для событий – пучок цветов или веточек, обладающих сильным запахом, и потом стоило только вдохнуть тот или иной аромат, и прошлое являлось будто по сказочному требованию: стань передо мной! Гарь солярки сопровождала меня два года на афганских дорогах. А запах паров бензина напоминал детские поездки на инвалидке дяди Вити Данилкина из Кардымова. Ездили мы с ним на рыбалку да за грибами.

Как раз впереди и лежал этот поселок – Кардымово, и я готовился внимать образам детства, как вдруг меня нагнал рослый велосипедист, кинул взгляд сквозь лонноновские очки, поздоровался и покатил дальше. Еще бы, к его багажнику были приторочены всего-то две тощие кожаные сумки, а за моей спиной громоздился как будто пухлый седок, лентяй, новый Обломов, турист, нанявший велорикшу – провинциального литератора, решившего подработать.

Но, проехав вперед до удобной обочины, длинный велосипедист вежливо затормозил, слез с велосипеда и обернулся. Я свернул к нему. И мы еще раз поздоровались. Вскоре сюда причалила и спутница незнакомца. Это были иностранцы. Длинный мужчина с седой бородкой немного говорил по-русски. Его спутница – нет. У обоих были встревоженные лица. Наверное, по России только с такими лицами и могут ездить иностранцы, меланхолично подумал я. Но мужчина объяснил, что эти спуски и подъемы вымотали их.

– Ну да, – откликнулся я, – но это еще ничего, главное – асфальт есть.

Не знаю, поняли они меня или нет. Кажется, да. Мужчина поинтересовался, откуда и куда еду я. Из Смоленска на Исток Днепра.

– Что такое Исток Днепра? Такой город? – спросил он.

– Исток реки. Днепр – река. А там ее исток.

– А! – понял он, кивая. – Ис-ток.

– Да.

И он тут же спросил:

– А на Чёрном море ты уже был?



– Нет, – честно признался я, но уточнять, что вообще за свои полвека с лишним не был ни на одном море, не стал. А узнав, сколько проехали они, понял, откуда такая легкость в вопросах расстояний: счетчик на руле у этого туриста лет шестидесяти показывал 1980 км. Еще триста километров добавить и получится вся длина Днепра.

Ехали они из Берлина в Москву. Ночевали в гостиницах. Мы еще немного потоптались на обочине – и разъехались. Они сразу обогнали меня, хотя дорога и шла в гору. А я уже жалел, что, как обычно, далеко спрятал фотоаппарат, чтобы не пылился, он любительский и не имеет защиты от влаги и пыли. И досадовал, что не додумался сразу поздравить их с Яблочным Спасом и угостить яблоками, прихваченными из холодильника перед самым выездом. Белый налив. Как раз два яблока.

Дорога привела в Кардымово. Мелькнули мысли о дяде Вите, потерявшем ногу при минометном обстреле под Кёнигсбергом. Да и вот как раз здесь мне и повстречались вероятные дети тех, кто наступал по этим холмам и долам, совершающие теперь как будто покаянный – или какой? – поход на Москву.

В Кардымове я не стал задерживаться, дяди Вити там давно уже нет.

Отъехав от поселка, притормозил перед очередным подъемом, готовясь идти пешком, оглянулся – увидел далеко позади как будто фигурки велосипедистов. Они приближались. У меня было время вытащить фотоаппарат. Да вскоре уже хорошо была видна донкихотская фигура мужчины. Женщина с косами обогнала спутника и, поняв, что их фотографируют, обернулась и с улыбкой что-то бросила своему спутнику. Они останавливались. Мы снова здоровались. Значит, они осматривали Кардымово, и так я их обогнал.

– У нас есть для тебя подарок! – отдышавшись, воскликнул мужчина.

Женщина с улыбкой доставала пакет. В пакете круглились яблоки. Я замешкался. Ну, не обмениваться же яблоками? Но поблизости в кармане рюкзака с фотоаппаратом у меня было лакомство для быстрого второго

завтрака: вафельные палочки с вареной сгущенкой. Их я и вручил Митти. Так звали спутницу нашего Дон Кихота. А его имя было Майк. Теперь уже мы познакомились. И я записал их адрес и пообещал фотографии. Расстались мы по-товарищески. Думаю, вряд ли этот дух товарищества присущ другим, так сказать, участникам процесса, то бишь перемещения по дорогам, слишком их много и слишком высоки их скорости. И воздействие этого дорожного товарищеского духа я испытал впервые – здесь, на Старой Смоленской дороге. На сердце было тепло.

2.

На сердце было тепло. И неожиданной встрече я порадовался еще не раз по простой причине: она подарила мне возможность взглянуть на всё глазами другого. Майк и Митти стали моими невидимыми спутниками на Старой Смоленской дороге.

Подъезжая в тот же день к Соловьёвой переправе, я и оценивал все как гость. И видел очередной дорожный столб-знак, на котором начертано... что-то русскими письменами. Столб-то тех еще, наполеоновских времен. На другой обочине храм в лесах, какой-то памятник... Как видно, павшим во Второй мировой. Если проехать немного по поселку, то увидишь магазин, еще дальше снова купола и вода из трубы – родник, spring, он же весна... Можно ли пить эту воду? На вид чистейшая... А вот и река. Dnieper. В Чёрном море ее устье. И где-то в глухих лесах-болотах начало, istok.

Соловьёва переправа – рубец русской памяти, рубеж, который омывали волны кровавой днепровской воды. По ней снабжались сражающиеся войска под Смоленском в 1941, по ней отступали. Оборонял переправу отряд полковника А. И. Лизюкова. Здесь погибли от 50 000 до 100000 человек. Последний раз кто-то из деревенских видел здесь живым и моего родственника Николая Зуева, лейтенанта связи, учившегося в Ленинграде в военном училище, было ему в ту пору двадцать лет. После этого от него



уже не было никаких вестей. Два военных письма Николая сохранились. Он извиняется, что плохо писал, но оправдывается обстоятельствами. Просит сохранить посланный матери в Касплю плащ с вышитыми внутри на кармане инициалами «ЗН». Матери он перевел деньги. Обещал забрать ее и сестру. Заканчивается письмо так: «Раздавим фашистскую гадину, тогда и встретимся».

За Соловьёвой переправой в еловом лесу я заночевал. Над макушками елей горели звезды, в августе густо звезд. Впервые взял с собой в поход подаренный дочкой плеер. Сразу попал на «Блажен муж, боящийся Господа» Дмитрия Бортнянского. Творения украинского композитора и дирижера 18–19 веков, создателя русского хорового концерта и управляющего Придворной певческой капеллой в Петербурге, я закачал с умыслом: хотел послушать прямо на Истоке. В том числе и его духовный гимн «Коль славен наш Господь в Сионе» на стихи Хераскова, который был некоторое время неофициальным гимном Российской империи.

Слушал и сквозь сетку видел звезды. Впечатление чистоты и силы было ошеломительным. И мне эта поездка внезапно представилась даже некоей миротворческой миссией. Чего только не взбредет в вечерний час. Ведь даже гений признавался: «И забываю мир – и в сладкой тишине / Я сладко усыплен моим воображеньем».

Солнечным утром выкатил велосипед из трав снова на асфальт Старой Смоленской дороги. По обе стороны золотились и зеленели сосны, темнели ели и серебром сверкали березы. И бодрый смолистый воздух царил над дорогой. Кроме того, она выпрямилась, холмы остались позади. Наверное, Майк и Митти здесь вздохнули свободнее. А добротные дома с подсолнухами и георгинами в садах точно должны были заставить их усомниться завываниям прессы о нищей, бедствующей России. И это были не какие-то деревни вблизи большого города, а обычные деревни в самой сердцевине страны. Почти возле каждого дома стоял автомобиль,

виднелась и другая техника. В конце концов, и вон такие крепкие скворечники на соснах показатель благосостояния.

В полдень на горизонте показались трубы и дымы Верхнеднепровского. Казалось – рядом. Но еще предстояло добраться до географического центра Смоленской области на речке Уже, где установлен знак, до города Дорогобужа, попетлять по его крутым дорогам, спуститься к Днепру в широкую пойму, оттуда катить велосипед в гору, долго, плаваясь под огнедышащим вечерним солнцем, и только в шесть часов остановиться на пустынной дороге напротив этих труб и самого большого в Европе и второго после Нью-Йорка глобуса и сфотографировать этот немного сюрреалистический промышленный пейзаж.

Здесь Дорогобужская ГРЭС – сейчас ТЭЦ – и завод азотных удобрений. А еще в Верхнеднепровском жил один странный человек – живописец-самоучка Иван Тарасов, «маленький трудящийся человек, начальник смены катализаторного цеха, пишущий на фанерках свои картины-сказки», как рассказывал о нем смоленский искусствовед Владимир Аникеев. И ради этого стоило бы свернуть и приблизиться к громадине глобуса, но в промышленном поселке никто так и не надумал создать новую достопримечательность: музей-квартиру самоучки. И зря. Ведь для многих именно такие точки на глобусе и важны. В Париже Анри Руссо, в Тбилиси – Нико Пиросмани, а в Верхнеднепровском – Иван Тарасов.

Завод и ТЭЦ шумели, дымили, а дали вокруг открывались захватывающие, былинные. Далеко над долиной Днепра темнели леса, в одном месте виднелся какой-то светлый дом, – а может, церковь?

Снова пересек Днепр и в деревне Полибино набрал воды. Пока набирал, разговаривал с местной бабушкой. Она спрашивала, куда я путь держу, качала головой, замечая, что это надо охоту большую иметь так ездить. На мой вопрос о жизни махнула рукой, крепче подвязала цветной платок и сказала:



– Ай, какая жизнь?! Не жизнь, а выживание. Совхозов нету...

– А почти в каждом дворе машина, – поделился я своими радужными впечатлениями.

– Ну так влезли мужики, теперь сидят в кредитах, крутятся, туды-сюды, а где работу найти?

– Там на заводе? – спросил я, кивая в сторону дымящей машины.

– Еще попробуй устройся.

Вообще, похоже, дым в сырую погоду все накрывает здесь. А постоянный шум давит. Не позавидуешь окрестным жителям.

На прощание бабушка пожелала мне вернуться живым. Я был не против. А до этого в сельском магазине продавщица и бойкая покупательница уверяли меня, что ездить одному по этим дорогам опасно: «Времена-то какие!» Ну а я подумал об иноземных паломниках, Майке и Митти, едущих себе по этим же дорогам без хорошего знания языка и вообще всех особенностей нашей жизни.

Останавливался на ночлег я обычно так. Сворачивал на проселок и метров пятьсот, иногда и километр ехал или шел по нему, в зависимости от его разбитости, дальше, еще раз сворачивал и уже двигался в травах, среди кустов, деревьев и кочек, пока не находил более или менее ровную полянку, надежно защищенную растительностью. Мало приятного очнуться ночью в палатке, в упор освещенной фарами, верно? Однажды на краю поля я спасался от комаров в спальнике и едва не был раздавлен колесами «Белоруса», в кабине которого болтались из стороны в сторону явно пьяные седоки. Да и огонь костра, конечно, лучше никому, кроме тебя, и не видеть. Тем более что был объявлен противопожарный период. Но каждое лето его объявляют. И что же делать? В лес я старался не входить. С собой была легкая и прочная лопатка и кострище всегда тщательно готовил, вырывал ямку, срезал верхний слой вокруг, а поутру, позавтракав, умывался и чистил зубы прямо над углями. Да и углей-то было мало, на топливо шел сухой кустарник. И эти стоянки вряд

ли найдешь, даже если пройдешь прямо по ним. Таковы мои правила. «Настоящий странник не оставляет следов», – говорили пилигримы Поднебесной.

В этот раз пришлось заночевать прямо за деревней на косогоре, в пятнадцати метрах от дороги. Двигаться дальше просто не было сил. В темноте уже поел хлеба с паштетом, съел пару подаренных яблок, горсть изюма, отвратительный плавленый сырок «Дружба», запил все водой, глядя на яркую полную луну, влез в палатку... но перед тем, как отключиться, все-таки успел послушать Струнный квартет Шостаковича и чью-то арию из оперы Бородина «Князь Игорь». В плеер я закачал только отечественную музыку. Ну, то есть русскую классику и украинскую. А белорусы? Днепр-то симфония трех народов, балда. Перед белорусами я всю дорогу чувствовал вину. Оправдывался тем, что мысль о Днепре-симфонии пришла мне лишь полнолуной ночью уже за Дорогобужем, вблизи пыхтящего завода... Это пыхтение ведь тоже вплетается в симфонию... И уже я ничего не слышал.

3.

Утром следующего дня лесная Старая Смоленская дорога привела к указателю «Свято-Троицкий Герасимо-Болдинский мужской монастырь». Еще пять минут езды сквозь сосновый духovitый лес – и передо мной открылся вид на пятикупольный белый храм за белыми стенами. Слышать о монастыре я слышал, видел и какие-то изображения, но – поистине лучше один раз увидеть это, как есть, самому, без посредников. Зрелище было все-таки неожиданным. Мощный золотокупольный собор среди лесов звучал медленной густой второй частью, как это принято в симфонии. На переднем плане открявшейся картины виднелись улья. Солнце сияло на куполах. Примерно таким и видели с начала семнадцатого века – а строить его начали в 1590 году – монастырь те, кто ехал по каким-то надобностям Московским трактом и решал взглянуть на лесной храм. На-



деюсь, Майк и Митти поступили подобным же образом.

Вскоре я оставил велосипед с рюкзаком перед входом в монастырь и прошел внутрь. Из каменной сторожки тут же появился монах. По моим дальнейшим наблюдениям, этот монах не выходил больше ни к кому. А ко мне вышел. Вид я имел странный – странный. Остальные-то приезжие выглядели вполне современно и прилично – ведь прибывали они на автомобилях. У меня за плечами был небольшой рюкзак с фотоаппаратом. Брезентовое кепи уже успело выгореть на солнце, камуфляжные брюки запыхались и вздулись на коленях. Забиты белой пылью были и старые кроссовки. Ну а лицо над бородой покраснело от солнца. Но кто знает на самом деле, почему он вышел. Я-то на повороте к монастырю сразу приветствовал его истинного хозяина – основателя святого Герасима.

Сюда в дорогобужские леса он пришел в 1528 году. До этого житие Герасима было таковым: в тринадцать лет он стал послушником у духовника Василия Третьего Даниила в монастыре в Переславле-Залесском и потом был пострижен. Трудился сапожником для «божедомных людей». Потом судьба привела его в лесную пустыню дорогобужскую, здесь он и поселился. Местным это не нравилось, они на него напали и били. А он жил и как будто чего-то ждал. Житие рассказывает, что с ним подружился ворон, который оповещал его о приближении людей, а однажды охотник по имени Кучка видел, как ворон пикировал на медведя, пытавшегося разорить короб Герасима с едой. Эта подробность про эпизод с охотником весьма жизненна. Вообще вороны любопытные и смелые птицы, о чем и рассказывают орнитологи.

И вот как-то услышал Герасим в своей пустыне ночью стройный звон колоколов, утром пошел к источнику звона – а нашел источник воды, над ним великий дуб. После этого с посохом да котомкой отправился в столицу за разрешением строить обитель и получил его от великого князя Василия Тре-

тьего. Так и возник этот монастырь. А Герасим основал еще три. Был он большим любителем пешего хода, как и еще один странник убогий – украинец его тезка Григорий Скворода (по рождению Герасиму дали имя Григорий), клавший под голову котомку с Библией и свирелью. Вот отправился Герасим в гости в свой Переслав-Залесский с тремя иноками, так те ехали в санях, а он шел пешком. Любил лес, тишину и одинокие хождения. И, умирая, завещал привечать странников.

Так вот этот монах из сторожки меня и приветил, за что ему спасибо. Потому, что успел я уже заметить плакат с запрещением всякой съемки на территории монастыря. Подумал, что только снаружи и придется фотографировать... а жаль! Краем глаза уже захватил белые стены, цветы, яблоки, ели, кельи... И вслух произнес

– Фотографировать нельзя.

А монах из сторожки вдруг ответил:

– Можно. Фотографируйте. Только не в храме.

Позже я читал записки разных посетителей монастыря, сетовавших на запрет и снимавших только снаружи.

А я с жадностью приник к видеоискателю: кельи, яблоки, купола, цветы, колодец, о котором говорят, что он был забыт, но приснился одной девушке, и она с мужем поехала в монастырь и указала это место; теперь чистейшая ледяная вода из глубин утоляет жажду.

Два часа исчезли во мгновение ока – объектива. Карман рюкзака был набит яблоками, падалицами. Яблоки болдинские душистые. Ну, попробовали их Майк с Митти? Надеюсь, что сюда они свернули и тоже увидели это праздничное пространство белых стен, цветов. Знаменитый архитектор и археолог из дорогобужских крестьян Пётр Барановский, восстанавливавший храм, предполагал, что в его возведении участвовал Фёдор Конь, тоже дорогобужский мастер.

...Вспомнилось, что мой старший брат Игорь, будучи студентом исторического факультета смоленского пединститута, в строй-



отряде работал здесь. И говорил мне, что монастырь произвел на него огромное впечатление.

С яблоками и монастырской водой в бутылках я от белых стен, тоже полный впечатлений, и, уже жалея, что не пробыл здесь дольше, не дождался вечернего света, а потом и самого лучшего и нежного света зари. Но ехать мне еще далеко было – теперь уже в сторону от Днепра, к Семлёву и Вязьме. Дудкино где-то высоко на склоне Валдая пело.

А что-то болдинское уже было все-таки со мной, согревающее и ясное.

И, например, когда в лесах дорога, с которой внезапно сошла асфальтовая шкура, внезапно раздвоилась, я знал, что это болдинское чувство, воспоминание не даст мне заблудиться, был уверен в этом и свернул влево. Думаю, Майк и Митти здесь понастоящему растерялись. Куда же ехать? Обе дороги выглядят одинаково – наезженные, песчаные. Но ведь одна из них Старая Смоленская и ведет к Вязьме и Москве. Должен быть здесь указатель?

Да, не завидую им, думал я, бодро крутя педали и радуясь сосновому аромату и солнечной погоде. Представляю, каково тут в дожди.

А может, и они поймали это путеводное болдинское чувство? И выбрали правильную дорогу?

...Но дорога как-то сузилась и начала загибать все левее – к северу, тогда как должна идти на восток – в сторону Москвы. Остановился. Достал карту. Посмотрел на солнце. Оно было примерно на юге. А дорога точно уходила на север. И болдинское путеводное чувство оставило меня. Обуреваемый сомнениями, повернул назад и покатил обратно. Приехал на развилку. Снова достал карту. Подождал, не появится ли кто. Но было тихо. Только канюк где-то гнусавил над лесом.

И поехал я теперь направо. Ехал-ехал, а сомнения снова одолевают: туда ли? Жарко. Остановился, выпил все еще холодной болдинской воды, утер усы и дальше покатил.

И тут увидел автомобиль, пыливший навстречу. Махнул рукой. Автомобиль и так уже притормаживал.

– Да я бы и так остановился, даже если бы не попросили, – сказал пожилой мужчина в очках и с усами.

Вел он «жигули», рядом на сиденье лежал портфельчик.

– Не по той дороге поехал? – уже догадался я.

Он кивнул с мягкой улыбкой.

– Те, кто поумнее, обычно там, на развилке, ждут какую-нибудь оказию, – сказал он.

Я уныло вздохнул.

– Не расстраивайтесь, – поспешил он успокоить меня. – Мне приходилось даже автобусы с туристами разворачивать.

Да, подивился я на эти автобусы – сколько дураков враз можно встретить.

Разговорились. Этот человек, как я и догадался по портфельчику-то, был на службе, и служит он главой сельского поселения Васино. Бывший директор школы. Ему часто приходится встречать и здесь и на Старой Смоленской путешественников. Со всей России едут в монастырь, идет о нем слух. Из Сибири едут. С Урала. Две дочки одного специалиста, работавшего у льва пустыни Каддафи, после вспыхнувшей пороховой аравийской весны, здесь нашли приют, оказались большими мастерицами: одна вышивала, другая рисовала.

– А куда же ведет эта дорога?

– В мою родную деревню Никитинку. Ну, как говорят, в бывшую деревню. А для меня-то она настоящая, живая... И дальше, в деревни, где еще есть два-три старика. А там уже Угра, калужские леса.

И я подумал, что эти угранские леса и созерцал с дорогобужских холмов.

Пожелали друг другу счастливого пути и разъехались.

Еду назад, а навстречу бежит рослый лохматый пес, за ним пылит длинная цепь. Ну, этот-то вряд ли заплутал, видно, был кому-то продан, вырвал кольцо да пустился в родные пенаты. Для него они тоже всегда живые,



если даже хозяева, старики, и померли. За всеми деревенскими как будто такая цепь волочится. А кто здесь не деревенский? Вся Русь на самом деле деревенская, гремит цепью... Грубо звучит? Русскую жизнь вообще ласковой не назовешь. Не это ли и притягивает сюда путешественников из Европы и Америки. Интересно, откуда все-таки родом Майк и Митти? Не успел спросить. Да и вот с этим интеллигентным главой из Васина не познакомился. Но успел понять – хороший человек.

4.

Так вот и надо было подчиниться первому ясному чувству, думал я, возвращаясь на старый след в песке перед развилкой, до конца. У мусульманских делателей, у суфиев, есть такой период в духовном становлении, который они называют упованием. Полное упование на волю вышнюю, так называемая стоянка, где не надо вообще ни о чем заботиться: все, что должно прийти – придет само собой. То же самое, впрочем, и у христиан, с той лишь разницей, что христиане не обозначают так отчетливо эту стадию. Например, Герасим отправляется в дорогобужские леса без денег, без вещей, – это ли не полное упование?

У меня на багажнике достаточно вещей, в кошельке есть деньги, то есть ничего на самом деле страшного не произошло бы, даже если заехал бы в какие-то дебри. Надо было просто решиться, пойти дальше за болдинским путеводным чувством. Проявить хотя бы такое туристское упование, несравнимое с большим упованием подвижников. А я растерялся, смалодушничал. Хотя когда-то собирался полностью довериться воле случая и отправиться в поход вообще без денег и вещей.

Оставалось утешаться только тем, что в результате удалось поговорить с хорошим человеком.

Да и кто знает, какие встречи остаются втуне на дорогах, мимо которых мы проезжаем.

Старая Смоленская дорога между Васиним и Семлёвом поистине старая, пыльная, песчаная, посыпанная хвоей и рано облетающей от жары листвой. А в лесной тени даже и в такую жару после малоснежной зимы стояли лужи. Можно представить, что здесь за дорога пасмурным летом или осенью, весной. Тут-то и надо снимать кино про наступление французов. Живописный дух этой дороги мне нравился, шла она в соснах, иногда выкатываясь на заросшие поля, мимо редких валунов. Но в практическом смысле эта дорога была наказанием: колеса буксовали в песке. То и дело приходилось слезать и катить велосипед с усилием по зыбунам. А солнце бушевало. Температура была под тридцать градусов. Дыхание перехватывало от жары. Погода времен наполеоновского нашествия была такой же. И представлялась возможность уже не глазами велосипедистов, едущих из Берлина, взглянуть окрест, а глазами французских солдат...

Да, где-то Москва с прохладными парками и винными погребками... И она будет взята.

Ага, только расплатиться придется сполна, мсье.

Может, как раз этому мсье и не довелось добраться до московских погребов, свернул за хлебом, птицей, молоком в ближайшую деревню и был пробит вилами, еще не обсохшими после навоза. Так и лежал в луже крови и рое мух, и в лицо ему заглядывал любопытный ребенок.

А в те времена леса были еще темнее и гуще, есть где спрятаться и откуда внезапно обрушить партизанскую дубину на «головы беспечных парижан». Хотя они вовсе не беспечные были, опытные солдаты, талантливые офицеры, отлично экипированные и вооруженные. Но крестьяне – смоленские, дорогобужские, вяземские и другие – нападали на них со своими косами, цепями и топорами. Из донесения генерала Бараге-Дильера, военного губернатора Смоленщины, обосновавшегося в Вязьме: «Число и отвага вооруженных поселян в глубине области, по видимому, умножается. 3/15 сентября кре-



стьяне деревни Клушино, что возле Гжатска, перехватили транспорт с понтонами, следовавший под командою капитана Мишеля. Поселяне повсюду отбиваются от войск наших и режут отряды, кои по необходимости посылаемые бывают для отыскания пищи. Неистовства сии, чаще происходящие между Дорогобужем и Можайском, достойны, по моему мнению, внимания Вашей светлости». Выделил место в цитате я специально, чтобы дать знать: как раз об этом участке дороги и речь. Цитату взял из «Дневника партизана» Дениса Давыдова, он летал здесь и дальше, возле Гжатска, а потом и под Смоленском, со своими всадниками. Однажды как раз на этой дороге, чуть подалее – под Семлёвом – партизаны Давыдова просто надели флюгера на пики и издали неприятель принял их за польскую кавалерию. И они смогли приблизиться к обозу с новой одеждой, обувью для первого Вестфальского гусарского полка и после короткой схватки захватить его. Пленных, как обычно, отправили в Юхнов. Но перед отправкой к Давыдову зашел поручик Тилинг, храбро дравшийся и раненный, хотя большинство его команды разбежались по лесу. Казаки забрали у него часы и деньги, но тут он был согласен с обычаем войны, а вот о кольце любимой женщины просил. Давыдов: «В то время я пылал страстью к *неверной*, которую полагал *верною*. Чувства узника моего отозвались в душе моей!» И поручику вернули не только кольцо, но и прядь волос, портрет любимой женщины, еще и письма. До 14 года этот Тилинг проживал в Орле и всем рассказывал о поступке Давыдова, «как рассказывают о великодушии некоторых атаманов разбойников», – замечает Давыдов, гусар с поэтическим даром и отличным чувством юмора.

Пленным, попавшим к деревенским мужикам, приходилось много хуже. Поэт и переводчик Каролина Павлова, родившаяся за пять лет до Отечественной войны 1812 года, передает рассказ одного деревенского деда: «Вот, бывало, и наткнемся мы, парни, на одного, возьмем и приведем в деревню;

так бабы-то его и купят у нас за пятак: сами хотят убить. Ну, бабье ли это дело? Одна пырнет ножом, другая колотит кочергой, опять же другая тычет веретеном; инда жалко станет глядя; подойдешь дахватишь его порядком топором по голове. А они-то ну ругаться, за чем, мол, не дал им самим убить до смерти».

Жестоко. Но француз этот или немец, а может, испанец или поляк заставил крестьян похерить богатый урожай той поры и вверг их в голод и лишения. Ну-ка подожгите свой дом да и укройтесь в лесах с детьми, кушайте грибы с ягодами, живите в шалаше, хороните близких и любимых.

Но и мучить пленных нельзя. Много их полегло по обочинам этой дороги. Много и наших.

На дорогах этой войны Денис Давыдов столкнулся с офицером Фигнером, тоже командиром партизанского отряда, о котором шел слух, будто он алчен до крови. И Давыдов убедился в этом сам. Узнав, что у Давыдова заперты недавно схваченные французские военные жандармы, Фигнер тут же вспыхнул и потребовал их на расправу: мол, есть у него еще *не направленные* казаки. Денис Давыдов внутренне содрогнулся от несоответствия этих слов и красивого лица вопрошающего со взглядом добрым и приятным. Мгновенное отвращение, – но Давыдов тактично не называет это мелькнувшее чувство. А мы его испытываем. Давыдов за это время отдал приказ расстрелять двоих, оба русские: один с дворней убил помещика и грабил с французскими мародерами храм, другой служил солдатом у французов. То есть оба предатели. Фигнер расстреливал пленных толпами, и об этом все знали. И офицеры, бывшие у него поначалу сподвижниками, потихоньку оставляли его.

Фигнеру Давыдов не дал пленных и сказал, что понимает смертоубийство в бою, в горячке мщения, но презирает убийцу по расчетам или по своей природе.

В записках далее Давыдов простодушно восклицает: «Я не могу постичь причину алчности его к смертоубийству!»



Вот это простодушие воина дорогого стоит. У нас в полку в афганском Газни был свой Фигнер. Но были и простодушные солдаты. Сохранить это простодушие в атмосфере жестокости не так-то легко. Денис Давыдов истинно русский воин, не восхищаться им невозможно.

На следующий день я достиг места очередного крупного боя казаков Платова с французами, а название этого места чудесное и волнующее: Беломир. На столбе указатель: сколько тысяч верст до Парижа, Варшавы, сколько до Москвы. Крест, а над ним облако – белое... Беломир! Перечение слышно любому русскому уху – Беломир, не Беломор, про который Ключев писал: «То Беломорский смерть-канал». Хотя и здесь легли русские люди, сто пятьдесят человек, да примерно столько же пропавших без вести и еще двести раненных. Но Беломир многое обещает.

5.

Вязьма и поворот со Старой Смоленской дороги на Сычёвку. Пришлось минут двадцать ехать по трассе Москва–Минск в грохоте и чаде, ощущая себя мелкой рыбешкой среди огнедышащих исполинов-китов и молниеносных акул. Тяжкие фуры, проезжая мимо, создавали завихрения воздуха и горячо били этими волнами мне в лицо. Не представляю, как можно изо дня в день двигаться на велосипеде по такой трассе. А мои знакомцы Майк и Митти до Москвы теперь и будут крутить педали рядом с бензовозами и фурами с прицепами. Такой же была у них дорога и из Берлина до Смоленска. Я на такой героизм точно не способен.

Но по узкой плохой дороге на Сычёвку тоже с пыhtением пёрли фуры с лесом, песком, зерном и пролетали с визгом различные автомобили. Иногда железные бока машин проходили совсем рядом, и я всей кожей ощущал целеустремленность и жар металла, разогретых шин.

В этом было что-то и увлекательное, ну, в духе дадаистов и сюрреалистов, прославляв-

ших скорость, технику, даже наш Северянин вспоминался с его «шоффэрами»:

«Шелестел молниеносно под колесами фарватер,

И пьянел вином восторга поощряемый шоффэр...»

Хотя мир техники чадающей я и не люблю. Оттого и перемещаюсь на велосипеде или пешком, иногда на байдарке.

Поздно вечером проезжал мимо большой деревни, дымившей розово в закатном свете трубами печными и дразнившей путника вкусными запахами готовившего ужина... В такие моменты остро переживаешь свою бездомность, выброшенность. И тем сильнее упование. Да, не суфий и не монах, ты уповаешь, как и они, на дороге, багровой от уходящего солнца. На дороге, уходящей в пространство надвигающейся ночи, в сторону северную, к прозрачной луне.

Позади деревня со своими дымами, справа озеро, дальше возле дороги на косогоре кладбище. Из сумерек уже идут машины с включенными фарами. Надо подыскивать место для ночлега, ставить палатку, готовить ужин, а чувствуешь, что вымотался и вообще едва жив после долгой дороги к Семлёву, отсюда к Вязьме, дальше по трассе М 1, после жаркого дня. Обгоревшие руки и плечи болят, мышцы ног ноют... Стоит ли путешествовать так? Смотри, как легко и просто проносятся мимо мужчины и женщины в автомобилях с кондиционерами, музыкой. Им обеспечен хороший ужин и комфортный ночлег. А ты бредешь, как пес, мимо селений, лоя любопытные, настороженные, пренебрежительные взгляды. Все-таки фигура странника архаична, будь он из Берлина, или Нью-Йорка, или Смоленска, Москвы. Странник всегда бросает вызов современному миру. И мир это понимает. И отвечает недоверием. Словно вопрошает. Ты против прогресса, скорости, науки? Комфорта, душа, газовой горелки, кондиционера, электричества? Против коллектива, в конце концов? Против всей нашей великой цивилизации? И стран-



ник, как бы ни юлил, вынужден честно признаться: да.

Впрочем, велосипед ведь тоже изобретение инженерной мысли, и это техника. А хитроумный японский фотоаппарат? Или тот же плеер. А по вечерам в новодугинских хлебных полях на ремень я напяливал увесистый газовый баллон «Анти-зверь»: крестьянствующий мужик по имени Женя, набирая для меня воду из своего колодца, предупредил, что в округе ходит медведица с медвежатами, и вокруг яблони, стоящей памятником исчезнувшей деревне, было натоптано явно зверем, а палатку я поставил аккуратно возле медвежьей лепехи.

У этого Жени отличный дом у дороги, возведенный своими руками. Он переехал сюда из Белоруссии после Чернобыля спасать младшего сына. Ему посоветовали новодугинскую чистую глубинку. Сынка он таскал на рыбалку, за грибами... Да чернобыльский яд оказался сильнее отеческой любви. В самом ли деле? Как такое случается? Случается. Рассказывая мне о сыне, Женя, дюжий загорелый мужик в клетчатой рубашке, запнулся, примолк на мгновенье. Мы взглянули в глаза друг другу.

Нет, думал я потом, отъезжая от дома и колодца посреди хлебных полей, любовь отеческая все равно сильнее – вот она светится страданием в карих глазах крестьянина Жени. И я, случайный свидетель, литератор, в меру своих сил утверждаю ее словом здесь, на этих страницах.

Вижу хлебную даль и в уме сразу материнскую песнь напевать начинаю: «Меж высоких хлебов затерялся / Небогатое наше село...» Трагический смысл песни я в детстве пропускал мимо ушей, а вот сказочная подробность – село в хлебах, как в лесах – меня захватывала и волновала. И тут в новодугинской земле удалось наяву пережить некрасовскую метафору, ну, не в полной мере, конечно. С асфальтированной дороги я далеко углубился по хорошим полевым дорогам в спелые хлебные поля, отыскал островок яблонь с пышным букетом желтых

«золотых шаров» и поставил там палатку. Рано утром на восходе в туманце ходил с фотоаппаратом и треногой. Всюду клонились колосья. Кричали журавли. А потом и увидел их, летящих в лучах солнца над хлебами. И внезапно вспомнил, как прослезился Путин, узнавший, что вновь стал президентом этой страны, – эпизод, вызвавший много едких шуток. Я и сам шутил по этому поводу. А в это новодугинское утро подумал, что только идол деревянный не расчувствовался бы: моя страна, необозримая и таинственная.

Но и без всяких выборов и сомнительных технологий она была и моей. И палатка стояла посреди хлебов как некрасовская деревня.

Правда, через некоторое время вспомнил, что здесь частная территория. Только позавтракал, вблизи появился «уазик» в камуфляжной раскраске. Медленно ехал шофер, озираясь. А я стоял за деревом, костерок только что погас, так что он ничего не заметил. Указатели, что здесь частные территории и проезд запрещен, я часто встречал. Но думал, что я и не попадаю под запрет: все-таки велосипед хоть и техника, а не машина, верно? Да, конечно, лучше об этом и не дискутировать с охранниками в полях. Вообще в эти поля я заехал в попытке достичь одного видения, нет, не призрачного, а вполне реального: увидел с трассы далеко в полях белый монастырь не монастырь... не знаю, но явно церковь. Объехал село Торбеево, из которого когда-то шел французский обоз с награбленными белыми холстами, хлебом, овсом, и фуры эти Денисову напомнили корабли: тут же казаки бросились наперерез и захватили эту сухопутную флотилию. Сейчас в Торбееве привлекает внимание живописная руина – церковь 18 века, поросшая травой. За Торбеевом был поворот в поля в сторону белого видения, но надпись о том, что это частная территория и проезд запрещен, все-таки остановила меня. Но так не должно быть, размышлял я. Неужели путь к храму закрыт? Где-то должен быть объезд. И когда увидел асфальтированную дорогу без всяких



предупредительных знаков ведущую в нужном направлении, свернул на нее. По этой дороге, как уверил меня крестьянин Женя позже, можно до самого Гагарина доехать. А мне надо было приблизиться к той церкви. И я колесил по дорогам и снова наткнулся на предупредительную надпись. Рядом уже проходила железная дорога на Ржев. Тут же стояли два деревенских дома. На лай собаки вышла девочка. Спросил у нее, как мне добраться до церкви.

– Часовни? – переспросила она и махнула на полевую дорогу. – А по ней.

– Но там запрет?

– Езжайте, езжайте! – крикнула она.

Я и поехал. Ну, наверное, запрет не для всех. Не для пешеходов и велосипедистов. Ехать по холму с ветерком было весело. Вскоре и к белому зданию подкатил, внизу увидел озеро. «Монастырь» оказался гостевым двухэтажным домом в белом пластике и с пластмассовой черепицей, возле него такая же часовня. Декоративные фонари. То, что называется «новоделом». Мой интерес мгновенно угас. Стоило столько колесить здесь, чтобы узреть этот пластик! Вокруг ни души. Что-то подобное приходилось видеть под Парижем, в каштановых и дубовых лесах: замок, выкупленный какими-то японцами. Там я тоже был нарушителем, пролез под проволочную изгородь за боровиками – они прямо рядом росли. Просто я не знал еще, что это замковая территория. Но увидел сам замок и бегущих по зеленой поляне рослых доберманов и быстренько ретировался.

Здесь был примерно такой же достаток и порядок. На озере кричали журавли. Никто меня не окликал, и я повернул и благополучно вернулся на «ничейную» дорогу. Женя потом мне сказал, что эти поля принадлежат московской транспортной компании. Москвичи, по его словам, не лютуют, лично ему не мешают. А часовня у них – он усмехнулся – грехи замаливать.

Выезжая утром после некрасовской ночевки из этих полей и видя вблизи дороги что-то клюющих журавлей, я думал, что такой

способ замаливания грехов и есть наш вариант глобального налога на богатство, лекарства для капиталистического мира, предложенного недавно в своем труде «Капитал» французским левым экономистом Пикетти. Россия занимает лидирующее место в мире по уровню экономического неравенства. И здесь, на благословенных землях Новодугина, мне довелось узреть материализовавшийся вариант Пикетти. Здесь я увидел процветающую Россию. Ясно, что москвичи приезжают сюда отдыхать, охотиться, но при этом работу они дают местным. И земля только хорошеет, сельское хозяйство развивается.

6.

В Сычёвке, точнее уже в деревне сразу за ее окраиной, мой прислоненный к столбу велосипед окружила стайка ребят. И пока я набирал воду для ужина, они теребили звонки, переключатель скоростей, лезли в подсумок с деньгами и ключами. Пришлось на них прикрикнуть.

– А вы путешественник? – спросил один, темноволосый, смуглый от солнца и высокий.

– Ну да.

– Откуда?

– Из Смоленска.

– Давайте я велосипед подержу.

– Не надо, он тяжелый.

– По-моему, вы просто вещи возите, – заметил другой мальчишка, маленький, шустрый, сивый и с каким-то туповатым взглядом.

Я ответил, что надо же где-то ночевать, чем-то укрываться, и посоветовал ему собрать как-нибудь все, что нужно для жизни на сутки. Но замечание его меня укололо. Иногда велосипед у меня заваливался, и поднимать его приходилось с натугой. Пару раз он вообще вставал на дыбы, полностью опрокидывался на попа, задирая вверх переднее колесо. Ну взбесившийся мустанг.

Разговаривая со мной, ребята прыгали, тузили друг друга, бегали, пели, смеялись, орали и свистели.



– А вы работаете или отдыхаете? – спросил тот же сивый мальчишка.

– Отдыхаю.

Он не поверил, мотнул головой:

– Не-а! Отдыхают там, где дельфины.

Я взглянул на него внимательнее. Он снова придурковато улыбился.

– Ну, кто как, – неопределенно ответил я и попохотался, покатил велосипед на обочину, сел.

– А когда вы снова к нам приедете? – крикнул тот мальчишка.

– Не знаю, – ответил я и покатил дальше, к Истоку.

Нетерпение мое росло. Сорокалетняя мечта готова была осуществиться. Реплику сычевского мальчишки насчет вещей я потом не раз вспоминал, стаскивая рюкзак с багажника и принимаясь вынимать мешки или отдуваясь после подъема на холм. Ну, а его замечание о дельфинах вообще было поэзией и перекликалось с древнеримским обозначением неизвестных мест на карте, белых пятен – «Там, где львы».

И к одному из этих мест я приближался. Дорога была полуасфальтированная. Асфальт то исчезал, то появлялся. Бурно пылили грузовики, и я порою ехал в афганском облаке: там такая пыль обычна, ну, даже поплотнее. Название деревни Муковесово скрипело белой пылью на зубах. Дальше шли Ключики, упоминаемые смоленским писателем Евгением Максимовым. Он родом из этих мест и всячески их прославлял. Я смотрел на сирую деревню Ключики за пыльными кустами и буераками, на другие совсем не нарядные, как на Старой Смоленской дороге, деревни, серые, почерневшие, полуразрушенные и дивился силе писательской любви. Впрочем, возможно, во времена Максимова, в советские времена, тут было все по-другому? Ну, вряд ли намного лучше. В этих местах, в деревне Бехтеево, учительствовал мой старший брат Игорь. Жил он там, как в ссылке. Рассказывал, что тоскливее земли не видел. Серая и бедная земля

И ровная, плоская. Никакого намека на возвышенность. Потому и дороги здесь преимущественно прямые, без резких поворотов, спусков и подъемов. Вокруг Сычёвки леса выведены, и если смотреть на город с западной стороны, то можно подумать, что попал в монгольские степи.

Мимо то и дело проносились грузовики с песком и гравием. Как потом выяснилось, дорожники срочно ремонтировали дорогу: 29 августа ждали приезда всяких гостей и Патриарха Кирилла на освящение монастыря на Истоке. Я уже досадовал, что выбрался именно в эти дни. Да информация об этом визите Патриарха была гадательной: может и не явится. Ну вот и глотал теперь сычевскую пыль.

Проехал мимо Бехтеева. Дорога углубилась в леса. Справа показалось мрачное болото с деревьями-скелетами.

Наконец – Бочарово. На обочине стоял старик в камуфляжной жилетке и такой же широкополой шляпе. Остановился, спросил у него, сколько до Истока. Он ответил, что километров шесть и посмеялся:

– Хе-хе, а что исток, исток? Ну, ямка с водою. Исток.

– Это для вас, местных, – возразил я, – ничего особенного. Это же начало Днепра.

Он кивнул как бы нехотя. Познакомились. Звали его Валентин, он сказал: «Валя», – подавая руку. Валентин здесь родился, уходил отсюда в армию и, вернувшись, до старости работал шофером. От предложения сфотографироваться отмахнулся. На дорогу он вышел за хлебом, должна вот-вот приехать автолавка. Ну и стоял, смотрел на разные машины, и такие и сякие... В этот момент мимо проехали лимузины в сопровождении двух полицейских машин, в которых сидели полицейские в белых рубашках.

Валентин усмехнулся, подмигнул:

– А-а, видал? Шебуршатся. Говорят, Путин прилетит.

– Путин?

Он кивнул, приподнял шляпу, почесал голову.



– Останься там на эти дни и увидишь, – посоветовал он.

Но я собирался уже на следующий день начать отступление. Переночую где-нибудь возле монастыря и покачу обратно. Сегодня было только 25 августа. Суета на дороге меня раздражала. Я даже начинал опасаться, что могу вообще не попасть на Исток. Да запросто! У нас все возможно. Перекроют подступы полицейские и солдатские посты, и всё. Дело государственной важности.

Разве такой я воображал кульминацию этой дорожной – не симфонии, конечно, – песенки? Кстати, плеер как-то быстро разрядился, и я перестал его слушать, сберегая последний кубик энергии на Бортнянского. На Истоке его духовные гимны и прозвучат, полагал я. А может, кубика хватит еще и на других, на Сильвестрова, на Скрябина и Шостаковича. Это будет мой вклад в подспудную работу замирения России и Украины. Кто знает, возможно, эта работа должна идти на всех уровнях, вот и на таком, лично-символическом тоже.

...И внезапно, все-таки внезапно и просто, дорога вынесла меня прямо к монастырю. Затормозив, я озирался. За бревенчатыми стенами виднелись шатровые крыши с крестами. Налево зеленел сосновый борок, направо рыжела землей и песком очищенная от деревьев и кустов обширная площадка, на которой возились люди и техника.

Где Исток? Днепр? Таков был вопрос всего моего существа. Ведь, похоже, я доехал? Сорок лет и семь дней добирался – и вот... Вот я на куполе славянской земли. Ощущение выпуклости и высоты этой местности было отчетливым. Помешкав, завел велосипед за ворота, прислонил к стене.

Здесь всё было деревянное, сосновое. Крепкие избы-кельи, трапезная, странно-приимный дом, звонница, храм. Дерево звонницы и храма уже потемнело, началось строительство на Истоке, по одним сведениям, в 2008 году, по другим – в 2010. Несколько лет совершавшие сюда паломничество люди видели только звонницу и храм.

А сейчас желтели вокруг свежие бревна стен. Через монастырь вели дорожки к часовням над купелями. К самой купели проложены деревянные мостки с резными перилами. С этих мостков меланхолично сметал облетевшую желтую листву берез мужчина средних лет в рубашке, брюках, с бородой.

– Там Исток? – спросил я.

Он посмотрел мне в лицо и ответил, что там, продолжая сметать листву.

На Истоке толпились какие-то люди в костюмах и священническом облачении. Мужчина объяснил, что это москвичи из патриархии и местный батюшка согласовывают церемонию. Не утерпев, я сказал ему, что много лет ждал этого момента, но сейчас на Исток не пойду, подожду, пока там никого не будет. Заодно спросил у него, где мне взять питьевой воды?

– В трапезной, – ответил он. – Давайте я вам и принесу.

Я снова пошел осматривать монастырь. Молодой полицейский в белой рубашке отвечал какому-то начальнику по телефону, говорил, что он совершенно согласен, да, надо будет поставить куда-то дополнительный пост, но замечал, что у него полно забот: в Карманове труп – сбитый мотоциклист. Тут я вспомнил железные огнедышащие бока фур и невольно поехал... Жаль неведомого этого парня на мотоцикле.

Наконец делегация тоже вернулась на монастырский двор, и я устремился по мосткам к Истоку.

Да, к Истоку.

И вот он. В часовне я заглядывал в купель, там отражалось смутное и как будто далекое окно. В этом было что-то сновидческое.

...Но и чувства и мысли мои были неясны. И я понял, что сейчас не время для медитаций на Истоке. Монах в мирской одежде, а это был монах, присланный сюда на житие и на мой вопрос, по своей ли воле, отвечавший, что у него нет своей воли, принес мою канистру. Поблагодарив его и умыв лицо на Истоке, я вывел велосипед за монастырь и отправился по увиденной раньше лесной до-



роге. Отойдя от монастыря примерно на километр, свернул прямо в лес, сбивая с усов и бороды, с шеи, рук крылатых клещей. Обычно такие и водятся в ельниках.

Воду в монастыре берут из пробитой скважины здесь же, поэтому можно считать ее водой Истока. Так что ужин у меня был на особенной воде, чай и каша с топленым маслом, жена купила пачку сливочного и в кастрюле перетопила его. Думаете, что-нибудь есть вкуснее днепровской пшеничной каши с таким маслом?

Послал жене в Смоленск смс: «На Истоке». Она ответила: «Ура!»

И лежал в палатке, прислушивался к лесным вечерним звукам, с недоверием думал: неужто и вправду на Истоке?

Пора было слушать Бортнянского песнопения. А ничего не вышло. Дудки, как говорится. Последний кубик сохраненной энергии растворился, исчез без следа. И лежал я в тишине, пытаюсь сообразить, что же это значит? На Истоке надпись на деревянной доске на двух языках: «Остановись, путник. Ты находишься у истока великой реки Днепр. Береги ее». И на украинском: «Зупинись, подорожній...» А музыка молчала. Выдохлась. И белорусской надписи здесь почему-то не было. Беларуской – надо поправиться в соответствии с новыми правилами.

Да, было тихо над ночной купелью рождающейся реки. Молчали макушки елей, звезды и полная луна. Миссия моя проваливалась. Техника подвела. Вот недаром странник все же движется в обратном направлении, в архаику, подальше от всех достижений науки и техники. Не так все прочно, как кажется. И надо было выучить песнопение-то. Слово и напев мысленный прочнее.

Хотя вон надпись еще есть, жива, ее читают... Как жива память и о нашем общем Истоке – Древнерусском государстве Киевская Русь. Жива или не жива?

«Зупинись, подорожній. Ти знаходише білу витоку великої ріки Дніпро. Збережи її».

Збережи її, сохрани...

А выгодно ли бередь?

7.

Встал я до восхода, двумя пригоршнями воды умылся, повесил на одно плечо сумку с фотоаппаратом, на другое штатив, на ремешок баллон против зверя и потопал по дороге к монастырю. Даже в такую сушь там стояли изумрудные лужи. Ближе к монастырю на дороге появился темный длинноухий силуэт зверя – зайца. Заяц сидел, прядал ушами. И только потянулся я к фотографической сумке – или к баллону?! – пустился наутек.

На Истоке хотел застать туманец, все последние утра туманились. Днем ярое солнце, ночью довольно прохладно, один раз утром на палатке была даже изморось. Но продолговатое зеркало воды перед часовенкой было без тумана. Приблизившись к часовне, почувствовал запах соснового сруба. Там всюду этот чудесный здоровый солнечный дух сосновый.

Достал и зажег свечу, привезенную дочкой Настей из Иерусалима, чтобы запечатлеть свет метафоры Днепр – наш Иордан над смоленской сычевской водой.

Никого вокруг не было. Свежо и хорошо.

Если река – метафора времени, то купель в ее истоке есть некая остановка времени, ну или его замедление при возникновении. И тут появляется возможность словно бы коснуться первоначальной чистоты времени. И делать это надо как раз ранним утром. Начало реки, начало дня.

Обновление времени Мирча Элиаде видел в праздниках. Праздник приближает нас к мигу творения, это сияющий разрыв в буднях. Религиозный человек, говорит Элиаде, испытывает всегда тоску о жизни в чистом и святом космосе, каким он был изначально, когда только вышел из рук Создателя. И в храме и в празднике он как раз и получает возможность испытать чувство приобщения к этому священному космосу.

Священное время не течет, не составляет протяженности, не изменяется и равно себе, утверждает Элиаде.



И, следовательно, добавим мы, это – купель. И вот она здесь, среди сычевских чащоб Оковского леса.

Утро на Истоке и есть праздник.

И словно бы в подтверждение этого простого умозаключения над лесными макушками и монастырем полетели страстные и глубоко печальные, но и ликующие клики журавлей. Журавли всегда приветствуют явление солнца.

И точно, буквально в следующий миг облака озарились, а потом окрасились нежным утренним светом и верхушки сосен, стволы. Сердце фотографа дрогнуло. Дивный свет обрамлял запертые изнутри врата, ведущие на Исток, как будто солнце прямо на монастырском дворе и всходило.

И любой, даже не религиозный человек, не ищущий, по Элиаде, всегда Центр Мира, исток абсолютной реальности, не беспокоящийся о жизни в профанном пространстве, короче, самый мирской и обыкновенный человек ощутил бы торжество этих минут...

Тут как раз врата открылись, и на мостки вышел высокий дюжий мужик, немного похожий на осетина. По-русски он и говорил с акцентом. Он шел и осматривал мостки, заглянул в часовню, оглядел купель. Иерусалимскую горевшую свечку не заметил. Поздоровался со мной неохотно, хмуро. Я спросил, нельзя ли пройти в монастырь фотографировать? Он покачал головой и ответил:

– Нет. Еще не открыто.

– Когда откроется?

– В восемь.

– Не будет такого света, – заметил я.

Он кивнул и сказал, что понимает меня.

– Но вы-то открыли и вышли? – спросил я.

Он как-то стерто взглянул на меня и ответил:

– В восемь часов, с главного хода.

И пошел по мосткам в монастырь. Что ж, здесь не было еще своего Герасима Болдинского, завещавшего привечать странников, решил я и удовольствовался фотографированием сосен, мостков, часовни. Да солнце уже и в облака ушло. А свечка иерусалим-

ская все еще горела, отражалась в днепровской воде.

Вся наша ранняя история – здесь, ею можно наполнить сложенные ковшем ладони. Варяги, идущие по Днепру вниз, к Киеву, варяжские потомки Игорь, Олег, уходящие на ладьях еще дальше – к вратам пышного Царьграда, наречение Киева матерью городов русских, свержение идолов князем Владимиром, гибель первых канонизированных святых Бориса и Глеба... Да и письменное слово, то есть дело монахов Кирилла и Мефодия, по Днепру взошло – из того же Царьграда, сиречь Константинополя. И на Днепре, в Гнёздове под Смоленском самую раннюю надпись на русском языке, процарапанную на корчаге – «гороушна» (что значит: горчичное семя) – и нашли. Были еще и другие события на Днепре, воды его не раз пенились кровью и служили столбовой дорогой русской цивилизации. И начало ее – здесь, в болотце у бывшей деревни Рождество.

8.

Искать колодец в травах выше роста человеческого на месте этой деревни меня послал иеромонах Евфимий. С ним я познакомился тем же днем. На Истоке решил задержаться еще на сутки, чтобы застать восход солнца, не заслоняемый облаками, как в это утро.

Евфимий, невысокий, синеглазый, смуглый, длиннородый и длинноволосый монах сорока лет, быстрый и говорливый, исполнял обязанности настоятеля. Взойдя на высокое крыльцо и попав в храм, я увидел его там, начал расспрашивать о монастыре, о предстоящем событии освящения, спросил, можно ли фотографировать. Евфимий позволил. О монастыре он сказал, что все, кроме храма и звонницы с часовой над купелью, возвели буквально на глазах – в три месяца. Сейчас здесь служит он, иеродиакон Стефан и матушка Татьяна, присланная из Троицкого смоленского монастыря кашеварить. Потом всех, кроме Стефана, заменят постоянными насельниками.



– И вас?

– Скорее всего.

Как и прежних туристов – я это видел, – отец Евфимий, разговаривая, вывел меня на двор, по дорожке довел до врат, то есть провожал, как добрый хозяин. Здесь мы остановились. Но я не думал так рано уходить, мне еще надо было набрать воды в пластмассовую пятилитровую канистру, дожидаться вечернего света, чтобы фотографировать. Поняв, что я так просто не уйду и что я турист не на автомобиле, Евфимий повел меня снова на двор. Мы быстро перешли на «ты».

Путина здесь не будет, узнал я, прилетит Патриарх Кирилл. Сейчас все готовились с удесyтеренной силой к этому событию. За стенами грохотала техника. Что-то делали рабочие. Я переговорил с ними. По-русски они изъяснялись с акцентом, были все чернявые от природы да еще и от беспощадного нынешнего солнца. Бригада украинцев. А тот «осетин» тоже украинец. Увидев меня снова, он спросил, получились ли кадры. Я ответил, что приехал на велосипеде, а компьютер не взял, побоялся на багажнике растряссти. Так что не знаю еще, какие кадры.

– Придете завтра утром? – спросил он. – Примерно в то же время? Я открою.

Снова я убеждался, что настойчивость рано или поздно принесет свои плоды.

С о. Евфимием мы прошли по мосткам к купели.

– Вот прилетит святейший, – сказал он, – глянет, а тут какие-то коренья плавают, ржа.

В купели действительно плавали корешки, желтая листва и рыжие сгустки.

О. Евфимий вручил мне сачок на длинной алюминиевой рукояти.

– На, потрудись для монастыря, а я сейчас приведу братию, будем вычерпывать муть. Цепочкой встанем с ведрами.

И я принялся черпать Днепр Изначальный этим решетом. А березы при порыве ветра сыпали да сыпали свои монетки. На календаре 26, до прилета Патриарха еще три дня, – что толку вычерпывать листву? Тут мне вспом-

нились какие-то армейские анекдоты, и я рассмеялся. Пришел о. Евфимий с каким-то неизвестным широкоскулым батюшкой примерно его лет, только рыжеватым, с небольшой бородкой, нес он пластмассовую бадейку из-под какого-то средства для покраски или замазки. Я поделился своими впечатлениями. О. Евфимий согласился:

– Красили и привязывали листву перед генералом?

– Что-то в этом роде. Только не мы, у нас была степь и верблюжья колючка.

– Ладно, за дело! – скомандовал о. Евфимий.

И мы втроем выстроились в цепочку, но быстро отказались от этого занятия. Во-первых, ржавые сгустки всё всплывали и всплывали из глубины. Во-вторых, от бадейки пошли радужные разводы. Оказывается, в ней хранили керосин. Так мы запачкали Исток.

– Я все хорошенько промыл «Ферри», – оправдывался тот рыжеватый.

– Много в воде железа здесь, – рассуждал о. Евфимий. – Спустить бы всё, прочистить, посыпать песком. Но они шлюз не придумали. Ну, все как обычно у нас! А эту воду придется братии пить. Фильтры ставить? Дорого. Что делать? Потроха проржавеют!

И тут-то ему и пришла мысль поискать старый колодец в бурьянах бывшей деревни Рождество. Любопытно, что название деревни ни ему, ни другим в монастыре было, кажется, неизвестно. Впервые его произнес местный охотовед.

Отец Евфимий уже знал обо мне, что я работал лесником на Байкале, и потому поручил поиск колодца мне – как следующее задание для монастыря.

– Ты следопыт, – сказал он, – вот и пойдешь посмотри. Мы его прочистим. И будет вода у братии. Да смотри сам не провались. После приходи на трапезу.

Я и пошел, горя желанием колодезь отыскать и славу байкальских лесников утвердить. На месте деревни бурел бурьян. Торчали столбы без проводов. Угадывались



одичавшие сады. В рощице стояли кресты и обелиски.

Жарко было. Продираться сквозь травы, спотыкаясь о кочки, рытвины, обломки бревен, отмахиваясь от тех же крылатых клещей, было не радостно. Запал мой быстро улетучился. Но все же я не хотел отступить, лавры открывателя колодезя с чистой водой мне так и мерещились. Даже у преподобного Герасима попросил подмоги. С самого Болдина мысли о нем сопровождали меня.

В глотке пересохло. По лбу катились градины пота, рубашка взмокла, горели локти от крапивы... Но все равно продолжил бы поиски, как вдруг меня осенили две идеи. Первая – так вода в колодце будет такой же, как из скважины. Вторая – если и упорствовать в поиске колодца, то делать это надо осенью, когда полягут заросли.

Задание о. Евфимия я так и не выполнил и потому, набрав у рабочего, поливавшего в монастыре саженцы из шланга, воды, постарался незамеченным исчезнуть. Не заслужил-то трапезы.

Трапеза у меня часом позже была своя: молочная овсянка, чай с изюмом и конфетами и сушками. Хлеб закончился. Ничего, завтра сфотографирую восход прямо в монастыре, отправлюсь в обратный путь и в тот же день достигну хлебных мест.

9.

А ночью пошел дождь. Проснулся и услышал шелест, а потом и характерные барабаниющие по тенту палатки удары. Лежал и думал. Неужели о. Евфимий в самом деле не хочет здесь быть наместником? А он об этом говорил. Не хочет быть хозяином этого сакрального места русского мира?

Грех уныния о. Евфимию как будто и неведом. Ходит и напеваает. Есть в нем какая-то светлая легкость и открытость. Производит впечатление человека, однажды решившего свои проблемы. То есть сделавшего свой выбор?

Но и я, как говорится, недостойный, тоже сделал свой выбор. А что толку? Меня муча-

ют сомнения, иногда градус этих борений вырывается за красные отметки. Этой просветленности нет во мне и подавно. К пятидесяти пяти годам я думал обрести уверенность и кое-какое спокойствие. Ничуть не бывало. Ну и какое спокойствие может быть, если эта книга, для которой я и напишу последний очерк о поездке к Истоку, уже третий год пылится в издательстве? Или так и должно быть, судьба тормозила выход книги до появления последнего очерка? Ох-хо, судьба тормозит и выпуск книги о местности Твардовского, хотя книга переполнена очерками и фотографиями и полностью завершена. Ну и так далее.

...А я продолжаю искать колодезь.

Утром в сыром пасмурном лесу на кофе прибежала белка, прискакала по земле. Глянула черными глазенками и метнулась прочь.

В монастырь не пошел, нет солнца. Отоспался. Что же делать, уезжать? А жаль. Нет, не поеду сегодня. Пойду в Дудкино. Сколько смотрел на карту, изучал линии дорог, речек и точки населенных пунктов, среди которых Дудкино – главный. Из-под Дудкина начинается Днепр. Хотя на самом деле от деревни Рождество, но ее уже не было на картах.

Вымыл котелки, взял рюкзачок с фотоаппаратом, на плечо повесил треногу, застегнул вход палатки и пошел, стараясь на дорогу выходить, не примяв травы. Палатка моя поблизости от лесной дороги, а попробуй найди.

Под мелким дождиком шагал, озираясь. Да, здесь чувствовалось дыхание огромных лесных массивов, чистых легких Оковского леса. По дорогам можно до истока Западной Двины дошагать. И – до Волги. Какие-то похожие чувства испытывал посреди таежных пространств. Но таежные пространства почти начисто лишены исторического измерения. Иди вдоль рек, взбирайся на хребты и хорошо, если набредешь на останки стойбища, полуразрушенное зимовье. Вынырнуть из пространства истории тоже полезно и поучительно. Но исторические меты дают



больше пищи уму и воображению. Как волновались французы Наполеона, узрев в пещерах пирамиды!..

... Слева от дороги в травах серела монолитная глыба. Дот. Башня смерти, едва возвышающаяся над землей и вперившая косые узкие глазницы в немые дождливые поля и стену леса за ними. Вход чернеет. Согнулся и влез внутрь. Полукруглое маленькое помещение. Три щели: бей врага и умри там. Звукопроводимость бетонной конструкции, пронизанной железной арматурой, очень высокая. При попадании снаряда контузия неизбежна. И повреждение внутренних органов, как пишут в справочниках. А если снаряд попадал близко, то мог и просто скovyрнуть дот, как хирургический инструмент – зуб. Дот вылетал из земли, заваливался и становился гробницей для расчета. Может, этот дот был достаточно тяжел и глубоко укоренен в земле.

А вот сейчас просядет земля, обрушится вход... Немного поспешнее, чем надо, выбрался наружу, вдохнул лесной сырой воздух.

Обошел дот, осматривая ржавые ребра арматуры, оббитые скулы. Дот напоминал рыцарский шлем. Низко плыли тучи, мокли березы, желтела тускло пижма, посвистывали снегири.

В этих местах шли кровавые бои сначала при наступлении немцев, а в сорок втором году, начиная с января, при наступлении наших: Ржевско-Вяземская операция и две Ржевско-Сычѳвские операции. Ржев артиллерия смела почти начисто, наша артиллерия... А что было делать? Погорела и Сычѳвка. Немцы выжигали округ, угоняли народ, при малейшем намеке на связь с партизанами расстреливали и вешали. Партизанскую сагу дорогобужских и ярцевских лесов написал смоленский прозаик Сальковский, «Смоленская дорога» называется. Огненная книга. Сведения для нее сельский учитель Сальковский собирал вместе с учениками в походах по лесному Вадинскому краю, то есть поблизости от Истока.

Здесь воевали солдаты 119 Красноярской стрелковой дивизии. Девятого октября немцы захватили Дудкино. А в ночь с десятого на одиннадцатое октября наши выбили их из деревни. В этом бою погиб комбат 634 стрелкового полка дивизии Иванов.

Потери наших войск в этих трех операциях были огромны и, по некоторым данным, перевалили за миллион человек. Из них безвозвратные потери, то есть число убитых и умерших от ран, попавших в плен и пропавших без вести, составили 362664. Потери немцев были меньше. Ржевские сражения сравнивают со Сталинградской битвой. Длелись они в общей сложности 14 месяцев. И сквозь все эти факты и цифры до нас долетает тихий голос бойца: «Я убит подо Ржевом, / В безымянном болоте...» Первым этот голос услышал Твардовский.

Сычѳвская земля набита железом... Тут же мелькает догадка: так вот почему вода такая... Хотя и ясно, что не поэтому.

Мой старший брат Игорь работал директором школы в Бехтееве неподалеку отсюда, и его ученики подорвались, разбирая снаряд, двое погибли, один стал инвалидом. Игорь уволился и уехал.

То есть – и через десятки лет эта война способна находить жертвы.

Оказалось, что дот стоит напротив деревни Дудкино.

Дудкино!

Я смотрел с дороги на первый дом с выбитыми окнами. Пошел по заросшим колеем. Остальные дома тоже пустые. Колодец под яблоней. Не знаю, думал я, растерянно озираясь, мне представлялось все другим. Воображал, что Дудкино где-то на холме... Что-то в духе псковских и вообще древнерусских картин Рериха. А настоящее Дудкино зажато лесом. Печальные покосившиеся избы вытянулись вдоль заросшей улицы. Нет простора, никакой летописной сказочности. Вдруг за последним разрушенным домом увидел крепкий и явно обитаемый дом, за ним и второй, и еще яркий вагончик, мачту. Вспомнил, что читал о живущем то ли в Дуд-



кине то ли в Лесных Далях обходчике газопровода. Так вот – здесь он живет. И кто-то еще. Подумал: заходить или нет? Ну, если бы сам здесь жил, хотел бы, чтобы случайные прохожие докучали мне, лезли с вопросами и фотоаппаратом?

Повернул и пошел назад. И еще несколько километров шагал по прямой дороге среди сычевских ольховых, березовых джунглей и болот, слушал тоскливые крики черного дятла и чувствовал, как дорога увлекает все дальше, затягивает. Может, по ней бы и катил байдарку на двухколесной тележке, чтобы с Днепра перевалить на речку Обшу, по Обше на Межу, а по той речке уже в Западную Двину – и до Велижа. Был такой план, как теперь вижу, вполне маниловский.

10.

Вечером, как обычно, взял канистру и топтал в монастырь за водой. Тучи свалили. Светило солнце. «В монастырь за водой». Звучит как начало какого-нибудь хокку в духе Басе, много странствовавшего и часто ночевавшего в монастырях, как и другие дальневосточные пииты – Ли Бо, Ду Фу. Вот сразу вспомнил из Ли Бо: «Ночью в покинутом храме, / К мерцающим звездам / Могу прикоснуться рукой...» Хотя тут речь и не о монастыре.

Мысли мои обратились к монастырю, его обитателям. Каково им тут жить в глуши? И в чем состоит их дело? Молиться, поститься, есть хлеб... Да нужны ли вообще монастыри? Не прячутся ли здесь неудачники?

Мысли замелькали еще мельче. О деньгах и собственных неудачах, пошли обиды на мир, претензии... И в сердцах я воскликнул про себя: «Да сколько можно!» И решил настроиться на высокий лад. И только начал читать «Отче наш», как из-под кустов обочины в чащобу ринулся черный кабан. Бежал, злобно чухая. Бросок зверя был столь неожиданным, что я так и не вспомнил, вслух или про себя произносил первые слова молитвы. Стоял и глядел вослед черному раздраженному зверю, кабану, дикой свинье... Свиныи

из евангельских притч не могли не прийти в голову.

Совпадение? Да, конечно. Но Карл Юнг к таким совпадениям предлагал относиться со всей серьезностью, полагая, что природа их запредельна и связана с явлением архетипов.

Мгновение было метафорически ярким. И с черным кабаном, яростно убегающим от молитвы, что-то явно совпадало во мне, в моей душе.

Неужели однажды всё скверное и злое может вот так же ринуться из твоего сердца прочь?

А может, уже и ринулось... Только теперь надо удержать это чувство освобождения. То есть – потрудиться. Ведь захватить какую-то высоту – полдела, а попробуй отстоять ее.

Ну, по крайней мере, происшествие настроило меня на посещение монастыря.

В храме шла служба, пение доносилось из открытой двери. Прежде чем подняться туда, я решил сразу набрать воды у поливальщика саженцев, чтобы потом уже не беспокоиться. Поливальщик был уже не украинец, а явный таджик. Он взял мою канистру. В это время из храма поспешно вышла смуглая кареглазая женщина в платке и устремилась ко мне. За нею бежала девочка.

– Вы не Валера?

– Нет, – ответил я.

– Мы ищем Валеру, звонила его жена.

– А кто он и что случилось?

– Москвич, турист. Два месяца как отправился сюда с байдаркой, из Дудкина его повезли на тракторе.

– Куда?

– На речку Обшу. Оттуда он собирался выплыть...

– На Мережу? И потом на Западную Двину?

Она быстро взглянула на меня.

– Да. Но вы путешествуете?.. Сказали, что у него такая же борода. Пропал, и никаких вестей.

Вместе мы взойшли во храм и стояли службу. Еще здесь был муж или какой-то род-



ственник женщины и девочки. Службу свершали отец Евфимий, отец Стефан и матушка Татьяна, женщина со строгим и каким-то холодным лицом. Впервые мне пришлось быть на службе в деревянном храме. Стены сохлились сосновым ароматом, а еще и отец Стефан кадил. В церковном облачении я его видел впервые, и он показался мне старше и серьезнее. Как, впрочем, и отец Евфимий.

Свет солнца входил в открытую дверь, горели свечи. Служители, видно, еще не приладились друг к другу и порой запинались. Отец Евфимий руководил. Было во всем этом что-то бесконечно теплое и домашнее. Наверное, тут снова срабатывали токи архетипические, дерево – материал древний, изначальный. Раньше только такие храмы и вставляли в глухих лесах Верхнего Днепра, Верхней Волги и Западной Двины.

И сейчас служба шла посреди лесов на вершине славянского мира, во все стороны разнося благую весть вместе с реками, как о том сказано в летописи: «Днепр бо потече из Оковскаго леса, и потечет на полдне, а Двина ис того же леса потечет, а идет на полунощье и внидет в море Варяжское. Ис того же леса потече Волга на восток...»

Такая служба уже, наверное, никогда не повторится.

После службы фотографировал луну над монастырем. Рабочие счищали песок с плитки, ждали, когда подъедет автобус. Они базируются в Новодугине. Таджики. Украинцы уже уехали. Работают с декабря. Платой довольны. Кормят хорошо. Все новое, кроме храма, звонницы и часовни, возводили. Это их рук дело. Здесь никто не возмущается засильем гостей из бывших советских республик. Московские и питерские и прочих градов российских националисты всех мастей, ура-патриоты и не подумали ринуться в эту глушь на своих мотоциклах и автомобилях, чтобы перехватить у таджиков и украинцев ломы и лопаты, топоры, молотки, стамески, а по сути – завладеть пальмой первенства в таком-то нешуточном деле –

строительстве православного монастыря на истоке великой реки.

Таджики совсем плохо говорили по-русски, лишь один с золотыми зубами все точно понимал и переводил остальным. Но работали с тщанием.

Пожелали друг другу удач и разошлись.

В свою палатку я шагал при свете луны.

11.

На следующий день погода была ясная. Очнулся в половине шестого, глянул наружу: ясно. Вскочил, торопливо собрался. Заспался немного. Журавли кричали. Вот-вот взойдет солнце, а мне еще надо дойти до монастыря.

На этот раз ворота открыл седой синеглазый худощавый мужик с перебитым носом, тертый, с затаенностью. Истопник. Он вышел покурить, на дворе-то нельзя. На вопрос, можно ли войти пофотографировать, взглянул слегка удивленно и кивнул.

На календаре уже было 28 августа. Сначала меня удержало здесь солнце, а потом... потом соображение о том, что надо получше осмотреться – ведь столько лет сюда добирался. Ну, а тут уже и торжество подоспело – 29 августа малое освящение Владимирского храма. И открытие монастыря. Не каждый день такие события происходят.

Вечером привычно пошел в монастырь за водой и разговорился с о. Евфимием. Хотя накануне праздника у него забот хватало. Но как-то дела затормозились, и мы сели посреди монастыря на скамейку. Иеромонах Евфимий рассказал немного о себе. Мне интересно было, как он стал монахом.

– Как? Как?... Да так. Об этом не скажешь. Это случается внезапно. Вдруг озарит, ну и все, дальше уже просто надо подчиняться этой воле. Тебя ведет, – говорил он, светло на меня взглядывая.

С двух лет он жил в Дорогобуже. И пешком ходил в Болдино, нравилось ему там, озеро, монастырь. И брат с ним.

Но до времени шел путем обычным, мирским. Учился, занимался боевыми иску-



ствами и кое-чего добился на этом поприще. Призвали в армию и отправили воевать в Чечню.

Отвоевал, вернулся и поступил в сельхозакадемию. И посреди студенческих веселых хаотичных деньков судьба и сверкнула чистой гранью. И вдруг он понял, что на самом деле все это веселье – фальшиво-тягостное, и нет спасения от тоски. Так и явилось решение стать монахом. Рассказывать и писать об этом, конечно, досужее занятие. Действительно, не расскажешь. Это надо пережить. Окончив семинарию, отец Евфимий служил в любимом Болдинском монастыре, восстанавливал Климовский Покровский мужской монастырь на Брянщине, служил в Москве, сейчас – в Вязьме, в Спасо-Преображенской церкви.

На мой вопрос о наместничестве здесь он отвечал, что, конечно, понимает всю значимость этого монастыря, но и знает хорошо, что такое монастырское хозяйство в глуши. Коротко говоря – ему любы молитва и служба в храме, общение с братьями, а не выбивание техники, средств.

– Это сейчас всё тут кипит, тракторы гудят, – бросил он. – А через два дня ничего не будет. Лесная пустынь, и всё. С той же водой проблема... – Он посмотрел на меня. – Ты так и не нашел колодец?

– Нет.

На вопрос об отдаче в его служении, о волне признательности, идущей от людей, он ответил резкой соленой армейской шуткой: мол, какая там признательность людская!..

В это время мимо шла монахиня Татьяна. Приостановившись, сказала, что видела меня с фотоаппаратом и треногой рано утром.

– Когда вы спите?

Ответил, что ранний свет самый лучший, его и спешил застать... И не решился достать фотоаппарат прямо сейчас, чтобы запечатлеть удивительный свет ее улыбки. Да она уже уходила, спешила к трапезной и кухне. Встал и отец Евфимий. Пригласил позже прийти на ужин.

Оглянувшись, увидел таджиков, наводивших последний лоск перед завтрашним событием. Поговорил с ними. Они завершали свою миссию здесь и уезжали возводить новый объект – дом для престарелых в Днепропетровском.

Прислушиваясь к нашему разговору, неподалеку стоял истопник. С ним я разговорился позже, попрощавшись с таджиками. Познакомились. Михаилу пятьдесят шесть... От предложения сфотографироваться он отказался. Но не уходил. Мы продолжили разговор.

– Отслужил срочную, – говорил глуховатым голосом курильщика Михаил, – пошел шоферить... Смотрю: все пьют, просвета нет... А тут где-то объявление о наборе в Чечню, там началась первая война. Собрал рюкзак. Мать: куда? Да так, в поход. И уехал контрактником, сел за руль «Урала», было мне тогда тридцать пять, все звали дедом.

– Слушай, так и отец Евфимий в первую чеченскую воевал.

Миша вскинулся:

– Да?.. Не знал. Не знал. Надо будет про Ханкалу у него расспросить.

– Ну и как оно – контрактником? – спросил я, заметив, что и сам нюхал порох на срочной службе в Газни.

– Как? Граната карман брюк протерла до дыр.

Ясно, контрактников чеченцы не щадили.

– Всякое случалось, – говорил Миша. – Приезжаем после обстрела в дороге, парень спрашивает: чего это там торчит? Чего? Смотрю: граната в кабине застряла, не разорвалась, передумала взрываться... Однажды по лесу идем с товарищем – навстречу бородастый. Держим мы его и он нас. Но у нас два дула. И тут он присмотрелся и говорит: э, да не ты ли? Тут и мне померещилось: знакомая личность. Ну, точно, установили: служили. Поговорили так на расстоянии. Чё будем делать, расходимся? Он спрашивает. Да, конечно, а чё еще делать? Разошлись.

Вспоминаю, что у моего тестя был похожий эпизод с немцем, только они не знали друг



друга, просто поняли, что одновременно нажмут на курок – и все, победителя не будет, развернулись, как по команде, и прочь. А вот наш кэп в Газни Кравченко тоже был знаком с противником, действовавшим в округе – Саидом, они вместе в Военной академии Фрунзе учились. Саид как-то на день рождения прислал кэпу приглашение. Кравченко отказался: кто знает эти восточные тонкости...

Вернувшись, Миша долго не протянул на гражданке и снова поехал на войну, еще семь месяцев колесил по военным дорогам.

– Раз погиб в ауле наш солдатик, – говорил Михаил, – аул этот окружили и снесли, и никто не показывал этого, никакие телевизионщики не приезжали.

Похожая история была и у нас... Все войны похожи.

– Но я никого не убивал! – с жаром воскликнул Михаил, вспыхнув сине глазами. – Никого. Да и не смог бы, – убежденно добавил.

Ну, а потом, как обычно: водки стакан, еще один – и далее с остановками и без остановок, треш и угар поствоенной жизни у всех примерно одинаков.

Возил он одного вора в законе, а потом тот звонит ему, спрашивает, что да как и где он? Михаил отвечает: ты в тюрьме, а я напротив, через дорогу – в монастыре. Есть на Псковщине такое место. Вор в законе – по тюрьмам, а ветеран Михаил – по монастырям, хоронился за стенами от врага русской жизни – зеленого змия. В разных монастырях бывал. Но как только выходил из-под защиты – начинал битву, проигрывал и снова в монастыре спасался. Всяких людей встречал. Необычные люди к монастырям приближаются.

– Ну, теперь-то я тебя сфотографирую, – сказал я, доставая свою машинку.

Бывший солдат Михаил молча глядел в объектив.

12.

Ночью над деревьями и палаткой разразилась гроза, полился дождь. Сверкала молния.

Я успел подумать о нашигованной металлом земле, – вокруг палатки в заросших и наполненных лесной темной водой ямах – воронках от бомб – торчала ржавая арматура, остатки оборонительных укреплений. Да и велосипед стоял поблизости. Подумать-то подумал, а не испугался. Нелепым показалось грозы у монастыря бояться. И уснул.

Дождь то и дело налетал и утром, а потом и весь день. Но временами светило жаркое солнце. Так что я смог выстирать пыльную и потную рубашку в лесной луже и высушить ее на ветках. И набрал коричневой воды, настоянной на листве и хвое, в котелки, подождал, пока она согреется, да и вымыл голову, причесался пятерней.

За кружкой все проясняющего кофе думал об отце Евфимии, о Михаиле. Вспоминал улыбку матушки Татьяны, чувствуя выросшее доверие к этим людям: к первым двум после сообщения об их службе, к последней – после улыбки.

Освящение храма намечено было на четыре часа. Время это приближалось, волнует меня. Ну да, будет много народу, полиция, телевидение, прилетят чиновники и, наконец, прибудет Патриарх. Любой лесной отшельник от всего этого ощутил бы беспокойство по меньшей мере. А я еще собирался всех фотографировать. Хотя вообще в походах предпочитаю держаться подальше от людей, селений и тем более от любых мероприятий.

Но будет ли солнце?

Автомобили заполонили даже мою лесную дорогу, я увидел их вскоре после выхода из лагеря. Полицейский кордон с металлоискателями находился на главной дороге перед монастырем. Все уже были в монастыре и у ворот. И полицейские с жадностью воззрились на фигуру странника в болотных сапогах, мятой рубашке, с рюкзачком, вероятно, единственного здесь паломника, добравшегося к Истоку своими силами, без помощи лошадиных моторов. Тут же потребовали все вытаскивать.

– Шо там у вас?.. Ну, шо? – любопытствовал один.



– Я турист, – проговорил я.

– Так и шо? Давайте, давайте, показывайте колющие, режущие...

Они верно чуяли, но не предполагали, что я человек предусмотрительный и охотничий нож, газовый баллон спрятал в крапиве на обочине. Так что их ждало разочарование.

...И через минут десять в небе застрекотал вертолет. Пыхнуло солнце. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл летел над лесами. Засуетились фотографы, подтянулись полицейские. Губернатор Островский, энтузиаст возведения монастыря на Истоке, стоял с букетом белых роз.

Под пение и звон колоколов, осеняя всех крестным знаменем, Патриарх вскоре вступил в монастырь. Щелкали фотокамеры, с телекамерами наперевес таранили толпу операторы, как фрегаты мелкие лодчонки. Процессия двинулась в храм, Патриарх поднялся по крыльцу, вошел внутрь, и началась служба малого освящения храма Святого Владимира, слышимая всем сотням собравшихся благодаря динамикам. Здесь было много пестро одетых людей, молодых и старых, женщин и мужчин, детей. На костылях стоял хиппи с волосами, убранными в «конский хвост», рядом его подруга в длинной бардовой юбке. Поблескивал медалями седой ветеран. Тянулись вверх руки с мобильниками, оснащенными фотокамерами.

Торжество было приурочено к тысячелетию со дня кончины князя Владимира. В князя последнее время особенно густо летели критические стрелы журналистов. Известный Невзоров сравнивал его с еще более известными персонажами криминального мира. Сведения о буйствах князя – в исторических источниках. Увы, слов из песни не выкинешь. Но, во-первых, эти сведения относятся к его дохристианской ипостаси, и, во-вторых, одна вещь опресняет критику, а именно – прозвище князя, которое ему дал народ. Точнее, фольклорный образ Владимира Красного Солнышка включал в себя различных персонажей, но главным из них и был князь в Киеве, крестивший Русь. Можно,

конечно, и не верить народному творчеству, но иметь его в виду все-таки дело не лишнее, если мы хотим знать и понимать пространство русской жизни.

В этом образе – Владимира Красного Солнышка – мечта и тоска народа о правителе мудром, честном, чистом, заботящемся не о своей мошне, а о счастье подданных и прежде всего о малых из них, стариках, детях, бессребрениках. Главная мечта народа – о правителе-бессребренике. Во взглядах, устремленных на Патриарха, вышедшего после освящения храма на крыльцо и обратившегося ко всем с речью, тоже читались эти надежды. Духовный пастырь тем более должен быть бессребреником. Запросы народа тут высоки.

Патриарх Кирилл, как всегда, хорошо говорил и держался бодро. Говорил он о значимости этого события – освящении храма и открытии монастыря на Истоке реки трех народов, благодарил жертвователей и помощников, среди которых первым назвал Володина, высокопоставленного чиновника в Администрации президента.

Как видно, чиновнику приглянулся лесной край с чистым воздухом.

– Иди на ключ, – посоветовала бабка из Сычёвки, с которой мы переговорили еще в воротах монастыря; узнав, что я семь дней сюда на велосипеде ехал, она решила по мере сил опекать меня. – Он потом туда пойдет.

Так я и сделал. И занял удобную позицию.

Через некоторое время процессия двинулась сначала в келью, потом через звонницу в ворота, ведущие на Исток, и – по мосткам с перилами – до купели. Фотографы толкали друг друга. Телевизионщики старались отыскать наиболее выигрышную точку съемки. Народ толпился у широкой канавы с водой. Берега там были топкие. Тут-то и пригодились мои сапоги. Я снова столкнулся с сычевской бабушкой.

– О как ловко ты! – усмехнулась она.

Патриарх совершал водосвятный молебен, окунал крест в купель, говорил снова о



реке и братстве народов, обрызгивал улыбающихся зрителей и участников действия водой. Ему поднесли икону.

Патриарх и те, кто сопровождали его, направились в монастырь, а народ радостно прильнул к воде: кто набирал воды в ладони и поливал ею своих спутников, кто умывал лицо, кто пил, кто наполнял посуду, один мужчина, балансируя, стаскивал по очереди туфли, носки и окунал ноги. Вспомнив, что орудовал тут сачком, я посоветовал жаждущим набирать все-таки воду в самой купели, там чище. Но меня никто не слушал. У наших людей вообще особое отношение к воде. На Крещение в лютом морозном тумане к храмам тянутся очереди с бутылками от трамвайных остановок. И сейчас был момент, подобный крещенскому празднику: воды реки освящены. Можно сказать, что молитвенные воды пошли через леса и доли к Дорогобужу, оттуда к Смоленску, дальше в Могилёв и еще дальше – в Киев.

Понемногу народ расходился.

А за монастырем уже стрекотали вертолеты, и в небо поднялся один, с Патриархом, за ним другой. Патриарх отправился вниз по Днепру, в Смоленск, где на следующий день будет открыт памятник князю Владимиру. Еще по дорожкам монастыря ходили люди, фотографировались, но уже гудели автомобили, и в сторону Сычёвки вытягивалась вереница, своеобразная колонна. Посыпался дождь. Мимо звонницы пробежал толстый телевизионщик, затормозил, достал фотоаппарат, торопливо сделал пару кадров звонницы под тучей и побежал дальше. Монастырь быстро пустел.

Мне повстречалась матушка Татьяна, и я попросил позволения сфотографировать ее. Затем увидел отца Евфимия. Он сказал, что слагает с себя временные полномочия настоятеля: из Троице-Сергиевой лавры прислали настоятеля отца Амвросия, келаря и еще одного монаха. Был отец Евфимий, как всегда, быстр.

...Не знаю, может, мне и почудилось, но, кажется, в глубине его глаз мелькнуло сожа-

ление. Или это я его выдумал. Ведь все мы мерим мир своей меркой, режем ленту полученной информации своими портняжьими ножницами, кроим кафтан действительности, чтобы удобнее было в нем.

Вдруг из леса начали появляться солдаты с вещмешками, подтянутые, дельные. Наверное, полроты. Быстро погрузились в автобус и уехали. Я никак не мог вынуть плащ из чехла, замок заклинило. Поблизости притормозил автомобиль, хипповатый здоровяк с ясным лицом и волосами, убранными в «конский хвост», спросил, все ли у меня в порядке, не нужна ли помощь? Он может подвезти. Я поблагодарил и ответил, что у меня есть свой транспорт.

– Ну, Бог в помощь! – сказал он с улыбкой.

Пожелал и я ему счастливого пути. В автомобиле сидели похожие на него спутники. Ненароком припомнились рассуждения любимого румына Мирчи Элиаде о хиппи, он предлагал взглянуть на них сквозь призму Христианства и находил много черт, роднящих хиппи и христиан первых веков.

Вон куда загнул, скажет цепкий журналист. Хиппи на ладном автомобиле какой-то известной фирмы и ослики первых христиан. А тем более – вертолет с Патриархом. Ну, если бы Христианство начиналось сейчас, то, возможно, Учитель на мотоцикле и въехал бы в Иерусалим. Собственно говоря, создатели фильма по знаменитой рок-опере и сделали такую поправку на технический прогресс, введя танки и автобусы на съемочную площадку. В век скоростей и атомных бомб евангельская история рождает не меньше, а, пожалуй, еще больше различных вопросов.

Хотя, как я уже говорил, странник – фигура, идущая поперек прогресса. Ну да, поперек. Но надо все-таки быть реалистом.

От монастыря отъезжали последние автомобили.

И стало вдруг тихо. С ветром и солнцем налетели гости и унеслись куда-то. А вокруг монастыря зашелестели леса под дождем, потемнело. На монастырь валили тучи. На-



кинув плащ, забрав из крапивы свой схрон, пошел я по грязной дороге в лагерь, неся и канистру с водой из скважины. Удивительно, как былолюдно, пестро, шумно, – наверное, больше столько народу здесь не соберется. У братии теперь потянутся тихие лесные дни осени, потом посыплются снега на келии, русскую гору Исток заметет. А воды будут так же сочиться, собираться из мхов, мглистых глубин, сливаться и медленно течь меж низких ржавых болотистых берегов, принимать боковые ручейки, родники и речки, – чтобы через две тысячи с лишним верст распахнуться киевским зеркалом, бликующим утром солнечными, а ночью электрическими огнями и звездами, зеркалом, в котором ведь можно увидеть Русь в праздник, когда восстанавливаются времена творения. Это гигантское зеркало здесь, на Истоке, и встало во время освящения храма и водосвятного молебна. И даже сейчас можно было увидеть его осколки. Я повернулся.

Над лесом, за которым пряталась обитель, горела радуга. Уже не для тех, кто улетел и уехал, а только для тех, кто остался нести служение в стенах соснового монастыря. Хотя, наверное, радуга далеко вытянулась в пространстве над лесами в каплях, птицах, может, и до самого Смоленска. Но над деревянными крышами келий, храма и звонницы ее зрели лишь монахи, матушка Татьяна да истопник Миша.

13.

Утром собрал лагерь и погрузил на велосипед, засыпал кострище и пошел сначала среди деревьев и кустов, потом уже по лесной дороге. Свернул к монастырю. Надо было попрощаться. Но братия была на утренней службе. А у входа курил истопник, с ним разговаривал светловолосый синеглазый богатырь. Рукопожатие у него было медвежьим. Познакомились. Охотовед Сергей Крылов, проработал в этих местах сорок лет и знает все тропы Оковского леса. А сорок лет назад ему предлагали поехать в Баргузин, но кто-то отсоветовал: мол, там старoverы, слишком

сложно будет с ними. И он выбрал Оковский лес. Но и здесь было не просто. Попробуй уеди сорвиголову, родившегося здесь и с отроческой поры бегающего по болотам с ружьишкой, что у охоты есть правила и надо их соблюдать. Еще сложнее с залетными столичными ухарями с их поистине космическим оснащением, ну и амбициями, знакомствами...

Сказал ему, что как раз в Баргузинском заповеднике начинал, получил там трудовую книжку и работал лесником. Семья старoverов у нас была, он тракторист, она пекарь. Ну, точнее – они потомки старoverов. Тракторист курил и очень любил краску – дешевое вино «Рубин». Срок за браконьерство у него был. Но вообще настоящие старoverы отличались, по слухам, честностью. А эти наши хорошо пели свои семейские, по самоназванию тамошних старoverов, песни.

Крылову исполнилось шестьдесят, начальство на отдых его не отпускает, да и он сам не особо хочет. Об Оковском лесе он готов был долго говорить, а я – слушать. Но дела заставляли его спешить. Мы договорились о поездках по окрестностям в будущем. Заканчивается одна книга, но уже шелестят страницы другой – о лесе трех рек. Да вот листво́й берез вокруг и шелестят. Крылов согласился быть проводником Оковского леса. Еще я успел его спросить о моем старшем брате, если охотовед тут сорок лет, то, наверное, встречался с директором школы из Бехтеева. Он отреагировал тут же: протянул мне руку. Да, знал его! В тот год, кстати, и в других школах подорвались ученики, – всего восемь ребят, сообщил он.

Обменялись телефонами, и охотовед укатил на забрызганном «уазике».

Пожав руку Михаилу, следом отчалил и я. Уже соображая, как и когда лучше будет вернуться.

В Бехтеево, где учительствовал мой брат, я свернул, чтобы купить наконец хлеба. Хлеба в магазине не было. Его привозят два или три раза в неделю, сказала молоденькая продавщица. Зато есть пряники, консервы



и мороженое. Пока уплетал возле велосипеда мороженое, подъехал «батон» («уазик»). У парня водителя узнал, что можно здорово сократить путь и по лесовозным дорогам выехать прямо на дорогу, ведущую от трассы Сычёвка – Вязьма к Днепровскому. А именно этим путем я и хотел возвращаться: на Днепровское, оттуда к Нахимовскому, дальше в Холм-Жирки и вдоль набирающей силы Днепра к трассе Москва – Минск. Я и оставшиеся несколько кадров берег на Днепр и больше ничего не фотографировал. Мне нужен был Днепр, окутанный туманом, и встающее солнце. Парень оставил свою машину и довольно далеко прошел со мной, чтобы указать дорогу – на коровники и дальше. Там будет шлагбаум, его надо просто объехать. Поблагодарил его и бодро покатил в сторону коровников, обогнул их и устремился дальше.

За четыре дня возле монастыря засиделся. И теперь в полной мере мог почувствовать радость этого способа перемещения по земле – на велосипеде. На первый взгляд – ну, долго же? Если на автомобиле от Смоленска до Истока можно доехать часов за шесть – семь, с остановками, то на велосипеде – семь дней. Молодой и тренированный велосипедист доедет дня за четыре. Все равно – много? Вроде бы да, если смотреть на это из окна автомобиля. А так – едешь, едешь, упорно и тихо, и смотришь: получается, позади остаются заметные на карте пункты. И, конечно, никакой автомобилист столько не увидит и не почувствует, сколько велосипедист или тем более пешеход. Архаичная жизнь труднее, медленнее, но гуще. И, наверное, все же из нее ближе до истин, о которых толковал рыбакам, крестьянам проповедник из Галилеи. Думаю, что и монахи, присланные из Троице-Сергиевой лавры к Истоку, должны радоваться. Скорость и шум отупляют человека.

И, словно в подтверждение моих мыслей, дорогу перекрыл шлагбаум на замке. Хочешь дальше попасть? Выходи из машины. Но я-то был на велосипеде и спокойно объ-

ехал препятствие. Видимо, шлагбаум установили, чтобы не давать случайным грузовикам и тракторам разбивать дорогу.

А дорога была хороша – песчано-гравийная, плотная, ровная, таких лесовозных дорог я нигде не встречал. Сказка! И я катил по ней, что-то напевая.

Попал на просеки. Дух захватывало от лесных перспектив.

Но вот дорога уперлась в поперечную. В какую сторону дальше? Покумекав над картой, повернул вправо – в сторону Днепровского. Ехал, ехал... Ни души. Ровная дорога, от нее уходят просеки. Над елками канюк кружит, кричит гнусаво.

Но вот в чащобе грохнул выстрел. Кто-то шарится по лесу, но не показывается.

Туда ли еду?

Кручу педали. По одной просеке вроде бы движется фигурка. Далеко. Достигла края леса – исчезла.

Еду дальше. И вдруг навстречу грузовик с бревнами. Голосую. Тормозит. Рыжий мужик, глядит исподлобья настороженно-вопросительно. Услышав вопрос, думает, морщит лоб, достает сигарету, закуривает и говорит, что – а не проеду я куда. Да. Нету проезда. Все закрыто.

Мгновение смотрю на него, как на инопланетянина. Он объясняет. В той стороне, куда я сейчас еду и откуда он приехал, ворота и сетка по лесу. Ворота на замке. А в той стороне, куда он едет, тоже ворота и сетка по лесу. Ворота на замке.

Но он-то проехал... Ключ?

Шофер кивает и произносит мантру новых времен:

– Здесь частная территория.

– И что, под сеткой нельзя пролезть? А далеко в лес она уходит?.. Что же мне делать?

Он уже без осторожности, а с одним только любопытством смотрит на меня сквозь сизый сигаретный дым сверху вниз. Рассказываю ему, что много проехал, велосипед тяжелый... Может, он на выезде просто забудет закрыть замок? Качает отрицательно головой. Советует пробираться просекой,



может и выведет к дороге. Просека упрется в поле, а по полю уже к дороге... Достану карту и предлагаю ему взглянуть, чтобы сориентироваться.

– Я в карте не понимаю, – признается он.

Смотрю в его рассеянные светлые глаза. Дальнейший разговор кажется бессмысленным, и, махнув ему, еду дальше. Машина с бревнами уезжает.

Частная территория! Опа! А на въезде – ни гу-гу. Частная территория, частная территория... Что-то вертелось в голове, чья-то реплика по этому поводу, не мог вспомнить. Из какого-то голливудского фильма, что ли. Ни с места! Вы находитесь на частной территории! И ствол направлен в лоб.

Но звучит магически: частная территория. И неправдоподобно. Эти просеки, лесные чащобы, дороги под самые небеса – частная территория? Следовательно – звучит угрожающе. Кто же владелец всего этого?

Сворачиваю на первую просеку. Не попробовать ли? Колдобины, кое-где выворотни. А где-то впереди еще поле, и перед полем может быть овраг или болото. Лет десять назад я, не раздумывая, пошел бы этой просекой.

Выхожу на дорогу. Что же делать? Возвращаться тем же путем? Что за дикая мысль! Тут, наверное, километров пятнадцать. Продолжаю двигаться в том же направлении. И почти бесшумно меня настигает автомобиль, уже слышу, а не оглядываюсь. Окликают:

– Куда едем, хлопец?

Смотрю. Белая «Нива», а в ней – копия министра Лаврова, только уменьшенная. Но тот же взгляд сквозь стекла очков, тот же нос, лоб. Только почернее министра. Ну, так министр в высоких кабинетах и на высоких встречах за закрытыми дверями, а этот – на воле лесных просек.

– В Днепровское.

– Это невозможно.

– Почему?

– Дорога закрыта. И даже если бы была открыта, ни в какое Днепровское тут не поедешь.

– А в той стороне?

– Мольгино.

– Это почти на нужной мне дороге.

Кивает и говорит, что мне придется возвращаться той же дорогой, какой я сюда приехал. И зря я упорствую. Ему все сообщили.

– Здесь частная территория, – отчеканил он.

Черт, заладили. Говорю, что на въезде от Бехтеева нет никаких предупреждающих знаков, надписей, только шлагбаум. Но мой велосипед не повредит здесь дороги. Вид у квази-Лаврова непреклонный, как на переговорах с Керри. Всё. Здесь частная территория, проезд закрыт.

Бросаю последнюю карту: мол, давно уже в пути, приехал из Смоленска на Исток, пишу книгу о смоленской земле.

Он кивает, уже отъезжая, всем видом давая понять, что его ничего не интересует, кроме частной территории и обслуживания оной. Всё.

– И вы не поможете?

– Нет. Той же дорогой – назад.

Уехал дальше, видно, проверять или укреплять ворота, пропускать ток или настораживать мину-ловушку... или что там у них? Какие уловки теперь против странников? На Руси-то к странникам раньше особое отношение было. Странники, бредущие со своими котомками от села к селу, от монастыря к монастырю, считались людьми Божиими. Ведь сказано в притче евангельской: «... был странником, и вы приняли Меня». А праведники в ответ: «Господи! Когда мы видели Тебя странником, и приняли?» – «И Царь им скажет в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».

Но этот квази-Лавров, возможно, и не читал никогда Библию и почитает какие-нибудь другие книги, – книжки сбербанка или что-то в этом роде. Ведь и на замечание о том, что это путешествие книжное, он никак не отреагировал.

Автомобиль скрывается, а я, увидев хорошую дорогу, уводящую влево, в сторону по-



лей и дороги на Днепровское и Холм-Жирки, съезжаю на нее.

Дорога идет, идет в нужном направлении и скрывается среди сосен и елок, что очень хорошо. Ясно, что больше предупреждать он меня не станет, а просто вызовет охрану или каких-то молодцов, готовых выполнить это задание – вышвырнуть странника из частных лесов. Сдал же меня рыжий водила. Частная территория. Но кому она принадлежит? Кто хозяин этого леса?

Еду и вижу: на дороге зияет ров. Просто ров, и всё. Специально перерыли, возможно, для того, чтобы законсервировать на некоторое время дорогу, решил я, слезая с велосипеда и осматривая препятствие.

Ничего, прорвемся.

Спустился, начал подниматься. Песок расползается, напружиниваю живот – вот-вот, как говорится, пупок развяжется. А разбирать поклажу не хочется, да и время потеряю. После дождя на этих безлюдных дорогах все видно, кто куда проехал, прошел.

Частная территория. Что же это такое? Частные владения? По сути – такой огромный дом?

Одолел ров. Вскочил на конь, как говаривал Давыдов, и покатил дальше. Давыдову тоже доводилось уходить от неприятеля по родной земле.

А дорога забирала влево, влево, – и, как в «Ви», сделал чертов круг, я вернулся почти к тому же месту, где свернул с главной дороги.

За что боролись, на то и наехали... Да, слушали «Голос Америки», трындели на кухнях, спорили. Вот капитализм и пришел. Повернулся своим человеческим лицом к нам. И сейчас я вспомнил вопль столпа анархизма Прудона: «Частная собственность – это всегда кража!»

Скрежеща педалями – пора было смазывать, – поехал обратно, в Бехтеево. Я не знал, насколько был прав тот распорядитель, но был полностью согласен с Прудоном. Старые анархистские дрожжи, скуксившиеся было после видеосюжетов и различных свидетельств о кровавой вольнице в украинских

пределах, снова забродили. Тут вспомнился и наш анархист Лев Толстой, говоривший, что «собственность несовместима с любовью. А устанавливая господство имущих над неимущими, собственность противоречит евангельскому закону о сыновности людей Богу и равенстве всех людей. Короче, все эти владельцы, сенаторы, чиновники, бизнесмены и президенты «виноваты уже одним тем, что богаты». И право собственности есть, по наблюдениям умного коняги Холстомера, низкий животный людской инстинкт. Что бы сказал этот коняга, попав в такой вот привольный на первый взгляд лесной капкан?

Какие же это деньги надо, чтобы скупить столько леса? И как вообще лес можно купить? Я никогда не видел частного русского леса. Служил лесником в заповедниках, но те леса принадлежали не какому-то бизнесмену, чиновнику или генсеку, они были все-таки народными, резервами чистых земель страны, прибежищем для птиц и зверья. А кто владелец этого леса? Какой олигарх, толстосум?

Собственность есть господство имущего над неимущим, говорил Лев Толстой. Вот это господство сейчас и осуществлялось в далеком лесном углу. Возможно, владелец леса жил где-то в Петербурге, сидел сейчас в своем офисе или на яхте кушал семгу с водочкой, а может, в Москве тенью скользил в державных коридорах. И господствовал здесь. Да и скорее всего не только здесь. Обычно это господство незаметно, оно растворено в воздухе, стекающем золотыми слиточками в ячейки банков. В России много лесов, полей и рек. Марк Шагал однажды нарисовал Россию в виде коровы. Да, кто-то ведь ее доит тихо и незаметно.

Но иногда воздух становится свинцовым, и ты об него ударяешься.

Нагнала меня и мысль о том, что, возможно, как раз в этих лесах погиб дед Пётр Ермаков. Погиб он осенью сорок первого. Отец считал, что под Вязьмой. А не исключено, что где-то здесь, в сичевских и новодугинских



лесах, ставших частными. В те времена они были общими. Да и случись сорок первый сейчас – снова станут общими. Владелец тут же предоставит возможность защищать их и кропить кровью. Как и рощи, борки, лужайки, озера частных территорий по всей России. Отдых в этих местах – дело частное, приватное. Смерть за них – дело общее. В ход сразу пойдут мантры другие: про священную родную землю и счастье отдать за нее свою частную жизнь.

Увидел яблони на месте какой-то исчезнувшей деревни, подъехал, но что-то ни одного яблока не нашел. А заметил на земле свежие следы медведя. Подальше рос терновник, поел мелких сизых слив. Наверное, и медведь за ними приходил.

Оглянулся. Да, благодатные места.

14.

До прежней стоянки в полях перед Сычёвкой дотащился уже в сумраке, не чуя ног. Оглянулся: гигантская красная луна висела низко над Сычёвкой. Такой огромной никогда не видел, даже не пожалел кадра на нее, хотя и понимал, что снимать надо другим объективом – телевиком. Луна в эту ночь была особенно близка к Земле.

Заваливаясь спать после ужина на ветру возле угасающего костра и при свете луны, вдруг вспомнил последний сон монастырский: снилась мне огромная кобра с очками на капюшоне. А квази-Лавров в очках-то и был.

На другой день, проезжая мимо сычевской лесопилки, узнал у рабочих, что лишних я сделал километров сорок. Рабочие не одобрили действия распорядителя и сказали, что это хозяйство называется «Боброво», руководит им Жукова, там и охотхозяйство и сельхозпредприятие. Большие деньги вкладываются. И большие люди охотятся. «Путинские!» – крикнул парень, поворачивая ломом комель в три обхвата.

Ну, теперь мне понятна стала спесь квази-Лаврова.

Позже невысокий, сухощавый востроносый мужик, пасший большое стадо коров

возле дороги, говорил, что места эти облюбовали кремлевские чиновники и что сам Путин здесь охотился. «Боброво», по словам пастуха, опекает известный кремлевский чиновник.

Действия распорядителя из «Боброва» он тоже посчитал паскудством – заставил человека столько лишних километров проехать. Согласился, что могли и накостылять.

– Да все они такие! – воскликнул он, махнув рукой.

Заметил, впрочем, что своим работникам в «Боброве» платят хорошо и дома для них строят классные. И землю они содержат в образцовом порядке, пашут, засевают, вовремя убирают. «Я это и сам видел, проезжая мимо полей и радуясь возрожденным пейзажам крестьянской России».

Сам пастух получает двенадцать тысяч за две недели пастьбы. Зимой он тоже скотником на ферме. Подрабатывает и плотницким делом. Жить можно.

– Вон, – сказал он, указывая на крыши деревни, среди которых выделялась темно-красная, черепичная, – мой друг дом себе строит.

– Волки зимой бегают?

– Куда там! – воскликнул он, пылая сигаретным дымом. – Как только появляются, сразу охотники за ними. Платят за добытого волка хорошо.

Ударили по рукам, пожелав друг другу удачи.

Асфальт остался где-то в Днепровском, крупном селе на просторном высоком месте, и под колесами курился пылью большак.

Он привел меня в Нахимовское. Село над Днепром. Точнее, над заросшим прудом бывшей усадьбы дяди адмирала Нахимова. Днепр немного подальше. Что примечательного в этом селении? Деревянные дома с огородами? Единственный двухэтажный каменный многоквартирный жилой дом? Пыльная дорога? Закрытый днем магазин? Не угадали. Все-таки главная достопримечательность этого селения посреди бескрайних просторов – фундамент усадьбы и остатки



парка, где провел свое детство будущий адмирал и герой Крымской войны Павел Степанович Нахимов. Но, если приблизиться к памятному знаку на высоком берегу среди дивно благоухающих старых лиственниц и дубов, – якорю и мемориальной доске, откуда сразу видно нутро фундамента разрушенного дома – да вот, если туда глянуть, ни в жизнь не угадаешь, что это так. Там просто помойку устроили местные или приезжие, не знаю. Но даже если приезжие, в чем большие сомнения, – даже если так, то неужели у местных нет ни капли гордости и здравого смысла, чтобы это все убрать, а нишу перекрыть надежно?

Мелькнула мысль о моих знакомцах Майке и Митти, – хорошо, что маршрут их пролегал по другому пути. Я-то человек привычный к таким фортелям национального самосознания, видел каждый день замусоренные башни крепости в областном центре – Смоленске. Смоляне еще не готовы в полной мере владеть «ожерельем Руси», как поименовал крепость Годунов, и путают башни с уборными и мусорными баками. Поучиться бы у китайцев и евреев бережному отношению к стене. Да и у французов с немцами и испанцами, они содержат свои крепости и замки в чистоте.

Пожалуй, самый трудный участок всего пути был от Нахимовского до Холм-Жирков. Большак пыльный, усыпанный гравием. Камеры не выдержали тряски под грузом и начали спускаться. Думал остановиться на Днепре, но путь мне перекрыло грозное объявление, запрещающее проход и проезд: снова – частная территория!

После дождливой ночевки за Днепром у деревни Глушково, где какие-то мужики на автомобиле свернули с дороги вслед за мной через десять минут и под дождем в сумерках бродили, что-то искали поблизости, так и не выходя на мою палатку в высокой траве и кустах, и когда уехали, не знаю, не слышал, спал беспробудно, – катя велосипед со спущенными камерами, вошел в Холм-Жирки.

Пересек центр этого большого поселка и оказался перед входом в «Парк графа Уварова», – такая надпись была на арке.

После утренней пасмурности выглянуло солнце и светило жарко. В парковой тени и займусь сменой камер. Парк был огромен, тенист и безлюден. Удивительно сильно пахло ладаном. Наскорю перекусив, снял колеса, взялся извлекать камеры, – не делал этого лет десять и навык утратил, долго возился, утирая пот со лба. Устанавливая новую камеру, проколол ее. На дорожке появился прохожий, белообрый коренастый малый в шлепанцах, футболке и трико, поддатый.

– О! Что это тут у нас? Авария? Поломка?

Попросил позволения «присесть» – «сесть» такие ребята суеверно не желают. «И затеялся смутный, чудной разговор», – как пел Высоцкий. Парня звали Димой, работу он потерял, бокс бросил из-за того, что тренер сбежал в Смоленск, предав своих питомцев. Живет в деревне, как он сказал, за парком. Рассуждая о Холм-Жирках, он никак не мог вспомнить знаменитого человека, похороненного здесь... ну, самое, в чьем парке мы сидим?

– О, точно! Граф Уваров! Приезжали сюда господа из столицы, по-французски... б... говорили... то да се. Короче, батя, мне бы чекушечку достать? – спросил он, трепеща ноздрями в кровавых царапинах.

Ответил, что у странника нет лишних денег. Дима задумался.

– А если, допустим, я в такой поход поеду, сколько мне надо бабок? – поинтересовался он.

В это время подошли два бомжеватых мужика: один, средних лет, уже близок к роковой черте полного бомжа, другой еще молод, в очках, правильная речь, и при счастливом стечении обстоятельств явно может жить по-другому. Они друг друга знали, приветствовали. Пошел дым коромыслом, восклицания.

Я тем временем почти вправил вторую камеру, но – снова неосторожное движение – и она испустила дух. Проклятье!



– Вот, – говорил Дима, указывая на меня, – из Смоленска приехал, уважаю.

– Ну и что, – отозвался алкаш средних лет, обрюзгший, с синюшностью в лице. – Вон Юра гонял в Москву и обратно на велике, просто так.

– Нет, все равно! Прикинь...

– Нам бы подлечиться. У тебя нет, Дим?.. А у него?

– Я тут уже знаешь, сколько бьюсь!? – воскликнул Дима.

Денег я им, конечно, так и не дал, спросил дорогу к ближайшему магазину автозапчастей, загрузил велосипед и, напутствуемый добрыми пожеланиями честной компании, пошел из парка графа Уварова. Камер для велосипеда в магазине не было. Мне посоветовали магазин на другом краю поселка, двинулся туда, но оказалось, что это просто хозяйственный магазин. Повстречавшиеся школьники сообщили, что надо только утром в среду на базарчике искать. А вообще велосипеды продаются где-то? Да, в универмаге на втором этаже. Решил туда пойти. Некоторое время мы шагали в одном направлении. Спросил, каково им тут живется? Отвечали, что нормально. А один заметил:

– Легко понять, какие тут возможности.

– Как?

– Вот вы не можете камер найти. И не найдете.

Он был прав. На втором этаже магазина стоял один складной велосипед. И никто мне ничем не мог помочь. Уже вечерело. Собирались тучи. Из полицейского отделения вышел офицер и направился ко мне, его заинтересовали мои хождения в желтой дорожной светоотражающей жилетке туда-сюда по Холм-Жиркам. Поговорили. Он поделился своими впечатлениями от поездки к Днепру: переплунуть можно. В каком-то месте ему удалось подъехать к такому узкому Днепру. Но примечательно, что он не ведал, где, в каком районе находится Исток. И не только он один. У меня в дороге часто переспрашивали: что, Исток Днепра? А где это? Как

Майк, подумавший, что я веду речь о каком-то городе.

По совету полицейского пошел в гостиницу, одноместный номер был, стоил всего 350 рублей, туалет и душ в конце коридора. И на двое суток я застрял в Холм-Жирках.

Пошли дожди. Камеры я заклеил и выдерживал по инструкции 24 часа. В номере был телевизор. Из моей квартиры телевизор исчез лет пятнадцать назад. Ну, за это время иногда в чужих квартирах приходилось что-то смотреть, убеждаясь в тотальной агрессивности этой штуки. Сейчас удостоверился, что агрессивность многократно выросла. Но, например, хозяйка гостиницы, светловолосая женщина средних лет, считала именно телевизор мерилом всего. Понаблюдав, как я в бытовой комнате колдую с камерами, она посочувствовала и сказала, что удивляется, зачем вообще мне это надо.

– Увидел жизнь, – философически заметил я, намазывая «Моментом» камеру.

И она ответила искренне:

– Жизнь надо смотреть по телевизору.

И я в эти два дня в Холм-Жирках под дождем иногда смотрел телевизионную жизнь и могу только подтвердить давнее впечатление: это похоже на лавку ритуальных услуг с ее резкими красками и алчностью в лице ведущей... то бишь продавца.

Между дождями удавалось проскальзывать в поселок, пить горячий крепкий кофе и уплетать разогретые сосиски в тесте да пирожки с картошкой, осматривать парк, заходить в церковь, шагать по длинной улице на окраину.

С парком у холмжирковцев такая же история, что и у нахимовцев с руинами усадьбы. Парк запущен, в глубине засидки с пеньками и кострищами и пластиковым мусором, а одна тропинка привела к дощатой хижине с номером над входом «33», столиком, пустыми бутылками.

А парк все же интересен. Здесь липы в три обхвата, мощные лиственницы, дубы, клены. Парк разбивал участник Бородинской битвы генерал Фёдор Семёнович Уваров, которого



Давыдов с уважением упоминает в своих «Записках партизана». Фёдор Семёнович был ранен в этой битве. Принимал он участие и в других сражениях, вступал в Париж. А уйдя в отставку, и жил здесь, занимаясь садоводством и интересуясь ботаникой.

Ну а его родной брат, похороненный в Холм-Жирках, С. С. Уваров, был министром просвещения и автором триады: «Православие, самодержавие, народность».

Прогулки по этому парку настраивали на размышления об этой триаде. Что от нее осталось?

О христианских ценностях обычно вспоминают после теракта исламского боевика. Большинство руководствуется в жизни обычным трезвым расчетом, тем более политики.

Пейзаж России изменился. Над холмами бликуют, переливаются золотые маяки куполов. Влияет ли пейзаж на сознание живущего в нем человека? Несомненно. Но и переоценивать это влияние не стоит. Мы знаем, как громили и жгли усадьбы и церкви жители этих пейзажей. Исторические грехи православия, о которых поминал Бердяев, никуда не исчезли. Философ прямо обвинял Церковь, не выполнявшую своей миссии преобразования жизни и поддерживавшую строй, основанный на неправде и гнете.

О недостаточной силе православия свидетельствует и происходящее в Украине: мужики с крестиками на груди бьют и режут таких же мужиков с такими же молитвами на судорожных устах. Да и то, что Украина откололась от России, – еще одно свидетельство, по оптинскому отшельнику К. Леонтьеву, считавшему, что только православие нас и скрепляет с Малороссией. Кстати, примечательно, но мыслитель считал, что в преданиях, в историческом воспитании все было у малороссов иное, на Московию мало похожее. То есть и предания о временах Киева, матери городов русских, уже тогда ничего не значили.

А мы хотим вернуть утраченное молитвенное течение реки...

Ну, не только молитвы идут в дело.

О самодержавии в последнее время говорили. Один политик в патриотическом угаре призывал навсегда отдать власть ныне действующему президенту. И сколько еще других политиков издевались над *так называемым западным образом жизни*, си-речь – над демократией.

Некая аллергия на демократию есть в гуще российской жизни. Но живуче и неприятие авторитаризма. Эту особенность народного самосознания отмечал Бердяев. В «Русской идее» он писал, что русское мышление склонно к тоталитаризму, но русская душа обуреваема анархическими чувствами. Эти чувства и захлестнули страну революцией, которая, впрочем, по тому же Бердяеву, стала тоталитарной.

Но самодержавно-патриотический угар рано или поздно развеется...

И, словно подтверждая это, на главной улице Холм-Жирков чернели – или пламенили? – стихи: «Товарищ, верь, взойдет она, / Звезда пленительного счастья, / Россия вспрянет ото сна, / И на обломках самовластья / Напишут наши имена». Сперва я удивился смелости холмжирковцев: надо ж, какой актуальный политический плакат вывесили. Но, пройдя еще немного, увидел и второй плакат, с нарисованным Пушкиным и сообщением о том, что в честь 200-летия со дня рождения поэта высажена аллея. И все-таки стихи-то они могли выбрать любые?

Из парка я ушел, там, на стадионе, собравшаяся молодежь с утра начала разогреваться: не бегом и прыжками, а возлияниями. Лихорадочный смех и крики разносились по всему графскому парку. Чувствовалось, что скоро ребят потянет на спортивные подвиги.

И уже не в парке, а на улице без пешеходных тротуаров я додумал о триаде. Оставался третий пункт: народность. Но тут я растерялся. Что это такое? Традиции, обычаи? То, что отличает нас от шведов и китайцев по духу. «Нас» – это кого? Москвичей? Смолян? Русских? Дагестанцев? Чеченцев? Татар? Якутов? Получился ли некий сплав, который можно назвать российским духом? Насколь-



ко, например, чеченцы чувствуют себя российскими? Этого я не знаю. Но могу предположить, что на глубинном уровне нас ничего сейчас не связывает. Только сила оружия, воля президента и деньги. Это и есть скрепы современной России?

В общем, от триады почти ничего не осталось. Возродить ее или изобретать новую – досужее занятие, оборачивающееся фантастическими заключениями вроде заявления «царедворца» о том, что «есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России». То есть из всех столпов российской жизни остался якобы один. Если так, то мы просто обречены.

Кстати, рассказы местных о том, что «Боброво» опекает известный кремлевский чиновник, не подтвердились. В открытых источниках указывалось имя единственного владельца: Лидии Петровны Барабановой. Кто это такая, – поди-ка узнай. Она же является и учредителем охотхозяйства «Заимка» – это в нескольких километрах от «Боброва» – наряду с двумя гражданами Великобритании: Руперти Тимоти Майлз и Руперти Энтони Ян Димитри, из которых к 2012 году в учредителях остался последний. У меня даже мелькнула мысль, не с этим ли Руперти я и столкнулся на лесовозной дороге? По-русски он говорил с каким-то акцентом и вообще выглядел полным чужаком. Попытки получше разузнать о Барабановой привели в Саратов, Лидия Петровна фигурирует в списках акционеров ООО «Букет», многопрофильной группы масложировых комбинатов. Хотя, возможно, Лидия Петровна Барабанова в Саратове просто полная тезка владелицы «Боброва» и «Заимки». Всякие бывают совпадения.

А какая разница?

Да любопытно узнать, кто этот энтузиаст сельского хозяйства, жертвующий миллионы рублей на технику, дороги. Например, за 2012 год предприятие получило прибыль 18 млн. рублей, а закупило в этом же году техники на 28 млн. рублей. Всего за 2010–2012 годы освоено 115 млн рублей инвестиций. Правда, участвует в инвестировании «Боброво» и государство, но скромно.

Форма собственности сельхозпредприятия – частная. И губернатор любит подчеркнуть, что это пример удачного государственно-частного партнерства, форма взаимодействия государства и бизнеса. И тем более удивителен был ответ администрации Новодугинского района на мою просьбу сообщить информацию об учредителях и владельцах этого «Боброва»: такой информацией администрация не располагает. То есть: администрация не ведает, кто у нее хозяйничает под носом. Или не хочет ведасть?.. А точнее – делиться этими сведениями? Что за покров тайны? Должны мы знать, кто скупает наши земли, берега рек и леса?

А жаль, что сообщение пастуха не подтвердилось. Хороший был бы пример другим чиновникам высокого ранга: вкладывайте деньги не в швейцарские банки и фирмы на Кипре, а в сельское хозяйство России. Вообще в России 40 тысяч высших госслужащих. Ну, пусть не все они могут с зарплаты покупать комбайны и тракторы, но посильную помощь оказать крестьянину точно способны.

Что, вдруг какой-то гоголевщиной повеяло? Маниловщиной? Сорок тысяч курьеров припомнились ненароком? Сорок тысяч чиновников на службе у крестьянина!

Жертвователю сегодня жертвует на сельское хозяйство, а завтра? Надеяться на меценатов крестьянину, конечно, дело непрочное. И это не выход, но все-таки: запущенный разрушенный племсовхоз «Городнянский» превратился в образцовое «Боброво». Это факт. Смоленская земля может процвести. Да вот надолго ли?

Неожиданно в деревянной церкви Николая Чудотворца разговорился с женщиной, продающей свечи, и узнал, что матушка Татьяна начинала свое служение поблизости, на станции Игоревской, где восстанавливался храм. Женщина обрадовалась, услышав, что я видел матушку Татьяну, и много добрых слов о ней сказала. А вот так в стародавние времена вести и шли, от монастыря к монастырю, от церкви к постоялому двору.



А за окном гостиницы мок куст сирени, напоминая о стихотворном кусте Твардовского, хотя у него речь о середине лета: «Раннее лето, прощай, / Здравствуй, полдневное лето». Но куст сирени, пусть и уже в начале сентября и под дождем, а все такой же, с жестяной листвой. И я думал обо всех героях «Смоленского моста», о Пржевальском, о Тенишевой, об историке Никифоре Мурзакевиче и святом Авраамии, о Глинке, о смоленских живописцах и воинах, и о деревенских жителях Ельнинского большака, берегов Днепра. Теперь к ним прибавлялись и персонажи этого путешествия. Вот смоленский мост – от Истока до башен на холмах, с монастырями, колодцами, избами, прикровенным светом на хуторе Загорье. Фигуры на нем измельчали после тех, первостатейных, ярчайших: родоначальника русской классической музыки, великого путешественника, неутомимой собирательницы и меценатки, несравненного поэта, смелого историка-священника. Но мост обитаем. Не думаю, что это некая музейная экспозиция, застывшая в пространстве, и что всё только в прошлом. Многое определяющее – в прошлом. Но мост жив. И все-таки тверд, здрав в своей сердцевине. И вряд ли это только интуиция странника.

Хотя пусть даже и только интуиция. Бердяев в «Русской идее» и говорил, что «умопостигаемый образ народа можно начертать лишь путем выбора, интуитивно проникая в наиболее выразительное и значительное».

Такой грандиозной задачи я не ставил перед собой, честно говоря. Просто не препятствовал своему влечению странствовать и раздумывать об увиденном. И всякий раз, забираясь в какую-нибудь глухомань, с удивлением понимал, что Россия у нас, как то пространство незнаемого, которое отмечали львами римляне на своих картах. Геркулесовы столпы, возле которых, как поется в песне, дельфины греют спины и где плывал Одиссей, начинаются сразу, за окраиной города, а может быть, и еще ближе, тут же за словом, произнесенным вслух...

Этот поход подарил мне знание Истока и особое чувство суровой сычевской жесткой земли, которую продолжают возделывать крестьяне. И молитвы братии в Свято-Владимирском монастыре им в помощь.

Рассуждать о полезности или бесполезности монастырей можно долго. Но вот какая простая мысль вдруг осенила меня: Андрей Рублёв-то был монахом. Тут нельзя не вспомнить и максимум Павла Флоренского: «Если есть «Троица» Рублёва, то, значит, есть и Бог».

Пусть это и только «Бог Рублёва», наверное, прибавит человек, привыкший все подвергать сомнению.

Так или иначе, а от рублевской «Троицы» идет поток благодати, красочной радости. И с этим не поспоришь.

Камеры я заклеил неудачно, к тому же лопнул шланг насоса, а дожди не прекращались, и стало ясно, что Холм-Жирки последний пункт моего странствия. Оставалось собрать велосипед, обернуть его целлофаном, купить билет.

Водитель автобуса сначала заартачился: «Какой велосипед?» – но, увидев, что он запакован, милостиво разрешил положить в багажное отделение. Водитель другого автобуса, в Сафонове, где пришлось делать пересадку, тоже напыжился. Вообще все водители автобусов чувствуют себя вершителями судеб, такие дорожные царьки. Я попытался объяснить громоздкую поклажу, сказал, что ездил на Исток Днепра. Низкорослый шофер с залысинами и бычьей шеей отрывисто бросил: «Мне это не интересно». И мне его фраза показалась удачной. И, все-таки погрузив вещи и усаживаясь на свое место, я подумал, что так и закончу очерк и книгу. И потом всю дорогу до Смоленска я к нему присматривался, разглядывал различные висяльки вокруг него, иконки, фигурки обнаженных дев и картинки с пушистыми котятками, карикатуры с чубатыми хлопцами, вымпелы, декоративный футбольный мяч, значки и улыбался мысли, что и он едет по мосту и этого не знает. Возможно, сей факт



его и заинтересовал бы. Немного воображения – и, глянь он в один миг в зеркало, стало бы еще интереснее: среди пассажиров грузный генерал в эполетах и с усами, рядом женщина в шляпе; хотя генерал и слыл женоненавистником, но соседство с этой энергичной удивительной женщиной вряд ли показалось бы ему неприятным; дальше священник с лицом хиппи, другой генерал, смуглый, быстрый, с горящими глазами, синеглазый юноша в картузе и все остальные, включая Майка и Митти.

Да знаю я, что генералы и поэты-лауреаты и меценаты не ездят в общественном транспорте, даже священника не увидишь. Хотя в этот раз из Сафонова ехал какой-то священник. Так что не надо неколебимо определять, в дороге все возможно.

И ехали мы к городу...

А я вдруг вспомнил вопрос Майка – не город ли это такой, Исток Днепра? – и он сверкнул новым смыслом. Ведь странник на самом деле и разыскивает града. И не находит. И это снова заставляет его отправиться в путь.



Курт ВОННЕГУТ

Рассказы из сборника «Пока смертные спят»

Печатается с разрешения издательства «АСТ»

РУФЬ

© Перевод. А. Криволапов

Две женщины вежливо кивнули друг другу, разделенные порогом квартиры. Обе были одиночки, обе вдовы – одна в возрасте, другая совсем молодая. Сегодняшняя встреча, которая вроде бы должна была бы помочь им справиться с одиночеством, лишь усилила это чувство.

Молодая женщина, Руфь, преодолела тысячу миль ради их встречи; вынесла грохот, сажу и духоту железнодорожного вагона, доставившего ее из весеннего военного городка в Джорджии в фабричный поселок на окраине все еще полузамерзшей долины Нью-Йорка. Теперь она гадала, почему он казался таким правильным, таким необходимым – ее приезд сюда. Ведь грузная пожилая женщина, которая теперь перегоразживала вход, с трудом выдавливая улыбку, тоже желала их встречи, если судить по ее письмам.

– Так, значит, вы та самая, что вышла за моего Теда, – холодно проговорила старшая женщина.

Руфь попробовала представить себя матерью женатого сына и подумала, что ее вопрос прозвучал бы так же. Она поставила на пол чемодан, который не выпускала из рук, поскольку представляла нежную и радостную встречу, представляла, как ворвется в квартиру, отогреется, приведет себя в порядок, а потом они будут говорить и говорить о Теде. Вместо этого мать Теда, судя по всему, намере-

валась тщательно изучить ее, прежде чем пригласить в дом.

– Верно, миссис Фолкнер, – сказала Руфь. – Мы были женаты пять месяцев, прежде чем его отправили за океан. – И, чувствуя на себе неодобрительный взгляд, добавила, словно защищаясь: – Пять счастливых месяцев.

– Тед это все, что у меня было, – сказала миссис Фолкнер.

Она словно упрекала ее.

– Тед был хорошим человеком, – неуверенно проговорила Руфь.

– Мой малыш, – сказала миссис Фолкнер. Она как будто обращалась к невидимой, но полной сочувствия аудитории. Затем передернула плечами. – Вы, должно быть, замерзли. Входите, мисс Харли.

Девичья фамилия Руфи была Харли.

– Я вполне могла бы остановиться в гостинице, – проговорила она.

Под взглядом второй женщины она почувствовала себя здесь чужой, осознала, что не по-здешнему растягивает слова, что ее одежда слишком легкая и явно предназначена для более теплого климата.

– И слышать не желаю, чтобы вы остановились где-то еще. Нам ведь о многом нужно поговорить. Когда должен родиться ребенок Теда?

– Через четыре месяца.

Руфь втащила чемодан через порог и присела на краешек дивана, накрытого скольз-



ким чехлом из английского ситца. Единственным источником света в натопленной комнате была лампа на каминной полке, чей тусклый свет вдобавок приглушался абажуром, похожим на черепаховый панцирь.

– Тед так много рассказывал о вас, я дождаться не могла нашей встречи, – проговорила Руфь.

Во время своего долгого путешествия Руфь часами представляла себе, как будет говорить с миссис Фолкнер, как завоюет ее расположение. Она дюжину раз повторила про себя и подправила свою биографию в ожидании вопроса: «Ну а теперь расскажите мне о себе». Она бы начала рассказ со слов: «Что ж, боюсь, родственников у меня не осталось – во всяком случае близких. Отец мой был полковником кавалерии и...»

Но мать Теда не стала задавать вопросов. Не говоря ни слова, миссис Фолкнер задумчиво налила в две рюмки шерри из дорогого на вид графина.

– Личные вещи, – проговорила наконец она. – Мне сказали, их отправили вам.

Руфь на мгновение замешкалась.

– А, те вещи, что были с ним за границей? Да, они у меня. Это обычное дело... я имею в виду, их всегда отправляют жене.

– Наверняка это автоматически делают какие-то машины в Вашингтоне, – с иронией произнесла миссис Фолкнер. – Генерал просто нажимает кнопку и... – Она не закончила фразу. – Будьте любезны, верните их мне.

– Они мои, – запротестовала Руфь, сама понимая, насколько ребячески это звучит. – Он хотел бы, чтобы они были у меня.

Она взглянула на крошечную до нелепости рюмку с шерри и подумала, что понадобилось бы двадцать таких, чтобы как-то пережить наступившее ее суровое испытание.

– Если вам так легче, можете и дальше считать их своими, – терпеливо продолжала миссис Фолкнер. – Я просто хочу, чтобы все было собрано в одном месте – то немногое, что осталось.

– Боюсь, я не совсем понимаю.

Миссис Фолкнер обернулась и благоговейно произнесла:

– Если собрать все эти вещи вместе, он станет немножко ближе. – Она включила торшер, который неожиданно залил комнату ярким светом. – Они ничего не значат для вас, – сказала она. – Если бы вы были матерью, то поняли бы, насколько бесценны они для меня.

Она пальцем стерла пылинку с резной застекленной горки, которая стояла у стены, опираясь на ножки в виде львиных лап.

– Видите? Я оставила в горке место для тех вещей, что должны быть у вас.

– Очень мило, – проговорила Руфь.

Она представила себе, что сказал бы Тед об этой горке – с его детскими ботиночками, книжками детских стишков, перочинным ножиком, бойскаутским значком... Помимо дешевой сентиментальности, Тед наверняка почувствовал бы во всем этом и что-то большое.

Миссис Фолкнер не сводила с жалких безделушек благоговейного взора широко раскрытых, немигающих глаз.

Руфь попыталась разрушить чары.

– Тед говорил мне, вы очень здорово управляетесь в магазине. Хорошо ли сейчас идут дела?

– Я рассталась с работой, – проговорила миссис Фолкнер отсутствующим голосом.

– Правда? Тогда у вас появилось много времени для всяких дел в клубе?

– Я ушла из клуба.

– Понятно, – солгала Руфь, сняла перчатки, затем снова их надела. – Тед говорил, вы замечательный оформитель, и я вижу, что он был прав. Он говорил, вы каждые год-два меняете все в квартире. Что планируете сделать в следующий раз?

Миссис Фолкнер с трудом оторвалась от своей горки.

– Здесь больше ничто и никогда не изменится. Вещи у вас в чемодане?

– Их не так уж много, – сказала Руфь. – Его бумажник...



– Из кордовской телячьей кожи, верно? Я подарила ему его, когда он закончил начальную школу.

Руфь кивнула, открыла чемодан и принялась в нем копаться.

– Письмо мне, две медали и часы.

– Часы, пожалуйста. Там на обратной стороне гравировка от меня на его двадцать первый день рождения. У меня для них приготовлено место.

Руфь покорно протянула ей вещи Теда.

– Письмо я хотела бы оставить себе.

– Конечно, вы можете оставить письмо. И медали. Они не имеют ничего общего с тем мальчиком, о котором я хочу помнить.

– Он был мужчиной, не мальчиком, – мягко возразила Руфь. – И хотел бы, чтобы его запомнили именно таким.

– Это ваш способ помнить его, – сказала миссис Фолкнер. – Уважайте мой.

– Простите, – проговорила Руфь. – Я уважаю. Но вам следовало бы гордиться тем, что он был храбрым и...

– Он был мягким, чувствительным и умным! – прервала ее миссис Фолкнер с неожиданной страстью. – Его нельзя было посылать за океан. Они попытались сделать его жестким простаком, но в душе он всегда оставался моим мальчиком.

Руфь встала и оперлась о горку – или усыпальницу. Наконец она поняла, что происходит, что стоит за враждебностью миссис Фолкнер. Для нее Руфь была лишь одним из тех безликих далеких заговорщиков, что забрали у нее Теда.

– Ради всего святого, осторожнее!

Удивленная, Руфь резко отшатнулась от горки. Какой-то маленький предмет соскользнул с открытой полки и разлетелся на полу на белые осколки.

– Ах, мне так жаль!..

Миссис Фолкнер была уже на коленях, пальцами сгребая осколки.

– Как вы могли! Как вы могли!

– Мне ужасно жаль. Могу я купить вам другое?

– Она хочет знать, может ли купить мне другое, – дрожащим голосом обратилась миссис Фолкнер к невидимой аудитории. – И где же это вы сможете купить блюдечко для конфет, которое Тед сделал своими собственными маленькими ручками, когда ему было всего семь?

– Его можно склеить.

– Можно склеить? – трагически возгласила миссис Фолкнер. Она поднесла осколки прямо к лицу Руфи. – Вся королевская конница и вся королевская рать...

– Слава небесам, их было два. – Руфь показала на второе глиняное блюдечко на полке.

– Не троньте! – вскричала миссис Фолкнер. – Не троньте здесь ничего!

Вся дрожа, Руфь поспешила убраться подальше от горки.

– Я лучше пойду. – Она подняла воротник пальто. – Могу я воспользоваться вашим телефоном, чтобы вызвать такси?

Агрессивность миссис Фолкнер мгновенно сменилась непреклонностью.

– Нет. Вы не можете забрать у меня дитя моего мальчика. Пожалуйста, дорогая, попытайтесь понять и простить меня. Это маленькое блюдечко было для меня священо. Все, что осталось после моего мальчика, священо, вот почему я так повела себя. – Она крепко вцепилась в краешек рукава Руфи. – Вы ведь понимаете, правда? Если в вас есть хоть капля сострадания, вы простите меня и останетесь.

С едва сдерживаемым раздражением Руфь выпустила из легких воздух.

– Если не возражаете, я хотела бы сразу отправиться в постель.

Она вовсе не устала, напротив, была настолько вздернута, что не сомневалась: ночь придется провести, таращась в потолок. Но ради того, чтобы больше не обменяться и словом с этой женщиной, была готова немедленно спрятать унижение и разочарование в белом беспамятстве постели.

Миссис Фолкнер вновь превратилась в идеальную хозяйку, вежливую и внима-



тельную. Небольшая гостевая комната, со вкусом оформленная, но безликая и стерильная, как все гостевые комнаты, словно приглашала почувствовать себя как дома, в то же время признавая тот факт, что это не является возможным. В комнате было холодно, как будто радиаторы отопления включили всего лишь час назад, а в воздухе ощущался сладковатый запах мебелильной политуры.

– Это для нас с малышом? – поинтересовалась Руфь.

Она не собиралась оставаться дольше завтрашнего утра, но почему-то решила все-таки заговорить с миссис Фолкнер, которая задержалась в дверях.

– Это только для вас, милая. Я подумала, что малышу будет гораздо удобнее в моей комнате. Видите ли, там куда больше места, а здесь и кровать-то некуда поставить. – Она натянуто улыбнулась. – Ну а теперь прошу меня извинить, милая.

Не дожидаясь ответа, она развернулась и отправилась к себе, мурлыча что-то под нос.

Руфь, не смыкая глаз, пролежала под жесткими простынями около часа. Перед мысленным взором мелькал то один, то другой яркий момент. Снова и снова вставало перед ней вытянутое, задумчивое лицо Теда. Руфь вспомнила его одиноким мальчиком – когда они только познакомились, потом возлюбленным, затем мужчиной. Усыпальница – воспевавшая мальчика и игнорирующая мужчину – вызывала жалость. Для миссис Фолкнер Тед умер, когда полюбил другую женщину.

Руфь откинула одеяло и подошла к окну – хотелось выглянуть на улицу, чтобы хоть как-то сменить впечатления. За окном в нескольких футах обнаружилась всего лишь припорошенная снегом кирпичная стена, и Руфь на цыпочках отправилась в гостиную, где из широкого окна открывался вид на голубые предгорья Адирондака.

Вдруг она резко остановилась. Миссис Фолкнер, чья грузная фигура просвечивала сквозь тонкую ночную рубашку, стояла перед полкой с безделушками, обращаясь к ним:

– Спокойной ночи, милый, где бы ты ни был. Надеюсь, ты слышишь меня и знаешь, что мама любит тебя. – Она помедлила, словно прислушиваясь к чему-то, затем кивнула. – Твое дитя будет в надежных руках – в тех же самых, что баюкали тебя. – Она поднесла руки к полке. – Спокойной ночи, Тед. Сладких снов.

Руфь прокралась обратно в постель, а несколькими мгновениями позже босые ноги прошлепали по полу, дверь закрылась и наступила тишина.

* * *

– Доброе утро, мисс Харли.

Руфь, моргая, подняла глаза на мать Теда. Кирпичная стена за окном гостевой комнаты влажно сверкала, снег стоял. Солнце уже было высоко.

– Хорошо спали, дитя мое? – Голос был веселый, дружеский. – Уже почти полдень, и я приготовила вам завтрак. Яйца, кофе, бекон и бисквиты. Не откажетесь?

Руфь кивнула и потянулась, кошмар ночной встречи казался нереальным. Солнце освещало каждый уголок, рассеивая похоронную тоску их первого свидания. Стол в кухне излучал миролюбие, обильный завтрак был нетороплив.

Отвечая миссис Фолкнер улыбкой на улыбку, после третьей чашки кофе Руфь совершенно расслабилась, представляя, как начнет новую жизнь в столь теплой обстановке. Накануне просто случилось недопонимание между двумя усталыми, разнервничавшимися женщинами.

О Теде не говорили – во всяком случае, поначалу. Миссис Фолкнер с юмором рассказывала о том, как начинала свою карьеру деловой женщины в мире мужчин, вернувшись к жизни после нескольких лет безысходности, последовавших за смертью мужа. А потом она таки начала расспрашивать Руфь о ее жизни и выслушала ее рассказ с подкупающим вниманием.



– Вы, наверное, хотите в один прекрасный день вернуться на Юг.

Руфь пожалала плечами.

– Меня там особенно ничего не держит – да, собственно, и нигде. Отец мой был кадровым военным, и вряд ли вы назовете гарнизон, в котором мне не пришлось бы пожить.

– И где бы вы хотели обосноваться? – вкрадчиво поинтересовалась миссис Фолкнер.

– О, в этой части страны очень мило.

– Здесь ужасно холодно, – рассмеялась миссис Фолкнер. – Можно сказать, всемирная штаб-квартира синусита и астмы.

– Ну, во Флориде, конечно, жить куда легче. Думаю, будь у меня выбор, мне больше всего подошла бы Флорида.

– Вообще-то, у вас есть выбор.

Руфь поставила чашку на стол.

– Я собираюсь обосноваться здесь – как хотел Тед.

– Я имею в виду, когда родится ребенок, – проговорила миссис Фолкнер. – Тогда вы сможете уехать, куда пожелаете. У вас есть деньги по страховке, я еще добавлю, и вы вполне сможете поселиться в милом маленьком городке вроде Санкт-Петербурга.

– А как же вы? Вы ведь хотели, чтобы ребенок был рядом?

Миссис Фолкнер потянулась к холодильнику.

– Вот, милая, вам ведь нужны сливки. – Она поставила перед ней кувшинчик. – Разве вы не видите, как чудесно все для нас складывается? Вы оставите ребенка со мной, а сами будете совершенно свободны жить так, как пристало любой молодой женщине. – В голосе миссис Фолкнер зазвучали доверительные нотки. – Разве не этого Тед хотел от нас обоих?

– Черта с два он хотел такого!

Миссис Фолкнер поднялась на ноги.

– Думаю, мне лучше судить. Тед со мной каждую минуту, когда я нахожусь в этом доме.

– Тед мертв, – не веря ушам, проговорила Руфь.

– Это так, – нетерпеливо перебила миссис Фолкнер. – Для вас он мертв. Вы теперь не можете чувствовать его присутствие или знать, чего он хочет, потому что едва знакомы с ним. Нельзя узнать человека за пять месяцев.

– Мы были мужем и женой, – сказала Руфь.

– Большинство мужей и жен чужие друг другу, пока смерть не разлучит их, милая. Я едва знала своего мужа, а мы ведь прожили вместе не один год.

– Некоторые матери пытаются сделать своих сыновей чужими для всех женщин, кроме себя, – горько произнесла Руфь. – Хвала Господу, вам это не удалось!

Миссис Фолкнер по-мужски резко бросилась в гостиную. Руфь услышала, как заскрипели пружины стула перед святилищем. И вновь послышался шепот диалога с пустотой.

Спустя десять минут Руфь с собранным чемоданом стояла в гостиной.

– Дитя, куда ты? – спросила миссис Фолкнер, даже не взглянув на нее.

– Прочь – на Юг, наверное.

Руфь держала ступни сомкнутыми, высокие каблуки все глубже погружались в ковер по мере того, как она нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. Она много чего хотела сказать старшей женщине и ждала, когда та повернется к ней лицом. Сотни гневных фраз пришли ей на ум, пока она собирала вещи – фраз, которые не нуждались в ответе.

Миссис Фолкнер не обернулась, по-прежнему не сводя глаз с безделиц на полке. Ее широкие плечи поникли, голова опустилась словно под тяжестью знания, известного только ей одной.

– Что вы такое, мисс Харли, эдакая богиня, которая может даровать или лишать человека самого ценного, что у него есть в жизни?

– Вы хотели, чтобы я дала вам куда больше, чем вы имеете право просить.

Руфь представила себе, как должен был чувствовать себя маленький мальчик, стоя на этом самом месте, пока эта одержимая



женщина решала, что он должен сейчас сделать.

– Я прошу только того, что просит мой сын.

– Это не так.

– Она не права, верно ведь, дорогой? – обратилась миссис Фолкнер к горке. – Она недостаточно тебя любит, чтобы слышать так, как слышит тебя мама.

Руфь бросилась к двери, выбежала на мокрую улицу и судорожно замахала первому же озадаченному водителю.

– Я не такси, дамочка.

– Пожалуйста, отвезите меня на вокзал!

– Послушайте, дамочка, я еду совсем в другую сторону. – Руфь разразилась слезами. – Ладно, ладно. Ради всего святого, успокойтесь. Полезайте в машину.

* * *

– Поезд номер четыреста двадцать семь на Сенеку прибывает на четвертый путь, – объявил голос из громкоговорителя.

Голос явно хотел разбить любую иллюзию любого пассажира по поводу того, что его пункт назначения уж точно лучше того места, из которого он отправляется. Сан-Франциско объявляли так же безжизненно, как какую-нибудь Трою, а Майами звучало ничуть не более соблазнительно, чем Ноксвилл.

Под потолком зала ожидания прогремело, и колонна рядом с Руфью затряслась. Она подняла глаза от журнала и взглянула на вокзальные часы. Следующий поезд, на Юг, был ее. Когда она покупала билет, проверяла багаж и устраивалась на жесткой скамье, чтобы скоротать время до поезда, ее движения были быстрыми, целенаправленными, а походка почти развязной. Движения были аккомпанементом к гневному диалогу, не прекращавшемуся в ее голове. Руфь представляла, как хлещет миссис Фолкнер безжалостной правдой и победоносно удаляется, оставив эту женщину с ее лживыми извинениями и слезами.

К этому моменту мстительные фантазии доставили Руфи удовлетворение, помогли забыть о недавней мучительнице. Она чувствовала только лишь скуку и зарождающееся одиночество. Чтобы избавиться от одного и другого, она принялась рассматривать людей в зале ожидания, по лицам, одежде и багажу угадывая банальные обстоятельства, которые привели каждого на вокзал.

Вот высокий солдат с детским лицом сухо беседует с хорошо одетыми родителями: из колледжа и серой фланели прямым на призывной пункт... медаль за отличную стрельбу... умен, богат... отцу неловко, что у сына такое низкое воинское звание...

Мучительный кашель прервал ее мысли. Старик, прижавшийся к подлокотнику на краю совершенно пустой скамьи, сложился пополам от приступа кашля. Наконец кашель успокоился, и старик снова затянулся сигаретой, зажатой между грязными пальцами.

Хрупкая ясноглазая старушка протянула носильщику доллар и заставила его внимательно выслушать точные инструкции по поводу того, как обращаться с ее багажом – она отправлялась в ежегодное путешествие, чтобы лишний раз осудить детей и наложить лапу на внуков...

Снова мучительный кашель. В этот раз порыв сквозняка от дверей донес до ее ноздрей зловонное дыхание. Кашель усилился, лишая его последних сил. Сигарета упала на пол.

Руфь пересела на скамье так, чтобы иметь возможность не видеть его.

Вот запыхавшийся толстяк с жизнерадостным красным лицом, выглядывающим из-под фетровой шляпы, упрасивает, чтобы его пропустили к кассе без очереди – наверняка коммивояжер... шарикоподшипники, или водонагреватели, или что-то еще... Снова мучительный кашель. Раздраженная тем, что столь неприятное зрелище вновь привлекает ее внимание, Руфь взглянула на старика. Содрогаюсь всем телом, тот перегнулся через подлокотник скамьи.



Толстяк-коммивояжер бросил взгляд на старика и снова уставился вперед, сохраняя место в очереди. Старушка, все еще инстинктивно носильщика, подняла голос, чтобы неожиданная помеха не помешала услышать ее. Молодой солдат и его воспитанные родители не были столь вульгарны, чтобы признать, что рядом происходит что-то неприятное. Разносчик газет вбежал в зал ожидания, двинулся было в сторону Руфи и старика, резко притормозил и направился в другой конец зала, выкрикивая новости о трагедии, случившейся за тысячу миль отсюда.

– Читайте сенсационные новости!

Над головой прогрохотало эхо следующего поезда. Все двинулись в сторону перрона, избегая прохода, в котором лежал старик, но делая вид, будто выбрали путь к поезду совершенно случайно.

– Буффало, Гаррисбург, Балтимор и Вашингтон, – объявил голос в громкоговорящем теле.

Руфь поняла, что это и ее поезд. Она поднялась на ноги, стараясь не смотреть на старика. Он просто мертвецки пьян, говорила она себе. Пусть полегит здесь и проспится. Она взяла журнал и сумочку под мышку. Кто-нибудь – полиция или какая-нибудь благотворительная организация, или кто там еще должен это делать – наверняка скоро подберет его.

– На посадку!

Руфь обогнула старика и поспешила на перрон. Сырой холод с шипеньем спускался на платформу, окутывая ее. Бледные огни, колышущиеся в клубах пара, казалось, тянулись в бесконечность – ненастоящие, неспособные повлиять на ее мысли. А мысли всё возвращались к назойливому, повторяющемуся звуку – стариковскому кашлю. Он звучал в ушах всё громче и громче, словно усиливаясь и отражаясь эхом в каменном мешке.

– На посадку!

Руфь развернулась и бросилась прочь с перрона. Несколькими секундами позже она

уже склонилась над стариком, расстегивая ему ворот, растирая запястья. Она помогла ему вытянуть тощее тело во весь рост на скамье и положила под голову свернутый плащ.

– Носильщик! – крикнула она.

– Да, мэм?

– Этот человек умирает. Вызовите «скорую»!

– Да, мэм.

Когда Руфь направилась к выходу, загудели сирены. Она не услышала их, стараясь вспомнить всех бесчувственных людей на вокзале. «Скорая» увезла старика, и теперь Руфь, которая опоздала на поезд, предстояло провести еще четыре часа в родном городе Теда.

«Только потому, что он уродлив и грязен, вы не захотели помочь ему, – говорила она воображаемой толпе. – Он болен и нуждался в помощи, а вы думали только о себе, боясь даже прикоснуться к нему. Стыдитесь».

Руфь с вызовом смотрела на проходящих мимо людей, получая в ответ озадаченные взгляды.

– Вы притворились, что с ним не происходит ничего страшного, – пробормотала она.

Руфь убивала время в типично женской манере, делая вид, будто вышла за покупками. Она критически разглядывала витрины, шупала ткани, приценивалась и обещала продавщицам, что вернется за покупкой после того, как зайдет еще в пару магазинов. Все это Руфь делала почти автоматически, а тем временем мысли ее возвращались к поступку, которым она теперь гордилась. Она оказалась одной из немногих, говорила себе Руфь, кто не стал убегать от неприкасаемых. От нечистых, больных незнакомцев.

Мысль была жизнеутверждающей, и Руфь позволила себе думать, что Тед разделит бы с ней радость. С мыслью о Теде перед ней встал образ его жуткой матери. Ей стало еще приятнее, когда она подумала, насколько эгоистична миссис Фолкнер по сравнению с ней. Та так и сидела бы в зале ожидания,



безразличная ко всему, кроме трагедии своей собственной жалкой жизни. Она бы наверняка общалась с призраком, пока старик испускал дух.

Руфь вспомнила горькие, унижительные часы, проведенные с этой женщиной, запугивание и лесть во имя кошмарного понимания материнства и горстки безделушек. Отвращение и желание уехать вернулось к ней с новой силой. Руфь облокотилась на прилавок ювелирного магазинчика и оказалась лицом к лицу со своим отражением в зеркале.

– Могу я помочь вам, мадам? – обратилась к ней продавщица.

– Что? О... нет, спасибо, – проговорила Руфь.

Лицо в зеркале было мстительным, самодовольным. В глазах был тот же холодный блеск, что и в тех, которые смотрели на старика на вокзале и не видели его.

– Вам нездоровится? Может, присядете на минутку?

– Нет-нет... ничего страшного, – отсутствующим голосом ответила Руфь. – Она отвела взгляд от зеркала. – Так глупо. У меня просто на минутку закружилась голова. Теперь все прошло. – Она неуверенно улыбнулась. – Большое вам спасибо, но мне надо торопиться.

– На поезд?

– Нет, – устало проговорила Руфь. – Очень больная старая женщина нуждается в моей помощи.

ОБМАНЩИКИ

© Перевод. Андрей Криволапов

Жизнь была добра к Дурлингу Стедману. Он водил новенький «кадиллак» цвета вареного лобстера. А к заднему бамперу «кадиллака» крепилось сцепное устройство, при помощи которого Стедман перемещал свой серебряный дом на колесах весной на Кейп-Код, а осенью во Флориду. Стедман был художником – он писал картины. Хотя художника он не слишком напоминал. Своими профессиональными приемами он частью походил на стопроцентного бизнесмена, делового человека, который понимает, что такое платить по счетам, человека из народа, полагающего, что художники по большей части – глупые мечтатели, а искусство в основном представляет собой сухую чепуху. Стедман приближался к шестидесятилетию и внешне напоминал Джорджа Вашингтона.

Вывеска над его мастерской в квартале художников городка Семинол-Хайлендс, штат Флорида, говорила сама за себя: «Дурлинг Стедман – искусство без дураков».

Он расположил свою мастерскую в самом логове соперничающих друг с другом художников-абстракционистов. Ловкий ход, поскольку большую часть туристов абстракционисты сердили и раздражали, и тут посреди разноцветной невнятицы зеваки вдруг натыкались на Стедмана и его работы. Картины Стедмана были очаровательны, как почтовые открытки, а сам художник казался старым приятелем из родных мест.

– Я – оазис, – любил говаривать он.

Каждый вечер Стедман выставлял мольберт прямо перед входом в мастерскую и демонстрировал свое мастерство. Он работал примерно час под внимательными взглядами зевак, затем ставил точку, помещая картину в золоченую рамку. Толпа понимала, что действие закончилось, и раздражалась аплодисментами. Шум уже не мог испортить шедевр, потому что шедевр был завершен.

Стоимость шедевра указывалась на карточке, прикрепленной к рамке: «60 долларов



вместе с рамкой. Спрашивайте о наших специальных условиях». Слово «наших» на карточке означало, что речь идет о Стедмане и его жене Корнелии.

Корнелия не слишком разбиралась в искусстве, однако была уверена, что ее муж – второй Леонардо да Винчи. Впрочем, так считала не только Корнелия.

– Богом клянусь, – однажды вечером проговорила потрясенная женщина из толпы зевак, – когда вы рисовали эти березы, вы и впрямь будто березовую краску взяли – будто любой может такую краску взять, и вот вам березовая кора. И с облаками так же, будто это облачная краска такая, что любой возьми да и нарисуй не глядя!

Стедман игриво протянул ей мольберт и кисть.

– Прошу, мадам.

Он безмятежно улыбнулся, но улыбка была дежурной – просто чтобы не сорвать представление. Всё было вовсе не безмятежно. Сегодня, отправляясь на ежевечернюю демонстрацию своего мастерства, Стедман оставил жену в слезах. Он не сомневался, что Корнелия и сейчас еще рыдает в трейлере – рыдает над вечерней газетой. В этой газете художественный критик назвал Стедмана многокрасочным обманщиком.

– Святые угодники, нет! – воскликнула женщина, которой Стедман предложил мольберт и кисть. – У меня даже пустое место не получится на себя похожим. – Она отшатнулась, спрятав руки за спину.

И тут на сцене появилась Корнелия. Бледная и дрожащая, она вышла из мастерской и встала рядом с мужем.

– Я хочу кое-что сказать всем этим людям, – заявила она.

Все эти люди никогда раньше не встречали Корнелию, однако она мгновенно заставила их понять, что собой представляет. Испуганная, робкая и застенчивая – она никогда раньше не обращалась к толпе. Было совершенно ясно, что только катаклизм невиданной силы мог развязать ей язык. Корнелия Стедман внезапно стала олицетворением

всех милых, тихих, преданных и смущенных домохозяйек всех времен и народов.

Стедман лишился дара речи. Ничего подобного он не ожидал.

– Через десять дней, – дрожащим голосом проговорила Корнелия, – моему мужу исполнится шестьдесят. И я все думаю, как долго нам еще придется ждать, когда мир в конце концов очнется и признает его одним из величайших живописцев, когда-либо живших на свете. – Она прикусила губу, пытаясь сдержать слезы. – Один чванливый болван-критик написал в сегодняшней газете, будто мой муж обманщик. – Слезы хлынули из ее глаз. – Чудесный подарок на шестидесятилетие человеку, который всю свою жизнь посвятил искусству!

Собственные слова настолько потрясли Корнелию, что она едва собралась с силами, чтобы продолжить.

– Мой муж, – в конце концов произнесла она, – представил десять чудесных работ на ежегодную выставку так называемой Ассоциации искусств Семинол-Хайлендс, и все они до единой были отвергнуты.

Корнелия указала пальцем на картину в витрине другой мастерской, расположенной через дорогу прямо напротив. Ее губы шевелились. Она пыталась сказать что-то о картине – громадной ужасающей абстракции, – но не смогла издать ни единого осмысленного звука.

Речь Корнелии была окончена. Стедман нежно препроводил ее в мастерскую и прикрыл дверь. Он поцеловал жену, смешал ей коктейль. Стедман чувствовал себя не слишком уютно, поскольку прекрасно знал, что он действительно обманщик. Знал, что его картины ужасны, знал, что такое хорошая живопись и что такое хороший живописец. Вот только почему-то так и не удосужился поделиться этим знанием с женой.

Высокое мнение Корнелии о его таланте, хотя и демонстрировало ее ужасный вкус, было самым ценным сокровищем Стедмана. Прикончив напиток, Корнелия смогла наконец закончить и речь.



– Все твои чудесные работы отвергнуты, – проговорила она. Затем ткнула в картину через дорогу, и рука ее была тверда и неподвижна. – А эта мазня взяла первую премию!

– Ну-ну, малышка, – сказал Стедман. – Что ни делается, все к лучшему, а лучшего у нас хватает.

Картина через дорогу была невероятным творением – мощным и искренним, – и Стедман знал это, чувствовал всем естеством.

– Малышка, в живописи существуют самые разные направления, – сказал он, – и некоторым людям нравится одно, а некоторым совсем другое, так устроен мир.

Корнелия не отводила взгляда от картины напротив.

– Я бы этот кошмар и в сарай не повесила, – мрачно проговорила она. – Против тебя сплели заговор, и пришла пора положить ему конец. – Корнелия встала, медленно, угрюмо, по-прежнему глядя на противоположную сторону улицы. – И что это она вывесила в витрине?

На противоположной стороне улицы Сильвия Лазарро клеила газетную вырезку в витрину мастерской своего мужа. Вырезка была с той самой статьей, где Стедмана называли обманщиком. Сильвия выставила статью на всеобщее обозрение вовсе не из-за этого, а по причине того, что в статье говорилось о ее муже, Джоне Лазарро.

А там говорилось, что Лазарро самый выдающийся художник-абстракционист во Флориде. Говорилось, что он способен выразить сложные эмоции при помощи невероятно простых элементов. Там говорилось, что Лазарро пишет одной из самых редких красок – он пишет душой. А еще там говорилось, что Лазарро начал свою карьеру как мальчик-вундеркинд, обнаруженный в трущобах Чикаго.

Лазарро было всего двадцать три года. Он никогда не учился в художественной школе. Он был самоучкой.

В витрине с газетной вырезкой была выставлена картина, которая заслужила все

эти похвалы, равно как и денежный приз в двести долларов. На этой картине Лазарро попытался запечатлеть на холсте тягостную неподвижность, безумную боль и холодный пот за мгновение до того, как разразится гроза. Облака на картине не были похожи на настоящие облака. Они были похожи на серые валуны – плотные как гранит и в то же время каким-то образом рыхлые и пропитанные влагой. И земля не была похожа на настоящую землю. Она скорее напоминала горячую, потускневшую медь. Нигде никакого укрытия. Любой, кто оказался бы в этот мрачный миг в этом мрачном месте, вынужден был бы съежиться на горячей меди под сырыми глыбами – и принять то, что в следующее мгновение обрушит на него природа.

Картина была до ужаса мрачной – место для такой нашлось бы только в музее или в собрании маниакального коллекционера. Картины Лазарро продавались плохо. Он и сам был им под стать – грубый и злой. Ему нравилось казаться опасным, казаться бандитом. Но он не был опасен. Он боялся. Боялся того, что он самый большой обманщик из всех.

Лазарро лежал одетым на кровати в темноте. Единственным источником света в мастерской был отблеск расточительной иллюминации, освещающей жилище Стедмана на той стороне улицы. Лазарро угрюмо размышлял о том, какие подарки мог бы купить жене на двухсотдолларовую премию, если бы ее тут же не растащили кредиторы.

Сильвия отошла от окна и присела на краешек его кровати. До того, как Лазарро посватался к ней, она была бойкой простушкой-официанткой. Три года совместной жизни со сложным и талантливым мужем добавили Сильвии кругов под глазами, а кредиторы превратили всегдашнюю живость в веселое отчаяние. Но Сильвия не собиралась сдаваться. Она не сомневалась, что ее супруг – второй Рафаэль.

– Почему ты не хочешь почитать, что о тебе написали в газете? – спросила она.



– Никогда не видел толку в художественных критиках, – ответил Лазарро.

– Зато они в тебе видят, – возразила Сильвия.

– Ура, – безучастно проговорил Лазарро.

Чем больше хвалы возносили ему критики, тем сильнее он съеживался на горячей меди под сырными глыбами. Руки и глаза Лазарро были так устроены, что он не мог добиться в изображаемых предметах ни малейшего сходства. Его картины были жестокими не потому, что он хотел выразить эту жестокость – он просто не умел писать по-другому. На первый взгляд, Лазарро не испытывал к Стедману ничего, кроме презрения. Но глубоко в душе он испытывал благоговение перед руками и глазами Стедмана – руками и глазами, которые могли сделать все, чего тот хотел от них.

– У лорда Стедмана через десять дней юбилей, – сообщила Сильвия. Она прозвала Стедманов «лорд и леди Стедман», потому что те были так богаты и потому что Лазарро были так бедны. – Леди Стедман вышла из трейлера и произнесла по этому поводу большую речь.

– Речь? – переспросил Лазарро. – Не знал, что у леди Стедман есть голос.

– Сегодня он у нее был, – сказала Сильвия. – Она просто взбесилась оттого, что газета назвала ее мужа обманщиком.

Лазарро нежно взял ее за руку.

– Ты защитишь меня, крошка, если кто-то скажет такое обо мне?

– Я убью любого, кто скажет о тебе такое.

– У тебя сигаретки нет? – спросил Лазарро.

– Кончились, – ответила Сильвия.

Сигареты кончились еще в обед.

– Я подумал, вдруг ты припрятала пачку, – сказал Лазарро.

Сильвия уже была на ногах.

– Пойду стрельну у соседей.

Лазарро схватил ее за руку.

– Нет, нет и нет, – проговорил он. – Пожалуйста, ничего больше не стреляй у соседей.

– Но если ты так хочешь курить... – начала Сильвия.

– Неважно. Забудь! – возбужденно выговорил Лазарро. – Я бросаю. Первые несколько дней самые тяжелые. Зато сэкономим кучу денег... и здоровья.

Сильвия жала его руку, отпустила, подошла к фанерной стене и принялась колотить в нее кулачками.

– Это нечестно, – горько проговорила она.

– Ненавижу их!

– Ненавидишь кого? – Лазарро сел.

– Лорда и леди Стедман, – произнесла она сквозь сжатые зубы. – Выставляют повсюду напоказ свои деньги. И этот лорд Стедман со своей толстенной двадцатипятицентовой сигарой в зубах продает свои дурацкие картинки – только свист стоит... а ты пытаешься принести в этот мир что-то новое и прекрасное, а не можешь позволить себе даже сигарету!

В дверь настойчиво постучали. Снаружи слышался людской гомон, словно зеваки Стедмана переместились на эту сторону улицы. А потом послышался голос и самого Стедмана, терпеливо увещающий:

– Ну послушай же, малышка...

Сильвия подошла к двери и распахнула ее.

Снаружи стояли леди Стедман, гордо задрав голову, лорд Стедман, понурившийся от неловкости, и горстка зевак, весьма заинтересованная происходящим.

– Сию же секунду уберите эту мерзость из вашей витрины, – заявила Корнелия Стедман Сильвии Лазарро.

– Убрать что из моей витрины? – поинтересовалась Сильвия.

– Уберите газетную вырезку из вашей витрины, – сказала Корнелия.

– А что не так с вырезкой? – осведомилась Сильвия.

– Вы знаете, что не так с вырезкой, – нахмурилась Корнелия.

Лазарро слышал, как голоса двух женщин повышаются. Поначалу они звучали достаточно безобидно – почти по-деловому, но каждая фраза заканчивалась на чуть более высокой ноте. Лазарро подошел к двери мастерской как раз вовремя, за секунду до



того, как между двумя женщинами сверкнула молния – между двумя славными женщинами, которые зашли слишком далеко. Тучи, которые сгустились над Корнелией и Сильвией, не были тяжелыми и влажными. Они сверкали ядовитой зеленью.

– Вы имеете в виду, – решительно проговорила Сильвия, – ту часть статьи, где говорится, что ваш муж обманщик, или ту, где моего называют великим художником?

И грянул гром.

Женщины не касались друг друга. Они стояли лицом к лицу, и каждая хлестала соперницу страшной правдой. Но, независимо от того, какие слова они выкрикивали, ни одна не чувствовала удара, поскольку безумное наслаждение битвы захватило обеих. Кто настоящему страдал, так это их мужья.

Каждая насмешка Корнелии больно жалила Лазарро. Он взглянул на Стедмана и увидел, что тот моргает и хватается ртом воздух каждый раз, как очередную колкость отпускает Сильвия.

Когда перепалка постепенно начала утихать, слова женщин стали более конкретными и взвешенными.

– Вы в самом деле думаете, что мой муж не способен намалевать дурацкую старомодную картинку с индейцем в березовом каноэ или хижинкой в лесу? – поинтересовалась Сильвия Лазарро. – Да он не глядя такое нарисует! Он не делает этого, потому что слишком честен, чтобы копировать старые календари.

– А вы считаете, мой муж не сможет намазать пятен и придумать им загадочное название? – парировала Корнелия Стедман. – Не сможет размазать краску так, чтобы ваши дружки, чванливые критики, пришли и сказали: «Вот что я называю истинной душой»? Вы серьезно так думаете?

– Еще бы я не думала! – фыркнула Сильвия.

– Хотите маленькое состязание? – осведомилась Корнелия.

– Что пожелаете. – Сильвия пожала плечами.

– Чудненько, – сказала Корнелия. – Сегодня ночью ваш муж напишет картину, на которой хоть что-то будет похоже на само себя, а мой муж напишет то, что вы называете душой. – Она вскинула седую голову. – А утром посмотрим, чья возьмет.

– По рукам. – В голосе Сильвии зазвучали победные нотки. – По рукам.

* * *

– Просто размажь краску, – сказала Корнелия Стедман, заглядывая через плечо мужа.

Она чувствовала себя великолепно, словно сбросила пару десятков лет. Стедман уныло сидел перед чистым холстом. Корнелия выбрала тюбик краски и выдавила из него на холст карминового червяка.

– Чудесно, – проговорила она, – отсюда можно и начать.

Стедман апатично взял в руку кисть и продолжал сидеть неподвижно. Он знал, что потерпит поражение. Стедман много лет вполне жизнерадостно мирился с творческими поражениями, поскольку научился покрывать их сладкой глазурью наличных. Но сегодня – он знал это – творческий крах предстанет перед ним так откровенно, так ярко, что придется открыто признать его. Стедман не сомневался, что на другой стороне улицы Лазарро в эти самые минуты создает нечто настолько совершенное, живое и трепещущее, что оно способно потрясти даже Корнелию вместе с толпами зевак. А Стедману станет настолько стыдно, что никогда уже больше он не возьмет в руки кисть. Стедман смотрел куда угодно, только не на холст, изучал картины и объявления в мастерской, словно видел их впервые.

«Десятипроцентная скидка на все, что выходит из-под кисти Стедмана, – гласило одно объявление. – И совершенно бесплатно Стедман сделает так, что закат на картине совпадет по гамме с вашими портьерами и ковром».



«Стедман, – сообщало другое объявление, – создаст уникальную картину маслом по любой вашей фотографии».

Стедман вдруг поймал себя на мысли о том, какой шустрый этот Стедман.

Стедман принялся рассматривать работы Стедмана. На каждой картине присутствовала одна тема: уютный маленький домик с дымом из каменной трубы. Прочный маленький домик, который, сколько ни надувай щеки, не сдует никакому волку. И в каком бы месте картины Стедман ни поместил этот домик, он словно говорил: «Входи, усталый путник, кем бы ты ни был – входи и насладись отдыхом».

Стедман представил, как входит в домик, закрывает двери и ставни и садится на коврик у камина. Он смутно осознавал, что на самом деле здесь, в домике, и пробыл последние тридцать пять лет. А теперь его пытаются извлечь оттуда.

– Милый, – позвала Корнелия.

– Гм?

– Ты разве не рад?

– Рад? – переспросил Стедман.

– Рад тому, что мы сможем доказать, кто настоящий художник.

– Ужасно рад. – Стедман выдавил улыбку.

– Так почему же ты не начнешь работать? – спросила Корнелия.

– И правда, почему, – пробормотал Стедман.

Он поднял кисть и принялся тормошить ею карминового червяка. Через несколько секунд на холсте появилась карминовая березовая роща. Еще пара дюжин бездумных движений кистью – и рядом с рощицей был возведен маленький карминовый домик.

– Индеец! Нарисуй индейца. – Сильвия Лазарро расхохоталась, потому что Стедман всегда рисовал индейцев. Она прикрепил к мольберту Лазарро свежий холст и теперь барабанила по нему пальцами. – Сделай его ярко-красным, с орлиным носом, – продолжала она. – А позади за горами пусть сидит

ся солнце, и не забудь маленький домик на склоне горы.

Взгляд Лазарро остекленел.

– Всё на одной картине? – угрюмо проговорил он.

– Конечно! – воскликнула Сильвия. Она словно снова превратилась в игривую невесту. – Нарисуй всё это, чтобы раз и навсегда положить конец разговорам этих людей о том, что у них детишки рисуют лучше тебя.

Лазарро сгорбился и потерял глаза. То, что он рисовал, как ребенок, было абсолютной правдой. Он рисовал, как поразительный ребенок с безумным воображением – но все равно, как ребенок. Некоторые картины, которые Лазарро писал сейчас, почти не отличались от тех, что он рисовал в детстве.

Он иногда думал, что, возможно, его самая первая работа и есть самая великая. Лазарро нарисовал ее краденными цветными мелками на тротуаре чикагской трущобы. Ему было двенадцать. Он начинал свою первую большую работу частью как розыгрыш, частью как шантаж. Картина мелками становилась все больше и больше – и все безумнее. Зеленые полотнища дождя, украшенные кружевом черных молний, хлестали по скрюченным пирамидам. Местами на картине был день, а местами ночь, и днем светила бледная серая луна, а ночью жаркое красное солнце.

Чем больше и безумнее становилась картина, тем больше она нравилась растущей толпе зрителей. На тротуаре все изменилось. Незнакомцы приносили художнику всё новые мелки. Приехала полиция. Приехали репортеры. Приехали фотографы. Приехал даже сам мэр. Когда юный Лазарро наконец поднялся с колен, он стал, хотя бы на один день, самым знаменитым и любимым художником на Среднем Западе.

Сегодня Лазарро уже не был мальчиком. Он мужчина, который зарабатывает на жизнь, рисуя, как мальчик, а жена просит его изобразить индейца, который действительно похож на индейца.



– Это же так легко для тебя, – говорила Сильвия. – Тут ведь не надо ни во что вкладывать душу. – Она нахмурилась и прищурила глаза, словно высматривая что-то на горизонте, как один из индейцев Стедмана. – Просто нарисуй им здоровенного краснокожего!

К часу ночи Дурлинг Стедман был на грани сумасшествия. Холст перед ним был покрыт несколькими фунтами краски. А сколько фунтов ему уже пришлось соскоблить! Какую бы абстракцию ни пытался изобразить Стедман, банальные жизненные сюжеты пробивались сквозь нее. Куб все равно превращался у него в домик, конус – в покрытую снегом горную вершину, а сфера становилась полной луной. Отовсюду выглядывали индейцы в таком количестве, что их хватило бы для панорамы битвы при Литтл-Бигхорн.

– Никак не можешь отодвинуть в сторону свой талант? – посочувствовала ему Корнелия.

Стедман вскипел и велел ей отправляться в постель.

– Мне будет легче, если ты не станешь смотреть, – раздраженно сказал Джон Лазарро жене.

– Я просто не хочу, чтобы ты слишком перенапрягался. – Сильвия зевнула. – Если я уйду, то, боюсь, ты опять начнешь вкладывать душу и все усложнишь. Просто нарисуй индейца.

– Я рисую индейца, – сказал Лазарро. Нервы его были натянуты как струна.

– Ты... не против, если я задам вопрос? – спросила Сильвия.

Лазарро закрыл глаза.

– Конечно, не против.

– Где индеец?

Скрипнув зубами, Лазарро ткнул в центр холста.

– Вот твой паршивый индеец.

– Зеленый? – спросила Сильвия.

– Это подмалёвок.

– Милый, не нужно тут никакого подмалёвка. Просто нарисуй индейца. – Сильвия взяла тюбик краски. – Вот, смотри, отличный цвет для индейца. Просто нарисуй его, а потом раскрась – как в книжках-раскрасках с Микки-Маусом.

Лазарро отшвырнул кисть в другой конец комнаты.

– Да я и Микки-Мауса не раскрасшу, когда кто-то смотрит мне через плечо! – взревел он.

Сильвия отшатнулась.

– Прости. Я просто хотела объяснить тебе, как это легко.

– Марш в постель! – приказал Лазарро. – Ты получишь своего грёбаного индейца. Только иди спать.

Услышав вопль Лазарро, Стедман ошибочно принял его за вопль радости. Стедман был уверен, что такой вопль может означать только две вещи: или Лазарро закончил картину, или окончательно скомпоновал ее, и скоро она будет написана.

Он пытался представить себе картину Лазарро – то как мерцающего Тинторетто, то как туманного Караваджо, а то и как вихреобразного Рубенса. Упрямо, не понимая, жив он или мертв, Стедман принялся методично убивать индейцев ножом-палитрой.

Его презрение к себе достигло пика. Осознав, насколько глубоко это презрение, Стедман прекратил работу. А презрение к себе оказалось настолько глубоким, что Стедман решил, невзирая на стыд, без всякого стеснения перейти улицу и купить у Лазарро картину, в которой есть душа. Он готов был заплатить Лазарро круглую сумму за право поставить свою подпись под картиной Лазарро и за обещание Лазарро хранить молчание об этой позорной сделке.

Приняв такое решение, Стедман снова принялся рисовать. Но теперь это была бесстыдная оргия его старого, доброго, вольгарного, бездушного «я». Несколькоими сабельными ударами кисти он создал горный хребет. Провел кистью над горами, и после



нее остались облака. Тряхнул кисть над склонами, и отовсюду повыскакивали индейцы.

Индейцы тут же изготовились к атаке на что-то в долине. Стедман знал, на что. Он встал и сердито нарисовал домик. Нарисовал открытые двери. Нарисовал себя внутри.

– Вот вам квинтэссенция Стедмана, – презрительно бросил он и горько рассмеялся. – Вот он, старый болван.

Стедман вернулся в трейлер и убедился, что Корнелия крепко спит. Проверил деньги в бумажнике, прокрался обратно в мастерскую и отправился на другую сторону улицы.

Лазарро дошел до полного измождения. У него было чувство, будто он не работал последние пять часов, а пытался спасти индейца с вывески сигарной лавки из зыбучего песка. Зыбучий песок был изображен на холсте Лазарро.

В конце концов Лазарро прекратил попытки вытащить индейца на поверхность и позволил ему ускользнуть в Леса Счастливой Охоты.

Поверхность картины сомкнулась над индейцем – а также над самоуважением Лазарро. Жизнь назвала Лазарро лжецом, и он всегда знал, что когда-нибудь такое случится. Он попытался ухмыльнуться словно жулик, который собрался бросить свои проделки, которыми занимался долгие годы. Но в действительности Лазарро не хотел этого. Он очень любил писать картины и хотел писать их всю жизнь. Если он и обманщик, то одновременно он и жертва самого изощренного обмана.

Уронив неуклюжие руки на колени, Лазарро представил, что сейчас делают умелые руки Стедмана. Если Стедман велит своим волшебным рукам стать искушенными и умелыми, как у Пикассо, они станут искушенными и умелыми. Если велит им быть жестко прямолинейными, как у Мондриана, они станут жестко прямолинейными. Велит стать злобно-детскими, как у Клее, станут злобно-детскими. А велит стать сердито-не-

умелыми, как у Лазарро, и эти волшебные руки смогут стать именно такими.

Лазарро готов был пасть настолько низко, что в голову ему даже пришла идея выкрасть одну из работ Стедмана, поставить на ней свое имя и силой заставить бедного старика молчать об этом. Ниже падать было уже некуда, и Лазарро принялся писать картину о своих чувствах – о том, какой он лживый, какой грубый, какой мерзкий. Картина была почти черной. Это была последняя картина, которую собирался написать Лазарро, и она называлась «Ни черта хорошего».

У дверей студии послышались звуки, словно снаружи было какое-то больное животное. Лазарро яростно продолжал работу. Звуки послышались снова. Лазарро направился к двери и распахнул ее.

Снаружи стоял лорд Стедман.

– Если я похож на человека, которого вот-вот вздернут, – сказал Стедман, – то не сомневайтесь, именно так я себя и чувствую.

– Входите, – сказал Лазарро. – Входите.

Этим утром Дурлинг Стедман проспал до одиннадцати. Он пытался заставить себя поспать еще, но не смог. Стедман не хотел вставать. Анализируя причины этого нежелания, он обнаружил, что совершенно не напуган грядущим днем. В конце концов, проблему минувшей ночи он сумел разрешить весьма ловко – обменявшись картинами с Лазарро.

Стедман больше не боялся унижения. Он поставил свое имя на картине, где есть душа. Там, в странной тишине, царящей снаружи, его наверняка ждет слава. Стедман не хотел вставать по другой причине – у него было чувство, будто прошлой безумной ночью он утратил нечто бесценное.

Пока Стедман брился и рассматривал себя в зеркале, он понял, что бесценная вещь это не честность – он по-прежнему оставался гениальным старым обманщиком. И это не деньги – они с Лазарро поменялись баш на баш. Стедман прошел из трейлера в мастерскую, но там никого не было. Для туристов



рановато, они появятся часам к двенадцати. Корнелии тоже нигде не было видно.

Чувство, будто он утратил что-то важное, стало настолько сильным, что Стедман поддался порыву перерыть все шкафы и ящики в мастерской в поисках один Бог знает чего. И он хотел, чтобы жена помогла ему.

– Милая! – позвал он.

– А вот и он! – раздался возглас Корнелии снаружи.

Она вбежала в мастерскую и потащила его на улицу к мольберту, на котором Стедман демонстрировал туристам свое мастерство. На мольберте стояла черная картина Лазарро. Она была подписана Стедманом и при свете дня предстала совершенно в новом качестве. Чернота блестела, казалась живой. А другие цвета больше не казались грязными оттенками черного. Они придавали картине мягкий, божественный отсвет витража. Более того, это не была картина Лазарро. Она была лучше, чем у Лазарро, потому что в картине отсутствовал страх. Там были красота, гордость и трепещущая жизнь.

Корнелия сияла.

– Ты победил, милый... ты победил, – проговорила она.

Молчаливым полукругом перед картиной стояли несколько человек, совсем не похожих на тех зевак, к которым привык Стедман. Серьезные художники тихо пришли посмотреть на творение Стедмана. Они были смущены, печальны и полны уважения: пустой, глупый Стедман доказал, что он гораздо больший мастер, чем все они, вместе взятые. Горечь и радость смешались в улыбках, которыми они приветствовали нового мастера.

– Вы только гляньте на мазню на той стороне! – воскликнула Корнелия.

Она указала пальцем через улицу. В витрине мастерской Лазарро была выставлена картина, которую Стедман написал про-

шлой ночью. На ней стояло имя Лазарро. Стедман был потрясен. Картина несколько не напоминала его работы. Да, она была похожа на открытку, но на открытку, отправленную из чьего-то персонального ада.

Индейцы и домик, и старик в домике, и горы, и облака на этот раз не выражали никакого напыщенного романтизма. С реалистичностью Брейгеля, плавностью линий Тернера и гаммой Джорджоне картина повествовала о мятущейся душе несчастного старика.

Картина была тем самым бесценным предметом, который утратил Стедман прошлой ночью. Единственной настоящей работой, которую он создал за всю свою жизнь.

Прямо через дорогу навстречу Стедману шагал Лазарро. Он был очень возбужден. Сильвия Лазарро тянула его за рукав.

– Я никогда тебя таким не видела! – воскликнула она. – Да что случилось?

– Мне нужна эта картина, – громко и раздраженно проговорил Лазарро. – Сколько вы за нее хотите? – рыкнул он на Стедмана. – У меня сейчас нет денег, но я заплачу, когда появятся. Заплачу, сколько скажете. Назовите цену.

– Ты рехнулся? – вскипела Сильвия. – Да у меня для такой вшивой картинки и стены не найдется!

– Заткнись! – рявкнул Лазарро.

Сильвия заткнулась.

– А что вы скажете... что вы скажете насчет обмена? – проговорил Стедман.

Корнелия Стедман расхохоталась:

– Обменять чудесную работу на эту жалкую мазню?

– Молчать! – приказал Стедман. На сей раз старый художник не казался величественным, а действительно стал им. Он обменялся с Лазарро дружеским рукопожатием. – По рукам?



Алексей ПРАНОВ

ГЕРОЙ и КАМЫШНИЦА

Погожее июньское утро. На ежедневной прогулке мой энергичный молодой ягдтерьер, струной натянув поводок, азартно ринулся в прибрежные кущи и в мгновение ока с лаем «вывел на чистую воду» целое, как мне показалось, утиное семейство. Семь чёрных пуховичков, хлопая хилыми зачатками будущих крыл и шлёпая полупрозрачными лапами, с истеричным писком выскочили на чистину и в панике принялись искать другое подходящее укрытие от напугавшего их чудища, которое в их глазах, читай они Третьяковского, в точности подходило бы под классическое описание: «обло, озорно, огромно, стозевно и лайяй». Ужас! Матёрая всполошилась и, следуя врождённому инстинкту, театрально, как могла, стала изображать на воде «умирающего лебедя», тем самым жертвенно «вызывая огонь на себя» – мать есть мать. Да и инстинкт ли это внешне осознанное яркое проявление родительской любви и заботы?!

Продолжалось такое вынужденное представление с минуту, и я успел разглядеть, что вовсе это не утиный выводок, а семейка болотных курочек камышниц, относящихся к отряду пастушковых. Распознать было легко по красной бляшке на лбу и по чёрному матовому окрасу оперения. В дополнение – острый куриный клюв, тоже красный, в отличие от белого у лысухи, с которой их легко перепутать.

Излюбленные места обитания камышниц именно труднодоступные густые заросли тростника и осоки по берегам озёр, прудов, стариц и заводей.

В таких крепях они ведут крайне скрытный образ жизни, таясь от посторонних глаз – отсюда и название. Здесь же, в черте города, курочки мало-мальски притерпелись

к назойливому присутствию человека и уже не столь застенчивы. Соблюдая осторожность, за ними можно понаблюдать, примечая характерные особенности.

Болотные курочки превосходно бегают не только по земле, но и «по воде аки по суху», акробатически лазают по веткам и стеблям, прекрасно плавают и ныряют. При опасности они с разбега поднимаются на крыло, но не асы: такие вынужденные полеты прямолинейны, медленны и непродолжительны. До слёз умильно видеть как заботливая мамаша, набрав сочной ряски, из клюва в клюв подкармливает своих желторотиков. Такой еды вволю и без того, но «из маминых рук» вкуснее...

Тем временем утята (или цыплята?) забились-таки в зыбкий островок редкой осоки, торчащей на мелководье, и затихли. Крепость невесть какая, ну да не до перебора.

Чадолубивая курочка несколько успокоилась и, характерно подёргивая шеей, как бы кланяясь, ритмичными гребками уплыла на широкое, подальше от берега. Уже оттуда подавала она затаившимся чадам дальнейшие наставления сердитым голосом, действительно похожим больше на хныканье и квохтанье, чем на утиное кряканье, – «гроза» ещё не миновала...

Подобные сцены приходилось неоднократно наблюдать и раньше, явление распространённое, и не только в среде водоплавающих. Отводя от потомства нависшую угрозу, подобным образом фальшиво умирают и тетёрки, и самки глухаря копалухи. Нередко и погибают, так что страсти не картонные, а самые что ни на есть настоящие.

Но почему-то именно в этот раз в груди особо проявилось щемящее чувство сопереживания этому самоотверженному



пернатому существу, при необходимости без малейшего сомнения готовому отдать жизнь за своих ещё совсем несмышленных детёнышей. И это дорогого стоит.

А удастся ли сердобольной утице своих птенцов сохранить, выпестовать, поставить на крыло? Трудно!

Враги со всех сторон, куда ни глянь: oprичь хищных ястребов и коршунов, те же чайки и вороны; зубастая щука; хорьки, лисы, одичавшие (а то и домашние) кошки, собаки... Всепожирющие огненные палы, бессмысленные и беспощадные. И, наконец, человек с ружьём, отнюдь не тот, которого не нужно бояться...

Когда-то я написал стихотворение «По перу», где есть такие строки:

...Снаряжу патроны мелкой дробью,
По перу которая подстать,
И на этом поприще попробую

Поутру удачу испытать.

В предрассветных сумерках из дома

В поле, в лес и, что ни говори,

До чего приятная истома –

Предвкушенье утренней зари!

Я и теперь готов подписаться под каждой строчкой, но...

В августе традиционно откроется сезон охоты на пернатых. Нынче я впервые за последние тридцать пять лет не буду брать пугалку – стало жалко убивать.

Похоже, старею...

Ну, а молодой Герой (кликча моей собаки) долго еще пристально вглядывался в камыши, тянул носом, нетерпеливо повизгивал, переминаясь лапами и строча куцым хвостиком, демонстрируя готовность по первой команде броситься в воду и усердно доказать преданность и сентиментальному хозяину, и своему предназначению.

«ОДНАЖДЫ В СТУДЁНУЮ...»

Произошло это в начале восьмидесятых, еще благословенных доперестроечных.

Зима была в апогее – снежная, холодная, по-настоящему русская, без подмеса нынешней гнили и сырости с Атлантики, когда не пойми что. Суровая зима – это всегда испытание на прочность, выносливость, умение сопротивляться или приспособливаться, словом – на выживание. Засветло наклевавшись мёрзлых берёзовых почек, тетерева прямо с деревьев отвесно заныривают глубоко в рыхлый сыпучий снег и, угнездившись поудобней, коротают там длинные морозные ночи в условиях относительной сытости и какого ни на есть уюта.

Наторенные в, казалось бы, непролазных сугробах кабаньи тропы, похожие на траншеи, облегчают этим животным передвижение в неустанных поисках скудного пропитания и укромных мест отдыха, где они, сгрудившись, обогревают друг друга своими телами и дыханием.

Подводные обитатели (по-теперешнему, на казённо-суконном языке «водные биологические ресурсы», прости Господи) стаями концентрируются в непромерзаемых речных глубинах, цепенеют в ожидании перемен к лучшему, с трудом преодолевая недостаток тепла, света, кислорода.

Седая пора глухозимья... Но человеку даже в такую пору не сидится в четырёх стенах! Особенно неистребимо это у охотников и рыболовов: тянет, зовёт, неодолимо манит то, чему чаще всего и не ищут логического объяснения, ссылаясь на расхожее «охота пуще неволи», чем и раскрываются якобы тайные пружины подобной непоседливости.

Кстати, в этом устоявшемся и часто не к месту употребляемом выражении «Охота» – вовсе не означает промысел, процесс добычи дичи, как принято думать, а «неволя» – отнюдь не заключение в узилище, не лишение свободы. Здесь охота – хотение, желание, стремление совершить нечто по



доброй воле, а неволя – принуждение, от глагола «неволишь», заставляя делать не по своей воле. Ну и, соответственно, первое «пуще» сильнее второго, так как по собственному желанию всё делается охотнее, чем по принуждению. Ну, это так, к слову.

Так вот, в один из таких глухих дней потянуло и меня на реку, на зимнюю рыбалку, и никакие резоны – двадцатиградусный мороз, толстый лёд, многоснежье – уже не могли повлиять на принятое решение – вперёд!

...Вначале пришло разочарование: лунки быстро замерзали, леска стекленела, кивок не пружинил. Длины шнека едва хватало пробурить почти метровую толщу панциря – после третьей попытки спина была мокрой, лоб покрылся испариной, плечи ныли. Ещё не всё! Каракат, мотыль, червь, опарыш – всё тщетно! Обычно щедрая и радушная Ипать на этот раз оказывала более чем прохладный приём – ни поклёвки. Зато природа! Вокруг была поэзия.

Ажурно покрытые инеем деревья, в своем убранстве похожие на огромные кораллы, затмевали необычайной белизной всё самое белое, что только можно представить. Даже зелень хвои не просвечивалась сквозь этот плотный слой искрящегося на холодном солнце серебра, прихотливо изукрашившего щетинистые ветки сосен и лапы елей. Ветер ещё накануне смиренно затих и робко затаился, боясь малейшим дуновением потревожить устоявшееся равновесие и тем разрушить неосторожно эту хрупкую чарующую красоту. До хруста сухой морозный воздух перехватывал дыхание, от пронзительной тишины звенело в ушах, смотреть было непривычно от обилия яркого света, заполонившего всё вокруг...

Нет, в глазах не меркло от снежной слепоты, и слюна не застывала в воздухе, превращаясь в ледышку не долетев до земли, но казалось, что это именно и есть то самое пропитанное романтизмом белое безмолвие, о котором читал когда-то у Джека Лондона – величественное, торжественное, невозмутимое.

Несмотря на бесклевье, не хотелось спешить домой, до срока окунуться в суетную и шумную прозу городской жизни. Я собрал хворост, притоптал площадку на берегу, распалил костёр и стал жарить сало на прутике. Возбуждая аппетит, вперемешку пряно запахло дымом, смолой, свежиной с луком, крепким чаем из термоса. Состояние покоя и умиротворённости странным образом передалось и мне, позволив хоть на короткое время почувствовать себя так же благостно, отрешённо от повседневно гнетущих забот, проблем, неприятных переживаний. Чудесные, редкие минуты. Обижен, обделён, кто не испытал подобного.

* * *

Его появление застало меня врасплох. По всем статьям это был кобель – западносибирская лайка – крупный, пепельно-серой масти, с мощной грудью и мускулистой шеей. Умные глаза, острые уши и хвост-завитушка – само собой разумеющиеся атрибуты этой породы, главными достоинствами которой служат неуёмная страсть к охоте, бесстрашие и молниеносная реакция в схватке со зверем, неприхотливость и живой подвижный характер. Мельком перехватив мой настороженный взгляд, нежданный гость, приветливо качнув хвостом, с пониманием деликатно отошёл в сторонку, пьяно пошатываясь. Облюбовав местечко поодаль огня и удушливого дыма, он, как умаявшийся за день трудяга, устало свалился на снег, положил голову на вытянутые лапы и облегченно вздохнул, как вздыхают, когда всё уже преодолено, когда самое трудное позади.

Пошевелив костер, я уселся на рыболовный ящик в ожидании – не зайвится ли следом и хозяин четвероногого красавца, не прозвучит ли вдали выстрел, не покличет ли кто заплутавшего в снежных просторах друга? Нет, тишина.

Невзирая на втянутый живот и впалые бока, от предложенного хлеба «их благородие» высокомерно отказался – не бродяга, не бомж помойный. Кусочком сала оскоро-



мился, но не жадно, не с голодной алчностью, а степенно, как подобает воспитанному псу, после чего занялся личной гигиеной: стал сосредоточенно выгрызать снег и наледь меж пальцев и с подушек лап.

...Тени на снегу посинели и заметно удлинились – зимний день короток, пора собираться. Решив прогреть двигатель, я открыл дверь автомобиля и... едва удержался на ногах. Пёс как будто только и ждал этого момента.

Он стремглав заскочил в салон «Запорожца» и бесцеремонно уселся на пассажирское кресло. Ну, и? – никакого раскаяния в шальной выходке, сидит, как ни в чём не бывало. От такой наглости я несколько опешил, но смирился: не гнать же на мороз бездомного, бесхозного, доверчивого. Так и быть, поехали!

Так мы познакомились, и пёс стал жить у меня. Новосёл быстро обвыкся: живо отзывался на кличку Амур, имел завидный аппетит, покладистый нрав, но терпеть не мог ошейник и упрямо сбрасывал его передними лапами с короткой борцовской шеи. Никто не разыскивал ценную пропажу, да и сам Амур не очень-то парился по этому поводу, не тосковал по прежнему хозяину, по дому. Во всяком случае, внешне это никак не проявлялось.

Мы сдружились, но, как оказалось, ненадолго.

* * *

В ту зиму мой бравый «Запорожец» не вынес выпавших на его долю перегрузок. Укатали Сивку крутые горки – полетела коробка передач. Поломка серьёзная, не лампочку поменять.

По сроку эксплуатации автомобиль всё ещё находился на гарантии и, как было заверено синим штампом в сервисной книжке, для быстрого и бесплатного ремонта его нужно было гнать в областной центр на специализированную станцию техобслуживания. Задача...

Разузнать что почём я отправился на рейсовом автобусе, належке.

За распахнутыми настежь воротами автосервиса с утра натужно трудился грейдер, расчищая территорию от завалившего её снега. Внутри просторного двора тракторок отгарнивал сугробы поближе к забору, вдоль которого плотными рядами дожидались своей очереди на «скорый и бесплатный» ущербные дети отечественного автопрома: жигули, москвичи, такие же, как у меня, запорожцы – калеки, нуждающиеся в срочной реанимации. Судя по тому, что большинство машин было живо погребено под грязными сугробами, нетрудно было догадаться, что обещанная помощь к ним явно запаздывает, а если и придёт, то не раньше, чем растает снег. С грустной думой о вероятно такой же участи и моего «горбунка» я, скрепя сердце и лелея надежду, направился-таки к директору станции для переговоров.

Хамоватый стиль общения тёртого директора с посетителями выработался годами и был не оригинален. Все к нему обращавшиеся условно делились на три категории: кому нужно угодить, кто ему угодил и на оставшееся в сухом остатке большинство (это их «кони» подпирали забор, ржавея под толщей снега).

Переговоры меня не воодушевили: запчастей нет, запись по очереди, много вас таких и «да жалуйтесь кому угодно» вместо «до свидания». Пав духом, я направился к выходу, утешая себя тем, что не приволок сюда полуманный «зэпор», а то было бы ещё досадней.

– Минуточку! – услышал я в последнюю секунду перед тем, как хлопнуть дверью. – Вы, кажется, из Шумячей?

– Нет, из Рославля, но это совсем рядом. А что?

– Охотник?

– Да, охотник.

– Так, так, так, – суетливо затоковал директор, что сулило надежду смены гнева на милость. – Э, э-э, вернитесь, пожалуйста. Вот какое дело... Присядьте!



Собравшись с мыслями, он, как умел, обстоятельно посвятил меня в суть своих интентов:

– Недели две-три тому как – не больше – был я у вас в Шумячах на охоте, друзья пригласили. Деревня Краснобылье, Краснозаборье... – сморщив лоб, пощёлкал в воздухе пальцами, припоминая.

– Краснополье, – подсказал я.

– Да, да! Вы знаете где? Прекрасно! Именно в тех краях. И взял с собой собаку – не свою, отцовскую. Отец у меня настоящий охотник, полковник и... как бы это... строгий человек, старой закалки, требует дисциплины, беспрекословного подчинения. Собаку я взял без разрешения, на свой страх и риск – отец уехал подлечиться ну и поручил мне уход, кормление, всё прочее... В общем, собака, как назло, пропала. Погналась за кем-то в лесу и с концами. Мы ждали, звали, ездили, искали – бесполезно, как в воду канула. Друзья обещали поискать ещё, но пока безрезультатно. Отец со дня на день приезжает, что ему говорить – не знаю. Представляю, какой будет скандал – он в своём Амуре(!) души не чаёт... Может, поспрашиваете там у местных, а вдруг? А я со своей стороны...

– Какой породы собака, приметы?

– Здоровая лайка, самец... или как там... Серый. Да у меня и фотография... – «Охот-

ник» полез в ящик стола. – Вот, посмотрите, чем чёрт, как говорится...

На карточке рядом со статным пожилым человеком в высокой офицерской папахе стоял тот, кого я и ожидал увидеть – Амур. Дважды Амур – не узнать было невозможно.

Переговоры перешли в другую фазу, консенсус был достигнут.

...На следующий день на буксире «Запорожец» был доставлен к месту ремонта. С комфортом, сидя в салоне на пассажирском месте, в нём прибыл и «без вести пропавший» – живой, здоровый, без изъяна к вящей радости директора. Оказавшись в центре внимания и чувствуя важность происходящего, Амур трогательно по-собачьи проявлял свою приязнь то одному, то другому хозяину: радостно вилял хвостом, тёрся о колени, переминался, поджимая уши и виновато заглядывая в глаза. На прощание я дружески потрепал его по холке.

...При желании каждый, наверное, мог бы вспомнить свою такую историю, в которой совершенно случайное стечение обстоятельств приобретает настолько невероятный характер, что остаётся только качать головой и удивляться: ну и ну, бывает же такое! А между тем в жизни чего только не случается, уж вы мне поверьте.

ОХОТА ВО ВСЕ НЕ ЗАБАВА

Сколько раз здесь бывал, всё исхожено вдоль и поперёк, и вот на ж тебе – заблудился! Леший попутал, не иначе.

Часа полтора проплутав от делянки к делянке, я пошёл по песчаному руслу пересохшего лесного ручья, пересёк глубокий заросший ежевичником овраг и вышел на совсем уж незнакомое мне место. И тут я заметил человека. Тот, заранее обнаружив меня по хру-

сту ломающихся под ногами веток, не стал прятаться, но и не окликнул – просто настоженно ждал, когда я приближусь.

На приветствие он сухо ответил кивком головы, не скрывая лёгкого раздражения от присутствия постороннего. Внимательно оглядевшись, я окончательно убедился, что никогда раньше не заходил в этот глухой угол леса. На пологом сухом косогоре, редко по-



росшем молодыми дубками и густо осинником, в первую очередь внимание привлекал высокий, в рост человека деревянный крест, сработанный топором, но так ладно, что топорной работу не назовёшь. Под аккуратным жестяным козырьком в рамочке со стеклом на кресте висела фотография молодого парня. На приземистой лавочке возле креста лежал выцветший рюкзак. Всё это было неожиданно и показалось странным, что, очевидно, и отразилось на моём лице. В растерянности я не нашёлся, как завязать разговор: задавать лишние вопросы в этом партизанском крае не принято искони.

Заметив мое замешательство, незнакомец – седой мужчина лет пятидесяти – смягчился и снисходительно обратился первым:

– Мир тесен. Расслабься, мил-человек, – всё ничего. Присядь вот, помянем сообща, как полагается по русскому обычаю, – указал он на лавочку, забирая с неё рюкзак. В движениях его чувствовалась основательность, в голосе властность, внутренняя уверенность в себе, присущая людям, крепко стоящим на ногах.

– У вас здесь кто-то похоронен?

– Не похоронен. Смерть здесь принял мучительную, какой лютому врагу не пожелаешь... Сын, царствие ему небесное, Юрий... – глаза отца повлажнели, он перекрестился. – Да ты присаживайся, в ногах, сам знаешь...

Из развязанного рюкзака была извлечена бутылка водки, нехитрая снедь. Пили не чокаясь. После третьей стопки Егор, как он представился, указал на обрушенный вход в барсучью нору, по всем приметам уже не жилую, давно заброшенную:

– Вот тут всё и случилось, – и он неспешно, время от времени с волнением затягиваясь сигаретой и подыскивая нужные слова, поведал историю, которая и легла в основу дальнейшего повествования.

* * *

Юрка был добытчиком, каких мало. Охота служила ему не пустой забавой, не «утехой

для мужчин», как пишут иногда в своих журналах городские приверженцы Артемиды, не развлечением, как для большинства великовозрастных балбесов, стреляющих по сойкам да по пустым бутылкам, – охота Юрку кормила, и в этом он превзошёл всех мужиков-односельчан, пробавляющихся ружьём несерьёзно, от случая к случаю. Меха бобра, норки, выдры, куницы, да даже лисы и енота на чёрном рынке у скорняков пользовались спросом и был в цене, что позволяло не только сводить концы с концами, но и безбедно, по местным меркам, существовать. Дичина – солонина, тушенка, копчености – в доме не переводилась, и присловье «дым густой, обед пустой» было не в чести. Опять же рыбалка – тоже подспорье, ещё какое! Правда, вразрез существующим правилам, в нарушение закона... Риск? Совесть? Юрка даже и не заморачивался на эту тему, а просто привычно делал своё дело, и всё у него было шито-крыто, всё сходило ему с рук: ни разу он не попался, ни разу не платился. Дерзким и ловким фортуна благоволил, делая их ещё и удачливými. До поры...

* * *

Однажды, уже в зазимок – лежал небольшой снежок – Юрка не вернулся из леса ночевать. Такое случалось и раньше: то лось разделявает, припозднится, то зайдёт в дальний край угодий, не успевает с капканами засветло – ночевать в лесу не в новинку: топор с собой – костёр пожарче, лапник под бок – не пропадешь! Да и что может случиться в своём лесу, знакомом Юрке с детства, куда он заходит хозяином! Именно «своём», потому что и начинается-то лес сразу на задворках, в конце огорода, и тянется... – пешком не обойдешь за сутки, ни за двое. Но когда под утро во двор прибежала Юркина собака, а сына всё не было и не было – Егор почуял неладное. Да и поведение собаки было каким-то странным, внушало тревогу: она то возбуждённо лаяла, привлекая вни-



мание, то жалко опускала голову, как бы виновная, что сделала что-то не так, неправильно, за что точно не похвалят...

Ягодка появилась у Юрки года три назад забавным кутёнком, озорным и игривым, но уже со всеми задатками незаменимого помощника на охоте. Ещё в полуторамесячном возрасте – молоко на губах – она азартно раскопала, учуяв, крысиное гнездо под стоявшим во дворе верстаком и передушила весь выводок пасюков, подчиняясь врожденному инстинкту норного охотника.

Кличку щенку выбирать долго не пришлось: два ведра черники в уплату за славного крепыша с характерным для ягдов окрасом и загодя купированным хвостиком подсказали верное решение, подчёркивающее и название породы, и пол, и цену вопроса – Ягодка.

– Ягда, Ягда, фьють-фьють-фьють, – посвистывая, позвал Егор как можно ласковей, – собака неохотно давалась в руки, признавая за хозяина лишь Юрку. Та подбежала поближе, позволив разглядеть себя получше. Отсутствие ошейника и в кровь искусанная морда псины с запекшимися бурыми пятнами на брылях навели Егора на пугающую догадку: с сыном беда. Сердце у отца упало.

* * *

Егор спешил. На схваченном с ночи легким морозцем снегу легко просматривались и вчерашние следы от Юркиных сапог с глубоким «тракторным» протектором, и неглубокий собачий наслед, челноком петляющий вдоль основной тропы. Егор старался по возможности сокращать путь, напрямую срезая частые Юркины отклонения от маршрута, вызванные то случайным препятствием вроде сырого болотца или поваленной поперёк сучковатой сушины, то изучением изредка встречающихся на белой тропе звериных следов, не оставленных без пристрастного внимания молодого охотника.

Хорошим ориентиром служила Ягодка, мелькающая среди деревьев, забегающая наперёд и потом, как бы с пониманием, до-

жидающаяся спешащего за ней человека, то и дело останавливающегося перевести дух и вытереть с лица солёный, разъедающий глаза пот.

По пути Егор вспомнил, как накануне сын сдержанно, как бы между прочим, похвастался, что отыскал жилое барсучье убежище в отдалённом, редко посещаемом квартале лесных угодий, но не решился, пожалев, запускать в нору собаку, ещё ни разу не приравленную на обладателя мощных когтистых лап и острых зубов. Кажущийся неуклюжим увальнем на поверхности, в глубине родного подземелья, где и стены помогают, барсук, как правило, оказывает ожесточенное сопротивление любому агрессору, посягнувшему на его территорию.

Мысленно перебирая возможные причины Юркиной задержки – перехватили егеря, сломал ногу, неосторожно ранил себя, – Егор старался даже мысли не допускать о самом страшном, самом плохом, непоправимом, оставляя шанс на желаемый благополучный исход дела: даже если что-то и произошло, вот сейчас подоспеет его отцовская помощь, и всё разрешится самым чудесным образом, всё станет на своё место, войдёт в нужное русло. Главное – успеть.

– Юра-а-а!!! – в лесной тишине в морозном воздухе крик Егора прозвучал неожиданно и резко. В ответ напуганные сойки осыпали его своими проклятиями и уже нетостанно сопровождали назойливым стрекотанием, оповещая окрест о вторжении постороннего.

Очередной раз забежавшая наперёд Ягодка взлаяла невдалеке азартно на высоких тонах, и, с трудом вскарабкавшись по скользкому крутому склону оврага, дополнительно гнетущего своей мглой и затхлостью, Егор устремился на её голос. То, что он увидел, повергло его в шок, безжалостно разрушив все предыдущие надежды, парализовав волю. Собака отчаянно, как на дичь, лаяла на неподвижно торчащие из тесного лаза в подземное углубление ноги, обутые в сапоги



с знакомым протектором. Рядом на рюкзаке лежало Юркино ружье...

На ясном, почти безоблачном небе ярко играло уже полдневное солнце, деревья красовались в искрящемся серебристом инее. Но всё это померкло в глазах Егора, да и всё окружающее пространство сузилось для него до кошмарной картины торчащих из норы неподвижных ног сына.

Сознание Егора на мгновение помутилось, колени его подкосились не столько от физической усталости, сколько от тяжести насаженного на плечи непоправимого. Ужас, горе и отчаяние овладели им, и даже не крик, а дикий, истошный, раздирающий душу вопль вырвался из груди несчастного отца.

– А-а-а! – не переставая в исступлении кричал Егор, голыми руками разрывая мёрзлую, плохо поддающуюся землю, не обращая внимания ни на боль, ни на выступающую из-под содранных ногтей кровь. – А-а-а!

Ягодка, не понимая до конца, какая страшная трагедия приключилась с её хозяином, но по-собачьи осознавая, что и ей тоже нужно что-то делать, чем-то помогать, принялась, поскуливая, тоже копать, но только лезла Егору под руку и тем самым мешала. Несколько раз тот отталкивал и даже отшвыривал помощницу, и, наконец, обезумевший в припадке гнева, обозленный на, как ему казалось, виновницу всего случившегося, схватил с рюкзака Юркино ружье и в упор разрядил в Ягодку стволы, спустив сразу два курка.

Гром сдвоенного выстрела вернул Егора к реальности: он отбросил ружье, рухнул на землю, обхватил дрожащими руками окоченевшие ноги сына и, уткнувшись в них лицом, дал волю слезам, горько зарыдав, судорожно всхлипывая и крупно вздрагивая плечами.

* * *

Как заядлый охотник, Юрий, конечно же, вернулся к обнаруженной им барсучьей норе. В сезон добыть заплывшего салом

барсука всегда считалось великой удачей: полведра ценнейшего целебного жира, хитрым образом вытопленного из упитанной тушки несчастного заложника народной медицины, даже по заоблачным ценам уходило влёт, серьёзно пополняя бюджет добычливого счастливица.

В очередной раз внимательно обследовав укромное место поселения, следопыт наспех заткнул своей ватной курткой секретный запасной лаз, устраиваемый барсуками на случай вынужденного ретирования, и, взяв на изготовку ружье, решительно отстегнул ошейник с рвущейся в бой Ягодки. Ягдтерьер, с присущей этой славной породе злобой и страстью, ринулся в нору, где тотчас встретил яростный отпор загнанного в угол зверя, вес которого, случается, достигает полутора-двух пудов.

Завязалась дуэль: из жерла норы доносились звуки ожесточённой борьбы. Неопытная Ягодка, «на чужом поле» впервые повстречавшая достойного, а то и превосходящего её силой и сноровкой противника, явно не справлялась с задачей: надо было либо своим напором выдавить, выгнать барсука под выстрел хозяина, либо задушить зверя в норе и вытянуть наружу. Время шло. Подземный поединок не прекращался, о чём свидетельствовали лай и рычание, то периодически стихающие, то возобновляющиеся с новой силой. Одно время казалось, что собака, пятясь задом, упорно продвигается к выходу, рывками волоча за собой поверженного противника. И что она уже совсем близко.

На всякий случай притулив на рюкзак заряженное, готовое к выстрелу ружье, охотник решил сам полезть на подмогу, попытаться руками дотянуться до собаки и вытянуть её вместе с добычей, в которую норники цепляются мёртвой хваткой. Сухопарый, без верхней одежды, он легко протиснул гибкое молодое тело во входное отверстие. В норе было тесно, душно и темно. Упруго упёршись ногами в землю, Юрка с усилием, толчком,



насколько можно, продвинул корпус тела вперёд, держа вытянутые руки перед собой, и тут...

Набрякший осенней влагой полутораметровый слой грунта над распластанным горизонтально телом человека, беспомощно растянувшимся во всю длину, тяжело осел, придавив голову лицом в сырой песок, гнётом сковал, обрекая на неподвижность, находящиеся внутри коварного лабиринта руки, шею, плечи, грудную клетку, сделав непосильным желание высвободиться из плена удушающих объятий сырозёма...

Ягодка выбралась на волю не скоро, вслед за хозяином норы, проложившим путь на свободу через небрежно заткнутый ватником резервный лаз.

Весь вечер и долгую ночь прождав недоумевая, что произошло, она, подчиняясь одной ей понятной логике, побежала домой. Увы, к гонцу, принесшему недобрую весть, часто бывают немилосердны...

Когда Юрку хоронили, голова у него была седая, как и у его убитого горем отца, шедшего за гробом.

ПИЩА БОГОВ

Вся Пашкина библиотека легко умещается на небольшой настенной полочке, изготовленной им собственноручно давным-давно, ещё школьником. Неровным строем, вовсе не по ранжиру, на фанерной дощечке угнездились, пылясь и ветшая: фолиант популярной энциклопедии «Природа Белоруссии», несколько потрёпанных томиков альманаха «Рыболов-спортсмен», сборник ранних рассказов Чехова...

Сюда же затесался справочник по ремонту автомобиля «Запорожец». Ну и ещё несколько книжек, абсолютно разрозненных как по содержанию, так и по степени сохранности. Чувствуется, что безалаберный хозяин коллекции – книголюб так себе: не слишком ценит своё собрание, не заботится о концепции его процветания.

Но имеется у Пашки одна небольшая книжица, пользующаяся его особым вниманием: стихи местного поэта, изданные в дешёвой мягкой обложке, на внутренней стороне которой красной пастой манерно-размашисто, с витиеватыми росчерками написано: «Павлу Устиновичу – истинному мастеру приготовления ухи в знак признательности от автора».

И подпись. Тоже витиевато-неразборчивая – видимо, витиям так положено.

Вообще, Пашка стихов не любит, ещё со школы, когда чуть не каждый день давали зубрить длинные басни, занудные отрывки из поэмы, отдельные стихотворения из школьной программы. Скука! Но эту, так уважительно подписанную лично ему, Павлу Устиновичу, книжку, он прочитал. Прочитал внимательно, не спеша, с неподдельным интересом вникая в суть содержания. А одно стихотворение, наиболее понравившееся, даже постарался и, сам от себя того не ожидая, заучил наизусть – добровольно, без какого-либо нажима и принуждения. Особенно за живое зацепили строки:

Дымок рыбацкого костра
Развеет сердца смуту –
Любовь к земному так остра
В подобную минуту...

Как тонко подмечено! И красиво сказано, душевно...

Частьёнько Пашка, несколько тушуясь, декламирует это полюбившееся ему стихотворение в случайных компаниях. Многие слушатели умиляются, некоторые удивляются, а кое-кто даже аплодирует.

Пашке нравится...



А между тем небезынтересна предыстория такого подарка, неожиданно, хоть и с запозданием, пробудившего у человека тягу к прекрасному.

* * *

Давно уже Пашку должно было бы звать-величать по имени-отчеству – мужику за сорок, голова плешивая – да маленькая собачонка всю жизнь щенок. Вот и Пашка – невысокий, щуплый, по-пацански живой, подвижный, глаза озорные – ну никак не дотягивал до статуса Павла Устиновича. Да он и не сожалел – было бы о чём! Главное, как работника (а числился Пашка сторожем на городской базе отдыха) его ценят, доверяя подчас довольно деликатные и ответственные поручения, не входящие в круг его непосредственных обязанностей. И ни разу он руководство не подвёл, не опростоволохился.

Вот и на этот раз... Близился один из летних профессиональных праздников, намечалось отметить его торжественно, с размахом, по заранее утвержденному сценарию: чествование передовиков, концерт самодеятельности, конкурсы, спортивные соревнования – затей хватало. Ну и неформальное общение. Накануне мероприятия на базе царила суета: подметали, чистили, красили... В общем, как обычно – аврал. Пашке, кадру проверенному, от завбазой поступило персональное задание: начальство по случаю профессионального праздника возжелало откусать ухи из свежей рыбы – тройной, настоящей, и чтобы обязательно на костре, с дымком, с угольком. Не подкачай, Паша! А тот и рад стараться в очередной раз продемонстрировать талант. А то! Дело привычное, чего уж там.

В воскресенье он с раннего утра засучил рукава. А ждали его великие дела.

Перво-наперво жухлой осокой и мокрым речным песком – без всяких там «Ферри», «Сорти» и прочих «пемолюксов» – до блеска была отдраена двухведерная алюминиевая кастрюля – уже традиционное вместилище предвкушаемой «тройной».

Не менее беспощадно подверглись подобной экзекуции по дюжине деревянных мисок и ложек – чем и из чего вкушать обжигающую губы жижицу имело архиважное значение и не пускалось на самотёк.

Воды для ухи Павел набрал самой что ни на есть чистойшей, речной... Ну, относительно чистой... Короче: зачерпнул на чистине, стараясь, чтоб без песка и ила, попрозрачней – где её, хрустальную, сейчас найдёшь?

Костёр разгорелся споро, сухие берёзовые и ольховые поленья сослужили добрую службу – сразу дали жар. Пока вода закипала, дошла очередь до основного ингредиента: рыба-разносортница – лещ, щука, окунь, плотва, даже несколько линей и карась – была хитрым и таинственным образом поймана заранее, накануне. В мокром мешке, переложенная крупнолистой жгучей крапивой, совершенно свежая (бронзовые линии и карась еще дышали и изредка трепыхались) рыба безропотно дождалась своей неминуемой участи.

Возвышенное романтическое перо, конечно, описало бы незамысловатую Пашкину стряпню особо красочно, как некое таинство, действо, ритуал, как необычную церемонию приготовления изысканного яства по хитроумным старинным рецептам. Или же как колдовство, доступное не каждому.

На деле всё выглядело гораздо прозаичней. Без всякого камлания «кудесник» сноровисто почистил и выпотрошил рыбу, отобрав на отдельное блюдце полупрозрачные пузыри и щучьи печёнки; затем удалил жабры и тщательно прополоскал тушки. Весь запас разделил на три части: крупных щук и лещей порезал на порционные куски, отделив головы и хвосты, средних по размеру линей и карася оставил целиком, а оставшуюся мелочёвку – плотву, окуней, красноперок – вместе с щучьими головами и хвостами завернул в широкую, специально для этого приготовленную марлю. Вот этот марлевый узелок со всем содержимым и был незамедлительно отправлен в начинающую закипать кастрюлю минут на десять с последующим извлечением – первая порция. В воздухе



вперемешку с едким дымком стал обоняем тонкий аромат будущей ухи, легко уловимый, но трудно передаваемый. А ведь ему предстояло как минимум утроиться!

Не забыл предусмотрительный Пашка ни про картофель (положил вовремя, со второй партией рыбы, чтобы не совсем разварился), ни про соль (три столовых ложки с горкой), ни про специи, ни про цибулю с зеленью – всё у него было заранее приготовлено, разложено по полочкам, отшлифовано до мелочей. И главное – душа: приготовленное с душой обречено на успех! Правда, водка... Водка, отмеренная в стограммовый гранёный стаканчик, в уху на этот раз так и не попала: её, родимую, Пашка «усугубил» единолично, оправдав свой поступок соображением, что такая «плипорция» в общем котле погоды не сделает, а ему – за труды – самое то.

* * *

Стол для начальства сервировали по высшему разряду в тенистой уютной беседке на крутом живописном берегу реки, где хорошо продувалось от назойливых комаров. Ровно в десять, без задержки (не на работу) первыми прибыли на легковых иномарках с водителями представители администрации завода, вся головка: директор, его зам, главбух, отдел кадров, профком, начальники служб – всего человек пятнадцать. Расселись, оказалось не тесно. На красивой скатерти среди обилия разносолов Пашкино произведение даже в закопченной кастрюле выступало гвоздём программы: юшка шла «на ура» – отдуваясь и вытирая пот, шумно просили добавки – «на бис». Ко многим деликатесам – сыр с плесенью, оливки с анчоусами – даже не притронулись – приелось. Вскоре на дне кастрюли осталась одна гуща – это ли не успех!

К полудню, как и намечалось, на заводском автобусе в клубах пыли подтянулись начальники цехов, участков, мастера. Некоторые пожаловали с жёнами.

Очень скоро к импровизированной кухне, где, хоть и без поварского колпака и передника, но всё же уверенно, хозяйничал Пашка, вальяжной морской походкой подошёл

начальник транспортного. В нарочито сдвинутой набекрень светлой капитанской фуражке и тельняшке, приветливо улыбаясь, он вкрадчиво, как дипломат, зашёл издалека:

– Здравствуй, Паша, как справляешься по камбузу?

– О! Николай Николаевич, привет! Спасибо, вашими молитвами, справляемся помаленьку, – отшутился Пашка. Но расслабляться было рано.

– Так, так... Послушай: Наталья Сергеевна из бухгалтерии расхвалила твою уху, отменная, говорит, штука. Не угостишь? – уже без обиняков, напрямую поинтересовался «дипломат».

– Так всю прикончили, Николай Николаевич. Вот собрался посуду мыть, воду в ведре грею, – конфузливо развёл руками старший по камбузу.

– Ну-у, Паша! Из резерва ставки парутройку мисочек на всех, по старой дружбе! Не откажи!

Вот те на! Отказывать было вовсе не в Пашкином характере, тем более такому человеку. Насчёт старой дружбы завгар, конечно, загнул на холодную, но вот совсем недавно, когда надо было перевезти тещу со всем скарбом из деревни, он действительно не отказал, уважил – выделил бортовую машину на целый день. Хороший человек, отказать никак нельзя! Пашка застыл в раздумье и растерянности.

Неожиданно его взор пал на облепленный мухами и осами тугой марлевым узелок с первой порцией рыбы. Эти отжимки были ниспосланы свыше.

– Подойдите через полчаса – что-нибудь придумаем, – заговорщицки доверительно прошептал воспрявший духом Пашка, не раскрывая секретов задуманного.

– Вот душа-человек! Не подведу – буду как штык!

И вот уже содержимое узелка повторно отправлено в кастрюлю с остатками прежней роскоши. Туда же ведро успевшей закипеть воды, соль, специи... Что бы ещё? На блюдечке томилась забытые рыбы пузыри и щучьи печёнки, изрядно заветревшиеся



на солнцепёке. Эврика! На этот раз Пашка действительно колдовал: перетёртая с луком в однородную кашицу, эта заправка несомненно уступала легендарной налимьей максе, но на безрыбье...

Через полчаса обильно сдобренная мелко пошинкованной зеленью реанимированная уха второго замеса, как ни странно, источала приятный аромат и на вкус оказалась вполне съедобной.

– Вот, Паша, спасибо! Вот уважил, так уважил! Душа-человек! – довольно приговаривал раскрасневшийся от горячего и горячительного Николай Николаевич, наливая Пашке полный стакан зубровки. – С праздником!

Пашка выпил, но только половину – всю не потянул.

* * *

В это время из открытых окон приближающегося к базе отдыха заводского автобуса донёсся нестройный хор потраченных крепким табаком и палёным алкоголем голосов под аккомпанемент разудалой гармошки, отчаянно фальшивившей запавшей на одной ноте кнопкой. К месту празднества доставили наконец-таки обычных работяг: слесарей, сварщиков, крановщиков...

Рабочая косточка по дороге не теряла времени даром, создавая атмосферу приподнятого настроения собственными силами: при каждом торможении по салону перекачивались уже опорожненные бутылки, грохоча и позванивая.

Пашка понял: и на этот раз не отвертеться. Покорный судьбе, он вылил в висевшую над непотухающим костром кастрюлю очередное ведро воды, осознавая: придётся сотворить чудо, подобное библейскому.

И чудо свершилось. Для этого кощунства пригодились остатки с барского стола: в ход пошли недоеденные куски красной рыбы, анчоусы и даже сыр пармезан, который с благородной плесенью.

Два пакетика перловки, четыре сочных помидора и много перца и зелени призваны были окончательно облагородить то варево, которое язык уже не поворачивался

называть ухой. То и дело усталый повар задумчиво помешивал в кастрюле, не снимая накипи. Его фантазия иссякла, он чувствовал себя опустошённым.

– Эх! Прими, душа, и эту каплю! – решительно воскликнул Пашка, обращаясь к бурлящей кастрюле, и жертвенно вылил в её кипящее жерло недопитую им зубровку.

Это был последний штрих мастера, так сказать, вишенка на торт.

Всё, готово!

Непритязательная публика к кастрюле потянулась с охотой, и, на удивление скоро, та вновь опустела. Обиженно дули губы и косо смотрели те, кому не хватило.

Последняя миска, неполная, досталась тому самому поэту, местной знаменитости, принимавшему посильное участие в праздничном мероприятии в качестве гостя.

– Как называется это волшебное блюдо? – отведав, интеллигентно полюбопытствовал гость, изрядно потрепанный не столько самой жизнью, сколько его к ней философским отношением: ничто не вечно, жизнь – копейка, не хлебом единым.

– Уха тройная, фирменная, – скрепя сердце переступил через себя автор кулинарного изыска, тщательно подыскивая слова. – Подаётся не каждому, только избранным. Рецепт запатентован и засекречен. Короче – пища богов, кушайте на здоровье! – закончил Пашка тираду, сам удивляясь своему красноречию.

– Божественно! Божественно! – причмокивая, согласился поэт и вежливо попросил кусочек хлеба, малодушно нарушив один из жизненных постулатов.

Ему дали большой ломоть – не жалко.

Когда Пашка уже домывал посуду, со стороны эстрадных подмостков грянул туш и послышались аплодисменты – передовиков награждали грамотами и ценными подарками.

Ни того, ни другого сторожу не досталось – довольствовался Пашка тощим томиком стихов, который, после столь непродолжительного, но обоюдopиятного общения, ему преподнёс сам автор, с дарственной надписью, такой уважительной и душевной.



Александр МАКАРЕНКОВ

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
(продолжение, начало в «Под часами» №14)

* * *

Вот оно – одиночество. Тишь в доме. Благодати нет и в помине. Только и остаются надежные друзья – книги. Они, кажется, всегда верны своему владельцу. К ним обращаюсь реже и реже. Чаще прикладываюсь к стакану. Понимаю, – не стоит. Остановиться не могу. Причем в первые месяцы одиночества выпивка помогала. Забывался на время. Тоска отпускала. Правда, потом понял – лишь на время. Только остановиться не мог. Однажды поймал себя на мысли: «Стали в памяти образовываться провалы. К ужасу моему – они не заполнялись ничем». В промежутках просветлений попадал на работу. И обязательно находился заводной коллега. Я опять не сдерживался, входил в вираж, в штопор. Утром давил из последних сил запасенные заранее лимоны. В стакан цедились яркая желтая жидкость. Испортив два-три цитрусовых шарика, нацеживал с полстакана сока. Морщился. Судорожно вздрагивал. Пил через силу. Легчало. Отпускало голову. К полудню оживал. Семенял в ближайший продуктовый. Сквозь тряску и качку добирался обратно. Смотреть по ходу на людей не отваживался. То ли от стыда. То ли от собственной брезгливости. То ли от чувства ничтожности. Я ненавидел себя в эти утра. Уговаривал себя бросить спиртную затею. «Она может и не отпустить», – твердил себе сквозь дрожь во всем теле. Пробовал, и ничего не получалось. Поправлять здоровье надо было непременно. Иначе лопнуло бы все. Разлетелось на кусочки.

Несколько раз поутру едва сдерживал рвотный рефлекс. Не столько от состояния нутра, сколько от душевных мук: на диване рядом обнаруживалась некая особа. Все бы

ничего, только от них, от этих дам, всегда разило, как от заядлых выпивох. Да и возлежали они на диване, в чем мать родила. Не всегда в художественных позах. Я оглядывал тут же себя. Обнаруживал кровавые следы поцелуев. «Хорош!» – шептал в пол. Хмель улетучивался со сверхъестественной скоростью. «Надо кончать с этой пошлостью», – добавлял уже со вздохом. Брел в ванную. Надраивал себя мочалкой. Почти кипятком старался смыть следы и запахи вчерашнего похождения. Будил очередную «спящую красавицу». Надо сказать, иногда они были действительно таковыми. Она не соображала, кто я, и где она находится. Сжимала голову руками. Тяжело дышала. Попыталась найти детали одежды. Вдруг просыпался стыд. Она подтягивала к себе одеяло. Прикрывалась им. В это же время картинно заламывала руки. Каялась во грехе. Клялась, что впервые. Только вчера рассталась с единственным. Хотела просто выпить. Расслабиться.

Иная молча, с чувством гордости открывала глаза. Торжественно демонстрируя наготу, уплывала в моечный закуток. «Подновленная», ступала из ванной павой. Так же – безо всего. Медленно искала одежду. Медленно одевалась. Медленно, почти томно просила сигарету и кофе.

Я принимал правила игры во всех случаях. Но женщины начали путаться в почти не трезвющей голове. Не раз еще, находясь в состоянии средней тяжести, подходил к даме с жадной познаться, а получалось, – мы встретились три месяца назад, через два дня разбежались.

Весной девяносто третьего сидел на Блоне. Трезвый до неприличия. Именно тогда,



двадцать второго мая, решил покончить с увлечением спиртным. Заодно и с прочим. Тем более – с последним претерпел некие неудобства. Пришлось в один из дней прийти в серо-голубое здание у крепостной стены.

Боязнь дурной болезни преследовала меня всегда. Но пьяное дело, как правило, бесконтрольное.

Годом раньше, в августе, надел кожаные перчатки и пошел в диспансер. Дверь открывал с оглядкой. Навстречу выпорхнула девица лет девятнадцати. Пот прошиб сразу. Даже капельку, стекающую вниз по желобку позвоночника, почуял. Вот они какие, все эти больные. Друг на друга похожи чем-то неуловимым.

Доктор через три дня развеял сомнения. Выписал рецепты. Предложил проколоть лекарства у них. Пришлось найти в себе силы, чтобы перешагнуть через неприязнь к себе самому – получить необходимую дозу и навсегда сделать зарубку в голове.

И вот я сидел на Блонье. В уголке возле одинокого оленя, привезенного с большой войны в качестве трофея, кучковались «металлисты». Сбрасывались на дешевое вино. Курили дурно. Матерились. Топорщили пальцы веерами. На все вопросы слышался конкретный ответ:

– А что, пусть не лезет! – Кто и зачем не должен лезть, известно лишь говорящим.

Подошла молодая пара к бронзовому животному. Ребенок резвился под ногами. Папа достал из сумки фотоаппарат-мыльницу. Отдал жене. Высокая. Ноги из груди тянутся. Грудь – тоже хоть на подиум. Видная. Волосы собраны гребнем. Голубейшие глаза. Обладательница прелестей взяла фотоаппарат. Отошла. Папа чуть ниже ростом. В трехнедельной бороде. Со лба начинается лысинка. Еще не достигла, но скоро соединится с проплешиной на макушке. Пузико над ремнем и брюками. Непонятно становилось всегда – как такие мужички шнуры на ботинках завязывают. В зубах «Беломор». Муж подхватил дочурку. Она залилась звон-

ким хохотом. Усадил на «зверюгу». Жена прицелилась. Сработала вспышка. Девочка засмеялась звонче.

Совсем недавно с фонтанов сняли деревянные щиты. И вода рокотом радует гуляк и повес. Скоро лето. У бронзовой фигуры композитора звучит музыка. Жизнеутверждающе. На лавочках «проявились» вечные пенсионеры. Делятся опытом выживания в смутное нынешнее время. Отсутствующе обводят взглядами людей и растения. Мамаши выкатили разноцветные коляски с розовощекими младенцами на солнышко. Детвора постарше у театрального крыльца напяливает роликовые коньки.

Весна. Природа походит на девочку, которая вскоре превратится в девушку. На тонкой грудной клетке веток возникнут припухлости. Они сформируются, примут округлую форму и лопнут однажды утром. Дадут жизнь девственным, еще не испачканным пылью листочкам.

В такое время года хочется петь и орать. Орать и петь.

Лес. Там, в чаще и на пригорках, в прохладе, давно возникли, будто ниоткуда, белые лепестки подснежников. В голову приходят хулиганские мысли, слова. Среди стволов можно кричать безбоязненно. Лучшее – слоняться по лесу, заглядывать в лица подснежников; вдыхать запахи и слушать: капли стекают по морщинкам коры деревьев – вниз; поползень сует клюв во все щелочки, и его движения противоположны каплям – вверх; скрипит, жалуется на ветер ствол старой сосны; шуршит росток к небу, приподнимает слой жухлой листвы; в унисон стучат сердца влюбленных – они целуются вдалеке, но сердца, их мелодия слышны повсюду.

Трое ушли. Веселые. Довольные. Тоска резанула по душе. Мамаши с колясками, залитые солнечным светом, парят над асфальтом, окруженные облаком счастья. Мамаши со своими чадами. Некоторых детишек сопровождают отцы. Я, разменявший четвертый десяток лет, ни разу не держал этот сказочный поручень коляски. Оставалось



одно – встать и уйти. Покинуть островок чужого счастья. Унести с собой собственные сомнения в будущем, метания в настоящем, боль прошлого. Стоило натереться. Но – не стал. Раз решил не прикасаться к «ней», значит, – решил твердо. Себе врать – хуже всего.

«Очнулся» на берегу реки. Внизу. У недостроенной набережной. Здесь ручей впадает в неширокие воды реки. За спиной – башня церковки, некогда встроенной в стену, в ней когда-то жил однокурсник. Странно ушел он из жизни. Сам или при чьей-то помощи попал под поезд? Кто знает... Теперь попасть внутрь башни невыносимо – здоровенный амбарный замок пресекает любые попытки вторжения.

Движение воды успокоило. Невдалеке, у моста, рыбаки то и дело забрасывали удочки. Клевало. По струне моста сновали машины, деловито и нерасторопно желтыми пунктирами двигались автобусы, погромыхивали красные железки трамваев. Спешили люди – маленькие издали, похожие на сказочных оловянных солдатиков. Вся суета у подножия Успенской горы казалась ничтожной. Над ней, над этой никчемной суетой в голубоватой дымке парил собор. Туда, в дымку, я и шагнул.

Ступени. Еще. Ступени полукружим. К низкому арочному проходу. На площадку перед храмом. Крыльцо. Полумрак. Черные доски икон в золотых оправках резьбы. Потрескивание свечей. Шепот молитв. Старушки на лавках. Мальчишка усердно крестится. Неслышно, одними губами, говорит под купол. «Там» все слышно. Будний день. Ищу священника. Он выходит из резных ворот. Здравуюсь. Прошу исповедать. Впервые за последние несколько лет. Он принимает мое покаяние. Выслушивает. Произносит: «На все воля Божья». Мне становится легче.

Следующие месяцы протекают налегке. Новый год встречаю один. Никуда идти нет желания. Выпиваю бокал шампанского. Съедаю кальмаров и «оливье» – без него не обходится ни один праздник в России. Телевизор бормочет «Старые песни о главном».

Надоедает. Втыкаю в видик любимого Тарковского и с «Зеркалом» вступаю в будущее.

* * *

Первая суббота февраля. Всегда в этот день школы России наполняются гомоном взрослых людей. Это значит – настало время встречи выпускников. Приходят, приезжают, прилетают в свои классы поседевшие, бордатые, пополневшие или худые, очкарики и нормальные зрячие. Вопрос «А помнишь?» – летит из одного класса в другой. И нет за спиной десятков лет. Повсюду Сашки, Галочки, Валюши, Олежки. Или – «бэшники», «ашники», «вэшники». Правда, в полном составе ни один класс никогда не собирается. Иных уж нет...

– Помните, как Валюшка устроила конкурс на лучшую песню? У нас в трех классах было два поющих – Сашка и я. Тогда на картошку, оказывать посильную помощь подшефному хозяйству, ехали! В десятом классе учились. Помните? – почти кричал Сережка. Народ добросовестно силился вспомнить. Не получалось. – Мы спели по песне. Как выяснить, кто победил? А Валюшка вытащила две конфеты из кармана. Подняла над головой. Объявила: «Ничья!»

– А у меня есть фотография, – мы сидим на куче яблок! – восхищенно кричит Эрика.

– Мы разве яблоки собирали? Точно помню картошку, морковку, лен. Но яблоки... – сомневаюсь.

– Зато я помню, как тебе подсказывала, – Галочка напоминает Сашке, – и единицу схлопотала. Обидно до сих пор. И ничего не поделать. Плакала я тогда здорово.

К трем часам ночи выяснилось, что я даже стихи сочинял в юности. Эрика не без гордости сообщила о двух сохранившихся страничках с моими виршами. Потом добавила:

– Ты, надеюсь, не забыл, как мы целовались в коридоре?

Это помнил всегда.

Окружающие обрадовались вскрывшейся тайне. Полетели вопросы:

– В каком классе?



– В десятом, – почему-то мы радовались «в один голос».

– Что за коридор? – не унимались одноклассники.

– У меня дома, – Эрика не выдержала паузы.

– Вечером?

– В половине двенадцатого. Днем. Вечерами ведь родители дома были, – она удивила не только меня такой точностью.

– А ты что можешь сказать в «свое оправдание»?

– На качелях в соседнем детском саду качались. – Наступил мой черед отвечать за «содеянное» в прошлом. Сквозь краску, что залила лицо, говорил.

– Тоже целовались?

– Конечно, – снова в один голос с Эрикой.

– Еще где?

– В спортивном зале. В раздевалке, – хотала Эрика.

– Надо же, столько нового про себя прошлого узнал, – показалось – здание школы лопнуло от смеха после моего признания. Отмечу – чистосердечного.

– Интересно, а сейчас смогли бы вы поцеловаться? – прилетел еще один вопрос. Снова Эрика опередила. Перегнулась через парту. Обняла мою голову. Я ощутил ее припухлые губы. Как тогда. Двадцать лет назад. Замерли все. Померк свет. Исчез. Мы стояли в коридоре. Слева от вешалки. Одежда не позволяет повернуться. Наоборот – подталкивает друг к другу. Я шепчу что-то теплое. Обнимаю Эрику за талию. Пробираюсь под футболку. Ее кожа. Током пронзают прикосновения. Дыхание исчезает. Сердце колотится в горле, в голове, везде и в конце концов вылетает под потолок. Гул одобрения прерывает легкое подрагивание. Надо же, не все забывается, стирается, словно надпись мелом на школьной доске.

К пяти часам утра пришла пора прощаться.

– У тебя есть телефон? – спросил после дружеского поцелуя Эрику. Она ответила цифрами.

Я предложил вопрос:

– Можно позвоню?

– Конечно, – услышал в ответ. Голос прозвенел хрусталем в морозной ночи.

Они жили вдвоем. С сыном. О прошлой жизни спрашивать не стал. Расскажет сама, если захочет. Когда-то, двадцать лет назад, она умолчала о главной причине разрыва. Ее матушка выступила категорически против моей кандидатуры. Любимой матери хочется добра своему ребенку. Увы, не всегда усилия родителей приводят к лучшему...

Воскресным утром я накручивал диск телефона.

Мы встретились в крохотном сквере возле «Детского мира». Все те же слегка припухшие губы. Искрящиеся глаза. Нос с легкой горбинкой. Взлохмаченные в меру волосы. Мороз слегка пощипывал щеки. Шубу натягивать не требовалось. Хватало куртки. Даже шапка казалась лишней. Предложение посидеть где-нибудь Эрика отвергла. Сказала, что лучше купить еды и пойти к ней.

Панельная пятиэтажка на берегу городского пруда. Стены подъезда стонут от надписей. Запах, как говаривал некогда народный артист Союза Аркадий Райкин, «спесифись-сь-ський». Последний этаж. Обшарпанная дверь. Глазок отсутствует. Вместо него в отверстии – кусок тряпки.

– Стащили. Кому-то понадобился, – перехватывает удивление Эрика.

Крошечная прихожая. Входишь и упираешься в дверь ванной, совмещенной с туалетом. Вешалка, полка для обуви. Больше ничего не вмещается. Узкий проход на кухню. Миниатюрную. Со стен отваливается кафель. С потолка свисают стружья краски. Легкий беспорядок повсюду. Неубранная постель. Два кресла и диван в большей комнате, телевизор, стенка красного дерева. Дальше не пошел. Ясно стало в обеих комнатах ободраны обои.

– Ты располагайся. Я приготовлю еду. Если есть настроение, – можешь смело оказать посильную помощь.

С удовольствием переместился в кухню. Вдвоем нехитрый обед приготовили споро.



– Давай будем пировать не на кухне, – предложил волнуясь.

– Конечно, – согласилась Эрика. Указательным пальцем тронула меня за кончик носа. Улыбнулась. Мгновенно вспомнился характерный для нее жест. Указательным – по носу.

Я откупорил вино. Она достала хрусталь. Остальное нарезали и заготовили раньше. На сервировочном столике красовался легкий перекус.

Вскоре я вышел в прихожую. Полумрак. Сделал вид, что шарю по стене в поисках выключателя. С хохотом Эрика поднялась из кресла. На помощь.

Мне только это и нужно было. Как только она вошла в полумрак, тут же протянула руку в сторону выключателя. Я перехватил ее. Привлек к себе. Эрика подалась навстречу. Я нашел ее губы. Она снова ответила. Как тогда – в десятом классе. Но немного отклонилась. Шепнула:

– Вовка, что ты? Коридор ведь...

– Разве он хуже того, домашнего? Помнишь? – скользнул под блузку. Эрика улыбнулась в поцелуй.

– Пойдем, – потащила в комнату. На белое с розовыми цветами ложе. Дрожь пробила до макушки: «Неужто так просто происходит?» Остановиться уже не могли. Одежда разлетелась в стороны. Страсть убивала юношескую нежность. Исчезало нечто трогательное. Недостигаемое. Испарялось. Вместе с утренней дымкой, с колоколами к заутрене улетучивалась чистота. И становилось не по себе. Ее поцелуи все-таки стали другими. Более умелыми. Настойчивыми.

Эрика закурила. Немного неловко. Зато жадно.

– Я курю редко. В институте начала. Сейчас почти отвыкла. Правда, разволновалась.

– А где мальчик? Ты так проникновенно о нем рассказывала вчера.

– Завтра бабушка приведет. Он попросился к ней погостить, – немного неуверенно соврала последнюю фразу. Чувствовал – сама уговорила маму взять пацана на несколько дней.

Остаток суток прошел в бесплодных разговорах. В чаепитии. В прогулке по оттаявшим улицам. Немного в воспоминаниях. Она так и не призналась в маминим давлении по поводу наших отношений.

Рабочая неделя. Каждый день распisan по минутам. Каждый день – маленький подвиг: встать, приготовить завтрак, проглотить его, уйти до вечера в обыденность суеты. С Эрикой общались лишь по телефону. Выходные проводили у меня. Иногда – у нее. Но с каждым звонком, с каждым словом в телефонной трубке, с каждым свиданием, с каждым поцелуем приходила уверенность в краткости «романа». Через полтора месяца она попросила срочно приехать. На мое: «Что-нибудь случилось?» – ответила утвердительно. До окончания работы вырваться не смог. Перезвонил. Она явно нервничала.

– Я встречу тебя у выхода, – слезно уронила в трубку.

Она стояла под снежным зарядом. В слезах. Тушь стекала черными струйками по щекам. Губы исказила гримаса. Расстегнутое пальто. Шарф готов вот-вот упасть. Эрика полетела навстречу. Окружила собой:

– Вовка, еле дождалась! – зашептала в ухо. – Ты мне очень нужен! Невозможно без тебя!

– Но ведь тогда, в школе, пренебрегла мной ради Мишки. Или ради кого другого. Теперь это неважно. Или спустя двадцать лет что-то изменилось? На тебя перестали давить родители? – выдал себя с потрохами. Она не знала о моей осведомленности. Но никак не отреагировала. – Ты поумнела? Поняла, что люблю до сего дня и этой любовью можно воспользоваться? – Меня понесло: – Или почувствовала правильность поговорки: «Старая любовь долго помнится»? Хотя... что ты в силах объяснить?

Черные тушевые ручейки всё чертили по щекам. Губы подрагивали. Эрика твердила с точностью магнитофонной записи:

– Вовка, ты мне нужен. Без тебя невозможно. Именно ты нужен. Именно ты.



Мы шли по сумеречному городу в сторону трамвайной остановки. Я надеялся проводить ее до дому и закончить, расставить все точки. По пути, в трамвае, по дороге от остановки до ее дома, продолжал начатое:

– У тебя нет ощущения скорой кончины наших отношений? Думаю, мы нарушили главную заповедь памяти. В одну реку нам не суждено войти дважды, как не суждено никогда вернуться туда, где мы уже были счастливы однажды. Понимаю, что говорю больное. Но не очень распаяйся. Не только для тебя это говорю. Но и для себя. Мне тоже больно. Врачи порой причиняют боль человеку ради его же блага. Чтобы потом меньше болело.

– Вовка, что ты несешь? Я не могу без тебя, родной...

– Тогда, в десятом классе, я мог все бросить ради тебя. Ты? Ты и теперь не способна на это. Теперь, спустя столько лет, когда мы встретились, мне показалось – ничего не изменилось в тогдашних чувствах. Увы, ошибся. Нельзя было переступать невидимую границу памяти. Мы стали другими. Поменялись взгляды на вещи, на мир, на любовь. Происходит смешение, смещение ценностей. Ты разве не заметила, как быстро трепет наших встреч исчез? Они стали обыденными. Несколько тяготят обоих. Ищем сказку и не находим ее! Мы разрушили заповедь памяти. Именно от разрушения страдаем. Тебе не кажется?

– Вовка, ты мне очень нужен, – не оставались слезы.

Я обнял Эрику за плечи. Поцеловал дружески. Она почувствовала прохладу, вздрогнула. Отшатнулась. Мы молча побрели от мостика через озерко по раскисающему снегу к ее дому. Снежные хлопья размером с теннисный шарик замерли в полете. Облепили нас. Сначала – головы. Потом – плечи. Они создавали скульптуру. Двухфигурную композицию.

Невыносимая боль сдавила сердце.

Кончилась сказка юности. Жаль. Сам виноват. Мог уберечь? Мог убежать от этого?

Мог или нет? Скорее – нет, чем – да. Так, надо понимать, кончилась юность. Тяжко дается ощущение финала. Но ведь все хорошее когда-нибудь кончается, и его размывают дожди, раскалывают молнии и грозы, засыпают снега. Память белеет. На ее поверхности мы пишем тонким прутиком новую историю. Чтобы она растаяла и, как предыдущая, скрылась под новым снегом. А мы пишем и отдаем на откуп снегу чувства, и снова пишем, и снова отдаем... И каждый раз, кажется, – забываем все, что произошло однажды, навсегда. И ничего подобного не будет! Но неожиданно из-под наста появляется зеленый росток. Покачивает липкими листочками на тонком стебле. Ничего невозможно спрятать. Все прожитое и пережитое остается в нас. С нами движется вперед. К финальному вздоху. К мигу, когда заканчивается боль, исчезает страх. К мигу, после которого начинается вечность.

Снег. Он не переставал валить и тогда, когда я вышел из квартиры в панельной пятиэтажке, когда спустился по бетонным ступеням и громко вдохнул свежесть вечера. Сюда возвращаться не суждено. Я втянулся в темноту. Чувствовал – Эрика из окна сверлит взглядом затылок, спину. От привычки оглядываться я избавился давно.

Она стояла в парке. Замерзшая. Почудилось – даже пар не появлялся при дыхании. Она стояла под вековым деревом, постепенно превращаясь в заиндевелую веточку. Вокруг сновали люди, машины, пахло свежеспеченным хлебом, кофе из кофейни за углом, сигаретами и морозом. Слез не было. Только бледность. И надежда.

– Привет, – выдохнул сквозь растерянность. Эрика ответила таким же несколько растерянным приветом.

Я обнял ее за плечи. Чмокнул в щеку. Дружески. Зашелестел мерзлый пакет в ее правой руке. С плеча соскользнула сумочка. Эрика успела перехватить ремень.

– Помочь? – спросил и взялся за пакет. Не очень тяжелый.



– Можно мы проведем сегодняшний вечер вместе? – жалобно пролепетала. – Последний, – протянула просительно. – Ну что тебе стоит? – добавила и вгляделась в меня.

Я вздохнул. Качнул головой отрицательно.

– Пожалуйста, поужинаем только? Я купила немного еды.

Снова, сквозь тупую боль в левом подреберье, качнул головой из стороны в сторону. Она кротко шепнула:

– Только что я поняла, какую ошибку совершила тогда... Неужто в тебе не осталось ничего?

Я упрямо молчал. Глупо. Взял ее под руку. Через несколько минут подошли к моему дому. Она купила еды. Приготовила ужин. Все время неустанно щебетала нечто пустое. Мне оставалось – настроиться на прощальную встречу. Не психануть. Не взорваться от ее пустой молотьбы. Поцеловать утром, словно после работы, вечером, встретимся. На самом деле – разлететься в стороны, как облака. Растаять каждому в своей собственной дали. Возможно, встретиться через огромное количество лет. И никогда не ложиться под одно одеяло. Казалось, произойдет именно так. Должно было произойти так.

Следующим вечером Эрика вновь стояла в парке у почтамта. Продрогшая. Уверенная в своих возможностях обольстительной просительницы. И снова я поддался уговорам. Только ночь оказалась долгой, тягостной, выматывающей. Утром сам приготовил завтрак. Водрузил его на поднос. Поставил его на стул.

Запахи разбудили Эрику через несколько мгновений. Она с удовольствием намазывала на тосты масло. Шумно щебетала об утренней пище и ее пользе. Без стеснения, обнаженная, ела. Кажется, ей было приятно показать себя. Она осталась привлекательной. Манящей. Как тогда, в юности. Но многое изменилось между нами. Я молча съел свой завтрак. Выпил кофе. Проглотил лимон. Затем умылся. Сбрил вчерашнюю щетину.

Эрика, не торопясь, натянула нижнее белье, джинсы. Выкурила одну за другой две сигареты:

– Что ты мрачен, Вовка?

– Нет, все нормально, – торопливо «выплюнул» в утро.

– Думаешь о предстоящем расставании? Или о новых встречах?

– Думаю. О расставании.

– Не волнуйся, не потревожу тебя. Ничем. Сегодня ведь была наша последняя ночь? – переспросила снова.

– Вероятно, – я, завязывая галстук, ответил.

– Ах, вероятно! – закричала Эрика. Вскочила с дивана. Ногой саданула по стулу с подносом. Зазвенела посуда. Разбилось все, что может биться. В бюстгальтере и джинсах подлетела ко мне. Попыталась рвануть ногтями по щекам. Я живо представил, что было бы, завершишь ее нападение удачей. С каким лицом пришел бы на службу. Кто-нибудь непременно сострил бы: «Смотрите, Володя кошку завел. Только не решил еще, на каком языке разговаривать с ней». Тут же пощечина загорелась на скуле. Я сжал руки Эрики. Захрустели пальцы. Мои и ее. Сощурил гневно глаза. Твердо взглянул в зрачки напротив. Она захлопала ресницами. Испуганно. Зло.

– Родной, Володенька, я погорячилась. Не сдержалась. Прости. Ты же простишь? Володенька? Милый, родной, вырвалось, я не хотела... – она наступала мелкими шажками мольбы. Я ослабил руки. Тут же получил вторую оплеуху. Отвернулся.

– Ты прекрасно помнишь и пользуешься тем, что я никогда пальцем не трогал женщину.

Эрика заплакала. Надрывно. С ревом. С самоуничижением. С мольбами. С просьбами не покидать ее.

Кое-как собрались на работу. Припухшие веки выдавали ее состояние. Макияж не помогал. Оставалось уповать на холод улицы.

Мы расстались на площади. У подножия памятника русскому зодчему, выстроившему не одну крепость. Эрика вонзилась в



меня глазами. Щеки все еще горели ее ладонями. Ответить ей утвердительно кивком, обещанием будущей встречи не мог. Не имел права. Ломило все тело. В противовес внутреннему раздрыгу светило солнце. Снежинки переливались голубым, золотистым, малиновым, фиолетовым. Провода, казалось, вот-вот лопнут от тяжести инея. Ресницы Эрики тоже заиндевели. Позавчера она стояла в сквере, похожая на замерзающую веточку. Позавчера. Я всматривался в нее с болью безвозвратности. Надо было расходиться. Навсегда.

– Может, выпьем? Прямо сейчас? – неожиданно спросила меня. Улыбнулась вымученно. Подавила вымученность. И улыбка не сделалась настоящей. Эрика указала на руку зодчего. Какой-то проказник воткнул в нее полуторалитровую бутылку из-под газировки. Создавалось впечатление, – бронзовый бордач собирается произнести тост.

– Только не сейчас, – я улыбнулся в ответ. – На работу в нетрезвом состоянии ходить не принято. – И продолжил совсем неуверенно: – Звони, если что. Пока. – Зашагал в сторону другого парка. Сквозь холод. И сейчас – я знал – она смотрит в мою спину, ждет – обернусь. Я давно отучил себя обращаться. Жить надо каждый день с чистого листа. Не стоит постоянно оглядываться. Важно постоянно помнить...

* * *

Прошло несколько бесплодных месяцев. Они начинались с утра. Заканчивались в начале второго или третьего часа ночи – у видеоманитофона или с приятным собеседником – книгой. Потом я заболел.

Банальная простуда – штука скверная. Но неизбежная. Если уж настигла, остается одно – собраться с силами, залечь на диван, пить гекаллитрами чай с малиновым вареньем, есть горстями отвратительную горечь аспирина, то и дело совать под мышку градусник и ждать результатов замера и снова вливать в себя жидкость. Единственный плюс, когда полусон-полубред уходит, утопание в Пушки-

не. Правда, отчего-то чаще хочется перечитывать прозу. И всегда – времени в обрез. А тут – простуда. Значит, несколько дней или целая неделя с ним – с Александром Сергеевичем, с его милым, добрым, спившимся станционным смотрителем Выриным – «сущим мучеником четырнадцатого класса, огражденным чином своим токмо от побоев и то не всегда». Я засыпал под звук метели, врывавшейся из девятнадцатого столетия в финальную «пульку» двадцатого, в его тихую весну, которую только коты почуяли, а почки еще и не думают набухать и распускаться. Именно тогда, в болезни, вспомнилась давняя поездка в Михайловское. В пристань, что скромно возвышается над речкой Сороть уже несколько веков. Места удивительные. Заповедные. Налет современности не сломал, не сумел задавить странное ощущение присутствия гения. Он – повсюду.

Автобус с туристами останавливается сначала в Пушкинских Горах, у стен Святогорского монастыря. Стайка потенциальных зевак выпархивает из «Икаруса» или потрепанного «Туриста» и замирает. У памятника поэту всегда живые цветы. Через дорогу – холм монастырский. Внизу – белая полоска стены с зеленым козырьком. Она окружает обитель. Вход – маленькая сторожка. Обычные киоски с культовой утварью и открытками, с видовыми открытками пушкинских мест. Наверх, к храму, выщербленные каменные ступени. Справа и слева от ступеней тоже беленые стены. Невысокие. На некрутых поворотах – столбы. Крестово-купольный храм. Белый. Северорусское зодчество. По всему холму «разбросаны» кресты. В основном – каменные. Здесь покоится прах святых людей монастыря. На небольшой площадке – две каменные плиты. Прадед и прабабушка Поэта. Обласканный арап Петра Великого, хоть и сын эфиопского князя, но все равно русский военный инженер, генерал-аншеф Абрам Петрович Ганнибал. Буквы на плитах еле заметны. Даже камень подвластен времени. И листья дождем засыпают инициалы. Трепетная рука туриста освобождает



их из осеннего плена. Губы шепчут: «Абрам Петрович...» А в кованой оградке – небольшой постамент. На нем из белого мрамора скромный памятник. Словно кресты церковные на пустынном небе октября – золотом по белому: «Александр Сергеевич Пушкин». И все. А что душе русской надобно еще? Эти фамилия и имя в нас.

Недолгий путь к имени Михайловское. Стоянка авто у здания древнего, немного неуклюжего. Старая мельница. От нее начинается отсчет шагов к заветным белым скамьям и мостику через овражек к волшебным берегам той самой-самой речки. Кругом шумят сосны. Струнами тянутся к небу. Дорожка петляет. Взлетает над верхушками деревьев, устремляется вниз. Совершенно неожиданно обрывается. Меж двух огромнейших сосен – воротца. Они открыты всегда. В центре, перед домом Александра Сергеевича, кольцо деревьев. Самое древнее – в середине. Уверяют, оно помнит Поэта.

Направо – приземистая избушка. Так вот ты какой, домик арапа инженера-генерала! С тебя, небольшого, одноэтажного (двухэтажных строений в имении нет), но, видно, уютного изнутри, и начиналось все здесь. И сразу же хочется извиниться перед Абрамом Петровичем за табличку на его доме – знак нашего безумного времени: «Бумагу и окурки кладите в ящики и урны».

– В ваши времена, господин Ганнибал, такое писать не смели, никому бы и в голову не пришло, – горько ухмыляюсь в себя.

Напротив, слева от входа, банька. В глубине – домик разлюбезной нянюшки-сказительницы Арины Родионовны. В авангарде у забора – шутейная пушчонка. Их, этих пушек, было две. Одна где-то затерялась. (Снова хочется склонить голову перед предками. Прощения попросить за то, что у нас многое из прошлого теряют.) Из них палили по случаю приезда именитых гостей, приветствовали друзей.

...Дом Пушкина. Деревянное крыльцо в центре. Ступенчатая крыша. Внутри все невелико. (То ли от малого роста хозяев зави-

симо, то ли по прихоти.) Прихожая, гостиная, комната с кроватью под тяжелым пологом. Здесь почивал Александр Сергеевич. Подле – стол с письменными приборами. Чтобы не бегать за мыслью, а писать в часы вдохновенные.

Повсюду довольно аскетичная, но уютная мебель. Только необходимое. Зато за окнами – простор! Полететь хочется. Воспарить. Жить здесь и не заниматься сочинительством грешно.

Чудо – постоять в замшелом лесу, взойти на белый мостик, который висит над вечностью, стать частицей этой вечности, вдохнуть здешней тишины и остаться тут навсегда душой, сердцем, памятью...

Болезнь. Банальность. Она постепенно проходит. Я уже не тянусь к чашке с обрыдлым чаем, к склянке с микстурой, к пакетику с таблетками, к сосульке градусника. Врач выставил штамп в голубом листке временной нетрудоспособности. Расписался. Сделал прочерк в том месте, где оговорены сроки продления. И я обреченно побрел в еще не полноценное серое утро. На работу. Перекладываю бумаги. Отвечаю на телефонные звонки. Звоню куда-то. Дожидаюсь вечера. Выхожу из кабинета, так заключенный из камеры выходит на прогулку, с осознанием того, что через несколько минут он опять окунется в стоячую воду, зажатую четырьмя стенами. Усталость наваливается еще больше. Издерганный, занимаюсь самопожиранием. Признаюсь в собственной бездарности и бесталанности себе самому. Настроение опускается до точки замерзания. Открываю дверь квартиры. Падаю на диван. В пальто. В шляпе. В ботинках. Выпускаю из руки кейс. Он грохается об пол. Через полчаса желудок «играет» марш: «Так и с голодухи можно...» Тянусь на кухню. Ставлю чайник. Наконец-то раздеваюсь. Напяливаю домашнюю одежду. Тапки. Все идет заведенным чередом.

К полуночи начинается чего-то не хватать. Тянусь к стеллажу. Почти на ощупь вытаскиваю. Заветный томик Пушкина. И хочу уютнеть в нем. И тону. И снова стою в местеч-



ке N*, а мимо шагает Сильвио с огромным дульным пистолетом в руке. Он встречается с Адрианом Прохоровым, гробовщиком. Герои мирно беседуют. И слышу:

«Ну, коли так, давай скорее чаю, да позови дочерей», – радостно работнице бросает Адриан. Берет Сильвио под руку. Ведет в дом знакомить с дочерьми.

Две недели улетучились. Испарились. Растворились. И засосало под ложечкой. Захотелось увидеть Эрику. Устроить все поновому. Без объяснений, без пощечин, без взаимной неприязни. Приходить в уютную хижину, где ждут прелесть какая женщина, скромный ужин, полумрак, где даже в промозглый декабрьский день тепло и сухо. Сердце забилось, зашло. Ретивое зыграло.

Я позвонил. На работе не застал. Тогда поехал к ней. Помаячил у подъезда. На кухне горел свет. Поднялся. Нажал кнопку звонка. За дверью послышалась механическая трель. Шаги обозначились шлепаньем домашних тапочек. Вопросительного «Кто там?» – не последовало. Щелкнул замок. Дверь скрипнула. Открылась на цепочку. Навстречу мне блеснули ее глаза, полные удивления.

– Входи, – шепнула. Распахнула пространство прихожей. Из распахнувшегося халата мелькнула грудь. Замок за спиной хлопнул. Обратной дороги не предполагалось.

Плащ – на вешалку. Я обнял Эрику. Она поддалась. Сквозь неразгаданность расставания, сквозь четырнадцатидневный зал неведения, сквозь пространство городской сутолоки. Она поддалась! Я обнял!

Из комнаты выглянул мальчишка. Следом его бабушка:

– Здравствуйте, Володенька, – обронила. Собралась с мыслями. – Эк вы изменились. Давно не видела. Давно.

– Меня зовут Коля. Вы – дядя Володя, – раскрепощенно подошел мальчик.

Я утвердительно кивнул. Он протянул руку. Теплая ладошка. Крошечная. Немного влажная. Я отвечал рукопожатием. Бабушка за-

сутилась. Принялась спешно собираться. Одевать мальчугана.

– Мама, что суетишься? Почему собираешь Коленьку? – вопрошала Эрика.

– Мы договорились сегодня ночевать у бабушки. Ты что, забыла? – удивленно спросил малыш. А радость скрыть он не сумел. – На один раз ведь. До завтра. – Зеленоватые глаза упрасивали. Губы, явно унаследованные от мамы, подрагивали. Перед нами, взрослыми, стоял сжатый пружинный комочек детских чувств, готовый разразиться потоком слез, ураганом неуправляемого крика. Его одели. Уже с порога он серьезно молвил: – Я видел вас на маминой фотографии. Только, дядя Володя, вы были школьниками тогда и сидели с мамой на огромной горе яблок. А меня еще на свете не было. Я еще не родился.

Эрика судорожно вздохнула.

– Пока, – бросил на ходу мальчик. – Вы приходите еще, ладно?

– Ладно, – ответил серьезным голосом, сам еще не веря в сказанное.

Дверь со скрипом затворилась. Пятно света с лестничной клетки поглотила чернота прихожей.

– Есть хочешь? – вопрос Эрики не показался странным.

– Обязательно. Иду прямо с работы. Голоден, как волк зимой. Того гляди – на глазах отощаю. Или тебя съем.

– Мама с Колей поужинали. Мне почему-то не хотелось. Сейчас в животе марши заиграли. С непременным барабанным боем. Поэтому ужинаем вместе.

Макароны зашипели на сковородке. В теплую массу Эрика бросила масло. На соседнюю горелку поставила вторую сковороду. С котлетами. Шипение усилилось. Вдвое. Третьим на огне очутился чайник. Красный с черной ручкой и свистком. (Вот уж что-что, а свистки на горловинах чайников не терплю с детства. Но не всегда мы поступаем так, как нам хочется, делаем, что желаем. Потому приходится поумерить свои привычки.) Телевизор с холодильника прекратил вещать очередной



зубодробительный сериал. Макароны с котлетами «созрели». Им суждено дымиться на тарелках. Чайник принялся подвывать и постанывать. Как только вилками мы звякнули по тарелкам, со стороны плиты пронзительный свист сообщил: «Или выключайте. Или соловья снимите. Дайте покипеть спокойно...» Не дали. Заварили чай прямо в чашках. И вернулись к пожаранию котлет с макаронами.

По телеку шли новости. Какого-то чудака спросили: «Скажите, а где вы были девятнадцатого августа тысяча девятьсот девяносто первого года?»

Чудак пожал плечами. Поморщился. Кажется, так и не вспомнил, но уверенно ляпнул: «Секс, вино, наркотики. Что еще?»

– А ты где была девятнадцатого августа вышеупомянутого года? – сквозь хитрую улыбку спросил Эрику.

– В столице нашей родины, – последовал спокойный ответ. Невозмутимость, с какой была произнесена фраза, поразила.

– Баррикады, танки и автоматы? – вспоминая чудака из телевизора, я снова иронично улыбнулся.

– До баррикад не доехали. В тот день приехали с Игорем в Москву. Издалека. Из уже отпавшего от Союза Бишкека.

– За фруктами ездили? – попытался строгить.

– Почти угадал. За удовольствием. Я уговорила мужа взять меня хоть один раз в горы. Он не только охотник заядлый, но и турист хоть куда, – замолчала. После паузы добавила: – Был. Мы разошлись, когда Коленьке годик исполнился. Мне надоели его вечные скитания по горам, по городам и весям, волнения и дерганья. Ему – мои домашние проблемы и упреки. Ведь он только ночевать приходил. Всё – дела. Уходил – я еще спала. Возвращался – я уже спала. Но это другое. Так вот. Мы приехали на Казанский сиротский вокзал. Но еще в Рязани пассажиры обнаружили – в поезде отключили радио. Газет нигде достать не удалось. Их, как оказалось позже, просто не существовало. В неве-

дении ринулись на Белорусский. Купить билеты домой. Повсюду – тишь. Утро. Асфальт блестит. Совсем недавно по нему прошли поливальные машины. Живо вспомнились старые фильмы, где Москву любили показывать утренней – в сиянии восходящего солнца. В фонтанах «поливало» резвилась всеми своими цветами радуга. Редкие прохожие улыбались новому дню. Клаксоны гудели празднично и призывно. Это было давно... А мы с Белорусского направились в центр, на Театральную. Друг Игоря в то время в издательстве «Планета» на сыщиками знаменитой Петровке (но не тридцать восемь) работал. Переводчиком. Знание пяти языков в совершенстве его никогда не тяготило. У «Большого» – танки и бронетранспортеры. По броне детвора лазает. Солдатики и офицеры курят. Тоже на броне. Блаженство. Мы подумали – парад репетировать приехали.

Входная дверь в издательство заперта. Ближайший автомат у Пассажа. Через дорогу. Звоним. Подходит нетерпеливый человек в кепке-аэродроме. Переминается с ноги на ногу. Загнанно дышит.

– Саши не будет? Странно, сегодня ведь рабочий день. Вроде, – недоуменно Игорь вешает трубку. Человек влетает в автомат. Накручивает диск и в это же время:

– Какая работа, дорогие? Вы что, с гор спустились, что ли? – сквозь смоляные усы огорошивает нас. С места тронуться нет сил. Человек кричит в трубку:

– Мама! У вас ни стреляют? Что? У нас? Тоже пака нет! Абищают танки. Ждем. Ни валнуйся, все нармально! Абнимаю! – с характерным акцентом заканчивает. Игорю бросает:

– Ну пачему смотришь, а? В стране гражданская вайна, а они ни знают, – повторяет вопрос: – Вы что, с гор спустились?

– Утром, – ответил Игорь.

– Что утром? Спустился с гор?

– Да. Только что приехали и ничего не знаем. На Тянь-Шане в походе были, – оправдываюсь за мужа.



Человек крутит пальцем у виска. Разворачивается. Растворяется в московских переулках.

У ЦУМа происходит движение. Небольшая толпа увеличивается, растет на глазах. Взлетает голубем пачка листовок. Листки не успевают лечь на землю. Их подхватывают. Рвут из рук. Из воздуха. Игорь врывается в толпу. Вытекает из толчеи озаренный, полусчастливым. На ходу хватается, срывает фразы с бумаги: «Обращение Президента Российской Федерации к народу...»

Нам повезло. Таскаться по Красной площади не пришлось. Спокойно, даже чересчур, позволили метрополитену заглотить наши тела. Он деловито выплюнул их на Белорусской. Стены вокзала показались родными. На улице перекусили какими-то безвкусными пончиками. Хлебнули газировки. В камере хранения забрали рюкзаки. Дебелый дядька-приемщик со всхлипом приподнимал их. И пристально на меня поглядывал. Как будто оценивал мою «грузоподъемность». Так ведь ноша своя, не тянет. За два с лишним часа сидения на вокзале нам показалось, что мягкие «места» наши просто одеревенели. От газировки, кофе и чая животы превратились в бурдюки. До вагона еле дотащились. Вынули спальные мешки. Застелили вагонные полки, мгновенно уснули. Очнувшись от сна на долгой стоянке. Протерли глаза. Родной вокзал! Проводница забыла разбудить. Благо, сборы недолги – мешки под клапан, рюкзаки на плечи, и... поезд дернуло. Он медленно пополз. Мы выпрыгивали на ходу – уже под переходным мостом.

Город жил размеренной провинциальной летней пустотой. И никакие катаклизмы, казалось, на него не влияли. Знакомые просто терзали прямо на улице: «Где были вчера? Что делали?». А когда узнавали, что приехали из Москвы, шалели. Замирали. Умолкали. И взрывались:

– Ну и как там?

– Нормально. Танки. Люди. Листовки. У телефонов-автоматов очереди. Как у испанского художника – мягкое все, текущее, рас-

плавленное. Баррикады? Конечно, посетили, – залихватски врал Игорь. Верили. Он пустился в галоп. – Видели всю элиту. Что? Да, даже руки пожимали. Месяц не буду мыть. Или всю жизнь. – Никто не воспринимал его иронии. Все верили безоглядно. Даже завидовали. Пугались и бежали к соседям, чтобы напугать их, в свою очередь. Заодно – рассказать, что приятель вчера на баррикадах столичных сражался. За будущее народа. Простой провинциальный обыватель влез на баррикаду! Мы стали сенсацией. Казалось – в нашу квартиру въехали эстрадные звезды, а все соседи жаждут их (то есть нас) лицезреть.

Худшим получилось другое. В порыве врак Игорь даже маме своей стал расписывать свое героическое участие в сооружении заграждений поперек улиц. Свекровь чуть было не хватил удар! Она рухнула от такого известия прямо в прихожей. Благо – на табуретку. Задохнулась. Жестами попросила воды и чего-нибудь сердечного. Кроме воды, ничего не оказалось. Игорь полетел к соседям – спросить хотя бы валидола. Когда вернулся, мама пришла в себя. Могла говорить и ругаться. Более того, в гневе она отхлестала сына авоськой, словно его детство не кончилось. Правда, потом все вместе заливались хохотом.

– Ладно уж, хулиганье, накрывайте на стол. Надо же отметить возвращение блудных детей. – Она вынимала из сумки банки с соленьями, пакеты со снедью. – У вас сейчас холодильник пуст. А без праздника никак нельзя.

– Так что, милый Володечка, девятнадцатого августа я посетила Москву с ее танками, неразберихой, страхом, а двадцатого вечером пила водку в компании мужа и свекрови. Уже – дома.

Грустно стало. То ли от упоминаний о муже и свекрови. То ли от жизни, от ее безысходности.

Грянули очередные выходные. Я называю про себя их «Днями выхода в люди». Взвзавшись за руки, мы отправились в наш роди-



мый ЦПКиО. Ряженный тракторок тащил две тележки. Точнее – два «вагончика» с детишками и их родителями. Визг. Радость. Дикое удовольствие, сравнимое лишь с нашедшей банановые заросли стаей обезьян. Колесо обзора облепили солдаты. Знакомятся с городом. Законные увольнительные в карманах. Ни один патруль не придерется. Сегодня у них перерыв между подъемами, отбоями, строевыми, тактическими, политическими, между кроссами в противогозах при полной выкладке. Долбеж ключом передачи на сегодня тоже забыт. Но кошмаром мне вспоминается морзянка с завязанными глазами. При выключенном свете. За каждую ошибку – бегом вокруг казармы. В сапогах. А другой обуви в армии нет.

Эрика уловила мой погрузневший взгляд. Налетевшую задумчивость.

– У тебя случилось что-то во время службы? Больное? Незабываемое? – порхнули вопросы.

– Жуткое, – выдавил больше для себя...

Служить случилось недолго. После окончания института долго отбывают «срок» на офицерском пайке. Рядовой – звание более почетное. Опять же – погоны, как и совесть, остаются чистыми. Пришлось выучить морзянку. Однако не это помнится. Полтора года скользнули как по маслу. Унижения? Терпеть не пришлось даже в первое время. Я ведь старше многих оказался. Им восемнадцать-девятнадцать, мне почти двадцать три. Пытались «дедушки» поначалу «душить». Не дался. Но случай один мучает.

Зашел в гальюн. Ночью. Там «деды» обступили живым кольцом, с колышущимся кулаками и ногами, новобранца. И это в ротном нужнике! Днем раньше ефрейтор (их в армии «собаками» называют. Потому что – не младший командир еще и не солдат уже. Вот и срывает злобу на рядовых.) «застукал» мальчишку за нелюбезным занятием: закатив глаза и прерывисто дыша, тот пытался представить себе, возможно, – трепетную белизну кожи невесты, что осталась

на гражданке, ее розовую плоть, спрятанную под мшистым бугорком внизу живота. Когда свежестриженный пацан охнул и судорожно начал хватать ртом воздух, переполненный запахом солдатских портянок, хлорки, ваксы, за спиной взорвался ефрейторский рык.

Для начала приказал мальцу вычистить все углы зубной щеткой. В казармах многое чистится этим предметом туалета. Затем – подшить, и подшивать до окончания ефрейтором службы, подворотничок, отгладить форму, надраить сапоги.

Новобранец отказался.

Ефрейтор стал бить его. А на следующую ночь я случайно зашел в нужник. Картина та до сих пор стоит перед глазами: Рядовой. Лысый. Лопухий бесправный мальчик. Разбитыми кистями пытается закрыть лицо. Голова покрыта кровавым сгустком. Из рубцов, появившихся после ударов сапог, сочится кровь. Сквозь пальцы – кровь из носа. Жалкий окровавленный комок корчится на кафеле туалета в луже собственной крови. С садистским наслаждением сержанты и ефрейторы машут и машут окровавленными кулаками и подкованными, заляпанными кровью сапогами.

– Что вы делаете? Убьете ведь мальчишку! – заорал я с порога.

Крик остановил экзекуцию. Рассудительно, переведа дыхание, ефрейтор процедил:

– Не лез бы на рожон, Вов, – и тут же рассказал о солдатской «провинности». Исполнители «приговора» очнулись. Закурили. Руки у всех подрагивали. После первых же затяжек побросали сигареты на пол, потянулись в спальни. Кто-то успел бросить по ходу:

– Повезло тебе, сопляк. Живи...

Комочек зашевелился. Встал на четвереньки. Сжал голову разбитыми кистями. Сморщился от боли:

– Спасибо, – выдавил. На четырех точках добрел до умывальника. В раковину потекло алое.

Кафель вокруг в пятнах и потеках. На пороге – ряд заляпанных его кровью сапог. «Молодой» должен вымыть их и почистить. Иначе



экзакуция повторится. Новобранец плюет в сторону сапог. Берет тряпку. Вымывает пол. Отжимает. Устраивает тряпку на батарее. Мимо меня уходит в темноту спальни. Влезает тихо на свой второй ярус.

Лейтенант утром не выясняет ничего. Только гримаса на его лице выдает недовольство. Однако офицер знает, что без этих «ЧП» – никуда. Так надо. И отправляет парня в санчасть.

Остальные солдатушек – бравы ребятушки молчат. Те, которые придут им на смену, будут так же молча сносить побои младших командиров, их издевательства. Так было, есть и так будет всегда. Жестоко, цинично, зверски. Говорят, чаще человеку плохое из его жизни помнится. Смотря с какой стороны посмотреть. Вот, к примеру, ждали в полку проверяющего из штаба. На футбольном поле уже вовсю цвели одуванчики. Трава – по щиколотку. Мяч никто не гоняет. Сил нет. Вместо того чтобы скосить зеленку, наш взвод отправили обрывать желтые головки цветов. Смешно? Наверное. Или мытье с мылом асфальта от КПП к казармам. Таких примеров – масса.

Несколько раз наш сержант, девятнадцатилетний орел, строил взвод под дождем. Командовал: «Приготовиться к бегу!» Мы сгибали руки в локтях. После команды «Бегом марш!» медленно начинали втягиваться в ритм. Никто не спрашивает, хочешь ли бежать. Надо. Километра через три он командует: «Стой!» – и гусиным шагом заставляет семенить по грязи. Под дождем. Кто-нибудь отставал. Падал. Все, сидя на корточках, как зеки во время выгрузки из вагонов, обязаны ждать.

Однажды музыканты в клубе полковом засились. Репетировали. К празднику что-то. Заодно решили и отметить. Купили спиртное заранее. Запаслись закуской. Вечерело. Достали. Расставили кружки. Постелили газету. Откупорили. В дверь постучались. Условным стуком. Отворили. На пороге – дежурный по полку. Майор. На столе – выпивка. Немая пауза. Ребята испугались жутко. Представи-

ли мысленно гауптвахту. Дежурный прогромычал к «столу». Налил два стакана. Хрюкнул. Опрокинул, не глотая, один. Следом – второй. Занюхал рукавом. На кусок хлеба положил кильку. Так никто ничего не понял. И никто из офицеров ничего не узнал. А ребята тряслись. Ерунда все это. Служба. Видимость службы. Это теперь страшно. А в наше время – фигня. Вспомнилось. Выплыло. «Это ей ни к чему знать», – подумалось.

Зашли в «стекляшку». На Блонье. Блины со сметаной. Пиво. Кругом, судя по разговорам, газетчики осушали сто, сто пятьдесят, двести пятьдесят. Почти не закусывали. Говорили громко. Что-то о политике. О культуре. Задерживаться нам не хотелось. Из автомата у кафе позвонили маме Эрики. Двинулись ко мне. Завтра – на работу.

...Солнце кольнуло в глаза. Сквозь шторы пробрался непоседливый луч. Нахулиганил. Разбудил. От него отворачиваться не хотелось – пригревал. Почудилось – ничего лучшего нет, чем лежать в постели с любимой(?) с детства женщиной и никуда не торопиться. Увы, спешить надо было. Осторожно вытащил руку из-под головы Эрики. Она девчоночьи почмокала губами. Обняла место, где только что лежал я. Пошарила пальцами. Сжала простыню. Вспорхнула с дивана. Поймала мою улыбку. Блаженно потянулась. Откинулась на подушку. Зевнула.

– У нас есть еще время? – Я кивнул. – Тогда давай, ты приготовишь завтрак, – сощурилась. Я снова кивнул в щелочки ее глаз. – Пару минут подремлю еще. Можно?

Часы показали семь пятьдесят восемь. Стоя у газовой плиты, я вдруг понял: «Это когда-то кончится... Когда? Если бы знать...»

Захотелось забыть название города, в котором мы встретились и живем. Забыть паутину улиц, лабиринты оврагов. Забыть день, ночь, забыть воду в реке и перестук трамваев, шины авто по асфальту и стép поездов на стыках; забыть ветер и дождь; забыть имена, тела, руки; забыть прошлое и будущее; забыть, как пишутся буквы и обнаружить си-



релевый снег под старым карликом, имени которого никто не помнит, и себя – на берегу залива. Нет, не залива. Он раньше так назывался. На кромке встречи океана с сушей. Пойти по ней под аккомпанемент горластых чаек (или – как там теперь они называются?) туда, где встречаются суша, вода, небо. И прийти однажды. И увидеть тонкую линию, нить, на которой держатся эти стихии. Обнаружить, что порвать ее запросто. И следов на песке много. Видно – приходили Обрыватели и ушли ни с чем. Не смогли разрушить не ими созданное. Не справились. Океан надвигается на сушу, отодвигается и снова – назад. Как детские качели. А множество следов не смываются. Остаются вмятинами в песке. Или – в гипсе? Они пропадают только тогда, когда обладатели их умирают. На две вмятины становится меньше. Когда-нибудь их не будет вовсе. Значит, люди не захотят приходиться к тонкой нити. Романтики вымрут. Лириков замучает психоз. Физики уйдут с головой в науку. Им будет наплевать на все. И все-таки мир не обретет равновесия. Кому-нибудь опять захочется после бутылки вечернего пива отправиться туда, где можно забыть название города, в котором они встретились и живут, забыть паутину улиц и собственное имя. И кто-то снова придет сюда, влекомый жадной поиска истины. Сюда, где на песке ко времени его прихода не останется ни одного следа. Но он этот след оставит и, как предки, не тронет нити жизни. Но расскажет всем о ее существовании. И кто-то поверит. И «прорежутся» на кромке океана и суши новые лирики, романтики, физики. И будет так.

Почему мне захотелось забыть все? Почему?

* * *

Я очнулся в центре ночи. Очнулся от того, что понял: занимаюсь самообманом, уговариваю себя, уповаю на дружное, теплое семейное будущее. На «очаг», который, возможно, образуется, и под ним вспыхнет огонь настоящей любви; в доме на плите будут вариться душистые щи...

Я очнулся от тоски. Безвыходности. Безысходности. Разве можно прожить две счастливые жизни? Все нежное осталось в прошлом. Умерло. Воздух впитал серость мыслей и чувств, серая луна окунулась в серое марево, по улицам поползли серые тени, а фигуры поздних прохожих не отбрасывают теней. Страна тоски...

Неглиже я выбрался на кухню. Поставил чайник. Вернулся. В темноте комнаты на ощупь отыскал шорты.

Ночной чай. Крупнолистовой «Липтон». Когда в нем плавает долька лимона. Во круг – тишина. Идеальное одиночество. Недолгое. Может быть, мнимое. Но – приятное. Даже курить захотелось. И варенье достать. Последнее показалось более приятным. Клубничное. С цельными ягодами. Его называют «пятиминуткой». Я не дока в приготовлении пищи, и все же, думаю, ягоды варят при подобном раскладе не больше пяти минут. Темно-красная сладкая влага. Она напомнила мою детскую кофточку. Правда, та алая была, с кармашком. На нем – синий паровоз с громадной трубой. С кружочками колес. Мне – три года от роду. Отличительная особенность того времени – моя любовь к ненормативной лексике.

Бабушка приводила меня из детского сада. Дома я невозмутимо садился на пол посередине комнаты и нес все, что где-нибудь слышал. А слышал довольно много. На улице мужики играли в карты, забивали в домино «козла». Родители по поводу моих лексических «изысков» нервничали. Ругали за мат. Пороть даже пробовали. Я продолжал «упражняться» непрерывно. Однажды они перестали обращать внимание на словесные экзерсисы. Мне надоело их пренебрежение. Пришлось опробовать словечки на воспитательнице. За это меня примерно наказали... родители.

В кружке лишь мокрые размякшие листья. Расправившиеся. Словно развалившиеся в кресле ленивые люди. Кружок лимона. Его



забросил в рот. Кислота еще оставалась. Скулы слегка светло. Приятно. А внутри все жгла неудовлетворенность собой.

Она ведь мучается со мной. Я – с ней. Коленка? Какой я ему отчим? И потом, кому нужна моя усредненность во всем? Кто сегодня, во времена детективов, политических страстей, многопартийной вакханалии, станет обращать внимание на ненормального, которому по душе Пушкин и Набоков? Программа новостей посмотрится хлестче триллера, а газетные публикации пестрят сплошь такими историями, что сердце заходится. Для меня, в лучшем случае, вызовут шестую бригаду «Скорой помощи». Сделают укол. Или натянут смирительную рубашку. С ходу. Без примерки. И увезут. И там, в серых стенах «шестой» палаты, со временем я стану Наполеоном Бонапартом, или бравым солдатом Швейком, или, того гляди, – вождем революционного движения. Или контрреволюционного...

От чая остались приятные ощущения. Жаль, они не могли уничтожить внутреннюю тревогу. Она не хотела уходить. Наоборот – нарастала. Надежно брала за глотку. Нужно было плюхаться в кровать. Искать сон. Но долго бегать за ним не пришлось. Сон пришел сразу.

Огромная, коек на двадцать, палата. Железные кровати застелены солдатскими одеялами. С полосками в ногах. Края «отбиты», как полагается в казарме. Бледный свет. Время, кажется, ближе к вечеру. Или – начало дня? Непонятно. Вокруг никого. Только муха прожужжала. Стукнулась о плафон. Круглый. Белый. Матовый. Я сижу на ближней к стене кровати. В застиранном халате. Откуда-то я знаю, что он раньше был синим. Пояс завязан на узел. Под халатом – тельняшка. Больничные штаны. Домашние тапки – черные с зеленой полосой. Голова острижена. Наголо. Входит человек в таком же халате. Вернее – медленно вступает в проход между кроватями. Точнее – вливается. Медленно палата заполняется. Больные (?) возникают

из ниоткуда. Как в кино, при помощи стоп-кадра. Монтаж. И на пустом месте – нечто или некто. Словно фотография в кювете, «проявляются» доктора в белом, посетители в разномастных одеждах. Никто из них не натянул халата.

«Хорошо хоть не инфекционка, – мелькает в голове, – не то отлежишь положенный по «уставу» двадцать один день, попутно «подхватишь» еще что-то, и так до бесконечности».

Рядом сидит мама. Усталая. Измученная. Круги под глазами. Морщины новые появились. Возле губ. У глаз. Она принесла пакет со съестным. Есть не хочется. Клонит в сон. Мама говорит. Ничего не слышу. Палата наполняется говором, шорохами, шлепаньем тапок по линолеуму. Подходит небритый. Садится на то место, где только что была мама. Важно засовывает пальцы правой руки за отворот халата. Приподнимает бровь. Всматривается. Изрекает:

– Служить ко мне пойдете, рядовой гражданин?

– Куда это – к вам?

– Неужто не узнаете? – он наклоняет голову. Два подбородка. Толстые губы. – Неужто не узнаете?

Я отрицаю факт знакомства. Он встает. Выпячивает то место, где должен расти живот. Надменно произносит: – Я же Наполеон Бонапарт!

До меня доходит жуть происходящего. Струи пота стекают по лбу, на кончике носа повисает капля. Судорожно глотаю воздух.

Открываю глаза.

Счастье! В дверном проеме светится фигура Эрики.

Никакого длинного ряда коек.

Прохода между ними.

Людей в халатах.

Наполеона.

Сталкиваюсь с вопросительным взглядом.

– Такое приснилось, – слгатываю слюну. – Лучше когда-нибудь потом расскажу. А какой сегодня день?



– Пятница. Имей в виду, – сны под пятницу сбываются.

Становится жутко.

Холодная вода душа встряхивает. Сон не торопится уходить.

Хватаю «Сонник», над толкованиями которого всегда посмеивался. Ищу нужную страницу. «Увидеть во сне психиатрическую больницу – предвещает Вам большое душевное напряжение, с которым Вы будете преодолевать трудности».

– Хотелось бы преодолеть, – шепчу без веры в лондонское издание 1931 года. На дворе – конец века.

Приходит озарением вопрос:

– Кем же тогда я был в сегодняшнем сне?

* * *

Чашка содрогнулась. Испустила легкий вздох. Треснула. Рассыпалась в порошок. Так жемчуг, отслужив свой век, рассыпается нежданно-негаданно. Я бы сказал – невозможно, нереально, бред. Кто-то, более сведущий в сопротивлении материалов, со знанием дела выведет: «Ничего удивительного. Усталость. Усталость материала на молекулярном уровне». Внутри во мне напряглось что-то и лопнуло. И абсолютно не больно. Даже – ожидаемо. Странный сон замер во вчерашней ночи. Сегодня опять не спалось. И снова чайник ликовал на плите. И клубничины будто подмигивали из-за стеклянных боков банки. И «Липтон» распарился в кружке, на которой нарисованы принц и принцесса. Они, утонченные, порождены умелой рукой художника. Прямо под ними на ленточке имя и фамилия сказочника: «Ганс Христиан Андерсен». А внутри – ароматная влага чая. А впереди – целая ночь. Темная, заполненная одиночеством, шепотом неоновой лампы на стене, шорохом тараканьих ног во время их забегов, мышьиной возней под полом. С батона стекает варенье. Капает на ладонь. Переливается на пальцах. Доедаю хлеб. Облизываю руки. Смываю липкость. Возвращаюсь в спальню.

Никак не спится.

Ласково бужу Эрику. Она бормочет сквозь сон что-то ласковое. Все вроде хорошо. Недостает только самого важного, самого главного. Уже сознательно, хладнокровно довожу дело до финала. До взрыва. Эрика не просыпается. Долго лежу. Потом поднимаюсь с постели.

Тьма за окном стала плотнее. Я обращаюсь в вора. Собираю пожитки. Их не так много. Только то, что на мне. Выбираюсь на кухню. «Эрика! Прости. Все сложилось совершенно не так, как хотелось бы. Но мир не должен рухнуть. Не имею права причинять тебе боль. Так вышло. Приходится. Обнимаю. Вовка».

Чего можно добиться объяснениями? Слишком уж похожи они на оправдания. Записку смял. Бросил в мусорное ведро. Повернулся уйти. Резко бросился к мусору. Рыться пришлось недолго. Бумажка белела сбоку. Я сунул ее в карман.

– Глупо, – шепнул и закрыл за собой дверь. Ключи опустил в почтовый ящик.

Ночь. В подъезде свет не горит. На улицах – фонари, призывные огни круглосучточных ларьков; оранжевые и красные полосы оставляют подфарники машин; весел лишь зеленый огонек такси, кричащий насмешливо: «Свободен!» На проспекте у Дома быта небольшое кафе под открытым небом. Устраиваюсь поудобнее. Долго пью пиво. Наслаждаюсь пустотой улицы, незаполненностью площадки с пластиковыми стульями. Позевываю и снова пиво заказываю. Подсаживается девица. Просит угостить. Ей мало выпитого, недостаточно приключений. Да и заработать, вероятно, захотела. Но я не становлюсь ее приключением. Наши желания и настроения не совпадают. Она находится на вершине синусоиды расслабления, на вершине жажды денег, я где-то посередине, на нисходящей линии. Осознание, что никто дома меня не ждет, сдерживало во временном отрезке второй половины ночи. Невозмутимо приближалось утро. Прохлада начала заполнять под рубаху.



В двух кварталах от дома нырнул во двор. Так короче. «Срезал» приличный угол, вышел на тротуар напротив подворотни огромного дома сталинской поры. Этот проход позволяет сделать еще одну «срезку». По улице, рыча дырявым глушителем своего авто, промчался некий ненормальный. Утро рычало вместе с красным спортивным «Фордом». У обочины металась болонка. С ошейником и даже какой-то медалькой на нем. Мотор взревел сильнее. Я успел отскочить. Но тот, который в машине, двинул в сторону пса. Раздался стук. Глухой. Крохотное тельце собачонки отлетело на газон. Под тополя. Болонка крутнулась несколько раз. Вытянулась. Затихла. Машина испарилась намного раньше. Подумалось – хуже, чем цинично. Специально сбить беззащитную тварь и умчаться, похотывая, с девицами, дымя сигаретой под взрывы и стоны металлического рока. Подошел к неподвижному тельцу. Склонился. Хотел взять на руки. Бесполезно. Помочь собачонке не смог бы даже гениальнейший ветеринар-травматолог.

Из подворотни вылетела хозяйка болонки с криком:

– Пупсик! Пупсик! Ты где? Иди ко мне! – в руке она держала теперь уже ненужный поводок. Женщина, хотя о возрасте дам говорить не принято, лет пятидесяти пяти, с седой головой, в легкой полноте. Спортивный костюм под плащом. На ногах – российский «Адидас». Женщина чуть не свалилась. Обморок прошмыгнул рядом. Она собралась с силами:

– Давно? – обратилась ко мне.

– Только что, минут пять, может, семь. Одно хорошо, не мучилась долго. Умерла практически сразу.

Осиротевшая хозяйка всплакнула. Подняла трупик друга. Прижала к груди. Светлый плащ моментально испачкался. По подворотне разнесся шепот шагов. Женщина исчезла вместе с псом.

– Я его похороню. По-доброму, – прилетело ко мне от того края, где начиналось про-

странство двора. Точнее, его предутренняя синева.

* * *

И почему-то вспомнился художник. Вечером он, видимо, сидит на своем вечном диване в студии под музыку еще более вечного Моцарта. Из окна лишь один вид радуется. Иногда он меняется. Точнее, меняется ежесекундно. Этот вид – небо. Остальное, – прямоугольные глыбы стен. Правильные до рвоты углы. Скучные ряды окон. Неудивительные силуэты крыш. Стены – розовые, серые. Снова розовые или серые. Урбанизм. Моцарт в урбанистической фантазии мало кому нужен. Скорее нет, чем да. Будто бояться все, что его творения разрушат бетон, расколют стекло, искорежат пластик. Чудится, что музыка находится в центре квадратов кварталов, параллелей и перпендикуляров улиц. Она звучит в центре обмана. Вольфганг Амадеевич. Он находится в центре наживы. И даже не догадывается – сколько стоит дружба в современном мире. А цены измеряются большими «бабками». Вражда стоит намного меньше. Жизнь или смерть? В зависимости от желания заказчика и способа осуществления операции. На все один взгляд. Один вздор.

Художник сидит на зеленом диване. Насиловует себя мыслью: «Так ли необходимы его полотна людям, которые существуют в этом городе?» Его отталкивают. Пытаются раздавить, растоптать. Смять. Художник устал удивляться несправедливости. Торжеству бездарности. Лжи. Ничто не удивляет его вовсе. Ничто и никто. Даже голый зад на первой полосе газеты не удивляет.

Как-то, помнится, забежал к нему. Без предупреждения. Он сидел с яркогубой, крашеной, довольно мощной девицей. Я понял – не вовремя. Надо извиниться и ретироваться. Не позволили. Предложили водки. Отказался. Также отказался от сала и яичницы. Был сыт.

– Тогда чай или кофе, – настойчиво «надавил» художник.



Пришлось ненадолго задержаться. Познакомиться с Ульяной. Так художник представил свою гостью. Невольно приглядеться к ее глазам – томным и пугающе пустым. Выпить кофе с сушкой. Выслушать историю Ули. (Мне нравится традиция давать новорожденным детям в конце двадцатого столетия русские имена или имена просто старые, кажется, устаревшие. Но так ласково звучат они). Посмотреть, как она осушает рюмку. Другую. Почти не закусывает. Курит. Много курит.

Ульяна Хлобыстинова – начинающий режиссер. Приехала в наш город ставить дипломный спектакль. Только вот не пришла по душе руководству театра. Актеры повели себя вообще – странно! Они, вместо того чтобы помочь девушке, бойкотировали ее потуги. Поэтому начальство сочло за благо удалить начинающего режиссера с приговором, раскрывающим собственную профессиональную несостоятельность. Художник бушевал:

– Вы понимаете, имя театра держится только на прошлых заслугах. Сегодня театра нет! Это пристанище администраторов! Отвратительных администраторов! – жестикулировал возмущенно. Утешал Ульяну, как только мог, советовал не отчаиваться. Послать подальше недругов и недоброжелателей. Собрать волю. Нарбатывать свою репутацию. Уля осушала рюмку и снова просила водки. Приятель наливал. Я оставался сожалющим, совершенно безучастным наблюдателем. Творческие споры для меня, вовсе не театрала, всегда казались игрой козы на расстроенном баяне. Лишь изредка приходило просветление. И я все понимал, чувствовал, ощущал дыхание душ спорщиков. И становилось хорошо.

Вторая чашка кофе опустела. Остатки двух сушек болтались в желудке. В висках слегка покалывало. Голова наливалась болью. Постепенно. Поступательно.

– У меня все неправильно, – сетовала Ульяна. – Мама – режиссер. Естественно, она отговаривала от поступления в театральный. Тем более – на режиссерский факуль-

тет. Расписывала «прелести» профессии, о которых я раньше не догадывалась. Но никогда меня не покидала уверенность, что рождена я для радости других. Для счастья пришла в этот мир! – голос подрагивал. Уля сдерживалась, чтобы не разреветься. – Поступила в институт на курс очень известного мастера. Через год он умер. Его преемник скончался через три месяца. Теперешнему педагогу мы не нужны! Отмахивается: «Делай, как знаешь...» Я хотела поставить сказку для взрослых. Мою заявку заметили и после театрального фестиваля позвонили именно из вашего театра! Предложили ставить спектакль именно у вас, на базе драматического, да еще – государственного театра! Впереди маячила синяя корочка диплома. Будущее. А на поверку вышло... Я здесь нужна как зайцу стоп-сигнал? Все сроки нарушаются. Денег не платят. Только обещают. После обещаний, не дав поработать, признают в профнепригодности?! Не вижу выхода! – не выдержала, всхлинула и... замолчала.

– Как сказал барон Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен: «Безвыходных положений не бывает!» – я встрял беспардонно. Никто не удивился.

– Сегодня в Питер умчалась подруга. Навестить приезжала, узнать, как дела движутся. А когда узнала про фиаско, стала уговаривать вернуться. Прямо сейчас собрать вещи и ехать! Ну как я приеду домой без дипломного спектакля?

– Уезжать – ни в коем случае! – Художник макал сушку в чай. Откусывал. Делал глоток. Внимательно слушал. Вставлял нужное, по его мнению, в монолог Ульяны: – По-моему, лучше быть белой вороной, биться лбом в стену неприятия, непонимания, неприязни, чем ходить на посылках у сильных мира сего. Надо летать над суетой и не уподобляться людям с их вечной спешкой. Они, как бы ни торопились, все равно всегда опаздывают. Лучше всегда находиться в небе. Да, мы привыкли жить бедно, но гордо, привыкли не просить позволения делать то, что сочтем необходимым! Привыкли! Надо запомнить:



самим о себе необходимо заботиться! Не просить милости. Не обивать пороги. Работать и делать себя. Времена меняются. У вас другие запросы, проблемы. Иная жажда. Вы живете в своем, отличном от нашего мире. Вам выдан ваш карт-бланш и им стоит воспользоваться! Главное – найти и почувствовать его!

Я начал уставать. Дремота наваливалась на плечи. Избыток кофе в организме тоже плохо. Как и недостаток.

Теперь художник сидит на диване. Слушает вечного Моцарта. Гения. Гуляку. Ловеласа. Такое мнение, по крайней мере, бытует в народе. Всем кажется, что создавать произведения в области искусства не тяжело. Я набрался сил. Сказал об этом. Уля вздохнула. По щеке сползла слезинка.

– Тяжко! Да еще как тяжело! – художник опрокинул рюмку в себя резким движением.

Уйти так и не удалось. Во-первых, спешить некуда. Во-вторых, никто меня не ждал. В-третьих, шляться по ночным площадям в поисках приключений не хотелось. В-четвертых, в-пятых... Пунктов много, а я один. Опять же – хорошо мы сидели. Я согласился на водку. Попозже – на яичницу. Ломтики сала, само-собой, сдабривались горчицей и отправлялись в рот. Вроде сами запрыгивали.

Очнулся в комнате начинающей режиссерши. Встал с тахты. «Палуба» заходила ходуном. Баллов шесть-семь, не меньше. Сквозь утренние сумерки и наступающую дурноту разглядел комнату.

На стене – шторы-французы. В скором времени они должны рассыпаться. От ветхости. Поверх них – картина неизвестного живописца. На ней – баркасы в бухте, пасмурный день занавешен облаками, далекие сопки отделены тяжелой водой, на сходнях замерли рыбаки, невдалеке поселок, и сети на кольях опутывают пространство вокруг жилья.

В углу комнаты – несколько иконок. Недорогих, но, по-видимому, важных для ре-

жиссерши. Остальные стены – в афишах и плакатах давно умерших спектаклей. Своеобразная летопись. Или склеп. Или братская могила.

Двухконфорочная газовая плита в небольшом темном закутке. Над ней сушка с несколькими тарелками; под столом, на котором плита и зиждется, баллон красного цвета с белой надписью на русском языке: «Газ». Мусорное ведро тут же. Пустое. Битое по бокам не одним поколением театральных деятелей.

Надо отметить, что в комнате привлекает внимание больше всего мебель. Вернее – стол и два стула. Деревянные, сделанные без единого гвоздя, они походили на остатки королевского гарнитура, который пропил его наследный принц.

Я вернулся по шаткому полу. Упал под мышку грудастой режиссерше. От нее повеяло огнем страсти и водочным перегаром. Первое успокоило. Второе... Говорят, целовать курящую женщину равносильно тому, что вылизать пепельницу. Тот, кто обронил сравнение сие, не учел сегодняшней, процентов на восемьдесят курящей слабой половины человечества. До времени эмансипации, похоже, он не дожил. Да, так вот, если от женщины несет перегаром? Даже если и после совместной пьянки? Начало моих размышлений прервали.

Без подобающего данному моменту интимности стука дверь приоткрылась. Она оказалась незапертой. Я спрятался под одеяло. Ульяна не реагировала. Спала. Мертвецким сном. В проеме показалось мягкое лицо художника. Не говоря ни слова, он вошел. Улыбка заканчивалась на затылке. Даже уши улыбались:

– Вот повезло, что ты вчера зашел, – зашептал, войдя, художник, – я уж не знал, как с ней поступить. Вроде – надо бы поискать счастья. Не всю жизнь бобылем терпеть. И вместе с тем выступление в качестве старшего товарища, к которому пришли за советом, не позволяло перешагнуть рубеж официоза. Что характерно. – Он улыбнулся. С прищу-



ром. С хитростью в бороде: – Поделишься ощущениями?

– Ты что, старик, очумел? – большего сказать не нашелся.

– А что, даже Пушкин делился с Натальей Николаевной, женой своей любезной, своими любовными похождениями.

– Только ведь ты не Наталья Николаевна, а я – не Пушкин, – из меня поперла злость. Я вспомнил книгу одной дамы о Наталье Николаевне. О ее кротости. Терпеливости. Муках и страданиях. И дама эта была, кажется, ее дочь. Но нужно было ответить художнику. – Так что делиться нечем. Да и незачем, – я красноречиво изобразил нежелание говорить на тему интима.

– Не кипятись, – миролюбиво произнес он, – буди лучше даму и – приглашаю вас обоих испить чашечку кофею с остатками роскоши. – И бесшумно исчез за дверью. И тишина окутала нашу постель. И мир показался крошечным. Хрупким. И... пошлым.

Я, не торопясь, встал.

Оделся.

Тронул за плечо Ульяну.

Она охнула спросонья.

Приоткрыла глаза.

Приподнялась и попыталась обнять меня, но... я уже стоял на другом краю комнаты. На другой остановке. На своем, хоть и в чужом городе, причале. Корабли гудели призывно к отплытию. В соседней «камере» ждали «кофей и остатки вчерашней роскоши».

Начинался новый день.

Да уж, в такой идиотской ситуации я оказался впервые. Впрочем, в жизни все происходит впервые. Каждый новый день – новый. Он не повторяется. Никогда. Ни разу. Его невозможно прожить тождественно прожитому. Насладиться счастьем. Предугадать. Предупредить. Предупредить. Войти в объятия любимого человека. И не покидать их. Так хочется, но обязательно что-то нарушит ход задуманного. Река натывается на плотину. Становится морем. Или выбирает иной путь. Упорно ищет новое русло. Вода в ней постоянно меняется. А день, выбранный для

повторения, уже с полуночи развивает свой бег по иным законам. Он не подчиняется тебе. Как бы ни хотелось, но просыпаешься мгновением раньше. Или – позже. Не с той ноги, что в прошлый раз, встаешь. Кофе варится быстрее. Он горче и необузданней по вкусу. А то – слаще. Желтки яиц не застывают, как в задуманном дне, ровными кружочками, а растекаются по сковороде. Каша не пригорает. Суп, наоборот, отдает паленым. Лимон с толстой шкуркой, не с тонкой. На работе – суета, вместо желаемого затишья – штормит. И не встречается та женщина. Звонить – значит нарушить ход желаемого течения. А если и договорился с ней заранее – она забывает. Или звонит позже. Или – раньше. Из трубки телефонной доносятся совсем не те голоса. К заключительному акту «представления» ты приходишь в кафе или бар. Куришь. Ментолом отдает от дам, сидящих напротив. Потягиваешь пиво сквозь их разговор о презервативах и преимуществах прозрачной резины перед черной. Они, дамы, пытаются «зацепить» меня. Но по плану – должен дожждаться ее. Она, похоже, забывает прийти. Или не хочет.

Как должно – ничего не происходит.

Я психую. Пылю. Срываюсь. Считаю до ста. Спокойствие не приходит.

* * *

Медленно мир впадает в спячку. Потому что минул Иванов день. Венки опущены в воду. Течение унесло их далеко. Цветные, размякшие, они прибились к чужим берегам. Некоторые унесло к морю. Кто-то наверняка нашел в черноте леса свой цветок папоротника. Светлый. Он уже осчастливил обладателя своего. И все. Давно кончились пляски у костров при свете факелов. Девки нагие не прыгают через костры. Ни одна из них не бегает босой и безодеждной по теплой летней ночи. Не догоняет их никто. Только венки и песни. Песни и венки.

Вскоре за Ивановым днем и Спас яблочный наступил. Совсем осеннее время.



Я ездил к брату в деревню. На рыбалку. Или порой брал снасти и так, без особого направления, наудачу, ехал в пригородном автобусе до какого-нибудь неизвестного загородного озера. Ловил в основном карасиков величиной с ладошку. Пожарить на раз. Ночевать в подлеске или поле не отваживался. Ночи заполнились холодом и росами. В детстве думалось о предосенних временах: «Земля за ночь отпотевает...» Зато августовские звезды за ночь светили ярче любых других. И падали чаще. В те далекие времена пришлось однажды даже искупаться в предутренний час. В детстве.

Рыбачить приехали мы, десятиклассники, километров за пятьдесят от города. Конечно, с ночевкой. Первым делом устроили шалашик из веток на берегу озера. Натащили из ближайшей копны сена. Клев случился зверский. На хорошие рыбные шашлыки и уху улова хватало с лихвой. Стемнело. Высыпали звезды. Помалу похолодало. Поплавки притихли. Вскоре их вообще разглядеть стало невозможно. Приготовили ужин. Согрелись у костра. Говорили. О чем? Теперь трудно вспомнить. Скорее всего – фантазировали о женщинах. По спинам полз холодок. Он начинал проникать в мышцы, в кости. Решение созрело почти у всех одновременно: пройтись по поплавам фонариками. Потом устроиться в копёшке. В сене всегда тепло. Даже зимой.

Поймали одного окуня граммов на двести. Бешеную красноперку. Азарт придал сил. Холод, казалось, выползал из воды, струился от крохотной деревушки на противоположном берегу озера, заползал неутомимо в души. Спасти могли или костер, или сено. До костра – далеко. К селу – десяток шагов сделать.

Накрылись спальными мешками. В них укутались еще у костра. С маковки копны вглядывались в скользящие спутники, лениво перебрисывались мыслями о посланцах с далеких планет, о похищенных людях; о том, что вскоре сами сможем одолеть космическое пространство; казались себе «отроками

во Вселенной», и никто не думал о сне. Крепились. Хотя тепло сена убаюкивало.

Озябли к четырем утра. Скатились на землю прямо в спальниках. Туман висел плотной простыней. Вода отдавала чернотой неизвестности. Моя удочка медленно и уверенно удалялась от берега. Туда – в дымку неизвестности. Через считанные секунды удище должно было исчезнуть из виду. Приятель начал спешно снимать телогрейку. Я оказался сноровистее. Тем более помнил – метрах в двадцати от берега начинается тростник. Страх, что туда, в траву, затянет мою снасть, подгонял. На поверку вышло – вспомнил именно вовремя. Удочка замерла. Подергалась. Я уже плыл. Схватил ее. Повернул к берегу. Потянул. Рывком добрался до опоры, туда, где мог встать на дно. Вода опутала кольцом горло. Теплая, словно молоко парное. Снаружи – страшный, жуткий холод, жидкая водяная взвесь в воздухе. Но на берег идти надо. Вода показалась еще теплой. За плечи схватила стылость утра. Помалу подтянул удочку. Перехватил лесу. Выбрал до поплавка. Дальше начинались водоросли. Аккуратно, чтобы не порвать, медленно, осторожно запустил руку внутрь. Нащупал рыбью голову. Холодную. Здоровенную. Скользкую. Завхватил под жабры. Восхищение распирало. По липкой слизи на мелкой рыбьей чешуе догадался: «Линь!» Вес определялся трудно. Поднял рыбу над головой. Галопом поскакал к берегу. Позади тянулась удочка. Уже без поплавка. Он оторвался где-то на водном пути. (Потом, днем, мы выловили его.) Только когда ребята принялись за осмотр моего улова, понял – замерз смертельно.

От костра остались слабые угольки. В четыре глотки мы быстро раздули пламя. Проблемой представлялся согрев. Пока нагревались грудь и живот – леденела спина. Подумалось: наверное, лучше будет – забраться в воду и дожидаться там солнца. Благословенного. Всепоглощающего. Огнедышащего. Вода, едва коснулся ее пальцами, превратилась в нечто обжигающее, ледяное. Ребята отдали свои телогрейки, и я снова за-



брался в середину стожка. Только так удалось согреть свои «дохлые» члены. Буквально через полчаса приснилась надежная поклевка. Красная маковка поплавка прыгала на поверхности черной воды. Легкая дымка поднималась в желтое теплое небо. Разлилось солнце по макушкам трав, деревьев, поползло по крышам деревенских домов, задержалось на тарелке самодельной антенны, заглянуло в окна, пригрело. Донеслись звонкие удары пастушьего бича. Мычание буренок. Блеяние овец. Стог, в котором довелось провести остаток утра, вспыхнул. Пламя облизало его споро. Стало страшно, что сейчас вот исчезну в огне, сам стану факелом. Я попытался вдохнуть побольше воздуха и... с высоты хлынули прохладные капли дождя. Нудные. Надоедливые. Осенние. Открываю глаза. Друзья брызгают мне в лицо воду из дырявого флакона из-под шампуня.

– Вставай, рыбак. Макароны с тушеной поспели. Пока спал, мы окушков надергали. – Это Валерка. Первым из нашей школьной четверки погиб. В Афганистане. Почти в самом начале кампании. В восьмидесят первом. Он станет водителем БМП. До дома останется два месяца. По сути, так называемое дембельское задание. Там, на горной дороге, он «получит» из гранатомета... Единственный, кто вернется с того задания в «тюльпане» под грифом «Груз-200». Спивающиеся родители получают орден Красной Звезды и похоронку. За казенный счет на кладбище поставят памятник черного гранита. С портретом и надписью: «Погиб при выполнении интернационального долга...» Единственный сын.

Он поливал меня из флакона. Смеялся. Впереди была жизнь и... смерть.

Обратно добирались на попутном фургоне с белой надписью «Хлеб» на синих бортах. Внутри запах подсолнечного масла. В темноте едва угадывали друг друга. Переговаривались шепотом, чтобы не подвести водителя «под монастырь». На задворках хлебокомбината он выпустил нас из вынужденного, но романтического заточения. Олежка бес-

шабашно ударил по рукам с шофером. Тот как-то странно оглядел парня. Из-под рубахи синели полоски тельняшки.

Олег станет моряком торгового флота. Обзаведется квартирой в одном из портовых городов. Как все нормальные люди – женится. У них родится дочь. Жена займется бизнесом и «нарвется». Понадобится внушительная сумма в валюте. Олег уйдет в плавание. Уговорит капитана не своего судна взять в рейс. И они попадут в довольно приличную болтанку под названием шторм. Стихия стихнет, но на палубе не найдут вахтенного матроса. Олега. А когда мне потом расскажут о нем, вспомню его тельняшку. История появления «тельника» на худенькой Олежкиной фигурке так и останется для нас загадкой. А могилой ему будет вечное бескрайнее море. Те, кто носит тельняшки, не должны умирать в тишине, им непривычна твердь земная во всех ее проявлениях. В качестве могилы – тем более.

Николаша. Так мы его назвали после приготовления знаменитой немецкой закуски из лимона, молотого кофе и сахарного песка. Рецепт Николаша привез из демократической Германии, где учился до пятого класса во времена службы отца в составе группы советских войск. Он неплохо рисовал. С первого захода был принят на художественно-графический факультет. Преподавал. Был дважды женат. Как сам говорил по этому поводу: «Все четыре раза неудачно». Однажды, на рубеже десятилетий, бросил работу. Попытался организовать свое дело. Прогорел вчистую. Выволок из-под шкафа этюдник. Накупил на занятые у приятелей, у меня в том числе, деньги холстов. Расписался. В одночасье стал модным художником. Его полотна скупали в столице за какие-то невероятные доллары и марки. Приглашали на вечеринки, за границу. Он порывался уехать. Потом понял – не сможет без российского разгильдяйства, без расхристанности, необязательности. Правильно жить не для него. За несколько дней



до тридцатипятилетия зайдет ко мне на работу. Так, походя, бросит:

– Неуютно живу. Пакостно. Вот вчера, к примеру, опять таскался с какой-то. А утром посмотрел старый фильм. Про сталкера. Проводника по землям запретным. – Он начал ни с того ни с сего. С насюка. – С ужасом понял: «Все лучшее позади! Прожито! Испытано! Дальше – только повторения. Цепь. Составы повторений. Товарняки и пассажирские – всё повторения». Стоит ли жить дальше?

– Но ведь у тебя есть картины! Твои детища! Они разные, и каждая – новое! – попытался неуверенно возразить.

– Чепуха! Туфта несусветная! Я каждый раз выворачиваю себя наизнанку, как только прикасаюсь к кистям! Я кровью пишу! Каждый раз. Каждый день! Нужно ли кому это?! А пацаны восемнадцатилетние в южной республике головы складывают за какую-то независимость. Или – зависимость. Помнишь Валерку? Он за что? А тут – политика. Везде она, грязная эта штука – политика. Неужто прошлые кавказские войны ничему не научили нас? Ведь с горцами воевать – что с нами немцам в Отечественную пришлось. Нас легче убить, чем покорить! А мои картины... Кому они нужны? Толстозадым толстошумам? Пошло...

Он резко развернулся и исчез. Что-то, правда, пытался сказать еще о новом замысле. Будто я мог взять кисть и написать его картину...

Николаша повесился за день до тридцатипятилетия. В студии. Среди своих работ. Перед белым холстом громадного размера. На палитре блестели свежие краски. С кистей сняты бумажные чехольчики. И – ни слова. Ни записки. Ни намек.

«Я каждый раз выворачиваю себя наизнанку! Каждый день! Устал мертвецки!» – всплыли обрывки последнего с Николашей разговора.

Его марафонский забег в жизнь кончен.

Нелепый уход близких. Болезненный. Неожиданный. Неприятный. Так уходит лето.

Грязно. Слякотно. Мучительно долго. Тоскливо. И одновременно – скоротечно. Утреннее солнце. Ночные заморозки. Черета перемен. Мокрые ботинки. Хлюпанье раскисшего первого снега. Шуба. Куртка. Теплая шапка. Берет. Кепка. Снова шуба. Все смешалось. Сплошное непонятие. Каша под ногами. Каша сыплет сверху, с неба. Каша в голове.

На следующий после похорон Николая день разбирал на работе газеты. Я их никогда не читаю. Изредка просматриваю. Пробегу по заголовкам. По снимкам. По рисункам. Покажется что интересным – прочту. По диагонали. Суть попытаюсь уловить. Не больше. Выводы? Они позже приходят откуда-то сверху. Вроде – независимо от меня.

В тот день в обычный процесс ворвалась неожиданность. Страшная. Ужасающая.

На газетном снимке стоял прапорщик. Наш российский корешок. В полной боевой экипировке. С «Калашниковым» на сгибе руки. Вместо одного в автомате красовались четыре рожка, связанные светлой изоляционной лентой. Я уже знал казенное определение – чтобы увеличить скорострельность во время ведения боевых действий. Здоровенный парень. На голове – платок. Гимнастерка расстегнута. На левой стороне груди – светлый кружочек медали. Кругом – руины, коробки домов, невдалеке сгоревший танк, остов «Нивы». Не вязалась улыбка прапорщика с окружающим «пейзажем». Что-то кошунственное в ней сквозило. Только тут заметил, – одна нога его уверенно водружена на голову убитого человека... Медаль. Голова. Улыбка. Автомат. Ствол упирается в облака. Голова. Медаль.

– Они признают только силу. Они ее уважают. – В другой газете давал интервью корреспонденту майор, только что вернувшийся из служебной командировки на войну. Он рассказывал о наемных спортсменках, которые не сразу убивали русских солдат. Сначала посылали пулю в пах. Потом добивали. Медленно. Методично. О пленных мальчиках



в военной форме, в солдатских погонах. Их иногда возвращали матерям. Избитых. Изломанных. Измученных. Оскопленных. Еще майор с жесткостью поведал об охотниках за... ушами. Но никак не шел из головы тот медальный прапорщик с черным платком на голове.

.....

Позже я забрел на какой-то концерт. Случайно. От нечего делать. Опять же привлекла бесплатность посещения. В крохотном зале на втором этаже бывшей школы. Мест свободных не было. Воздух спёрт. Почти недвижим. Никакой сцены. Но – микрофоны, колонки, оператор. Все говорило о серьезности затеи.

Светловолосый, начинающий терять волосы мужичок в свитере и джинсах пел о том, что он у Лены четвертый муж, что она «взяла» его на той неделе. Но он гордится «приобретением». Гитарой, поскольку я не мастер в этом деле, мне показалось, – он владеет отменно. А песня улыбнуться заставила. Вынырнуть помогла из серого бытия. Потом, сорвав аплодисменты, он рассказал о снимке. И запел о том самом прапорщике, приблизительно так:

...У тебя ж не будет ордена!
Как ты ночью спишь, уродина?!

Потрясение правдой. Что может оказаться сильнее? Когда годами приучают говорить не то, о чем думаешь. Когда мир заключен в одной фразе: «Как бы чего не вышло».

Зрители долго не отпускали парня. Он пел еще что-то. Но это меня уже не интересовало. Осень, одиночество, дождь и пурга – все это я прожил. Обычный набор поэтов-песенников. Я откуда-то знал это. А вот слова жестокой правды комком застряли в глотке. Принялся спрашивать у всех имя человека с гитарой. Откуда такой приехал. Не может быть – чтобы наш, провинциальный. Скорее – посланец полуподполья столичного.

Но вышло все, как в дурном детективе. Оказалось, парень приехал из небольшого городка областного подчинения, что уже больше тысячелетия строит на берегах Днепра свои домики. Там родился и вырос. Туда вернулся и после окончания института. Служил в комсомоле для того, чтобы поскорее его развалить. Писал песни всегда. Противник концертов в их прямом понимании. Ему ближе общение на кухне под водочку и грибочки. Но – чтобы обязательно с гитарой. Звать поэта Вениамином. Фамилия звучная и даже несколько забавная – Будильников.

Захотелось зазвать Веню к себе. Послушать его побольше. Но его уже ангажировали устроители действия. Они его под белы ручки повезли в отдаленный район города. В недоступную глубину. В их мир, отличный по всем параметрам от моего. Жаль, но не пришлось больше встретить Будильникова – человека с небесными глазами, щеточкой пшеничных усов и умной головой, которую начали покидать дурные волосы.

* * *

Река спешила с далеких ледников вниз. В ущелье. По высокогорной полупустыне. Несколько ее рукавов преграждали путь. Иной дороги нет. Наша группа спустилась по склону. Скинули штаны. Не сняли ботинок. Шесть первых рукавов оказались неглубокими. Зато дно – каменистым до невозможности. И ни в одном из них не пришлось намочить трусов. Самым жутким препятствием казалась ледяная вода. На последней водной ленте не повезло. Вода уцепилась за ребра. Туго ударила в живот. Приподняла меня вместе с рюкзаком. Опрокинула вниз лицом. Понесла. Ногами вперед. С бешеной скоростью. Попытки подняться, зацепиться ногами за камни на дне, тщетны. Течение подтащило меня к берегу, когда я уже начал задыхаться и хлебать воду. Шум исчез. Пришла мгла. Густая. Липкая под ложечкой. Нудная. И, как в сказке, я... очутился на берегу. Только голос вывел из оцепенения:



– Я тебе зад не поцарапал о камни? – надо мной стоял человек-мускул. Широоченные плечи. Бугры мышц. Волосы собраны в хвостик на затылке. Добрый взгляд. Ручищи – подковы гнуть и разгибать.

– Нормально, – растерянно ответил. Выплюнул воду. В «тех самых местах» ощутил легкий зуд. Неожиданно для себя выплюнул: – Удивительно. Шапочку не смыло, – стянул с головы бейсболку, подаренную в давние времена иностранцем.

Человек-мускул улыбнулся. Из-под усов заблестели чесночины зубов. Борода цвета зрелой пшеницы. Накидка времен Великой Отечественной. Явно – трофейная. Спаситель мой вздохнул и... растворился в прозрачном воздухе гор. Я тер глаза. Мотал головой. Вместо человека – вдалеке юрта чабана. От нее скачет на черном коне человек в зимней шапке, телогрейке и кирзовых сапогах. Широкие скулы, узкий разрез глаз, смуглая, почти негритянская кожа. Прямо-таки басмач из ленты «Первый учитель». И река горная – из того же фильма. И небо. И горы. Странно, я никогда не был в горах. Но откуда-то знаю даже название этой местности. Ее называют все сыртами. А перевал, что остался за спиной, кажется, коротким словом Ак-Бель. Белый перевал. Или – Мертвый...

Прилетели снегири. Два пушистых шарика с заиндевелыми спинками. В клювах – по веточке рябины. Промерзшие ягоды цвет не потеряли. Алое на белом. Тревожно. Из-за громадного камня появился черный всадник. Пар валит от лошади. От человека. Птицы не вспорхнули. Не улетели. Наоборот – задорно подбоченились. Взлетели и устроились уютно на плечах призрака. Только сейчас понял – из глазниц не целились в меня «дульца» зрачков. Глаз просто не было. Но он вперил в меня лицо. «Оглядел» с ног до головы. Ухмыльнулся. По-доброму. Птицы все время спокойно, деловито отрывают бусины ягод с веток. Только глаза поблескивают. Вдруг красногрудые летуны замерли. Дождались моего внимания. Мотнули головами в сто-

рону. Всадник сделал то же самое. Повернул лошадь. Шагом направил ее в сторону юрты. Оставалось следовать за ними – странным человеком, лошадью, снегирями. Вперед по сыртам.

Наползли тучи. Капнул дождь. Потемнело. Небо зловеще потемнело. Повалил снег. Запуржило. Заметелило. Метров за десять ничего невозможно разглядеть. Иду на ощупь. Впереди едва маячит кобылий хвост. Ориентир. Камни присыпало белизной. Поскользнулся. Не упал. Продолжил движение. Ну, вот и она. Благословенная юрта. Войлочная. Из отверстия в центре крыши струится дымок. Его подхватывает метель. Швыряет из стороны в сторону. Как утлую лодчонку в штормовом океане. Растаскивает, раздирает на атомы. На помощь подлетают новые дымовые струйки. Почти рядом, в снежной августовской круговерти, угадывается отара. Кое-где животные сбились небольшими группками. В большинстве – по пять–семь в комочек. Чтобы не замерзнуть, не потеряться, не быть съеденными бродячими волками. Возле входа – подобие футбольных ворот в миниатюре. Метра три длиной, полтора по высоте. На перекладине – свежая тушка небольшой овцы. Без шкуры. Еще кровит. Еще парит. Опять возникает знание – так вялят мясо для приготовления из него бешбармака.

Проводник спешивается. Привязывает лошадь к «воротам». Снегири алыми пятнами грудок вспыхивают на луке седла. Птицы невозмутимо продолжают поклевывать рябину. Хозяин отбрасывает полог юрты. Наклоняюсь. Вхожу. Теплом обдаёт. Войлок шуршит за спиной. Опускается. Позади – никого. Оглядываюсь. Действительно никого. Кирпичная стена. Штукатурка местами отбита – следы пуль и осколков. Вместо двери – дыра. Груда кирпича. Щель. В ней – солдаты в касках и бинтах. Один все палит куда-то в сторону. Из-за угла «выглядывает» нос бронемшины. К ней ползут люди. Бинты чернеют на глазах. Появляются новые пятна крови. В щели остаются двое раненых и пулеметчик. Один из раненых орет прямо в каску стрелку:



– Валера! Пошли! Броня ждет! Все уже там!

– Идите! Прикрою! – упрямо твердит Валера. Посылает короткую очередь. Вглядывается. Улыбается даже.

– Ты же тоже ранен! Пошли! – орет и пытается тащить того вместе с пулеметом.

– Царапина. Плевать! Уходите, – спокойно, размеренно бросает, – догоню.

Двое остаются. По броне машины цокает. Пуля врывается в Валерино плечо. Рука висит. Кровь. Товарищи хватают Валеру и тащат к углу. К машине.левой рукой пулеметчик все еще сжимает пулемет. Трое исчезают в открытом люке. Бронированное зеленое чудище фыркает. Вздыхает. Лениво уползает назад. Из зоны огня. Через два квартала чудище размолачивают из гранатометов. Но оно не вспыхивает. Замирает. Несколько человек, что сидели на броне, успевают «свалиться» и нырнуть в остатки дома. Никто их не замечает. Остальные раненые – корчатся на асфальте. Кто-то в последних столах зовет маму...

Из оконных проемов, дыр в стенах появляются люди в полувоенном. Хладнокровно, с улыбкой добивают солдатиков. Из автоматов. Штык-ножами. Кинжалами – заученно, бесстрастно рассекают глотки. Умиленно любят пузырящуюся темной жидкостью. Мольбой? Ненавистью в потухающих глазах?

Из машины вытаскивают еще живых и уже мертвых. Всех. Живым – нож, пуля или кинжал. И Валере. Его расстреливают уже недвижимого.

Сию на железобетонной балке. В ранге стороннего наблюдателя. Пытаюсь кричать. Звук застывает в груди. Все вокруг существуют помимо меня. Независимо от меня. От моих желаний. Даже шальные пули пролетают, не причиняя вреда. Обхватываю голову руками. Сдавливаю. До боли. До слез. До крика. Он наконец вылетает. Вонзается в стены. Отскакивает. Шмякается о мостовую. Снова – о стену. И о тротуар. Закрываю глаза. Откидываюсь на балку спиной. Наваливается тишина. Снег падает на лицо. Волосы намочки. Плечи. Ухожу в себя. Блуждаю по

душным улицам; по комнатам, в которых гуляют сквозняки; по крышам среди вентиляционных труб, вдоль водосточных желобов. В доме с толстыми стенами, с долгим рядом окон – бесконечное количество кроватей. Они застелены солдатскими одеялами. Часть одеял свалена в кучу. Я один. Сию на паркетном елочкой полу. Холодно. Лак блестит. Из-под крыши, с высокого потолка срываются капли белесой воды. Постепенно образуется лужица. Она растет. Подползаю ближе. Заглядываю в воду. Ловлю отражения. А внутри уже возникло течение. Ржавые водоросли колыхаются в ритм потоку. Под ними идут люди. Доносятся их голоса. Ничего определенного. Гул. Сплошной. Трескотня. Выделить не могу ничего. Ни слова. Ни буквы. Ничего. Мелькают лица, похожие друг на друга, как дождевые капли. Проскакивают образы человека-мускула, всадника, мамы, снова человека, Анны. Она улыбается приветливо. Что-то пытается сказать. Голос смывает вода. С течением «приплывает» черная тень. Опытавает Анну. Запихивает в свою пасть. Торопится дальше. Восковая голова Валеры. С ухмылкой. Со снисхождением. А губы шепчут. Беззвучно. Бесцветно. Заученно:

– Валера, пошли...

– Идите, прикрою...

– Ты же ранен...

– Плевать... Прикрою...

– Валера, идите, ранен, плевать...

Я плачу. Растираю слезы по щекам. Как в детстве. Всхлипываю. Набираю побольше воздуха. Чтобы голоса не подать. Закашливаюсь. Кашель давит от печени. Легкие не выдерживают. Трещат от напряжения. Пена подкатывает к зубам. Кровавая. Густая. Снова захлебываюсь. Хватаю себя за горло:

– Хватит!

И просыпаюсь от собственного:

– ...ти-ит!

Потолок бел. Почти прозрачен. За окном теплынь. Пахнет пирожками и сладким. Зато в подъезде навеки прописались запахи жареной, на подсолнечном масле, картошки, щей и квашеной капусты.



Вытер испарину. Потянулся. Зевнул. Даже самому понравилось.

Умылся.

Сварил кофе.

Сел за стол.

Только теперь, за кухонным столом, поняв: сегодня предстоит самый настоящий, до банальности глупый и бездарный трудовой день. Один из множества близнецов-будней.

* * *

Как же я ошибался в то утро! Тогда, в обеденный перерыв, выбежал в булочную. Встал в очередь к кассе. Заплатил. Получил чек. Из «окна» дама в несвежем халате, но с ярко накрашенной улыбкой подала батон и пакет. Бесшабашно схватил хлеб. Двинул его в целлофан. Передо мной возникли женские сапоги. Перевел взгляд выше. Джинсы. Черные. Бежевый пиджачок. Черная блузка. На кожаном шнурке кулончик с желтыми вкраплениями...

– Тайка! – так громко давно не восклицал. Очередь уставилась десятком пар глаз в наши лица. Я вопил: – Откуда?!

– Ну и глупый же ты! Хлеб покупала. Ты почти за мной стоял. Весь в своих думах. Не подходите – укушу! Не мешайте. – Ласковая улыбка обескуражила. Какой-то чудный мир вспыхнул и исчез в ее голосе.

– Вообще-то поговорить можно и на улице, – ругательно произнесла из очереди старушка с прошлогодним лицом.

Мы встретились неприлично громко. Не преминули воспользоваться бесплатным советом. Дверь туго шлепнула. Отсекла очередь, кассира, буханки, пакеты, лестницу на второй этаж, где прежде подавали отвратительный кофейный напиток, а теперь наливают горькую, полки с печеньем, чаем, шоколадом за стеклом. На улице – шелест. Листьев. Платьев. Газет на столике продавца. Обложек книг на развале. Тента над квасной бочкой. Крыльев чайки, внезапно вспыхнувшей теплой звездой в зените, над крышами и башенками города. Мы остановились у пушек. На одной сидел мальчуган лет трех. Об-

лаченный в джинс, он казался слишком самостоятельным для своих лет. Он «прицеливался» в витрину гастронома. Сам себе командовал: «Огонь!» После «выстрела» соскакивал на тротуар. Игриво запихивал в дуло мнимый снаряд. И снова бежал целиться. Боязнь «быть убитыми» заставила шагать в сторону сквера, где бронзовый олень, бесхвостые львы и тучная дама-фотограф с «Зенитом» на том месте, где заканчивается серьезная грудь. Что-то бестолковое лопотали с Тайкой. В часы обеденного перерыва страна устраивается на лавочках, по ним бродят лучи светила. Отдохнуть от головолomных трюков с финансовыми документами, ревизиями, отчетами; от нападок начальства – зачастую необоснованных, глупых. Нам повезло со свободным местом! Не устраивало одно – на душевную беседу абсолютно не хватало времени. Через десять минут я обязан был смиренно перевертывать бумаги. Но этих минут хватило. Мы выяснили степень свободы каждого. Обменялись телефонами. попрощались до завтра, поцеловались. Тая скользнула по дорожке. Весело напевала что-то типа: «Возьми меня с собой завтра в море, я знаю скалы, у которых по ночам много рыбы...» Я по пути в «камеру пыток» (так иногда называю рабочее место) схватил в уличном ларьке пару пива. Холодного. Ядреного. На ходу прикончил одну. Опустил пустую стекляшку в урну на углу гранитного крыльца с желтыми колоннами в стиле «а-ля Санкт-Петербург». Жевательная резинка «спрятала» характерный запах напитка из солода и хмеля. При молчаливом одобрительном взгляде шефа (до окончания перерыва оставалось полторы минуты) осушил вторую склянку. Улыбнулся благодарно. Он молча согласился. (Он-то ведь не знает, что это вторая...)

Потом казнил себя за пиво, смешанное с безопасностью.

Утром едва проснулся. Говорить не могу. Встал. Резво. Так же скоро сообразил – работа отменяется. Вместо горла – обледеневшая труба. Озноб. Суставы разламываются,



трещат, пылают. Упал в постель. Укутался в одеяло. Свернулся калачиком.

Наступил мир детства.

Мамины добрые руки. Папа хлопчет у кегрогаза в коридоре. Греет молоко. Наливает его из белой кастрюльки с черными ручками в кружку, белую. Белое из белого и – в белое. Из банки черпает ложку золотистого меда. Его в банке так много, что сразу не съешь. Но золото с ложки стекает в молоко. Исчезает в нем. Растворяется. Над кружкой поднимается пар. Папа сыплет в молоко щепотку порошка. Снова белого – в белое. Меня трясет и колотит. Зубы стучат дробью. Мамина слезинка щекочет щеку. Мамина рука на моем горячечном лбу. Молоко стало теплым. Папа снимает пенку. Он знает, – я не люблю эту тягучую липкость на поверхности молока. Теперь можно пить. Глотаю с трудом. Но есть такое слово «надо». Проглатываю всё. Жарко. Мама снимает с меня майку, трусы. Вытирает жестким полотенцем. Одевает в сухую одежду. Холод уходит. Наступает время тепла. Полузабытья. Полусна. Все происходит под непрерывные вздохи родителей.

Снова знобит. Будильник усердно показывает четверть одиннадцатого. Добираюсь до телефона. Занято. Набираю снова. Шеф недовольно мурлычет:

– Алло, вас слушают. У телефона...

Сквозь полубред хрипло делюсь неприятной новостью. Шеф сам вызывает мне врача. Но еще один звонок – Тае. «Дотягиваю» до одиннадцати. Заветный листок с номером телефона – у аппарата. Ласковый голос Таи убаюкивает. Хочется тут же уснуть. На все вопросы отвечаю односложно. С сожалением сообщаю, хоть и ненавижу ложь, что уезжаю в командировку недели на две. Даже сквозь огонь в голове улавливаю грусть. Или мне хочется слышать именно такие нотки, потому они чудятся?

– Володенька, я волнуюсь, – проурчало в наушнике.

– Ничего, – хрипнул в ответ. Попытался перевести в шутку грусть, вспомнил некогда заученное, – не пройдет и полгода...

И снова оказываюсь прав.

Банальная ангина обратилась в воспаление легких. Участковый врач настоял на отправке больного в стационар. Зад через несколько дней зудел от ежедневных вливаний антибиотиков и витаминов. Уколы, казалось, «лепить» некуда. Только медсестру с прозвищем Валька-гестапо ничего не волновало. Она слепо выполняла указания врача. А колола не рукой – кувалдой. За что и получила столь милую кличку. Каждый раз, когда она обнажала иглу, блестящие ягодицы жертвы судорожно напрягались. Ее движение «к больному» сопровождалось проворным скольжением последнего от руки со шприцем. Только побеждала всегда Валька-гестапо. Сосед по палате ненавидел ее лютой ненавистью. Зато при его помощи наша палата находилась на дополнительном пайке. Его юношеская любовь заведовала поварами и продуктами в столовке стационара. Поначалу я комплексовал: как-то нехорошо, когда человек нахально «пользуется» добрым отношением другого человека. Но, поразмыслив, решил реагировать на его кухонные походы спокойней. Приобщился к доппайку. Приятно все-таки, кроме обычных больничных обедов, перекусить малым кусочком колбасы или мяса, селедочкой или рыбным филе с неконтролируемым количеством картошки. Постоянные предложения выпить сдерживались ежедневным «приемом» антибиотиков.

К моменту выписки я взвыл не только от нудности распорядка дня, одинаковых каш, картофельных пюре, жареной и вареной рыбы, ошалел от бесконечного количества сериалов и фильмов низкого пошиба, чуть не сошел с ума от рассказов соседа о прелестях заведующей столовкой и от того, что зад, казалось, вот-вот лопнет от лекарств. Был еще один момент, удручавший меня – провинциального обывателя. Осень вступила в свои права. Она вышла на тропу войны с летом. Выкрасила кроны кровью тепла. Превратила лужи в стекло. Заглянула за угол ближайшего дома. Там охотники обложили болотца. Взвели курки. Щелкнули затворами. Спаниели,



гончаки и лайки насторожились. Наконец резануло подсвистом долгожданное: «Ищи!» И поводки ослабли. Освободили готовые к поиску души псов. Засвистел ветер. Разлетелся лай. Захлопали крылья поднятых с воды уток, чирков, селезней. Воздух раскололся выстрелами. Гоготом и матерными излияниями по поводу промахов. Собаки захлопали по воде в поисках птичьих трупиков или подранков. Пух и перья покрыли поверхность воды. Смешались с опавшими листьями. С мертвыми листьями на остывающей, ртутной, тяжелой воде. Мертвые тела, продырявленные кусочками свинца. Стволы дымятся убийственным теплом, пороховой гарью. В траве – картонки и войлок пыжей. Следы. Окурки. Случайно просыпавшаяся махра.

В городе – грязь и вода. Предошущение затяжных дождей. Непроходящей сырости в ботинках. Мокрых плащей и курток. Скверный сон – зима. Скорее, не сон – дыра в жизни. Перед ней необходима легкая дразнилка осени. Отпускной сезон вышел погулять до будущего лета.

Жизнь одаривает массой случайных знакомств. Одни проходят незамеченными, другие заставляют возвращаться к ним время от времени. Именно в больничной серости случай свел меня с Валеркой. Он оказался моим соседом. Тем самым, который «крутил» с заведующей столовкой. Про таких, как Валерка, говорят: «Чисто русский, не обделенный силой, статью, с кудлатой, слегка взлохмаченной бородой и голубыми до невозможности глазами». При наличии этих характеристик он оставался наивным, тихим, робким, даже, скорее всего – кротким. В городской больнице он очутился впервые. Может, чтобы встретить подругу юности, теперь заядлую урбанистку.

Иногда Валерка хандрил. Его привезли на «скорой» в полубреду. Но и в этих обстоятельствах он не смог оставить дома любимую двухрядку. В его ручищах, прошитых толстыми веревками вен поверх монументальных кистей и болванок-пальцев, эта гармошечка, доставшаяся от деда по наследству,

казалась игрушечной. Этакой пластмассовой «штучкой», купленной по случаю недалеко – в «Детском мире». Но инструмент, наряду с одеждой, отняли санитары, закрыли в местной «камере хранения». Из-за отсутствия инструмента он тосковал. Вздыхал шумно своими «кузнечными мехами».

– Э-эх, – протяжно летело к плафону под потолок, – постонать бы вместе с песнями, – и отворачивался лицом к стене.

Еще одна его слабость – философствования о жизни. Такие мысли могли зародиться только в голове мужика, выросшего в глухой, далекой от асфальта деревне. Тот «край» все горожане называют озерным.

После восьмого класса Валерка сел на трактор. Так с него и не слезает.

– А что еще делать? Пахать да сеять тоже ум надобен, – надежно утверждал он.

Жизнь на одном месте его не тяготила. Он провел в одной деревне «все времена своего бытия» (так любил говорить), но умудрился жениться совсем не по деревенскому обычаю – в четвертый раз незадолго до временного отъезда в областной центр. На лечение. Для любой деревни цифра «два» (в смысле женитьбы) представляется трагедией. Для него трагедии не произошло.

– Валер, отчего ты с первой женой разошелся? – вопрошал как-то битюга-Валерку, лежащего на соседней кровати.

– Да, маманя ее сказала: «Гони. На кой тебе верзила этот надо? Работать-то работает. А жрёт? Не укормишь!» Я и пошел после тех слов. Сам. Чего гнать меня?

– А вторая?

– Мужик ейный из тюрьмы пришел. Меня выгнал.

– Разве можно тебя выставить? Ты ж здоров, как африканский носорог! – все еще недоумевал.

– Он еще покрепше меня будет. Поболе. Посочней. Покрученей. Законник, опять же. А их «обижать», что мужику рожать. Себе хуже сделаешь.

– С третьей-то женой что стало? Кто кого выгнал?



– Не, – заржал Валерка, – сам утек. Норов стала показывать. Сковородками кидаться. Блажить, как на пожаре. Не-е. Не для меня это. Не люблю этого. Как не сдержусь?! Я ж могу и в ответ затрещину вклеить. А бабу жалко. Рука-то у меня тяжеловата. Вдруг прибью ненароком? Потому – повернулся и пошел.

– Не надоело жениться-то? К чему в четвертый раз полез на то место, где уже трижды побывал и соли нахлебался?

– Так без бабы в доме нельзя. Знаешь, мне всегда вспоминаются эти, как их? – внезапно задумался Валерка. Свернул «козью ножку». Запахло самосадам. Закончил фразу: – Дворяне. – Тут я вообще опешил. – Между собой все на «вы». Впрочем, все зависит от воспитания. Так вот. Утречком встанут. Позавтракают. Вместе. Перед завтраком непременно проурчат премило: «С добрым утром...» Он поедет в город. В карты или еще во что сыграть. Может – на бега. Тысчонку-другую оставить или приобрести. Она – в город. В музыкальный салон. Спросит нотных изданий. Купит несколько. Домой вернется. Проиграет на фортепиане новую музыку, значит. К вечеру все соберутся за столом. Отобедает. К ночи он снова уедет. Конечно, – расписать «пульку». Она уснет. Он вернется под утро. Усталый. Хмельной. В выигрыше или проигрыше. В первом случае – довольный, напевает или насвистывает «На сопках Маньчжурии». Или еще какую прелестную мелодию. В другом... в морду дворовому торнет, чтоб под ногами не путался. А у нас? Каждый день надобно говорить: «Да, милая, шти твои мне по нраву. Солонуваты только чуть. А вот мяско удалось. Уварилось». Зачем, спрашивается? Одни вопросы, одни ответы кажен день. Любовь? Может, нету ее вовсе.

– Как же другие живут? Десятилетиями вместе?

– Понимаешь, Володя, весь круг людской вертится возле десяти-двадцати человек. Этаким малый, слово выучил специальное – мегаполис семейный. – Я ничего не понял.

Валера уловил недоумение. – Объясняю. С каждой или с каждым из этого самого мегаполиса можно составить семью. Реальную. Надежную. Удалось сразу – слава богу. Нет? Ищи. Главное где-то рядом. «Перебирай» десяток. Вот четвертую свою супругу, думается, нашел. Чую – она. Опять же – без бабы в дому трудно.

Говорили о многом. Отчего-то эти рассуждения Валерки остались со мной. Причем не о количестве женитьб, а о том, что вокруг любого человека сконцентрирован добрый десяток близких ему людей. Людей, с которыми возможна самая что ни есть настоящая жизнь. Долгая, трудная, трепетная. А по-другому разве бывает?

– Мегаполис, – я перешагнул лужу возле универмага. Из дверей его вылетела девица в «ботфортах», черных колготках, джинсовой куртке поверх водолазки. Широко шагнула, бросила подругам назад:

– Да я спокойно пройду здесь. Прямо по луже. Сапоги высокие, – и вошла смело. Стопа подвернулась. Девица рухнула в прохладную грязность. Кольцо воды сомкнулось на шее. Смеяться принялись не только подружки. Вся площадь перед торговой точкой залилась смехом.

Над головами нежданно рвануло. Самолет преодолел воздушный барьер. У стены тюрьмы (по стечению обстоятельств, здание с глухим кирпичным забором, выстроенное во времена Екатерины Великой, осталось стоять в центре города) тоже грохнуло. Незадачливый автомобилист припарковался на углу этой самой стены. Сверху сорвался кирпич. Не описал дуги. Просто упал вниз. На оранжевый багажник «жигуленка». Вмял поверхность, развалился на несколько крупных частей. Из-за баранки выполз водитель.

Сначала – глаза. В них:

Испуг.

Ужас.

Кошмар.

Злоба.

Ненависть.



Растерянность.

Все скакало. Металось. Со стороны зрелище показалось жалким: двухметровый гигант втянул голову в плечи. Согнулся. От этого казался еще комичнее, чем выражение его глаз. Сделал шаг. Обозрел покореженный багажник, вдавленную крышу.

Доброхоты собрались быстрее, чем хозяин вылез из своего покореженного детища.

– Хорошо, не с высоты самой ухнул, – встретили его незнакомцы, – отrixтовать можно. Даже не проблематично. Несколько часов работы. С покраской сложнее. Колер подбирать тяжко, – доброхоты всегда знают намного больше, чем знают. Но вид всезнания на их лицах написан в такие минуты настолько убедительно, что на самом деле хочется верить. Они же – почешут языки, почешут в затылках, плюнут: «Ай, ерунда, день работы». Словно это – смахнуть щеткой или тряпкой кирпичную крошку. И двинутся в магазин. За водкой. Потеря грусть навеивает. Ее надо развеять. Грусть эту.

...Еще неделю знакомая участковая докторша прокантовала меня дома. Чтобы окреп. Возмужал. Разрешалось: ходить в магазин (ненадолго), смотреть телевизор (или не смотреть), читать (что за болезнь без книги), есть, пить, принимать гостей. Последних, кстати, было немного. Что весьма приятно.

Потом пришло время снова «полюбить» работу. Включиться в бестолковые разговоры о росте цен, неповышении зарплаты. Все мы – дети своей страны. И никуда от этого не убежать. Мы родились здесь. Научились терпеть, болеть и ничего не бояться с детства. Напугать нас невозможно практически ничем. У нас, выросших в стране всегдашней поговорки: «От сумы и тюрьмы не зарекайся», – кажется, не только головы и зады стали оловянными, но и мозги – медными. Мы привыкли сидеть, ждать манны небесной, удручаться, что не летит она. А тех, кто что-то пытается делать, у нас принято прятать в психушки. Или давить. Как мух, блох или вшей. Таким деятелям жилось в желтых домах всегда нормально. Только невдомек никому – у

нас защитный рефлекс выработан! Не испугаешь нас постоянным повышением цен и понижением заработных плат! Мы сильнее! Оловянее мы!

Шеф для начала решил продлить мой отдых. Отправил в командировку (когда услышал это слово, меня охватил внутренний идиотский смех) – на выставку в столицу. «А почему бы нет?» – согласился с ходом.

* * *

Сижу на вокзале. Ночь полная. Читаю. Что еще делать, когда времени до поезда целых два часа? В красной обложке – Габриэль Гарсиа Маркес. Пробираюсь сквозь казуистику переводчика и цензуры. Чувствую – кто-то мешает. «Не сам ли Маркес?» – мелькает в голове. Скосил взгляд. Мужик пытается читать вместе со мной. Мою книгу! Торопится глазами по строкам. Становится забавно. «Кто может в России заинтересоваться «Палой листвой» Латинской Америки?» Не утерпел. Взглянул прямо.

Худощавый человек неприметной наружности. Вытянутый багровый нос уточкой. Голубые сощуренные глаза. Легкая краснота выдала бессонницу. Не брит дня три. «Командированный. Таких запросто пропускают в гостиницу без просьбы предъявить «Карту гостя» или ключи от номера», – с досадой подумал про себя. Он несколько пугливо поймал мой взгляд.

– Я тоже Маркеса люблю, – суетливо, сглаживает слова, не от волнения, что его уличили в чем-то нелицеприятном, не то по привычке, затараторил, – я в командировку, – и назвал город за Полярным кругом.

Мне взгрустнулось. Холодно стало.

Странная вещь – человек, которого видишь впервые, может быть, никогда не встретишь более, откровенничает. Вводит тебя в свою жизнь. В свой путь. Без зазрения совести открывает тайное. Интимное. Испытываешь неловкость. Но – слово не воробей. Причем незнакомец, то ли по характеру, то ли по беспардонности, не боится быть нудным, непри-



лично разговорчивым или навязчивым. Ему кажется, собеседник – подопытный кролик и обязан слушать, поддакивать, сожалеть, сопереживать. Главное – участие в его монологе второго лица.

– Я как-то не могу не ездить по стране. Неделя дома обращается в фильм ужасов. Начинает казаться, наступит постоянство. Каждый день ходить на работу. (Я улыбнулся: он про меня сказал. Я привык к постоянству хождения на службу. До тошноты привык.) Выходить из одного и того же подъезда. Вваливаться в один и тот же трамвай. Толкаться. Быть стиснутым со всех сторон. Выплюхиваться на известной до полупрошлогодних объявлений и царапин «Здесь был Петя», «Хочешь меня? Позвони (далее следует номер телефона)» остановке, что вчера, позавчера. Завтра она ничуть не изменится. Пять дней вылетают обоймой. Все «патроны» дней – в молоко. Выходной обращается в лежание на тахте, вплавляется в рамку телевизора. Те же бабки у подъезда. Кажется, все изменится лишь однажды, когда вынесут тебя из дверей мимо этих старушек. Они не единожды тебя переживут, сидя на вечных, как они сами, скамейках. Что изменится? Никогда больше не подняться по обшарпанным собственными ногами ступеням вверх; не воткнуть, привычно шаря в темноте, ключ в замочную скважину; не толкнуть дверь вперед и, войдя, не щелкнуть звонко выключателем. Вот что изменится. Мне станет ненужным мир. Его потребность во мне тоже отпадет...

Я недоумевал. Устал от одних только перечислений. Под ложечкой задрожало. Захотелось хотя бы воды. Он поднялся следом. Словно прилип. Догонял. Схватил свой стакан. Показалось, в то время, когда он пил, продолжал говорить. Глотал и говорил одновременно.

– Уезжать всегда нравится. И возвращаться. Нравится. Сидишь на кухне. Чай гоняешь. Смотришь на карту. «Два дня назад здесь был, – тыкаешь пальцем в какой-нибудь Урюпинск, – а сегодня сажу на своей кухне. Чаевичаю». Однажды, правда,

осенило: жизнь проходит в пути. В поездах. Самолетах. Автобусах. На попутных и перекладных. Детей не нажил. Денег не скопил. Дом отцовский – только-то всего. И холодно в нем. Пытался семью сколотить. Думал – влюбился. Решился на штамп в паспорте. Казалось, стану ездить меньше. Не стал. Думал – спешить к очагу, к камельку стану. Не вышло. Понял – больше нескольких дней, максимум месяц, не проживу с одной. Пришлось попортировать паспорт. Ей. И себе. А впрочем, ерунда все. Хрен с редькой. От привычки, жить одиноким волком, избавиться трудно. Скорее – невозможно. Вот она – жизнь. Между городами, но без дома. Среди женщин и без семьи. Повсюду один. И помру, так в полной что ни есть интимности.

Я отчего-то вспомнил Николеньку. Его финал. Извинился перед говоруном. Отошел к колоннам вокзала. На улицу. Мужичок опешил.

Объявили мой поезд.

И все-таки позвонил Tae из Москвы. Прямо с выставки. Сквозь неудобство перешагнул. Через молчание. Пусть – вынужденное, но – неведение. Именно в нем пребывала расстроенная женщина.

Как только прилетел ее голос, мир распахнулся до невозможности. Невероятно, но после паузы не прозвучало: «Извините, пожалуйста, Вас не слышно. Перезвоните, будьте добры...»

– Вовка, ты чего молчишь? Пропал, паршивец, в неизвестности. Растворился в своей командировке. А мне остается бросить все и тебя бегать искать по улицам, моргам и больницам?

Оставалось хохмить в ответ. И – не проговориться о прошлой «командировке», в терапевтическое отделение больницы «скорой медицинской помощи».

А она продолжала:

– Надеюсь, теперь не «зависнешь» на два с половиной месяца, и я смогу лицезреть твою рожицу, Владимир, сразу про приезде?



- Обещаю.
- Тогда позвони сразу. С вокзала.
- Но это будет около половины пятого утра!
- Ну и что?! Позвонишь ведь ты, а не сын лейтенанта Шмидта.
- Неловко в такую рань... – чистосердечно обронил с потерянным сердцем. Но переупрямить Тайку не сумел. Согласился на ранний звонок, только так рано еще не звонил никому.

Как только вернулся и ступил на стылый перрон – двинулся не в сторону зеленых огоньков «таксомоторов», к телефону – в тамбур вокзала. Наигранно бодрый, еще сонный голос вселил радость и велел немедленно приезжать. Протесты не прини-

мались. Сегодняшний день раскрыл свои объятия с нежностью. Знание того, что тебя ждут, вселило надежду на тепло. Оно маячило смутно полуразмытым математическим символом, который называется «плюс».

Пять утра дня зимнего солнцестояния. Погода не благоволит. Обещает снежную круговерть. Мы заблудились в ней, как только я покинул салон авто и вошел в дом.

Очнулись совсем не утром.

Равноденствие.

Снег.

Темень долгой и неуютной ночи осталась далеко позади.

В чьей-то чужой прошлой жизни...



Андрей АГАФОНОВ

ХРОНИКИ НИКОЛАЯ. ДЕВИЧЬЯ ГОРА.

На излете двадцатого века, в самом конце десятилетия, вошедшего в российскую историю под названием «лихих девяностых», в душе Николая созрело одно роковое решение. Нужна новая работа! Стезя врача-терапевта в поликлинике при всей своей напряженности оказалась весьма скупа не только на изобилие, но, подчас, и на обыкновенную сытость. Врачебная мудрость, гласившая, что при работе на одну ставку – есть нечего, а на две – некогда, рекомендовала трудиться на полторы. К совету этому Николай прислушивался не всегда и, полагаясь на нерастроченный еще заряд молодости и здоровья, частенько хватался за гуж двух, а часто и более чем двух врачебных ставок. Энтузиазм и какая-то романтическая настроенность, не угасавшая в Николае на протяжении всех девяностых, служили хорошим щитом от того, что казалось несправедливым. Но лишь до тех пор, пока касалось это лично его, в крайнем случае, жены, хлебавшей из дырявого бюджетного корыта ту же врачебную кашу без масла. Но не их новорожденного сына. Альтруизмом и подвижничеством ребенка не накормишь.

Самые здравомыслящие из коллег Николая, забросив скудную ниву Асклепия, уходили возделывать плодородные пашни Гермеса, осваивая новое ремесло «челнока». Николай был не столь решителен и отважился на поиск хлебных мест в лоне врачевания. Однако мест этих оказалось немного. А те, что все же имелись в наличии, никак не могли поразить его воображения величиной оклада. В основном все их преимущество заключалось всего лишь в более спокойном ритме исполнения своих служебных обязанностей.

Не отыскав никаких подходящих вариантов в муниципальном здравоохранении,

Николай вспомнил о ведомственном. Собственно, о поликлиниках и госпиталях, принадлежащих различным министерствам и управлениям, он не забывал никогда. По доходящим до него отрывочным сведениям, работа в них представлялась делом необременительным и в то же время весьма доходным.

Но организации эти несли на себе заряд закрытости и некой таинственной статусности. Поэтому Николай, не имея в своем тылу никаких значимых родственных и деловых связей, соваться туда не спешил. Но знал, что рано или поздно сделать это все же придется. В своих размышлениях остановившись на поликлинике, относящейся к министерству мира, Николай начал искать контакт с ее начальством. Казалось бы, чего проще, постучал в двери, вошел, поздоровался, изложил суть своего визита и нашел контакт. Но предшествующий опыт Николая говорил об обратном. Обычно главные врачи, не поднимая головы от разложенных на столе бумаг, бурчали что-то вроде: «У меня для вас ничего нет» или предлагали такое, от чего Николай сам отказывался.

Контакт, а точнее, солидный переговорщик, лично знакомый с начальником, нашелся за полгода. А тут еще, как нельзя кстати, до Николая дошел слух, что в выбранной им поликлинике открывается новая ставка фтизиатра. То есть в своих переговорах можно четко говорить о конкретной должности, которая точно никем не занята.

Встретились. Поговорили. Начальник поликлиники задавал много вопросов, большинство из которых либо имело отдаленное отношение к теме переговоров, либо вовсе никакого отношения не имело. Потом, попросив Николая подождать в коридоре, начальник еще долго беседовал с его переговорщиком.



На выходе из поликлиники переговорщик сообщил: «Он тебя возьмет. Ты ему только строительные материалы подешевле найди. Начальник гараж строить будет. Но с этим не спеши. Это к весне ближе».

Пребывая в эйфории от благополучного разрешения вопроса своего нового трудоустройства, Николай не уделил должного внимания последним словам переговорщика и, как будет видно далее, совершенно напрасно.

Неимение капитала после пяти лет работы врачом – явление обычное, но вряд ли открывающее широкие перспективы и уж точно не повышающее покупательскую способность. Поэтому отсутствие прямого требования об уплате так называемого «абиссинского налога» было воспринято Николаем с радостью. Что же касается дешевых строительных материалов, то, во-первых, ему не было сказано каких именно и в каком количестве, во-вторых, «ближе к весне» – это очень нескоро – на дворе стоял только ноябрь, – ну а в-третьих, платить за них придется все равно не ему.

Вся эта нечеткость и размытость формулировок не насторожила Николая, а, наоборот, вселила еще больший оптимизм и благодущие.

Спустя два дня Николай приступил к работе на новом месте. Специализации по физиатрии он не имел и потому временно взялся за терапию. Его новая зарплата превосходила старую в три раза, а напряженность труда была примерно во столько же раз меньше.

Через месяц начальник сообщил Николаю одну неприятную новость. В предстоящем году министерство мира отменяет первичную специализацию по физиатрии, и если Николай хочет и дальше работать в поликлинике, то должен учиться сам. Это значит, от своего лица заключать договор с высшим медицинским учебным заведением и самому платить за учебу. Печально, но вполне преодолимо. Благо медицинский институт в городе есть.

Ни профессор – заведующий кафедрой физиатрии, ни другой профессор – декан

факультета первичной подготовки специалистов против обучения Николая ничего не имели. По причине отсутствия у нового курсанта трех с половиной тысяч рублей они даже согласились обучать его в долг.

Курс обучения состоял из небольшого количества лекций и семинаров. Основное время уделялось практической работе с больными. Взрослое стационарное отделение областного туберкулезного диспансера располагалось на окраине города, на вершине высокого холма. Попастись в диспансер можно было двумя дорогами. По пологому и долгому, как бурлацкая песня, склону холма проходила широкая автомагистраль. А по короткому и крутому карабкалась вверх почти отвесная лесенка, прозванная чертовой. Лесенкой этой, впрочем, почти никто не пользовался именно из-за ее крутизны и ветхости.

Стационар состоял из трех лечебных корпусов: терапевтического, хирургического и маленького физиотерапевтического. Кроме того, на территории больницы имелась слесарная мастерская, сторожка и котельная. Дело в том, что ни центрального отопления, ни газа подведено к противотуберкулезному стационару не было. Еду для больных готовили на электрических плитах, а тепло добывали в котельной из угля.

В начале января, когда Николай прибыл на место своей учебы, на дворе стоял тридцатиградусный мороз. Больница, отделенная от шума магистрали высотой холма и бетонным забором, походила на какое-то застывшее, сонное царство. Белы не только земля и крыши, но и стены домов, и высокие тополя. Все одето в белые шубы искристого инея. Гола, словно Ева, только одна котельная труба. Над ней едва заметно струится жидковатый сизый дымок. Пространство меж корпусов безлюдно. Хоть целый час стой и жди – никто не выйдет на улицу на мороз. Лишь изредка приоткроется дверь в лечебном корпусе, высунется наружу физиономия какого-нибудь больного, попытит сигареткой и вновь исчезнет внутри здания.



Кафедра фтизиатрии располагалась на втором этаже терапевтического корпуса. Профессор представил Николая заведующей отделением. А заведующая – немногословная, суровая дама, не вдаваясь в долгие размышления об учебном процессе, передала Николаю на ведение палату.

Это была четырехместная палата. Заняты в ней были, правда, всего три койки. Одно место пустовало.

В далеком прошлом страдающих туберкулезом больных часто делали героями своих произведений поэты и художники. Один из них даже изобразил такую больную в виде богини любви и красоты. Но время сладострастных натур с пылающим взором и алым румянцем на бледном лице прошло.

Самый старший из доставшихся Николаю больных – Василий Петрович. Ему шестьдесят лет. Среднему – Стасу – тридцать восемь. Младшему – Аркадию – двадцать семь. Он ровесник Николая.

Как начинающий добросовестный фтизиатр, Николай проводил свой первый обход с особой тщательностью. Знакомство, сбор анамнеза жизни и анамнеза болезни, осмотр больных заняли у него не менее двух часов. Как правило, у больных туберкулезом истории жизни и болезни переплетены меж собой так тесно, как редко бывает с другими людскими хворями.

Василий Петрович, житель одного из районных центров области, курил с двенадцати лет по три-четыре пачки за день. Сейчас, в связи с болезнью, смог снизить суточную дозу никотина до десяти сигарет. Но совсем бросить курить, как ни пытался, не смог.

Кроме туберкулеза в легких у него имелся еще один серьезный недуг – тяжелая форма хронической обструктивной болезни. Он часто кашлял, отплевывал в специальную баночку, которую постоянно носил с собой, густые, мутные плевки. В груди его даже на расстоянии была слышна игра какой-то сиповатой гармошки. А стоило ему пойти куда-нибудь, хотя бы и не спеша, он уже начинал надувать щеки и задыхаться.

Стас подходил под определение БИЧа – бывшего интеллигентного человека. Он имел высшее образование. В свое время у него была семья, хорошая работа, свой дом с участком земли. Но в один злосчастный момент налаженная жизнь дала сбой. Забрав дочку, ушла любимая жена. Не найдя в себе сил справиться с неожиданной потерей, Стас принялся пить. Начавшиеся проблемы на работе логично закончились увольнением. Но это не остановило страсть Стаса к горячему антидепрессанту. Наоборот, новые беды требовали еще больших доз. Имевшихся накоплений хватило ненадолго. Следом за ними исчезло имущество, сохранявшее хоть какой-нибудь товарный вид. Осталось последнее: дом и участок земли. И тут у Стаса появились новые «друзья». Собственно, с этими «друзьями» он был знаком и раньше. Это были его соседи. Их земельные наделы разделял невысокий забор. Только прежде никаких дружеских и даже просто приятельских отношений он с ними не поддерживал, считал жуликами и твердо знал о них только то, что они торгуют то ли самогоном, то ли каким-то спиртом.

И вот эти «друзья», видя непростую жизненную ситуацию, в которую попал их сосед, принялись помогать ему, ежедневно снабжая все новыми порциями своего подозрительного пойла. Причем ни денег, ни другого вознаграждения за свой товар со Стаса они не требовали.

Так продолжалось целый год. А по его прошествии они объявили, что хорошо бы расчитаться. Стас растерянно развел руками, давая понять, что ни копейки денег у него нет. Соседи понимающе закивали и сообщали, что согласны взять домом и участком земли, на стоимость которых Стас за год как раз и напил.

Требования и угрозы соседей вкупе с глубоким унынием, расплавленной длительными возлияниями волей и, главное, смутным чувством, что он действительно им много должен, сделали свое дело. Стас подписал дарственную и пошел жить на улицу.



Спустя еще год в одно из редких трезвых озарений Стас понял, что еще немного – и он попросту помрет. Решив искать спасения у людей в белых халатах, он поплелся в поликлинику, откуда после короткого обследования был направлен в туберкулезный диспансер.

– Здесь, как на курорте, – заканчивая свой рассказ, говорил он Николаю, – уже два месяца как в рот ни капли.

Голос его был хриплым. Николай подумал, что если бы Стас работал в киноиндустрии, то ему обязательно доверили озвучивать роль сказочного волка. Подобный тембр голоса был характерен для туберкулеза гортани.

Третий пациент – Аркадий – последние пять лет своей жизни провел в местах не столь отдаленных. Туберкулез, если можно так выразиться, красной нитью проходил через все годы его заключения. Эта болезнь, как ни странно, является желанной для многих заключенных. Дело в том, что не только в своем начале, но и в период разгара туберкулез чаще всего не вызывает у больного сильного ухудшения самочувствия. Часто больной не подозревает, что недуг его тяжел и даже смертелен. И при всем этом диагноз туберкулеза на длительное время освобождает заключенного от трудовой повинности, переводит из камеры в лазарет и улучшает питание. То есть людьми, несведущими во врачебном деле, туберкулез воспринимается как болезнь легкая, необременительная и в то же время дающая значительные послабления режима.

На этой почве в колониях даже имеет место один вид предпринимательства – тайного и весьма специфического. Это торговля мокротой, содержащей в себе туберкулезные бактерии. Купить заветный плевоч можно только у больного туберкулезом и за немалые деньги. Конечно, речь не идет о самозаражении, а только о симуляции. Симулянт, «косящий» под больного, предъявляет выученные жалобы тюремному врачу. Врач находит у него небольшое, но стойкое повышение температуры тела, которое достигается введением в задний проход кусочка обыкновенной луко-

вицы. На рентгенограмме органов грудной клетки обнаруживается мягкая диссеминация. Это приклеенные к коже груди прозрачные и незаметные крылышки мух изменяют нормальный вид легких. И в довершение всего в мокроте, которую мнимый больной выдает за свою и которую, кстати, перед тем как сдать для анализа, должен взять в собственный рот, находят бактерию туберкулеза.

Данную операцию еще в самом начале своего пребывания в тюрьме и осуществил Аркадий. Но лепила, как называл он тюремного врача, оказался настоящим мастером своего дела и знатоком местных традиций. Он не поддавался на хитрость и не выставил Аркадию диагноза, которого на тот момент у него не было. Но только на тот момент...

Через десять месяцев Аркадий начал замечать у себя появление тех симптомов, о которых рассказывали ему тюремные наставники. На этот раз он действительно заболел болезнью, которую пытался изобразить у себя. Возможно, что и заразился ей он в ходе того представления от купленной мокроты бациллярного больного.

Так или иначе, но он несколько не опечалился. Наоборот, «счастье» само свалилось ему на голову. Первый курс лечения окончился неудачей. Пытаясь продлить «удовольствие», он старался принимать таблетки как можно реже. Аркадию назначили повторный курс. На этот раз за приемом лекарств строго следили. Лечение пошло на лад. Он выздоровел. Но уже в самом конце срока у него случился рецидив. Его вновь перевели в тюремный лазарет. Да так, прямо из лазарета, и выпустили на свободу. Ах, это сладкое слово свобода! До скучного ли лечения ему стало, когда он обрел то, о чем мечтал на протяжении целых пяти лет. Многочисленные друзья, пьянки, травка, девочки. Не жизнь, а разлюли-малина. Он прервал лечение. «Сдаваться» в туберкулезный диспансер он пошел только через несколько месяцев, когда ему совсем лихо стало. То, что в тюрьме выручало его, на свободе начало тяготить.



Все три пациента в исходной точке стационарного лечения имели в легких полости распада, все три были бактериовыделителями. Но в ходе проводимой химиотерапии у Василия Петровича и Стаса стала наблюдаться положительная динамика процесса. Но только не у Аркадия. Вняв уговорам матери и голосу собственного рассудка, впервые за долгие годы он захотел избавиться от болезни. Но чахотка, словно ревнивая жена, слишком долго делившая с мужем и печали и радости, не хотела покидать своего благоверного.

Лечение туберкулеза – процесс длительный, требующий и от больного, и от врача большой выдержки и терпения. Одна только первая интенсивная фаза занимает два-три месяца. Во всем их продолжении больной должен ежедневно принимать четыре, а то и пять противотуберкулезных препаратов, каждый из которых, хотя и не является откровенным ядом, но способен вызывать весьма удручающие побочные реакции. Порой они пробуждают у больных большее число жалоб и опасений, чем сам туберкулез.

Учеба Николая протекала неторопливо и размеренно. Утром после осмотра больных он делал записи в историях болезни, докладывал об изменениях в состоянии своих подопечных заведующей отделением, а потом принимался штурмовать учебники по фтизиатрии и рентгенологии. Хотя процесс самообразования происходил в ординаторской, Николаю приходилось надевать на себя пальто. Уже говорилось, что диспансер получал тепло из своей собственной котельной. Однако бюджет, направленный на охрану здоровья, был настолько тощ, что не мог позволить себе покупку достаточного количества угля. А та часть, что все-таки приобреталась, в ночное время постепенно растаскивалась хозяевами близлежащих домов с печным отоплением. Последнему обстоятельству способствовал факт хранения угля в виде обычной кучи под открытым небом. Кроме того, ночной сторож сам был из местных и, надо полагать, активно закрывал глаза на проделки своих родственников и соседей.

В итоге котельная работала в четверть силы, и в январскую стужу температура внутри лечебных корпусов редко поднималась до десяти градусов.

Приближался полдень. В ординаторской Николай был один. Подумав, что еще немного и знания потекут из его головы, как закипающая каша через край кастрюли, он поднялся и подошел к окну. В невысоком зените блистало холодное зимнее солнце. С вершины горы была видна вся северо-восточная часть города. Гора, на которой находился диспансер, звалась Девичьей. Прямо напротив нее, за рекой, находилась Молодецкая гора. В противоположной, западной, части города река разделяла еще две горы: Бабью и Отцовскую. Интересно не то, что в древние, приснопамятные времена, когда на нашей земле зарождались названия всякого рода местностей и населенных пунктов, на этих четырех горах изолированно проживали девицы, молодцы, отцы и бабы, а то, что антагонизм меж ними был настолько велик, что свои поселения они еще и рекой разделяли.

В ординаторскую вернулась с обхода заведующая.

– Новые больные прибыли, – сказала она, – сходите в приемную, посмотрите.

Вновь прибывших больных было двое. Один из них – Карим – пожилой таджик. Второй – Федя – парень из местной глубинки, которому едва исполнилось восемнадцать.

На рентгенограмме органов грудной клетки в верхней доле правого легкого у Карима виднелась громадная рыхлая туберкулема, окруженная, словно планета спутниками, целой стайей мелких петрификатов. У Феде имелся правосторонний серозный плеврит. До направления в туберкулезный диспансер его лечили в районной больнице. Но, несмотря на два курса мощной антибактериальной терапии, болезнь его не прошла. Жидкость в плевральной полости после пункций накапливалась вновь. В результате, хотя возбудитель туберкулеза у Феде и не был найден, ему поставили диагноз туберкулезного плеврита и перевели в диспансер.



После оформления историй болезни Карима определили в хирургическое отделение, а Федю в терапевтическое, в палату Николая.

Восемнадцатилетний Федя был приземист и толстоват. Он сильно сутулился. Из-за этого и без того малый рост его казался совсем невеликим. Всю жизнь безвылазно провел он в своей деревне, и теперь, на новом незнакомом месте, к лицу его словно приклеилось выражение боязливой настороженности. Федя был замкнут и молчалив. А если его о чем-то спрашивали, то отвечал он не сразу и невпопад, чаще пуская в ход всего два слова: «угу» и «не-а». В первый же день Феде была назначена противотуберкулезная химиотерапия. А во второй – из его плевральной полости откачали полтора литра жидкости, в которой туберкулезную бактерию так и не нашли.

В середине февраля началась оттепель. Ухабы и ямы на дорогах наполнились талой водой, а ровные места покрылись мокрой снежной кашей. Сугробы, укрывающие южный склон Девичьей горы, осели, в них появились большие проплешины бурой, напитанной влагой земли. Чувствовалось приближение весны. Несмотря на воцарившуюся на улице мокреть и слякоть, оттепель очень нравилась обитателям диспансера. В их временном жилище потеплело. Красные столбики на вывешенных в палатах термометрах лениво и неуверенно, но стали подползать к двадцатиградусной отметке.

Однажды после утреннего обхода к Николаю в коридоре подошла женщина.

– Доктор, ведь это вы восьмую палату ведете? – спросила она.

Николай кивнул.

– Я жена Стаса Пинчужникова. Можно с вами поговорить?

Николай снова кивнул:

– Пойдемте в ординаторскую.

– Доктор, а можно здесь, – женщина опустила глаза, – там другие доктора, а я хочу без свидетелей.

– Давайте здесь, – вздохнул Николай.

– Доктор, я вас очень прошу, поговорите с ним. Пусть он после выписки в семью воз-

вращается. Мы с дочерью ему все простили. Пропадет он на улице, сгинет...

Голос женщины задрожал.

Николай не сразу нашел, что ответить. Слова женщины входили в разлад с историей, рассказанной ему Стасом.

– Уже и мать его об этом просила, и дочь, и я просила. Не слушает он нас. А вы же врач...

Ее глаза заблестели от слез.

– Позвольте, – произнес Николай, – кажется, вы сами его бросили. От этого он и спился, и дом свой потерял.

– Бросила!? – всплеснула руками женщина. – После того, как он дом соседям подарил, а до этого года три пил безбожно и баб водил? Что же мне с дочкой семилетней в подворотню на постой следом за ним идти нужно было? Нас мать его приняла. С нею и сейчас живем. Свекровь его по улицам чуть не со свечкой искала, просила: «Сынок, приходи ко мне жить, места всем хватит», а он ей: «Мне свобода дороже, ты моих врагов приютила». Это, значит, нас с дочкой. «Вот, – говорит, – и живи с ними».

Николай удивленно покачал головой.

– Признаться, от Стаса я слышал несколько иную историю. Хорошо, я обязательно поговорю с ним.

Жена Стаса семенила за Николаем до дверей ординаторской.

– Я поговорю, – взявшись за ручку двери, повторил Николай, – до свидания.

– Спасибо, доктор, – всхлинула женщина.

Разговор со Стасом у Николая состоялся в тот же день сразу после полудня. И у мужа, и у его жены имелись свои истории недалекого прошлого. И в чьей из них было больше правды, оставалось только догадываться. Николай рассудил, что поиски правых и виноватых в чужом семейном раздоре вряд ли принесут пользу. И потому он решил повлиять на Стаса с точки зрения сугубо медицинской.

– Послушайте, – обращаясь к нему, начал свою речь Николай, – ваше лечение идет неплохо, болезнь постепенно отступает. Вскорости вас выпишут, переведут наambu-



латорное лечение. А где вы будете жить? Чем питаться? Во что одеваться?

Стас окинул Николая неприязненным взглядом и быстро опустил глаза.

– У меня есть точки опоры, и друзья есть, они помогут.

Ни капли уверенности не звучало в его словах.

– Мне стало известно, что у вас действительно есть одна надежная точка опоры – это ваша семья, – продолжил Николай, – ваша мать, дочь и жена. Они ждут и примут вас. Я нисколько не собираюсь обсуждать ваше прошлое и искать виноватых. Я хочу заглянуть в будущее. Если вы вернетесь на улицу к той жизни, которую вели последний год, вы умрете. Очень быстро. Туберкулез убьет вас. Это не подлежит ни малейшему сомнению. А если придете в семью и откажетесь от нищенского рабства, которое почему-то называете свободой, то будете жить. Подумайте – жизнь и смерть. Выбор сделать нетрудно.

На следующий день Николай рассказал заведующей о психотерапии, проведенной Стасу.

– Вы правильно сделали, – сказала заведующая, – только наши доводы не всегда помогают. Чаше бывает обратное. Скажешь человеку: будешь то-то и то-то делать – умрешь. Он и сам понимает, что умрет. И все равно делает. Охота пуще неволи. Вот в вашей палате еще один больной лечится – Аркадий. За ним каждую пятницу вечером друзья на машине приезжают, увозят его в город на отдых. А в воскресенье вечером обратно возвращают. Он эти свои побеги как бы тайно осуществляет. Даже выходит и заходит на территорию не через главный вход, а по чертовой лесенке. Он думает, что если по вечерам и в выходные дни в стационаре всего один врач дежурит, то о его побегах никто не знает. О них все знают.

– Я не знаю, – удивился Николай.

– Теперь знаете. Вообще за такие нарушения режима мы из стационара выписываем. Но мать этого Аркадия ко мне не раз приходила и рыдала, и на колени падала, умоляла лечить сына дальше.

– А с ним самим вы разве на эту тему не говорили? – спросил Николай.

– Говорили и я, и мать его. Результат невеликий. Раз или два он свои гулянки пропустил, а потом опять начал. Эффективность нашего лечения у него нулевая, потому что каждую неделю он двухдневные перерывы в приеме таблеток делает, а вместо них водку в себя заливает.

В канун 23 февраля Николаю позвонила секретарша начальника поликлиники и сообщила, что тот требует его сей же час к себе. Закончив обход и едва успев сделать записи в историях болезни, Николай отправился на свое основное место работы. Сердце его было беспокойно.

Начальник перешел к делу без вступлений и предисловий.

– Вы в поликлинике четвертый месяц работаете. Где мои плиты?

Николай в задумчивости потер ладонью лоб.

– Мне о стройматериалах для вашего гаража говорили, но не уточнили – какие именно нужны.

– От вас надо пять железобетонных плит-пустоток. Три на крышу, две на пол.

– Хорошо, – легко согласился Николай и как-то расслабленно добавил, – будем искать.

– Ищите! – рыкнул начальник и нервно дрогнул усом. – Не то – глядите – свой испытательный срок вы пока не прошли. Уволим вас. Желающих на ваше место много.

Кабинет начальника Николай покинул в невеселом расположении духа. Еще больше опечалился он после звонка на строительную базу, где ему сообщили, что одна плита стоит полторы тысячи рублей. Соответственно пять плит – семь с половиной тысяч. А если приплюсовать к этому уже имеющийся долг за обучение, то выйдет сумма и вовсе неподъемная, равная врачебной зарплате Николая за целых девять месяцев.

Вернется ли к нему хотя бы часть денег за стройматериалы? Слова переговорщика при устройстве Николая на работу можно было понимать двояко. А после сегодняшнего раз-



говора в возмещении расходной статьи на строительство начального гаража Николай стал сильно сомневаться.

Между тем ренессанс зимы так и не произошло. Февральская оттепель с началом марта уверенно превратилась в настоящую весну. На склоне Девичьей горы, уже полностью освобожденной от белого покрывала, вот-вот должны были появиться первые цветы мать-и-мачехи.

Во время очередного обхода при осмотре Феде Николай обратил внимание на вновь появившееся ослабление дыхания внизу правого легкого. Там при перкуссии стала выслушиваться «деревянная» тупость. Это могло свидетельствовать лишь об одном – в плевральной полости Феде опять начала скапливаться жидкость.

– Не исключено формирование спаек, – предположила заведующая, – последите за ним. Если тупость станет нарастать, будем снова пунктировать.

– Может, еще один снимок сделаем?

– Последите несколько дней, – повторила заведующая, – контрольные рентгенограммы делаются через два месяца.

Федя исправно принимал все прописанные ему таблетки, но, несмотря на это, уровень жидкости в проекции правого легкого, перкуторно определяемый Николаем, поднимался все выше и через неделю достиг уровня четвертого ребра.

– Давайте снимок сделаем, – снова запросил Николай.

– Пишите направление, – согласилась заведующая.

Этим же утром Феде была выполнена контрольная рентгенография органов грудной клетки. А после полудня в ординаторскую зашел рентгенолог и пригласил Николая в свой кабинет. Там он показал ему снимки.

– Первый сделан в районной больнице до лечения, второй после, а третий – это наш сегодняшний. На всех трех в правом легком примерно одинаковое количество жидкости. То есть ни их, ни наше лечение практически неэффективно. Но меня насторожило не это. Посмотрите – в самом низу на уровне

диафрагмы как будто кончик ниточки. На предыдущих снимках я видел его и прежде, но, честно говоря, полагал, что это какой-то дефект пленки. Но на сегодняшнем снимке этот артефакт появился уже в третий раз. Это подозрительно. Пришлите этого Федора завтра ко мне. Я ему на всякий случай брюшную полость сфотографирую.

На следующий день Николай в компании заведующей и рентгенолога дивились рентгеновскому снимку Феде желудка. В нем красовался большущий моток проволоки, конец которой пронзал стенку самого желудка, правый купол диафрагмы и наружный листок плевры. Никакого туберкулеза у Феде не было и в помине. А экссудативный плеврит, который так долго и безуспешно лечили, был вызван собственно травмой плевры и инородным телом, находящимся в плевральной полости.

– Ты зачем проволоку съел, придурок? – в сердцах пытал Федю Николай.

– Брюхом мучился, – мямлил тот.

– И что?

– Лечился.

– Проволокой?

– Угу.

– Может, ты от армии косил?

– Не-а.

– А почему не сказал об этом никому?

– Вы ж не спрашивали.

Добиваться от Федора внятной и правдивой истории его истинного заболевания было бесполезно. Но в сложившейся ситуации не это имело главный смысл. Для дальнейшего лечения нужно было как можно быстрее переводить больного в областную больницу. В конце марта Николай узнал, что Федя был успешно прооперирован, моток проволоки в полтора метра длиной успешно извлекли из его внутренностей. После операции Федин плеврит зажил в несколько дней. Он был выписан и благополучно убыл в свою деревню.

Таким образом, одна из четырех коек в палате Николая снова опустела. Место для очередного бедолаги, больного туберкулезом, стало свободно.



Как-то в середине рабочего дня в ординаторскую заглянула санитарка и, увидев Николая, сказала:

– К вам знакомый приехал, на улицу выйти просит.

Николай пожал плечами. Он никого не ждал.

Прямо напротив больничного крыльца стояла зеленая «десятка». Опершись локтем о крышу автомобиля, Николай поджидал здоровенный детина. Это был Миха – романтик и авантюрист, бывший одноклассник Николая.

– Здорово, братуха! – осклабился он и протянул Николаю широкую мясистую ладонь. – Как сам, как семья?

– Здорово, – сдержанно буркнул Николай.

В школьные годы Миха не был ни другом, ни даже приятелем Николая. А после окончания школы они не только между собой никогда не общались, но даже и не встречались ни разу.

– Проблема есть, – начал Миха, – я паспорт с военным билетом посеял где-то. Чтобы новые получить, нужны справки из психиатрического диспансера. А там для этих справок паспорт и военник требуют. Замкнутый круг получается. Помогите со справками, Колян. Я заплачу, сколько скажешь.

– А ты как меня здесь отыскал? – разглядывая Мишу, спросил Николай.

– А-а-а, – махнул тот рукой, – слухом земля полнится.

Миха был одет с вызывающей роскошью – в старые трико с отвисшими коленками и застиранную футболку. За ее оттянутым воротом в густой рыжей шерсти виднелась толстая золотая цепь и увесистый крест из того же металла. Поверх футболки на плечи Миши была накинута короткая, широченная дубленка.

– Поможешь?

– Попробую, – уклончиво ответил Николай, – нужно с людьми поговорить.

Миха радостно тряхнул головой.

– Ты поговори и позвони мне. Запиши мой сотовый.

Вскороści Николай посетил психиатрический и наркологический диспансеры. В обоих учреждениях врачами работали люди, с которыми в свое время он учился в медицинском институте. Личность Миши проверили в базах данных. На учете ни в одном, ни в другом диспансере он не состоял. За умеренную плату справки были оформлены в тот же день.

А по дороге домой рядом с одной автостоянкой Николай заметил кипу плит-пустоток, оттаявших из-под снега и льда.

– Плиты нашего хозяина, – отвечая на вопрос Николая, сообщил ему охранник стоянки, – сейчас его нет, звоните завтра в это же время.

На следующий день Николай выяснил, что плит всего пять, то есть именно столько, сколько ему и нужно, и что хозяин автостоянки с удовольствием продаст их по семьсот рублей за штуку.

Николай набрал номер Миши.

– Приезжай за справками, – деловито проговорил он.

– Спасибо, братуха!!! Приеду, сегодня же приеду!

Трубка в руках Николая взорвалась восторженным криком Миши.

Но в этот день Миха не приехал. Спустя два дня Николай вновь позвонил ему.

– Да, да, да! Извини, весь в делах! Сегодня жди! – снова обещал Миха и опять не приехал.

Решив, что одноклассник попросту дурит его, Николай звонить ему больше не стал. Но Миха не врал. Он явился в день белой ромашки – 24 марта, одновременно с последним приветом зимы – большим снегопадом.

– Извини, – сопел Миха, – я боксом много занимался, у меня мозги отбиты. Мы с тобой поговорили, я трубку отключил и забыл. А как вспомнил – уже ночь, ехать поздно. Сколько я тебе должен?

– Семь тысяч, – выдохнул Николай, а про себя подумал: «Пошлет он меня подальше».

Но Миха спокойно отсчитал деньги и передал их Николаю.



– Без базара, братуха, без базара. Мне легализоваться пора. Кочевая жизнь надоела. Меня директором чугунолитейного завода ставят. Так что, если чугун нужен будет, – звони.

Ударили по рукам. Миха нырнул в свою машину и укатил.

Злободневный вопрос оплаты учебы и покупки плит был решен.

Выпавший снег начал таять на следующий день. Подсохшую землю вновь покрыли лужи и хляби. А промозглый северо-западный ветер и несущиеся по небу мышиного цвета облака грозили то ли новой метелью, то ли проливным дождем.

В пятницу заведующая сказала Николаю:

– В это воскресенье с утра у меня суточное дежурство. Если будет желание – приходите, подежурим вместе.

Николай не возражал. Воскресный день прошел без происшествий. Все было равно и спокойно.

Николай самолично убедился в том, что в выходные дни, как и говорила заведующая, Аркадий отсутствовал в стационаре.

А вечером произошла эпическая битва за энергетические ресурсы. По своей грандиозности битва была сопоставима разве что со схваткой олимпийских богов и титанов, в которой, как известно, победу одержали боги.

Часов в десять, когда на землю опустились густые сумерки, Николай вышел в больничный двор подышать свежим воздухом. Метель вперемежку с дождем унялась еще в середине дня, ветер утих, небо очистилось от туч и внимательно глядело на Николая роем своих мерцающих глаз. Поставив минут десять и полюбовавшись ночным небосклоном, Николай хотел вернуться в корпус, но тут случайно заметил неподалеку от себя едва заметное движение. Он повернул голову и стал всматриваться во мрак. У стен котельной действительно кипела работа. Кто-то, методично орудуя лопатой, расчищал принадлежавшие диспансеру энергетические ресурсы, или, по-просту говоря, уголь.

Николай сглотнул слюну. Что делать? Бежать к заведующей? Так она ему в таком деле совсем не помощница. Да, есть же сторож. Стараясь держаться тени, Николай летнул к сторожке – маленькому кирпичному домику, стоящему рядом с котельной.

Сторож – седоватый небритый дядька – лежал на топчане, смотрел телевизор и пускал в потолок клубы табачного дыма.

– Здравствуйте, – начал Николай, – там уголь воруют.

Сторож торопливо опустил ноги на пол.

– А ты кто такой? – с подозрением спросил он.

– Я врач, дежурю сегодня.

– Я здесь всех врачей знаю, – произнес сторож.

– То есть, я учусь, – начал пояснять Николай.

– Вот что, ученик, – перебил Николая сторож, – тебе чего, больше всех надо? Иди ты – учись дальше.

Словно получив звонкую и унижительную пощечину, Николай выскочил на улицу. «Ладно, что ж...» – пронеслось в его голове. И он решительно направился к котельной.

Незванных гостей было двое: старый и молодой. Оба рослые, мордатые, оба в одинаковых шерстяных шапках и ватных телогрейках. Должны быть – родственники. Появление Николая не вызвало у охотников за черным золотом никакой реакции. Лишь старый окинул врача быстрым взглядом и, повернувшись к молодому, кратко бросил:

– Поехали, внучек.

Огромный мешок уже был наполнен углем и уложен на санки. Внук взялся за веревку и поволок свою ношу к воротам диспансера. Дед поднял лежащую на снегу лопату и неторопливо затопал вслед за внуком.

Появление Николая было полностью проигнорировано ими. А он был готов встретить испуг, агрессию, но только не это. Багровая ярость застала взор Николая. Он бросился к санкам, рванул на себя мешок, сорвал с него худую перевязь и высыпал уголь на землю. Дед с внуком остановились и удивленно уставились на Николая.



– Ты чего, малой? – строго спросил дед.

– Уголь, он ведь не ваш! – выкрикнул Николай.

– Твой, что ли?

Николай отрицательно мотнул головой, но ничего не ответил. Дед многозначительно махнул лопатой, делая знак внуку. Тот гадко ухмыльнулся и, потирая руки, шагнул к Николаю. Но в последний, предшествующий драке, момент вид высокого человека в белом халате с искаженным от гнева лицом пробудил в сознании деда какие-то смутные опасения.

– Погоди, внучок, – буркнул он, – не лезь к этому дураку, ну его. Пошли отсюда.

Ночные охотники неторопливо и словно нехотя полпелись к выходу. Понятно, что уходить с пустыми руками им не нравилось. У самых ворот внук обернулся и, показав врачу кулак, пробасил:

– Мы вернемся.

Николай отер со лба пот дрожащей рукой и, дождавшись пока фигуры деда и внука совершенно скроются из вида, отправился назад в терапевтический корпус.

Николай не знал, что в это время в противоположной стороне диспансера по чертовой лесенке поднимался вернувшийся из двухдневной самоволки Аркадий. Одолев половину крутого подъема, он вдруг почувствовал, что никакой силы не осталось

в нем, и ноги не несут его дальше. Он сел на ступеньку и заплакал. Кое-как, чуть не ползком, никем не замеченный, добрался он до палаты, вскарабкался на свою койку, укутался одеялом. А ранним утром, с первыми лучами весеннего солнца Аркадий умер.

Спустя неделю стационарное лечение у Стаса и Василия Петровича было завершено. Подготовив выписки, Николай попрощался с двумя оставшимися в его палате больными.

– Спасибо вам, доктор, – говорил Стас, – я упираться больше не буду, пить снова не начну, а в семью вернусь: к матери, к жене и дочушке. Я виноват во всем. Примут они меня. А вот простят ли?

– И примут и простят, – уверенно произнес Николай. – Ну, прощайте. В это учреждение старайтесь больше не попадать.

В ближайший понедельник все четыре койки в палате Николая были заняты вновь прибывшими больными.

Но очный этап его обучения подошел к концу. И хотя до сдачи экзамена еще оставалось три месяца, новоиспеченный специалист-фтизиатр, можно сказать, был готов. Заочную часть обучения ему предстояло пройти по своему основному месту работы. Но это уже следующая глава в «Хрониках Николая».



Виталий СЕРГЕЕНКОВ

НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Недавно у матушки в деревне, перебирая содержимое старого комода, обнаружил среди бумажного хлама выцветшую школьную тетрадку в линейку. Среди попыток рассказов и юношеских любовных стихов – оригинал рукописи довольно большой заметки про «культурно-творческих людей Смоленска, Рославля», опубликованной в районной газете лет тридцать пять назад. Не знаю почему, но я перечитал свой первый, может быть, ещё и не очень профессиональный, газетный материал полностью. И... стало мне печально.

В ПОИСКЕ СЕБЯ?..

Среди прочих упоминался и баянист Толик Тишкин. Я немного знал его ещё по Смоленску. Вернее, по музыкальному училищу, где он учился. Толик был человеком талантливым: абсолютный слух, умение импровизировать, не длинные, но очень бойкие пальцы. Он играл на всех клавишных. Часто по-своему. И часто, как многие музыканты, пьяный.

Толика любили. В первую очередь за то, что он был человеком безотказным. А ещё и потому, что он никому не желал зла. У Толика никогда не было семьи. Периодически он жил с какими-то женщинами, иногда довольно долго. Но он был одинок. Нет, мать у него была. А через год или полтора после её смерти сгорел в её доме, в прямом смысле, в огне пожара и её сын – тихий музыкант Толик по фамилии Тишкин.

Нынешней весной исполнилось шесть лет, как ушёл из жизни мой коллега, журналист Сашка Макаров. Повесился в редак-

ции, дождавшись, когда все уйдут. Странно... Он был на первый взгляд благополучным человеком – жена, трое детей, – преуспевающим журналистом. Его регулярно премировали, за освещение экологических проблем на Смоленской АЭС он даже получил международный грант Сороса. Сашка был талантлив многосторонне: писал стихи, песни, играл на гитаре, пел, писал прозу, очень неплохо рисовал. У многих в Рославле хранятся его работы. Он был общителен, и у него было достаточно если не друзей, то товарищей и в Рославле, и в Смоленске, и в Десногорске.

Или всё это только казалось? И на самом деле Сашка тоже был один?

Подобных примеров безмерного одиночества моих сверстников, зачисленных волею профессии или судьбы (?) в интеллигенцию районного масштаба, я могу приводить много. А ведь были знакомые и более старшего поколения, и более молодого. БЫЛИ. Одни ушли в мир иной, другие ещё живут, но умерли как личности. Не состоялась. Не реализовались. А ведь могли.

В Велиже прозябает талантливый художник Артур. В Ельне куда-то пропал после ухода жены и смерти матери учившийся когда-то со мной журналист Костя. В Вязьме спивается нарколог Сергей, писавший в студенческие года интересные этюды-эссе. В нашем Рославле историк, кандидат наук Михаил мечет громы и молнии по поводу «этой дикой страны» и всё хочет уехать. Куда? Музыкант Алексей уехал с семьёй в Израиль. Жена и дети остались там, он вернулся. И всё ищет что-то в этой жизни. И не находит.

И все они похожи друг на друга в этом поиске себя, своей ниши, своего места. А было ли оно, это своё место?

**ДЕНЬ ВЧЕРАШНИЙ**

Круг интеллигенции районного масштаба с общими интересами, взглядами замыкается на 10–15 человек. По крайней мере, так было в начале 80-х, когда я приехал в Рославль. В литературную студию районной газеты приходили люди разные. Были и без «верхнего» образования, но очень желавшие «ходить в интеллигентах». Впрочем, не о них речь. Из этого круга, в который входили инструктор горкома КПСС, замдиректора завода, директор местного турбюро, научный сотрудник музея, две учительницы, инженер-теплотехник, ответственный секретарь редакции, выпадал москвич, отбывающий «химию» за воровство книг из сельских библиотек. Очень интересный, надо сказать, человек.

Чем жили мы тогда в своём небольшом кругу? Прежде всего общением и тягой друг к другу. Во-вторых, «толстыми» журналами. Их в то время выходило предостаточно. Обсуждения маститых (журнальных) писателей и поэтов, разборы своего, доморощенного, творчества плавно переходили в дружеские попойки с недорогим вином, водкой и простенькой, но обильной закуской. Почти всегда была гитара. Пели, как и пили, почти всё. Удивительно, не было склок, скандалов. Наверное, потому что никто никогда не держал фигу в кармане. И все знали, что зарплата товарища по «районному литературному цеху» от 120 до 200 рублей. Делить было нечего. Вместе отмечали дни рождения. Свои, Пушкина, Окуджавы, Бунина, Солженицына. Первое мая, Пасху и бог его знает ещё что...

Однако за всей этой неплохой, тихой провинциальной жизнью скрывалась непонятная мне до сих пор личная неудовлетворённость и собой, и тем, что тебя окружает. Возможно, все мы в то время ждали большого перелома. И при этом как люди, более чувствующие (всё-таки творческие), все мы внутренне (как животные, как звери) находились в ожидании большой опасности. И ещё: среди нас (теперь я знаю точно) не было ни одного настоящего оптимиста.

Я очень хорошо помню реакцию студийцев на смерть Брежнева. Никто, конечно, не плакал. Но у всех в глазах тогда был один вопрос: «А что будет дальше?» Перестройка и гласность на извечные интеллигентские вопросы «как жить?» и «что делать?» ответов не дали. Более того, вопросы эти стали для нас острее, больнее.

Узкий круг литературных и других студий, замкнувшись, помер. Приказали долго жить и другие общественные организации, объединения интеллигентных людей. Даже в Смоленске. А в районных городах они погибли в первую очередь. Какие разговоры о прекрасном и вечном?! Какая наука, какие диссертации?! Есть ведь нечего! А тут ещё танк стреляет по Белому дому...

Именно в это время из жизни ушли многие мои знакомые. Кто-то тихо и незаметно, как подобает интеллигентному человеку, кто-то шумно и даже публично. С публикациями своих предсмертных «произведений», а потом и некрологов на их смерть в районных и областных изданиях. Только близких мне коллег-журналистов ушло в мир иной пять человек. Все – безвременно. Все, говоря казённым языком, в детородном возрасте.

Кстати, о детях. Именно в годы так называемой перестройки мои знакомые дамы – образованные и интеллигентные женщины – вдруг стали матерями-одиночками. Нет, они не развелись и не оказались по воле судьбы вдовами. Мужей у них никогда не было, а сыновья и дочери вдруг появились. Я понимаю, что это форма выживания, метод спасения себя как матери, как личности. И всё-таки мне грустно: мама, умная, интеллигентная, родила своё чадо не по любви, а из соображений самосохранения!.. И закрадываются дурацкие мысли: а будет ли счастлив этот ребёнок, когда вырастет?

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Как-то в конце 90-х уже прошлого века приехал я в Москву. Остановился у тётки. Елена Алексеевна, врач-фармацевт, работа-



ла в министерстве, её муж – авиаконструктор, трудился в КБ Туполева. Оба – московские интеллигенты. Вечером выпили чайку. Тётка с мужем пошли выгуливать противную и соплюю бульдожиху, а заодно и себя перед сном. А я бродил по комнатам «нехилой» квартирки, построенной во времена правления «вождя всех народов». На круглом столе в «большой зале» лежала тоненькая голубенькая целлофановая папка. Красивый компьютерный набор: «Жалоба». В верхнем правом углу адресаты: «Мэру г. Москвы Ю.М. Лужкову... префекту Тушинского административного округа... прокурору Тушинского административного округа...»

Попытался вчитаться. «Соседи Корноуховы в нарушение правил выгуливания собак, предусмотренные постановлением..., выгуливают свою собаку..., которая гадит..., что противоречит правилам..., приводит к нарушению экологических норм, нарушает санитарные нормы... Кроме того, в апреле прошлого года овчарка соседней очень сильно покусала нашу собаку... на лечение которой было израсходовано 1377 (одна тысяча триста семьдесят семь) рублей. Просим принять меры... Просим взыскать моральный... и материальный... Просим...»

За вечерним чаем мы говорили о театре и литературе, о том, что дорого выписывать «толстые» журналы, что когда-то любимый тёткой Хейли с его «Аэропортом» – это не литература, что до дикости замучила попса по ТВ, что... В общем, мы хорошо и интеллигентно говорили. Главное, по-доброму и искренне. И вдруг – эта папка...

Точнее Антона Павловича Чехова никто ещё о русской интеллигенции не написал.

И очень жаль, что лучший, по-моему, фильм Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» не так давно был показан только на канале «Культура», который в Смоленской области принимают далеко не все районные города и посёлки. Проблемы интеллигенции конца XIX – начала XX веков остаются до сих пор актуальными, неразрешёнными, болезненными.

Писать «гневные и праведные» воззвания, открытые письма президенту и в парламент в защиту «своего народа» – это одно. Совсем другое – жить с этим народом. Жить в этом народе.

Странные и горькие, открытые и показанные ещё Антоном Павловичем, закономерности прослеживаются во всех трёх последних периодах (брежневский, горбачёвско-ельцинский и путинский) жизни интеллигенции. Ненужность её (интеллигенции) власти, полное её игнорирование властью. Достойная бедность. Желание жить и неумение жить.

Умные или хотя бы образованные интеллигентные люди не нужны были в нашей стране изначально. Их бегство, «философские» пароходы, ГУЛАГ, психушки, КГБ, парткомы, вечное безденежье... Но если раньше она, интеллигенция, мешала партии и правительству, а потому её и не могли не замечать, то сегодня её просто игнорируют. Ну есть она и есть. И живёт она сама по себе. На подачки всё той же власти, в своей достойной бедности.

И всё наша провинциальная интеллигенция понимает (кстати, слово это происходит от латинского *intelligentia* – понимание), но ей от этого понимания нисколько не легче.



РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВСТРЕЧА (из цикла «Журналистские были и небыли»)

С Валеркой мы не виделись лет пять. Он позвонил утром 6 января. Едучи из Питера в родную Вязьму к матушке, он заскочил в Смоленск. Мы бурно встретились, потолкались по отдыхающему, как вся страна, городу и выдвинулись на вокзал. До вяземской электрички времени было еще достаточно. В привокзальном кафе-баре народу оказалось немного. Нам никто не мешал выпивать, говорить, вспоминать буйную студенческую, комсомольскую и молодежно-журналистскую молодость. Прошло около часа нашего разговорного сидения, и я стал замечать, что Валерка куда-то выпадает, мыслями уходит и как-то тускнеет все больше.

– Ладно, колись, что у тебя случилось, что это ты незнамо куда уходишь? – напрямую спросил я.

Он шмыгнул носом, резко вдруг встал и пошел к стойке. Вернулся еще с одним графинчиком граммов в триста. Налил по полстакана мне и себе, выпил и, не закусывая, начал говорить:

– Помнишь, ты приезжал в Питер в том убойном, ГКЧПэшном году?... Настя моя тогда в первый класс собиралась. А Ленка... Ленка очень хотела второго. И обязательно – сына. А я боялся. Я страшно боялся. Я даже сам про себя не знал, что могу так бояться. Я с ужасом думал тогда: какие пеленки-подгузники-памперсы? Какое детское питание? Тут простыни талонов на крупу, муку, сахар, сигареты и водку...

В магазинах – только аджика и горчица в свободной продаже. Людям жрать нечего! И танк по Белому дому стреляет... Этот танк я снимал. Питерское агентство журналистских расследований меня туда бросило... А она – сына хочю, и все..

Нет, я ее не отговаривал. Я молчал. Как партизан – ни да, ни нет. Но она все видела и все понимала. Она чувствовала. Особенно чувствовала эту мою боязнь. Мою трусость.

Валерка снова налил, выпил, не дожидаясь меня, и продолжал: – Сколько ты у нас

тогда в Питере поработал? Месяца два? – Я, соглашаясь, утвердительно кивнул. – Так вот, ты уехал, Настя в школу пошла. Слава Богу, только один танк стрелял. Хвала Господу, войны не случилось... А уже через месяца полтора, кажется, в ноябре, Ленка пришла из консультации и сказала, что беременна. Понимаешь, она забеременела! Но не просто так! Представляешь, она забеременела со спиралью...

Валерка вынул очередную сигарету, закурил, сделал два глотка из стакана. – Тут снова на нее подруги с отговорами навалились. Теща неделю ездила, все беседы с ней женские душеспасительные на кухне вела. Ты же знаешь, он фармацевт – какой-никакой, но медик. Она Ленке свою знакомую гинекологиньшу, доцентшу подогнала. Нет, и та не убедила ее. Ленка вообще перестала кого-либо слушать. Решила – это знак свыше. Буду рожать и все.

К Новому году у нее уже животик прорисовывался. Все что нужно подтянулось, грудь поднялась. Она к тому времени еще и волосы отрастила. Ты не представляешь, я раздевал ее и обалдевал от нее, как двадцать лет назад. Стыдно, но хрен с ним, со стыдом, тебе признаюсь: я даже подглядывал, как она под душем стоит, как в ванне нежится, вальяжно переворачивается, как молодая и в первый раз беременная акула. Эх, что мы потом вытворяли, вернее, она со мной вытворяла... Нет, этого не расскажешь, это только наше, это мое. Это даже не для тебя, Серёга. Скажу только одно: я снова любил ее, как в те, послестуденческие, годы. И я снова молодым себя чувствовал. Я приезжал из командировок и не ехал в редакцию срочный репортаж сдавать, я домой мчался, я к ней летел, я хотел ее... И... ты знаешь, мои страхи прошли. И я захотел сына. И еще как захотел. Я даже во сне его уже видел.

И так было почти полгода, может, чуть меньше. Потом эти прибалтийские события начались. Мне издательство «Патриот» пред-



ложило на них поработать. Деньги хорошие платили. Думал: почему бы для будущего своего Егорки не попахать? Неделями в Эстонии, Латвии торчал. И вот как-то звоню утром из Риги домой – молчок. В обед – то же самое. Мне уже не по себе. Через час снова – ни Настя, ни она не отвечают. Что за хреновина? Набираю тещу и... – Валерка сглатывает комок в горле, запивает его остатками водки. – И теща мне выдает: Лена в больнице, в Красном кресте. Я все бросаю, на борту спецназовской «вертушки» лечу в Питер...

...Ты никогда не думал, почему так больница называется – «Красный крест»? Крест, да еще красный?! Кровавый! Цвет крови нашего бывшего пролетарского знамени? Жуть какая-то. Ну да ладно, не об этом сейчас разговор...

В палате их четверо было. И все, наверное, беременные. Ленка спала. А как те три женщины смотрели на меня! Больно смотрели. И с какой-то надеждой. И мольбой. Может, думали доктор какой новый пришел? Может, вот он и поможет, он и спасет их самих и их детей, еще не рожденных, может...

Валерка застонал, по правой щеке его катилась большая слеза. Потом он как-то пособачьи рывкнул, грохнул кулаком по столу, аж барменша за стойкой подпрыгнула, снова взял графинчик, пошел к стойке и вернулся с водкой. Налил почти полный стакан и залпом выпил.

– А еще больше, – продолжал он, – меня поразили-покоробили простыни. Ленка лежала в желтых простынях. Они не по цвету были желтыми. Простыни эти желтыми были от времени, ветхости, от застиранности. От нашей, прости Господи, всеобщей засранности. И это – в экстренном отделении акушерства и гинекологии, где рождается, или не рождается!? (Валерка почти орал) будущее великой страны! Я, как только увидел ее глаза, лицо, свалявшиеся волосы, когда взял ее руку, понял: сына не будет. И вообще ничего

дальше не будет. Будет пустота. Ленку я ни о чем не спрашивал, ни тогда, ни потом. Сама она ничего не говорила. И не только мне. Даже теща у меня спрашивала, что все-таки там было? А что я мог ей сказать...

После всего этого Ленка совсем другой стала. Она чужой стала всем и для всех. Она, видно, сама этого захотела. В работу ушла. Выиграла городской профессиональный – чувствуешь, профессиональный? конкурс среди преподавателей колледжей, кандидатскую заброшенную вытащила и защитилась... Остепенилась, окандидатилась. Да ведь и я был в Питере, в области не последним человеком среди газетчиков, и в Союзе нашем, журдомовском, меня ценили, выставку-персоналку помогли сделать, и деньги пошли. Жить бы да жить. Но она все уходила от меня, уходила... Настя все больше – у тещи. Дом рушится, семья разваливается. С работы придешь, из командировки возвращешься – глухо: сидит, курит, молчит, макароны горят в кастрюле...

Одиночество вдвоем – это страшно. Через два года мы разбежались-разошлись. Один я сейчас, Серёга, понимаешь, один...

...Он, наверное, еще говорил бы, изливал бы душу, но объявили посадку на вяземскую электричку. На посошок мы выпили еще и двинулись в подземный переход. Валерка блаженным голосом запевалы народного имени 20 партсъезда хора орал частушку горбачевских времен: «Перестройка – мать родная, хозрасчет – отец родной! Тра-та-та... родня такая! Буду лучше холостой!». Потом он вдруг резко остановился. Полез в свой фотокофр, вынул черный пакет, а из него черно-белый снимок.

– На, это тебе. Он похож на твоего Петьку и на моего неродившегося Егорку. Это я снимал в детдоме где-то под Питером, не помню... Слушай, давай еще жажнем. Муторно мне, в Вязьму я уеду утром. Матушка поймет и простит...

Мы развернулись и пошли на вокзал.



Александр ЛИТВИНОВ

О РАННЕ НЕИЗВЕСТНОЙ БОЛЕЗНИ
ЛЕРМОНТОВСКОГО ГЕРОЯ Г.А. ПЕЧОРИНА,
КНЯГИНИ М.К. ТЕНИШЕВОЙ И ПОЭТА А.С. ПУШКИНА

«К утру я был жёлт, как померанец».

М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени

Обладая аналитическим умом и тонкой наблюдательностью, большие писатели внимательно относились к оценке состояния здоровья своих литературных героев. И в первую очередь – литераторы-врачи, которые использовали при этом собственные профессиональные познания. У М.А. Булгакова, например, в романе «Мастер и Маргарита» Воланд жалуется на болезнь суставов:

«Гелла, пора – сказал Воланд, и Гелла исчезла из комнаты. – Нога разболелась, а тут этот бал, – продолжил Воланд.

– Позвольте мне, – тихо попросила Маргарита. Воланд пристально поглядел на неё и пододвинул к ней колено. Горячая, как лава, жижа обжигала руки, но Маргарита, не морщась, стараясь не причинять боли, втирала её в колено.

– Приближённые утверждают, что это ревматизм, – говорил Воланд, не спуская глаз с Маргариты, – но я сильно подозреваю, что эта боль в колене оставлена мне на память одной очаровательной ведьмой, с которой я близко познакомился в тысяча пятьсот первом году в Брокенских горах, на чёртовой кафедре.

– Ах, может ли это быть! – сказала Маргарита.

– Вздор! Лет через триста это пройдет. Мне посоветовали множество лекарств, но я по старинке придерживаюсь бабушкиных средств. Поразительные травы оставила в наследство поганая старушка, моя бабушка!»

Необычность персонажа состоит в том, что он – дьявол! – страдает вполне челове-

ческими хворями. И это сближает существо мифическое с обычными людьми. В то же время автор интригует далёкого от медицины читателя, сам отлично зная, каким именно заболеванием, чреватым суставными осложнениями, мог заразиться Воланд при интимном контакте 358 лет тому назад (напомним, что действия московских глав романа происходят в мае 1929 года). Перед началом Великого бала впервые в романе даётся детальное описание лица Воланда. В нём присутствует ещё один болезненный признак: *«Два глаза уперлись Маргарите в лицо. Правый с золотой искрой на дне, сверлящий любого до дна души, и левый – пустой и черный, вроде как узкое игольное ушко, как выход в бездонный колодезь всякой тьмы и теней».* При желании это можно расценить как некую «врождённую» аномалию, что, на наш взгляд, вполне уместно для образа сатаны. Наконец, в тексте указано на ещё одну болезнь Воланда – последствие перенесённого им инсульта: *«Лицо... было скошено на сторону, правый угол рта оттянут к низу, на высоком облысевшем лбу были прорезаны глубокие параллельные острым бровям морщины. Кожу на лице Воланда как будто навеки сжёг загар».* В общем, состояние здоровья представителя мира потусторонних сил представлялось вполне характерным и для реального жителя столицы того времени.

Надо ли говорить, как удачно работают подобные детали на бытовой, исторический и даже метафизический планы произведения. «Не душно быть врачом и понимать то, что



пишешь», – точно, хоть и по другому поводу, заметил А.П. Чехов.

Но были и такие авторы, которые, не обладая достаточными медицинскими познаниями и не посягая на чужую, неведомую им территорию, оставили, тем не менее, весьма точные с клинической точки зрения описания ряда заболеваний. Порой они даже опережали наблюдения врачей-клиницистов и трактовку ими новых, ранее не описанных болезней. В этих случаях для неведомой доселе патологии нередко подбиралось эпонимическое название, имеющее отношение к соответствующему литературному персонажу. Приведём для примера известные врачам синдромы Пиквика («Записки Пиквикского клуба» Ч. Диккенса), Мюнхгаузена («Приключения Мюнхгаузена» Э. Распе), Алисы из страны чудес (сказка Л. Кэрролла).

Сегодня нам хотелось бы подробно остановиться – возможно, впервые – на описании в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» (1839 – 1840) неизвестного в те годы заболевания, которым страдал главный герой, офицер-гвардеец Григорий Александрович Печорин. В повести-главе «Княжна Мери» молодой человек не производит впечатление серьёзного больного. Всё же его беспокоят некие диспепсические расстройства («У меня прескверный желудок»), по поводу чего он прибыл на лечение в местность, где «шумят целебные ключи», и теперь принимает «положенное число стаканов нарзана». Вскоре происходят события, вызывающие у него всплеск негативных эмоций и нештучные переживания. Считавшийся другом юнкер Грушницкий распространяет гнусную клевету, задевающую не только самого Печорина, но и честь женщины, некогда горячо им любимой. Следует вызов на дуэль.

«Я с трепетом ждал ответа Грушницкого; холодная злость овладела мною при мысли, что если б не случай, то я мог бы сделаться посмешищем этих дураков... Я вернулся домой, волнуемый двумя различными чувствами... И я чувствовал, что ядовитая злость мало-помалу наполняла мою душу. «Берегитесь, господин Грушницкий! – говорил я, про-

хаживаясь взад и вперед по комнате. – Со мной этак не шутят. Вы дорого можете заплатить за одобрение ваших глупых товарищей. Я вам не игрушка!..»

Я не спал всю ночь.

К утру я был жёлт, как померанец».

Померанец, горький апельсин, бигардия – это, напомним, многолетнее растение рода цитрусовых, чей плод обладает насыщенным жёлтым цветом.

Подстрекаемый приятелями Грушницкий, дабы не выглядеть трусом, вызов принимает. Печорин отправляется на дуэль в сопровождении доктора Вернера (присутствие врача диктовалось неписаным дуэльным кодексом). Далее следует разговор, чрезвычайно интересный с точки зрения медика:

*«Отчего вы так печальны, доктор? – сказал я ему. – Разве вы сто раз не провожали людей на тот свет с величайшим равнодушием? Вообразите, что у меня желчная горячка (sic! – Прим. авт.); я могу выздороветь, могу и умереть; то и другое в порядке вещей; старайтесь смотреть на меня, как на пациента, одержимого болезнью, **вам еще неизвестной** (выделено нами. – Авт.), – и тогда ваше любопытство возбудится до высшей степени; вы можете надо мною сделать теперь несколько важных физиологических наблюдений... Ожидание насильственной смерти не есть ли уже настоящая болезнь?»*

Эта мысль поразила доктора, и он развесялился».

По ходу романа Печорин не раз проявляет признаки выраженной эмоциональной лабильности: нервозность поведенческих эмоций, импульсивность желаний и поступков, склонность к депрессиям. Несомненна связь между этой особенностью и развитием у него желтухи.

В литературе мы нашли ещё одно клинически точное описание подобного явления. Речь идет об автобиографическом произведении выдающейся русской меценатки, общественного деятеля, педагога и коллекционера, Почётного гражданина города Смоленска княгини Марии Клавдиевны Тенише-



вой (1858–1928) «Впечатления моей жизни. Воспоминания».

Мария Клавдиевна воспитывалась в семье без отца, более того, его имя долго держалось в глубокой тайне. «Странно... – читаем мы в дневнике. — Росла я под именем Марии Морицовны, и тут же, как во сне, мне припомнилось, что давно-давно, в туманном детстве, меня звали Марией Георгиевной». В книге «Княгиня Мария Тенишева», вышедшей в 1968 году в Париже к 40-летию её смерти, биограф М.К. Тенишевой и её ученица в годы эмиграции Ольга де Клапье пишет: «Отца Марии убили, когда ей было 8 лет... Когда запели «Со святыми упокой!» и Маня опустилась на колени, среди частых всхлипываний позади её часто раздавались слова: «Боже мой! Боже мой! Царя убили...». Речь, несомненно, идёт об убийстве Александра II, настоящего, по её предположению, отца Тенишевой. Сама М.К. описала обстоятельства, при которых семейная тайна впервые приоткрылась для неё. Во время игры с подружкой детства Татой, в тенистом саду, между ними происходит следующий диалог:

– А ведь тот, кого ты зовешь папой, тебе вовсе не папа.

– А кто же он?

– Теперешний папа – муж твоей мамы, но ты не его дочь.

– А кто же мой папа?

– Твой настоящий папа не был мужем твоей мамы, она его просто так любила.

Сердце застыло во мне, в висках застучало... Я старалась понять тайный смысл её слов, но я была слишком мала, что-то ускользало... Я почти кричала, допрашивая её: «Скажи, кто он?»

– Твой отец был князь В. Твоя мать разлюбила его и бросила...

Мое изумление переходило в ужас...

– А он... мой папа, где он?

– Он умер. Ты сирота.

Я застыла, кругом меня всё померкло... Дрожь пробежала по телу. Глаза горели без слёз... У меня, которую никто не любил, никогда даже не ласкал, – у меня был свой

родной папа, который любил меня и даже плакал по мне, и этого папы больше нет, он в могиле... Я сирота...

Вечером после ужина хватились меня. Всюду искали, перепугались до смерти: река так близка. Долго ли до беды?

Поздно, после долгих поисков, меня наконец нашли на одном из бугорков, заросшем травой, в глубоком обмороке.

На другой день я заболела желтухой. Лицо, руки, даже белки глаз пожелтели».

Следует отметить, что «Впечатления моей жизни» в жанровом отношении – настоящая книга-исповедь. По утверждению близкой подруги Тенишевой Е.К. Святополк-Четвертинской, эти предельно откровенные дневниковые записи вовсе не предназначались автором для печати.

Если же вспомнить сюжет с Печориным, здесь, несомненно, имеет место аналогичная клиническая ситуация: на высоте чрезмерного психоэмоционального напряжения, без иных видимых причин, у практически здорового ребенка развивается интенсивная желтуха.

По многочисленным свидетельствам современников А.С. Пушкина, здоровье великого поэта на протяжении всей короткой жизни, вплоть до трагической гибели, не внушало опасений. Долгую жизнь прожили его родители и дети. А раннюю смерть пяти братьев и сестёр можно связать скорее с тогдашним состоянием врачебного дела. Литературная «история болезни» Пушкина касается в основном последних сорока шести часов физических и душевных страданий после смертельного ранения, полученного на дуэли. Добавить к этому нечего. Разве что следует оговориться: объём врачебных знаний о сущности многих болезней в первой половине XIX века, по выражению медика-современника, «мог уместиться на ногте мизинца». А как писал классик отечественной медицины, профессор Московского университета М.Я. Мудров (1776–1831), «не должно лечить и самой болезни, для которой часто и названия не находим, не должно лечить и



причины болезни, которая часто ни нам, ни больному, ни окружающим его неизвестна».

Детальное изучение биографии А.С. Пушкина позволило нам впервые установить заболевание, сопровождавшееся желтухой, которым поэт страдал, вероятно, на протяжении всей жизни. Самое раннее описание находим в воспоминаниях современника – чиновника III отделения А.А. Ивановского. Оно было опубликовано в журнале «Русская старина» за 1874 год в статье под названием «А.С. Пушкин, 21 и 23 апр. 1828 г.» и цитируется нами по известной книге В.В. Вересаева. В апреле 1828 года А.С. Пушкин обратился к графу А.Х. Бенкендорфу с просьбой направить его в район боевых действий с турецкой армией. Дальше предоставим слово А.А. Ивановскому:

*«Когда ген. Бенкендорф объявил Пушкину, что Его величество не изъявил на это соизволения, Пушкин впал в болезненное отчаяние, сон и аппетит оставили его, **желчь сильно разлилась в нём** (выделено нами, – Авт.), и он опасно занемог. Тронутый вестию о болезни поэта, я поспешил к нему... Мы (с приятелем А.П. Бочковым. – Авт.) нашли его в постели художника, **с лицом и глазами совершенно пожелтевшими** (выделено нами, – Авт.).*

– Правда ли, что вы заболели от отказа в определении вас в турецкую армию?

– Да, этот отказ имеет для меня обширный и тяжкий смысл, – отвечал Пушкин. – В отказе я вижу то, что видеть должно, – немилость ко мне государя».

А.А. Ивановский начинает активно убеждать поэта в несправедливости его подозрений. Он полагает, что государь не хочет подвергать опасности жизнь «царя скудного царства родной поэзии».

«При этих словах Пушкин живо поднялся на постели, глаза и улыбка его заблестали жизнью и удовольствием... Я продолжал:

– Если б вы попросили о присоединении вас к одной из походных канцелярий...»

Чиновник подаёт Пушкину мысль отправиться в кавказскую армию Паскевича в качестве штабного служащего, что позволило

бы ему в непосредственной близости наблюдать за происходящими событиями.

« – Превосходная мысль! Об этом надо подумать! – воскликнул Пушкин, очевидно оживший... Мы обнялись.

– Мне отрадно повторить вам, что вы воскресили и тело, и душу мою!

*Товарищ мой, в первый раз увидевший Пушкина и зорко в эти минуты наблюдавший его, был поражён удивлением при очевидности столь раздражительной чувствительности поэта, **так тяжело заболевшего от отказа в удовлетворении его желания** (выделено нами, – Авт.) и так мгновенно воскресшего от верных, гармонизировавших с его восприимчивою душою представлений».*

Помимо приведённого описания желтушного криза, мы обнаружили ещё одно упоминание о подобном состоянии поэта. Оно было отмечено за год до его гибели старшей сестрой Ольгой Сергеевной Пушкиной-Павлицевой (1797–1868). А нам стало известно из мемуаров племянника, Л.Н. Павлицева (1834–1915):

*«При последнем свидании с братом, в 1836 году (в конце июня), Ольга Сергеевна была поражена его худобою, **желтизною лица** (выделено нами. – Авт.) и расстройством его нервов. Александр Сергеевич с трудом уже выносил последовательную беседу, не мог сидеть долго на одном месте, вздрагивал от громких звонков, падения предметов на стол; письма же распечатывал с волнением; не выносил ни крика детей, ни музыки».*

Обширная мемуарная литература о А.С. Пушкине отражает эмоциональную обострённость его характера, страстность, пылкость, порывистость, чувствительность к насмешкам, обидчивость, нетерпеливость, неистощимую подвижность ума, влюбчивость. Так, А.П. Керн вспоминала: «Он был неровен в общении, то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту...» Отметим, что на знаменитом портрете кисти В.А. Тропинина, выполненном



примерно в то же время, отчётливо видна желтизна лица в сравнении с кожей кистей рук.

Всё вышеизложенное даёт нам основание предположить, что неоднократные приступы желтухи развивались у А.С. Пушкина на высоте психоэмоционального перенапряжения.

Среди многочисленных форм патологии печени клиницистам хорошо известно заболевание, связанное с нарушением обмена билирубина, которое носит наследственный характер. Основная причина его развития – врождённый недостаток в организме глюкуроновой кислоты, которая способствует выведению билирубина из организма. А переизбыток билирубина как раз обуславливает желтушное окрашивание кожи и слизистых оболочек. Распространённость болезни среди европейцев составляет 2–5%, жителей Азии – 3%, африканцев – 36%. Проявляется в молодом и юношеском возрасте, у лиц мужского пола в 8–10 раз чаще, чем у женщин. (Заметим, родословная А.С. Пушкина никак не исключает генетическую возможность наличия у него такой патологии.)

Впервые в медицинской литературе заболевание было описано в 1901 году парижским терапевтом Огюстеном Николя Жильбером (1858–1927). Впоследствии оно получило эпонимическое название «синдром (болезнь) Жильбера». Нередкой причиной периодически возникающих обострений, по мнению многих исследователей и практиков, является предшествующее тяжёлое психоэмоциональное состояние. Сравнительно недавно установлено, что данная патология

напрямую связана с дефектом определённой области человеческого генома.

Как уже было отмечено, первое описание болезни в художественной литературе (во всяком случае, на русском языке) присутствует у М.Ю. Лермонтова в романе «Герой нашего времени», увидевшем свет в 1840 году. К ещё более раннему периоду (1828) относится свидетельство А.А. Ивановского о подобной напасти у А.С. Пушкина (публикация 1874 года).

Лишь через 60 лет после русского классика опубликовал свою научно-исследовательскую работу О.Н. Жильбер (1901). Едва ли о ней хоть что-то знала М.К. Тенишева, вспоминая эпизод с внезапно развившейся у неё желтухой в книге «Впечатления моей жизни» (написана в эмиграции, издана после смерти автора).

Похоже, болезнь, известную в мировой медицинской науке как синдром Жильбера, мы можем с немалым основанием именовать «печоринским», «тенишевским» или даже «пушкинским» синдромом. Остаётся только добавить, что детальный механизм её развития и поныне до конца не изучен.

Литература

1. Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. – М.: ЭКСМО, 2009. – Гл. 26.
2. Вересаев В.В. Пушкин в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников. Минск, «Мастацкая літаратура», 1986. – С.103–105; 451.
3. Княгиня М. Тенишева. Впечатления моей жизни. Воспоминания. – М.: Захаров, 2002. – С. 14–15.
4. Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени. Часть II. Собр. соч. в 4 т. Изд. 2. – Л.: Наука, 1979.



Левон ОСЕПЯН

ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК!

Щекой она прижималась к подушке. Золотистые волосы были разбросаны по голубому батисту. Большое розовое одеяло ниспало с кровати... Сквозь плотные гардины сочился свет...

За окном гудели машины — давно уже начался день, — и только в этой пустой квартире...

Она не сразу поняла, что опоздала на работу.

Безбожно опоздала. Теперь не поспеть и к обеду.

Не сразу сообразила и то, что звонят, хотя именно телефон разбудил ее...

Надо было что-то придумать в свое оправдание.

Но звонил телефон...

Ирина не могла сосредоточиться. Взгляд ее скользил по привычно разбросанным повсюду вещам. Мысли не поддавались управлению. А телефон не унимался...

Звонил мужчина. Кажется, молодой. И не знакомый.

Спрашивал, знает ли Игоря?

— Какого Игоря?

Он назвал ей фамилию.

— Не знаю такого...

Потом оказалось, что друг — нет, не ее — его друг Игорь умер. Год назад...

— Ну и что же вам надо? — раздраженно спросила она.

Он спрашивал об их знакомстве...

— Да не знаю я вашего Игоря! — чуть не заорала она.

Но голос в трубке упрямо твердил, что имя и телефон были в его записной книжке.

— Значит, было же что-то?

— Не помню... не помню... Ну, может быть... Зачем вам это?

— Я позвоню позднее, постарайтесь вспомнить.

Раздались частые гудки.

— Зачем вам это?..

Но ее уже никто не слышал.

Она попыталась вспомнить. Все встречи, знакомства, курортные и не только... романы (а сколько их было!)... Какие-то обрывки реальных событий хаотично пронеслись перед глазами. Рука с зажатой телефонной трубкой застыла в воздухе. И лишь мерзкие частые гудки пронзали комнатную тишину.

Она не вспомнила. Попыталась и не смогла.

Бросила трубку на место.

Постояла немного, растерянная...

Еще раз глянула на телефон и вдруг в квартирной тишине услышала: кап!.. кап!.. — из кухни.

Сейчас она вслушивалась в этот привычный стук падающих капель все напряженней и напряженней. Ей почему-то казалось, что незнакомец сейчас позвонит или надумает ломиться в дверь, чтобы узнать ее мнение об умершем друге.

Ирина бросилась на кухню и с ожесточением начала закручивать кран. Вода перестала капать, и стало очень тихо...

Почему ей не вспомнился дождь в Ленинграде, когда она единственный раз в своей взрослой жизни бежала босиком по Невскому проспекту и смеялась, видя, как люди прячутся под зонты и навесы...

Был ранний вечер, шел сильный июльский дождь, и лужи вспучивались огромными пузырями. И она бежала и шлепала босыми ногами по лужам, обрызгивая теплой водой прохожих, спешащих укрыться от дождя.

Их возмущенные крики ее не догоняли...



Ей вспомнился не дождь в Ленинграде...

...а хруст песка, обжигающего пальцы на солнечном бакинском пляже...

Ноги вязли в песке, идти очень трудно. И в общем-то незачем...

Со злостью, непонятной и ей самой (на кого только?), Ирина наполнила чайник водой, долго искала коробок спичек, а вот газ зажегся сразу.

Ей не вспомнился костер в пионерском лагере.

Тот последний костер, когда она влюбилась «по-настоящему», впервые, за одну прощальную ночь, когда не было сил оторваться от бликов на его юном лице...

Ей вспомнилась красная афиша.

Шесть загримированных эстрадных красавцев глядели с нее мечтательно-печальными глазами...

З в о н о к.

Она не успела добежать до телефона — захит. Подождала. Не ожил.

Пошла было в комнату — вернулась зачем-то. Снова уставилась на телефон. И разглядела на зеленой телефонной трубке трещинку, еле заметную, у микрофона. Извилистую, забавную такую трещинку...

Одевалась торопливо, словно боялась — застанут раздетой, а когда начала приводить лицо в порядок — в дверь позвонили.

— Горгаз.

Парнишка в потертых джинсах и линялой ковбойке выдвинул впереди себя элегантный портфель-чемоданчик, громыхнувший чем-то железным, и без приглашения решительно прошел на кухню.

Не говоря ни слова, отключил горящий понапрасну газ. Покрутил остальные ручки. Что-то спросил. Она, не расслышав, кивнула головой. Он ушел.

Дверь за ним закрылась беззвучно...

Что-то произошло...

Она бродила по квартире — и ни единого звука, смотрела на свои вещи — и ничего

не узнавала. Это не пугало, нет. Просто такого с ней никогда не бывало. Даже в Третьяковке и Эрмитаже, когда она пыталась слиться с великим и бессмертным. А сейчас... что-то необычное открылось ей вдруг... Не разуму — сердцу...

Она смотрела как зачарованная на белую потрескавшуюся стенку...

Но только Ирина открыла подъездную дверь, грохот старого красно-желтого трамвая ворвался в нее и оглушил звуком. А когда на повороте, скрежеща и лязгая колесами, трамвай замедлил ход, она, поколебавшись секунду, бросилась вдогонку, вскочила на подножку неведомо от чего открытой двери, и, стоя на ней, с колотящимся сердцем, поплыла по узким улочкам залитого солнцем города. Деревья стояли так близко, что она не удержалась от соблазна и протянула руку. И тут же отдернула, но меж обожженных ударом пальцев уже застрял зеленый листочек. Ирина улыбнулась, подбросила его в небо, но он не долетел... безнадежно отстав, упал далеко за трамваем на брусчатку мостовой.

— А кто билет брать будет? И вообще, девушка — а на подножке! — кондукторша явно не одобряла.

В ответ Ирина беспомощно улыбнулась, спрыгнула и побежала по улице. Легко и свободно.

Несколько секунд за трамвайным стеклом каменело лицо кондукторши, потом солнечный сноп ударил в стекло, и кондукторша исчезла...

Близ продуктового магазина на привокзальной площади Ирина встретила свою старую школьную учительницу.

Полину?.. Полину... Как же отчество?

Неужели и это забыто?

Сухая, некогда высокая и педантичная, учительница литературы в школьные годы внушала уважение и даже страх. Теперь же, постаревшая и осунувшаяся старушка с авоськой, вызывала жалость. Ирина напросилась помочь.

Ей захотелось сказать что-нибудь теплое, ласковое, но слов не находилось: говорить



же о себе не хотелось вовсе. И старая седая женщина поняла это сразу. Так и шли — перекидываясь ничего не значащими фразами.

Полина Яковлевна жила на втором этаже добротного, хотя и старого дома. Площадкой выше, на подоконнике, грелся большой сибирский кот. Мохнатый, неподвижный, он лежал здесь, наверное, вечность... Солнце жгло ему спину — но он только жмурился, да иногда приоткрывал щелки глаз, чтобы кинуть бесстрастный взгляд на лестничную суету... Пока учительница возилась с ключами, Ирина незаметно отломала кусок колбасы из авоськи и бросила рядом с собою. Но кот даже не дрогнул. Он только усмехнулся. По-своему, по-кошачьи.

Наконец Полина Яковлевна разобралась с ключами, и они вошли в квартиру.

Ирина ожидала увидеть знакомые вещи: старую вешалку, чудный комод, часы прадедовские, старые-престарые, у них — Ирина помнила — маятник был искривлен, и потому они никогда не шли точно.

Но ничего этого не было. Стояла современная финская стенка-вешалка с зеркалом и тумбочками. Она увидела свое постаревшее, незагримированное лицо и ужаснулась. Школа, институт, замужество, развод — все пронеслось, как мгновение.

Почти следом за ними в квартире появилась соседка Полины Яковлевны — тетя Клава. Прошли в комнату. Полина Яковлевна достала праздничный сервиз. Сели чай пить. Тетя Клава оказалась старушкой занятой — тут же принялась рассказывать истории про психов, самоубийц и лунатиков.

Ирина посидела, послушала, потом тихонько встала и подошла к книжному шкафу.

Когда в руках Полины Яковлевны появилась банка абрикосового варенья, а бабуся начала новый рассказ, Ирина наткнулась на знакомый корешок. Пронзительно знакомый. Тертый-перетертый.

Сколько же лет прошло? Как же она составила...

Она смотрела на томик любимого писателя и боялась к нему прикоснуться... Отошла к столу и снова вернулась. Наконец, осторожно, будто опасаясь чего-то, сняла книгу с полки. Открыла наугад. Прочитала какие-то слова. Ничего не значащие. И вдруг мощно и сладко накатило давнее, когда жизнь ее лишь начиналась и многому верилось...

Ирина затаила дыхание... и даже бабуся смолкла, сосредоточенно постукивая серебряной ложечкой по блюдцу с вареньем, но через минуту Ирина не ощущала и этих звуков. Все стихло вокруг... для нее.

Из тишины ее вырвал голос Полины Яковлевны. Она подозвала Ирину и, покопавшись в шкафу, извлекла пожелтевшую фотографию. Их выпускной класс. Юные, красивые, радостные лица.

Старушка, мельком глянув на фото, тут же ткнула пальцем в парня рядом с Ирой:

— Кто это?

— Шура Алексеев: они за одним столом сидели, — ответила учительница.

— И всё?

Полина Яковлевна не поняла.

— Ну, кем он стал? — уточнила бабуся.

— Не знаю... а что это вы, тетя Клава, так заинтересовались?

— Да больно глаза у касатика искренние. Надолго хватит ли?..

Кем стал и где теперь Шурка Алексеев, Ирина не знала тоже. Как-то раз он написал ей, но она не ответила... Какое-то странное оцепенение охватило ее вдруг, и она не могла сдвинуться с места и только, глядя куда-то вдаль, за стену, слышала монотонный старушечий голос...

— Такая красивая женщина была, ну, дивной красоты-то, и замуж вышла нормально, и муж-то справный достался, заботливый. Любил ее, ой как любил! Да вот беда — как дело к весне, так с ней что-нибудь да происходит. Ненормальная она была... Раз — бежала на ярмарку...

Оцепенение отпустило Ирину, лишь взгляд ее соскользнул с корешка книги. Это он притягивал ее к себе странной силой...



Ирина отошла к окну. Внизу, по двору, бежали трое мальчишек: двое, дурачась, убегали, а третий — за ними. Бежал и швырялся камнями...

— И вот собралась она как-то, сказала мужу, что к соседке, а сама в метро. Отошла подальше, чтобы никто не успел помешать, и под поезд...

За окном малыш наконец попал в одного.

Тот упал.

Второй подбежал. Дал малышу по шее...

Ирина, как это бывало прежде, попросила у Полины Яковлевны свой любимый томик, пообещала на днях занести, попрощалась и вышла.

На площадке колбасы уже не было, а кот по-прежнему лежал на подоконнике. При ее появлении он царственно поднял голову и удостоил ее взглядом. Ласковым. Многозначимым.

Ирина шла по улице. Шла очень быстро, хотя торопиться было некуда.

Ветер нес ей вдогонку обрывок красной афиши.

По небу летели тучи, закрывая и открывая солнце, и город то становился серым и пошлым в своей суете, то оживал, наполняясь теплом и светом, и мельтешня людей и машин казалась уже не бессмысленной...

Афиша пронеслась у театральной тумбы, и на Ирину в который раз глянули шесть знаменитых загримированных красавцев. Они летели до первого дождя, который прибьет их к земле, смешает с грязью...

Куда она спешила, Ирина не знала. Кто-то невидимый вел ее по улицам города. Внезапно она остановилась, села спиной к какой-то застекленной витрине и раскрыла книгу.

Время замерло.

С нею, между тем, пытались заговорить, приглашали в кино, ресторан... Потом съездили насчет внешности и поведения... Потом рассматривали в упор — она никак не отвечала...

Солнце то исчезало, то появлялось вновь.

А ветер гнал и гнал обрывки газет, желтые засохшие листья. Окурки весело скакали по асфальту. Неподалеку подвывал шальной магнитофон. И носились трамваи, и мальчишки прыгали с подножек, и охали чувствительные женщины. А где-то на страницах штормило море, витрины ломились под топорами, и тихо умирал чистильщик сапог.

Она читала быстро и непоследовательно: прыгала с начала в конец, с конца — в середину.

Не все ей нравилось теперь. Но были места потрясающие вовсе! И вдруг кто-то тихо сказал:

— Красная афиша.

Наверняка он сказал что-то еще, до нее дошли только эти два слова. Оттуда — из кричащего мира звуков, запахов, прикосновений.

Ирина напряглась, почему-то ожидая услышать о тех красавцах, которыми ветер подметал улицы. Но парень, стоящий всего-то в двух шагах, рассказывал другому фильм.

Просто фильм.

И в нем — тоже о красной афише. Двадцать молодых французов и одна девушка — участники Сопротивления, — которых фашисты перед расстрелом в назидание другим сфотографировали, а после отпечатали афишу, красную. И все они там — в фас, французы, которые и французами-то не были на самом деле. Двадцать парней и одна девушка.

Звонок прозвенел в третий раз, и Ирина очнулась.

Она сидела у входа в кинотеатр.

Вечерело. Похолодало.

Солнце в последний раз глянуло в город, и она увидела его, отраженное в луже — розовое и золотистое разом. Лужа была маленькой и грязной, но увиденное так потрясло Ирину, что она как вкопанная стояла у этой лужи, и людские потоки ее огибали, унося свои хлопоты, заботы свои дальше; между серыми домами, между тысячами окон, за которыми притаились пока, до вечера, до



сбора семейств — раздоры, обиды, радости...

Какофония звуков неслась по улицам, расползаясь по дворам и закоулкам, достигая всякого, кто оказывался незапертым в своих стенах. Ревели магнитофоны, Николай Озеров надрывался, комментируя матч, шпана гудела в подворотне. И вдруг она услышала рядом голос, до боли знакомый, на чем-то домашнем проигрывателе воспроизводивший в сотый, наверное, раз — «Любовь к женщине»!

Ей показалось странным то, что годами обожествлялось ею же. Издерганный голос певца был неприятен, а то, о чем пелось — так пошло, что ей захотелось, может, впервые в жизни, схватить камень и запустить им в окно, в проклятый проигрыватель, в эту бесконечно огромную ложь, которую он воспроизводил, послушный чужой воле.

Письмо!..

Он же написал ей, уже замужней, правда. Тогда они с мужем посмеялись над Шуркиным нелепым посланием. Письмо со временем затерялось, и всего текста Ирина не помнила, только первые строки: «Я благодарю Бога за то, что первой любовью моей была ты: такая красивая, добрая...»

Раздался звон разбитого стекла, чей-то недоуменный вскрик, потом и цокот женских туфель.

Она бежала и бежала, и не могла остановиться: страх и необъяснимая радость подгоняли ее. И она бежала вниз по спуску — по вязкому асфальту, по камням-голышам, по сухой песчаной земле.

Болталась сумка на левом боку. Ливня, ливня просила Ирина у неба, но тучи уже пронеслись.

И вновь, как утром, все звуки разом выключились, и в тишине было слышно лишь шарканье ног: больших, малых, женских, юных и старческих. Бесшумно двигались машины, беззвучно разговаривали люди, и только шарканье, шарканье ног.

Это длилось недолго. Потом уличная музыка вновь оглушила ее, и она, опьяненная прожитым днем, прыгнула в нужный автобус, плюхнулась на сиденье, несколько минут приходила в себя и, вытащив из сумочки книгу с твердым намерением прочесть ее снова и с самого начала, неожиданно открыла восьмую страницу и прочитала о паренке в пивбаре... И тогда она вспомнила: встреча в кафе, разговор минут на пятнадцать, ничем не примечательный такой разговор. Наверное, дала ему свой телефон... Ирина вспомнила его лицо, глаза, руки. Как буравил он ее веселым неприщуренным взглядом. Да, это был третий парнишка... которого уже нет.

Она вспомнила о его друге, обещавшем позвонить, и потому, не дожидаясь лифта, побежала по лестничным ступеням вверх.

Открывая дверь, она впервые не увидела большого грязного пятна на кожаной двери соседей.

Вбежала в комнату, включила бра и, не раздеваясь, кинулась на кушетку.

Телефон молчал.

Она ждала. Тянулись минуты.

Никто не звонил.

И незаметно она уснула.

Волосы щедро разбросаны по голубому.

В пустой квартире ни единого звука. Темно. И только свет от бра освещает ее счастливое лицо.

Лицо без грима...



Александр МОРОЗОВ

МОЯ ПОЕЗДКА НА ДОНБАСС

Дорога Островец – Дебальцево

Девять месяцев прошло с той поры, когда моя семья вырвалась из обстреливаемого Дебальцева и приехала в Островецкий район.

Много воды утекло с тех пор, многое изменилось, но неизменным осталась желание хотя бы глазком увидеть свой израненный город, обнять мать, пройтись по знакомым с детства улицам. Больше года там идет война, и теперь Дебальцево часто сравнивают со Сталинградом времен Великой Отечественной.

Все эти месяцы душа болела за Донбасс, рвалась домой, поэтому, едва дождавшись отпуска, я рванул на родину. Безопаснее и быстрее, несмотря на большой крюк, было добираться через Россию. Заблаговременно купив билеты на поезд Калининград – Адлер, который делает остановку в Гудогае, ночью 7 сентября я занял свое место на верхней полке плацкартного вагона и через 38 часов высадился в Ростовской области. Мне повезло с попутчицей: она подсказала, как добраться быстрее и дешевле. Я с благодарностью воспользовался ее советом.

К таможене в Изварине мы доехали на такси, стали в очередь, которая двигалась не очень быстро, но и тут нам повезло – подъехал разваливающийся «ПАЗик», и водитель предложил за сто рублей довезти до Луганска. Минувя очередь, мы прошли таможенный контроль и проверку багажа. Правда, несколько раз приходилось выходить толкать автобус, который после каждой остановки упрямо не хотел заводиться.

Дороги на Донбассе сейчас оставляют желать лучшего. Асфальт во многих местах поврежден в результате обстрелов и того, что по нему двигалась тяжелая военная тех-

ника. У обочин стоит подбитая бронетехника ополченцев, погибших во время боев за Донбасс, усыпанная цветами.

В Луганске на автовокзале я был в 16.30, но в сторону Дебальцева транспорта уже не было. Мне подсказали, что с другой автостанции еще будет отправляться последний автобус до Перевальска. Таксисты заломили до Дебальцева неподъемную для меня сумму, добавив, что иначе как на такси на перевальский автобус я не успею. Пришлось проститься еще с двумя сотнями и, приехав на автостанцию узнать, что мой автобус отправляется через час и я спокойно доехал бы маршруткой за пятерку.

В Перевальске меня встречал сват, который на днях вернулся в Чернухино из Беларуси. Его сгоревший дом теперь будет отстраивать государство.

Темнеет на Донбассе намного раньше, чем в Островце, и к дому я подъехал, когда было уже темно. Но даже в сумерках я рассмотрел сгоревшие до основания дома моего поселка. По центральной улице бежала вода из разбитого во многих местах водопровода. Увидев меня, соседка тетка Эмма побежала стучать в ворота матери:

– Неля, выходи, сын приехал!

Мама

Я не был уверен в том, что смогу добраться по военным дорогам Донбасса до начала комендантского часа до дома, поэтому, чтобы мама не переживала, преднамеренно назвал ей датой моего приезда следующий день.

...Были объятия и слезы, и много слов, которые нужно было сказать друг другу...



Когда мы общались по телефону, мама берегла мое сердце и всегда говорила, что у нее все хорошо. На самом деле хорошего было мало...

После нашего отъезда в ее доме четыре раза вылетали все окна и двери. Однажды ночью в дом залетел снаряд, и мама чудом успела заскочить в ванную комнату, а снаряд вылетел во двор через окно и там разорвался... В ту ночь она попросилась на ночлег к соседям.

Потом, когда многие дома были разрушены, соседи-пенсионеры жили у нас. В погребе намостили стеллажи и там спали. Окна забили клеенкой, которая не сильно держала тепло, к тому же печку топить было опасно, потому что по дымам стреляли... Иногда мама все равно проталкивала печь, чтобы после холодного погребца можно было хоть немного погреться.

Однажды в феврале к маме прибежала женщина с 14-летним сыном, живущая на соседней улице. Несмотря на февральский мороз, она была одета в халат и комнатные тапочки.

– Тетя Неля, можно мы у вас поживем?

Оказывается, снарядом в их доме вывалило стену, Наталью (так зовут эту женщину) привалило шифоньером и ранило осколком. Муж кое-как выгачил супругу, сам остался заделывать брешь в стене, а она с сыном прибежала к моей маме. Из медикаментов у матери были только йод и бинты... Как смогла, она обработала рану.

Хлеба не было давно, выручал мешок муки, купленный до войны, пекли пышки на воде. Света и воды в водопроводе не было несколько месяцев. Благо, что на улице были колодцы. Обстрелы не прекращались, и с ведрами на тачке, пригибаясь и присаживаясь во время разрывов, люди добывали живительную влагу, топили снег. Но иногда вода стоила жизни...

Соседка с Ворошиловградской улицы, у которой убило зятя, сошла с ума...

После очередного вылета окон мама забила их пленкой. Поставив стул на стол, она забралась наверх и поскользнулась, упала и

получила сотрясение мозга. Еле вползла в дом и три дня лежала в холоде без воды и еды. Потом кое-как дошла до дома соседки, чтобы та пришла печь протопить и хотя бы воды принесла...

– Я всех привечала, всем помогала, чем могла, поэтому, наверное, Господь и сберег, – сказала мне мама.

В доме и во дворе у мамы идеальный порядок. Брат смог передать ей денег, окна вставили и застеклили, а крышу перекрыли заново.

Образование и культура

«Цыганская почта» уже сообщила о том, что Морозов в Дебальцеве, и на меня посыпались звонки с просьбами выступить в библиотеке, в школах, на концерте ко Дню города и Дню освобождения Донбасса. К сожалению, я не смог побывать везде, пришлось извиняться и отказывать. Но кое-что я успел. Прежде всего мне хотелось собрать наших литераторов и провести заседание литобъединения. Приехали авторы не только из Дебальцева, но и из Енакиева, Фащевки, Волчановки Комендантского. Помянули Лилию Цинкевич, Андрея Ширяева и всех общих знакомых писателей, которые ушли из жизни в этом году. Каждому из приехавших было о чем рассказать, и наши посиделки растянулись на 4 часа.

Мне хотелось взять интервью у мэра города, но в первый день он был в Донецке, на второй у него заседали военные, и, естественно, туда никого не пускали. А когда военные закончили совещание, приехали министры из Донецка...

На следующий день в библиотеке в рамках мероприятий ко Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков проходила музыкально-литературная гостиная. Перед жителями города выступали поэты из Дебальцева и Фащевки, а преподаватели школы искусств подготовили несколько музыкальных номеров.



Прошедший год навсегда изменил нас... Мы научились любить каждый прожитый день, радоваться яркому солнцу и ценить все, что у нас есть. Война внесла коррективы в жизнь каждого дебальчанина. Говорят, что когда грохочут пушки – Музы молчат. Но наши поэты доказали обратное. Во время войны их голос звучит еще громче и пронзительнее.

...Мне приходилось выступать перед самыми разными аудиториями, а здесь гляжу на дебальчан, переживших все ужасы войны, хочу сказать о своей любви к городу, а в горле ком... Еле смог собраться и выступить...

Потом провел два урока мужества в старших классах 6-й школы. Несмотря на то что школа сильно пострадала, в одном крыле проходят занятия. Когда я приехал, перед ней клали асфальт. Разрушенные стены уже выстроили заново, рядом лежали плиты перекрытия.

Рассказы дебальчан

В Дебальцеве у меня было много друзей. Сегодня жизнь разбросала нас по разным городам и странам. У Влада – предпринимателя из нашего города – был магазин компьютеров и комплектующих. Во время войны он вывез семью в Киев, а сам наезжал в Дебальцево, чтобы распродать оставшийся в магазине товар.

История 1

– Я так ждал встречи с тобой, Саня, – признался он мне, – потому что только ты сможешь донести то, что здесь происходит, до людей.

Когда после Нового года город сильно обстреливали, очень многие уехали жить в Светлодарск, а на работу ездили в Дебальцево. Когда начался штурм Дебальцева ополчением, ко мне в Светлодарск приехал К., у которого было похоронное бюро. Весь белый, руки трясутся, еле водкой отпоили, немного пришел в себя.

Говорит, повезли бабушку хоронить, приехал с копачами на кладбище, впереди машины мина разрывается. Включили задний ход, сзади еще одна ложится. Еле вырвались. Только он рассказал, начали обстреливать Светлодарск – нужно срочно эвакуироваться. Я спрашиваю, сможешь нас забрать?

– Смогу, – говорит, – только с бабушкой ехать придется. Если что, говорите, что вы ее родственники.

– А нам хоть с кем, лишь бы выбраться.

Едем, рядом бабушка в простыни заматанная. Запах стоит – хоть вешайся. Зато на блокпостах нигде не задерживались.

– Что везете?

– Груз 200.

Так до Артемовска и добрались...

История 2

Другой знакомый вернулся в свой дом после того, как из него выбили украинскую армию. Заходит в дом, везде бардак, вещи разбросаны, на полу несколько гранат валяется. Он пошел в комендатуру, чтоб военные их забрали. Пришли ДНРовские саперы, и какое-то чутье привело их к шифоньеру – там одна дверца была приоткрыта, а на второй стояла растяжка с гранатой. Это чудо, что хозяин не заглянул в шифоньер.

История 3

Учительница из 6-й школы, которая живет в моем поселке на соседней улице, рассказывала о том, как брали поселок. За несколько дней до этого разведгруппа ополчения пробралась на Октябрьский. Они постучали в окно к этой женщине и попросились погреться и отдохнуть. Несколько человек спустились в погреб, один остался у дверей. В доме, кроме хозяйки, была ее лежачая мама. Женщина заварила чай, принесла картошки, рассказала, где размещаются огневые точки противника. Через время ребята вернулись. У одного из них было противотанковое ружье. Из него



он и подбил украинский танк с надписью «Студент», который ездил по поселку и расстреливал оставшиеся дома. Потом этот танк еще долго стоял на обочине, напоминая об ужасах тех дней.

– Всё, мать, – сказал старший группы, – идем брать блокпост.

Не прошло и 45 минут, как он был взят.

«Урок не успел бы закончиться за это время», – подумала учительница.

Город сегодня

Утром следующего дня мы с мамой пошли на кладбище. Шли по нашей улице, которая, как и весь поселок, представляют собой очень страшное зрелище. До войны в поселке жило более 2 000 человек, сейчас – человек 200... Нет ни одного целого дома. Приближается зима, и люди, кто как и чем может, стараются подлатать разрушенные жилища. Обещали помочь с шифером и стеклом, но пока даже здание исполкома не остеклено, и его аппарат уютится в здании дебальцевского отделения железной дороги. На нашей улице из 55 домов осталось лишь 17. В этих домах сейчас живут люди, пытающиеся как-то их восстановить – остальных просто нет...

Из трех магазинов в поселке остался один. Почтовое отделение закрыто. Транспортной связи – никакой... Пригородные и пассажирские поезда не ходят. Маршрутка тоже. Нет солярки... Иногда протарахтит поезд с углем в Россию – и тишина. Крупнейшая сортировочная станция как будто замерла в летаргическом сне... По городу ходят лишь два маршрута общественного транспорта, но курсируют они только до двух часов дня. С 21.00 до 5 утра – комендантский час, во время которого любые перемещения запрещены.

Памятники родственникам оказались целыми, только столбики оградки возле могилы отца были посечены осколками и на столике у могилки лежала неразорвавшаяся «градина».

С кладбища шли домой по соседней улице – там картина ничем не лучше. Люди встречаются редко...

От дома, в котором я до сих пор прописан, мало чего осталось... Одной стены нет, по оставшимся пошли трещины, окна-двери вынесены, в кухне ласточка свила гнездо. Труба скосбочилась, крыша осталась местами... Каминный зал разбит полностью. Металлические ворота – в сквозных дырах, забор посечен осколками. Бассейн, правда, уцелел, но возле него в огороде воронка глубиной в 2 метра и диаметром в 4...

Чтобы купить продукты, я отправился в город. Маршрутка не пришла, пришлось топать 6 км пешком. За это время меня обогнали всего два велосипедиста и одна машина.

На Восьмерке, которой досталось не меньше Октябрьского, семизэтажное здание сортировочной станции выгорело полностью. Перед отступлением украинские войска расстреляли его в упор. 7-я школа, построенная еще до революции, закрыта, у памятника воинам Великой Отечественной стоит БМП (боевая машина пехоты). В бытовом корпусе на Фестивальном – пробоины в стенах. Трубы отопления, идущие по улице, перебиты, системы отопления в домах разморожены – отопительный сезон в этом году не начнется...

В стороне остается Волчановка. Ночью оттуда была слышна стрельба. Украинская диверсионно-разведывательная группа, которая пыталась проникнуть в город, подорвалась на растяжках.

В самом городе людей мало, но каждый встречный хочет рассказать мне о том, что ему пришлось пережить, поэтому быстро перемещаться не получается.

Центральный рынок, сожженный еще в июле прошлого года, так и стоит обугленный. По его периферии идет небойкая торговля. Два килограмма мяса и чуть больше килограмма сала обошлись мне в тысячу российских рублей. Пенсии сейчас там – 2–4 тысячи, зарплаты 3 – 6 тысяч. Живи, как хочешь.

Заведующая городского отдела культуры, увидев меня, стала расспрашивать: что, где, как, не собираюсь ли возвращаться? Даже предложила мне вести литературный кружок в Доме творчества. Правда, зарплата у руководителя кружка 3 000 российских, это чуть



меньше 800 000 белорусских рублей. Как на нее проживешь. Цены в городе московские, а зарплаты – дебальцевские.

Из города приехал маршруткой на Первую, зашел в тещину квартиру. Свет почему-то выключили, а так как выбитые окна были заколочены досками, рассмотреть толком я ничего не смог. При свете свечи разглядел только порванные батареи. Как люди будут зимовать? Снова ставить буржуйки...

Между Первой и Второй – на трассе – таможня! Между ДНР и ЛНР! На территории

одного города! Вместо того, чтобы объединяться, они таможни ставят!.. И я, проезжая из одного микрорайона города в другой, должен был показывать прописку, отвечать, куда и с какой целью еду и что везу.

12 сентября я уезжал из Дебальцева, уезжал с тяжелым сердцем, с болью в душе...

Мы с делегацией писателей Донбасса отправлялись в Москву, где нам предстояло презентовать книгу «Строки мужества и боли». Но это уже совсем другая история.

Люди! Берегите мир! И никогда не допустите у себя того, что случилось на Донбассе!



Михаил КУЗИН

ВАНЯ И СМЕРТЬ

До немцев было рукой подать – с чёрного пригорка, приглушённо хлопая, раз за разом взлетали под низкие тёмные облака осветительные ракеты, тусклые тени метались по изрытой воронками ничейной полосе. Постукивали в ночи одиночные выстрелы, чуть в стороне проснулся и зарокотал пулемёт. Ему ответили наши – сверкающие трассы перелестнулись на встречных курсах и разлетелись по сторонам...

Ваня, осмотревшись, сполз с бруствера, сел на дно окопа. Снял каску, устало вытянул ноги, обиженно вздохнул – почему именно его назначил сегодня сержант Никифоров в боевое охранение? Ещё раз вздохнул, на этот раз печально и одиноко – в блиндаже сейчас ребята спят в тепле, а ближе к полуночи на передовую приползёт старшина, притащит алюминиевые термосы с горячим ужином – весело загремят котелки, пожилой связист Герашенко строго прикрикнет на расшумевшихся бойцов. Вот только ротного командира никто не пойдёт будить – унесли санитары после сегодняшней атаки лейтенанта в медсанбат.

Ваня натянул каску, поднялся на ноги, осторожно выглянул наружу. Его дело – смотреть, слушать, предупредить своих. Ночью ему всегда казалось, что окоп боевого охранения ближе к немецким траншеям, чем к нашим. Громыхало где-то наверху, зарницами бледно подсвечивая облака. «Как бы не полило, – Ваня, поvidaвший у себя в деревне немало гроз, с опаской закрутил головой. – Чтоб тебе пусто было, Никифоров, так торопил, что плащ-накидка осталась в блиндаже...» Не дай бог дождь – шинель насквозь промокнет, а до рассветного тумана, когда Ваня поползёт к своим, ещё долго...

Прошлым утром рота воевала. Уже с неделю полковые разведчики, возвращаясь, рассказывали, что на пригорке немцев немного

так, сидят кое-где по окопам, постреливают наугад. Ротный решил проверить – уж очень эта лысая высота всем надоела. В штабе батальона операцию одобрили: «Только осторожно, лейтенант, малыми силами, – Ваня в блиндаже слышал, как комбат гудел ротному в трубку полевого телефона, – не зарывайся!». Атака оказалась неудачной – сначала бойцы напоролась на мины, потом немцы накрыли их из пулемётов. Три солдата убиты, четверо ранены, лейтенант – тяжело. Днём комбат свирепо ходил по ходам сообщения, материл разведчиков, затем приказал взводным командирам готовиться к новой атаке – на рассвете полковое начальство пообещало провести артподготовку. И вот Ване, после того как отгремят орудия, придётся снова бежать в сторону этого проклятого пригорка...

Беспорядочная стрельба над передним краем поутихла. Ваня удобнее устроился на дне окопа. Проверил гранаты в земляной нише, сдул с затвора винтовки пыль. Отгоняя сон, хлебнул из фляги воды. Достал из кармана шинели сухарь, стряхнул с него махорочные крошки. Дремать нельзя – несколько дней назад немецкая разведка, обшаривая передний край, утащила с собой солдата из соседнего батальона. Приезжал злой особист – грозил трибуналом бойцам и командирам...

Тянулось время, в темноте ворочались раскаты далёкого грома, но дождь не начинался. А потом Ваня услышал шаги, слышал издали – кто-то, не таясь, топал в сторону окопа боевого охранения. «От наших траншей идёт. Как же часовые его пропустили? – Ваня, нашаривая в темноте винтовку, вспоминал предупреждения особиста о перебежчиках. – А может, Никифоров на смену кого послал? Ну, да, держи карман шире – пошлёт он. Может,



это санитары – убитых пришли выносить?..» Стараясь не звякать металлом, Ваня плавно загнал патрон в патронник, снял винтовку с предохранителя и осторожно выглянул наружу.

В небо с пригорка метнулась осветительная ракета, на мгновенье нерешительно застыла и, разбрызгивая холодные искры, быстро покатила вниз. Ваня прищурился – прямо на него, покачивая бледную дрожащую тень, шагал человек. Силуэт показался знакомым...

«Стой, кто идёт!» – Ваню оглушил собственный шёпот. «Свои, Ваня! Не боись...» – через секунду, осыпая сухую землю, в окоп съехал солдат. Ваня, не опуская винтовки, пригляделся. Солдат был немолод, с сединой, но ещё крепок. Отряхнувшись, он поскрёб жёсткую щетину и, улыбнувшись, спросил: «Что, не узнаёшь? Да опусти ты ружьё, в самом деле – выстрелит ещё ненароком!» И улыбнулся – на лицо набежали морщинки, блеснули зубы. Улыбка оказалась хорошей, доброй, и Ваня успокоился. Обычный деревенский мужик, а теперь солдат. Ватник, обмотки, пилотка со звездой. Да Ваня, кажется, и видел его не раз: то в роте он мелькнет, то в батальоне. Знакомый, в общем...

Они присели на дно окопа. Глаза снова привыкали к темноте. «Табачком богат? Закурим, Ваня?» – пришлый солдат положил натруженные руки на колени. «Да вроде на посту курить нельзя, – Ваня нерешительно потянулся за кисетом, – немец учует...» – «Ладно, мы одну на двоих, под шинелькой – вот и не унюхает фриц...» – солдат ловко скрутил мозолистыми пальцами самокрутку, лизнул, склеивая края бумаги, – Давай шинель, накрывайся, спички у меня есть...»

Огонек самокрутки трещал, выхватывая из дымной темноты смутно знакомое лицо солдата, они затягивались по очереди махоркой, а Ваня всё никак не мог вспомнить его имя. Докурив до пальцев, солдат потушил окурочку о стенку окопа. Откинули шинель – сразу стали слышны звуки дальних выстрелов. Ваня выглянул из окопа, огляделся, присел обратно...

– Слушай, дядя, а как тебя зовут? А идешь откуда?

– Как меня зовут, не важно, Ваня. А иду я из медсанбата.

– Что, ранен был?

– Да нет, не ранен. Лейтенанта вашего проводывал.

– Как он там?

Солдат не ответил. Кряхтя, размотал, встряхнул обмотку, задумчиво потёр колесо...

– Устал я, Ваня. Сколько работы! Очень устал...

– Так ты санитар, что ли? – Ваня обрадовался догадке, – А я то-то думаю, где тебя видел...

– Санитар? – солдат задумался, – Можно сказать и так...

– А родом откуда? Может, земляк? – Ване почему-то стало легко на душе. – Не с Рязанщины?

– Да я многим земляк, – солдат, вытряхивая мелкий сор из стоптанного ботинка, улыбнулся. – Почитай, всем. И имя моё известно каждому. Имя простое: Смерть...

Почему-то Ваня развеселился:

– Ну, ты, дядя, заливаешь, – Ваня приглушённо хихикнул, – А как же коса, череп-кости, мне бабки в деревне рассказывали...

– Война, брат. Какая там коса... – Солдат, намотав обмотку, затягивал шнурки ботинка. Примеряясь, топнул ногой о землю. И поднял на Ваню бездонные пустые глаза. И Ваня, похолодев, догадался, где видел не раз такие остывшие глаза. У убитых. В роте, в батальоне...

На левом фланге снова проснулся немецкий пулемёт, отрывисто прокашлялся и дал куда-то в темноту длинную очередь. С нашей стороны сердито ударила в ответ минометная батарея – хлопки разрывов пышно расцвели на вершине пригорка. Суматошно взлетели осветительные ракеты, окрасив мир в бледные мертвецкие цвета...

– Ладно, отдохнул немного, пора мне. Давай, браток, подсоби, рассвет скоро, – солдат устало поднялся на ноги...

Ваня, превозмогая мелкую зябкую дрожь, помог ему взобраться на бруствер. В окоп



ручейками посыпалась земля: «Как в могилу...» В горле пересохло, он заикался:

– Ты, дядя, за мной приходил? Да?

– Когда-нибудь приду и за тобой. Не сегодня. – Солдат ладонями отряхивал с ватника налипшую землю. – К немцам пойду – скоро у вас артподготовка начнется. Работы там будет много. Ты, Ваня отсыпь-ка мне табачку – я немецкий не очень люблю...

А когда он наклонился за кисетом, Ваня неожиданно для себя судорожно выдавил:

– Скажи, дядя, вот ты идёшь туда, а к нам смерть в немецкой форме приходит?

– Глупый ты, Ваня! – Солдат присел на бруствер. – Смерть она для всех одна...

– А когда война кончится, знаешь? – Ваня неожиданно для себя осмелел.

– Это тебе в штабе надо спросить, у генералов. А я, видишь, рядовой, мне не докладывают...

– А батю моего, он где-то в сорок первом сгинул, ты не встречал? – Ваня затаил дыхание...

– Да разве всех упомнишь? Работы-то сколько... Ладно, спасибо тебе за табачку, пойду – не опоздать бы...

Размеренным шагом солдат уходил в темноту...

Словхватившись, Ваня свистяще зашипел ему в спину:

– Дядя, там минное поле впереди! А дальше колючая проволока – не пройдёшь!

Солдат остановился. Обернулся и, чуть помедлив, зашагал обратно. Наклонился над окопом:

– Вот что, Ваня. Утром после артподготовки пойдёте в атаку. Прямо на пригорок этот не беги. Вон, гляди, слева – канавка. За ней кустики. Мин там нет. И пулемётчик тебя не увидит. Там и ползи прямо до фрицев. Понял?

Повернулся и, не пригибаясь, ушёл в сторону немецкого переднего края. Ваня прислушивался к удаляющимся шагам. Стихло. А с недалекого пригорка, вздрагивая от редких выстрелов, поползла на ничейную полосу сырая полоса тумана. Ваня засобирился – надо успеть проскочить к своим...

«Приготовиться к атаке! – как только рассветело, комбат, протискиваясь между бойцов, заметался по траншее, – Сразу после артподготовки – броском вперёд!». Ваня, сжимая винтовку, обернулся к Никифорову:

– Товарищ сержант, как там в медсанбате наш лейтенант?

– Смерть за ним пришла ночью. Умер наш ротный...

За спинами загремело – через секунду над головами загудели, засвистели снаряды. Пригорок задрожал, окутался дымом и пылью...

Комбат, подняв вверх руку с пистолетом, задержав дыхание, смотрел на часы. Сержант, напрыгавшись и прикрыв глаза, что-то горячо шептал. А Ваня, щурясь, высматривал ту канавку, те кустики, где нет мин и пулемётчик его не достанет – сегодня. Он верил. Ему обещали...

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ

После духоты комнаты на крыльце оказалось прохладно. Доставая сигарету, Иван зябко поёжился. По двору задумчиво бродили куры, останавливались, встряхивались – с перьев взлетала осыпь острых стеклянных капель. Дым, не растворяясь в сыром воздухе, завис над крыльцом. Влажный табак горел плохо, трещал – сумрачный дождик уже неделю напивал окружающий мир, все вокруг промокло, поникло, и только неуныва-

ющая дочка наперегонки с дворняжкой носилась в ограде – резиновые сапожки оставляли дрожание круги в мелких лужицах. Было слышно, как в доме густо бубнил, хохотал дядя Саша – сосед. Звенели тарелки, громко, застойно переговаривались женщины, яркие краски телевизора отбрасывали наружу – за занавески – неясные, приглушенные блики.

Дом, сараи, баня, крепкий забор – все было ухожено, в огороде на грядках уже вы-



лезли стрелки лука, наклёвывалась редиска. «Скоро картошку садить, – Иван потянулся, – старикам помочь надо. А как сажать – грязь такая...» Весна в этом году была ранняя, снег сошел уже в начале апреля, а май внезапно отяжелел дождями...

«Ну, ты где, Ваня? – на крыльцо вывалился дядя Саша, – Давай твоих – хороших попробуем...»

Неспешно раскурил сигарету, пахло от него солёными грибами, чесноком, крепко удобренным водочным духом.

«Вот ты, Иван, не пьёшь совсем, приходится мне за тебя отдуваться перед бабами, – дядя Саша, осторожно сгибая хрустящие колени, присел на мокрую ступеньку. – Ты не подумай, это я не в укор тебе, прости Господи. Но ведь и праздник нынче – День Победы! Мой батя сгинул где-то на Волховском в сорок втором, да и твой дед-фронтвик, я ведь его хорошо помню, только пару годов после войны и прожил. Помню, как бабы убивались, когда военком в поселок приезжал призыв проводить. Помню, как эти же бабы голосили, когда объявили, что война кончилась...»

Без предупреждения зашелестело в траве, застучало мелко по крыше – снова зарядил дождь. «Настя, а ну, домой! – Иван пальцем погрозил дочке, – Вымокнешь вся!»

«Что водку не любишь – молодец, уважаю тебя за это... – Дядя Саша нетвердо поднялся, ткнулся колючей щетиной в щеку Ивана. – А ведь ты воевал, и Серёжка мой вместе с тобой, – старик всхлипнул, дрогнул плечами, – это ведь и ваш праздник, сынки...»

Иван подхватил на руки влетевшую на крыльцо запыхавшуюся дочку. Толкнул дверь в тёмные сени, нащупал выключатель. Они учились с Серёгой в одном классе. Вместе призывались в армию. Вместе попали в учебку, потом на Кавказ. Когда боевики штурмовали Грозный, Серёга был первым, кто погиб тогда на блокпосту. Его тело, запорошенное землёй близких разрывов, полторы недели лежало вместе с другими «двухсотыми» в изгибе траншеи – возможности вывезти убитых не было. От грохота

стрельбы закладывало уши. В горле стоял ком пороховых газов. Не хватало воды. Раненые бредили. Заканчивались боеприпасы. Трижды на блокпост, помахая белым флагом, приходил чеченец – полевой командир. Хищным взглядом окидывал измождённых солдат, предлагал сдаться, обещал жизнь. Вглядывался чёрными глазами, словно стараясь запомнить тех, кто, слушая его гортанную речь, улыбался растрескавшимся губами. После его ухода снова и снова гремели разрывы – чеченцы расстреливали огрызающийся блокпост из гранатомётов...

Потом к ним с боем прорвалась бронеколонна от соседей-морпехов, танкисты прямой наводкой разбивали позиции боевиков, стрекотали в небе вертолёты, суетились над ранеными врачи, а Иван с бойцами, боясь не успеть к отходу колонны, разгребали землю, вытаскивали убитых, грузили окостеневшие тела на воняющий соляровкой бронетранспортер...

«Ну, беги!» – Иван опустил дочку на пол. В комнате было светло, шумно, телевизор в очередной раз повторял столичный парад, женщины за столом перекикивали друг друга:

– Тебе, Нинка, повезло, Иван-то не пьёт, работающий!

– Да уж, повезло, работы в поселке нет, сколько ему еще мотаться на заработки за тридевять земель!

– Да не будет нашего поселка через десять лет – смотрите, сколько людей уехало, сколько домов заколоченных стоит!

– Нинка, твой-то живой с войны вернулся, а что старикам делать? Хорошо, что помогаете, а иначе как жить...

Заплакали как по команде. Дядя Саша разливал по рюмкам, что-то успокоительно бурчал...

Через полгода после дембеля Ивана вызвали в областной военкомат. Полковник долго тряс руку. Вручили орден. В красной орденой книжке стоял номер награды и подпись президента. «А Серёге?» – Иван, сжимая орден, ждал. Военком положил ему руку на плечо: «Не подавало командование части наградных документов на рядового



Рябченко. Но не беспокойся, похоронили его в поселке со всеми почестями, старики от государства получают, пусть и небольшую, пенсию по потере кормильца, я обещаю, что вопрос о его награде мы поставим...»

Трансляция парада прервалась, телевизор поперхнулся рекламой, женщины за столом, переглянувшись, с надрывом, с каким-то вызовом запели «Катюшу». Дядя Саша, отложив вилку, утирал глаза. Иван подозвал дочку, посадил её себе на колени...

Он редко вспоминал войну. Не до этого было. Женился. Родилась первая дочь. Сейчас она в городе – учится. Затем родилась вторая. Надо было работать. Несколько раз его приглашали в местную школу – выступать перед ребятами. «Иван Петрович, это очень важно, – молоденькая учительница теребила его за рукав, – обязательно с наградами надо прийти, рассказать о мужестве и героизме, патриотизм – основа основ воспитания подрастающего поколения...» Он улыбался, кивал, но на встречах больше отмалчивался. О чем было рассказывать? О том, как после таких собраний метался по комнате, хрустел кулаками, искал ответ: ради чего были те страх, боль, кровь? Кому нужны их мужество и героизм? Остыв, он замыкался в себе, и тогда Нина ходила по дому молчком, дочка вели себя тише воды. Он не любил себя за эти минуты, старался не думать ни о чём, не вспоминать. И разве об этом расскажешь детям в школе?..

– Привет всей честной компании! – в комнату, отряхивая кепку, вошел глава посёлка Никифоров. – С праздником!

Стол загудел, сдвигали тарелки, освобождая место гостю.

– И не уговаривайте! – Никифоров накрывал ладонями рюмку. – Не могу! Новость у меня хорошая – сейчас приедут эти, как их – инвесторы, которые лесопилку нашу купили и собираются производство восстанавливать, а там, глядишь, и до комбината дело дойдет! Так что, давайте, собирайтесь, понимаю, что праздник, но через час всех жду у администрации. Потом догуляете, ну и я с

вами День Победы отмечу. Давайте-давайте, и дождик уже как раз кончился...

Иван, держа дочку на руках, старательно обходил глубокие лужи на когда-то асфальтированной дороге. Со всех сторон к центру увядающего посёлка тянулись люди. Было их мало, а когда-то здесь, в таёжной глуши, кипела жизнь. Издалека приезжал народ наниматься на лесопункты, в лесхоз, в три смены работал деревообрабатывающий комбинат. Посёлок окружали четыре исправительные колонии, каждый вечер крутили фильмы в офицерском клубе, молодёжь бегала на танцы. Там он и познакомился с Ниной. По вечерам горел свет в библиотеках, пацаны из профтехучилища гоняли на стадионе футбольный мяч. Потом колонии закрылись, обанкротился комбинат, ушлые предприниматели разобрали и продали на металлолом рельсы железной дороги, по которой вывозился заготовленный лес. Автобус в райцентр стал ходить раз в неделю, и нередко водители отказывались ехать по разбитой вдрызг дороге. Мужики спивались, молодёжи не осталось совсем. Много раз Нина уговаривала его всё продать – дом, хозяйство – и уехать ближе к городу, к дочке, к работе. «А старики? – Иван показывал на дом соседей, – они как же? С ними что будет? Не поеду»...

На крыльце администрации размахивало руками районное начальство, в чём-то горячо убеждая собравшихся людей. Одни по привычке хлопали, другие равнодушно наблюдали. Услышав за спиной рёв двигателей, Иван оглянулся – подпрыгивая на ухабах, к зданию подкатили три тонированных джипа. Захлопали дверцы машин – на крыльцо поднялись крепко сбитые чернявые пассажиры. «Вот и наш главный инвестор! – районный чиновник, растянув губы в улыбке, пожимал руку высокому мужчине в дорогом костюме, – Знакомьтесь: Ахмет Идрисович, уважаемый человек, инициатор восстановления здешнего производства!».

Смутное беспокойство подтолкнуло Ивана ближе. Глухо долетали до сознания слова чиновника: «Откроем больницу, отремонтиру-



ем стадион, молодёжь вернется, достойная зарплата...»

С высоты крыльца молчаливый бизнесмен цепко глядел в лица собравшихся людей чёрными блестящими глазами, как тогда – на расстрелянном, обгоревшем, но воюющем блокпосту. У Ивана перехватило дыхание, когда они встретились и зацепились взглядом. Он крепче прижал к себе дочку, не опустил глаза, только облизнул внезапно пересохшие, словно потрескавшиеся губы. «Лесопильный цех – это только начало, так мы договорились с уважаемыми бизнесменами... – чиновник уже устал и торопился, – Короче, завтра все приходите с документами устраиваться на работу...»

Новый хозяин лесопилки жестом подозвал к себе Никифорова и, коротким поворотом головы указав на Ивана, что-то спросил. Тот обстоятельно отвечал, а Иван, посадив дочку на плечи, не оглядываясь и не обращая внимания на лужи под ногами, зашагал домой. «Иван, я к тётё Оле на часок загляну...» – Нина стояла с женщинами чуть в стороне, слышался смех. Он на ходу махнул рукой: «Хорошо». Снова посыпал на землю мелкий дождик...

«Папа, я наелась, можно пойду погуляю?» – Настя отодвинула тарелку и, сидя на высоком стуле, нетерпеливо болтала ногами. Иван не ответил – телевизор показывал сверкающие небоскрёбы заново отстроенного Грозного. Сжал кулаки – по широкому проспекту стройными рядами шагали вооруженные до зубов бородачи, а корреспондент, перекрикивая звуки маршей, радостно, с гортанным акцентом вещал о красочном параде в честь Дня Победы...

«Папа, ну, папа! – дочкин голосок отвлек его от экрана. – Можно? – она чутко замерла в готовности прыгнуть со стула... «Если дождя нет, тогда иди во двор, сапожки обязательно надень...» – Иван подошел к окну, отодвинул занавеску. Замер – по улице к его дому, аккуратно объезжая колдобины, двигались три чёрных джипа...

Иван осторожно опустил на место занавеску, подозвал к себе дочку: «Настя, беги

сейчас в спальню и не выходи, – он старался говорить спокойно, убедительно. – Хорошо, дочка? А потом мы вместе погуляем – ладно?». Настя кивнула. Он закрыл за ней дверь. Прислушался – за оградой хлопали дверцы машин, залилась лаем дворовая собачонка...

Иван метнулся к шкафу, рванул ремни кожаного чехла, в три приёма собрал ружьё. Переломил, заглянул в стволы, направив ружьё на яркий свет телевизора. Хромированная сталь зеркалом отразила экран, где победно маршировало бородатое войско. Вбил в стволы картечные патроны и, сжав зубы, со стеклянным звоном толкнул наружу раму окна...

– Не стреляй, Иван! погоди! Давай поговорим! – Во дворе, как чёрный, насупившийся грач, с поднятыми руками стоял Ахмет. – Сколько лет прошло... Но, у меня хорошая память. Вижу – и ты меня узнал... – От каркающего, нездешнего голоса у Ивана похолодела спина, мельком кинув взгляд на закрытую дверь спальни, он взвел курки двустволки...

– Ты тогда пришел на мою землю с оружием, Иван. Мы сражались. Ты храбрый воин. – Подождав, медленно опустил руки, облегчённо выдохнул. На ткань дорогого костюма оседала водяная пыль, собиралась мелкими блестящими каплями, падала на землю. – Я пришел на твою землю не воевать, мы живем с тобой в одной стране, Иван. Ты – россиянин и я – россиянин. У тебя дети, их кормить надо. Думай, Иван...

Не поворачиваясь спиной к окнам, попятился, закрыл за собой калитку. Взревели двигатели машин. Иван опустил ружьё. Его затрясло...

Через час в доме опять былолюдно, шумно, смеялись, пели. Раскрасневшийся, довольный приёмом районного начальства Никифоров, перекрикивая соседей, перегнулся к нему через стол: «Кавказец этот всё про тебя, Ваня, спрашивал, встречались где?». Иван пожал плечами: «Не помню». – «Ну и ладно, и пес с ним! – Глава поднял рюмку. – Тише! Хороший подарок к празднику нам сделали! Главное,



что не умрёт теперь наш посёлок, есть у нас руки, головы на плечах. А люди вернутся, обязательно вернутся, разве можно не вернуться в жизнь? Давайте выпьем за это и за Победу!» Все встали, улыбались, чокались. Один дядя Саша заплакал над стопкой...

«Всё теперь будет хорошо, Ваня, и уезжать никуда не надо, – Нина подседа, довольная прижалась к нему. – Завтра пойдёшь, устройшься на работу, говорят – зарплата хорошая будет. И дочке в городе будем помогать, и стариков не оставим...» – «Да, конечно. Ну, иди к столу, вон смотри – дядя Саша совсем расклеился... – Иван поднялся. – Я выйду ненадолго...» – «Куда ты? – Нина уже раскладывала шумящим гостям по тарелкам дымящуюся картошку, – к Серёжке на кладбище? Так были же недавно – убрали оградку, цветы посадили. Ну, ладно, недолго там – сам

знаешь, я без тебя Настю не уложу. Да и салют скоро будут показывать ...»

Кладбище было недалеко – сразу за окраиной поселка. Многие могилы заросли бурьяном, завалились кресты, покосились жестяные обелиски с обшарпанными звездами – некому стало ухаживать за мертвыми...

Иван присел на сырую скамейку у мраморного постамента. Достал из кармана куртки бутылку водки, плеснул в стопку. Вынул из бархата коробки холодный блестящий орден и бережно положил его на могильную плиту. Придавил сверху бутылкой. Алую орденскую коробочку, повертев в руках, с размаху зашвырнул в кусты...

Курил, сжимая кулаки. Уже прилично стемнело. Снова зашуршал дождик и словно в ответ в поселке дружно закричали «ура!», заголосили – по телевизору показывали праздничный салют...



Олег КУИМОВ

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Ирке не повезло с самого рождения. Появиться на свет второй по старшинству в многодетной семье (семь детей) с то сидящим, то пьющим отцом – не подарок судьбы. Мать рвала жилы: мыла полы, где подвернется, мела улицу – но жили все равно так, что дети стыдились пригласить к себе в гости ровесников. Младшие бегали по дому полуголые и не всегда могли выйти из дому. Сама Ирка донашивала одежду и обувь после старшей сестры или кого-то из родственников сердобольных соседей, помогавших по мере сил, а силы были невелики.

Наверняка потому Ирка и бросилась с разбегу в активную взрослую жизнь, что с отчаяния, как утопленница в омут: раз – и на дно. Это в книжках бывают алые паруса, Ассоль и Грэй. В свои пятнадцать лет Ирка от жизни ничего уже не ждала. Училась так себе; с какого боку ни взгляни, техникум – предел возможностей, да и то на грани. Многие мотались в областной центр на заработки, а если везло, переселялись туда навсегда, но у Ирки даже для того, чтобы зацепиться на новом месте на первое время, не было ни денег, ни родственных связей; да и кто возьмет на работу пятнадцатилетнюю малолетку. А Ирка превращалась в симпатичную девушку и хотела жить и наслаждаться отпущенными природой радостями. Гормоны стремительно повзрослевшего организма давили так, что она уже не думала ни о морали, ни о молве и всецело отдалась всепоглощающему зову плоти.

В маленьком поселке это приговор. По всем законам небольших населенных пунктов, на малой родине будущее ей теперь ничего хорошего не сулило. Однако в шестнадцать лет жизнь все-таки подарила ей шанс: она встретила с Егором, служившим по контракту в расположенной побли-

зости части. Был он из такого же захудалого поселка соседней области, шел ему двадцать второй год, но выглядел Егор куда старше: невысокий, плотно сбитый, не по годам уравновешенный и сдержанный. За таким, как говорится, как за каменной стеной. Про Ирку он толком ничего не знал, а если и догадывался по многозначительным ухмылкам встречных парней, то закрывал на это глаза: терпение у него было просто бычьё и жену свою любил (они уже жили вместе как муж и жена и ожидали первенца).

Ирка же, напротив, мужа не любила, хотя и испытывала к нему благодарность. Жили они, по поселковым меркам, неплохо. Снимали комнату у одинокой приветливой пенсионерки. Зарплату Егор получал исправно, жить на нее было можно. Но не зря среди ровесников Ирку звали Дыркиной и считали дурой.

Вскоре после родов она развязалась. Егор делал вид, что не замечает ее поздних задержек у «мамы» или «подруг», терпел отсутствие должной заботы, прощал не всегда сготовленный ужин, дырявые носки. Он мирился со многим, надеясь, что жена образумится, хотя однажды все-таки сорвался и дал ей пощечину, но и это не побудило ее задуматься. Ирка попросту вернулась домой и скинула маленького Сашу на свою мать. Тогда Егор забрал сынишку и окончательно расстался с теперь уже бывшей женой.

Ирка горю не предавалась. Она просто жила подобно евангельской птичке, не заботясь о завтрашнем дне.

В восемнадцать лет она снова чуть не вышла удачно замуж. Андрей, приехавший в гости к тетке из областного центра, был приятным серьезным парнем. Он только-только окончил институт, дядя его работал директором какого-то завода и обещал пристроить к себе.



К тому времени Ирка расцвела окончательно. Андрей же, как-то так получилось, учась в институте, даже не задумывался о женитьбе, а после, когда все вдруг разъехались по своим далям-весям, понял, что теперь каждый будет жить сам по себе. Внезапное одиночество тяготило, и Андрей впервые задумался о невесте. Ирка же сразу легла на сердце. Они уже договорились, что через неделю он заберет ее к себе (а Андрей производил впечатление очень серьезного, обязательного человека), и как резануло его, когда, провожая Ирку на третий день после их первой встречи домой, он заметил ее вульгарное, в подражание походке манекенщиц, вихляние бедрами. Может быть, влюбленный молодой человек заметил бы эту пошлую походку нескоро, когда стало бы уже окончательно поздно, но Андрей был умен и воспитан в нормальной семье, и проскакивавшие к тому же иногда с Иркиных уст матери преждевременно сняли с его глаз пелену шальной влюбленности. Утром он уехал домой.

А через два года сарафанное радио поселка взорвала сенсация: Ирка вышла замуж за иностранца. Пусть он был и не американцем, всего лишь арабом, но все равно полноценным гражданином дальнего зарубежья. И поселок с завистью судачил об Ирке Дыркиной, незаконно утянувшей чужой счастливый билет.

Находились, правда, и те, кто не понимал чужого везения.

– Ира, но ведь это же арабы, – говорили ей пожилые соседки и со значением восклицали: – мусульмане! Это же надо веру менять будет! Мы же русские! Разве можно веру предков предать?!

– Подумаешь... – урезонивала их счастливая Ирка, – какая разница, как верить? Бог для всех один. Это всё сами люди напридумывали.

– Так-то оно так, да все же не совсем так. Мусульманство – мусульманством, а Русь есть Русь. Бог нас любит, такую страну построить помог... нельзя так.

Ирка стояла на своем.

– Главное – в душе верить, остальное неважно.

– Ну, смотри сама, девахы... Дай-то Бог, дай-то Бог, – сочувственно кивали на прощание головами знакомые.

Ирка исчезла в загадочных восточных далях с новой жизнью и труднопроизносимой фамилией, но не исчезла из Интернет-пространства, благодаря которому поселок разглядывал некоторое время спустя фотографии бывшей землячки на экранах мониторов. Она теперь носила хиджаб, имела вид целомудренной мусульманки с голубыми глазами и не по-восточному тонким лицом.

Вскоре рядом с ней появился кареглазый мальчик, затем такая же девочка. По прошествии десяти лет Ирку-Фаризу любовно облепляли уже четверо жизнерадостно скалящих зубки деток – два мальчугана и две девочки. Типичные арабчата, только с более светлой кожей.

От ее матери соседки знали, что живут они там как в сказке, в которой все то ли задарма, то ли валится в руки с неба и работать почти совсем не надо. «Живут же люди!» – вздыхали поселковые женщины, а у нас тут пахать не будешь – ноги протянешь.

Фариза-Ирка появилась в поселке внезапно, аккуратно на первое мая, после проморосившего в полночь первого весеннего дождичка. Никакого хиджаба – такая же, как все поселковые молдухи: в туго обхватывающих спелые прелести джинсах и маечке. И хотя тело было уже не девичьим, но по-прежнему завлекательным – уже по-женски. И встречая ее на улицах родного поселка, мужики нагло задерживали на ее округлостях откровенные взгляды, не замечая ревнивого внимания собственных жен.

Ирка, тем не менее, старательно обходила всех стороной. Если с ней заговаривали, останавливались, отвечала на вопросы, а так ограничивалась обычным «привет-здрaсте».

На улице раздавался смех, светило солнышко, все цело и пело, а Ирка смотрела под ноги, как преждевременно распутившийся и поникший после внезапного снегопада ландыш.



Странное поведение Фаризы-Ирки вскоре разъяснилось: муж дал ей развод и взял в дом молоденькую молдаванку. И по своим арабским законам детей оставил себе, никакой возможности вернуть их не существовало. Видимо, прошедшие годы пробудили в повзрослевшей Ирке материнство, потому что было очевидно, что она очень страдает.

Ирка вела себя благопристойно и даже пришла однажды в храм. К ней тут же подбежала постоянная прихожанка баба Тася, ревностно приглядывавшая за порядком.

– Это православный храм. Нечего тут всяким ходить, – зашипела старушка и стала подталкивать Ирку к выходу.

– Да я... – попыталась объясниться Ирка.

– Знаем мы вас: то вашим, то нашим. Иди... иди подобра-поздорову, откуда пришла.

И всю обратную дорогу слышалось глотавшей слезы Ирке брошенное вслед ей бабушкой: «Коранистка!»

На следующий день Ирка отправилась к первому мужу, к тому времени перебравшемуся в соседний областной центр.

Приехала она поздним утром субботы, рассчитывая застать Егора дома. Нажимая кнопку звонка, сильно волновалась и боялась: а вдруг здесь уже живут другие люди. Дверь открылась, и Ирка впала в ступор, не в силах отвести взгляда от стоявшего перед ней мальчика – ее глаза, ее нос, овал лица и цвет волос. Она словно смотрела на саму себя в детстве. Это был Саша. Ирка почувствовала гордость: ее сын рос красивым и крепким мальчиком.

– Здравствуйте! Вам кого? – вывел ее из забытья звонкий голос Саши. И, не дожидаясь ответа, он крикнул кому-то в квартиру: – Мама! Тут какая-то тетя!

Ирка разом осунулась и поспешно встала:

– А папа дома?

– Он в футбол пошел играть.

Появившаяся в дверях приятная женщина, примерно ее же лет, отпрянула при виде Ирки, но тут же поспешила на лестничную площадку.

– Сынок, иди, иди. У меня с тетей важный разговор, – поспешно оттеснила она Сашу в дом, закрывая за собой дверь.

– Вы... Сашина... – голос ее дрогнул, – вы его... родили?

Ирка, проглатывая комок в горле, молча кивнула.

Женщина не отрывала глаз от Ирки.

– Вы очень похожи с Сашей. Я сразу догадалась.

Она облизала сухие губы и под влиянием какой-то внезапной мысли вздрогнула, выпрямилась, взглянула с вызовом.

– Зачем вы пришли?! Вы лишены родительских прав!

Ирка боялась разрыдаться и все так же безучастно кивнула с почти беззвучным шепотом:

– Я все понимаю. Мне бы только...

Женщина, поняв, что хотела сказать Ирка, немного остыла.

– Уходите, пожалуйста. Я вас очень прошу: уходите. Уже ничего не поправить, будет всем только хуже... и Саше особенно. Не делайте ему больно. Он мне... – женщина запнулась и твердо взглянула в глаза Ирке, – родной.

– Да, да, я уйду, я обязательно уйду. Мне бы только одним глазком еще раз глянуть на сы... на Сашу. Пожалуйста. Он ничего не узнает, я вам обещаю. Одним глазком, и все.

Так, украдкой, из коридора, как совершенно чужой человек, полюбовалась она на прощанье подошедшей на зов новой матери собственной кровинушкой, которую не имела теперь права окликнуть разрывавшим душу «сынок!»

– Простите меня, – не смогла сдержать слез Ирка, уже спускаясь по лестнице, – я сама ви... – и разрыдалась наконец.

Женщина догнала ее.

– Живите дальше, жизнь не заканчивается. А у Саши все будет хорошо, я вам обещаю. У вас есть еще дети?

– Четверо, – Ирка разрыдалась еще сильнее.

Новая мама Саши замерла.

– У вас что-то не так?



– Они... они... они у отца... за границей. Мне их не... не отдадут. У них такие за...

Женщина на мгновение приобняла Ирку.

– Подождите минуточку, я сейчас, – и убежала в квартиру.

Всю дорогу домой Ирка вынимала подаренную на прощание фотографию и сквозь подступавшие слезы любовалась мягко улыбавшимся ей родным сыном.

Ирка пыталась вернуть своих родных арабчат, писала в Москву, в Страсбург. А в ответ: «Вы находитесь под юрисдикцией другого государства... Обращайтесь в судебные органы своей страны...» – и все в том же

духе. Ехать же и судиться с мужем не было ни денег, ни смысла. Потеряв всякую надежду, Ирка впала в жесточайшую депрессию и – пошла гулять губерния. Через четыре года на Ирку особо уже не зарились. Она поседела, опустилась, трезвой ее не видели, а потом, позабытая всеми, умерла от рака то ли желудка, то ли кишечника.

Видимо, она отошла все же спокойно и внезапно. Нашли ее в одном из заброшенных мичуринских домиков на окраине поселка. Ирка будто спала, сидя за столом с протянутой к полупустой бутылке водки рукой.



Владимир МОНАХОВ

КОЛЛЕКЦИЯ ГРУСТЬ-БАНК. ЗАПИСКИ КОПЕЙКОВОГО КОЛЛЕКЦИОНЕРА



Одна копейка 1916 года.

22 сентября 2008 года нашёл на улице современную копейку. Постоял рядом: поднимать или не поднимать?

– Зачем она тебе? – спросил равнодушно Александр Кузьменков, с которым мы гуляли улицами Братска. Не просто гуляли, а, изрядно выпив, вышли на улицу глубоко дышать, дружить с листопадом, пиная тупыми носками ботинок опавшую листву. Было у нас в ту осень такое любимое творческое занятие для поднятия духа. А что ещё делать двум безработным журналистам...

– Да вроде бы незачем! А всё-таки жаль: хоть и малый, но финансовый ресурс, и к тому же орлом лежит. Значит, к удаче! – ответил оптимистично товарищу.

Со мной случались иногда приступы немотивированного оптимизма. Я это объяснял склонностью к написанию лозунгов и стихов, которыми время от времени тешил моих знакомых. Хотя читатели говорят, что лозунги и стихи у меня получались в тот период жизни мрачные.

Ещё постояли пару минут в нерешительной задумчивости.

– Будешь поднимать? – спросил я безработного коллегу, намекая на то, что ему нужнее.

– Да ну, – махнул он на моё предложение рукой и посмотрел как на безнадежного человека. – Куда и зачем она тебе?

– Не знаю, – многозначительно я ковырнул копейку ногой. Постоял, постоял, переминаясь с ноги на ногу, но все-таки поднял.

Несколько дней носил беленькую маленькую монетку в кармане – даже не на что копейку потратить. Грустно, что современная копейка опять ничего не стоит. Так же и со многими людьми: многие стоят посреди людского базара – никто не интересуется ценой!

Но с того самого дня начали со мной происходить странные, подававшие надежды события. Тогда я временно, как мне казалось, остался без работы. Деньги на жизнь, конечно, ещё были, но как-то очень быстро пропадали в местных магазинах. А мои банковские счета не пополнялись. И даже купленный однажды на удачу лотерейный билет моментального выигрыша ничего мне не принёс.

Так вот, с того самого дня, когда копеечка попалась мне на пути, я стал находить на улице другие деньги. Не бог весть какие суммы, но на пропитание хватало. Для меня это было не событие, поскольку я с детства отличался "финансовой находчивостью". Осенью 2008 года чаще других попадались мне, само собой разумеется, копейки. Оно и понятно: монета эта была вытеснена инфляцией из торгового оборота, и люди не брали её в магазинах в качестве сдачи, а если и брали, то тут же и выбрасывали. А я стал поднимать. Нет, не из возрастной жадности, а из бережливости и финансовой наивности, что копейка рубль бережёт, привитой еще с детства. Уже не берегла. Но тогда мне в этих копеечных посланиях, другой скажет – подачках, виделся путь выхода из личного кризиса, в который меня засасывало время безнадеги. Копеечки накапливались у меня в специально выделенной для них коробоч-



ке, куда я переместил все сохранившиеся в доме мелкие монеты советского периода. Я назвал её, согласно своему тогдашнему настроению, "Грусть-банк". Эти утратившие цену монеты не могли уже повлиять на моё материальное положение. Но коробочка между тем с каждым днём становилась всё тяжелее и тяжелее.

И вот однажды у себя во дворе я поднял старинную монету. Я не сразу понял, что это ведь монета была чёрной от времени и даже, пока я её не очистил от пыли времени, не читалась. Я внимательно огляделся по сторонам – не валяется ли ещё что-то историческое в нашем дворе? Увы, ничего не было, кроме листьев.

Я так разволновался, что сменил маршрут и вернулся домой. Отмыл, отчистил находку и стал рассматривать. Это была копейка 1916 года. Я полез в Интернет узнать, какую ценность она из себя представляет сегодня. Специалисты меня разочаровали. Среди коллекционеров она была широко известна, и её нумизматическая ценность не превышала 500 современных рублей. Но тем не менее я был рад находке и отвел для неё специальное место. Историю находки стал рассказывать всем своим знакомым, и люди поражались – откуда копейка 1916 года могла оказаться в моём дворе? Я сам терялся в догадках – не иначе как передо мной образовался провал времени. Хорошо, что мне выбросило только старую монету, а не утащило в начало XX века за собой – шутил я.

Когда хвалился этой удивительной старинной находкой, то находилось немало знакомых, которые тут же вспоминали свои взаимоотношения с мелкой монетой. Больше всего запомнилась история поэта из Москвы Андрея Чехоманова:

– У меня была копейка, которая мне "жизнь спасла". Наклонился за ней и не "успел" под машину, которую не видел на дороге. Копейку легко было узнать, т.к. одна сторона была во вмятинах от асфальта. Полгода проносил, потом пришлось отдать в магазине...

Напомню, кто забыл, что в романе Максима Горького "Мать" есть пронзительная

экономическая «история» с «болотной» копеей, раскрывшая стихийный бунт против фабриканта, распорядившегося вычестить «копейку» из зарплаты рабочих на осушение болота... Революция, по версии автора, разгорелась с копейки... Как когда-то в московской типографии начался мятеж из-за наборщиков, которые требовали платить за знаки препинания, как за слово... Большие и кровавые революции в России начинаются с мелочей...

Но самое важное произошло со мной через несколько дней после находки. Молодые люди открыли информационный городской сайт и позвали писать заметки. Сайт набирал обороты и теснил газеты. Сочинять заметки было моим ремеслом, и, хотя предложенные финансовые условия не были вдохновляющими, я не отказался. И по сей день там работаю, но уже главным редактором сайта. Кстати, с тех самых пор, как моя материальная жизнь стабилизировалась, я перестал находить деньги, и копейки в особенности. Они совсем куда-то исчезли из поля моего зрения. Последний раз современную копейку я видел в прошлом году, но даже поленился поднять и положить в свой заветный Грусть-банк, который и так полным-полнён хонек мелких монет. Конечно, в нём нет редких копеек времён Ивана Грозного и Екатерины Великой, которыми дорожат настоящие коллекционеры, но меня это не беспокоит.

Поэтому время от времени достаю коробочку с моими копейками и внимательно изучаю безымянных героев финансовой системы России, которые, как мне теперь кажется, вернули меня в экономическое пространство страны. Я собрал сотни монет прошлого и нынешнего веков. Копеек разных времен и народов. Самая старинная датирована 1916, а самая юная – 2007 годом. С точки зрения заядлых нумизматов, не бог весть какая коллекция. Но иногда мне кажется, что вот-вот эти монеты со мной заговорят. Мне греет душу мысль, что эти монеты зреют в цене и дождутся своего часа, чтобы предъявить городу и миру всю свою цен-



ность. Фотограф и поэт Евгений Рыбаченко, узнав по случаю о моей коллекции, подарил талисман.

И когда я показал свою копейку столетней давности коллекционеру Юрию Бордонскому с предложением поделиться с Музеем Света, то Юрий Валерьевич сказал, что не стоит торопиться. Такая копейка у Музея уже имеется, а вот «разорять» личный Грусть-банк не стоит... Кстати, в музее выставлен на всеобщее обозрение уникальный экспонат – 92 копейки мелочью за 1725 – 1727 годы, который вызывает у посетителей музея особый интерес, ведь эти 92 копейки меди на платах тянут ни много ни мало аж на полтора килограмма... В таком виде в Российской империи того времени мелочь была в обращении... И я храню столетнюю копейку вместе с другими... По выходным я достаю коробочку, рассеиваю копейки по

столу, беру лупу и рассматриваю коллекцию. А попутно вспоминаю эту историю, которую вам рассказал. Не знаю, есть ли в ней что-то чудесное, но та первая копейка, найденная в ворохе осенних листьев, сильно поменяла мою текущую к старости жизнь... А недавно копейка опять дала о себе знать. В спёрбанке, где я осуществлял бытовую финансовую операцию, мне причиталась сдача. В её составе были четыре копейки.

– И дадите мелкую монетку? – съехидничал я.

– Обязательно, – невозмутимо ответила оператор и подала мне четыре копейки. Девушка аккуратно выложила передо мною новенькие блестящие крохотные монетки, которыми я, естественно, не побрезговал, а благодарно собрал и дома снова положил в свой Грусть-банк. Пусть растут проценты истории.

МОЙ ПИСЧИЙ ДУХ ЗА СЛОВОМ

...А что касается «информационного повода», поэзия никогда им не была и не будет. И слава Богу...

Из переписки Бориса Рыжего с Ларисой Миллер

1

Стихи в ленту новостей не попадают, потому что современное общество стихами почти не интересуется, а поэты устали доказывать себе самих себя. Это длится уже не одно десятилетие, и стало общеизвестным фактом. Написать стихи, попасть в журнал, опубликовать книжку – еще не значит выйти в свет, поэтому стихи теперь не объединяют, а скорее даже разлучают внутренних и внешних людей информационного общества. А если и заговорят о поэте, то зачастую по другому случаю: самоубийство, получение престижной премии, еще какой-нибудь скандал, но, увы, не по поводу стихов. У нас же случай именно такой, где не будет стихов, но будет, надеюсь, поэзия.

2

Современный поэт и активный мыслитель Вячеслав Куприянов (Москва) в своей работе «Всемирная отзывчивость авангарда» с гашной размашистостью, но вполне логично и, на мой взгляд, достоверно чётко уточнил для нас сложившееся современное состояние информационного пространства мира: «Если Ортега-и-Гассет заявлял о восстании масс, то сегодня следует говорить о падении элиты. Это связано с тем, что элита в своих отношениях с массами всё более ориентируется не на традиционную (книжную) культуру, а на массовую информацию. Таким образом элита превращается в информифию. Не потому, что она обладает некоей особо важной информацией, а потому что приватизирует и узурпирует средства массовой



3

информации. И все эти (или многие) более мелкие образования пытаются не отстать в строительстве мозаичной, дробной и довольно случайной картины мира. Но если, скажем, наркомафия вполне себе представляет смертельный вред от своего бизнеса, то информификация всегда делает высокомерно-важный вид в своей уверенности, что творит благо». Публичную справедливость этого наблюдения самостоятельно и независимо поддерживает другой дружественный мне поэт Юрий Беликов (Пермь). В своей статье «Поколение бронзовых капель» он уточнил нынешнее поле битвы культуры и бескультуры, категорично настаивая: «Это будет век ожесточённой схватки между Информацией и Поэзией. Вы скажете: как будто её раньше не было, поименованной схватки! Была. Но субъектами поединка выступали несколько иные персоналии. Например, в Средние века Информация ещё и под стол пешком не ходила – к Рыцарям Круглого стола. Условный бой... шёл, скорее, между другой Ин – Инквизицией – и Поэзией.

Во времена семинариста Джугашвили Информация уже подросла и даже утратила девственность: став Дезинформацией, конвоировала Поэзию во внутреннюю свою тюрьму. Поэзия сражалась с Дезинформацией несением креста, иногда сливающимся с церковным...»

На первый вполне просвещённый взгляд кажется, что невозможно оспорить эти справедливые утверждения двух поэтов, которые в публицистической форме отразили всю глубину трагедии нашей, с одной стороны, быстро-, а с другой стороны, – вялотекущей жизни, где поэзии отведена всего лишь тоненькая полоска горизонта, до которого добирается малая горсточка фанатиков и рыцарей слова: им для стихов достаточно неба, даже в решётку. И хотя был я поначалу искренне солидарен с этими высказываниями, но сегодня мне сложившаяся картина поэтичности мира не представляется столь драматичной, поэтому с помощью гипотез и допущений попытаемся всё же расставить всё по своим, ведомым мне местам.

Информация, как факт очевидный, зарождается и распространяется там, где в миру торжествует суета сует, где всеобщая склонность к перемене мест стремится за переменной времени, которое стало двигаться с нарастающей, неунимающейся быстротой. А поэзия не терпит и даже активно избегает площадной и уличной суеты и зачастую прячется по холодным углам, требуя тишины и покоя. А соприкасаются информация и поэзия лишь на границах, когда суета сует бытия пытается проникнуть в тишину и разрушить её, а тишина, вооружённая созерцательностью, защищается от этого враждебного проникновения. Давно известно, что поэзия никогда не стремилась в сторону информации и не пыталась завладеть ею или разрушить её. А коли обликом и становилась похожей на неё, то по ошибке неверного взгляда нашего. Почему? Да потому, что поэзия есть и базис, и первооснова, говоря современным языком, генофонд той самой информации, которая всем своим активным существованием пытается стереть поэзию с лица земного. Информация всего лишь надстройка. И её кажущееся стремление расправиться с поэзией – это необдуманный вечный бунт дьявола против Бога. А необдуманный потому, что, победив Бога, дьявол ликвидирует ВСЁ, в том числе и себя самого, поскольку Бог ЕСТЬ ВСЁ и отвечает за это всё, в том числе и за самого вечно бунтующего дьявола.

Так и поэзия никогда не противостояла ни Информации, ни её самой распространённой разновидности – Дезинформации, потому что, будучи первоосновой и генофондом Слова, не может вступать в борьбу со своим порождением. Но, как известно из истории человечества, вступают дети в борьбу со своими родителями: ссылают их с глаз долой, морят голодом и даже режут им горло.

И хотя сегодня тем немногим, кто всё ещё читает поэзию, кажется, что идёт смертельное противостояние, противопоставление информации и поэзии, в которой последняя, а по сути первая проигрывает, я осмелюсь



взять на себя ответственность, утверждая, что это не так. Проигрыш может казаться таковым на определенном участке пути, пространства или времени, но никогда в вечности, где базируется генофонд поэзии.

4

Вижу, как многих уже осеняет слабая догадка, что поэзия – это генофонд слова, поэзия – гены информации, первооснова бытия, а значит, информация без поэзии никогда не существовала и впредь не будет существовать, а тем более осуществляться. Почему же информацию и поэзию всё чаще и всё больше противопоставляют друг другу, не замечая этой простой и ясной закономерной последовательности? Только потому, что информация существует лишь в видимой надстройке бытия, где торжествует успех и коммерческий дух продажности, а поэзия – там, куда редкая душа может проникнуть, где деньги не играют никакой роли, где подлинные достижения способны оценить немногие. К тому же информация своей избыточностью подавляет поэзию, и в том числе тех, кто живёт поэтическим словом. Но поэзия своей внешней малозначительностью – только незаметно, почти невидимо – снабжает первооснову жизни, где поэт помимо своей воли выполняет функцию кристаллической решетки Бога. Поэтому попытки многих больших и особенно малозначительных поэтов доказать, что они в этом мире представляют только самих себя, – искреннее заблуждение творческих личностей. Поэты укрепляют генофонд Слова, которое всегда, при любом

состоянии информации, остается вначале с Богом. Бог ничего им не диктует, как придумали поэты, – он просто с ними заодно.

5

И пусть современный поэт своим словом порой искажает действительность, но главное, он искажает её до узнаваемости нового бытия генетикой красоты. Это благодаря таким поэтам, внутри которых уживаются первослова, утверждает себя тишина звенящая. Есть поэты, вокруг которых бушует пустое словоизвержение информации: ковырнёшь – и уже на поверхности обнаружишь, что им нечего сказать, а потому в них не приживается звенящая тишина, без которой не бывает поэзии, а только распространяется информация. Только с помощью тишины дух живёт внутри поэта, и поэт мучается, мечется, чувствует себя неуютно в этом мире. И как только с помощью главного Слова поэт поселяет себя внутри духа, то всё в мире уравнивается, становится на свои места, торжествует гармония всеобщей силы – успокаивается и дух внутри поэта, и поэт крепко-накрепко приживается внутри всемирного духа. Недаром поэту очень часто завидуют. Но только один поэт знает, что живёт он судьбой скучной, малоинтересной и незначительной, и только Поэт ведаёт, что без него любая ритмичная попытка бытия осветить себя внутренним светом человека никогда не свершится, потому что там, где вначале Слово, его шепчет на ухо Богу всегда только Поэт.

СВЕТ ТЬМЫ ТЬМУЩЕЙ

Он жил своим умом.

Из эпитафии

1.

– Одни пишут о том, что видят, другие лишь о том, что знают! – любил повторять мой кол-

лега по журналистскому цеху Георгий Богдановский.

Сам ли он придумал этот афоризм или, как человек начитанный, подцепил у кого-то из



умных авторов, я так и не удосужился спросить. Но мне нравился этот постулат, благодаря которому я знал: дураки пишут, лишь когда видят всё вокруг, а умные берутся за перо, когда понимают суть происходящего изнутри. Дураки снаружи, мы – внутри. Но однажды моя самоуверенность была поколеблена. Я выпустил крохотную книжечку верлибров «Завещание пейзажа/ Правда лица», которая заканчивалась, как мне казалось, такими проникновенными строками:

КАК МНОГО ДЛЯ ЖИВЫХ ЗНАЧИТ СМЕРТЬ –
ТАК НИЧЕГО ДЛЯ МЕРТВЫХ НЕ ЗНАЧИТ ЖИЗНЬ.

Я гордился этой почти библейской, соперничающей с Екклесиастом формулой бытия небытия, и мои немногочисленные читатели с восторгом спотыкались об это двухстишие и несли своё восхищение автору, который знал, о чем пишет. Автор действительно думал, что знает, что проник в суть проблемы бытия небытия. Но однажды книжечку прочитал известный современный поэт Виталий Кальпиди и тоже споткнулся об эти строки. Но не восхитился, а выжурил меня в своём отклике: «Не пишите того, чего не знаете наверняка», – был категоричен поэт. Обвинение, что я пишу о том, чего не знаю, стало самым жестоким оскорблением для меня. А разве я не знаю? А откуда знает Кальпиди, что всё может быть не так, как увиделось мне? Дискуссии не получилось. Поэт не спорил – он бросил реплику и забыл. А я остался наедине с самим собой, и восторг первооткрывателя сменился на унижающее каждого пишущего сомнение.

2.

– Там что-нибудь есть? –
тревожился умирающий.
– Там что-нибудь осталось? –
поинтересовался у него
первый встречный на том свете.

Из дневника

Меня всегда смущала гробовая тишина того света, где прячется от живых всё про-

шрое мертвых. То подлинное прошлое, которое прожили наши предки, не жалкая взвесь истории, которую лучше всего окрестить вымыслом правды. Ощущая душой тишину того света, я всем сердцем возненавидел формулу равнодушных, считающих, что всё тайное становится явным. Разве это проблема бытия?! Явное становится тайным – вот ущерб просвещению, которым ничем нельзя восполнить. Все видели, все присутствовали, все участвовали – прошло каких-то пятьдесят лет, и в хрониках начинается бесстыдная путаница. Через тысячу, через пятьсот, даже через сто лет невозможно восстановить детали прошедшей жизни, а нам подсовывают лишь возможные варианты событий, с помощью которых предприимчивые шелкопеды сумели обеспечить себе вполне сносную жизнь.

А всё потому, что мертвые молчат! Их не интересует наша жизнь. Они прошли свой путь, который они боятся доверить ныне здравствующим по каким-то ведомым только им причинам, и мысль русского философа Николая Фёдорова, что когда-то воссоединятся и живые, и мертвые, выглядит как плод художественного воображения. Есть ощущение (молчи, поэт Кальпиди!), что мертвые воссоединятся с ныне здравствующими и теми, кто придет на их смену, только на том свете. И здесь проблема не только в неумении воскрешать (современные возможности генной инженерии уже подвели нас к практике, что теоретически возможно восстановить человеческую цепочку в обратном направлении) – этому устремлению сопротивляются сами мертвые. Как когда-то античные греки, зная о существовании отрицательных чисел и заподозрив, что исследования с ними могут привести науку к разрушительному состоянию бытия, запретили себе ими заниматься. Недаром Бог, о котором говорят и верующие, и атеисты, никогда не проявляет себя на этом свете, а только на том. И хотя мы убедили себя, что Бог разлит во всем здесь и сейчас, но как реально действующее лицо – Отец, Сын и Дух – он неотрывно находится за порогом смерти. Всегда в прошлом



и только в прошлом. Хотя для Бога, как считает Библия, мертвых нет. Но разве только для одного-единственного Бога?

3.

*Мы шли, не ведая преграды.
О горизонт споткнулся лишь слепой.*

Из дневника

Впервые я попал на кладбище в возрасте четырех лет. Хоронили моего отца Василия Тимофеевича, 26 лет от роду. Моя детская память не смогла запечатлеть и сохранить это событие, если бы не фотография: я прижался к заплаканной матери, стоящей у края могилы. Это было в 1959 году. С тех пор на кладбище я свез сначала маму, а следом за ней бабушку, двух самых дорогих для меня людей прошлого. И тогда я почувствовал, что нахожусь ближе всех к смерти. Нет, я не чувствовал её дыхания, она не заглядывала мне в глаза, но я впервые понял, что теперь меня у нее некому отпросить; не немногие, которые могли выйти вперед вместо меня, это сделали. И теперь за моей спиной уже прятались мои дети и внучка, даже не подозревая, какую борьбу ведёт их отец и дед. А я стал избегать мертвых, всячески уклоняясь от участия в похоронах. И когда я не хоронил знакомого мне человека, то продолжал жить с ощущением, что он где-то рядом, но не попадаете мне на глаза. Часто было так, что в случайных встречных видел черты тех, кто давно умер. Это происходило у меня со многими умершими людьми, в похоронах которых я не принимал участия, но никогда с теми, кого мне пришлось хоронить самому. Я никогда не встречал женщин с обликом мамы или бабушки.

– Ты ведешь себя вызывающе! – упрекала не раз жена, женщина терпеливая. – Если ты не ходишь на похороны, то кто же к тебе придёт?

– Тот, к кому я не приду, сделать для меня этого не сможет, – пытался я отшутиться. –

А те, кто крепок жизнью, любят провожать в последний путь.

– А что ты скажешь на том свете, когда встретишься со своими знакомыми, которых не проводил? Ведь они тебя об этом спросят.

– Господи, неужели нам не о чем будет поговорить? Может, они захотят послушать мои стихи, которые я написал после их кончины...

– Сомневаюсь, что их будут интересовать стихи человека, который уклонился от долга.

Но я не внял этим предупреждениям. И меня до сих пор не встретить на похоронах.

4.

*Разве свет на всех один.
а тьма у каждого своя?!*

Из дневника

Второе посещение кладбища я запомнил на всю жизнь. В родительский день меня туда повела бабушка Феня, у которой после смерти отца я жил. Повела на могилу своего батюшки Степана, погибшего в Великую Отечественную войну. Мой прадед не воевал, а попал под бомбежку, был тяжело ранен и скончался на руках у родных. Его похоронили недалеко от дома, на кладбище, где, кроме жесткой травы, что выбрасывали окрест колючие семена, ничего не росло. Да и могилы сохранялись с трудом: песчаные холмики, если их не укрепить досками или камнем, быстро рассыпались.

Мимо кладбища проходила дорога, по которой мы ездили в город на базар, по ней же и возвращались. Кладбище стало для меня привычным, непугающим. Мы даже частенько играли с пацанами среди могил. Но это днем, а ночью оно приобретало зловещий вид, и люди старались попасть домой засветло.

Не столько было страшно на самом деле, сколько от всевозможных баек и страшилок, которые детское воображение всегда редактировало в сторону жути.

В родительский же день на кладбище былолюдно. Жизнь освещалась солнцем, и от оби-



лия еды, выставленной у могил, на душе становилось празднично. Бабушка вела меня к какому-то только ей известному месту, за пригорок, где людей не было. Могилы здесь разрушены, кресты повалены, часто встречались кучи мусора. Но вот бабушка остановилась, отпустила мою руку и стала крутиться на одном месте и поисках могилы.

– Да где же она? Да что это такое? – бормотала она, перебегая от холмика к холмику. – Вот Фёдор, вот баба Матрёна, вот их сын Никола... А где ж ты, тату? – спрашивала кого-то неизвестного бабушка. – Что за наказание?

И вдруг бабушка упала на колени перед кучей полуистлевших венков и стала оттаскивать их в сторону. А под ними обнаружился маленький, почти сровнявшийся с землей холмик, и баба Феня, зарывав в полный голос, от чего я весь сжался, стала голыми руками нагребать со всех сторон песок к этому холмику. Она стонала, причитала, но продолжала стаскивать со всех сторон горячий песок. Я уже заметил, как за её руками тянулись тонкие струйки крови от ранищих пальцы повсюду разбросанных колючек. Но бабушка, словно не ощущала боли. Между стонами я слышал, как она молила прощение у своего отца, сообщала о матери моей, которая в двадцать три года стала вдовой, и что теперь она живет с внуком Вовой, а дочь опять вышла замуж...

Когда холмик подрос, бабушка на секунду остановилась передохнуть. И увидела меня, стоящего рядом. К своему изумлению, она обнаружила, что внук улыбается. Тут же ловким движением она дернула меня за руку, и я очутился рядом с ней на коленях.

– Гроби! – властно сказала бабушка.

– Это еще зачем? – попытался я сопротивляться.

– Гроби! – повторила она, но, увидев, что я не собираюсь этого делать, взяла за шкуру и ткнула лицом в горячий песок.

Я заплакал, попытался подняться и бежать, но жесткая рука бабушки Фени держала меня крепко.

И мне ничего не оставалось, как нагребать песок на могильный холмик. Вскоре я

почувствовал, как злая колючка впиалась в палец, и вскрикнул от боли. Баба Феня тут же взяла мою руку, освободила палец от колючки, отсосала появившуюся кровь.

Потом разложила припасенную для поминок еду. Это была уже другая, хорошая бабушка.

– Ешь! – протянула она мне большой кусок пирога.

Я с жадностью схватил его, лишь бы больше не нагребать этот проклятый песок. А бабушка протягивала мне то яичко, то колбаску, и я ел. Ел жадно, как будто в последний раз. А она говорила – о своей жизни, о жизни моей матери, рассказывала и обо мне. Потом прислушивалась к чему-то и согласно кивала: «Да, тату, ты прав! Спасибо тебе за совет». Я ел и видел перед собой ту самую лучшую бабушку, которая изредка целовала меня в лоб или по возвращении с базара протягивала красивый, большой, в виде коника, пряник. А когда меня кто-нибудь обижал на улице, бросала всё и вступалась за своего единственного внука. Я жил в жестком драчливом мире, где бабушка не раз полосовала меня лозой, но она же была и моей защитницей от любой угрозы извне. Когда шли с кладбища с пустыми котомками (что не съели, раздали нищим), я потянул бабушку за руку и спросил:

– Ты когда с дедом Степаном разговаривала, что он тебе сказал?

– Сказал, чтобы тебя берегла пуще ока!

– А почему я этого не услышал?

– А потому что ты его слушал.

– Но я же рядом сидел!

– Рядом – да не вместе! – ответила бабушка.

5.

*Как тесен этот свет,
Но тот еще теснее.
Одна опора в смерти –
Большинство!*

Из дневника

С тех пор я много раз бывал на кладбищах. Но почему-то только то давнее посещение



могилы прадеда Степана врезалось в мою память. Что-то важное, значительное произошло со мной в тот день, что понять мне предстояло на протяжении всей жизни. Сколько раз я бродил между могильных плит новых и забытых кладбищ! Сидел у могилы отца, затем плакал над памятником матери, оставался один на один с холмиком бабушки. Я внимательно слушал тот свет, но никогда до меня не доносилось ничего из запредельного мира.

И тогда я обиделся. Я обиделся на тот свет и решил больше не ходить вслед за покойниками. И стал себя прятать от того света, спасаясь, цепляясь за этот, где есть в избытке всё: воспоминания, мечты, радости, где есть прошлое, настоящее и будущее. Я убедил себя, что жизнь нам дана для того, чтобы мы могли мечтать о бессмертии. Декларировал в стихах: «Я – памятник себе: душа в заветной плоти!», «Переживу XX век!», «Я умру в глубокой старости!». И дразнил Бога. И вслед за Ницше повторял: «Бог умер!». А потом стал поддерживать и другую теорию: «Бог не жил!». Он только хочет родиться, поэтому утаскивает нас на тот свет, где воедино сливаются все человеческие души, а после смерти последнего человека родится Бог. Рождение Бога и будет тем самым Апокалипсисом, но мы его уже не увидим. Апокалипсис для того света.

Так я жил в состоянии богоборчества, пока однажды не получил странное послание. Восемь стихотворных строчек, которые я сам записал странным, непривычным для меня почерком: «Миленький мой сыночек, хотя ты меня не просил, всё равно я тебе помогаю из последних смертельных сил. И когда свой жизненный круг завершишь, то смерть не ругай, а сколько есть силы дочкам из небытия помогай!».

Я был несказанно удивлен сначала текстом, а затем почерком: моя рука пишет быстро, обрывисто, неряшливо, а тут был округлый женский почерк. И я бросился искать

письма мамы. Когда нашел, для меня уже не было тайной, чьё послание я держал в руках. Это говорила со мной мама в доступной для меня форме стиха. Не скажу, что я был потрясен, но я впервые понял, что тот свет заговорил со мною. Он решил наконец-то открыть мне простую истину, что всем своим прошлым помогает жить этому свету. Это для живущих смерть – непреодолимая преграда. А для мертвых, как говорили древние, жизнь и смерть – это одно и то же. Это единое состояние бытия с небытием. Мертвые, познав эту истину, боятся, что весь ход нашей жизни приведет к разрушению единства бытия и небытия: ведь одинаково не могут – этот свет без того и тот свет без этого. Вселенская катастрофа – утрата не только этого света, но и того тоже, поскольку они не могут жить и погибнуть в отдельности, а только вместе. Поэтому, когда мы думаем о современном этом мире, одновременно мы думаем и о современном том мире. Вопрос совершенно даже не в том, чтобы дать физические параметры того мира – это здравствующим не по силам, – но нам нужно четко держаться границ, которые нас разделяют и через которые мы можем (кто может) вести диалог двух миров, которые, как выяснилось, оба созидательны.

6.

Еще Декарт заметил, что поэты, не обремененные доказательствами, делают гораздо больше открытий, чем ученые, которые вынуждены всё время свои прозрения подтверждать опытами и наблюдениями. Мне давно кажется, что простые люди прозорливее многих ученых. Они задолго знают такие истины, которым лишь много лет спустя ученые находят объяснения, причем чаще всего – пытаясь опровергнуть заблуждения простых людей.

2006 – 2016
Братск



Сергей ОВЧИННИКОВ

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО

В 2004-м начинался обычный для меня писательский сентябрь. Воздух толстовской усадьбы был наполнен грибной сыростью, запахом влажной коры и остывающей воды большого пруда. Желтые и красные листья падали на чисто выметенные дорожки музея, два десятка писателей витийствовали под Веймутовой сосной на лужайке возле дома Толстого. Я стоял у ствола этого американского дерева, поглаживал его рукой, разглядывая приезжих. На стульях и скамьях перед микрофоном сидели близкие мне люди – Лев Александрович и Александра Николаевна Аннинские, Тимур Касымович Зульфикаров, Ирина Дмитриева-Ванн, Володя Карпов, Валентин Яковлевич Курбатов...

Много лет назад я познакомился с ними здесь, на писательских чтениях, с тех пор они стали необходимой частью моей жизни. Думалось в тот момент – какое же счастье, будучи литератором, жить рядом с Ясной Поляной, видеть здесь лучших мастеров профессии, внимать им, прорываясь сквозь них в большой писательский мир, большую литературу, большой стиль, большую жизнь.

Владимир Ильич Толстой, переехав сюда из Москвы в 1996 году, превратил яснополянский музей из немного скучного, бюрократического «учреждения культуры» в живое, искрящееся, вечно переменчивое творческое дело, едва ли не лучший литературный музей планеты.

Собственно говоря, Ясная Поляна – не музей. Это более сложное и большое явление русской жизни, в котором соединились уникальная творческая инициатива, традиции древнего аристократического рода, писательское наследие гениального Толстого, поразительная аутентичность усадьбы и дома (музейные вещи 19 века хранятся тут не в запасниках, а лежат на своих местах в комнатах), своеобразие самой деревни, более или менее сохраненные ландшафты

и люди, люди... Уникальные, поразительные, штучные. Софья Андреевна и Александра Львовна Толстые, Николай Павлович Пузин, Рита Александровна, Илья Владимирович, Никита Ильич, Владимир Ильич, Илья Ильич, Анна Никитична, Екатерина Александровна Толстые, а теперь и Ваня Толстой, после векового перерыва снова родившийся в Ясной Поляне, теперь студент ВГИКа, будто перенявший эстафету зеленой палочки от Льва Николаевича, Александры Львовны, от навсегда оставшегося семилетним ангела Ванечки, от Владимира Ильича... Выдержит ли ношу ответственности, которая давит, но и придает основательности? Ведь когда идет настоящий Толстой (настоящий, если с ношей любви, мысли, совести), трясется земля от тяжести шагов, нужно понимать это.

Тогда, в 2004-м, у Веймутовой сосны думалось ещё о том, что странно мало приходит на яснополянские чтения тульских писателей. Боятся, что Толстой их раздавит? Нет почета и уважения, к которому привыкли в Туле? Но в Ясной Поляне «воздавать почести» вообще не принято, здесь совершается духовная работа, мозговой штурм действительности, творческое общение, которые изначально демократичны и существуют вне рангов, бюрократической суеты, чиновных расшаркиваний. Почести воздаются после и в другом месте – обычно в Москве, где-нибудь в Большом театре, чтобы вручение литературной премии было общенациональным событием, а не только яснополянским.

– А, Сережа! – увидел меня тогда у сосны Тимур Касымович Зульфикаров. – Приезжай сегодня вечером к нам! Мы с Ирუსькой даем концерт в гостинице для своих...

Тимур Касымович для Ясной Поляны начала нынешнего века – знаковая фигура. Он стал одним из лауреатов Большой Яснополянской премии, получив ее по заслугам.



Его уникальный талант, совмещающий восточную орнаментальность и славянскую широту, очень своеобразен. Тимур Касымович – глубокий философ, обаятельный, искренний человек, один из аксакалов и саксаулов Толстовских писательских чтений наряду с Курбатовым, Кимом, Аннинским и Кураевым. Тимур Касымович из того времени, когда серьезная литература могла быть единственным занятием талантливого человека. Сейчас это почти невозможно. В советское время большая литература вполне кормила русского писателя, и потому в неё шли серьезные люди, которые теперь увлечены политикой, бизнесом, гедонизмом. Сейчас молодой Зульфикаров был бы вынужден писать сценарии для телесериалов, Аннинский – заниматься преподаванием, а Ким входил бы в совет директоров крупного корейско-российского предприятия.

Прошли те времена, когда писатель в России был главным духовным авторитетом, пророком, почти святым. Едва ли не последним избранным, наверное, был Распутин, а перед ним Шукшин и Астафьев, хотя у Виктора Петровича оказалось чересчур много светских грехов. И самый главный, проявившийся перед смертью, – охаивание своего народа. Впрочем, в начале века многим казалось, что с Россией и русскими покончено, страна сдавала одну позицию за другой, вокруг ширились разброд и шатание, трудно было не разочароваться, не пасть духом. Виктор Петрович разочаровался, нужно простить ему, ведь он был тогда уже совсем старым человеком.

Тимур Касымович тоже входит в когорту великих и любит примерять на себя тогу олимпийца. Как иногда говорила, смеясь, Рита Александровна, «для Тимура в литературе есть только он, и лишь затем Пушкин». С другой стороны, без осознания своей величины и значимости писателю не взяться за тяжелейшую ношу русской литературы.

Тимур Касымович на рубеже веков был влюблен в Ясную Поляну, подолгу жила в бывшем санатории, теперь графской гостинице, получая тут уютный номер. Он создал здесь многие свои, ставшие знаменитыми, тексты и песни. Некоторые из них удиви-

тельно и надолго останутся в сокровищнице русской литературы и русского романа. Теперь, приближаясь к своим 80-ти годам, Тимур больше времени проводит в Таджикистане, родные горы поддерживают и пестуют его, а Москва убивает. В последний раз на писательских чтениях Тимур был в 2014-м, затем только звонил, хотя место его на галерке чтений долго было не занято, я чувствовал это.

Тогда, в 2004-м, в зале для конференций на четвертом этаже гостиницы людей собралось много, стульев не хватало, некоторые рассаживались прямо на полу. Тимур и его певица, Ирина Ванн, готовились к выступлению в памятной для меня комнате 411, превратившейся на время в артистическую гримерку. Во время концерта в зале возле двери вдруг поставили ещё один стул для Риты Александровны, я тогда впервые увидел её.

Она вошла, опираясь на палочку, скромно уселась скраю. Ей уже исполнилось 73 года, но выглядела она цветущей женщиной лет шестидесяти: милое лицо, розовые щеки, светящиеся глаза. Вскоре я убедился – ещё и хорошая память, всеотзывчивый ум, юношеский интерес к жизни. Наверное, дело тут в особой генетике, но сказывались, конечно, и её поразительный оптимизм, творческий подход к жизни, постоянный контакт с молодежью, феноменальная стойкость и жизнелюбие. Русский человек часто падает духом, разочаровывается от жизненных трудностей, Рита Александровна удары судьбы сносит как стойкий оловянный солдатик, да ещё поддерживает других, интересуется их жизнью; когда сама оказывается на краю пропасти, держится за этот край одною рукой.

До 72 лет Рита Александровна работала в МГУ преподавателем русского как иностранного, учила немцев, англичан, французов, японцев, сирийцев, поляков нашему великому и могучему. Да не просто учила – на какое-то время олицетворяла для них Россию. Мне думается, трудно было найти для них лучшего представителя русского народа: обаятельная красавица глубочайшей культуры и доброты, породнившаяся с древней российской семьей, в числе многих составляющей гордость и славу нашего прошлого



и настоящего. По словам Риты Александровны, в семьдесят лет она «ещё бегала как девчонка», совершенно не постарела душой, а вот здоровье после 70-ти все же начало сдавать.

– Однажды в метро меня так ударили локтем в сердце, что я чуть не умерла, – рассказывала Рита Александровна. – Останавливалось дыхание, слезы текли по щекам, в тот момент я дала себе слово, что больше не буду работать. Когда же ушла из университета, мне стало ещё хуже: ослабела нога, упало зрение – это стало настоящей трагедией для меня...

К тому времени в Ясную Поляну, вслед за Владимиром Ильичом, из подмосковного Троицкого перебрался Илья Ильич, старший сын Риты Александровны. И она решилась на переезд вслед за сыновьями.

– Центр нашей семьи тогда окончательно переместился сюда, в Ясную Поляну, – констатировала Рита Александровна. И мне кажется, она не жалела об этом.

Ирина же и Тимур в тот вечер были блистательны. Ирина молода и красива, в концертном платье темно-синего цвета, с открытыми плечами, почти как дама в салоне мадам Шерер. Тимур – творчески сосредоточен и горяч на излете своей феноменальной молодости, которая продлилась до 75 лет. Они в тот вечер исполняли свои песни так, что Ирине поступило несколько серьезных предложений руки и сердца от иностранных писателей, а Тимур надолго, до концертов Олега Погудина, превратился в кумира тульских любителей романсов. Рита Александровна тоже была заинтересована Ириной и Тимуром. Объятая музыкой, светящаяся духом, она была так необычна и трогательна, что я глядел на неё чаще, чем на артистов, ещё не осознавая, насколько важно происходящее для меня. После концерта поспешил к ней спросить согласия на интервью для тульского альманаха.

На другой день, опасаясь, что Рита Александровна может забыть обещание, пришел к ней в достопамятный, легендарный теперь 311-й номер яснополянской гостиницы, достал блокнот. Рита Александровна держа-

лась настороженно, была закрытой и даже хмурой с неизвестным ей человеком, говорила о своей жизни скудно; на другое утро позвонила сказать, что надиктовала лишнего и просит ничего не публиковать. Слегка расстроившись, я отменил публикацию, и в следующий раз мы увиделись в ситуации, когда я выступал в качестве доктора. После, уже и не помню почему приехал – наверное потому, что Рита Александровна не выходила у меня из головы, очень уж была непохожа на многих, с кем я привык общаться.

Во-первых, она никогда не говорит о людях плохо, кроме самых исключительных случаев, но даже при этом избегает жестких и унижающих выражений.

Во-вторых, она старается больше давать человеку, нежели получать.

В-третьих, она говорит на прекрасном, сочном, безупречно правильном русском языке.

В-четвертых, она чувствует и мыслит изумительно точно, будучи настоящим камертоном душевного изящества.

В-пятых, у неё имеется поразительный талант неравнодушия, она переживает за каждого, кого любит, кто ей симпатичен. Не может спать, пока сыновья в дороге, каждую минуту ждет их звонка. Переживает из-за Ливии, Украины, Сирии, до глубокой ночи смотрит политические передачи, вникая в перипетии украинского и турецкого предательства. Расстраивается из-за семейных сложностей и здоровья своих «приемных детей» – яснополянских девушек и юношей, которых она по-матерински опекает.

В-шестых, седьмых, восьмых... Рита Александровна стала для меня настоящим откровением. Я оказался вовлечен в бурлящую вокруг неё жизнь, и это превратилось для меня в один из главных университетов. В её 311-м номере яснополянской гостиницы одиннадцать лет действовал едва ли не лучший музыкальный и литературный салон области. Здесь можно было встретить блистательную испанскую переводчицу Толстого и Цветаевой Сельму Ансьера, барда Лену Фролову, талантливую исполнительницу романсов Юлю Зиганшину, Тимура Зульфикарова, Ирину Дмитриеву-Ванн, Олега Погудина,



Виктора Лихоносова, Анатолия Кима, Карена Шахназарова и многих, многих других. Рита Александровна стала магнитом, который манил в Ясную Поляну десятки людей. Воплощение доброты, участия, неравнодушия, для меня Рита Александровна стала настоящим родным человеком.

Она не хотела моих публикаций о ней, не желала публичности, но я все же иногда расспрашивал её о прошлом, это казалось мне важным. Именно через жизнь талантливой, памятной, большой и радушной семьи Толстых я впервые познакомился с потомками русской аристократии. С юности чувствовал родство с теми, кто был изгнан из России в 1918–1921, мне было страшно жаль их, всегда думал о том русском исходе первой волны, как о чудовищной катастрофе. Ценил Набокова, Бунина, Цветаеву, Шмелёва, Ходасевича. Утрата многих аристократических родов для России – страшная, непоправимая ошибка революции, советской власти. В случае с одной из ветвей Толстых эту ошибку получилось исправить.

Толстые – вообще особый случай. Многие из них чрезвычайно талантливы и энергичны на протяжении нескольких поколений, это случается редко в утонченных и порой вырождающихся династиях. Не оставили детей или внуков Лермонтов, Бунин, Набоков (его сын умер бездетным), Гумилёв и Ахматова (у Льва Гумилёва не было детей). Бездетность – проклятие творческих личностей. Нет потомков у Чехова, Гоголя, Волошина, Булгакова, Мандельштама... Толстые в этом плане демонстрируют феноменальную жизненную силу, их генеалогическое древо так разрослось, что уследить за его ветвлениями можно лишь с карандашом в руке. Толстые сейчас – это целая «малая народность», по выражению Володи Карпова. Толстые живут в США, Италии, Франции, России, Англии, Швеции, Парагвае, их так много, что каждому, кто интересуется современными потомками литературного гения, приходится выбирать ту или другую ветвь громадной фамилии, потому что невозможно охватить необъятное. Мне интереснее потомки Ильи Львовича, второго сына Толстого, по впол-

не понятным причинам: они ближе других к России, растворены в ней, оказывают на её жизнь большое влияние, вернувшись на родину сразу после Второй мировой войны.

Илья Львович был одним из старших сыновей Льва Николаевича, которых он лично воспитывал и которые не стали противопоставлять себя гениальному отцу в последние годы его жизни. Младшими сыновьями Толстой занимался меньше (кроме Ванечки), душевной близости с Михаилом, Львом и Андреем у него не возникло. Илья – другое дело, тут показателен памятный разговор. Случился он, когда Илья, не окончив университета, влюбился в красавицу Софью Филосову, решил жениться. Однажды вечером Толстой зашел к Илье в комнату, стоя за ширмой, спросил: были у Ильи до Софьи какие-нибудь отношения с женщинами? Илья ответил отрицательно, и Лев Николаевич заплакал от радости. Плакал и двадцатидвухлетний (!) Илья. Какой из нынешних его сверстников может сказать такое отцу? Целомудренность в их отношениях была такой, что Лев Николаевич постеснялся говорить о любви с сыном, написал Илье письмо: «Цель ваша в жизни должна быть не радость женитьбы, а та, чтобы своей жизнью внести в мир больше любви и правды... Самая эгоистическая и гадкая жизнь есть жизнь двух людей, соединившихся для того, чтобы наслаждаться жизнью, и самое высокое призвание людей, живущих для того, чтобы служить Богу, внося добро в мир»... Это феноменально, поразительно! Возможен ли сейчас такой разговор между отцом и взрослым сыном? Почти невозможен. Именно поэтому Толстой велик, уникален и неповторим, его жизнь и творчество, при всех его заблуждениях, излучает мощный поток глубочайшего смысла, тепла и света. Одним из проводников этого света и тепла в последующую жизнь человечества стали потомки Ильи Львовича.

Вырастая, дети слегка или сильно удаляются от стареющего, «отстающего от жизни» отца. Так было со Львом и Андреем, которые принялись резко критиковать нравственное учение Льва Николаевича. Отдалилась Та-



тьяна, которой Толстой писал в 1885 году, что для нее «важнее уметь готовить суп и убирать свою комнату, чем удачно выйти замуж». Поначалу Татьяна старалась жить по принципам отца: стирала для себя, перешла на вегетарианский стол, помогала бедным. Ревновала отца к Маше, которую считала его любимицей, писала в своем дневнике, что та «подлизывается» к отцу и «...больше живет его жизнью, больше для него делает и более слепо верит в него, чем я...»

К Маше у Толстого было особое отношение. Она более других девочек внешне походила на Толстого, старалась всегда быть на его стороне, раньше Татьяны обратилась к вегетарианству, занималась физическим трудом и благотворительностью. Хотела стать учительницей и посвятить свою жизнь бедным. Толстой говорит в своем дневнике, что испытывает к Маше огромную нежность, она искупает всех остальных его детей. Когда Маша стала взрослой, от Софьи Андреевны именно к ней перешла почетная обязанность разбирать корреспонденцию Толстого, он диктовал ей письма и давал переписывать черновики. Прежде Софья Андреевна сама делала это в течение двадцати пяти лет, и потому она ревновала: «...Теперь он дает всё дочерям и от меня тщательно скрывает. Он убивает меня очень систематично и выживает из своей личной жизни, и это невыносимо больно... Мне хочется убить себя, бежать куда-нибудь, полюбить кого-нибудь...»; «...иногда мне хочется избавиться от Маши, и я думаю: “Что я ее держу, пусть идет за Бирюкова, и тогда я займу свое место при Левочке, буду ему переписывать, приводить в порядок его дела”»...

Андрей же и Лев, увы, в период кризиса последних месяцев жизни Толстого были готовы признать отца умалишенным... В этом, конечно, сквозит их обида. В отношениях Толстого к сыновьям имелся какой-то психологический комплекс: Лев Николаевич был довольно холоден с ними, в детстве почти не брал их на руки (за исключением Ванечки), говорил, что станет больше общаться с сыновьями, когда они вырастут. Когда же сыновья вырастали – проявлялись духовные противоречия. Одновременно Толстой был

очень душевно близок с дочерьми, любил посвящать их в свои философские взгляды, отчасти этим сильно осложнив их жизнь. Мария умерла молодой, Татьяна вышла замуж поздно за пожилого Сухотина, Александра вообще замуж не выходила, получив трагическую судьбу – заключение в ГУЛаге, побег из России, скитание по миру. Скорее всего, Лев Николаевич хотел от детей полного приятия своего мировоззрения, которое было для них слишком неординарным. Чтобы полностью усвоить, перенять настолько своеобразные взгляды, нужно духовно вырасти до таких же размеров, как сам Толстой, а это дано не каждому. Сыновья в любой семье поначалу противопоставляют себя отцу, желая обрести свою правду, а девочки более пластичны и покладисты. Ближе других к Толстому мог оказаться Ванечка – неотмирный, глубокий, абсолютно лишенный эгоизма, не по возрасту духовный ребенок. Но ему не суждено было прожить долго. По словам Толстого Ванечка был похож «на весеннюю ласточку, которая прилетела слишком рано и потому замерзла».

Глубина и масштабность личности Толстого так велики, что ему, наверное, было скучно с обычными людьми. Как большинство художников, он часто перемещался физически и духовно. С ранней молодости он переезжает – из Ясной Поляны в Казань, затем в Москву, на Кавказ, в Бухарест, Севастополь, в Европу, Ясную Поляну, Москву, Самару... Собственно, Толстой и умер в дороге, как странник, после Оптиной Пустыни направляясь на любимый Кавказ. Он рано развился в художника – в 23 года написал «Детство», – и сохранял поразительную художественную мощь до глубокой старости, в 75 лет создав гениального «Хаджи-Мурата». Такое творческое долголетие под силу лишь избранным. Художественный талант его был так велик, что даже религиозные и нравственные самоограничения не смогли победить творческого инстинкта. Благодаря нравственным самоограничениям Толстой во второй половине жизни вырастил свою личность до небывалых масштабов, его можно сравнить в этом плане лишь с Махатмой



Ганди. С ранней молодости его обуревают абсолютно религиозное стремление усовершенствовать себя и мир, которое во второй половине жизни развилось в толстовство, в попытки создать собственную религию и философию. Личности такого масштаба, как Толстой, часто приходят к этому. Сегодня некоторые пытаются свести творчество и жизнь Толстого к психопатологии, но это ложный путь, потому что психопатология всегда приводит к деструкции личности, а у Толстого этого нет. Борясь с православием он феноменальным образом сохранял главные критерии Христианства – любовь к Богу и людям. Поэтому многие наши обвинения в адрес Толстого слишком обывательские, мелкие. Мы судим его с позиции философии, с женской и семейной точки зрения, оскорбляясь за Софью Андреевну и детей («он был плохим семьянином, не занимался сыновьями, хотел оставить семью без средств к существованию»), но Толстой слишком велик и многогранен для того, чтобы кто-то из нас мог судить его.

Всё неспроста и не даром. Ясная Поляна – одно из важнейших мест для России. Здесь чудесным образом сохраняется многое из того, что мы бездумно потеряли за сто лет революций, войн и безбожных пятилеток. Много в жизни совершается вопреки человеческой воле, согласно Божьему промыслу. Лев Толстой одно время боролся с православием, но перед смертью поехал в Оптину Пустынь. Его нынешние потомки бывают на литургии в Никольском храме в Кочаках, возле которого стоят деревянные кресты Толстовского некрополя. Ясная Поляна по прежнему облучает нас мощью толстовского духа, красотой ландшафтов, исторической вовлеченностью. Люди снова и снова на время оставляют здесь суетное, поднимают взгляд к небу. Расстояние тут между настоящим и прошлым почти уничтожено, ты можешь по-прежнему тронуть диван, на котором родился Лев Николаевич, открыть книгу из его домашней библиотеки с рабочими пометками

на полях, увидеть деревья, которые застали Толстого...

Увы, люди менее долговечны. Уходят самые дорогие и любимые, спасают жизнь семья, любовь, дети, преемственность поколений – таинственная и глубокая вещь. Живя в Сербии, внук Льва Николаевича и дед нынешнего Владимира Ильича мечтал, чтобы его дети родились в Москве, а внуки – в Ясной Поляне. Удивительным образом так и случилось! Этой памятности поколений у Толстых нужно учиться. Многие из нас повергли в запустение, бросили на поругание свои родовые гнезда, не знают ничего о жизни прадедушек и прабабушек, выкинули на свалку вещи, мысли, заветы отцов и дедов. Толстые хранят память о членах рода в десяти-двенадцати поколениях, вовлекая в свой круг всё новых и новых людей... В этом есть мудрость.

Без связи с прошлым, без памяти, литературы, семейной и народной истории мы обречены снова и снова наступать на одни и те же грабли войны, бездумного насилия, тирании, сброса культуры, изгнания из страны лучших соотечественников... Перед нами снова много искушений. Телевизор, Интернет – новая культурная революция. На границах – новый железный занавес. Назревает новая волна эмиграции. Начинается новая мировая война. Такое впечатление, что миром и вправду, подтверждая мысль Толстого, управляют сумасшедшие...

Как в таких условиях созидать, не разрушая, удерживаясь от зла? Можно ли сейчас позволить себе быть добрым? Что такое добро и зло? Зависят ли они от того, кто дает им оценку, или это нечто неизменное? Меняются ли понятия о добре и зле в вечности?

Обо всем этом думали самые крупные представители человечества. Напомнить о главных истинах приходил Христос. Задумаемся об этом и мы, пока не поздно.

2015–2016



В этом году исполнилось 15 лет литературному журналу «Вертикаль. 21 век», издаваемому в Нижнем Новгороде, с которым альманах «Под часами», как говорится, подружился. Предлагаем вниманию читателей альманаха записки из дневника главного редактора журнала, который является автором антологии «Наше время» (потому его дневник и размещён в этом разделе альманаха), повествующие о трудном времени рождения и становления журнала «Вертикаль. 21 век».

Валерий СДОБНЯКОВ

ИСПИВ ИЗ ЧАШИ ГОРЬКОЙ...

2002 ГОД

1 января

«Вплотную» думал о третьем выпуске. Меня вдруг осенило, аж до сердечного беспокойства. Я представил книжку целиком. Сел за «Лестницу». Вновь перечитал, поправил (впрочем, совсем немного), и всё получилось. Всё встало на свои места. Вещь готова к публикации, и мне кажется, она здорово сыграет. Нужно её печатать в третьем выпуске, и тогда «Вертикаль» окончательно серьёзно заявит о себе — так, как мне и хотелось. Я доволен! Я очень доволен! Кажется, всё получилось!

2 января

Читал стихи, давно переданные для «Вертикали» Селезнёвым. Из большой подборки Андрея Прохорова можно отобрать несколько (впрочем, совсем необязательных) стихотворений. Рукопись Елены Карпишевой скучна. Это какая-то бесконечная игра слов, ни идеей, ни чувством не пронзённая. Оттого читающего никак не затрагивающая. Сердце к таким стихам остаётся равнодушным. То же и проза (короткие рассказы, или, лучше сказать — эпизоды). Всё это скучно.

Звонил Чугунов (уже вечером), согласился с моими поправками в макете (незначительными) и предложил некоторые свои. Завтра он должен приехать в город. Борис Селезнёв тоже позвонил и рассказал приятную новость: о. Игорь из Семёнова (Иудин — отец Ал. Иудина) прочитал «Вертикаль-2» и очень высоко о ней отозвался. О том, что говорит

в ней «на высоком уровне». Пересказал и неприятный разговор с Телешевой. В виде гонорара она требует двадцать штук «В-2» (из Сарова она получила один журнал и была довольна). Рукопись повести пока тоже не даёт (и слава Богу!). А я её и так не хочу ставить в сборник. Вот как Господь всё устроивает и расставляет по своим местам. Мне и отказывать не пришлось. Рассказал Борису о содержании (окончательном) третьего выпуска. Опять надавал ему заданий. Впрочем, он и со старыми ни с одним не справился. Жду от него готовых подборок и заметок — послесловий к этим публикациям. Ну и опять напомнил о материале для «Православного слова».

3 января

Начались пустые хлопоты. Отнёс Надежде Селезнёвой для Бориса рукописи, о которых вчера говорили, и две «В-2» (последние). Встретился с Жильцовым, но ни один интересующий меня вопрос с ним не выяснил. Отнёс на улицу Марата бумаги Чугунова, сделали поправки в макете. Однако мой очерк наборщице сосканировать так и не удалось. Думаю, может, и не удастся. Бесплезно прождал звонок Чугунова, и только в три позвонил Селезнёв. Времени для того, чтобы забрать из типографии тираж, было достаточно, и я поехал в университет. Тридцать минут ждал там Бориса и, не дождавись, уехал. Но только зашёл домой — он звонит, что едет ко мне. Выгрузили книги в коридор. Борис



рассказал новость — с чьих-то слов Бочкова сообщила, что Шамшуринов всячески ругает «Вертикаль». А про меня: «Да что он понимает в Православии!» Бог ему судья.

Позвонил Чугунов. Он ездил в типографию и вычитал свою работу. Завтра нужно подойти мне. Сканер вроде бы работает.

Сегодня приступил к статье о Солоухине для «Мастеров». Деньги за «В-2» в типографию пришли. Договор с ними на этот сборник (задним числом) я подписал. В двенадцатом часу позвонил Борис. «Бабушкин дом» ему очень понравился. Все послесловия он подготовил. Встречаемся завтра у Гофмана.

4 января

В братстве встретился с Вадимом (на ходу), показал ему «В-2». Договорились, что привезу на склад 350 экземпляров. Он опять меня не узнал. Зашёл в «Православное слово». Встретился и со Стариченковым (читает мою «Дорогу», и пока для газеты очерк не подходит), и с Жильцовым. Володя требует биографическую справку для Рождественских чтений. Сегодня понесёт проявлять плёнку со снимками Осипова.

На улице Марата «Путешествие к мечте...» сосканировали (узнал по телефону), поэтому пошёл туда. Попытался вычитать на месте, но правки слишком много. Забрал вёрстку домой. Взяв книги для Гофмана (30 штук), областной библиотеки (3 штуки) и Пашкова (1 штуку), поехал в город. В «Нижегородских новостях» встретил Жильцова. По этому случаю у Пашкова «засиделись». Пили вермут и водку. Оставил Пашкову «В-2». Он попросил и первый выпуск. Может, что-то и напишет. Очень заинтересовался информацией о финансировании нас «Продоптимой». Конечно же, ему никто не приносил информацию о нашем вечере в музее Горького. Всё нужно делать только самому, ни на кого не надеясь. Зашёл разговор о моём интервью для его студентки. У неё получилось что-то интересное, и он хочет где-то опубликовать. При мне звонил Димуров. Взаимно (через Жильцова) передали друг другу приветы. Володя сказал: «Он тебя знает». После зашёл к Гофману в собор.

У него исповедь. Когда началась служба — я ушёл. Лукавый всё в душе взбаламутил, обозлил за то, что Борис меня не дождался. А сколько он мог меня ждать? Не три же часа!

Вечером дома, с тяжёлой головой, вычитывал вёрстку. Мучился! Конечно, очерк надо сравнивать не с книгой (там он Высоцкими порядочно испохаблен), а с машинописным текстом. Но для этого нет ни сил, ни настроения.

5 января

Три часа ночи. Не спится. Встал — а думы всё о «Вертикали». Опять перелистал второй выпуск. Почитал о Распутине — не понравилось. Что-то скажут критики. Но третий выпуск получается стоящим. Я уже им «болею», во время сна всякие мысли одолевают. Вот и сейчас кое-что записал для «Послесловия». Думаю, материал почти готов, надо писать окончательный вариант. Господи, помоги мне! На Тебя уповаю, на Твоё вразумление!

Утром купил «Землю Нижегородскую». Гладышева напечатала заметку о «В-2» — опять ни о чём, и, думаю, не читая (почти) самого альманаха.

Отнёс вёрстку на улицу Марата и встретил там о. Владимира Чугунова. Посмотрел обложки для журнала и «Русских мальчиков». Очень понравились. Особенно для «Духовного сада».

30 штук «Вертикали» отвёз Гофману в собор. Самого его не было, оставил в его лавке с коротенькой запиской. Был в читальном зале библиотеки — и в декабре материал о вечере в музее не проходил.

Сегодня же написал «Послесловие» к третьему выпуску и трижды разговаривал с Борисом. И всякий раз разговор случался безрадостным. Похоже, что и книги я отвёз зря (Гофману) — продавать их он не может. Разве что для своих. Договорились, что, возможно, завтра Борис передаст мне остатки материалов для «В-3», которые сейчас находятся у него.

6 января

Целый день посвятил «Вертикали». Подписал книги Адрианову и Пашкову. После



этого опять переделывал «Послесловие» и затем перепечатал на машинке. Теперь по машинописному тексту осталось поправить, и эта заметка готова. В ней я объединил и «Послесловие» как таковое, и «Нашу хронику». Так компактнее и динамичнее. Хотя до конца сделанной работой я не удовлетворён. Завтра идём с Ириной к Донскому. Сегодня утром он опять звонил и приглашал.

7 января

У Донского. Он передал для «В-3» список своих стихов и копии автографов митрополита Николая и игумена Кирилла. Подарил нам по иконке и серебряному кольцу.

Дома прочитал стихи по списку, отобрал к публикации и обдумал, как это сделать. Всё-таки без какой-то заметки в виде послесловия (перед словами будут слова монахов) не обойтись.

8 января

Холод жуткий — температура минус тридцать. Отнёс «В-1» Пашкову. Встретил он меня по-доброму, ласково. Я рад, что между нами завязываются такие человеческие отношения.

Три «В-2» отнёс в областную библиотеку Румянцеву. Два экземпляра пообещал разместить в фондах. Зашёл в Союз писателей. Оставил сборник для Адрианова и один оставил Полине Николаевне.

Пашкову оставил информацию о Н.И. Бровкине. Может быть, напишет о «Продоптиме 7» заметку.

Борис Селезнёв попросил через Надежду 10 штук «В-2» для Телешевой. Мне он также передаст рукописи для альманаха (и те, что давал ему я, и подборки стихов). Некогда было перепечатывать. Ну как так можно относиться?! Не написана заметка и к московским стихам.

Гофман хочет, чтобы мы как-то отразили в альманахе выход его сборника стихов. Я отказался. Это очень мелко для концепции нашего издания.

Мне кажется, я перегорел. И нет раздражения от определённого безразличия Гофма-

на и Бориса к судьбе «Вертикали». Похоже, они преследуют (неосознанно, просто в силу представления об альманахе) свои и не совсем глубокие творческие цели. Я смирился, что всё нужно делать только самому. Тогда и результат лучше, и мне спокойнее. Надеяться на кого-то никак не получается. И не надо на них обижаться. Просто «Вертикаль» не имеет в их жизни такого значения, как в моей.

9 января

Утром отнёс 150 штук «В-2» в братство и 10 штук передал Надежде. Забрал у неё рукописи. Дозвонился до музея Горького (Людмила Владимировна). Оказывается, 10 штук «Вертикали» ей передал Гофман для реализации. Договорились встретиться завтра, оформить какие-то документы, а я привезу ещё и «Искушение». Звонил Чугунову. Говорили об издательских делах, о тираже журнала и так далее. За макет «Духовного сада» он заплатил 400 рублей. Надо будет и мне поговорить с этой девушкой о «Вертикали-3». В университете хотел выписать счёт на печатание «Вертикали-3», но оказалось, что они выписать не могут, какие-то изменения с НДС. Показали распечатку поступивших денег за декабрь. За «В-2» поступления нет. Нужно идти к Некрасову разбираться.

Дома весь вечер с удовольствием занимался «В-3». Вновь переделал содержание. А всему виной стихи Бориса. Сначала-то я прочитал дополнительно стихи Шороховой и его заметку к ним. Заметку пришлось значительно править, и вообще она мне пока не очень нравится. И уж совсем расстроили стихи Новосельской (г. Москва). С натяжкой отобрал половину из предложенного Селезнёвым. Очень много в стихах выдуманного, необязательного, искусственного — а это отталкивает, это фальшь.

Расстроил меня Борис и этой подборкой (её надо редактировать, править), и своим «Бедным тараканом». Эта аллегория никак не подходит. По замыслу мелка, по языку груба. Она не вписывается в интеллигентный настрой нашего издания. Всё это шаг назад, а значит, и напечатанным быть не может.



Подборка стихов самого Бориса (старые стихи) мне тоже не приглянулась к «Лестнице», как мною задумывалось ранее. Но вот зато четыре его новых стихотворения — это здорово! Ими будет открываться сборник. (Причём у меня два варианта — самостоятельно или «под одной крышей» с «Лестницей», но всё равно впереди неё). Как человек, пишущий такие стихи, может предлагать Новосельскую?.. Впрочем, Донского я ведь тоже печатаю. Но это компромисс другого рода, здесь нечто иное. К тому же благословение митрополита.

10 января

Без звонка зашёл в музей Горького к Людмиле Владимировне. Её не оказалось. Оставил три «Искушения» для неё. Нужно будет ещё раз звонить.

В «Нижновгортопе» забрал копию платёжного поручения за «В-2» для университета. А им нужно принести счёт-фактуру о выполнении работ. Позвонил Селезнёву. Попросил забрать у Телешевой остатки «В-1» и сказал о своём впечатлении от его новых стихов.

В университете отдал копию и забрал макет, плёнку, накладную и счёт-фактуру для «Гортопа». С типографией очень хорошие отношения.

Рождественские встречи (поэтические) а областной библиотеке. Вёл Шамшурин. Перед началом я мило поздоровался с Половинкиным. («Читаю ваш сборник. Он ко мне попал случайно. Почему вы не заходите? Я уже хотел звонить, спросить, в чём дело. Сборник мне дала Полина Николаевна»). Борис Селезнёв опять читал «моё» стихотворение. Калинина рассказала мне об успехах в Москве Шишкина. Шамшурин предоставил слово, чтобы я прочитал стихи (я отказался). После окончания вечера вновь с ним на прощание раскланялись, и он извинился за неловкость.

Я предложил Половинкину написать о деревне (он хорошо выступил), вспомнить детство. Вл. Вас. посетовал: не хватает времени — и предложил свой материал, который отдал в своё время Шамшурину — тот хотел

издавать альманах — в семь машинописных страниц. Я пообещал, что зайду, заберу его.

Володя Жильцов опять напомнил о справке для Рождественских чтений на автозаводе. Пообещал ему написать завтра. Фотографию с Осиповым напечатал, хочет использовать в газете и отдать мне.

Позабыл. Вчера опять звонила женщина из Оперного театра. Ответил, что стихотворение её печатать не будем, не профессионально.

Позвонил Чугунов. Как и Жильцов, сегодня целый день не мог меня найти. В типографии всё его печатают, но неполными тиражами. Я считаю, что это правильно. Договорились о возможной встрече в понедельник. Вечером вычитывал послесловие, писал справку для Жильцова.

11 января

Утром в братстве оставил справку для Жильцова. Когда шёл назад, у перехода из маршрутки ко мне выпрыгнул Володя. Вернулись с ним за фотографиями, где я с Осиповым (4 штуки). Одну он сосканировал для газеты, а я её попробую поместить в «Вертикаль».

Сходил на улицу Марата. Макет сделать можно, но в сроках нет уверенности. Да и вообще, много дополнительных условий. Надо опять разговаривать с Людмилой. Обрадовала меня Надежда Селезнёва. Расшифровка беседы Осипова в братстве сделана. Материал она нам даст. Если всё получится, то в «В-3» — фото и мой вопрос. Остальное послать Осипову на подпись и затем уже опубликовать. Дозвонился до музея. Людмила Владимировна больна, а взявший трубку сотрудник ничего не смог мне сказать по поводу моих книг «Искушение». О. Владимир (Чугунов) позвонил и сообщил, что в среду получит все три книги из типографии. Попросил написать рецензии в «Православное слово» и в «Землю нижегородскую». Я обещал. Хотя, может быть, и зря. Он опять заговорил о газете. Я сказал, что мы уже запоздали: «К Рождеству бы». Согласился со мной. Понимает он правильно. Газета — это реклама.

**12 января**

Позвонил Мезиновой. Сообщил, что поставил её вещь в 3-й выпуск. Предупредил, что мы безгонорарны и что ей на мой адрес нужно прислать биографическую справку. Встретился с Жильцовым. Вместе поехали на автозавод в православный центр на Рождественские чтения. Выступил там с коротким словом. Было много наших. Интересный музыкальный коллектив исполнил старинную европейскую музыку. А корреспондент(ка) предложила миникассету, если это нужно (с записью Осипова).

Вечером перепечатывал на машинке все материалы, которые для «Вертикали» дал в рукописи Борис, и своё предисловие к «Лестнице».

13 января

Опять занимался «Вертикалью». Перечитывал стихи, переставлял материалы. Вечером позвонил Пашков. Попросил завтра принести в редакцию свою фотографию. Для чего — так и не ответил.

14 января

Пашков в среду в «Нижегородских новостях» даёт моё интервью (я принёс две любительские фотографии — одну они выберут) и заметку о «Вертикали». Сборник ему не понравился: «Я его не понял, так что извините». Это меня огорчило, испортило настроение.

Надежда Селезнёва согласилась сверстать «В-3» (я ей позвонил с работы), но попозже. Нужно будет разговаривать о цене. Чугунов приедет в среду (я дозвонился и до него). Нужно к этому времени написать заметку о книгах для «Звонаря» — задуманной им газетки. Сам он что-то разболелся: «Еле дослужил службу. Сейчас лежу».

Вечером отнёс «В-2» в городскую библиотеку на площади Ленина. Две — в фонд и одну подписал директору Тамаре Ивановне. Почти ночью написал заметку для «Звонаря».

15 января

Опять звонок в музей безрезультатен. У Людмилы Владимировны выходной (по по-

недельник и вторник). К месту вспомнил и позвонил Никитину. С ремонтом он закончил. В новогодние праздники «дедморозил» в Москве. Сказал, что в этом году пить не будет вовсе...

После работы зашёл в церковную лавку и взял «Православное слово». Да, там и фотография, и ответ на мой вопрос Осипова, который можно будет использовать в «В-3». Но лучше бы послушать плёнку, взять материал из первоисточника. Вечером перепечатал на машинке материал для «Звонаря».

16 января

Утром купил «Нижегородские новости». Пашков на четвёртой странице газеты устроил мне бенефис: о «Вертикали» и обо мне — в колонке редактора, в рейтинговой статье, моё интервью плюс фотоснимок, рецензия на «Вертикали» с фотографией обложки «В-2». Но главное, в рецензии он очень точно подметил все мои задачи и устремления, мечтания, поиски. После позавчерашней реплики это для меня полная неожиданность. На душе праздник.

Оставшийся день с Чугуновым. Затем братство. На складе попросил более широко распространить «В-2» по точкам. Пообещали. В редакции Андрей согласился напечатать мою заметку о книге про Захарю. Надо писать. Володя Жильцов тоже прочитал «Нижегородские новости» (и уже звонил мне домой). Смирнова предложила плёнку, но я пока отказался. У меня нет диктофона для маленьких кассет. Затем ездили по городу и опять вернулись в типографию. Федотов вроде бы согласился напечатать газету за свой счёт.

Из типографии заехал к Пашкову, но он уже ушёл. Вспомнил — в областной библиотеке открытие выставки (художественной!) Альбины Гладышевой. Пока шёл из редакции на работу, во всех киосках «Печати» искал «Нижегородские новости». Тщетно. Как сквозь землю провалились. Хотел купить ещё пару экземпляров. С работы позвонил Борису Селезнёву. Рассказал ему о рецензии. Согласовал сокращения в его статье о Шороховой и



печатание его стихов не отдельно, а в блоке (как приложение) с «Лестницей». Опять попросил его поторопиться со статьёй в «Православное слово» о «В-2» и с фотографиями наших выступлений на автозаводе. Борис передал мне недовольство Гофмана: перед его именем не написано «священник». Я и сам с этим согласен, но всё-таки это замечание задело. «Я не собираюсь, как курьер, развозить макет для чтения». Ведь сам Гофман даже ни разу не поинтересовался, как идут дела, не внёс ни одного предложения по оформлению и по подготовке текста. На моё предложение принести рассказы так ничего и не принёс. Тексты я выбирал из книжки, принесённой Борисом (подаренной ему Гофманом, а не адресованной мне), и так далее. Мне кажется, здесь заговорила творческая ревность. Почти во всех статьях отмечалось, что идеологическое лидерство в сборнике принадлежит мне. По художественной концепции он был и остаётся моим. И дело здесь не во мне, а в концепции. Ибо у самого Гофмана её нет. Или она не так остра, энергична, эрудиционна и горяча, как у меня. А я чувствую в душе напор и беспокойство, я вижу, как нужно издавать эти сборники, чем их наполнять.

Вечером позвонил Чугунов. Не позабыл ли я, что завтра встречаемся на Большой Покровской по помещению. Конечно, забыл и уже договорился быть в это время в «Плесе». Очень нужно постараться везде успеть.

«Вертикаль» даёт мне возможность высказать свои взгляды на темы, которые традиционно в горьковской-нижегородской литературе не обсуждаются и не затрагиваются. Потому вне «Вертикали» мне напечататься и высказаться было невозможно. Писательская и журналистская среда слишком интеллектуально мелка и подобных задач перед собой не ставит — исторических, религиозных, критических. И вдруг местный автор начинает высказываться! Срабатывает элемент неожиданности, удивления. Мне кажется, что этими критериями и объясняется заинтересованность и доброе отношение грамотных, умных журналистов к альманаху.

Им приятно проявить собственный интеллект. Есть некоторая соревновательность со мной в статьях Мухиной, Митрофановой, и вот теперь Пашкова ощутила. Это прекрасно — ощущать немалый потенциал наших журналистов. Вот такое, почти ночное, дополнение к сегодняшним записям.

17 января

Встретились с о. Владимиром на Большой Покровской. Посмотрели помещение. Вполне сносно. Аренда 5 тысяч рублей в месяц. Затем проехали на Рождественскую. Здесь аренда 1500 рублей. Мне это помещение да и местоположение понравились больше.

18 января

Был в музее Горького у заведующей Л.В. Степановой. Она оформила акты на 10 штук «В-2» и на три штуки «Искушения». Пригласила на завтра на открытие выставки и предложила провести ряд творческих встреч. Их тематику и участников мне нужно определить. У Пашкова опять немного выпили, но поговорить не получилось. Он был уже тяжеловат. От Ал. Павл. прошёл в «Землю нижегородскую». В редакции, кроме уборщицы, уже никого не было. Оставил на столе у Гладышевой заметку о чугуновских изданиях. Сегодня я ей звонил и говорил, что принесу. Напоминал и о материале для «Вертикали».

19 января

С работы попытался дозвониться до Селезнёва. Вместо Бориса долго разговаривал с Надеждой. Относительно книжки «Старец Захария» она считает, что сделана она некачественно, ошибки. Но более всего не согласна с авторством Чугунова. Якобы там всё напечатано слово в слово из уже известной книжки. Надо бы проверить.

Был на открытии выставки (художественной) о Светлояре. Выступал автор. Говорил о космической энергии, об энергетике особых мест на Земле и так далее. От православия это в стороне. Опять говорили с зав. музеем о возможном моём выступлении (и Чугунова) в какие-то ближайшие выходные дни.



Чугунов звонил и интересовался делами в типографии. Опять у него (дельные) проекты по газете и журналу — распространять их через районные отделения связи.

20 января

Наконец-то позвонил Селезнёв. Говорили с ним о «В-3» (читал ему, как будет выглядеть окончание «Лестницы» с его стихами), о возможной поездке в Москву с «Вертикалью», о выступлении в музее Горького, о записи кассет для Чугунова (и для нас). Завтра Надежда должна для меня переписать Осипова (мой вопрос). Борис, как и я, ждёт «Вертикаль-3». Надо приступать к вёрстке незамедлительно. В Москву если везти, то все три книжки (со стихами московского автора).

21 января

Утром с Борисом Кучмазовым отнёс счёт-фактуру и «Вертикали» в «Нишновгор-топ». Затем на улице Марата встретил Чугунова. Он получил остатки «Старца Зосимы» и 100 штук (первые) «Духовного сада». Десять отдал мне для распространения. На встречу в музее он готов. Сроки мне нужно согласовать с директором. Пресса за Чугуновым. Вчера звонила Людмила. Она готова приступить к работе по вёрстке.

Сделал много необходимых звонков: попросил Надежду передать Жильцову моё пожелание, чтобы он поставил материал Бориса о «Вертикали» в этот номер «Православного слова»; Прилуцкая. Встречаемся завтра на радио; Митрофанова. Традиционно никто не берёт трубку.

22 января

По вёрстке вроде бы всё решилось. Договорились с Наташей из Полиграфленда. Материалы принесу в четверг. Ориентировочный срок изготовления — середина февраля. С Селезнёвой не получается — загружена работой.

С Володей Жильцовым разговаривал по телефону и затем встречался у Пашкова. Статью Бориса Селезнёва (которую тот ещё и не написал) о «Вертикали» в этот номер

«Православного слова», видимо, включить не получится — нет места. Предложил Володе написать самому для другого издания. «Да я думал уже, но совершенно нет времени». Выглядит он плоховато — словно после похмелья — и бледно. Видно, хлопоты о свадьбе дочери отнимают у него последние силы.

Хорошо встретились и поговорили с Прилуцкой. Подарил ей «В-2». Договорились сделать передачу на радио в конце февраля. Кассету с первой передачей о «Вертикали» она отдала мне. Она всё кручинится, что я не пишу прозу: «Вам дан художественный дар. Это не у каждого. А вы тратите столько сил и времени на альманах». Выпущу «В-3», а там посмотрим.

Звонок Чугунова. Оказывается, тираж «Духовного сада» — 2 тысячи экземпляров. Говорили о моём участии в этом издании, как и в газете, о написании рецензий, аренде помещения на ул. Рождественской и так далее. Я уже ничего не понимаю. А вести переговоры и договариваться о записи аудиокассет — это мне зачем?

23 января

Борис отдал в редакцию заметку о «В-2». Я забрал у него ещё одну фотографию (общую) с нашей встречи в православном центре. Ему же передал для переписи кассету с передачей, два экз. «Духовного сада» (один для Гофмана), пять «В-2». При Борисе звонил Чугунов. Сообщил ему о встрече 3 февраля в музее Горького (о чём по телефону сегодня договорился с директором музея). Он же просил завтра пойти в типографию и в макет газеты добавить, что он главный редактор, а я ответственный секретарь, и ещё ряд добавлений. Опять спрашивал о Никитине. Я пообещал завтра позвонить. Помещение на Рождественской, оказывается, уже сдали.

После я спросил у Бориса, что, возможно, у него ревнивые чувства (это о «Духовном саде» — моём участии в нём). Он не стал скрывать, что так оно и есть. Я и сам это сразу заметил. Пришлось повторить, что «Вертикаль» — это моя жизнь, цель в ней. Бросать альманах я не намерен. Потому что каждая



книжка создаётся так, чтобы я слышал её неповторимое и нефальшивое звучание. Потому я и отказываюсь от публикации каких-то вещей.

Расстались мы тепло. Встречи с Борисом всегда для меня радостны и светлы. Журнал Чугунова (из-за множества перепечаток) ему не понравился.

Сегодня же звонил Коломийцу. Сообщил, что кассета с передачей у меня. Оказывается, он в больнице начал писать прозу и просит меня её почитать. Любопытно.

24 января

Утром в братстве. «Вертикаль» на прилавке лежит. Андрей выдал гонорар и подарил книгу, выпущенную братским издательством, «Тоталитарные секты — угроза XXI века». Сказал, что материал о «Вертикали» в газете будет. Надежда передала подборку стихов Новосельской, которую вчера, по моей просьбе, Борис забирал редактировать. Впрочем, тронул он их чуть-чуть в двух местах.

На улице Марата посмотрел макет-газету. С работы позвонил Никитину. Ответили, что его нет. Мне показалось, что он «болеет известной болезнью». Зашёл к Пашкову. Забрал фотографии. Тот подарил мне книгу «Естественное и искусственное: борьба миров» В.А. Кутырёва. «Это ваш автор». Философ, доктор наук из нашей строительной академии. Опять предложил Пашкову написать для нас. «Ну, давайте сначала с Кутырёвым решим». На том и расстались.

Вечером домой звонит Никитин. Зовёт к себе: «Я так сильно болею». Взял водки, поехал. Просидели у него долго. Всё ругал мою публицистику и «Вертикаль», «Сезон». Но ругал всё больше из-за того, что далёк от сути предмета. Это они объединились в моём воспитании с Прилуцкой.

25 января

Позвонил Чугунову. Говорили долго. Опять он начинает возбуждаться, увлекаться сразу многими идеями. И всё это само по себе разумно, всё может быть жизненно. Но нужна стройность, а не хаос. Очень интересна

мысль (она в русле всего предыдущего издательского движения) о выпуске детских газеты и журнальчика. Звонком Николаеву, по просьбе Чугунова, пригласил его на встречу в музей Горького.

Позвонил Жильцов. Материал о «Вертикали» в номере стоит и с фотографией обложки, как я и просил.

Отправился на улицу Марата с материалами для вёрстки. Попробовали сосканировать. Получилось. Но полной уверенности пока нет. Слишком много своей работы. Окончательный ответ обещан на следующей неделе.

Вечером звонил Чугунов. Оказывается, он меня ждал на Марата. Видно, разошлись чуть-чуть. Опять настаивает на записи кассет. Завтра всё выясню.

Звонок Селезнёва. Вот и начались проблемы с Гофманом. Что-то плохо в вёрстке, кто-то что-то сказал по содержанию. (Борис намекал на Шамшурина. Так оно, наверное, и есть. Ведь он мне позвонил после разговора с Гофманом). Гофман недоволен, что он не участвует в обсуждении содержания до публикации. «Нужно обсудить два выпуска “Вертикали”». Предложено встретиться в воскресенье в соборе в Кремле. Я дал согласие. Самое горькое — опять непонятная, испуганная, размытая позиция Селезнёва. После предвыборного собрания в Союзе это уже второй раз.

Сегодня подписал «В-2» Чапраку. Нужно будет ему отнести.

26 января

Звонил по записи кассет владельцу студии. Он ставит условие договорного оформления своих авторских прав и получения гонорара от продажи тиража. Когда мне вечером позвонил Чугунов, я ему передал этот разговор. Он готов на эти условия. Договорились, что я дам (в понедельник) телефон для прямого контакта и обсуждения.

27 января

Встреча в соборе у Гофмана далась мне тяжело. Был готов с ними разругаться (Гоф-



ман, Селезнёв), но затем как-то успокоился и довольно спокойно их выслушал. Бесхребетность, несамостоятельность Бориса, изменчивость позиции меня всё больше и больше настораживают и разочаровывают. Главные претензии к «В-2» — обложка, много орфографических ошибок, плохой макет, много произведений одного автора. Слова Шамшурина: «Это провал. Надо спасать издание». Видно, он порядком накачал Гофмана, тот Селезнёва. Вот вокруг этого высказывания всё и вертелось. Борис заикнулся, что в братстве читают. Я: «Ругают?» Он: «Нет. Читает староста».

Сейчас, немного успокоившись, я вижу, что повода к разочарованию нет. Уходить из «Вертикали» тем более. Пусть уходят они, если им что-то не нравится. Отдавать «Вертикаль» не следует. Сколько уже всего в своей жизни я «раскрутил» и отдал.

Гофман передал деньги за проданные книжки — 450 рублей и 100 рублей пожертвования (давнее ещё, о чём я уже писал). Предложил три пачки отвезти в Дом бракосочетания. Там 6 февраля будет какое-то собрание, и должны книжки раскупить, чтобы потом устроить читательскую конференцию. Борис при мне продал «Вертикаль» женщине, которая за этим изданием уже второй раз приехала в сбор. Узнала из телевизионной передачи Гофмана. Оказывается, он о «Вертикали» говорил.

Обсудили содержание «В-3». Категорически убрать Донского. Тут мне только поддержка. У Гофмана две рукописи для «Вертикали». Взял читать Борис. В заключение сфотографировались в храме втроем, а потом заехали ко мне, и Борис забрал три пачки книжек. Но на душе всё-таки пасмурно и беспокойно. Гофман хочет договориться об обложке с кем-то из художников. Это бы хорошо.

28 января

Ночью как-то само решилось, что с Гофманом и Селезнёвым надо рвать. Предательство Бориса (отказался и от обложки, и от содержания «В-2», которые сам же хвалил, а вчера назвал «провалом») и амбиции на ли-

дерство Гофмана (при этом ничего не делая для выпуска альманаха) и их объединённая ревность к тому, что отмечают в «Вертикали» в основном мои работы («Альманах становится для одного автора» — слова Шамшурина, как они говорят) подводят меня к тому, что или мне исполнять их волю, или идти, как я и шёл до этого, своим путём, в одиночку. Показательная деталь. Оба ни словом не обмолвились об отзыве Пашкова и моём интервью в «Нижегородских новостях». А ведь это всё касалось только «Вертикали».

Что я теряю при разрыве: всё финансирование изыскивалось мной; организация набора и печатания тоже; контакты с прессой — я; реализация книг — доля Гофмана ничтожна. Всё основное делалось мной. Реализация этого тиража идёт уже без долгов, и они, ничего не делая, но состоя в редсовете, как бы имеют право говорить от имени «Вертикали». Это необходимо пресечь.

Почти весь день общался с Чугуновым. Совместно разработали макет «Деточки» — газеты для детей. Оставшиеся 4 пачки «Вертикали» (120 штук) и 5 штук одиночных о. Владимир взял выставить у себя в храме и на обмен в Нижнем Новгороде и в Москве. Заехали на завод, а потом — поиски помещения. Обещают у Речного вокзала однокомнатную квартиру. Затем братство, Смоленская церковь (пачка «Вертикали» поменяна). На ул.Марата снова встреча, но какая-то необязательная, бесплодная.

Оценка Чугуновым «В-2»: «Слабенький журнал. О Распутине и Астафьеве ведь никто не знает». (И он прав). Я: «Шамшурин назвал «В-2» провалом». О. Владимир (смутившись): «Ну почему...» Не согласился.

Сегодня впервые увидел свечной станок.

С Наташей по макету «В-3» не получается. Забрал папку с рукописями. Всё подводит к одному решению. Сегодня же предложил Чугунову, чтобы и «Вертикаль» была в как бы образумом медиа-ходдинге. Он согласился с воодушевлением. Ведь где-то нужно печатать и статьи светские, литературоведческие, полемические, вне церковной цензуры.

**29 января**

Собрался с духом и из рабочего кабинета позвонил Донскому. Сказал ему об отказе в публикации его стихов (что Селезнёв и Гофман против) и вкратце рассказал об изменениях в издании альманаха. Я думал, он сильно расстроится, но ничего, обошлось. Затем позвонил Жильцову и предложил подготовить подборку 15 (примерно) стихотворений для души к концу этой недели.

Вечером дома перепечатал (да и дописал) заметку для «Православного слова» о сектах. И тут позвонил Донской. Говорили долго и подробно. Он возмущён и, наверное, обижен лицемерием Бориса. Ведь он всегда в глаза хвалил стихи Михаила Ивановича. Донской по телефону же прочитал статью Селезнёва о «В-2». Мне понравилась. Она состоит из раздела о прозе Гофмана и общих рассуждений об альманахе. В рекламном плане она удачна.

Я сегодня и сам заходил в братство после обеда, но газеты ещё ни в лавке, ни на складе не было. О том, что в статье ничего не будет о моих работах, я предчувствовал. Всё это завистливо, мелочно и противно. Донской в конце разговора опять подтвердил, что в феврале 1000 рублей на альманах даст, если я его буду продолжать издавать.

Сегодня днём, когда приехал с работы и лёг в постель, чтобы отлежаться, пересилил простуду — позвонил Никитин. «Валера, мне плохо. Если через десять минут не приедешь, я повешусь». И положил трубку. Что это? Водка и ещё раз водка?

30 января

В братстве отдал заметку Андрею, стихи для возврата Селезнёву Надежде, на складе забрал газеты «Православное слово» с материалом о «Вертикали». С работы позвонил Половинкину — его статья в Союзе, но сегодня он едет на завод Сокол. Отложили встречу на завтра. Был у Прибутковской. Рассказал ей о Шамшурине и «Вертикали». Она посоветовала: «Составь заявку в фонд Сороса; найди познакомиться к новому начальнику департамента культуры; обратись через

«конттору» Кириенко к возможным авторам альманаха (для этого можно сделать с тобой интервью в их газетку).

Вечером звонок Селезнёва. Сказал ему, что расформировал «В-3», что я не буду принимать участия в работе. «Если ты устал, то тогда давай я буду формировать «В-3». Мы с Гофманом будем готовить». По телефону я не захотел говорить, что «Вертикаль» оставляю за собой. А может быть, не решился. Смалодушничал. Но выпустить мне надо первому, до них.

Тут же позвонил Людмиле. Договорились, что завтра я приеду к ней в фирму с рукописями. Будем говорить о возможной публикации книжки там.

Не выдержал и позвонил Борису. Сказал, что я буду выпускать «Вертикаль» один, а он может предложить свои материалы к публикации. Уговаривает меня «В-3» сделать в прежнем составе. Он боится ухода Гофмана. «Подумают, что церковь отвернулась от нас». Но это всё не принципиально. Если Чугунов даст согласие, поставлю в «Общественный совет» его. Если нет — выпущу без «совета». Главное — я предупредил, что «Вертикаль» буду выпускать. Правда, есть ещё один, более мягкий, выход из положения. Выпустить «В-3» и замолчать надолго. А потом уже тихо выпустить книжку одному без всякого редакционного совета.

31 января

На работе — записка позвонить в Литературный музей. Позвонил. Людмила Владимировна беспокоится о воскресенье. Успокоил её. Попросила, чтобы я вёл встречу с Чугуновым. Книжки вроде бы как-то продаются. Позвонила Прибутковская. Опять поговорили о шагах по раскрутке «Вертикали».

В обед пришёл в Союз, встретился с Половинкиным. Он тоже считает, что второй выпуск слабее. Но это понятные шаги поиска. Нет центральной прозаической вещи: «Хотя я понимаю, как трудно её найти». О содержании: «Рассказы Гофмана милые, но и только. Дорошко — стихи автора «Нашего современника» хороши, интересны, но не открытие.



О «Мастерах» — отошлите в «Наш современник», они ухватаются. Об Астафьеве, в той части, где вы пишете о заключительном периоде его творчества, хотелось бы поподробнее. Здесь я ваш единомышленник. Обретение России — есть противоречия. Я не очень понял эту вещь. Книги эти редко кто читал». — «Является ли это провалом, неудачей?» — «Ну нет, конечно!» Предложил ему войти в общественный совет альманаха (придумал, пока шёл в Союз), на что он тут же согласился.

Поговорив с Владимиром Васильевичем, решили, что мне стоит зайти с «Вертикалями» к директору областного департамента культуры Карпенко. (Вчера мы говорили об этом с Прибутковской). Думаю, в совет следует пригласить Жильцова, Чугунова, Половинкина.

«В-2» у Полины Николаевны Адрианов забрал.

У Людмилы на Черниговской. Макет будет делать она полностью на тех же условиях. Дал срок две недели — не испугалась. Оставил для набора полностью «Лестницу» и «Бабушкин дом», один экземпляр «В-2».

1 февраля

Утром перепечатал заметку для «Деточки» и отнёс на Марата. Посмотрел макет газетки и внёс значительные поправки. «Звонарь» не напечатан. С работы позвонил Коломийцу. Он прислал машину за магнитной плёнкой с радиопередачей. Созвонился с музеем и забрал у них оставшиеся книжки «В-1». Шесть штук они продали. В «Земле нижегородской» встретился с ответственным секретарём Воронцовой. О трёх книжках материал набран, и в скором времени его поставят.

Домой позвонил Жильцов. Пришёл и принёс свою подборку стихов. Сказал, что сегодня его назначили главным редактором «Православного слова». Предложил ему войти в общественный совет. Согласился, но выразил опасение, не возразят ли Селезнёв с Гофманом. Тогда рассказал ему суть дела. Попросил Володю, чтобы этот разговор остался между нами. Жильцов предложил включить в общественный совет Адрианова, для чего сходить к нему, посидеть (я, правда, опасас-

юсь капризности Юрия Андреевича). Ещё Володя может организовать встречу в обкоме КПРФ и отдать «Вертикали» в областной архив.

И почти ночной звонок Селезнёва. Переживает (говорит, что и Гофман), приду ли завтра. Сказал ему об очерке Половинкина. Предложил вернуть стихи в макет. У него плёнки с Осиповым переписаны. Значит, мой вопрос подготовим. Очень доволен моим согласием завтра быть. И всё-таки в конце: «Ну, ты, пожалуйста, приди»

2 февраля

Сидим наверху в соборе. Пьём чай. Вроде бы всё мирно. Говорим о перспективе «Вертикали». Но всё безвозвратно изменилось — и я это чувствую. Мир ложный. Я ощущаю их желание контроля над изданием. Селезнёв принёс кассету с Осиповым, опять стихи Шороховой и москвички. В конце встречи опять сфотографировались втроём. С Борисом зашли в «Крестьянку», выпили вермута. И тут всё выяснилось. Обида Гофмана, Селезнёва, Телешевой на то, что в интервью написано, что будто бы «я издаю «Вертикаль» с группой писателей». Почему не назвал их фамилии и так далее. И вообще, для издания они не меньше сделали, чем я. Придя домой, я перечитал интервью. Обвинение абсурдно. И в очередной раз повторяю, как всё это мелко, противно. Расстался с Борисом и поехал домой. Тут звонит Донской. Говорим долго всё о том же. И ещё, что в Сормове книжек «Старец Зосима» уже нет — раскупили. Рад за Чугунова. Затем дважды звонил Борис: «Я звоню, чтобы тебя услышать». И вообще, высказывает полную расположенность и любовь. Но я с собой уже ничего не могу поделать.

Звонит Чуянов. Волнуется насчёт завтрашнего. Успокаиваю его, а у самого нет уверенности. Но скоро звонит Чугунов, и всё встаёт на свои места. Завтра в Литературном музее он будет вовремя. В Москву съездил удачно. Всё поменял (в том числе и «Вертикаль»), но журнал и альманах брали неохотно. Там такого много. На Марата он заезжал в пятницу.



Макет детской газеты ему понравился, моя заметка тоже. «Звоняря», оказывается, напечатали, и он уже развёз его по каким-то храмам. Поговорили спокойно и с полным взаимопониманием. Решили издать вместе «Кольку» и «Деревеньку». Я перезвонил Чуянову, успокоил. Он начал говорить, как ему нравится «Духовный сад», и ещё какие-то местные новости. А мы, когда говорили с Чугуновым, решили, что альманах (светский) надо продолжать издавать именно для таких материалов, как у Чуянова.

Прослушал ответ мне Осипова. Да это целая статья, хоть и небольшая.

3 февраля

Литературный музей Горького. Выступление Чугунова. Встречу веду я. Выступили я, Чуянов, Валентин Николаев и Чугунов. Затем наш местный министр культуры Соболев Вячеслав Иванович. Проходила встреча в каминном зале. Было всё неплохо организовано. Говорилось о книгах «Русские мальчики», «Духовный сад», «Старец Зосима». Чугунов привёз и «Звоняря». После заехали к нам. Много говорили о предстоящей издательской работе.

Звонил Коломиец. Радиопередача ему понравилась. Попросил телефон Шамшурина, для того чтобы его стихи поместить в какой-то сборник, посвящённый Украине. Телефон я дал, а потом подумал, что ему Валерий Анатольевич «напоёт» про «Вертикаль». Но Коломиец мужик самостоятельный, не Гофман. Хотя... Предложил ему на машине съездить в Москву, походить по редакциям. Алексей Маркович согласился легко, без трудностей.

5 февраля

Утром с Чугуновым в братстве. Забрал на возврат три пачки «Вертикали» (90 штук) и отдал для реализации о. Владимиру. Ему же «Искушение» — для художницы. Чугунов уехал. А затем опять звонит, спрашивает телефон Николаева.

Позвонил Володя Жильцов. Просит написать рецензию на «Русских мальчиков» к завтрашнему дню. Пообещал. Оказывается, у

них в редакции опять изменения. Настоятель сказал, что главным редактором будет он, а Жильцов – выпускающим. Опять попросил Володю о «Пустынножителех». Сказал, что помнит.

Сел и сразу написал о книге Чугунова. Заметка получилась далеко не хвалебной и как-то вроде бы далековато от темы.

Поздний звонок Селезнёва. Поговорил с ним мало и скучно. Да и не о чем было говорить. Всё иссякло?

6 февраля

На работе перепечатали на компьютер заметку о «Русских мальчиках» и по факсу передал Жильцову. Зашёл к Пашкову. Отдал газету с его интервью с Кутырёвым. А он мне мои старые (и давно уже опубликованные) рукописи статей о Николаеве и Осипове. К Людмиле не успел. А она, оказывается, ждала. Позвонила мне домой и сказала, что «если бы сегодня принёс, то завтра было бы готово». Конечно, лукавит. Но всё равно завтра нужно ей как-то передать.

Стоял на трамвайной остановке и вдруг подумал: «Пропал азарт в работе над «Вертикалью». Всё они испортили своей мелочностью, ничтожным эгоизмом. Теперь и сами ничего не сделают, и мне дыхание перебили, как после удара «в поддых», в солнечное сплетение». Надо себя перебороть и, может быть, сделать так — подготовить макет «В-З» и отдать им, а самому переделать в другой сборник подходящие материалы («Лестница», Жильцов, Половинкин) и опубликовать его самостоятельно?

7 февраля

Отнёс Людмиле для макета очерк Половинкина и прежние стихи с добавлением Жильцова. Как же мне «развести» сложившуюся ситуацию, что придумать? «Вертикаль» или какое-то моё личное издание? Вечером сидел и придумывал название альманаху. Ничего подходящего в голову не приходит.

8 февраля

На работе позвонил в Литературный музей. Договорились о моём выступлении на



10 марта. Звонила Прибутковская. Попросил её подумать о названии альманаха.

Вечером был в гостях у Толика Барлита. Пришёл домой — звонит Чугунов. С помещением он пока не решил. Половину тиража «Деточки» развёз. Продиктовал мне названия для альманаха, но бумаги под рукой не было, и я ничего не записал и не запомнил. Опять он говорил о том, что «надо вкладываться» и «бросать мебель». Но во что «вкладываться»? Опять ничего конкретного.

9 февраля

Позвонила Прибутковская. Продиктовала свои варианты названий. Пока ничего не подходит. В Архангельском соборе встреча по «Вертикали». Ни о чём конкретном не договорились. Благие пожелания по реализации книжек через магазины. Но ведь этим кто-то должен заниматься. А кто?.. Борис сфотографировал меня на фоне собора. В отношениях полное отсутствие теплоты.

10 февраля

Перепечатывал ответ Алексея Ильича Осипова, который в пятницу с магнитофона переписал на бумагу (на работе). Вроде бы получилось интересно. Заезжал (за Галиной) Чугунов. Отдал деньги за 125 штук «В-2» (2500 рублей) и подтвердил, что книжку с нашими «детскими» вещами печатать будем. Художница над иллюстрациями работает.

12 февраля

Позвонил Жильцов, предложил принять участие в моей встрече в Литературном музее и получил принципиальное согласие. После обеда отправился в церковную лавку и взял «Православное слово». Обе заметки напечатаны хоть и по отдельности, но одним блоком.

Позвонил Донской. Он был в Печерском монастыре, приложился к чудотворной Почаинской иконе и встретился с игуменом Тихоном. Подарил ему для монастырской библиотеки моё «Искушение» и «В-2» с каким-то устным объяснением.

Позвонила Людмила. Она не успевает с макетом и потому отказывается от работы. Завтра встретимся и обсудим ситуацию. Может быть, что-то придумаем. Но вскоре Людмила перезвонила. Она договорилась с девочкой, которая ей сканировала, набрать текст, а Людмила выполнит всё остальное.

13 февраля

Позвонил Половинкину, Прибутковской, Коломийцу и предложил участвовать во встрече 10 марта. Все дали добро. Название я придумал вчера и, позвонив в музей, продиктовал Людмиле Владимировне: «Традиции русской классической литературы и духовные поиски наших современников». Встреча с писателем Валерием Сдобняковым. Во встрече принимают участие нижегородские писатели Владимир Половинкин, Владимир Жильцов, Нина Прибутковская, Алексей Коломиец.

Прибутковская посоветовала встретиться с Гориным Сергеем Николаевичем, директором городского департамента культуры. Это нужно будет сделать обязательно в ближайшее время.

Алексей Маркович хочет показать мне свою прозу. Пообещал ему зайти за рукописью. Вышел из проходной. Но на улице такая каша из воды и снега, что передумал и вернулся в офис. Перезвонил и сказал, что сегодня не могу. Вечером он звонил домой, спрашивал, не приходил ли я? (У него было совещание). Договорились на завтра.

С работы прошёл в Облпотребсоюз к Рыбакову. Оставил ему письмо и две «В-2». Он попросил ещё. Письмо Николай Петрович оставил у себя, сказал, что поможет. Позвонила Людмила. Работу над макетом переносим на завтра. Сегодня она занята в фирме.

14 февраля

Утром зашёл к Коломийцу, забрал его прозу и стихотворение, мне посвящённое и подписанное. Ал. Марк. попросил прочитать сразу при нём его рассказы. «Что мне с ними делать? Стоит ли продолжать?» При нём читать отказался, но как только пришёл на ра-



боту, рукопись открыл. И тут же почувствовал — удача, есть отличная вещь для моего нового сборника. Рассказы написаны о мальчишке Алике, о его эвакуационной жизни во время войны. Вещь эта автобиографична, написана просто, будто специально для детей. Пока читал — несколько раз прослезился. Рассказ же о том, как его бабушка на Украине окрестила, меня восхитил. Наверное, в художественном плане он слишком неровен, краток. Но есть в нём нечто очень искреннее, заставляющее сопереживать. Читая, мы начинаем вспоминать своё детство.

Позвонил Алексею Марковичу. Сказал ему, что мне очень понравилось, что вещь нужно печатать, и, если он мне доверяет, я её поставлю в новый сборник, который сейчас хочу издавать. Коломиец обрадовался. Я предложил ему продолжать писать эти рассказы, а я подготовлю к ним вступительную заметку.

Позвонил Федотов с приглашением. Сегодня в старом здании университета концерт Водопьянова. Я позвонил Гладышевой, напомнил о воспоминаниях о её деде для «Вертикали». Она к ним ещё не приступала. Думаю, и не приступит.

Уже домой позвонил Коломиец. Он написал вступление к рассказам и прочитал текст по телефону. Вроде бы получилось.

На концерт к Водопьянову не попал. Сначала поругался с Ириной, а затем, уже идя по Покровке, вспомнил, что там может быть и Владимир С. Зашёл в «Эгну» и сказал Марику, что дальше работать не буду.

15 февраля

Звонил: Чугунову — он болеет. В Москву не ездил, но в Дивеево побывал. Обменял там остатки «В-2» (90 штук). Часть они хотят продавать у себя, часть увезти в Москву. Селезнёву сообщил, что завтра быть на встрече в храме не смогу.

19 февраля

Вчера позвонила наборщица. Оказывается, она почти всё набрала. Условились о встрече сегодня. А утром позвонил Коломи-

ец, хочет как-то мне передать предисловие к своим рассказам. И тоже договорились о встрече.

Из машины опять слили бензин, поэтому на работу поехал «своим ходом». Оттуда дозвонился до наборщицы и до Алексея Марковича. Последнего попросил заехать ко мне на работу (звонил ему на квартиру в обед), что он и сделал. Поехали в «Волгагеологию», передал мне предисловие, монастырский альманах. Тут же по моей просьбе позвонил художникам насчёт иллюстраций к его рассказам и к «Кольке». (Я предложил их совместно издать одной книжкой, что Алексей Маркович поддержал). Разговор с Шамшуринным у Коломийца был. И понял Ал. Марк. всё правильно: «Он ревнует». Я рассказал о том, что начинаю свой сборник, что там хочу печатать его рассказы и что приглашаю его войти в общественный совет этого издания. «Почту за честь», — был ответ. Практически вся подготовительная работа по запуску нового самостоятельного издания завершена.

Звонил вчера поздно вечером Никитин. Приглашал на своё выступление в консерватории, где он будет читать Лермонтова «Песнь о купце Калашникове» в сопровождении оркестра. Оказывается, и Коломиец идёт. Дал он мне свою машину. И поехала я сначала к наборщице (она подготовила и дискету, и набор, и рукописи), предложил ей сотрудничать и в дальнейшем, потому что мне понравилась её работа. Потом — к своей машине. Шофёр Коломийца влил в неё два литра бензина (из запаса), и «ласточка моя» весело завелась.

Вечером читал и сверял набор. Всё готово для передачи редакционному совету. Пусть вычитывают.

20 февраля

Весь день с Чугуновым. Он приехал в 10 часов. Посмотрели помещение на улице Куйбышева, 12. Подвал, бывший магазин. В меру тепло и сухо, небольшая уборка необходима, но начинать работать можно сразу. Есть ещё один подвал на Совнаркомовской, 25. Около дома побывали, но само помеще-



ние не видели. Затем «Полиграфленд», братство Александра Невского. В редакции взяла для о. Владимира «Православное слово» с моей заметкой о «Русских мальчиках». За сегодняшний день он несколько раз спрашивал про газету.

В Смоленской церкви встретились с художницей (это после того, как там же отобедали, а затем и чаю напились в церковной лавке), посмотрели рисунки на детский молитвослов и на «Деточку». Договорились, что завтра к 12.00 она принесёт рисунки к «Деревеньке», «Кольке», «Голубышкам». Девочка совсем юная и немного странная.

Вечером поехали в консерваторию на выступление Никитина. Читал он хорошо. Оркестр Кузнецова великолепен. Слушалось на одном дыхании. И гордость брала за русскую культуру, буквально пронизанную духом и мировоззрением Православия. На выступлении был Коломиец с супругой. Вместе зашли в кабинет, где отдыхал Никитин, поблагодарили. Затем завёз Коломийцев домой. По дороге Ал. Марк. рассказал, что уже отвёз наши работы художнице, а сам вечером обдумывал план рассказа из детских воспоминаний о «своей финской войне», который я ему настоятельно рекомендовал написать. Раз начал обдумывать, то напишет, чему бы я был рад.

Позвонил Никитин, пригласил завтра на премьеру «Похождений Чичикова». Я наговорил ему хороших слов про его моноспектакль (и всё от души) и опять заговорил о записи кассет.

21 февраля

Вчера сделал исправления в наборе, а сегодня завёз все материалы наборщице, чтобы она поправила. Срок – сегодня-завтра. С работы позвонил Прилуцкой, рассказал о вчерашнем спектакле Никитина и предложил записать его на радио, с чем она не колеблясь согласилась. Радиопередачу со мной запишет недели через две. «В-2» ей понравилась больше.

Звонил Донскому. Договорились с ним встретиться в ближайшие дни. Он хочет от-

нести «В-2» в Благовещенский монастырь игумену Кириллу.

В Смоленской церкви встретились с художницей (был Чугунов и о. Сергей, которого я не видел несколько лет), посмотрели, что она приготовила. Для «Кольки» пока ничего не сделала. Да, наверное, у неё ничего и не получится — так мне показалось. О. Владимир думает так же. Она слишком молода, рисунки ученические.

Вечером с Ириной были в театре драмы. Спектакль мне показался затянутым и утомительным. У Никитина роль небольшая и даже непоклонная. В конце спектакля он чувствовал себя неловко, понимая незначительность этой роли — Плюшкина. Вечером Валерий Васильевич звонил, спрашивал о впечатлении. Я, как мне кажется, скуповато похвалил спектакль. Но передал ему наш разговор с Прилуцкой о записи на радио.

22 февраля

Звонил наборщице. Недовольна и раздражена. Обещает всё сделать за выходные, но у меня уже закрались сомнения.

Домой позвонил Фигарев. Поздравил с праздником. Сказал, что ему понравилась «В-2». Конечно же, это не искренне, а какая-то «политика». Предложил ему подготовить для сборника что-либо из прозы (сказы, воспоминания). Селезнёв позвонил, напомнил о завтрашнем дне, о встрече в соборе. Сказал ему, что набор сделан, но на руках у меня нет и что рукописи, им переданные (статья и рассказы), мне не понравились.

23 февраля

Около 13.00 звонок Селезнёва: «Валер, ты что, забыл?» Я и правда забыл. Вернее, почему-то подумал, что встреча завтра. Да-а, действительно что-то изменилось во мне по отношению к ним.

Коломиец позвонил поздравить с праздником и сообщил, что «военный рассказ» он написал. Во вторник машинистка его перепечатает.

Я поздравил Донского. (Для Михаила Ивановича это настоящий праздник. У него на



груди орден Славы). Он пригласил в гости. С сокращением в стихотворении «Пробудись, русский народ!» фамилий Чубайса и так далее (как я ему позавчера говорил по телефону) согласился.

Вечер провёл в гостях у Михаила Ивановича. Мне на издание он пожертвовал 1000 рублей. Конечно, напечататься ему очень хочется, и об этом он не раз говорил.

24 февраля

Утром возил Ирину и Наташу в парикмахерскую. Только пообедали — звонок Селезнёва. Оказывается, сегодня наша встреча во Дворце бракосочетания с каким-то там клубом нижегородцев-эстетов (так они себя видят, что, может быть, и верно — не знаю). Идти никуда не хочется, но что делать. Извинился перед Борисом за вчерашнее своё неприбытие. На самом деле — уж очень неловко. Оказывается, мы должны были посмотреть у художника наброски для обложки «Вертикали», и это очень расстроило Гофмана. Предварительно Борис назначил новый срок на вторник.

Позвонил Донской. Восхищён «Духовным садом», вчера мной подаренным, написал посвящение Чугунову, которое тут же мне и прочитал. В марте на это издание обещает дать тысячу рублей.

Встреча в «Гостиной» прошла хорошо. Был полный зал. Публика подготовленная, интеллигентная. Много говорили о стихах Гофмана, читали их, затем его рассказ, исполняли песню на его стихи и так далее. Некто Покровский (кажется) дал обстоятельный обзор «В-2», много говорил о моих работах, кое на что высказал свою особую точку зрения. В частности, уловив в моих работах тенденцию к почвенничеству, он сказал, что мы не должны отворачиваться от мировоззрения дворянства. Борис всё это записал на диктофон (хорошо бы это ещё раз прослушать). Затем говорила ведущая на ТВ «Свете тихий». Упрёки её в большом количестве моих материалов понятны. В остальном говорила хорошо и толково. Очень хвалила мою статью в «В-1».

На встрече познакомился с родственницей нашего известного краеведа, ныне покой-

ного, Смирнова. Его дочь, Смирнова Вера Дмитриевна, уже очень старый человек, написала много воспоминаний. Меня пригласили прийти и посмотреть их. Родственница — Миткина Ольга Викторовна. Живут вместе. Это очень важное знакомство, коим обязательно, и в ближайшее время, надо воспользоваться.

Гофман подарил свой сборник «Подземный переход». Стихи мне понравились.

25 февраля

Отнёс Иудину остаток долга — 1200 рублей. Его самого не было, оставил в бухгалтерии. Звонок по набору. Опять какие-то надуманные проблемы. Вроде бы договорились на тысячу за весь макет.

26 февраля

С работы звонил Никитину. Напомнил о встрече 10 марта в Литературном музее. Он мог бы что-нибудь прочитать.

На Ильинке встретился с Гофманом и Селезнёвым. Пошли в мастерскую к художнику Михаилу Семёновичу Раеву. Это полуподвал, заставлен холстами, всякими интересными штучками (колокольчиками, глиняными игрушками, старинной мебелью, на стене телефон, может быть, позапрошлого века и так далее). Пили чай, говорили об оформлении «Вертикали» и о новой обложке к альманаху. Я с Гофманом опять поспорил по поводу макета «В-2». Для них это какая-то «идея-фикс». Всё при молчаливом согласии Бориса. Это меня и обижает, и раздражает. Мне всё труднее и труднее с ними общаться. Так хочется уйти, хотя холодный расчёт говорит, что этого делать не следует. Да только когда я жил по расчёту? Сдерживать себя становится всё трудней и трудней. Какое было душевное тепло между мной и Борисом... И что от него осталось...

Раев подарил нам по своему маленькому офорту (цинкография). Михаил очень болен, ходит с трудом. Сквозь брюки различимы его тонкие, высохшие до кости, ноги. Показал нам циклы работ (та же техника) о Пушкине и «Слове о полку Игореве». Последние работы



потрясающе хороши, трагичны. Ничего подобного, что бы касалось иллюстрирования «Слова», я не видел.

На прощание фотографировались. Михаил Семёнович рассказал, что он и ещё один художник расписали Высоковскую церковь. Но владыка (покойный) Николай велел смыть роспись, а художникам ничего не заплатил.

27 февраля

Утром позвонил, а потом заехал к Коломийцу. Отдал ему для набора «Кольку» (машинописный текст), взял его «Алькину войну». Алексей Маркович уже встречался с художницей. У неё есть какие-то идеи по подготовке иллюстраций.

Пешком прошёл на завод и позвонил Иудину. Деньги ему передали, долг погашен. Опять же пешком пошёл по улице Минина. Встретил Гофмана (он меня окликнул) у иныза. Говорили о вчерашней встрече с художником, о «Вертикали».

В Союзе писателей поговорил с Половинкиным. Вл. Вас. рассказал о воскресной презентации альманаха «Холм поэтов». Покровский — один из идеологов этой «дворянской» тусовки — разделяет литературу на «дворянскую» и «крестьянскую». «Вертикаль» отнёс ко второй. Тут-то я и вспомнил его выступление на «Гостинной». Он разделил (как теперь я понимаю его слова) литературу на «для образованных» и «для крестьян» (быдла). Как он сказал: «Я думаю, ни Битова, ни Набокова мы здесь (в «Вертикали») не увидим».

Пошёл в Гордеевку. Встретился с художницей Юлей. Чугунов заходил передо мной и забрал рисунки для «Кольки». Но будут ещё. Думая застать о. Владимира, пошёл на Марата, но его там не оказалось. Он позвонил позже домой. Только что приехал из Москвы. Художница для меня сделала только один рисунок. Нужно срочно писать статью (рекламную) для второго номера «Звонаря».

Прочитал рассказы Коломийца. Впечатления свежего и неожиданного уже нет. Это настораживает. Но простота стиля, доступность рассказа должны быть востребованы детской аудиторией.

Позвонила наборщица. У неё всё готово — 107 страниц. Завтра нужно забрать и расплатиться.

28 февраля

Снег и дождь. Страшная слякоть. Ездил забирать макет и сильно промок. Затем с о. Владимиром отправился в Смоленскую церковь (пообедали) и в братство. Показал он мне два рисунка для «Кольки». Оба мне очень понравились. Из Москвы он привёз много книг. Мне подарил «Илиотропион» и «Грех и покаяние последних времён» архимандрита Лазаря. Чугунов получил на Марата уже два акафиста. Я ему пообещал завтра подготовить статью для «Звонаря».

Вечером он отвёз меня к Барлиту. Я должен был узнать о спонсорстве для «Вертикали». Вместо этого получилась долгая и тяжёлая пьянка с продолжениями в кафе и на остановке.

1 марта

О. Владимир подъехал к подъезду, гружёный под крышу. Я вышел, и мы сидели в машине, планировали нашу издательскую деятельность. Предварительно договорились в понедельник ехать в Москву на переговоры о совместной деятельности с редакторами книг. Я взял рукопись «Деревеньки» для набора на дискету. Сейчас мы полностью обговорили, как издавать детские книжки — и мою, и его отдельно, тиражом по 10 тысяч экземпляров.

Звонил Селезнёв. Разговор долгий по содержанию «Вертикали», по редакционной политике. Вся беда — отсутствие у него самостоятельного взгляда (о чём я ему сказал). Всё ему надо с кем-то советоваться. Кстати, Борис спросил меня о Литературном музее («Ходят слухи о твоей презентации в музее им. Горького»), и почему я не приглашаю их. Я как-то отговорился и объяснил, что это просто выступление. Фотоплёнку он проявил, завтра завезёт, а сам у меня заберёт черновой макет. Надо бы мне макет сегодня просмотреть ещё раз. Статью для «Звонаря» начну печатать уже завтра.



2 марта

Без меня Селезнёв завёз плёнку. Я сразу отнёс её в лабораторию и напечатал фотографии. Снимки получились удачными. Кто-то звонил из Союза (Фигарев?). Завтра в музее Добролюбова презентация книги Евгения Эрастова. Если не буду ремонтировать машину — обязательно схожу.

Вспомнился вчерашний разговор с Чугуновым. Он мечтает выпустить собрание сочинений Валентина Николаева, платить ему и Чуянову гонорары. Конечно, это благородно...

3 марта

Отогнал машину в ремонт (профилактический). Набрал номер телефона о. Владимира. Поездка в Москву завтра отменяется. Типография не напечатала достаточное количество книжек. Перезвонил Селезнёв. У него вопросы, как поставить своё авторство к стихам, которые идут вместе с «Лестницей». Я предложил свой вариант — со сноской в начале рассказа или любой, какой хочет он. Вроде бы остановились на моём предложении, а название послесловия поместить перед стихами Бориса. Не согласен он с повторами у Осипова. Но на это он будет спрашивать разрешения у Гофмана, которому передаст макет во вторник. Предложил вставить какой-то рассказ (2 странички) Гофмана. Я согласился не читая. Подборка же стихов Новосельской всё-таки слабенькая.

4 марта

Утром занёс заметку для «Звоняря-2» в типографию. Чугунов там уже был и уехал. По телефону разговаривал с Коломийцем. «Кольку» он отдал в набор только сегодня — наборщица в отпуске. Об оплате: «Это не ваша забота». Художница тоже работает. Сделала пять эскизов — правда, все к рассказам Коломийца. Напомнил Алексею Марковичу о встрече в музее десятого числа.

Опять ходил в типографию и вновь не застал о. Владимира. Он был, но уехал. В шестом часу звонок Галины: «Батюшка в Городце ремонтирует машину, просит тебя

съездить в типографию и забрать «Старца Зосиму». Опять пошёл на Марата. Долго пришлось ждать машину. (5 пачек «Зосимы» и 4 пачки наклеек). Федотов прочитал мой очерк в «Духовном саде» и сказал, что эти чувства созвучны ему. Всё привезли ко мне в коридор — до завтра. Позже позвонил о. Владимир. Завтра рано утром едем в Москву.

5, 6, 7 марта

5.03. Выехали из Нижнего. После обеда были в Москве, в Сретенском монастыре. Поменяли книги. Поехали в храм на Немецком кладбище, где похоронен старец Зосима. Оказалось, что храм там есть, но не православный. На само кладбище только зашли. Храм оказался (православный) недалеко, но и там ничего не решили. Поехали к его знакомым, которые живут тут же, у кладбища. У них и ночевали. С ними говорили (для чего я и ехал) о кредите и совместной деятельности. Тогда я и понял, что они на это не готовы (что в дальнейшем и подтвердилось). Опять батюшку несколько занесло со своим «Я-Я-Я». В этот же день были у монастыря, где сохраняются мощи блаженной Матроны. Но так получилось, что мне пришлось простоять у машины.

6.03. Утром в издательстве «Православное слово». Рано приехали. Отправились в издательство святителя Ставропольского Игнатия (в храме). Прождали до 10 часов. Никто не пришёл. В лавке продаётся «Светлое воскресенье» — наше. Поехали в «Православное слово». Обменяли книги. В храме у Немецкого кладбища продали часть книг. Пообедали в храмовой столовой (вкусно и много всего), а затем зашли и в сам храм. Старинный, начало XVIII века. Оттуда поехали в издательство «Благовест». Обменяли книги. Опять в Сретенский монастырь. (Там продавали «Вертикаль». На стендах уже нет. Но ещё стоит «Духовный сад»). И опять обмен. Машина набита под потолок. Выезжаем из Москвы и доезжаем до Николая (это почти у города Владимира). У него ночуем. Осматриваю с хозяином дом — большой и любопытно устроенный.



7.03. Перед отъездом Николай говорит о. Владимиру об их отказе от совместной деятельности («Духовник не благословил»). Заезжаем во Владимир, в епархиальное управление. От книг они отказываются. Владимир производит впечатление маленького захолустного городишки. С советских времён в облике города ничего не изменилось. Заезжаем в монастырь (Боголюбский). От книг тоже отказываются. Но храм огромен, устлан мрамором (пол — серым, солея — белым). Восстанавливается роспись. Одна икона Богородицы увешана золотыми и серебряными украшениями. Большой ковчег с частичками мощей. Кстати, в храме издательства Игнатия тоже реликвии (автографы Иоанна Кронштадтского, чётки старца Нектария Оптинского и так далее), а весь он увешан вновь написанными иконами — и стены, и иконостас — тоже новый, резной, из коричневого дерева.

Состояние дороги на всём протяжении — ужасающее. Как выдержала машина!

Сразу заехали в типографию. Посмотрели и поправили вёрстки газет («Деточки» и «Звонаря»). Батюшка переговорил — и положительно для нас с Никол. Никол. — по всем определённым нами в дороге вопросам.

В монастырском храме мы с батюшкой (по его инициативе) обговорили условия нашей совместной работы — символично и, думаю, не случайно, что всё так и в таком месте произошло.

Дома звонки: потерял меня Марик. Успокоил его, извинившись. Трижды звонил Чугунов. Завтра едем с ним в Арзамас. «Наш современник» готов печатать «Русских мальчиков» — пришло письмо.

Позвонил Борис Селезнёв, «просто так». Набор он отдал для чтения Гофману. Спросил я его о впечатлении о «В-3». Оно хорошее. Об Осипове повторил относительно редактур. Но послесловие ему понравилось, и он считает, что оно должно замыкать сборник. По всем вопросам главное и окончательное слово должно быть за редактором, «нельзя опускать вожжи». Я ответил, что послесловие для меня вопрос принципиальный, и оно в

альманахе будет, Осипов — это стенограмма, а не пересказ его выступления, а «вожжи ведь отпускаются и специально», мол, чтобы почувствовали, как без них. Это последнее Борису не понравилось. У меня создалось впечатление, что теперь он хочет создать коалицию против Гофмана. Разделяй и властвуй? А может быть, почувствовал мою отстранённость от альманаха, начался застой в его работе. Борис волнуется — какие замечания сделает Гофман.

8 марта

Одновременно — приехал Чугунов и позвонил Донской. Соединил их. Договорились о встрече. С книгами были в Гордеевке (Смоленская церковь), на автозаводе (Православный центр — ничего не взяли), в Гнилицах. К Донскому попали в 15.00. Он пересказал мне разговор с Селезнёвым. Слова Бориса: «Гофман предъявляет большие требования. Третий выпуск будет главным. Или работать вместе, или мы с Валерой». Если это верно, то Борис трусит и мечется, не зная, к кому выгоднее примкнуть.

В Гнилицах, когда настоятель вошёл в комнату, я не взял у него благословения. Сменялись у них на видеокассеты о батюшке Григории Долбунове и мироточивой (кровью) иконе из Оренбургской области. Просмотрел сегодня же. Впечатление очень сильное.

9 марта

Поздравил по телефону Прибутковскую с праздником. Она ответила, что помнит о завтрашнем выступлении в музее. Прежде чем ещё кому-то напомнить, сам позвонил в музей. Оказывается, встреча будет не моя, а группы писателей: «Директор сказала (Рыжова), как это Половинкин не главный выступающий, а среди приглашённых» и так далее. Новость в этическом плане неприятная. Вроде той, что нечего «с суконным рылом да в калашный ряд». Прямо хоть совсем не ходи на эту встречу. Но, боюсь, это будет расцениваемо как каприз и слабость. Да и людей приглашал я. Информацию о встрече в газетах и на радио (со слов Люд. Вас.) они дали.



Наконец дозвонился до Смирновых. Разговаривал и с Верой Дмитриевной, и с Ольгой Викторининой. Обе были взволнованы, суетились, передавали трубку друг другу. Вера Дмитриевна почти ничего не слышит. Договорились о встрече сегодня. Ольга Викторинина: «Я знаю, завтра у вас выступление в Литературном музее».

Вечер у Смирновых. Квартира большая, но запущенная. На стенах картины, фотографии. Хозяйка слепа и глуха. Ей 88 лет. Усадила меня в кресло за письменный стол, направила на меня свет настольной лампы — чтобы хоть как-то видеть. Показывала старые (позапрошлого века) фотографии, рассказывала о своих предках. Человек она удивительно жизнерадостный, общительный, остроловка и хохотушка. Говорит хорошо (доктор наук, зоолог, профессор), занимательно. Много вспоминала отца — краеведа, автора двух книг — Д.Н. Смирнова. Оказывается, у них бывает Юрий Изумрудов и даже печатает в альманахе г.Сергача отрывок её воспоминаний. Сейчас рукопись в типографии университета. Проговорили около четырёх часов, до 22.30.

Ольга Викторинина показала газету с объявлением о моей встрече в музее («Нижегородский рабочий»). Всё дано в моей редакции, но моя фамилия и Коломийца перевраны. И это работники Литературного музея. Оказывается, да, объявляли и по радио. Взял у них рукопись для прочтения (о чём даже написал расписку) «Дорога в университет, или Жизнь и любовь в эпоху ШУМПА», но из разговора мне показалось, что ни исторического, ни художественного, ни духовного успеха она иметь не будет. Чтение покажет. Но сам «дом» очень приятен — образованные, доброжелательные, интеллигентные люди. А воспоминания о быте прежнего Нижнего (сразу после революции) очень любопытны и занимательны. И повторюсь, как бодро, как жизнелюбива Вера Дмитриевна Смирнова. Оставил им «В-1». «В-2», видно, Ольга Викторинина приобрела на встрече в «Гостиной».

10 марта

Ещё вчера звонил Никитин, когда меня не было. Сегодня утром перезвонил. У него до 2-х часов репетиция. В музее опоздает. Хочет на встрече прочитать Шукшина.

В музей пошли с Ириной. Из зрителей — только три старушки да один мужчина. Остальные все свои. Первым выступил я, затем Половинкин, Прибутковская. Разговор был живой, заинтересованный. Никитин прочитал рассказ Шукшина «Как помирал старик» и стихотворения. Валерий Васильевич и говорил хорошо, вспомнил о детстве, юности.

Объявление в музее написано правильно, а в газету и на радио, оказывается, диктовали по телефону. Мои обвинения в адрес музея были несправедливы. Селезнёв на встречу не пришёл.

Позвонил Чугунов. Просит прицеп для развоза свечей. Решили с ним — я завтра поеду в «Нижеполиграф» договариваться о ценах на наши издания.

11 марта

Утром на заводе. Впечатление угнетающее. Запущенность. Оргтехника вывезена. Сколько раз я уже проходил всё это в своей жизни. И на сердце тоска, гнетёт. Поскорее ушёл прочь. Дозвонился до Коломийца. Оказывается, сегодня он уже пытался найти меня по телефону, чтобы извиниться — вчера не пришёл в музей. Какие-то там семейные обстоятельства. Отправился к нему пешком — слякоть, снег с дождём, а я без фуражки.

Алексей Маркович отдал дискету с набором «Кольки», магнитофонную кассету с радиопередачей, новую редакцию своих рассказов и мою рукопись «Кольки». При мне позвонил художнице. Завтра она к нему зайдёт и посмотрит, как образец, детскую книжку, которую я ему оставил.

На машине Коломийца доехал до «Нижеполиграфа», дал сведения для обчёта печати книжек, а затем доехал до дома.

В 12.00 на ул. Марата. Скачали мой текст с дискеты в компьютер для вёрстки. Я позвонил и узнал, что с середины февраля на



книгоиздание лицензирование отменено. Затем с Чугуновым – в братстве Александра Невского, Рождественской церкви, Смоленской церкви и опять «Полиграфленд». Для обложки своей книжки «Старый колодец» выбрал основную часть картины В.Д. Поленова «Московский дворик».

Предварительно — завтра решили с о.Владимиром опять ехать в Москву обменивать книги. Но вечером он позвонил, попросил обсчитать ещё один заказ в «Нижполиграфе». В Москву он едет с Галиной.

12 марта

Утром занёс рисунки для детских книжек в «Полиграфленд». Из «Эгны» позвонил в «Нижполиграф» и передал заказ Чугунова для обчёта. Позвонил Коломийцу и договорился встретиться по поводу макета моего нового сборника — компьютерщики у него есть.

Татьяна передала, что звонил Селезнёв. Я перезвонил. Борис зачитал письмо Гофмана, адресованное нам. Письмо уничтожающее. Заслуженно или нет, сказать не могу. Нужно посмотреть вёрстку с его пометками. Пересказывать письмо не буду. Борис сегодня вечером должен мне всё привезти. Я оставляю в архиве. Главная мысль — он снимает своё имя в редсовете.

Звонил хозяину «Продовольственной программы» передали.

Прочитал рукопись Веры Дмитриевны Смирновой «Дорога в университет, или Жизнь и любовь в эпоху ШУМПа». Для «Вертикали» не подойдёт. Она интересна автору – воспоминания юности и так далее. Состоит на восемьдесят процентов из писем к ней молодого человека. Есть любопытные детали времени, но и только (например, впечатления от звукового кино «Путёвка в жизнь» по сравнению с фильмами немыми — не в пользу первого).

Приехал Борис с вёрсткой. От надписей на её полях остаётся чувство, что Гофман их делал в глубокой обиде и раздражении. Очень мало конкретных замечаний, всё больше общие слова и ругань.

13 марта

Отвёз Коломийцу для чтения вёрстку, предложил поставить его «Алёшкину тайну» в конце книжки и обратить особое внимание на «Лестницу». Сказал относительно своих сомнений, касающихся этого рассказа. Алексей Маркович обещал всё прочитать за два вечера. Художница вчера не приходила.

Напомнил о себе звонком в «Землю нижегородскую». Гладышева сказала, что мои материалы отдала в секретариат.

На хладокомбинате ещё какая-то женщина читает мою книжку. Я разговаривал с ней. Над «Колькой» плакала. Опять попросил напомнить шефу о помощи «Вертикали».

Решил зайти в Кремле к Карпенко, но не нашёл его кабинета. Когда шёл по Кремлю вниз к улице Рождественской, подумал вот о чём (видимо, вид Архангельского собора к этому подтолкнул): «Если бы я обсуждал «В-2» с ними со всеми, то этот выпуск не вышел бы, как сейчас тормозится «Вертикаль-3». Видимо, нужно просто готовить и печатать эту книжку, а потом уже рассуждать о недостатках. Иначе дитя убивают, не дав родиться».

Звонил Никитину, но его дома не оказалось. Сходил в Смоленскую церковь. Художницы нет, как и рисунков. Прошёл на улицу Марата. Расставили в макете (в компьютере) рисунки по рассказам. Получается шестьдесят страниц. Полная готовность для вычитки в пятницу. Позвонил Юрию и Борису насчёт подготовки записи «Кольки». Вроде бы договорённость достигнута, но как-то неуверенно. Мне кажется, Юрий очень «тянуч» и неповоротлив. Сказал Селезнёву, что согласен с осиповским ответом, помещённым в «Православном слове» (я его сегодня прочитал) и что этот вариант надо ставить в альманах с указанием автора, подготовившего материал. Борис, по его словам, «ожил» после нашей вчерашней встречи. Жаль, что он так быстро ломается и, может, это прозвучит резковато, предаёт ради каких-то своих интересов. В нашей ситуации всё случилось лишь из-за него. Он от меня переметнулся к Гофману, теперь наоборот. Всё это не совсем хорошо.

**14 марта**

В Литературном музее вечер памяти Фёдора Сухова. Выступили: В.Половинкин, Ю.Изумрудов (как главный докладчик, но оказался неподготовленным, выступил неудачно), А.Познанский (как он постарел, но голос звучит, как и прежде), В.Шамшурин, Е.Эрастов (хорошо), А.Тюкаев (хорошо, эмоционально), Э.Бочкова, В.Карпенко, Елена Сухова (дочь). По окончании я переговорил с Виктором Фёдоровичем Карпенко (начальником областного управления культуры) об альманахе. Договорились завтра встретиться у него. Затем с Изумрудовым. Он уже разговаривал со Смирновыми и знает о моём к ним визите. Кузьмичёву подарил «В-1», и договорились с ним, что «В-2» я оставлю для него у Фигарева. Когда разговаривал с Прибутковской, подошёл улыбающийся Шамшурин с комплиментами относительно моей внешности.

Вернулись в Союз на фуршет. Я почти не пил (был «за рулём»), но перед этим поговорил с Эрастовым о его рассказах в «Вертикаль». Он согласен, но только за гонорар. Книжку рассказов он мне дал для выбора.

Домой, оказывается, звонил Коломиец. Перезвонил ему. Он предлагает встретиться, «нужно поговорить». Вёрстку он прочитал, и, судя по интонации, ничего хорошего в завтрашнем разговоре меня не ждёт. «В-2» отдал Людмиле Калининой, по её просьбе. Она рассказала про Шишкина. Из Москвы он возвращаться не собирается, будет цепляться всеми возможными способами. У него хорошая загрузка в Литинституте, и он стремительно обрастает литературными связями.

15 марта

Утром у Коломийца. Из-за меня откладывается начало совещания. Говорим о вёрстке. «Лестница» — понравилась, но нужно убрать стихи Бориса. Предисловие и послесловие — хорошо. Шорохова — в стихах очень много правки. Послесловие к стихам тоже не понравилось. Новосельская — лучше убрать. Авилова — снять. Этот материал ещё больше «размывает» сборник, а он и так не держит

в напряжении. «Вместо вертикали какая-то площадка». Жильцов — очень хорошо. Половинкин — хорошо. Послесловие — обязательно оставить.

Алексей Маркович всё вычитал и поправил. На сегодняшнюю ситуацию с «Вертикалью» он сочинил экспромт:

*Его просила жизнь сама —
И «Вертикаль» вы основали,
Но надо, чтоб его тома
Людей будили, волновали,
Чтоб в этих тяжких временах
Рекой духовной растекались!
Как надобно, чтоб альманах
Не отходил от вертикали!*

Вообще, я ожидал худшего (зная принципиальность Коломийца), и то, что в основе своей макет уцелел, меня радует и ободряет. К тому же неожиданно нашлась замена Авиловой (Мезиновой). Коломиец передал мне текст, о котором говорил раньше и который попросил вывести из компьютера — «Путеводитель доброй жизни» священника Иоанна Наумовича (издание 1901 года, сегодняшнее оформление — «Талан», 1997 г.). Тут же решили начать его (с некоторыми сокращениями) печатать в альманахе. Алексей Маркович подготовил текст — страниц на двадцать (вёрсточных). Сам я эту работу ещё только буду печатать.

Я в Кремле, в областном департаменте культуры и искусства (областного) у его начальника В.Ф.Карпенко. Передал ему «В-1» и «В-2». Встретил он альманах без энтузиазма. От веры он очень далёк. Хотя поговорили не торопясь. Через них часть тиража можно будет раздавать в библиотеки области. Сам Карпенко бывший военный, занимался армейскими клубами. Отсюда и интересы его в культуре соответствующие. Хотя мужик он не заносчивый.

Наташа в «Полиграфленде» подтвердила, что макет будет сегодня. Я пошёл пораньше. Кроме моего материала, набрана «Деревенька» Чугунова и напечатаны «Звонарь-2», «Деточка-2». Одну пачку «Звонаря» забрал с собой.



Вечер прошёл в телефонных переговорах. Дважды звонил Чугунов. В Москве всё сложилось удачно, подробнее расскажет потом. Я ему дал отчёт о своей работе. Договорились было о поездке в Арзамас, да потом вновь пришлось отложить. Чугунову нужно служить.

С Селезнёвым два разговора были долгими и бурными. Сначала он позвонил и рассказал о звонке Гофмана. Главное неприятие Гофмана в «Вертикали» — «Лестница» и «Послесловие». Очень болезненно Борис отреагировал на замечания Коломийца относительно стихов в альманахе. Опять предлагал материалы, которые мне не нравятся. Говорили об общественном совете, его составе. Наконец вроде бы всё решили оставить так, как есть. Почти два месяца убиты в бесполезной болтовне. И ведь суть проблемы — в амбиции и тщеславии. Альманах начал подниматься, набирать авторитет, и тут сразу всем захотелось погреться в лучах «его славы». А вот две пачки во Дворце бракосочетания («В-2») уже три недели забрать никто не может. Никому не хочется делать черновую работу. А ведь и на третий выпуск если я деньги не найду, то на Бориса надежды нет.

16 марта

Утром вычитал «Старый колодец». Звоню Донского. Он сочинил ответ Гофману и прочитал мне по телефону. Резко. Хочет поставить в свою девятую книжку. Приглашает на завтра — на блины.

Позвонил о. Владимир. Хочет посмотреть борский дом. Договорились на 14.00. Пока же вновь пересмотрел вёрстку «В-3». Отбрал материалы для своего сборника. Переписал для него же «Послесловие».

Встретились с Чугуновым. Осмотрели два этажа дома. Решили склад пока делать там. Он сказал, что у него очень много книг. В доме получился бы хороший офис и склад. Мне на следующей неделе надо бы открыть магазин в Доскине. Но как к этому подступить — не знаю. До этого все переговоры вёл о. Владимир.

17 марта

В Николо-Погосте и в Городце. Книжные хлопоты. Нагрузили обе наши машины книгами и перевезли их в мой дом на Бору. Книг много — более 75 наименований. Пока меня не было, звонил Донской, приглашал на блины. Расстроился, что не получилось.

18 марта

Вплотную занимался делами Николо-Погоста, многими вопросами. О них в дневнике писать не буду. Что касается «Вертикали», то около синагоги встретил Сашу Высоцкого. Он шёл в Союз и опять спросил, как посмотреть «В-2». У меня в папке был экземпляр, и я показал, сказав, что в Союз я «В-2» давал. А надо было Саше подарить. Теперь на совесть неспокойно. На фуршете в Союзе, после вечера Сухова, Саша мне сказал, что с Нового года не пьёт. Всё-таки позвонил Высоцкому, сказал, что приготовил для него оба выпуска.

Позвонил Селезнёв. Извинился за то, что не приехал в воскресенье — должен был забрать текст Осипова для подготовки к публикации. Плёнку «Кольки» у него Юрий забрал. Сначала всё прослушает. О Гофмане: «Без тебя у него ничего не получится». Это относительно моего отказа участвовать в расширенной редакционной коллегии из десяти человек. Конечно же, это всё нереально и абсурдно. Позвонил Юрий. Он прослушал кассету. Качество записи его не совсем устраивает. К тому же, сразу взяться за работу он не может из-за ряда причин. Боюсь, что это затянется очень надолго.

19 марта

Вновь работал с книгами. Утро началось с Бора. Без меня звонили из «Волгагеологии». Нужно забрать набор у секретаря. Какой — никак не могу вспомнить. Вечером позвонил Селезнёв. Он вывез из Дворца бракосочетания обе пачки «В-2». Конечно же, их реализацией никто там больше не занимался. Хочет привезти эти экземпляры ко мне. Если так, то я и их постараюсь переправить в Москву. Приезжал Чугунов, я попросил 9 экз. моего



«Искушения» отвезти в Городецкий музей. Он согласился и сразу забрал.

20 марта

Побывал в «Волгагеологии». Оказывается, Алексей Маркович оставил для меня стихи Павла Мешкова, геолога. (Мы в прошлый раз говорили об этом авторе. Его предложил Коломиец). И подготовленную часть работы священника Иоанна Наумовича «Путеводитель доброй жизни». Стихи, на первый взгляд, мне показались ученическими и дилетантскими. (Уж если те подборки Коломицу не нравились, то что же говорить про эту?). В работе же Наумовича он везде убрал слова «еврей» и «жид». Не знаю, вправе ли мы так редактировать уже изданную и известную работу. Думаю, что нет. Печатать в сокращённом виде или отрывки из неё — это дело другое. А так...

На Марата взял уже свёрстанный окончательно «Старый колодец». Как мне кажется, очень хорошо получилась обложка. Всё, книжка к печати готова. Ещё раз вечером заехал на улицу Марата. Попросил Федотова обсчитать мою книжку.

21 марта

В библиотеке перелистал «Нижегородскую правду» за январь — март. О «В-2» ничего нет, зато есть интервью Гофмана (от 2.03), где об альманахе не сказано ни слова.

На Бору с Чугуновым грузили мою машину для завтрашней поездки в Арзамас и Ардатов. Когда приехал домой, сразу позвонил Донскому и отправился к нему. Отвёз «Звонаря-2». Разговор у нас получился нудным. Опять М.И. ругал Гофмана и, по-моему, оправдывал Селезнёва. А я за всё случившееся в «Вертикали» всё больше возлагаю вину на него. Или мне сразу нужно было поступить более решительно и категорично — сразу готовить свой сборник.

Вернулся от Донского — записка, что звонили из радио. Набрал номер Прилуцкой. Передача должна выйти в эфир 6 апреля. Запись — 27 марта. В ней будут читать (кроме нашей беседы) «Нижегородскую отчину»

Адрианова (Никитин) и что-то из моих «вертикальных» работ (кто-то другой). Думаю, и беседа с Адриановым окажется там же. Замечательное соседство. Людмила Александровна что-то заикнулась о рассказах Гофмана. Надо бы попросить не записывать их для нашей беседы.

22 марта

Шесть утра. Стёкла машины в толстом слое инея. Но на улице уже тепло. Сегодняшний маршрут: г. Арзамас — г. Ардатов и обратно. В Ардатове у Резиных. О. Михаил важен и солиден. Храм поднял из руин. Из заводского цеха и кочегарки. У него большое хозяйство, много хлопот и у матушки. Сам городок — ужасное захолустье гоголевских времён. На центральной площади (лучше площадки с маленьким памятником Ленину) мерзость запустения, грязь и разбитость.

В Арзамасе пришлось дважды (туда и обратно, когда ехал из Ардатова) посещать кафедральный собор. И только на обратном пути застал старосту. Фигура колоритная. Высок, длинноволос (косичка), сед, с железными зубами, но по-детски доверчив и доброжелателен. Это из-за того, что священники его обижают, забирают деньги за требы, жалобу написали владыке (новому). Как только начинаются разговоры о церкви, то сразу всплывают деньги, интриги, стяжательство. А как же проповеди, обличения в грехах прихожан, а рука, которую приходится целовать после небрежного и ленивого благословения?.. Ох, искушение, искушение. Прости меня, Господи.

Звонили Смирновы (дочь и мать), у них есть материал о дореволюционном Городеце, предлагают. Пообещал приехать. Заодно верну «Дорогу в университет».

Вечер у Смирновых. Опять чай, множество всяких историй. Но на этот раз я всё-таки вывел разговор на интересующую меня тему. Дед Веры Дмитриевны был протоиереем, служил в храмах Нижнего Новгорода. Но её мать (дочь протоиерея) вроде бы была неверующей. Из рассказа я понял, что это было не совсем так. Хотя вера её была, по-видимому,



не глубока, если после перенесённых испытаний она обиделась на Бога. Подробно записать рассказ сейчас нет возможности. Но картинки быта (маленькую Веру учили старо-славянскому, для чего домой приглашали учителя) или рассказ о том, как она с матерью ходила в храмы (ходила и с отцом, но эта история отвратительна. К тому же случилась на пасхальной службе), и где эти храмы, теперь уничтоженные, находились — всё это очень интересно и поучительно.

23 марта

С о. Владимиром договорились, что завтра я еду в Спасское. Ирина поедет со мной. Устроим однодневную туристическую поездку. Молебен в музее у него в среду. Пришлось позвонить Прилуцкой и перенести запись на радио на пятницу. Второй раз подряд отказываться ехать в Городец неудобно. Да и книги мои там в продаже.

Прочитал, и не без удовольствия, рукопись Веры Дмитриевны Смирновой «Городецкие годы жизни Викторина Миткина». Конечно, рукопись носит информационный характер, художественных достоинств мало. Но «аромат истории», предреволюционных лет, быта и т.д. передан каким-то совершенно завораживающим и истинно культурным (того времени!) языком. Эту рукопись надо бы напечатать.

Приезжал Борис. Подарил свой поэтический буклет и предложил сделать такой же в «Вертикали». Я тут же составил и отдал ему проект. Борис привёз две пачки «В-2», газеты. Горит желанием продолжать работу, готов помогать. Вроде бы понимает, что всё держится на моём энтузиазме. С Гофманом они больше не разговаривали. Борис считает, что на о. Владимира как-то очень сильно (что за силы?) надавили. Он (Борис) перечитал «В-2», и ему выпуск очень понравился. Я поставил условия, чтобы к концу следующей недели подготовка «В-3» была завершена. Борис взялся читать Половинкина и Жильцова, готовить Осипова, «Бабушкин дом» для подписания у автора, «В-2» для передачи Митрофановой. За ним и под-

готовка буклета. Многовато. Борис опять настаивает сохранить вёрстку этого сборника с пометками Гофмана.

Вновь ездил грузиться на Бор книгами.

24 марта

Воскресенье. Ирина поехала со мной в Спасское. Там пришлось ждать окончания службы более двух часов. Оттуда в Бортсурманы. Здесь провели остаток дня. Осмотрели храм, где батюшка Алексей Бортсурманский воскресил девятилетнего мальчика, приложились к его мощам, посмотрели вещи, поднятые из его могилы во время обретения мощей, постояли у места прежней его могилки. (Вещи – остатки Евангелия, камилавки, нательный и наградной кресты, остатки облачения и так далее). Назад в Нижний ехал через Пильну, Сергач, Княгинино, Б. Мурашкино. Ирина очень устала, и я пожалел, что взял её с собой. Она мне очень помогла, да и в дороге одному было бы тоскливо (проехали более 450 километров). Но ведь я думал устроить прогулку с отдыхом, шашлыками и так далее. Вышло же всё иначе.

25 марта

Вечером звонил Пашков. Интересовался новостями. Я подтвердил, что к Пасхе выйдет «В-3», в чём сам, если честно, далеко не уверен. Селезнёв сообщил, что Надежда подготовила макет нашего буклета. Я предложил Борису всё довести до ума самому и поставить своё имя как ответственного за выпуск. Борис с удовольствием согласился.

27 марта

В Городецком музее о. Владимир служил молебен Феодоровской иконе Божией Матери. Народу много — целый зал на втором этаже. (Пока ехал в Городец, на дороге задавил маленького беленького зверька, решившего перебежать перед самой машиной. Я расстроился. Зверёк был необычным, низеньким, с короткими лапками и продолговатым туловищем. Это я успел заметить. В музее Маша повела меня «в лес» — в комнату с чучелами животных. Там я узнал погибшего



зверька — горноста́й. И от этого стало ещё горше. Зверёк редкий, их и так совсем немного в наших лесах). После молебна помазание, приложение к иконе и кресту. Затем поехали на место Фёдоровского монастыря, где в XIII веке скончался Александр Невский. Там произошла нечаянная встреча. Ко мне подошла бывшая моя однокурсница по институту (как давно это было!). Фамилию её и как зовут не помню. Сказала, что в последнем номере «Православного слова» видела мою статью. Завтра нужно будет проверить. (В Городец приехал автобус с паломниками из Нижнего — моя знакомая в их числе). Из Городца все отправились в Николо-Погост. Там опять молебен, перед иконой Богородицы, помазание, целование креста, а перед тем и крестный ход, на который я не пошёл, но при внесении иконы в храм её пронесли надо мной.

28 марта

Для Ивана Кирилловича Кузьмичёва занёс «В-2» в Союз. Позвонил ему домой, но он, как мне сказали, на Горьковских чтениях.

Селезнёв звонил сказать, что Авилова вёрстку подписала с текстом резолюции в моей редакции. Макет буклета им также окончательно свёрстан. В него он добавил текст, объясняющий название альманаха.

31 марта — 4 апреля

31 марта. Отъезд в Москву. В дороге, не доезжая 30 км до Владимира, сломалась машина. На ремонт ушло несколько часов. Ночевали у Николая после г. Владимира. 1 апреля. Утром в лавре. Приложились к мощам преподобного Сергия. Там же — в издательском отделе лавры. Затем оставляем Галину с детьми в Сергиевом Посаде, а с Чугуновым едем в Москву. Сретенский монастырь, братство Св. Апостола Иоанна Богослова. Храм у кольцевой дороги. Приложился к мощам блаженной Матроны. Ночевали в коттедже Вячеслава. 2 апреля. Издательство «Православное слово». Данилов монастырь. Храм Троицы на Шаболовке. Издательство «Благовест». Покровская церковь. Ночь там же. 3 апреля.

«Благовест». Подворье лавры. Издательство Патриархии. (Передал редактору газеты Патриархии «В-2»). Храм Софии Премудрости Божией. Покровская церковь. Ночь в Сергиевом Посаде у отца Иоанна. 4 апреля. Цельный день в дороге. На 267 км Московской трассы ломается машина. Несколько часов уходит на поиски утерянной детали. Снег, холод, ветер. Несколько километров проходим с о. Владимиром вдоль трассы в поиске утерянной «пробки» от коробки передач — не находим. Перегруженную книгами машину до Доскина тянет на тресе попутный КАМаз (самосвал), доверху нагруженный известкой.

Звонили (без меня): Селезнёв, Прилуцкая, Прибутковская. Румянцев.

5 апреля

Позвонил Селезнёв. Опять разговор был с Гофманом. Тот настаивает на снятии с меня редакторства. Селезнёв вроде бы сказал, что, кроме меня, никто не сможет найти денег и вообще заниматься делами альманаха. Они никак не могут понять, что для меня это издание существует только в моём видении... Но почему такая ненависть ко мне Гофмана? Очень низок уровень моих работ? Или мои ответы в послесловии тому причина? Конечно, меня его отношение никак не задает, но всё-таки любопытно первопричина, о которой я никак не могу догадаться. Борис передал хороший отзыв о моей работе в «Вертикали» (об очерках) какого-то знакомого. Завтра договорились встретиться. Хочу забрать у него подготовленного Осипова и всё остальное.

7 апреля

Утром взял книги на Бору и поехал в Дзержинск. Там воздвигают собор, а пока действует деревянная церковь. Первый же прохожий, к которому я обратился, рассказал, как её найти. А вчера приезжал Селезнёв. Привёз буклеты «В-3» и логотипы «Вертикали», изготовленные Раевым, которые забрал у меня раньше. Привёз и отредактированное Осипова, но мне показалось, что уж очень



он его сократил. Завёл разговор о четвёртом выпуске. Я предложил всё-таки попробовать поставить повесть Климешова (евангельскую). Заговорил Борис о Гофмане, но мне эта тема больше не интересна. Распределил обязанности по распространению буклетов. Я отнесу в «Нижегородские новости» и в «Землю нижегородскую», Борис — в «Нижегородскую правду» и в «Нижегородский рабочий», в Союз писателей.

9 апреля

Вчера вечером позвонил Коломиец. Говорит, что соскучился и очень ему интересно, что с «Вертикалью». Сказал ему, что и сам к нему собирался приехать. Вот и поехал. У Алексея Марковича гости из Москвы. Разговаривали (хорошо, обстоятельно) в кабинете зама. Вернул ему книжку Мешкова. Сказал, что думаю о стихах из этой книжки. Оставил Коломийцу 5 штук буклетов «В-3» и все материалы по третьему выпуску (дискету, вёрстку с правкой). Он пообещал подготовить свой материал (стихи поэтов в своей редакции), поправить макет и вновь вывести его в «чистом» варианте. Согласился поставить свой детский рассказ о крещении. Это хорошо! Художница к моим рассказам уже что-то подготовила. В скором времени должна закончить работу полностью. С финансами у «Волгагеологии» большие сложности, и Алексей Маркович сильно переживает. Этим он мне напомнил отца. Расстались тепло. И поговорили в дело, и вопросы многие обсудили, и укрепились во взаимопонимании.

Вечером позвонил Борис. Все свои задания он выполнил, буклеты развёз, с Митрофановой связался.

10 апреля

Перед обедом позвонил Жильцов. Пригласил зайти за гонораром. В редакции встретил Донского, он вычитывал вёрстку своей книжки. Жильцов рассказал, что у него были Климешов с Высоцким. Собираются издавать газету, общую от всех творческих союзов. Блеф! От Жильцова пошли пить водку. А вечером позвонил Николай Румянцев. Попросил,

чтобы я написал Сатирической рекомендации в Союз писателей. Отказался, сославшись на то, что отошёл от союзных дел и что есть по достоиннее — Николаев, Проймин. Сатирическая же может сослаться на мою рецензию в «Нижегородской правде» как на публичный отзыв о её книжке.

12 апреля

Приехал к Коломийцу. Подробно прошлись по стихам Шороховой и Новосельской. Практически со всеми замечаниями и предложениями Алексея Марковича я согласился. Сократил в подборках по два стихотворения. Подчистили некоторые строчки. Подкорректировал вёрстку. Пока машинистка работала с компьютером, Алексей Маркович отвёл меня в ведомственный музей — посмотреть кости мамонтов и ещё много всяких диковинных и любопытных вещей. Затем встретились повторно. Были ещё внесены некоторые изменения в макет. Алексея Марковича отвлек помощник губернатора, пришедший по договоренности. Я подождал наборщицу, но почувствовал усталость и уехал к Барлиту.

Коломиец позже позвонил мне домой. Дискета у него. Я попросил ещё раз посмотреть макет на компьютере, а в понедельник, уже готовый, вывести на бумагу для типографии. Художница готовить иллюстрации для нашей детской книжки отказалась.

Вечером звонок Селезнёва. Он разговаривал с Телешевой. Та требует закрытия «Вертикали», прекращения выпуска альманаха. Интересно, что для этого она позвонила не мне, а Борису. Накричала на него, что все материалы никуда не годные (при этом ни одного не читала), и бросила трубку.

Да что же происходит-то вокруг «Вертикали»?!. Непонятно! И — невероятно!

13 апреля

Позвонил Никитину, предложил войти в общественный совет «Вертикали». Он согласился: «Ты в моём обществе им. В.М. Шукшина мой зам, а я у тебя в совете буду». Попросил Валерия Васильевича ответить на мои во-



просы для «В-4» (письменно) и тоже получил согласие.

В обед Борис привёз стихи для «В-3», свежую подборку. В ней новое стихотворение, посвящённое мне, относительно последних событий вокруг «Вертикали». Многие в нём подмечено точно. Но мне всё-таки прежняя подборка нравится больше. Разве что её дополнить (есть в резерве три страницы) четырьмя стихами из новой. Придётся опять говорить с Борисом, согласовывать. К тому же, видно, макет всё-таки придётся нести корректору — о результатах разговора с которой Селезнёв должен будет мне рассказать завтра.

15 апреля

Вчера ездил в Дзержинск и Желнино. Отвозил книги и забирал деньги. В Желнино осмотрел храм — хорошо расписан, а из старых икон только две больших и Богородицы в окладе (серебряном?).

Позвонил Коломийцу. Все исправления на дискете сделаны. Завтра утром нужно будет приехать, окончательно доделать макет, вывести его на бумагу и отвезти в типографию. Посоветовался с Алексеем Марковичем насчёт корректора. Он считает, что просмотрел всё тщательно, и ошибок быть не должно. Я ему верю.

17 апреля

Утром у Коломийца. Все поправки в верстку внесены, но... вторая страница набрана неправильно, титул и последняя вообще не набирались. Всё объясняю вновь. Для образца оставляю «В-2» и логотип Раева. Договариваемся о встрече после обеда. В назначенное время звоню от Барлита. Узнаю, что всё готово, и еду в «Волгагеологию». Забираю у Алексея Марковича макет, листаю и вижу досадные «ляпы» на 2-й странице и в «Послесловии». Но исправить невозможно, нет наборщицы. Забираю макет и еду в университет. Там договариваюсь и исправляю недочёты. Листаю весь макет и вновь нахожу «ляпы», но исправлять их нет уже ни сил, ни нервов, ни желания. Всё оставляю как есть

и отдаю вместе с обложкой Раева в работу. У них (в типографии) произошла какая-то ошибка в расчётах, и сумму «Топтреста» они зачислили как предоплату за «В-3». Поэтому пообещали напечатать альманах в течение месяца. Ошибка, я думаю, вскоре разъяснится — но лишь бы они отпечатали тираж, а там деньги как-нибудь найдём.

Вчера вечером звонил Борис. Он раздал в Союзе буклет «В-3». Сказал, что впечатление у всех хорошее, «Половинкин доволен», остальные «отнеслись серьёзно».

Неужели «В-3» в типографии? Просто не верится — так тяжело мне дался этот выпуск. Только Коломиец по-настоящему поддержал до конца и помог организационно. Спасибо ему. Алексей Маркович очень доволен составом редакционного совета: «Пусть теперь кто-нибудь чего-нибудь скажет». Мне тоже приятно, что удалось собрать людей, с одной стороны, достойных и авторитетных, с другой стороны, очень по-доброму и подчёркнуто уважительно ко мне относящихся.

18 апреля

Всё-таки пошёл в «Полиграфленд», исправил страницу с рассказом Коломийца. Пока был дома, из университета позвонила Ольга Фёдоровна. Оказывается, страницы в макете разбиты неправильно — чётные и нечётные на одной стороне. Макет нужно переделывать. Час от часу не легче. И у Коломийца наборщица работает только до двенадцати. Поехал в университет, оставил там дискету с уговором, что они сами всё поправят, а я заплачу за работу.

25 апреля

Приехал из Москвы. Опять был у преподобного Сергия, в старых издательствах. Из новых — «Паломник». Позвонил в университет. «Вертикаль-3» в работе. На Комсомольской площади — Александру Ивановичу, после разговора с ним о его взгляде на значение в истории России правления Ивана Грозного, предложил написать статью для «Вертикали», в которой всё это в сжатом виде изложить. Он, по-моему, «загорелся».



27 апреля

Попробовал набросать примерный план «В-4». Надо бы написать Василию Белову и Валентину Распутину. Только обдумать, как всё объяснить коротко и заинтересованно.

Вчера случайно встретился с Пашковым на углу нашего дома. Ехал на машине, увидел его и остановился. Опять он спрашивал, когда выйдет «Вертикаль». А мне уж и самому невтерпёж. Только предчувствие плохое – будут какие-нибудь промахи в вёрстке. Это уже и сейчас тревожит. Забыл отметить: «В-2» (45 экз.) в Москве, в издательстве «Паломник», обменены на их журналы. Может, и эта кроха как-то разойдётся по столице и России.

Собрался и сразу написал черновик письма Василию Ивановичу Белову с предложением прислать что-либо для публикации. Само же письмо хочу послать в пасхальную неделю, набрав его на компьютере у Коломийца.

29 апреля

Заехал в университет. И вовремя. Они несколько перепутали цвет у обложки и поэтому без меня клеить не начинали. Не стал возмущаться — и в таком виде обложка понравилась. Только опять спросил, успеют ли они до 5 мая, к Пасхе. «Успеем. Завтра приезжайте. Часть тиража уже будет готова». Как же я рад! После заехал в братство Александра Невского. Они продали ещё часть «В-2».

Неужели эпопея с выпуском подошла к концу? Теперь пусть захлёбываются от злости. Третья книжка ЕСТЬ!!!

30 апреля

Ну, вот и свершилось. Первые пятьдесят экземпляров «Вертикали» – третий выпуск – забрал из типографии. Сразу проехал к Коломийцу. Отдал ему пять экземпляров. Ещё два экземпляра «В-2», «Русские мальчики», буклеты «В-3» и письмо на спонсорскую помощь. Оставил черновики писем для Белова и Куняева. Договорились, что используем адрес «Волгагеологии».

С Ал. Марк. общались довольно долго и спокойно. Он рассказал, что игумен Варлаам

(Борин) из Ермолинской Пустыни Воскресенского мужского монастыря Владимирской епархии (хороший знакомый Коломийца) сборники наши прочитал, и они ему понравились. Это игумен. Я тут же предложил съездить в монастырь в паломническую поездку. Коломиец поддержал и ещё сказал, что попросит о. Варлаама написать отзыв о «Вертикали». Напомнил, что он давал согласие на публикацию у нас материалов из собственного монастырского альманаха (он у меня есть — давал Алексей Маркович). Насчёт писем мне нужно будет приехать шестого мая.

От Коломийца доехал до Волги. Остановился у Чкаловской лестницы. Тепло, солнце, весна. Ходил вдоль набережной и на ходу листал и читал новенькую «Вертикаль». Сегодня у меня праздник. И как-то всё ему под стать. Жарко, зелено, щебетание птиц.

5 мая

Христос Воскресе!

Позавчера вечером съездил на кладбище к отцу. Службу отстоял в соборе Александра Невского. Устал. Выдержал с трудом. С 23.30 до 4.00, а может, и больше. Но крест поцеловал и водой святой был окроплен.

Позвонил Селезнёву, поздравил и сказал о выходе «Вертикали». Оказывается, он вчера тоже был в соборе Александра Невского, но мы не увиделись. Они с Надеждой уехали, не дождавшись окончания службы. Борис сказал, что его многие спрашивают о «Вертикали». Очень просит Телешева (я думаю, чтобы вволю поплеваться). Просит директор музея Короленко.

В Союзе была встреча (Сухих мне звонила, да я не успел — был в это время в Доскине), и Борис на ней опять раздавал буклеты «В-3». Реклама, похоже, действует.

С интересом прочитал книжку рассказов Жени Эрастова «Наваждение». Но для альманаха ничего не выбрал. (И дело не только в том, что он требует за публикацию деньги.) Всё вроде бы рядом, близко направлению, внутреннему содержанию «Вертикали» — но в окончании ощущения не те, какие хотелось бы. Что меня окончательно не устраивает —



даже трудно объяснить. В его рассказах много трагичности, душевного поиска. И вроде бы это как-то касается нашего направления, нашего поиска. Но именно — только касается. Нет, точно сформулировать свою претензию не смог.

6 мая

Завёз «В-3» Мухиной. Там неожиданно встретился с Шамшуриным. Побывал у Коломийца, но его не застал. (Потом от Пашкова звонил, но Алексей Маркович так на работе и не появился). Письма напечатаны. Внёс поправки. На Марата макет «Старого колодца» переделали на 64 страницы. По-моему, удачно. Был в Нижполиграфе. «Колодец» не сосчитан.

Со второго раза застал Пашкова. Отдал ему «В-3». Александр пригласил на встречу. Должен подъехать Гринес Анатолий. Он вернулся из Германии, где сейчас живёт. Я заехал. Встреча состоялась. Пашков отдал Гринесу «В-3». А тот подарил мне свой стихотворный сборник. Рассказывал, как сытно живётся в Германии. Ну и вытекающие отсюда выводы относительно житья в России. Всё это не ново и неглубоко. Повторяться не хочется.

7 мая

Поездка в Бортсурманы. Ездил один на своей машине. Отвёз книги. Приложил к мощам.

9 мая

Вчера с Борисом на берегу Волги отметили «Кагором» выход «В-3», строили планы на будущее. На душе хорошо, радостно. А сегодня разбудил звонок Никитина. Он поздравил с праздником и попросил договориться о встрече с Адриановым. Я Юрию Андреевичу позвонил, но он от встречи с Никитиным уклонился, сославшись на то, что дома не убрано. «Ты — другое дело, свой...» Вообще к моему звонку он отнёсся очень по-доброму. Просил не пропадать, звонить и заходить. Я рассказал о выходе «В-3», а он мне, — что повздорил с Телешевой (жаль, что её имя

он ассоциирует с альманахом). Та возмущалась, почему Юрию Андреевичу дают из бюджета деньги на выпуск книг, а ей нет. «А ведь только я (и раньше Кочин), наверное, живу чисто литературным трудом, не получая никакой зарплаты с 1964 года». Пришлось перезвонить Никитину и передать отказ.

10 мая

Написал черновик письма преосвященнейшему Евгению на благословение альманаха. Вчера наконец-то начал писать о Мише Жаравине («Друг»). Сегодня немного продолжил. В общем-то вся вещь в голове выстроилась. Теперь только бы её переложить на бумагу.

12 мая

С Селезнёвыми просидел у Донского с обеда до половины пятого. От телевизора и бестолковых разговоров устал жутко. Голова стала чугунной. Донской подарил две свои последние книжки. От Донского (а это за улицей Чаадаева) домой пришёл пешком. Погода +12, безветренно и солнечно. Для прогулки очень хорошо.

13 мая

Утром заехал к Коломийцу. Он очень расстроен по работе — нет финансирования. Ему позвонили, и он срочно уехал на совещание, оставив меня одного в своём кабинете. Я подготовил письма и пакеты для отправки Василию Ивановичу Белову и в «Наш современник». (Вложил туда по экземпляру «В-2 и В-3»). Напечатали письмо и для архиепископа. Позвонил Гладышевой. Условились о встрече, к тому же у них прошла публикация моей статьи (давней) «Обретение России». Принёс в «Землю нижегородскую» «В-3» и попросил Альбину Петровну, чтобы она заказала кому-нибудь статью о «Вертикали» (Адрианову или Кузьмичёву), чтобы услышать оценку своего труда, может быть, что-то изменить в работе. Она тут же позвонила Адрианову. Я слышал, как опять возникло имя Телешевой. Но затем Альбина Петровна передала мне, что Адрианов о моей работе отзывался хорошо, и попросила срочно отнести ему



«В-3»: «Он сказал, что ты ему обещал принести». На прощание Гладышева подарила коллективный сборник «Земли нижегородской», тепло его подписав.

Позвонил из дома Адрианову. Поговорили хорошо. «Ты Наташу в «Земле нижегородской» не узнал». А мы действительно с его женой на редакционной лестнице столкнулись. «Я писать буду дней через десять. Поэтому привози лучше попозже, и чтоб можно было посидеть, поговорить. У меня только одна книжка». Значит, «В-2» ему не передавали из Союза. Опять недобро вспомнил Телешеву. Я сказал, что гонорар у нас небольшой, но если он хочет что-то напечатать, я с удовольствием опубликую. «Да на религиозную тему не знаю, что найду». – «Главное не это, а любовь к России». – «А, ну этого сколько угодно. Можно подобрать подборку стихов... У меня тоже к тебе просьба. Ты на машине. Помнишь, как Штирлиц раз в году старушку за город вывозил. Вывези нас погулять куда-нибудь на откос, на кладбище... Я ведь совсем никуда не выхожу». Юрий Андреевич записал мой телефон. Договорились, что созвонимся к концу месяца.

Заехал в Союз писателей. Отдал Половинкину 3 экз. «В-3». Как там у них неуютно, то скливо, потерянно. Никто к ним не приходит, никому они не нужны. Альманах Половинкин встретил «весело», но без восторга. Первые слова снова о Телешевой: «Что у вас там с ней?» У меня — ничего. У неё — не знаю. Внешне к её «накатам» отношение снисходительное, со смехом. А на самом деле — кто знает. «В-2» Кузьмичёв не забрал. Митрофанова тоже. Экземпляр Адрианова вроде бы должны были ему передать.

Приехав домой, позвонил Селезнёву. Сказал о Митрофановой. Напомнил о статье для «Православного слова» (всё повторяется), о посещении «Нижегородской правды» и о контакте с Новосельской по поводу статей о «Вертикали» в московской прессе. Надежда сказала, что Жильцов ждёт альманах.

14 мая

Отнёс альманах Жильцову. Владимир сказал, что «Рождественские чтения» напечата-

ны, но есть ли там мой материал, он не знает. Похоже, что нет. Пригласил меня 23 мая выступить о «Вертикали» в Днях культуры и письменности в Партпросе на Варварке. Пока согласился.

Отвёз письмо в епархию. Там никого до 20-го числа не будет. Отдал сторожу. Он обещал всё передать. Сегодня же набросал черновик письма для «Дня литературы».

16 мая

Утром встретил Жильцова. У него в стихах пропущено семь четверостиший. Скандал! Вот уж недруги порадуются. Чего-нибудь подобного я и ожидал.

Подарил «В-3» Барлиту и оставил для «Заречья». Может быть, помогут. Позвонил Авилевой, затем встретились на пл. Ленина. Передал ей авторские экземпляры. Один экземпляр отнёс Некрасову в Гортоп.

17 мая

Позвонил Борис. По рекламе «Вертикали» он ничего не сделал. Относительно стихов Жильцова он уверен, что набор, который он читал, и текст в альманахе идентичны. Где же произошёл сбой?

20 мая

Вчера в деревне нашёл адрес «Дня литературы». Сегодня у Коломийца напечатали письмо и отослали все три выпуска «Вертикали» обозревателю Николаю Переяслову.

21 мая

Вечером звонок от Селезнёва. Приехал из Рязани. Наконец-то он связался с Шороховой. Я опять много ему говорил, как организовывать отзывы о «Вертикали» в Питере и Москве. Сказал ему и о том, что Адрианов должен написать о «Вертикали» для «Земли нижегородской». Оказывается, в «Православном слове» готовится статья М.Смирновой о «В-3». Это, видно, Жильцов расстарался.

22 мая

Почти случайно заехал в братство. В редакции застал всех. Жильцов дал прочитать



материал Смирновой — тёплым. Хотят сделать со мной интервью о «Вертикали». Марина дала своё произведение для публикации. Говорит, что уже передавала Борису. Я что-то очень смутно припоминаю. Пришёл Климешов. Сказал ему, что повесть его держу, думаю, как использовать. У Павла газета всех творческих союзов почти готова. Скоро должна выйти. Подарил ему «Вертикаль-3». Он обрадовался. Затем пришёл игумен Печёрского монастыря, и интервью моё так и не состоялось. Может быть — позже?

23 мая

Ездил утром в Печёрский храм. Всё закрыто, службы нет. На улице солнечно, но ветер сильный и холодный. На берегу Волги под стенами монастыря прочитал «Заметки о жизни сельского священника» Марины Смирновой. Думаю, что для «Вертикали» (с некоторыми сокращениями) они вполне подойдут.

В «Православном слове» забрал у Жильцова стихи для «Вертикали» Натальи Андрияновой, сказал Смирновой, что её материал пойдёт, и наговорил ей не очень удачное и коротенькое интервью.

24 мая

Вчера не попал на «Дни славянской письменности». Но Высоцкого с пятидесятилетием поздравил — в Союзе... Саша подарил свою новую книгу «Юбилейный вечер», сказал, что Жильцов «на днях» показывал «Вертикаль» (там собрались библиотекари) и что-то о ней говорил. В конце застолья Климешов, как всегда, начал хаять «Вертикаль», что меня взбесило, и дело чуть не дошло до драки.

А сегодня звонил Жильцов, недоволен, что меня вчера не было. Затем с почты принесли конверт с рукописью Астахова (стихи и рассказ). Просмотрел мельком, но уже видно, что кое-что выбрать можно. Написал черновик письма Астахову.

27 мая

Борис сообщил, что с Шороховой и Новосельской он разговаривал, но конкретных

результатов — никаких. Опять я настаивал, чтобы они подготовили статьи в местные православные издания. Это и послужит укреплению авторитета альманаха, и привлечёт новых авторов. У Бориса одна отговорка — ему всё некогда.

Ходил в «Православное слово», хотел напечатать письмо Астахову, но Надежды не оказалось на работе. Зато узнал, что в книжке моего материала с Рождественской встречи нет. Из редакции позвонил в епархию. Владыка моё письмо рассмотрел и написал резолюцию, её мне прочитала секретарь и сказала — «благословение есть». Завтра надо заехать за письмом и отвезти альманахи. Заглянул в лавку братства. «В-3» уже выставили в продажу вместе с «В-2».

Приехал Чугунов. Нужно с ним ехать реализовывать книги по городам области и до Самары. Тогда решаю сегодня же съездить в епархию. У секретаря куча народу. Сначала разговариваю с игуменом Кириллом. Он сомневается, что архиепископ мне что-то ответил. Но секретарь быстро нашла письмо, сняла с него копию и передала оригинал мне. Оставил ей для владыки «В-2» и «В-3».

Домой звонили от Коломийца. Набираю его номер, говорю о благословении. Он обрадован. В свою очередь хочет мне подарить сборник в честь Дней Украины в России. Там много его произведений: «Жаль, что мы никак не посидим». Я отвечаю: «Пока не уедем в монастырь, не оторвёмся от суеты, так времени и не найдём». Коломиец соглашается. Решаем, что по возвращении его из Москвы уезжаем в монастырь к его знакомому игумену в Ивановскую епархию.

Когда забирал письмо в епархии, вновь спросил у секретаря: «Так благословение есть?» — «Да», — подтвердила она.

28 — 29 мая

С о. Владимиром поехали реализовывать книги, «Вертикаль» в том числе. **г. Арзамас.** Женский Никольский монастырь. Кафедральный собор. Духовский храм. **Р/п Выездное.** Храм. **Село по дороге.** Храм. Я в него не зашёл. О. Владимир сказал, что вну-



три очень много старинных икон. Храм закрывали, но не грабили. **г. Ардатов.** В доме у Резиных. Около дома цветник с выложенными из камня горками и гротами, с забетонированными дорожками. **Дивеево.** Монастырь. Мощи батюшки Серафима. Отсюда (я за рулём) поехали **в Мордовию**, в Санаксарский монастырь. Как, всё-таки, красива наша земля. Леса, поля, холмы. Во всём воля, покой, малолюдство. Сёла большие (в глубинке), много построено современных коттеджей. Стада тучные — коровы, барашки. Часто встречаются пасущиеся лошади (это в Мордовии). Пока ехал, пришёл на ум любопытный сюжет. Написать бы, например, едут в машине двое. Описание пейзажа, сёл непорученных, стада. Один другому говорит: «Как в поздние 70-е года». Другой: «Да нет, как в 60-е». Замолчали. И первый за долгую дорогу, пока едут от одного монастыря в другой, начинает вспоминать годы своего детства.

В монастырь приехали вечером. Два километра специальная хорошая дорога ведёт к нему через лес. Как выехали из леса — я ахнул. Красота. Остановились в монастырской гостинице. Гостинник определил нас в комнату №5. Затем обошли монастырь, постояли у могилы адмирала Ушакова. Утром рано проснулись под негромкие удары колокола. Пошли на службу. Приложились к мощам Фёдора Санаксарского и Фёдора Ушакова. Трапезная — роспись. **В Саранске** кафедральный собор. Центральная епархиальная лавка. Мужской монастырь. Храм за мостом (ухожен, отреставрирован, но расписан внутри скверно). **Станция Рузаевка.** Паргамский женский монастырь. В цветах, чистота, ухоженность. В храме служба. У колонны — схимница. Росписи храма легки, воздушны. **Р/п Починки.** Кладбищенская церковь. **г. Лукоянов.** Храм на выезде из города. Строится почти заново. **Р/п Шатки.** Храм в центре райцентра. Уже при въезде в город в 0 часов 30 минут заглохла машина. Но, слава Богу, завели.

«Вертикаль» показывали везде среди общего числа предлагаемых книг. В Санак-

сарском монастыре я предложил особо. Но монах отказался — игумен не благословляет брать такую литературу.

30 мая

Без меня звонили из «Волгагеологии». Связываюсь с Антониной Матвеевной. Пришло письмо от Белова. Оказывается, А.М. звонила мне в понедельник, чтобы об этом сообщить, а я набрал телефон Коломийца. Тот же мне ничего про это письмо не сказал. Думаю, если бы альманах оставил Василия Ивановича безразличным, он бы мне не написал. Впрочем, прочитаю письмо — узнаю.

31 мая

Забрал письмо Белова и тут же прочитал. Затем перечитал у Лены в кафе. Затем на берегу Волги у Речного вокзала. Там же начал писать ответ, всё добавляя и добавляя новые детали и предложения. Уже дома весь вечер готовил вопросы Василию Ивановичу. Если всё получится, то публикация выйдет отличная и во многом самостоятельная, а не просто перепечатка его статьи, которую он предложил, прислав вырезку из газеты.

3 июня

Вот и наступило лето!

Утром у Коломийца. Из Москвы он приехал расстроенный. Деньги на геологию в государстве выделены, но где-то крутятся. Уже работают на предвыборные дела президента. Отпечатали и отправили письмо Астахову и письмо с вопросами В.И. Белову (Коломиец прочитал и письмо Белова, и мой ответ).

Заместитель театра оперы и балета предложила Алексею Марковичу провести у себя презентацию «Вертикали». Я с удовольствием это поддержал. По моему предложению Коломиец позвонил директору областного управления экологии (как правильно называется, не знаю) по поводу спонсорства «Вертикали». Тот про наш альманах знает. Но, наверное, из этого ничего не получится. Он и согласен, но Коломиец должен тогда оформить какие-то бумаги на проведённые работы. А это чревато осложнениями. Но



книжку с его этюдами (составителем и редактором сборника выступил Шамшурин), которую дал мне Коломиец, я почитаю. Может быть, что-то и нам пригодится.

С поездкой в монастырь ничего не выходит. Отнёс «В-3» в городскую библиотеку.

4 июня

Дозвонился до Адрианова и Румянцева, договорился о встрече. На Комсомольской площади забрал две пачки «В-3» (80 экз.) и повёз Коломийцу. Подготовленные письма уже отправили. Забрал вторые экземпляры вопросов Белову. С этим возникла небольшая проблема, которая, к счастью, благополучно разрешилась.

Поехал к Адрианову, предварительно купив водки и закуски. «В-2» у него, оказывается, есть — нашёлся. Передал мне книги для Селезнёва и Гофмана. Сказал, что отобрал для «Вертикали» десять стихотворений и передал их Фигареву. Показал медаль и диплом «Почётного гражданина области». Оказывается, 29 мая в Союзе они это событие отмечали («Я Фигареву специально о тебе говорил»), а мне никто не сообщил. Жалко. Я сразу, в виде гонорара, передал Юрию Андреевичу 150 рублей (На пятьдесят затем пришлось сходиться в магазин за водкой и сигаретами). Оба сборничка «Вертикали» у него лежали на письменном столе. Туда же, стопочкой, лёг и третий. Сказал, что будет писать о нём. Подарил мне свою давнюю книгу стихов «Краски», и я, выпив пару рюмок водки, уехал на машине в областную библиотеку к Румянцеву. Передал тому 2 экз. «В-3» для библиотеки и один для него. Договорились, что я привезу все выпуски по три экз., и он отошлёт их в Москву в Книжную палату (кажется, так называется).

В Союзе писателей Фигарева нет. Половинкин с Шуртаковым пьют чай. Поздоровался с ними. (Половинкин приветлив, «В-3» у него на столе на видном месте). Попросил Полину Николаевну забрать у Фигарева стихи для «Вертикали», переданные Адриановым.

В «Православном слове» взял газеты с заметкой о «В-3». Моё интервью пока не вы-

шло. Зашёл на склад, попросил собрать «В-2» для возврата — я заберу. На обратной дороге у поста ГАИ встретил Жильцова. Он твёрдо пообещал в следующем номере поставить моё интервью. Селезнёв на свои вопросы ответы так и не написал. Такое отношение к «Вертикали» меня просто выводит из себя. Попросил Смирнову дать моё интервью, не дожидаясь ответов. Жильцов бегаёт, оформляет себе премию «Нижнего Новгорода».

5 июня

В областной библиотеке отдал Румянцеву для отсылки в Книжную палату в Москве «В-1,2,3» — по два экз. и «Искушение» — 2 экз. У Федотова в «Полиграфленде» встретился с Водопьяновым. Заговорили о совместных акциях духовно-патриотического звучания. Вот бы хорошо устроить презентацию «Вертикали», пригласив Никитина, Водопьянова... В Союзе писателей забрал десять стихотворений Адрианова. Каждое подписано.

Вечером звонил Борис Селезнёв. Пересказал ему новости по альманаху. Он в восторге: «Даже мурашки по коже!» Да, честно говоря, есть от чего прийти в восторг. Позвонил Адрианов. «В-3» он почти всю прочитал. Узнал, забрал ли я его стихи. Просил, чтобы его стихи не соседствовали со стихами Жильцова. И вообще, говорил долго и много дельного. Жильцову не может простить, что его книжка вышла, как считает Адрианов, на деньги, выделенные для него. Тепло отозвался о вчерашней нашей встрече. Оказывается, умер архитектор, академик, который восстанавливал Кремль, Архангельский собор, Макарьевский и Печёрский монастыри и так далее. Завтра отпевание в Архангельском соборе Кремля. Адрианов пишет некролог.

6 июня

Позвонил в первой половине дня Николаев. Завтра в Союзе собирается «Воложка». О «Вертикали» ни слова. Вечером приехал Селезнёв, привёз свою подборку стихов. Отдал ему альманахи для Новосельской и Шороховой, рукопись Климешова и книжки Адрианова. Опять много обо всём говорили.



Боюсь — впустую. Ведь ничего из намеченного он не выполнил. Дал прочитать Борису резолюцию владыки и письмо Белова. Прочитал он и подборку стихов Адрианова. Четвёртый выпуск собран, и похоже, что это будет самая сильная книжка из четырёх. Надо бы начинать её набирать, не дожидаясь ответов Белова. Вот только я не дописал послесловие к Жаравину... Во время нашего разговора с Борисом позвонил Румянцев. Сказал, что всё отослал в Книжную палату, одно «Искушение» оставил в библиотеке. Очень хвалил «Лестницу» и опять просил рекомендацию в Союз для Сатирской. Мне вновь пришлось, хотя и не прямо, отказать.

7 июня

Сходил в «Водоканал». Директора на месте не оказалось. Оставил секретарю письмо и «В-1,3». В Союзе писателей случайно встретился с Юрием Изумрудовым. Он рассказал о работе над Сергачским альманахом, я — о «Вертикали». Оказывается, его книжку издало райпо. Оно же забрало весь тираж. Подарил Изумрудову «В-3». Юрий хочет свою работу о поэте, о котором он уже писал в «Нижнем Новгороде», напечатать у меня — письма и его комментарии к ним.

Николаев собрал своих дам и стариков из «Воложки». Я вовремя ушёл. Как всё выродилось. А ведь было так интересно в нашей молодости.

В драме смотрели с Ириной «Старшего сына» Вампилова. Никитин — отец семейства Сарафановых. Особого впечатления спектакль не произвёл, но для Валерия Васильевича — это его роль.

9 июня

Вечером звонит Селезнёв. Мы должны были сегодня встретиться по поводу его подборки в четвёртый выпуск, да я поздно приехал из деревни. Борис звонил Адрианову, благодарил за переданные ему через меня книги. Адрианов его звонку обрадовался и сказал, что о «Вертикали» уже написал и в ближайшее время передаст материал в «Землю нижегородскую». Сегодня, когда ло-

вил на озере рыбу, тоже подумал об Адрианове с уверенностью — он напишет.

10 июня

Сходил в «Водоканал» к секретарю — моё письмо директор пока не рассмотрел. Затем я отправился в «Православное слово». Жильцов хмур и неприветлив. Почитал своё интервью. Мне всё понравилось, Марина молодец.

Ещё днём договорились с Коломийцем, что я привезу рукописи для набора «В-4». Тогда же он пригласил в Дом учёных на презентацию книги Украинского общества.

Вечер прошёл хорошо, хор исполнял украинские песни, Коломиец читал свои переводы и говорил об альманахе (уже о нашем). Представил и меня. На этом вечере Ал. Марк. продал 10 экз. «В-3». Возвращались вместе и успели обо всём переговорить — о наборе, спонсорах, поездке в монастырь, статье игумена о «Вертикали» и так далее. Опять вроде бы полное взаимопонимание.

Борис привёз стихи, заново сформировал подборку. Сейчас вроде бы получилось неплохо. Сказал ему, что уже веду переговоры о наборе следующего выпуска.

12 июня

Позвонил Селезнёв и передал последние сплетни: «Фигарев сказал Бочковой, что я и Борис обособились от Союза, набивают карманы деньгами». Селезнёв расстроен, а меня не задевает. Борис тянется к этой организации, теряется без неё. Ему всегда нужно быть при ком-то, и это настораживает. Отсюда его приспособленчество, трусость, предательство, которое он проявил в истории с «В-2».

14 июня

Утром побывал у Иудина. Подарил «В-3», рассказал о наших перспективах. Он поразмышлял, как можно организовать реализацию книжек. Договорились, что возьмёт на себя пачку «Вертикали» и поможет по необходимости деньгами в издании. Позже я завёз и оставил охраннику пачку (40 экз.)



«В-3». От Иудина прошёл в «Водоканал». Директор направил письмо в бухгалтерию, где вместо резолюции стоит знак вопроса. Попросили позвонить в понедельник, ответ уже должен быть. Думаю – отрицательный.

На Комсомольской площади выяснил: пачку «В-3» о. Владимир забрал в Москву. Позвонил Гладышевой, она сообщила: «Материал вышел 25 мая». Какой? Наверное, о «В-3». Сказал ей, что Адрианов написал свою статью. Пообещала связаться с ним и кого-нибудь за статью послать.

15 июня

Ездил к Борису за бензином. Заодно он рассказал о новом звонке Телешевой. Она считает своей заслугой деньги, полученные от «Продоптими», что теперь издание существует только за счёт них, как за счёт первоначального капитала. Считает, что редакционный совет может снять редактора, несла и прочую чушь... А вот Новосельская в разговоре сообщила, что на книжной ярмарке в Москве она видела «Вертикаль». Поинтересовалась, как берут (это «В-2»), ответили, что неплохо. Может быть, это и не совсем так, но информация ободряющая. Надежда Селезнёва предложила набирать и макетировать в братстве. Всё должно получиться быстро... Надо подумать.

17 – 18 июня

После обеда отправился в Муром на «газели» Федотова. С самого начала с машиной начались неполадки. В итоге поездка превратилась в муку.

До Мурома добрались ещё неплохо. Старый город у Оки мне понравился. Через реку переехали по платному понтонному мосту, похожему на наш Волжский. Побывали с Алексеем, послушником о. Владимира, у трёх монастырей. В Спасо-Преображенский мужской я заходил, а в Троицкий женский и в Благовещенский мужской, нет – из-за машины. Пришлось по городу поездить, добраться до Карачарова (родина Ильи Муромца) – но литература нигде не заинтересовала. В Муроме же с машиной начались уже совсем nelaды.

В Выксу (через всё Навашино) добрались к вечеру. Сначала остановились рядом с озером у церкви Рождества Христова. Затем доехали до Иверского женского монастыря. Там нас накормили и определили ночевать в комнату с расписанными сводчатыми потолками в бывшей богадельне. Алексей вычитывал правила, а я уже лежал в постели. На следующее утро уехали в Павлово и там провели целый день: «На Башне» – церковь Вознесения, на берегу Оки – Воскресенская, у больницы – Всех Святых. На второй день кое-что из литературы реализовали, но «Вертикаль» оказалась никому не нужна, напрасно привёз две пачки.

На развилке от Павлова и выезда на трассу встал окончательно. Выручил парень, водитель остановившейся рядом с нами «газели». Оказалось – у нас закончился бензин. Вот и неожиданное спасибо доброму человеку.

Дома позвонил Селезнёву по его просьбе. Он в восторге от моего интервью, а вот заметка Смирновой о «В-3» ему не понравилась – «размыта». Он отвёз книжку Телешевой – «приняла доброжелательно». Есть у него и ещё хорошие отзывы о «В-3».

Позже он перезвонил. Договорился завтра о моей встрече с художником насчёт обложки.

19 июня

Звонил в «Водоканал». Следы моего письма теряются. Надо выяснять. Пошёл в братство. Собрать из магазинов «В-2» на складе забыли. Художник от работы над обложкой отказался.

Я взял газеты с интервью, прочитал, и оно мне не понравилось. Когда знакомился с подготовленным текстом, впечатление было другое. Дозвонился до Коломийца. Он прочитал все материалы. Не разобрался в двух Смирновых – пришлось разъяснять. Разочаровали его стихи Адрианова. Меня радует, что Ал. Марк работает по финансам.

Дозвонился и до Бровкина. Договорились встретиться на ул. Ошарской. Прождал его минут двадцать, но он так и не подъехал. «В-1, 2, 3» оставил у охранника.



С Коломийцем просмотрели стихи Адриана, и всю папку при мне он отдал наборщице. В «Земле нижегородской» забрал газеты с моим первым материалом для «Звонаря». Оказывается, Гладышева эту публикацию имела в виду. Дала мне прочитать и статью Адрианова. По моей просьбе убрала из неё абзац об «Украинском альманахе», написанный раздражительно и недобро. Зачем это рядом с «Вертикалью»? Есть там и о Чугунове с Гофманом. Когда получал гонорар в бухгалтерии, зашёл гл. редактор Соболев. «А, это и есть Сдобняков». И сам мне представился.

20 июня

В «Водоканале» у секретаря главного бухгалтера в папке подписанных бумаг моего письма нет. Простоял в приёмной какое-то время, дожидаясь, когда секретарь освободится. И так стало неудобно, противно. Плюнул на всё и ушёл. Как же униженно выпрашивать деньги. Те, кто хотел, чтобы альманах был «наш», сходили бы хоть раз на подобную процедуру. Хотя, если издание встанет крепко на ноги, думаю, охотнички прибрать его к рукам всякими интригами (из среды пишущей братии) найдутся.

21 июня

Утром у Михаила Чижова (дирекция, экологический фонд). Он подарил мне сборник, составленный Шамшуриным. Валерий Анатольевич «сидит там крепко», «в этом году они тоже будут что-то издавать». Чижов дал мне дискету со своими произведениями и копии газетных публикаций. Кое-что я уже прочитал и выбрал три штуки. Относительно финансовой помощи Чижов сказал то же, что и Коломийцу. Это неприемлемо.

Заезжал к Коломийцу, чтобы воспользоваться телефоном у секретаря, и заодно забрал уже набранную статью Белова. На обратном пути столкнулся с Пашковым: «Твой друг Пашка Климешов выпускает газету». На это известное мне событие я откликнулся скептически: «Газета без идеологии, кто её будет читать», и теперь об этом жалею. Нам бы поддерживать друг друга, а не ёрничать.

Впрочем, я-то поддерживал достаточно, писал рецензии на их книжки, а что от них?..

22 июня

Преодолев какое-то жуткое гнетущее состояние, заставил себя поработать над рукописью «Друг». В итоге ещё две напечатанные на машинке страницы и вроде бы понятная перспектива дальнейшей работы. Надолго ли? Решил не сдерживать себя в объёме и не стараться готовить рукопись для четвёртого выпуска, а опубликовать её позже как самостоятельную вещь или с ещё одним рассказом Миши Жаравина.

23 июня

В первой половине дня ездил в храмы сёл Безводное и Великий Враг. Давно мечтал побывать в этих местах (и ведь близко совсем), да всё не выпадало okazji. Какие же красивые места у нас под боком, а мы ничего не видим. Удивили огромные спутниковые антенны (заброшенные), расположенные на большой территории от Врага до Безводного. Обязательно нужно будет ещё раз туда съездить и просто побродить, полюбоваться.

Всю вторую половину дня работал над «Другом». Двигается медленно, но сейчас вроде бы всё ясно, и только бы не остановиться, не застрять.

24 июня

Телевидение. Встречался с Прибутковской. Занёс «В-3» Прилуцкой. Самой её не оказалось, оставил в кабинете. Затем позвонил ей домой, предупредил. Попросила прощения, что у нас сорвалась передача по «В-2». Ну, там я был больше виноват, чем она. Опять говорили о сотрудничестве.

Зашёл в Экологический фонд. Оставил для Чижова его пакет с публикациями и «В-3» по его же просьбе. Дозвонился сегодня до «Водоканала», «Продоптимы», Никитина, но тех, кого надо, не застал. Вечером позвонил Половинкин (он уже звонил днём, но меня не было дома) – 28 июня съезд работников культуры области, предлагает выступить на нём от Союза и как редактору «Вертикали».



Я согласился. Завтра должны с ним встретиться по этому поводу. Затем – Селезнёв. Разговор «вообще обо всём».

25 июня

В храме Жён Мироносиц на ул. Добролюбова забрал газеты «Православное слово» со своим интервью. Побывал в Союзе у Половинкина. Выступление моё — 10 минут. Всего выступающих человек 12 от творческих союзов, театров. Проходить съезд будет в ТЮЗе. Половинкин говорил, что выступлю я, Карпенко, Адрианов. Оба обо мне отозвались хорошо. Адрианов хвалил. Сказал, что написал статью о «Вертикали». Это шанс, который мне обязательно надо использовать. Выступление привязывается к «Вертикали», но говорить надо не об альманахе, а по-крупному. Времени на подготовку мало, но надо постараться.

Звонил Адрианов. Просит завтра, как я обещал, его и Наташу повозить по городу. Договорились на 16.00. Заодно и пофотографироваться. Продолжаю работать над «Другом».

26 июня

Письмо от Белова очень короткое и дружеское. Тут же в «Волгагеологии» написал ответ и оставил для отправки. Забрал ещё несколько набранных материалов (Жаравин, Адрианов, игумен Варлаам.) Затем заехал за Адриановыми. Они меня ждали. Пока Наташа собиралась, Юрий Андреевич посмотрел набор, согласился с предложениями Коломийца насчёт строчек лесенкой и вставил недостающее слово (сам заметил) в окончании стихотворения «Канун Рождества». Затем поехали на машине на улицу Ульянова (к дому детства Адрианова), оттуда по улице Минина; спустились от памятника Чкалову до Печёрской церкви, постояли на берегу под стенами монастыря и проехали к храму Жён Мироносиц. У храма опять постояли (я сходил в пустующую церковь) и оттуда вернулись на улицу Белинского. Только там я вспомнил про фотоаппарат, и Наташа сделала один снимок с Юрием Андреевичем. Мне показалось — Адрианову просто не хочет-

ся двигаться. Он из машины-то не выходил (лишь у церкви — но от машины и шага не сделал) и домой вернулся (заторопился) так скоро.

27 июня

Целый день дома писал выступление к завтрашнему съезду. Написал и перепечатал. Как получилось — понять не могу. Наверное, нужно больше конкретного о проблемах Союза. Звонил дважды Борис. Он «загорелся» сделать приложение к «Вертикали» — поэтическое. Это хорошо, я полностью с ним согласился.

28 июня

С 11.00 в ТЮЗе на съезде. Впечатление невесёлое. Выступал в самом конце. Почти сразу за мной выступил губернатор Ходырев. Относительно моего выступления, я думаю, наши ждали иного. Конечно, моё слово прозвучало в диссонансом всем выступающим, докладывающим о достижениях и просящим денег. Но, может, это и к лучшему — запомнят.

Вечером с Борисом обсуждали макет приложения, сложившуюся обстановку вокруг «Вертикали», пили вино на набережной у Речного вокзала и на Марата у строящегося моста.

30 июня

Вчера обошёл все ближние киоски печати — «Земли нижегородской» в них нет. Позвонил Селезнёву. Он тоже предпринял поиски и нашёл только один экземпляр. За ним надо будет зайти в «Православное слово» к Надежде. Позже, пока я выходил к машине, звонил Адрианов и тоже сообщил, что рецензия вышла.

Сегодня впервые в этом сезоне мылись в своей деревенской бане. Пока лежал и наслаждался жаром — опять думал о съезде. Правильно я сделал, что так выступил. Ведь были же в огромном зале и люди думающие. Они-то могли меня услышать.

1 июля

Утром позвонил Высоцкому и попросил вычеркнуть мою подпись из коллективного



письма по поводу Литфонда. И правильно сделал! Пошёл в «Православное слово». Надежда газету, конечно же, не принесла. Но зато увидел подготовленный плакат о «Вертикали» для книжной лавки на улице Печёрской. Жильцова, уже традиционно, встретил по дороге. Отдал ему выступление на съезде для печати. Оказывается, со слов Шамшурина, выступать должен был он, но Половинкин всё переиграл. Кому верить — не знаю. Но какое болото начинается в Союзе. Нужно держаться от него как можно дальше.

Созвонился с Пашковым. Повёз предложить своё выступление. Он быстро его просмотрел и сказал, что отдаст на машинку. В итоге этот материал могут опубликовать две газеты. Будем ждать. Когда вышел из редакции, увидел, что по другой стороне улицы идут Высоцкий и Климешов. И я чуть было не стал «играть в чужую игру». Заговорщики!

Безрезультатно опять искал номер «Земли нижегородской». Отчаявшись, пошёл в редакцию, и там какая-то женщина подарила мне газету. Зашёл в Союз к Половинкину. Он обрадовался: «А я вам два дня звоню. Хотел ободрить». Из зала моё выступление выглядело провалом. Карпенко недоволен. Из-за шума плохо было слышно и так далее. Значит, я заблуждался в своих оценках реакции зала. Всё было впустую?

Половинкин едет к себе на родину и просит экземпляра три «В-3» для библиотеки. Я рассказал ему о письме, о том, что сам его подписал — но рассказал затем, чтобы мою подпись аннулировали. Если не вычеркнут, попросил это сделать его. Извинился, сказал, что согласен с тем, как он ведёт дело. Владимир Васильевич расстроился.

Вечером позвонил Борис. Опять много говорили и о перспективах альманаха, и о приложении, и, к сожалению, о делах Союза. Правда, о последнем я был сдержан и не говорил. Больше слушал. Да и что было слушать. Как я и предвидел, сразу после выборов — большое бюро, большие интриги и склоки.

В полночь окончил работу над «Другом». Это память о Мише Жаравине.

2 июля

Всё-таки сходил к Надежде за «Землёй нижегородской». Купил «Нижегородскую правду» с материалом о съезде. Ничего неожиданного. Правда, есть рецензия на «Свидание в предместье», которое в драме мы смотрели в один вечер. Её оптимистические оценки мне разделить трудно. (Писала Мухина).

Позвонил Адрианову и поблагодарил за рецензию на «Вертикаль». А у него, оказывается, сегодня день памяти и отца, и матери. «Если ты приедешь, буду счастлив». Что делать — поехал. Позвонил Никитину и пригласил с собой. Он, оказывается, завтра едет с семьёй в санаторий, готовится. Ну, главное — я выполнил своё обещание, позвал его к Юрию Андреевичу. Взял маленькую фляжку водки, поехал. Интересное предложение Адрианова: увековечить память места написания «Лаврентьевской летописи» у Печерского монастыря. Эту акцию может взять на себя альманах, общественное её озвучение. После, оставив машину на Ошарской, сходил в Союз к Половинкину, отнёс два экз. «В-3». «Отлично. Одну для сельской библиотеки, другую для школы».

3 июля

Позвонил Эрастов. Выспрашивал о реализации «Вертикали». Ну что я мог рассказать?.. Так, общие фразы.

По предложению Бориса вечером встретились с ним на площади Ленина. Отдал ему ещё пять экз. «В-3» и уже набранные тексты в следующий выпуск. Может быть, подготовит рекламный буклет. Он показал образец удостоверения сотрудника «Вертикали» и сообщил о форуме «Глинские чтения», который должен пройти в конце июля в Сергиевом Посаде. Нам это по теме. Попробую навести справки.

Порвал с «делом Чугунова».

4 июля

В «Православном слове» встретился с Жильцовым. Прочитал в полосе своё выступление на съезде. Мне понравилось, как они



его подают — солидно и авторитетно. Забрал на складе 23 экз. «В-2». Долго разговаривал с Жильцовым о Союзе. У него была встреча с Половинкиным по поводу письма, и он в курсе о моём отказе. Я опять объяснил своё видение ситуации. Расстались хорошо. Вроде бы дружески и по-доброму. Оттуда же звонил Борису и узнал от него, что вчера в «Нижегородских новостях» опубликовано моё съездовское выступление. Вот это оперативность! Борис сказал, что им «наслаждается» — так оно ему понравилось. Поехал на площадь Горького, купил газеты.

Звонок Саши Блохина. На машине в Киселихе разбился Юра с женой и матерью. Вадим остался один. Я видел этот сюжет по телевидению, но не знал, что это о них. Какая беда, какое горе! Как хрупка и непредсказуема человеческая жизнь.

Созвонился с Надеждой Селезнёвой. Она пообещала вывести текст выступления из компьютера, я хочу отослать его в Москву как своё возможное слово на форуме и сопроводить разъясняющим письмом о «Вертикали». Всё это обдумал, когда вечером совершал прогулку от дома через мост до Чакаловской лестницы, затем вверх по Гребешку до гостиницы Нижегородская и далее через мост домой. И ещё решил написать вступление к поэтическому Приложению Селезнёва. Это подчеркнёт единство изданий. Конечно, если этого захочет Борис.

5 июля

Отдал на замену старый паспорт СССР на паспорт с орлом. Прощай, Империя!

Забрал у Надежды статью. Долго разговаривал с Жильцовым. Он всё вспоминал лагерь. И порой — случаи любопытные, судьбы и характеры удивительные. Звонил Коломийцу, но его опять нет. Кажется, я им всем порядком надоел. Надо прекращать это постоянное общение.

На машинке напечатал письмо для форума «Глинские чтения» и вместе со статьёй отослал в Москву заказным письмом. Сегодня же написал и перепечатал заметку (вступительную) для приложения под названием «Арина».

Позвонил Донской. Спрашивает о своих вещах в «Вертикали». Я сказал, что напечатаю два стихотворения. Донской обрадовался и пообещал материальную помощь в начале августа. Затем позвонил Борис. Кроме всего прочего, предложил ему поговорить с информатором о форуме, чтобы представить нас оргкомитету и предупредить о моём письме, если есть кому представить и предупредить.

8 июля

Утром звонок Коломийца. Всё набрано. Сразу поехал к нему. Рассказал все новости. Он подарил «В-3» министру национальных отношений во время совещания в Перми. Что-то намечается и по деньгам. Я подписал несколько писем. 15 экз. «В-3» он продал и отдал мне деньги. Для набора оставил своего «Друга», об авторах, стихи Селезнёва, содержание. А набранный текст Алексей Маркович за сегодняшний вечер должен будет прочитать. Гаврилов (х/к «Заречный») опять обманул. Обещал помочь, а сам ушёл в отпуск. Больше звонить ему не хочется.

Пошёл в «Православное слово». Надежда вывела ещё два экземпляра моего выступления с некоторыми изменениями. Настоятель читал вёрстку газеты и сделал три замечания. Два исправления улучшили (уточнили) текст, одно нейтрально. Мне кажется, оно лишь ослабило позицию («бросало к ногам диктатора»). Переговорили с Надеждой и о работе над макетом. А вечером позвонил Коломиец. Он прочитал все тексты, всё ему понравилось. Но подборку Селезнёва никак не приемлет. Я и сам считаю, что она не очень удачна, но что делать? Коломиец подходит к поэзии уж очень рационально, без «образного полёта». Слова должны быть понятны и, как кирпичи, плотно подходить друг к другу. Хотя, так оно, может, и должно быть. Позже позвонил Борис. Тексты набора, которые он должен был сегодня привезти, завтра передаст с Надеждой. Буклет делать пока не начинал и так далее. В общем — как всегда... О звонке в Москву я даже и не спрашиваю.



9 июля

Отнёс Надежде заметку для «Арины». Забрал набор. Жильцов привёз газеты с моим выступлением, тоже взял. Завёз 15 экз. «В-2» и набор Коломийцу. Самого его не было – оставил в кабинете. Набрал номер Бровкина. Он, оказывается, в командировке. А вечером мне позвонил Донской. Сказал ему, что подготовил его публикацию, обрадовал. Позже позвонил Борис. Он пришёл из Союза с испорченным настроением. Опять нападки на Половинкина из-за Литфонда и так далее. Говорит, что на фоне всего этого его порадовала моя заметка для приложения.

10 июля

У Барлита (он ремонтировал датчик в бензобаке). Альманахи и письмо он в «Заречье» отдал, но реакции пока никакой. Видимо, с этой стороны ждать помощи и денег нереально.

Позвонил Донской. Что-то говорил об обложке, но всё это малоинтересно. Ещё раз пришлось ему сказать, что главная задача «Вертикали» — публиковать достойные художественные произведения нашего направления. Задавал он ещё вопросы биографические, собирается что-то писать к моему сороскапятилетию.

А мне надо решать — какую писать следующую вещь. На столе три начатых рукописи: «старинный» очерк «Поездка на Родину», рассказ «Гармонь», нечто о моём деревенском житье. А ещё в голове Санаксарский сюжет о нашей жизни в детские годы. Надо что-то выбирать, приступать к работе.

Звонит Коломиец. Теперь проблема с Донским. Вообще, стоит ли мне допускать этот компромисс? Не ляжет ли он пятном на альманах? Набрано почти всё. Договорились, что к пяти подъеду и мы всё обсудим. Так и сделали. После праведных трудов в кабинете у Коломийца выпили немного коньяку, повспоминали молодость, посплетничали о нижегородских литературных делах, обсудили возможную презентацию после публикации четвёртого выпуска. Я привёз Алексею Марковичу газету «Православное слово» со

своим выступлением, копию статей Адрианова и Пашкова и копию моего интервью в «Нижегородских новостях».

11 июля

Наташа сказала, что звонила какая-то женщина насчёт «Глинских чтений». Интересно. Позвонил Адрианову. Свою небольшую статью он нашёл. Я пообещал сегодня же обязательно забрать.

С Ириной заехали к Лене. Оставил ей «В-3». Затем – к Адрианову. У него уже было приготовлено: Статья «Запечатанная память» 2 м. ст.; стихотворение «Огарок свечи» 1 м. ст.; книжка стихов «Ночь светла» Леонида Граве, где Юрий Андреевич составитель и автор статьи; газета «Земля Нижегородская» с рецензией на «Вертикаль». Хотелось ему поговорить, да я очень спешил. Ю.А. успел лишь показать мне свой доклад на 40 минут о поэзии, прочтённый на семинаре молодых писателей в 60-е годы, да библиографический сборник Кочина со своей статьёй.

12 июля

Целый день промучился. Ходил по квартире, лежал, читал, сидел за столом, но не смог написать ни строчки. На душе тяжело и тоскливо.

16 июля

Опять звонки Бровкину и опять безрезультатно. Позвонил Коломийцу — за дискетой можно заехать завтра. Спонсор, обещавший денег, подтвердил ему, что выполнит обещание.

Позвонил мне Донской, читал длинное стихотворение о моём 45-летию. А затем начал спорить о строчках Сухова в моём выступлении. Пришлось это как-то пресечь, сославшись, что это спор мировоззренческий и беспредметный.

Ближе к вечеру позвонил Володя Жильцов – завтра нужно зайти в редакцию за гонораром.

17 июля

К Жильцову наведался зря — его на работе не оказалось. Позвонил Коломиец. Завтра



уходит в отпуск. Дискета окончательно готова. Её нужно забрать у секретаря. «Сельэнерго...» перечислил пять тысяч рублей.

Вечером уехали в деревню.

25 июля

Только сегодня вернулись из деревни. Дозвонился до «Волгагеологии», забрал там дискету и черновой набор всего четвёртого выпуска. Пошёл пешком домой. Сначала заглянул к Пашкову. Александр отдал газеты с моим выступлением и сказал, что оно ему не понравилось: «Много общего, нет входа в конкретно нижегородские проблемы». Я ответил, что о достижениях и недостатках, о нехватке денег много сказали и без меня. Я же хотел поставить вопрос принципиально — нужна нынешней власти культура или нет, и каково её общенациональное значение для страны.

Зашёл к Бровкину в офис (на крыльцо) — его нет и не будет. Вот такая вторая половина дня. Через улицу Добролюбова, где выпил замечательного холодного пива, по Гребешку и через мост добрался, наконец, домой. Жарко, но терпимо.

Пока шёл, думал, что же меня гнетёт? Что мешает спокойно жить? В деревне читал в «Иностранной литературе» американский, немецкий и французский романы, думал о том, что писать самому. И ещё — что у меня замечательные дочки, терпеливая жена, сносный достаток в доме. Тогда же что так беспокоит? Работа? (Думаю, всё разрешится). Литературно-общественная деятельность? (Здесь многое перекрывает альманах). Тогда что?

В деревне, без всяких вроде бы причин, плохо спал, вставал по ночам, выходил на улицу. Последние три дня именно по ночам пахло бедой — гарью каких-то пожарищ. Горят леса у Рекшино.

Прочитал в «Нижегородских новостях» заметку Пашкова, посвящённую памяти Михаила Раева, и стало грустно. Вспомнил, как сидели у Михаила в мастерской, обсуждали обложку третьего выпуска. Как затем видел его на Покровке и уж совсем недавно около

Университета. Только что был человек жив и... Как всё быстро и просто свершается. Позвонил Пашкову домой, расспросил о причинах смерти (он точно не знает), повздыхали.

29 июля

Деревенская эпопея закончилась. В творческом плане — ноль. Позвонил утром Коломийцу, сообщил, что деньги на счёт не поступали. Был в Братстве. «Вертикали» продано на 50 рублей. Забирать деньги не стал. Встретились с Жильцовым. Он рассказал, как отмечали 100-летие Кочина в Дальнем Константинове. От Союза был автобус. На попытку Жильцова примириться с Адриановым, тот замахаил руками и назвал его «иудой» и «христопродавцем». Это всё со слов Володи.

Полностью оформил «Послесловие» — написал вступительную заметку. Настроение улучшилось. Позвонил Адрианову (он обрадовался), шутиливо сказал, что ему «шлёпнуло» 45 лет и что он хочет со мной выпить водку, которую привёз друг. «Хорошо, хорошо...». Поехал к Юрию Андреевичу. В этот раз посидели хорошо. Пришла Наташа, занялась собаками. Они (Адриановы) подарили мне небольшую живописную работу Юрия Андреевича. Сам хозяин много что вспоминал. Сейчас он готовит своё избранное в честь сорокалетия первой публикации (?). Написана и книга совершенно новых стихов. Спрашивал, выйдут ли в августе «Вертикаль». Когда прощались — очень благодарил, что я приехал.

30 июля

Позвонил Борис. Его опять избрали председателем Литфонда. На Кочиновском юбилее он говорил о «Вертикали» с Плотниковым (подарил ему буклеты) и Шуртаковым. Последнему отослал в Москву «В-2» и «В-3». Шорохова сообщила, что в Питере сделала на радио передачу о «Вертикали» (плёнку обещает прислать) и куда можно раздала об альманахе информацию.

31 июля

Позвонил в «Продоптиму» и передал секретарю для Бровкина суть своей просьбы.



Секретарь потом сообщит мне его ответ. Договорился по телефону о встрече с Гладышевой. Поехал в «Землю Нижегородскую». Опубликовать интервью она готова, только написать его нужно мне самому. Надо постараться. Чтобы позвонить в «Равновесие», зашёл в Союз. Позвонил. Голубев в командировке. А в Союзе очередное заседание Литфонда по свержению Морева. Возвращались с Климешовым, рассуждали о нужности наших изданий и о возможном их выпуске под эгидой нового издания «Грани» при Литфонде. Дальше Павел пошёл к Высоцкому. Дома я узнал, мне позвонили из «Сельэнерго...» (от Коломийца) по поводу перечисления денег для «Вертикали». Сообщил об этом Алексею Марковичу и о том, что переставил его рассказы из конца книжки в блок прозы.

Вечером писал интервью. Очень хочется сказать в нём всё самое главное.

1 августа

Опять Донской звонил и интересовался выходом «Вертикали». Я написал интервью для «Земли Нижегородской». Перепечатал. Получилось почти три странички. Вечером, правда, опять правил, сокращал, но немного. Всё, что хотел сказать, вроде бы получилось. Позвонил в «Продоптиму». Бровкин ещё не появился и не звонил. Сегодня окончательно закончил отношения с Николо-Погостом. Все остатки наших изданий забрал из храма на Сортировке. И здесь поставлена точка.

5 августа

Начались пустые хлопоты. Звонил Гладышевой — текст ей передали (интервью). «Продоптима» — о результате ничего не известно, нет того секретаря, с которым я говорил. «Нижегородские новости» — по рекомендации Пашкова позвонил Юрину Александру Ивановичу насчёт вёрстки «Вертикали». Договорились встретиться завтра. Опять звонок в «Продоптиму» — Бровкин в командировке, о моём разговоре никто не знает (со слов отвечающей мне девушки). Поразительно. Но в этой ситуации виноват я сам. Нужно было спросить имя той, с которой говорил.

6 августа

Отнёс материалы для макетирования в «Нижегородские новости». Первоначальный вариант должен быть готов на следующей неделе. Опять звонил Донской. У него был Селезнёв, сказал о готовящемся поэтическом приложении. Михаил Иванович приглашает к себе, обещает дать 500 рублей на «Вертикаль». Что же, деньги очень нужны, надо ехать, да и просто хочется с ним повидаться в такое тяжёлое для душевного состояния время. Хоть бы макет четвёртого выпуска побыстрее подготовить.

7 августа

В гостях у Донского. Водка, икра, скромный подарок к моему 45-летию, немного денег на «Вертикаль», новые посвящённые мне стихи в выходящей скоро его книжке. Всё душевно и без утомления.

8 августа

Отправился пешком в город. Зашёл к Гладышевой. Интервью она немного поправила и сегодня обещала передать его в секретариат: «Без меня выйдет четыре выпуска. Напечатаю и его, и другой твой материал». В «Нижегородских новостях» встретился с Юриным. Договорились, что макет он подготовит к обеду в понедельник. Зашёл в Союз. Посмотрел у Фигарева альманах «Сергач», позавидовал вступительной заметке Распутина. Ясно, что всё это устроил Шуртаков. Пришёл Рыжаков. Постарел, но выглядит неплохо. Говорили о рыбалке, Солженицине и «еврейском вопросе», Распутине. Мехрибан издаёт на коммерческой основе его «Саньку и Гриньку». Вскоре пришёл Селезнёв. Опять они там заседают и чего-то делят. Вышли с Борисом на улицу до начала заседания, он рассказал о работе над «Ариной», я — об интервью в «Землю Нижегородскую» и о том, что его приложение там заявлено. Подошёл к нам пьяный Саша Высоцкий (рубашка висит из-под ремня, глаза отупелые), говорит, что написал на меня реплику в «Площадь искусств» — ехидную, где обвиняет меня в себя-



любии и возвышении. Звали меня с собой в Союз, да я категорически отказался.

12 августа

Побывал в «Водоканале», наконец-то встретился с главным бухгалтером. Категорический отказ — нет денег. Пешком пошёл в «Нижегородские новости». Забрал макет. Отправился в Союз позвонить. Встретил Высоцкого, Климешова (собирали № 2 своей газеты, принесённой из типографии), Рыжакова, Фигарева. Фигарев позвал меня к телефону и обманом, не предупреждая, передал трубку для разговора с Телешевой. Она посоветовала прочитать какой-то новый роман в журнале «Москва», № 2, 3. А вообще, поговорили по-доброму. Я сказал, что рад разговору после такого долгого перерыва. Затем опять водка. Хорошо, что не соблазнился. Расстались все на улице Добролюбова. Мне пришлось проводить Рыжакова домой. Впервые зашёл к нему. Удивила полная «Библиотека всемирной литературы» (200 томов) в пожелтевших суперобложках.

13 августа

Всю ночь (не без проблем) готовили Татьяну на отправку в Турцию. Легли только под утро. А в 9.00 уже позвонил Донской. Решил успокоить меня, помня моё высказывание при прощании, когда отмечали мой день рождения у него дома, что «вот уже 45 лет, а ничего не сделано, не достигнуто, и оттого тошно на душе». Михаил Иванович, добрая душа, начал перечислять мои достижения и заслуги. Позже, в 1.00, позвонила Гладышева. Они всё-таки собираются к нам в деревню на рыбалку в четверг. Сказала, что Соболев интервью подписал и материал в эту субботу может быть напечатанным.

В «Равновесии» Голубева так и не застал (по телефону), а в «Продоптима» Бровкин был всё занят. Переговорить так и не удалось. Продолжаю читать «Двести лет вместе» (часть 1) А.И. Солженицына. А ещё подумал: «Когда выйдет четвёртый выпуск «Вертикали», обязательно все книжки нужно будет послать В.Г. Распутину».

14 августа

Хотел в «Православном слове» попробовать сделать обложку для «В-4», но у них там какое-то застолье. Ушёл ни с чем. Зато, пока шёл, надумал позвонить Жездрину и серьёзно поговорить о финансировании альманаха. Так и сделал.

Встретились с Володей на площади Ленина. Доехали до Печёрского монастыря, затем в Купеческий ресторан на Алексеевской. Вспоминали прошлое, говорили о сегодняшнем. При расставании я рассказал о своём видении издания и предложил ему быть одним из меценатов. Обещал подумать. Удивительное совпадение. От меня он поехал к Бровкину. Я сказал, что он должен быть в курсе и что у него тоже есть комплект «Вертикали». Володя сказал, что поговорит и с ним. На прощание подписал ему «Вертикаль». Подарил все три выпуска.

А вечером приезжал на площадь Ленина Борис. Я дал ему макет четвёртого выпуска до завтрашнего утра. Надежда должна принести в Братство. Хотя опять может забыть или что-то ещё в этом роде.

15 августа

У Надежды Селезнёвой в Братстве новый удар — в макете не стихи Бориса, а Коломийца, но подписанные «Селезнёв». Звоню в «Волгагеологию», договариваюсь о встрече и еду к наборщице. Смотрим дискету — стихи Бориса есть. Всё перепутал Юрин во время макетирования. Позвонил Борису, чтобы приехал в «Нижегородские новости», а сам пошёл пешком. На Варварке встретился с Чуяновым. Он только что вернулся из Италии. Был месяц с нашим театром. Состояние культуры и отношение к ней в Нижнем его удручает. Обменялись об этом мнениями. Предложил о поездке, о впечатлениях написать для альманаха. Договорились, что он ещё позвонит, всё обдумает.

В «Нижегородских новостях» технически поправили весь макет. Приезжал Борис, вычитал свои стихи. Затем мудрили над обложкой. Опять всё сделано по моему предложению. Вроде бы получилось неплохо. От



Юдина звонил в типографию Университета, узнавал, сколько должно быть страниц в макете. Они меня не забыли. Приятно. А макет получился объёмным – более 150 страниц. По пути из «Нижегородских новостей» зашёл в «Землю Нижегородскую». На этой неделе моё интервью не выйдет. В секретариате добавил в готовый материал несколько слов к возможным авторам – присылайте произведения! Правда, не знаю, сработает ли.

16 августа

Юрин отдал макет, выведенный уже в виде брошюры. Очень удобно и читать, и видеть всю компановку книги. Потом зашёл в Союз, заговорил с Фигаревым о том, что мне нужно место в одном из кабинетов. «Создаёте при Литфонде конторы, которые в перспективе должны помогать писателям издавать книги. А я два года издаю альманах, а своего угла в Союзе не имею». Говорил я громко и раздражённо. В основном раздражала позиция Фигарева: «Поставь шкафчик у меня, садись в актовом зале, номер телефона давай мой – а я тебе передам», – и всё остальное в подобном роде. Ушёл от него разозлённый. На улице встретил Селезнёва, всё это повторил, пригрозив сгоряча – если не решат, подниму шум.

Дома читал и правил макет. Позвонил Чуянов, решил согласовать темы своего материала. В понедельник обещает передать машинописный текст. Затем позвонил Борис. Говорили о помещении в Союзе для альманаха. Итог – надо меня назначить его заместителем в Литфонде, «а я уже освобожу и кабинет, и буду контролировать коммерческую деятельность ООО “Речь”, и так далее. Борис сказал, что сейчас же по этому вопросу будет звонить Половинкину.

18 августа

Вчера в деревню приехала Гладышева с братом, мужем, внуком. Хотели порыбачить. Я набрал закуски, взял бутылку водки, и мы поехали на моё место к лесу, у берёзы. Там муж Гладышевой много фотографировал, а мы понемногу выпивали и разговаривали.

А сегодня вечером звонил Селезнёв. Он, оказывается, ездил в Муром. Хотел пригласить и меня, да я уехал в деревню. С Половинкиным он всё обговорил, тот вроде бы воспринял с энтузиазмом. Правда, появилось много организационных моментов (нужно принять меня в правление, затем – в бюро фонда и так далее), но это пусть они решают. Борис: «Я всё это делаю ради альманаха». Это-то меня и настораживает... Я-то знаю по уже имеющемуся опыту, что объективности от него не дождёшься. Он сказал, что «Арина» почти собрана и частично набрана. Обещал ему к среде подготовить Карасёва.

Идея Бориса – поставить на удостоверение «Вертикали» печать Литфонда. Думаю, это можно (для солидности). Опять напомнил ему, чтобы переговорил с москвичами (из издательства «Отчий дом») о помощи в реализации альманаха. Обещал это сделать сегодня же.

19 августа

У Донского попросил денег в счёт будущих книжек «Вертикали» для оплаты работы за макет. А у него нет, а пенсия будет только 22-го. Вот так неудобно получилось. Больше просить у него денег зарёкся.

У Юрина окончательно поправили макет. Перед тем, как выводить макет на чистовую, решил сходить к Коломийцу. А оказалось, Ал. Марк. недавно прямо из кабинета на носилках увезли в больницу. Направился в «Нижегородские новости». Чтобы переждать дождь, зашёл в подъезд института на пл. Свободы, начал просматривать макет. В заметках в память Митрополита вновь многое исправил (да и ошибки были) – у Юрина опять поправили, и он начал печатать макет на чистовую. Отметили окончание работы у Пашкова чкаловской водкой.

20 августа

Вчера, по моему предложению, был у нас в гостях Борис Ануфриев. На прощание подарил ему «В-3» и «Искушение». А сегодня весь день находился у него в Кстове. Поэтому новостей о «Вертикали» мало. Вечером по-



звонил Чуянов. Он написал свой материал. Договорились о встрече завтра у него дома на ул. Горького.

21 августа

Приехал к Юрину. Его нет на месте. Оставил 300 рублей и дискету Пашкову.

Был у Чуянова. Квартира — это соединённые музей и библиотека. Всё пыльно и неухожено. Свой кабинет он воссоздал, как на Автозаводе, но уют, эстетичность потеряны от захламлённости. Усадил меня читать текст. В материале нет внутреннего состояния (нет позиции, напряжения). Это созерцание — и только. Но и в таком виде часть или даже целиком можно печатать.

Иду в Университет. Оставляю макет и прошу выписать счета. Оттуда направляюсь к Кремлю, читаю у откоса журнал «Москва».

К двум часам двигаюсь в «Нижегородские новости». В коридоре вижу Блудышева, поздоровались как старые добрые знакомые. Получил гонорар, забрал дискету с макетом и обложкой и отправился в Университет. Там выписали счета, а вот обложку вывести не получилось. Созвонились с Юриным, и я опять спешу к нему. Александр Иванович всё заново переписал на другую дискету, а я тем временем позвонил на х/к «Заречный». Гаврилов пообещал в понедельник что-то решить по деньгам для «Вертикали».

Поехал в «Нижновтоп...» к главному бухгалтеру, отдал ей счёт. Оказывается, всё не так, а ведь я дважды всё переспрашивал. Опять нужно переделывать. Только зашёл домой — звонок от Донского. Принесли пенсию. Договорились, что встретимся позже, когда ему привезут готовую книжку с его стихами, и он тогда же вместе с ней пожертвует 1000 рублей на «Вертикаль».

Ну что же, макет «В-4» уже в типографии. Позвонил некий Молостов. Хочет подарить свои книжки (он видел «Вертикаль»). Сам из Кстова. Я предложил ему подойти в Союз писателей.

Звонил в «Волгагеологию». Сказали, что Алексею Марковичу лучше.

22 августа

Борис Селезнёв попросил отнести Надежде материалы о Карасёве. Стихи я подобрал раньше, поэтому пересмотрел, несколько стихотворений убрал и отнёс всё в Братство. Самой Надежды на работе не оказалось, материалы пришлось оставить. В Союзе встретился с Молостовым, затем отправился в «Землю Нижегородскую» (моё интервью в полосе) и в Университет (занёс дискету). Вернулся в Союз (около него оставил машину). Подъехал Борис. Поговорили с ним о Московской книжной выставке, и он мои вопросы по телефону сразу передал в Москву Новосельской: может ли издательство «Отчий дом» купить альманах, или обменять, или взять на реализацию. Она сказала, что на выставку альманах обязательно нужно привезти. Она сама будет его продавать за прилавком.

23 августа

Вчера с Ириной были в гостях у Лены, и она сказала любопытную вещь о «Лестнице»: «Жалко не умершую героиню, а оставшегося героя».

Опять позвонила жена Астахова. Поблагодарила за моё письмо, которое они получили, и сказала, что от мужа тоже привезла письмо и новое стихотворение. Напомнила, что я в письме обещал передать два последующих выпуска альманаха. Договорились о встрече у «Дома книги». Письмо хорошее. Если наши отношения «завяжутся», думаю, Ярослав станет хорошим помощником и интересным постоянным автором «Вертикали». Оказывается, его жена купила нашу «Вертикаль» в «Доме книги» — так он узнал об альманахе. Я попросил, чтобы они передали побольше рукописей Астахова, чтобы постоянно было из чего выбирать.

Подготовил бланки для удостоверения — «Пресса». Должны были встретиться с Селезнёвым, но тот позвонил поздно — опять чем-то занят. Договорились завтра встретиться в Братстве. Я спросил, набрала ли Надежда стихи Карасёва. Наивный. Конечно, ещё и



не начинала. С таким отношением ещё год будет нужен, чтобы подготовить «Арину».

24 августа

Обошёл в округе десять газетных киосков. Нигде не продают «Землю Нижегородскую». Когда вернулся, позвонил Борис — уже от Донского, хотя мы должны были встретиться в 12.00 в Братстве. Борис предложил заехать сейчас, но я отказался. Его необязательность (тотальная) слишком меня раздражает. Позже позвонил Донской. Предложил завтра встретиться.

25 августа

У Донского. Подарил он свою новую книжку и 1000 рублей на «Вертикаль». Взял у него газету «Русский вестник» (спецвыпуск по Григорию Распутину) — бьются о его прославлении во святых. Михаил Иванович очень расстроен качеством работы и отношением Надежды к печатанию его книжек.

После обеда, во время пешей прогулки (через мост, Кремль, площадь Свободы, ул. Горького, мимо Университета и до дома), у Речного вокзала купил, наконец, газету. Интервью очень удачное и конкретное.

26 августа

Позвонил Гаврилову. Договорились встретиться на хладокомбинате. Из университета позвонила Ольга Фёдоровна. Опять проблемы с макетом. Нет страниц 40–41. Это стихи Адрианова. С оставленной мною дискеты они их сняли, но там не сходятся строчки. Поехал в типографию. Оказалось, какой-то сбой выдал компьютер. Всё поправили и макет восстановили. Но где гарантия, что чего-либо подобного нет на других страницах? Нет, следующую книжку надо делать (вычитывать) спокойнее и обстоятельнее. Очень грубые, тяжёлые ошибки появляются в работе. В предыдущих выпусках они уже дали повод позлословить.

В Университете забрал дискету. Макет уже расклеен, и его отдают для изготовления формы. Плёнка с обложкой тоже готова. Домой вернулся пешком. Тут звонок Гладыше-

вой — вышло интервью. Сказал ей, что куртку брата занёс в редакцию, и спросил про деревенские фотографии. Обещала отпечатать и передать мне.

К Гаврилову тоже пошёл пешком. Встретились. Оставил ему письмо и «В-1,3». Договорились, что в следующий понедельник опять созвонимся. Обещал перечислить деньги. Первого выпуска «Вертикали» осталось совсем мало — только последний (неприкосновенный) резерв. Отправился к Барлиту. Снял копии с газеты и послал по факсу Гаврилову, чтобы знал основную концепцию издания, если вдруг начнётся обсуждение по вопросу предоставления помощи.

Совсем поздно позвонил Борис. Из Москвы пока никаких сведений, но ехать мы всё равно собираемся. Хотя бы на выставку. Набор «Арины» Надежда должна закончить завтра.

Вопрос о моём назначении в Литфонд должен решаться 15 сентября на Правлении. Предупредил Бориса, что в деятельности Правления участвовать не буду.

27 августа

Донской позвонил, хочет изменить последнюю строчку в стихах, посвящённых памяти Митрополита. Сказал ему, что это невозможно. Всё-таки свою следующую книжку он хочет издать наподобие «Вертикали» (внешний вид) и в университетской типографии. Попросил узнать цену. Ещё позвонил Юрин. Напомнил о своей дискете (большой). Надо везти. Заодно созвонился с Селезнёвым, договорились встретиться в Союзе и оформить моё удостоверение.

Дискету я отвёз и там же встретил Жильцова. В Союзе Половинкин позвал к себе в кабинет и завёл разговор о моём замеществе в Литфонде. Из разговора у меня сложилось впечатление такого хаоса в их работе, что невольно задумаешься: а стоит ли во всё это влезать. С Борисом встретились, удостоверение сделали, но вышло оно каким-то несолидным, самопальным. Половинкин интересовался судьбой четвёртого выпуска, содержанием. Я рассказал. Похо-



же, несколько удивил его подбором авторов – так много иногородних.

Из Союза же позвонил Никитину. Разговор получился сухой и незаинтересованный с обеих сторон. Вроде бы договорились завтра созвониться и встретиться. Вечером звонок Бориса о подготовке бумаг для вступления в Литфонд. Я же говорил о только что прочитанной статье Геннадия Красникова в «Нижегородской правде», которую он мне передал. О том, что статья ещё раз убедила в правильности выбранного пути для «Вертикали», тональности альманаха — говорить русским языком обо всём русском основательно, глубоко, без суеты и нервов, без лозунгов и призывов. Говорить так, как только говорят о самом важном и родном.

Звонки мои по поводу спонсорских денег сегодня никакого результата не дали.

28 августа

Забыв, что сегодня праздник, пошёл в Братство, чтобы встретиться с Вадимом по поводу продажи книг. Конечно же, всё оказалось закрытым. Зато успел в Соборе приложиться к кресту. Придя домой, в почтовом ящике забрал письмо. Первый отклик на моё интервью — стихи из с. Починки от Гурьянова С.В.

Звонил Селезнёву. По его «Арине» так ничего и не сделано. Из Москвы о реализации «Вертикали» тоже никакой информации.

29 августа

За целый день что сделал стоящего — написал вчерне три письма (Астахову, Гурьянову и Белову — сопроводительные к будущим книжкам «В-4»). Потом написал ещё одно — в журнал «Всерусский собор».

30 августа

Пешком пошёл в «Волгагеологию». Отдал напечатать письма. Пока ждал, приехал Алексей Маркович. Зашли к нему в кабинет. У Коломийца новые стихи — прочитал. Болезнь вроде бы отступила, с понедельника выходит на работу. Затем пришёл Вадим Булавинов, кандидат в мэры Нижнего Новгорода. У него

здесь встреча с избирателями. Познакомились. Показалось мне, что он чересчур суетлив и многословен. Алексей Маркович настаивал, чтобы я ему подписал «В-3». Навряд ли он даже раскроет нашу книжку. После встречи, когда я подготовил письма к отправке (в журнал «Всерусский собор» отослал ещё и свою «Дорогу») и спустился в геологический музей, мы поговорили с Булавиновым пообстоятельнее. Сказал ему, что духовное состояние города тяжелейшее. Рассказал коротко о «Вертикали». Он — о какой-то городской программе в поддержку «вот таких людей». Я не жду больших результатов от этой встречи, но думаю, он должен меня запомнить. Если его выберут, можно будет попытаться встретиться ещё раз с более конкретными предложениями.

2 сентября

Два предыдущих дня праздновали «День города» в Кстове и на озёрах по приглашению Бориса Ануфриева.

Сегодня по телефону Гаврилов подтвердил, что завтра планирует перечислить деньги для «Вертикали». В Братстве на складе сказали, что «Вертикаль» выставлена в пяти точках. Остатки пока я забирать не стал. На улице увиделись с Жильцовым. Опять он завёл разговор об Адрианове, что тот звонит везде и возмущается: «Как можно давать премию города за книгу, которая издана на украденные у меня деньги». Ну и дальше всё в таком же духе, что на самом деле ему дали деньги спонсоры (что, вернее всего, так и есть) и так далее, и что денег Адрианова он не трогал.

Вечером звонок от Селезнёва: «Едем или не едем в Москву?». В очередной раз решаем, что ехать надо, хотя от Новосельской никакой информации нет. Решили выехать пятого утром на машине Бориса.

3 сентября

Предварительно созвонившись с Коломийцем, пошёл в «Волгагеологию» через Кремль. (Возвращался пешком через ул. Добролюбова и гостиницу «Нижегородская»). Но Алексей Маркович уехал на совещание. Оставил



ему копию счёта на тысячу экземпляров «Вертикали». Забрал письма для спонсоров и «моё» стихотворение. Оттуда же позвонил Жездрину. Он с Бровкиным ещё не разговаривал, но обещает на этой неделе. Селезнёв связался с Москвой и позвонил мне. Но опять ничего конкретного. Да, ей очень понравился «В-3», но готово ли на обмен московское издательство и так далее? Всё можно будет узнать только в самой Москве. Ну, что ж, придётся рискнуть. Отступать уже нельзя. Да и нужен этот шаг. Вдруг он что-то решит?

4 сентября

Готовясь к поездке в Москву, забрал в Братстве ещё «В-2». Хочу взять весь остаток «Вертикали» и ещё 4 пачки «Искушения». Пришло ещё одно письмо со стихами из Вачи. Стихи плохие.

5 — 7 сентября

Пятого. С Борисом Селезнёвым утром выехали в Москву. В столице остановились у Ирины Новосельской. В однокомнатной квартире – она с мужем и две малолетних дочери. В этот же вечер пошли пешком с Борисом от Савеловского вокзала до общежития Литинститута. В парке выпивали, говорили. Затем отправились в общежитие к Шишкину. Там опять пили. Говорили о чём-то общем и незначительном.

Шестого. Борис начал опохмеляться и целый день был «никакой». Я нервничал. Первое разочарование – мы приехали не на ту выставку. Эта православная и никакого отношения к 15 Международной Московской не имеет. Но выставка большая, литературы много, и все известные мне издательства представлены. К сожалению, в этот день была продана только одна книжка «Вертикали». Но сколько утвари (от колоколов, митр до икон и крестиков), сколько народу приходит. Около здания на улице огромная вереница с кружками (церковными), просят подать на строительство храмов, собирают на требы, для монастырей и так далее. Вернувшись домой, долго разговариваем с Ириной о том, как «раскрутить» «Вертикаль» в Москве. Вро-

де бы договорились, что она может дать статьи, рецензии, интервью в пять православных изданий. Затем ночью с 24.00 до 2.00 записывали с ней моё интервью. В этот же день у дома, где мы жили, была автомобильная авария. Кроме разбитых машин, пострадали женщина и ребёнок – прохожие.

Седьмого утром я уехал на ВДНХ. 15-я Московская международная книжная выставка. Пиршество книг. Но почти совсем нет книг русского национального направления (подразумеваю Распутина, Белова, Астафьева и так далее). Сильно представлены еврейские издательства, хабардисты. С последними я общался, посмотрел фотовыставку, посвящённую Хабарду, выслушал краткую лекцию о его жизненном пути тут же подошедшего гида (женщина, «кандидат медицинских наук», как она представилась). Великолепные павильоны у издательств «Олми», «Молодая гвардия»... Много писателей, подписывающих книги. Впечатлений много. Есть что осмыслить и, возможно, написать. Пока меня не было, Ирина и с Борисом записала интервью. Новосельская попросила сделать ей удостоверение, чтобы легче было представлять интересы «Вертикали». Хорошо, если бы Ирина не остыла.

Оставил у них пачку (40 экз.) «В-3» и на выставке для продажи 8 и 6 экз. «В-2» и «В-3». Домой выехали ближе к вечеру. Я был за рулём «от порога и до порога». Ближе к Нижнему – две аварии. В одну, крупную, я чудом не врезался сам: разбитая машина стояла посередине тёмного шоссе.

8 сентября

Пока меня не было, пришло ещё одно письмо из Сокольского от пожилой неграмотной крестьянки, и звонил несколько раз Донской. Не удержался он и сегодня утром. Ждёт «Вертикаль» и просит заняться последним его сборником, помочь в издании которого я обещал раньше. Я дал согласие.

9 сентября

Один из дней, когда хочется выть. Уныние!!! В Сбербанке денег нет. Несколько звонков



Гаврилову в течение дня. Он со мной не разговаривает, отпихивает секретарю. Звоню Иудину. Он продал одну «В-3», 20 штук отдал на реализацию в Семёнов. Остальные звонки по списку — всё впустую. Пешком (через Кремль) иду в «Нижегородские новости» по поводу книжки Донского — Юрина на месте нет. Всё сегодня против меня!

Возвращаюсь в «Землю Нижегородскую». Получаю небольшой гонорар и захожу к Воронцовой в секретариат. Мою заметку они пока не опубликовали, всё откладывают на потом. Им нужны рассказы (а не мои изыски о высоком и вечном — жалкие потуги). В типографии Университета формы отлиты. Молодцы! Мастера делают свою работу, не дожидаясь оплаты с моей стороны.

Только в начале шестого (до этого сократил статью о Селезнёве до возможной публикации — ту, что написал для него «Дых.») дозволился до Гаврилова. Платёжку он подписал, деньги уйдут завтра. Немного повеселев, позвонил домой Коломийцу. Очень тепло, душевно поговорили. Он подарил «Вертикаль» своему хорошему знакомому, заму Примакова. А завтра идёт на юбилей в Статуправление, тоже подарит «Вертикаль», а я (так мы решили) приложу свою книгу. Ну, и Алексей Маркович попросит для нас денег. Я опять предложил «плотно» подумать об издании нашей совместной детской книжки, на что Коломиец полностью согласился. Договорились завтра встретиться.

Вечером подготовил статьи для Москвы — свою и Адрианова.

10 сентября

Пеший поход к Коломийцу (туда и обратно), у него, оказывается, отключили электричество. Пришлось всё оставить (статьи для набора, публикации для копирования) и уйти. Возможно, электроэнергию дадут к вечеру. Можно будет подойти и что-то сделать. Подписал «Искушение» заму губернатора (начальнику Статуправления) — у него сегодня шестидесятилетие. Алексей Маркович сказал, что передаст вместе с «Вертикалью». О рабочем месте для меня тоже вроде бы

решено, но окончательно будет ясно после отпуска Коломийца.

Позвонил в Москву. Говорил с Алексеем (Ирина на ярмарке), который мне передал свой электронный адрес. Наконец, зашёл в магазин «Скит» на Печёрской. Стенд «Вертикали» (который они оформили по собственной инициативе) пуст и убог. Оказывается, там подвизается та же девушка, что работала в библиотеке на Автозаводе в Православном центре. Она меня сразу узнала, даже обрадовалась. Опять поехал в «Волгагеологию». Копии публикаций уже были сделаны (статьи о «Вертикали», мои интервью) — два комплекта для меня и несколько для Алексея Марковича. Статьи тоже набирались.

Впервые совокупно увидел итог своей пиаровской работы и искренне удивился. Десять статей и интервью, две заметки в «Земле Нижегородской», упоминание ещё в нескольких изданиях. Передача на радио, упоминание на телевидении, встречи с публикой... Пока ждал набора, позвонил на завод Петровского (Репуленко) и договорился о завтрашней встрече с хозяином завода. Когда Валентина принесла всё набранное, письмо в Сокольское подготовил к отправке, а статьи (Адрианова и мою) по факсу отправил в Москву.

Домой опять вернулся пешком. Ну и находился же сегодня! Пользуюсь последними погожими деньками.

11 сентября

Сначала заехал к Пашкову и отдал статью, пояснив, что с её помощью хочу привлечь к альманаху авторов. Он меня поднял на смех: «Так авторов не найдёшь, только графоманов». Моя небольшая почта этому подтверждение. Дал он мне телефон одного журналиста с Бора (Вострилов Анатолий Васильевич) и рассказал, что тот написал интересную книгу о своём селе, о женском монастыре и так далее. Надо с ним связаться. Свой материал я хотел забрать, но Пашков попросил оставить: «Может быть, мелькнёт идея...»

После этого разговор с Репуленко на заводе Петровского. Их интересует только



коммерческая сторона вопроса. Я так разошёлся, что и сам во все свои слова поверил. А придя в Братство и получив всё те же (о которых мне говорили два месяца назад) пятьдесят рублей за проданные «Вертикали», отрезвел и загрустил. Никто альманах не покупает!

В редакции «Православного слова» оставил второй экземпляр статьи. До этого с Жильцовым говорил о ней по телефону.

12 сентября

Позвонил в редакцию Жильцову — мой материал он отдал набирать. Позвонил Коломийцу — на юбилее он все наши книжки вручил вместе с письмом о помощи, в которой тут же и отказали за невозможностью. Попросил вывести ещё один экземпляр статьи и подготовить подборку стихов рекомендуемой им женщины.

В «Православное слово» отнёс Надежде для Бориса сборник Новосельской и подборку стихов Коломийца. Сама она больна. Оставил всё у Жильцова. С ним же просмотрели мой материал и оставили без изменений. Статью уже поставили в номер.

В Сбербанк пришли деньги от Гаврилова — 15000 рублей. И я задумал написать статью о меценатстве, благотворительности. И написать сегодня же, не затягивая.

13 сентября

Пешком к Коломийцу. (Кремль — «Волга-геология» — ул. Добролюбова — гостиница «Нижегородская»). У него забрал ещё один экземпляр своей статьи. Хочу показать её в «Нижегородской правде» (на обратном пути зашёл в редакцию, но Мухиной не оказалось). Позвонил на Бор Вострилову. О «Вертикали» он слышал и статьи мои читал. Договорились о встрече в понедельник у Пашкова. Позвонил в Москву Ирине. Статьи ей очень понравились. На этой неделе она отчитывается за ярмарку и на следующей займётся делами «Вертикали». Когда шёл к Коломийцу, у Нижполиграфа встретил Пашкова. Мой материал он решил поставить на следующей неделе в виде небольшой заметки.

Вернулся пешком домой — тут звонок Жильцова. Сегодня и завтра в городе проводит встречи Супринин. (А я уже уходился). Сегодня — в конференц-зале «Нижегородских новостей». Это было бы удобно. Но не успеваю.

16 сентября

Занёс Мухиной в «Нижегородскую правду» всё тот же материал о «Вертикали». Сказала, что напечатает. У Пашкова встретился с Востриловым. Материал у него, похоже, действительно есть, но не при себе — подготовленного и отпечатанного текста не привёз. Оказывается, он ещё с Адриановым ездил на Всесоюзное совещание молодых писателей. В 1968 году выпустил сборник стихов в ВВКИ, в 1987 году — второй. И вот так ничем закончилась его литературная судьба — 40 лет оттрубил в районной газете. Говорит, что ему не повезло с обстоятельствами. Нет, человек сам в своей жизни должен расставлять приоритеты.

Зашёл в «Землю Нижегородскую». Гладышеву не застал, но оставил ей на столе сильно сокращённую свою статью о Селезнёве. Вернулся к машине (у «Нижегородских новостей») и неожиданно начал писать рассказ «Убитый голубь» прямо в машине. Рассказ вроде бы «пошёл». Не потерял бы его.

17 сентября

В Братстве Вадима не застал, но зато в редакции полистал том священника из Балахны, где собраны все сведения о родословной Рюриков (720 страниц энциклопедического формата, твёрдый переплёт с золотым тиснением, бумага твёрдая, белая). Сердечно, чуть не до слёз, порадовался этому изданию. 25 лет трудился священник над этой книгой. Как замечательно, что такие труды появляются в наше время!

Взял газеты со своей статьёй, а Вадиму буду звонить позже. Позвонил Жездрину. С Бровкиным он разговаривал. Тот ничего не помнит (ни разговоров со мной, ни «Вертикали»). Договорились с Володей, что я Бровкину по факсу пошлю письмо и одновремен-



но сообщу Жездрину — тот сразу ещё раз переговорит с Николаем по телефону. Самому Володе передал письмо через Ирину.

Пошёл пешком к Барлиту и попал под дождь. Оставил Толику сегодняшнее «Православное слово». Завёл разговор о помощи Украинскому обществу (чтобы потом провести её на нужды «Вертикали»), но оказалось, что Барлит этот вопрос на совет директоров уже выносил и ему отказали. При мне какой-то парень вернул Толику журнал «Духовный сад» и копию моего интервью в «Земле Нижегородской» — Барлит пропагандирует моё творчество.

Пока вечером был в гостях у Толика, звонили домой Селезнёв, Репуленко с завода Петровского, Светлана из Тюмени. Когда вернулся, позвонил ещё и Адрианов. Попросил помочь перевезти книги. Я, конечно же, согласился. Он тут же перезвонил и сказал, что сделает это сын, а меня попросил («Ты меня не бросай!») вывезти куда-нибудь из дома. Я пообещал на этой неделе.

18 сентября

Утром звонок от Репуленко. Хозяин всё подумал и готов встретиться. У него будет ко мне какое-то встречное предложение. Встреча в понедельник — вторник.

В «Волгагеологии» напечатал письма Бровкину, Жездрину и себе для работы. (Перед этим я зашёл на Покровке в Сбербанк и открыл новый счёт для «Вертикали»). Вывели копию статьи. Снял копию со вчерашней публикации и позвонил в Тюмень. Позже Антонина Матвеевна по факсу отправила письмо Бровкину. Но дошло оно или нет — выяснить не удалось.

Зашёл в Братство к Вадиму. Он согласился взять «Вертикаль» в Москву для обмена. Цена, мною предложенная за экземпляр, — 15 рублей. Вадим с ней согласился. Сегодня же вечером подготовил пачки к отправке. Всего пять по 40 экземпляров в пачке.

Позвонил Борис. Стихи Коломийца для «Арины» он подобрал, просит написать вступительную заметку. Макет приложения «вчерне» готов. Есть надежда, что в пятницу

он будет выведен на бумагу. Попросил Бориса позвонить в Москву Ирине и узнать: как продавалась «Вертикаль» на ярмарке, начала ли она заниматься статьями об альманахе и подготовкой материалов для него?

19 сентября

Отвёз книги в Братство. Пешком ходил в Литературный музей. Хотел забрать все свои книги, но когда увидел их выставленными на витрине, передумал. Поговорили с директором. У них осталось 4 экз. «В-2» и моё «Искушение». Всё оставил. Сегодня же Ирина передала Жездрину письмо на «В-4». Сам я звонил ему несколько раз, но безрезультатно.

20 сентября

Перед отъездом к Барлиту в сад на охоту подготовил свои материалы для «В-5» — «Обретение России» и «Мастера». Но уверенности, что именно их надо ставить, нет. Особенно «Обретение России» — объём получается большой (29 машинописных страниц), а в качестве я не уверен. («Нравоучительные и полемические сочинения Максима Грека», «Две эпохи митрополита Вениамина (Федченкова)» и «Пустынножители»).

23 сентября

Позвонил: Гладышевой — статья о Селезнёве пойдёт; Пашкову — из моего материала он сделает свою заметку и поместит на своей странице в какую-то из сред. Мне вся эта ситуация как-то не очень... Вострилов принёс ему свои материалы. Их отдадут на машинку, и к концу недели они будут готовы; Голубеву — теперь он не в автомобильном бизнесе. Меня помнит, но помочь не может.

Побывал в Братстве. Перед этим всё думал, что бы им предложить для публикации. А сам за выходные написал для «Арины» заметку к стихам Коломийца, которую и хотел отнести Надежде. «Так её и надо предложить», — подумал я. Когда пришёл, Надежда уже уходила. «Болезнь не дают, заставляют заниматься вашими дурацкими альманахами», — сказала она уходя. Прекрасно!!! Отдал



заметку Жильцову. Он попросил добавить о религии. Я тут же добавил, и он положил материал для набора. Предложил послать альманах в Волгоград на конкурс «Международного фонда Александр Невский» (Копию письма я забрал, см. папку архива). Затем Володя выдал гонорар, который мы с ним доблестно пропили в закуской в магазине нашего дома, рассуждая о «еврейском вопросе», о делах СП и «Вертикали». Объяснял ему, что нужно заниматься имиджевой рекламой, писать друг о друге и так далее. Сказал, что хочу написать статью о его творчестве. И это искренне.

24 сентября

Подготовил бумаги к отсылке в г. Волгоград. К вечеру побывал в «Волгагеологии». Отправил «Дорогу», «В-3», анкету, короткое письмо о себе. В кабинете Коломийца удивился, как мало осталось у него «В-3», а «В-2» вообще нет. Остатки трогать не стал. Пусть раздаёт. Через Алексея Марковича альманах попадает к умным и достойным людям. Угнетает только, что совсем не идёт продажа. А на спонсорских деньгах сколько мы ещё продержимся?

25 сентября

После ненастья сегодняшний день замечательный — прохладно, солнечно, безветренно. Во второй половине дня заехал к Адрианову, но поговорили только через дверь. Наташа куда-то ушла и взяла с собой ключи. Я прогулялся по парку Кулибина, по окрестным старым (но уже застраиваемым) улочкам. Старый Нижний совсем исчезает, и от этого грустно, особенно осенью, такой светлой, красочной.

Погуляв, вновь зашёл к Адрианову. Результат тот же. И он очень расстроился. Просил зайти ещё, попозже. Но я уехал домой, машина всё это время стояла у подъезда Юрия Андреевича. Вечером он звонил мне домой, извинялся. Сказал, что опять подписал какие-то книги Чугунову, Гофману, Селезнёву, чтобы я передал. Мне же этим заниматься совершенно не хочется.

26 сентября

Встреча на заводе им. Петровского с Крюковым Владимиром Александровичем. Результаты разговора ошеломляющие. Ещё начиная работать над альманахом, я верил, что есть богатые промышленники, поддерживающие национальную идею, и подобное издание будет востребовано именно как идеологическое. Похоже, я на таких «набрёл». Правда, разговор получился сумбурным, но в результате договорились: «В-4» он оплатит. Помещение под офис даст. Деньги на «раскрутку» издания тоже, но я должен ко вторнику набросать примерный план действий. Далее – всё печатать в типографиях, которые арендуют площади у завода. Он организует встречу с группой промышленников-единомышленников.

Я предложил подобрать для него материалы, которые бы полнее раскрыли суть моей работы (мои публикации) и привезти завтра их на завод. Разговор длился у нас очень долго. Затем Крюков проводил меня до выхода из завода, показал на первом этаже комнату для моих нужд (предположительно). Правда, он ещё не читал «Вертикали». Но я понял, как и писал в альманахе, что ему и на общее национальное достоинство потрудиться хочется и выступить в роли мецената.

Сегодня же вечером подобрал статьи о «Вертикали» и свои публикации (всё перед Ирининым днём рождения), чтобы завтра отвезти.

27 сентября

Подписал альманахи и «Искушение» Крюкову и Репуленко. Но на завод попал только в обед. Удачно встретился с Барановым и передал пакет для Крюкова. Книги для Репуленко пока остались у меня. Проехал к Коломийцу. Напечатал письмо для Крюкова (на вторник), долго разговаривали о поэзии. Алексей Маркович читал стихи Пушкина, Шпаликова. О «Вертикали»: «Со следующей недели плотно займусь вопросом добывания денег».

Оттуда же позвонил Новосельской. Фотографии свои и мужа она выслала Борису. На



следующей неделе что-то понесёт из материалов о «Вертикали» в газету. В общем, как я и предполагал, всё рутинно и без движения. Действительной помощи ждать от неё не приходится. Жаль. Прошло три недели, как я отправил ей статьи.

Опять сегодня звонил Донской. Ждёт «Вертикаль». Разговаривал он с Селезнёвой по телефону. «Арина» ещё не готова. Когда же, когда же она выйдет?

28 сентября

Уже ночью начался дождь и сильный ветер. Сегодня с Ириной хотели ехать в деревню, но отложили. Вечером уезжаю в Москву — билеты взял ещё вчера.

Утром позвонил Пашков. Встретились под дождём у моего подъезда. Он передал два материала Вострилова для «Вертикали». О Серафиме Саровском я уже просмотрел, и он не пойдёт — это пересказ давно известных фактов, без собственного переживания, проецирования на свою жизнь.

Составляю план мероприятий для новой жизни «Вертикали», который собираюсь показать Крюкову. (А, может быть, пятым сделать не альманах, а сборник прозы? Эта мысль пришла вчера вечером, когда отправился на вокзал покупать билет в Москву).

1 октября

Вчера вечером вернулся из Москвы. Ирина сказала, что звонил Адрианов. А сегодня поехал в Университет, исправил счёт для «Гортопа» и подготовил страничку благодетелей, которую они отпечатают, а я постараюсь вклеить в некоторые из сборников. Тираж «Вертикали», четвёртый выпуск, отпечатан и упакован полностью. Забрал для себя пять экземпляров. Обнаружил некоторые недочёты в макете. Но в целом — доволен.

Поехал на завод Петровского, встретился с Крюковым. Передал ему счёт на оплату «В-4», своё письмо и перечень первоочередных затрат: регистрация издания — 500 рублей (утром позвонил, уточнил); открытие счёта, печати и так далее; помещение для офиса; оргтехника: факс, компьютер; наборщица,

корректор — 5000 рублей; художник (разработка обложки и оригинал-макета) — 500 долларов США; оплата четвёртого выпуска «Вертикали» в Университете; коммерческое издание книги (сборника).

Счёт он оплатит на следующей неделе. Разговор был опять долгим и чрезвычайно интересным в смысле перспективы дальнейшего издания (образование ЗАО, регистрация, распространение через фельдъегерскую службу, оплата гонораров авторам, встреча с авторами в Нижнем или Москве). На заводе «Вертикаль», как я понял, полистали, и, похоже, не всё им понравилось (ну, внешний вид — это понятно, а по тексту я ничего внятного от Крюкова не услышал). А вот для своей компании он попросил меня (в виде заочного знакомства) написать автобиографию. Я предвидел, что они с осторожностью будут допускать к себе нового, неизвестного человека. Расстались, договорившись, что я позвоню на прямой телефон в субботу.

Пришло ещё одно письмо из Дзержинска — 5 страничек на машинке прозы и, на первый взгляд, неплохо. К субботе нужно составить список писателей для приглашения к сотрудничеству и список мероприятий для пиаровской раскрутки альманаха.

2 октября

В Братстве: «В-3» в Москву для обмена увезли. Забрал на складе 13 экз. из розницы. Тоже «В-3». В редакции взял газеты с уже опубликованной заметкой о Коломийце. (Тут же и гонорар Жильцов выдал).

Ещё до поездки в Братство ходил в «Гортоп», отдал исправленный счёт из университетской типографии. Прочитал материал Вострилова «Отец Иоаким, пастырь душ человеческих». Да нет, всё это скучно и никак не подходит. Это даже не краеведение, а сухой архивный материал о фактах мелких и незначительных. Если бы во всё это вдохнуть жизнь через судьбу главного героя, человеческую судьбу, показать его живой образ — тогда другое дело. А так — скучно и непонятно, для чего написано. Дзержинский-автор о ма-



тушке написал и ярче, и небезразлично – сопереживательнее.

Позвонил Селезнёву, сказал и о заметке про Коломийца для «Арины», и о вышедшей «В-4». Затем связался с Прибутковской по поводу раскрутки нового альманаха. Договорились завтра встретиться на телевидении. Но одну идею она уже подбросила — надо выходить на дорогие издания, предназначенные для богатых людей. (Уж коль издавать альманах, то как следует). Почему я думаю, что нет единомышленников? Ведь вот нашлись.

Разговаривая сегодня вечером с Ириной, неожиданно набрёл на мысль: что, если «Вертикаль» оставить жить в сегодняшнем состоянии, и начать издавать совершенно новый альманах (дорогой), назвав его «Русский альманах»?

Перезвонил Селезнёв. Завтра я заберу рабочий макет «Арины» у Надежды. Опять долгий разговор и благие пожелания — мечтания о «Вертикали». Я же ему сказал о деятельности Ирины в Москве, попросил с ней связаться и уточнить: начала ли она что-либо делать в отношении «Вертикали». Борис сказал, что появилось много публикаций о юбилее (70 лет) Белова. Я тут же достал черновик письма Василию Ивановичу и вписал свои искренние поздравления.

3 октября

В Братстве взял макет у Надежды. Сказал Жильцову, что вышел «В-4». Он сразу попросил его принести, чтобы газета напечатала информацию и что-нибудь из «Вертикали»...

Поехал наверх. Машину оставил на ул. Малой Покровской (Воробьёвка) у КГБ и пешком пошёл в «Нижегородскую правду». Мухиной передал «В-4», а она мне газету за 24 сентября с моим материалом об альманахе; в «Землю Нижегородскую». Гладышева попросила заочно просмотреть набранную мою заметку. Пока я читал её в секретариате, стало известно — эту страницу полностью снимают и переносят на следующую неделю.

Вернулся к машине и поехал на телевидение к Прибутковской. От неё позвонил Жездрину. Сказал, что давно отправил факс

Бровкину. С самим Володей договорились встретиться в понедельник. С Бровкиным он опять обещал переговорить. Чужанову позвонил спонтанно (увидел раскрытый внутренний справочник на столе с его фамилией). Он болен. Перезвонил домой и предложил вернуться к разговору об «итальянском материале». (О «Вертикали» у него был разговор с Адриановым). Договорились, что он мне перезвонит, когда выздоровеет. Адрианову сказал, что заеду и привезу «В-4». Юрий Андреевич об этом очень просил.

Затем разговор с Прибутковской, с перерывом на её интервью для радио. Идеи у неё любопытные относительно раскрутки нового альманаха: материалы надо дать в «АиФ», «Комсомолку» (Нижегородские выпуски), журналы «Самокат» и «Нижегородский предприниматель» (туда она сразу позвонила и передала мне трубку. В итоге я договорился о встрече после 15 октября. Материал будем готовить в ноябрьский номер). Газеты «Биржа» (предложил я) и «Монитор». Подумать ещё над «Автостопом».

«Туда везде надо платить, но если ты пригласишь в город Белова, они бросятся брать у него интервью через тебя, и тогда все материалы будут бесплатно». И ещё одно предложение. Делать небольшую программу на телевидении (5–10 минут) раз в две недели. Стоит это около 10000 рублей за один выпуск. Но тогда это приведёт к известности издания через редактора.

От Нины поехал к Адрианову (с водкой и сигаретами), он опять передал для Селезнёва, Гофмана, Чугунова сборники «Пояс Богородицы» (у меня это третий). Юрий Андреевич сейчас пишет мемуары, много всего вспомнил. Попросил опубликовать что-то в альманахе, и я с готовностью согласился. По моей просьбе он подарил свою фотографию с надписью. Я пообещал, что 12-го или 13-го приедем к нему с Селезнёвым.

4 октября

Отнёс макет «Арины» и сборники Адрианова (Борису и Гофману) Надежде. Передал «В-4» в «Православное слово», Марина Смирнова



передала мне тетрадку со стихами какого-то молодого паренька с Автозавода. Стихи ученические и не пойдут: «Просил передать лично в руки». Может быть, потом сделать какой-то обзор почты?

Обдумывал содержание «Русского альманаха». В итоге родился некий план по его раскрутке, список писателей, которых хотелось бы пригласить к сотрудничеству, и примерное содержание первого выпуска. Всё это выписал на бумагу. Что-то из этого покажу завтра Крюкову.

Разговаривал с Селезнёвым по телефону. Все мои замечания по «Арине» он принял. Предложил ему разбить альманах на три части-раздела. Средний раздел – «Перекрёсток» (?) снабдить в конце обобщающей статьёй, выявив некую общность представленных в нём авторов. Завтра Борис должен передать мне макет для написания статьи – «больше писать некому». И хотя мне сейчас никак не до неё – придётся что-то написать.

Пока вечером гулял, звонил Адрианов. Беспокоится, что об альманахе не знает министр культуры Соболев, что это издание обязательно нужно передать в Литературный музей и в областную библиотеку. Если Юрий Андреевич замолвит за альманах словечко там, где это нужно, то это словечко дорогого стоит.

5 октября

Несколько раз звонил Крюкову по обоим телефонам, но трубку так никто и не снял. Перечитал повесть Миши Жаравина «Холостой выстрел» в «Севере». Приготовленные рассказы даже не стал читать. Повесть – то, что надо в новый альманах.

Приезжал Борис. Привёз макет, чтобы я написал обзорную статью. Опять разговор, что ничего не читают, ничего не покупают. (Будто не существует в стране сотен издательств, и не выпускаются тысячи книг в год). Я понервничал и поговорил с Борисом раздражённо, конечно же зря, о чём жалею. Надо позвонить и извиниться.

Сегодня же уехали в деревню, там решил, что для «Русского альманаха» подойдёт и мой «Сезон», только переписать (осовременить)

начало, и вместе две наших повести будут отлично читаться под одной книжкой.

7 октября

У Коломыйца снял копию из «Нижегородской правды», оставил «Православное слово» с моей заметкой об Ал. Марк. Набрали письма Белову и в Дзержинск. Последнее сразу подготовил к отправке. Опять завёл разговор о деньгах. Коломиец при мне отобрал визитки, куда следует позвонить, и даже набрал один номер, но ему отказали. А я позвонил Крюкову (у него совещание) и оставил информацию о себе. У секретаря в бумагах нашли моё письмо для Бровкина – я его забрал.

Пешком – до «Нижегородских новостей» (Пашкова нет) и Нижегородского сбербанка (обед). Уже из дома опять позвонил Крюкову – он в Балахне.

Начал (ещё утром) писать обзор для «Арины», а самого мучают сомнения: нужно ли? Вечером всё-таки закончил (получилось что-то совсем не то), сомнения остались.

8 октября

Перепечатал заметку для «Арины». Позвонил Жильцов: «Тебя с Мариной Смирновой вызывают в Волгоград». Пошёл в Братство, отнёс «Арину» (рабочий макет и мой материал) и заодно выяснил о Волгограде. Телеграмма пришла в редакцию, и приглашают их. Меня никто не зовёт. Я и не поеду.

В Союзе нарвался на звонок Телешевой. О «Вертикали» ни слова. На Алексеевской встретился с Мирабом Буркадзе. Опять говорили о статье для «Вертикали» по вопросу культуры Грузии.

Позвонил Жездрину, сказал, что приеду к нему в 19.00. И вдруг – дождь, потом снег – погода ужасная. С трудом заставил себя одеться и выйти, но не забыл прихватить письмо для Бровкина. Вечер получился хорошим, уютным. Говорили и о вопросах вечных, возвращались в прошлое. О письме я помнил, но так и не передал. Не захотелось нарушать сложившейся тёплой атмосферы. Возвращался в темноте – снег, дождь. (Вспо-



минал: Татьяна, жена Володи, говорила, что и она, и их зять прочитали моё «Искушение»).

9 октября

Звонок от секретаря Крюкова. Даёт мне телефоны замредактора «Город и горожане» (Чурухов Пётр Иванович): «Я поняла, что вы говорили с Влад. Алекс. по поводу издания «Вертикали». Он вчера встречался с Чуруховым. Подробности встречи я не знаю, но поняла, что об этом...» У меня предчувствия самые дурные. Похоже, Крюков от своей идеи отказался. (Позавчера он был в Балахне у одного из «своих», и тот, вероятно, его отговорил).

Донской позвонил, ждёт «Вертикаль». Макет для него Надежда ещё не сделала. А сам он пообещал финансово помочь «Арине», поэтому мне пока не может. Завтра отвезу ему свой экземпляр «В-4».

Сбросил на пейджер информацию Чурухову. Он перезвонил. Договорились о встрече сегодня в редакции, на улице Алексеевской, 15.

После обеда опять звонки с завода секретаря и Крюкова. Он волнуется, что уезжает в Москву, а с оплатой «Вертикали» что-то не получается. Вернётся лишь в пятницу. Я ответил, что и в пятницу не поздно.

С Чуруховым проговорили полтора часа. Опасения мои не оправдались. Он рассматривал (по просьбе Крюкова) ситуацию с альманахом с коммерческой точки. (Идея с изданием подобия «Паломника» принадлежит ему.) Вроде бы пришли к решению издавать в цвете, художественно-иллюстрированный ежеквартальный стостраничный альманах размером журнала (глянцевого). Он должен всё просчитать до вторника.

Позвонил Донской, когда я пешком вернулся домой из «Города и горожан», попросил завтра захватить у Надежды макет его книжки.

10 октября

В Братстве встретился с Надеждой (бумаги для Донского) и с Вадимом. Вадим: «В-3» в Москве. Почти всё обменяли. Кажется, в «Православном слове».

У Донского почти четыре часа. Водка под красную икру, чтение его новых стихов (это тяжело — настроение было иным), разговор по телефону с Селезнёвым (сказал ему, что женские стихи слабы, кроме Шороховой, и если моя заметка не понравится, он может её выбросить).

Дома записка: «Перезвонить в приёмную Крюкову». Перезвонил и поговорил с секретарём Юлей. Но, по-моему, звонок был не от неё.

11 октября

Позвонил Мухиной и уточнил, есть ли в редакции материал о книжке Сатирской. Раз нет, пообещал принести сам. И тут же утром дописал заметку и перепечатал. Отвёз Мухиной и прошёл к Коломийцу за книгой «Избранного», т. 2, архиепископа Иоанна Сан-Францисского (Шаховского). Алексей Маркович сказал, что с Чижовым вопрос по деньгам решил. Сейчас он уезжает в Москву, а через неделю всё доведёт до ума. Неожиданно в разговоре родилась идея написать письмо с просьбой предоставить материал Сергею Глазьеву прямо в Госдуму. От этой темы отказываться не следует. Да и откладывать в долгий ящик тоже.

Коломиец очень просил хоть одну книжку «В-4» с собой в Москву — там он хочет показывать все наши «Вертикали». Предложил ему вместе съездить в Университет и попросить. Что и сделали. Взяли ещё 25 экз. Десять забрал я, десять — Коломиец, а пять — Белову. Я передал Алексею Марковичу письмо и адрес, он сегодня же пообещал отослать в Вологду. Дома меня «прострелило» — а гонорар?! Позвонил домой Коломийцу. Он пообещал вложить деньги в понедельник и всё отослать. Но он «обескуражен»: в его «Троице» нет двух рассказов и нет «Алькиной войны». Я в свою очередь: «Так ведь дискету с рассказами давали вы сами. А затем и макет читали». Новый выпуск — и опять проблема. Со следующего номера нужно всё внимательно просматривать. А недостающих рассказов нет, вернее всего, на дискете, но для успокоения совести надо проверить.



Позвонил Селезнёв. Он подготовил бланки удостоверений для Москвы (Новосельским). Сказал ему, чтобы подписывал сам и отсылал. Верю я в эту затею мало. Вернее, совсем не верю. Разочаровался. Предложил Борису заехать, забрать «В-4» для себя.

12 октября

Читал Астахова. У меня впечатление, что его проза — это смесь библейского языка и видеоряда современного блокбастера. Что с этим делать?

Отвёз, наконец, кухню на Бор и позвонил Смирновым. Договорились, что приеду, привезу им «В-4». Они хотят передать для публикации ещё материал.

К Смирновым запоздал. Но всё равно вечер получился хорошим. По их просьбе написал альманах. Просматривал рукописи книги воспоминаний Веры Дмитриевны, множество фотографий — интереснейших и всё больше начала прошлого века. Сфотографировались и сели пить чай. Вера Дмитриевна начала свои удивительные рассказы. Записывать их нет возможности, да и она сама большей частью перенесла их на бумагу. Ольга Викториновна передала мне: «Николай Александрович Смирнов — директор Нижегородского общественного банка» (это дед Веры Дмитриевны), и условились, что она подготовит ещё несколько материалов. Она же вручила мне «Нижегородские новости» за 2 октября. Оказывается, там материал о «Вертикали» — Пашков его подал как маленькую беседу со мной.

Подошёл к своему дому и обомлел — машину варварски внутри разбили.

Рассказы Астахова: «Я закажу тебя хакеру» и «Лезвие осознания».

14 октября

Звонок от Жильцова. Умер Михаил Сточик. Позвонил секретарю в «Волгагеологию», ещё раз проконтролировал отправку корреспонденции Белову. Затем позвонил Жездрину. Напомнил о письме и о разговоре с Бровкиным. Поехал в «Нижегородские новости». Пашков в кабинете. Отдал газеты с

моей публикацией, спросил про материалы Вострилова. Я сказал, что думал, искренне. Маловероятно, чтобы они подошли. Оставил Александру «В-4». Дальше уже шёл пешком. В «Земле Нижегородской» Гладышева больна. В секретариате дали газеты с моей заметкой. Зашёл в Союз писателей. У Полины оставил для Половинкина «В-4». Вскоре и он сам пришёл. Удручён смертью Сточика. За два дня до кончины он к нему заходил. Сточик думал о «ремонте зубов» и так далее. Похороны завтра (ул. Горького, д. 148, кв. 137). Владимир Васильевич опять просил принести «В-4». Я не сказал, что этот номер уже у Полины. Она тоже хочет почитать. Пусть читает. Взял у Владимира Васильевича новую анкету для «Кто есть кто». На столе целая пачка — недавно принесли. Звонил Крюкову, но не застал. На первом этаже зашёл к Мехрибан в «Арабеск». Она подарила книжечку «Сизовские чтения» (издала Дзержинская библиотека) и пригласила руководителя «Светёлки», чтобы он и мне труд свой подарил. Его книгу раньше я уже видел — хорошо оформлена, цветные репродукции картин художника Заноги. (Идея! Через него и нужно познакомиться с этим интересным художником). Книги у него не оказалось, он пригласил прийти 20 октября на встречу. Там и подарит.

По пути домой у моста встретился с Прибутковской. Стояла на другой стороне улицы. Махала руками и кричала. Спросила о встрече в «Нижегородском предпринимателе». Ответил, что ещё не встречались, и сказал о кончине Сточика. Пообещала тоже завтра подойти.

Долгий разговор по телефону с Селезнёвым. И всё как-то неконкретно, тягуче. Даже с макетом «Арины» у него никак не получается. Вечером написал черновик письма Глазьеву.

15 октября

У Прибутковской забрал рассказы. Один короткий даже прочитал, дожидаясь похорон Сточика. Всё в стиле Нины, но интересно. На вынос собралось много наших. Там же встретился с Селезнёвым. Он принёс мне



газеты, а я ему два экз. «В-4». Людмила Калинина сказала, что ей звонили из Самары, спрашивали о «Вертикали». Откуда узнали? Может быть, что-то было в «Дне литературы»? Володя Жильцов принёс «Православное слово», где уже есть отклик Марины Смирновой на последний выпуск «Вертикали». Подошёл ко мне Бедняев. Пригласил на свой юбилейный (80 лет) вечер в Литературном музее. Это после его-то обид. А Женя Эрастов только что стал доктором наук, и у него прошла подборка стихов в «Подъёме».

После пошли с Борисом в Союз, в комнату Литфонда. Комната просторная, чистая (пока), тёплая. Но, глядя на безразличие Бориса даже в каких-то хозяйственных делах, я решил своим предложением (инициатива насчёт этой комнаты тоже была моей) не воспользоваться. Ведь в этой комнате надо будет убираться, поддерживать порядок. А кому заниматься, опять мне? Да и вообще не лежит у меня душа к этому зданию.

Пока ездил по городу, домой звонили и от Крюкова, и Чурухов. Перезвонил. С секретарём договорились на завтра. Крюков хочет встретиться. С Чуруховым – на 16.00, тоже хочет встретиться. (Но с Петром Ивановичем сегодня утром по телефону я уже общался. Он мне сказал, что Крюков был у него, и они обо всём поговорили. Цифр он никаких не подготовил). И вдруг... Непонятно! Сказал, что всё просчитал. Такое впечатление, что засуетился? Завтра всё узнаем.

Пришло заказное письмо из Кулебак от учителя. Добрые слова о «Вертикали» и книжка стихов. Я полистал. Что-нибудь напечатаем. Очень просит ему ответить. Я, не откладывая, написал черновик коротенького письма.

16 октября

Встретился с Крюковым. Хорошо поговорили. Он дал деньги на «В-4». С проектом Чурухова он не согласен – дорого. Хотя и поручил ему подготовить «рыбу». Попросил и меня в этом поучаствовать. То же сделать и мне самому со своим проектом. Расстались на том, что я делаю «Вертикаль» (или что за-

хочу) на хорошем уровне, а он это профинансирует.

Пешком дошёл до «геологии». Белову Антонина Матвеевна отослала всё (книги, письмо, 300 рублей). Я подготовил к отсылке «В-4» Астахову и отдал для набора письмо в Кулебаки.

Дома узнал, что звонил Чурухов. Просит перенести встречу на завтра. Пошёл в Братство. Хотел повидаться с Вадимом (насчёт «Вертикали» и «Старого колодца»), а он в Питере. Взял газеты «Православное слово» и «Нижегородская правда» (там неожиданно оказалась заметка Мухиной) с материалами о «В-4». Позвонил Прибутковской. Попросил её связаться с «Нижегородским предпринимателем» насчёт статьи о «Вертикали». Чтобы она настроила их на то, о чём надо писать. Пообещала сделать. Несколько раз звонил Донской. Хочет, чтобы завтра я с ним сходил в типографию к Федотову по поводу его новой книжки стихов. Позвонил Борис. Пригласил в субботу на день рождения. Я рассказал ему об откликах на «Вертикаль» в газетах (он не знал) и попросил выяснить, есть ли в «Дне литературы» что-нибудь об альманахе. Он обещал обратиться к Дорошеву – посмотреть электронную версию в интернете. Сегодня же я заполнил анкету для Литфонда и написал Борису короткое письмо – попытался поднять ему настроение.

17 октября

Звонок Бориса. Хвалит нестерпимо «В-4». По Литфонду договорились, что замок менять не будем. Он просто сделает мне второй ключ. Второй звонок от Жильцова. Смирнова приехала из Волгограда, привезла мне диплом и ценные подарки для «Вертикали». Пошёл в Братство. Там меня хорошо поздравили. Привезли часы настенные, книгу с иконой, диплом. Жильцов об этом пишет материал. (Марина, он и ещё кто-то тоже лауреаты).

Встретился в Доме книги с Донским. Пошли к Федотову. Вся фирма, оказывается, переезжает в Гордеевку. Федотов уже на новом месте. Ждать его не стал, оставил записку в



приёмной Донского (Наталья сказала, что мой «Старый колодец» должен быть в компьютере), а сам с водкой и пирогами опять пошёл в Братство. Немного отметили награждение. Только пришёл домой — звонок Селезнёва. Сказал ему о дипломе. Восторг.

С Чуруховым встреча короткая. Он передал бумаги с разработкой «Паломника» и модель его содержания по страницам. Моё положение осложняется тем, что я уже знаю об отказе Крюкова от этого проекта.

Вечером звонила Прибутковская. В «Нижегородском предпринимателе» ждут моего звонка в понедельник. А я вчера прочитал её второй рассказ. И мне показалось, что Нина в своей прозе меняется. Она сказала, что рассказ (третий) «Великая проходимость» печатать не надо. Я его после этого прочитал. Бомба!!! Вот его-то — в «Русский альманах»!

19 октября

Самое страшное: я никак не могу сосредоточиться на прозе. Пишу на коленке бегом из комнаты в комнату. За стенкой орут телевизоры из кухни, из зала. И в таком состоянии подготовить серьёзную книгу? Невозможно. Днём тише, но днём мне приходится бегать по другим необходимым издательским делам. Да разве за час-два на серьёзную работу настроишься? Что делать — просто не знаю. Попробовать уехать в деревню?

Вроде бы стала понятна концепция «Русского альманаха». Это сборник русской прозы и публицистики. Его содержание: Жаравин, «Холостой выстрел» (повесть); Сдобняков, «Сезон» (повесть); Прибутковская, «Великая проходимость» (рассказ); Белов, «Древо зла» (статья); Наумович, «Путеводитель доброй жизни» (отрывок). Мне надо бы сюда написать статью «О национальных вопросах» и обратиться к Белову, Распутину, Личутину за материалами. Образец издания — «Тайна России» Назарова. К нему тоже надо обратиться за материалом.

Ознакомился с разработкой Чурухова по «Паломнику». С точки зрения журналистики, наверное, всё очень грамотно. Но рынок этот он знает плохо. Не знаком с «Русским

домом», другими изданиями. Хотя предлагает идти почти по их пути. Впрочем, я же знаю, что Крюков отказался от этого проекта из-за дороговизны.

Новое название для сборника — «Русский сборник».

Вечером — на дне рождения у Селезнёва. Борис читал новые стихи (долго, тягуче — мне никак не нравится, как он читает). Ни содержания, ни смысла понять невозможно. Он быстро «устал», заснул за столом.

20 октября

В Музее Пушкина вечер «Светёлки». Пошёл туда, чтобы встретиться с Купырёвым, философом. Сначала он выступил, а затем мы вышли в коридорчик и познакомились. Написать что-то специально он не может — нет времени. Но он подарит свою книгу, и я оттуда что-то выберу. Человек он очень интересный, доброжелательный, умница. Там же познакомился с художником Владимиром Заногой. Разговорились. Предложил ему поработать над оформлением «Русского альманаха». Согласился. Вместе дошли до улицы Новой (у пл. Горького) в его мастерскую. Там много говорили. Подарил мне свои календари. О начале работы договорились со следующей недели. Заногоа попросил дать почитать что-нибудь моё.

Дома написал информацию для газет о нашем дипломе. Переписал начисто в двух экземплярах.

21 октября

Погода ужасная — на асфальте каша из мокрого снега и лужи. Иду по воде, да ещё под дождём. И иду-то на удаление зуба. После врача зашёл в мастерскую к Заного. Опять долго говорили о будущей книге. Всплыло новое название — «Русская вертикаль». У Заногой есть картина «Распятый на швеллерах Христос». Смелое сочетание и сопоставление, если их как-то совместить в оформлении книги. Подарил Владимиру Ивановичу все четыре «Вертикали» и «Искушение». От него позвонил Кутырёву, договорился о встрече в Строительной академии.



Несмотря на погоду, пешком пошёл к Коломийцу. Передал ему новость о дипломе. Отправил письмо в Кулебаки, снял копии с газетных публикаций, передал черновик письма Глазьеву, чтобы он его доработал и набрал на компьютере. Во время нашей встречи позвонил Чижов. Хочет опубликовать у нас свой рассказ. Я согласился посмотреть. (Они с Шамшуриным, как я понял, выпустили вторую книгу. Что же рассказ не появился там?). Но денег на «Вертикаль» Чижов не дал. Двенадцать тысяч проплачивает Коломиец.

На машине Алексея Марковича поехал в Университет и выписал новые два счёта. Отдал их шофёру и с ним доехал до Строительной академии. Передал Кутырёву «В-2», «В-4», «Искушение». Он мне подарил свою книгу «Разум против человека» и публикацию своей статьи в «Москве», № 6 за этот год.

Два раза за этот день звонил в «Нижегородский предприниматель», но связаться с редакцией не удалось. Домой заказным письмом пришла рукопись Радухина из Дзержинска — большая, двадцать пять страниц. Воспоминания.

22 октября

У Жильцова узнал адрес Патриарха и взял образец письма — обращения к нему. Оказывается, Володя Фёдоров в Балахне издал свой роман, о котором идёт дискуссия в «Литературной России», и его приняла к публикации «Роман-газета».

Да, странное сейчас состояние в литературе. Печатных изданий появилось много, а прозы (не говорю даже о качестве) стали писать очень мало. Я обратился к нескольким газетам с просьбой присылать прозу — и ничего. Мыслимо ли такое в прежние годы?!

Отпечатал фотографии с В.Д. Смирновой. Хорошие и «уютные» получились снимки. Наконец-то начал заниматься «Сезоном», правлю. Получится ли что-нибудь? Первая главка очень слабая. Если только в дальнейшем старательство выручит. Вторая повеселей, но... Может быть, в сборник поставить «Кольку»?

23 октября

Заного многое прочитал из моей книжки, и у него есть какие-то соображения по новому сборнику. Возможно, сегодня вечером встретимся.

Позвонил в «Нижегородский предприниматель» — она на больничном (Марина Геннадьевна). Связался с Коломийцем. Счета вроде бы оплачивают.

Опять пошёл в Братство к Вадиму. Пока шёл за машиной, размышлял: «А может быть, название так и оставить — «Вертикаль». Ведь «Русская вертикаль» так ко многому обязывает. Вытянем ли?» Перед этим позвонил Пашкову, сказал о дипломе. Думаю, он эту информацию использовать не будет.

В Братстве долго разговаривал с Андреем Стариченковым. Из хаоса моих мыслей и предложений он вывел для меня главное. Как таковой сборник никто покупать не будет (авторы неизвестны). Альманах, журнал в этом отношении выигрышнее. Посмотрели с ним бегом в Интернете «День литературы». Обзора по журналам не увидели.

У Заного вечером. Он подготовил первый набросок обложки для сборника, который мне очень понравился, и сразу же стало ясно, как эти сборники делать. Во всяком случае, первые три идейно и эмоционально вырисовались: 1. Русская проза времён «распада» (В. Распутин, «В ту же землю», В. Белов и так далее). 2. Русская проза рубежа прошлого столетия (Зайцев, Шмелёв, Волгин и так далее). 3. Русская паломническая проза разных времён. Обложка идею этих сборников предвосхищает.

Подробно обсудили обложку «В-5». Новый формат альманаха. Всё удивительно точно встаёт на свои места. Тираж альманаха будет тысячи две. Пока этого хватит, но расходы на издание покрыть не получится. Пили чай, говорили о Кунавине, лесе, иконах, священниках, Гладышевой... Приехав домой, узнаю, что звонил Пётр Иванович, хочет встретиться. Завтра с ним свяжусь. Звонила Сатирская. Опять просит рекомендацию в Союз. Отказал, но сообщил, что заметку написал и отдал Мухиной (о её книжке).



24 октября

Звонок Чижова. Условились, что он передаст рассказ и дискету Коломийцу. Позвонил секретарю. Всё оплачено, копии банковских выписок будут завтра.

Встретиться с Чуруховым не получилось по моей вине. Зашёл в Союз. Бедняев раздаёт приглашения на свой вечер. Поговорил с Половинкиным. Оказывается, министром (областным) культуры стал Седов. Предложил Владимиру Васильевичу дать что-нибудь для «Вертикали». Он назвал рассказ из своей давней прозаической книжки. Принесёт, надо будет прочитать.

25 октября

Поехал к Коломийцу. Его на месте не оказалось. Влезли к нему на даче, и он уехал устранять последствия. Общался с замечательной Антониной Матвеевной. Оставил для Коломийца 300 рублей. Забрал копии университетских платёжек. Письма Глазьеву и материалов от Чижова не обнаружил.

В Университете отдал платёжки и забрал ещё 30 экз. «В-4» с листами благодетелей. Нужно будет за выходные их подготовить и отвезти Крюкову.

В Литературном музее юбилей Бедняева. Всё прошло не утомительно, хотя и шаблонно. Много стариков — читали свои стихи, пели песни. Понимаю, что для них это возможность «выйти на публику» и не раздражаюсь. Много было и наших. После зашёл к Чурухову. Извинился за вчерашнее неприбытие и немного поговорили о предстоящем издании.

26 октября

Ночью спецназ освободил заложников из театра в Москве. 34 террориста убиты, кого-то взяли в плен. Кадры из театра шокируют. Кровь, трупы, оружие, огромное количество взрывчатки. Чеченцы хотели принести России позор, а принесли славу. Всему миру показали, как умеем воевать и против кого мы воюем.

Днём подготовил вчерашнюю пачку «В-4» для Крюкова — вклеил листочки с перечисле-

нием благодетелей. Теперь можно ему воз-
ти. Позвонил Заного. Он сделал несколько набросков — вариантов обложки для «Вертикали». Доволен, что я его тереблю, не остываю. Сам читает во время отдыха что-то моё и Коломийца. Позвонил Прибутковской, попросил её подготовить рассказ «Обратный билет». Обсудили вчерашнюю её передачу «В мире жалоб».

Пришло письмо из Сокольского района всё от той же старушки. Вечером опять читал «Сезон». Осталась последняя глава. Печтаться, как мне кажется, эту повесть можно. Но событием эта публикация не станет.

27 октября

Дочитал «Сезон». Изменил конец. Теперь он не «открыт». Сашка остаётся один во враждебном к нему городе.

У Заного. Есть самый начальный (маленький) рисунок обложки. Вернее, даже рисунок идеи. Владимир очень озабочен репродукциями своих картин, только это его волнует в проекте новой «Вертикали». В который уже раз я объяснил смысл проводимой работы. Он дал четыре своих календаря, чтобы я подарил их спонсору. Кто он — я ему не открыл.

Уже поздно вечером заполнил анкету для «Кто есть кто в Нижнем Новгороде».

28 октября

Позвонил Жездрину. Хотел попросить перечислить остатки за «В-4», а его на этой неделе не будет. Пошёл в Братство. Встретился с Вадимом. Деньги за «В-3» он отдаст в следующем месяце. «Старый колодец» он готов взять на реализацию. На складе я показал «Деревеньку» Чугунова как образец. По «В-4»: «Давайте привозите. Будем менять, раз в Москве берут». Это главный и лучший итог нашего разговора.

Созвонился с заводом и повёз туда пачку «В-4» и книги для Репуленко. Всё это передал секретарю. С Крюковым встретиться не удалось. От завода пешком пошёл домой. Погода тёплая, сухая и безветренная. Последние деньки золотой осени. В Союзе отдал Половинкину анкету и взял у него книжку с



его очерками для прочтения. В «Нижегородских новостях» отдал Пашкову информацию о нашем дипломе. То же в «Земле Нижегородской». Взял у Пашкова последний (третий) материал Вострилова. Они их печатают у себя в газете. Дозвонился до секретаря Коломийца. Мои деньги он получил. Другой информации нет.

Позвонил Адрианову. Спросил, нет ли «ляпов» в «В-4». Нет, он доволен и давал выпуск уже кому-то читать. Я пообещал привезти ещё, чтобы Юрий Андреевич мог подарить. Обложку он опять раскритиковал, но с О. Рябовым насчёт макета новой обложки разговаривать отказался – тот и так выпускает книжку его стихов. Опять вспомнил о своих мемуарах для «Вертикали» и приглашал «заезжать».

Позже позвонил Репуленко. Тепло поблагодарил за подаренные книги. Спрашивал, договорились ли мы с Крюковым и не надо ли ему чем-то помочь? Пообещал завтра увидеться с Влад. Алекс. и напомнить обо мне. Вечером я написал развёрнутую биографическую справку для Крюкова (и кому она ещё будет интересна). А чего мне стесняться своей рабочей биографии?

29 октября

День решил посвятить чтению материалов для «В-5». *Б. Радухин*, «Испытания» (25 машинописных страниц). Первая часть рукописи, восемь страниц воспоминаний о родителях и детстве, пойдёт в «почту». Всё остальное — нет. *В. Половинкин*, «Доброго пути!» (Из книги «И реки, и моря»). Очерковый рассказ оставляет впечатление неразвёрнутости, недосказанности. В этот выпуск войдёт вряд ли. Но стоит снять копию и оставить в резерве. Вообще-то равнодушным он не оставляет, чем-то трогает, задевает. Есть некоторая переключка с «Алькиными историями». Для одного выпуска это многовато. *А. Вострилов*. «Чему граф Шереметьев крестьян учил» (9 страниц компьютерного набора). Любопытный исторический документ из Нижегородского архива. Этот материал в «Вертикали» можно бы и поместить. Но в пя-

том ли выпуске? Надо смотреть «по месту». Пока в резерв. *А. Коломиец*, детские стихи. Пойдут в раздел для детей, но хотелось бы, чтобы он над ними поработал, сделал более универсальными — не только о своём внуке и для него.

Сложил уже отобранные рукописи в одну папку и вижу, что основа выпуска есть. Впервые это почувствовал уверенно и с удовлетворением.

Вечером звонил Заного. Он нарисовал обложку акварелью. Расстроился, что у меня не состоялась встреча со спонсором. Я попросил подумать о статье — кто бы мог написать о его творчестве.

30 октября

В «Волгагеологии» снял копию очерка Половинкина и позвонил Распутину. Говорил, наверное, с дочерью. Валентина Григорьевича уже полгода нет в Москве. Он в Иркутске. Приедет 10 ноября. Представился и сказал, что телефон мне дал Белов.

Второй день, не переставая, моросит дождь. Пока шёл к Заного, опять подумал: «Ну зачем всё это? Вместо того, чтобы зарабатывать деньги или писать, заниматься творчеством, бегаю по офисам, занимаюсь какой-то канцелярией». Если перечитать дневник «Вертикали», сколько раз на меня накатывало уныние. Но, с другой стороны, словно какая-то невидимая рука ведёт меня по этому пути, не давая с него свернуть, укрепляя и поддерживая в трудную минуту.

У Заного взял эскиз. Художественное решение понравилось. Во всяком случае, начало есть. Владимир читает Жаравина, и ему нравится. Такую оценку Мишиного «Приёмыш» я уже слышал неоднократно. Я не преминул и Заного пожаловаться на своё состояние. Зря, конечно.

Пришло ещё одно письмо из Гагинского района, села Ветошкина (недалеко от «Утки»). Опять стихи. Читал Наумовича. Многое сократил, но всё равно материал получается большим. Впрочем, набор покажет. Можно будет публикацию разбить на несколько по-



дач или что-то сократить. Но материал нужный, полезный.

31 октября

Дозвонился до Коломыйца. Моё письмо Глазьеву где-то затерялось. Работу Наумовича в компьютере «сожрал» вирус... Но самое любопытное, ему звонили из «Нашего современника». Они готовы опубликовать «Алькину войну» в № 5. Остальное, что связано с храмом, им понравилось, но они такие вещи не печатают: «Мы же, «Наш современник», печатаем современные вещи». Вот тебе и патриоты! Как же они представляют Россию вне храма и Православия?

В «Православном слове» у Жильцова забрал статью. Смирнова рассказала немного о Волгограде, но ничего о «Вертикали». Только то, что это был единственный представленный альманах. Она хочет (уже второй раз предлагает) напечатать у нас повесть из своей книжки.

Пришёл домой — звонок от Бориса. Долгий разговор. Благодарил (тепло) меня за письмо. Сказал, что написал ответ. Подготовил мои документы для Литфонда. Макет «Арины» не готов.

Звонок Репуленко. С Крюковым он переговорил. Тот передал, чтобы я готовил выпуск, помогать он будет. Всё остаётся в силе: «Но до 18-го числа к нему не подходить — занят». Вроде бы всё хорошо, но меня больше волнуют «наши официальные отношения», регистрация, акционирование, о котором мы ранее говорили. Может быть, действительно, побыстрее подготовить макет и 18 ноября ему показать? Чтобы разговор был предметнее? Опять подвешенное состояние, неопределённость.

Позвонил Бровкину. Будет на следующей неделе. Уж не с Жездриным ли вместе уехали? В библиотеке посмотрел «Нижегородскую правду». Оказывается, моя заметка о книжке Сатирской уже вышла. Снял копию.

Вечером звонок из Университета. Женщина сказала, что есть три работы студентов, которые занимались в Дивеевском районе краеведческими поисками. Договорились, что эти работы занесут в Союз, а я беру.

1 ноября

Звонок Коломыйца. Письмо Глазьеву найдено. Сейчас он его редактирует. Предлагает послать три последних выпуска «Вертикали». Но второго и четвёртого у него нет. Последний он раздал библиотекарям, которые были у него по линии «Украинского общества».

Вечером (когда у нас был Толик Барлит) звонил Занога. Сказал ему, что я получил добро на подготовку следующего номера «Вертикали». Ему всё-таки очень хочется, чтобы были вклейки с его репродукциями. Дал телефон сотрудницы нашего художественного музея, у которой можно заказать статью о нём (Пухова Екатерина Петровна). Был ещё звонок от Прибутковской. Опять спрашивает, звонил ли я в «Нижегородский предприниматель». А мне как-то неловко навязываться.

2 ноября

Пришло письмо от Бориса Селезнёва. В нём посвящённое мне стихотворение, которое он читал на своём дне рождения. Написал, что моё письмо пробило его до слёз. Видно, прочитал «к месту». Вечером написал ответ — так, ни о чём. Только чтобы ответить. Не обиделся бы...

Второй день в «Знамени» читаю «Рабочие тетради 60-х годов» А. Твардовского. Впечатление слабое. А вот за статью о культуре, которую задумал написать, никак не сяду. И Кутырёва не читаю. Это плохо. Надо себя понудить и поторопить.

3 ноября

Замечательный вечер у Заноги. Сначала несколько нервный разговор о его репродукциях в «Вертикали». Хотя интересы художника тоже можно понять. Но потом всё улеглось, всё «вошло в своё русло». Пили его «водку», перешли на «ты», по его предложению, смотрели его картины (натюрморты и пейзажи), говорили о живописи, Сурикове, Иванове. Владимир пел под гитару... и свои стихи тоже. Не заметили, как повалил снег. Только по запорошенному окну на потолке и заметили.



Мне очень понравились его работы, особенно «деревенский пейзаж» — зелёная улочка с покосившимися домами-халупами. Да и склоны холма, поросшие липами и дубами, тоже замечательны.

Приехал домой — оказывается, звонил из Москвы Алексей Новосельский. Затем звонок Бориса. Сказал ему, что получил письмо. Он обрадовался. Алексей звонил и ему. В «Православной Москве» выходит моё интервью на страницу. Нужна фотография, «В-1» и ещё что-то. Завтра позвоню и сам всё узнаю.

4 ноября

С утра созвонился и договорился о встрече с Заногой (забрать «В-1» для Москвы) и Коломийцем («Вертикаль» для Глазьева). Заехал к Заногге. Затем к Коломийцу. Отдал «В-2», «В-4». Подарил два календаря Заногге. Забрал рассказ Чижова и некую статью о воспитании молодёжи, которую ему принёс кто-то из знакомых, копию письма Глазьеву. Позвонил в Москву Новосельским. Публикация интервью должна состояться в декабре. Необходимы моё фото, копия диплома, мои произведения для страницы в Интернете, уже созданной Алексеем. Сразу же отослал им «Искушение» и «В-1», а также письмо Борису Селезнёву. Поехал к Игорю Николаеву. Оставил письмо для спонсоров и позвонил Жездрину, попросил проплатить остаток за «В-4». Он не отказал, но договорились, что я позвоню завтра. Всё это время Таня была со мной. Сегодня ей уже двадцать лет. Заехали к Лене, затем в Университет. Погода ужасная: снегопад, слякоть.

Заехал к Барлиту, оставил у него машину и позвонил Репуленко. Встречаемся завтра. *Гладышевой*. Фотографии летние у неё в столе, заметку о дипломе поставили в номер.

Пока ждал Таню у Лены, «пробежал» статью о воспитании. Слабо. На обратном пути заехал к Коломийцу, оставил статью у секретаря. У неё же забрал вернувшуюся рукопись «Дороги» из Питера. Там её никто не получил. Значит, этот журнал — фикция. Новосельская сказала, что на каких-то собраниях она уже сказала о «Вертикали», и к нам должны пойти

рукописи. Думаю, речь идёт о стихах. В нашем сумбурном разговоре я не уточнил.

5 ноября

Звонок Жильцова. Грядут какие-то перемены в Союзе писателей с подачи Седова. Предлагает встретиться, обсудить. Спросил и о статье Осиповой из Ульяновска. Я сказал, что прочитал, пусть он с ней свяжется, но предупредит о безгонорарности нашего издания.

В течение дня несколько раз звонил Жездрину, но он отсутствует. В «Волгагеологии» у Антонины Матвеевны оставил свои фотографии для передачи в Москву по электронной почте. Добрейший она человек. Как много и бескорыстно помогает. Всю почту, в том числе и Глазьеву, уже отправила.

В «Нижегородских новостях» встретился с Юриным. На продолжение нашего сотрудничества, уже с «В-5», он готов с удовольствием. В «Нижегородской правде» забрал номер за 29.10 с заметкой о книжке Сатирской, а в «Земле Нижегородской» у Гладышевой — фотографии (на нашем озере). В Союзе отдал книгу Половинкину. Из Университета ничего не приносили. Владимир Васильевич рассказал, что уходит ради сохранения организации. Ведь её финансирование зависит от Седова, и ему передали, что нужно так сделать. Храбрится. А у Фигарева уже суетятся. Морев опять завёл разговор об избрании меня. Я отказался резко и категорически. Хватит, наигрался в эти игры.

В три часа, как условились, пришёл на завод к Репуленко. Встретил меня очень доброжелательно, все вопросы для Крюкова записал и показал мне возможную комнату для работы. Комната «нежилая», но нужно как-то вживаться в завод. С чего-то надо начинать.

Вечером Репуленко позвонил мне домой. Он встретился с Крюковым. Все вопросы решены положительно: комнату эту до Нового года дают. Машинистку для набора тоже. Ещё командировочные в Вологду. О типографии: Крюков подтвердил, что будем печатать на заводе.

**6 ноября**

С Жильцовым дошли до столовой, выпили и проговорили пару часов, а о чём?.. Главная тема — продвижение в Союз Шамшурина. Мне вроде бы и всё равно, да только его отношение ко мне какое-то уж больно «неравнодушное», ни одного положительного отзыва. Марина Смирнова рвётся опять напечататься в «Вертикали». Принесла из Братской библиотеки свою книжку (малюсенькую, тоненькую, но тираж 5000 экземпляров), чтобы я посмотрел рассказы. Придётся читать.

Сегодня так и не дозвонился до Жездрина, геологии, в художественный музей о статье о Заногге. И это меня раздражает, выводит из себя. Ненавижу праздники, которые на несколько дней ломают всю работу. Со злости за бесцельно проведённый день вечером сел и написал черновик письма Михаилу Назарову. За выходные надо дочитать всё для «В-5» и постараться написать статью о культуре.

7 ноября

Читал материалы для «Вертикали». Книжка Марины Смирновой «Дивны дела Твои, Господи». Отобрал на дальнейшее рассмотрение для детского раздела «Праведный Ной». Для очерков — «Путешествие в Санаксары». В.А. Кутырёв. Из его книги «Разум против человека», раздел «Унесённые прогрессом». Опубликовать в «В-5» с небольшой беседой. Вопросы для беседы тоже подготовил. М. Чижов «Равновесие». Рассказ и не выстроен, и написан не художественным языком. Печать нельзя.

10 ноября

У Коломийца. Фотографии по электронной почте отослали в Москву. Позвонил Жездри-ну, он перечислил деньги. Ануфриеву: Попросил его подумать о спонсорской помощи «Вертикали». Новосельским: Говорил с Алексеем. Книжки для Интернета он сосканирует. Дозвонился до художественного музея и заказал статью о Заногге.

Согласовал состав детских стихотворений с Коломийцем. В долгом разговоре он

рассказал сюжет задуманного рассказа из жизни дедушки и бабушки. Сюжет известный — любовный треугольник, но со своими особенностями. Завтра Алексей Маркович ложится в больницу: «Недели на две». За это время, может быть, и напишет эту вещь. На это же время я лишуюсь компьютера, наборщица тоже в больнице. А у меня уже скапливаются материалы для рассылки и работы.

11 ноября

Ещё утром позвонил Игорь Николаев. Его хозяева готовы мне помочь, только хотят посмотреть альманах. Я взял «В-2», «В-3», «Искушение» подписал Игорю. Заехал в геологию и забрал диплом с двумя копиями. Одну копию тоже передал Игорю. Самого его, правда, не застал. Пришлось всё оставить бухгалтеру.

Без меня домой звонили из Союза. Завтра Правление — приглашают. Идти ли? Звонок Фигарева всё по тому же вопросу, только уже напрямую: «Половинкин просит тебя прийти». И «вот если бы ты согласился стать председателем» и так далее. Я ответил, что приду и все вопросы — завтра. Но нельзя поддаваться искушению. Соглашаться только в крайнем случае, если очень будут просить... Нет, ни при каком случае. Связываться со всей этой продажной сволотой — себе дороже. Нет!

12 ноября

Утром созвонился с Николаевым. Книжки и диплом ему передали. Деньги должны перечислить в Университет. Затем говорил с Репуленко. В кабинете убрано, можно «заселяться». Поехал на завод. У него в кабинете отдал плакаты Заногги, и Баранов забрал материалы для набора. А я от Виктора Георгиевича поднялся уже к себе.

Тепло. Большой кабинет. Хорошее окно. Чисто. Установил стол у окна и в течение некоторого времени его обживал. Даже перечитал письмо Назарову и свою автобиографию, поправив некоторые моменты. Завтра надо приезжать и уже работать в полную силу.

Затем направился в Союз. По пути в «Земле Нижегородской» забрал газету с заметкой



о дипломе. В Союзе опять эта бодяга, разговор пустой и никчёмный. С ними просто невозможно иметь никаких дел. И не могут, и не хотят одновременно. В конце всё-таки взял слово, сказал о своём уважении к Половинкину, благодаря которому Союз устоял и остался при здании. Призвал правление не распалиться в негодование, а принять новые условия администрации и начать работать, составлять программы.

Думаю, это был глас вопиющего в пустыне. Ещё утром мне звонил Жильцов, просил приехать на правление. Сам он запоздал, но привёз для «Вертикали» большую подборку своих новых стихов. Отдал ему для набора вопросы к Кутырёву.

Вечером домой позвонил Репуленко. Деньги на командировку уже у него, завтра можно забрать и ехать. Ещё девчонки передали, что звонил Заного. Я ему перезвонил. Перед этим сказал Ирине, что сомневаюсь, нужно ли ставить «Сезон» в «В-5», и она ответила, что повесть ей не понравилась. «В ней нет ничего интересного ни о том времени, ни об этом», — примерно так выглядело обновление оценки.

В разговоре с Заногой тоже спросил о «Сезоне». Владимир говорил очень уклончиво. Ссылался на вопросы без ответов в конце повести. О непонятном отношении с Ольгой. А в середине вроде бы всё нормально.

Похоже, возникает проблема. Чем заменить «Сезон»? Добавить два рассказа Жаравина и оставить книжку без крупной художественной вещи? Или всё-таки набрать «Сезон» (перед этим над ним поработав) и пустить его читать членам редсовета?

13 ноября

Еду к Коломийцу. С ним обсуждаю, как разговаривать с Распутиным. Звоню. Трубку берёт жена (наверное). Она приглашает Валентина Григорьевича. Представляюсь и предлагаю дать что-то для публикации. Распутин неприветлив. Мне показалось, что почти раздражён: «Я сейчас ничего не пишу и поэтому давать мне нечего». На предложение напечатать старый рассказ («В ту же землю»,

«Изба») вместе с беседой, как послесловие, тоже отказался: «Беседа занимает время. А рассказ можете печатать, пожалуйста».

Через справочную заказали Вологу и по названию улицы телефон Белова. Трубку взяла жена. Василий Иванович болен. Он обгорел. В Тимонихе загорелась баня, и он бросился её спасать. Женщина очень доброжелательная, мы познакомились — Ольга Сергеевна. Я ей сказал, что хотел бы опубликовать беседу с ним. Поначалу она ответила, что только через месяц, возможно. Но потом предложила позвонить через две недели: «Может быть, он уже скажет, когда можно будет».

Придя на завод, позвонил Репуленко и сказал, что командировка откладывается. Сегодняшний день работал в кабинете. Перечитал рассказы Жаравина «Беда» и «Манило». Первый решил тоже поставить. Позвонил Кутырёву. Договорились, что он напишет ответы на мои вопросы. Завтра отнесу их в Строительную академию. Позвонил Селезнёву и попросил прочитать рукопись «Сезона». Он должен сегодня за ней заехать. Начал читать «Чудовище» Астахова. Пока нравится.

Борис приехал вечером. Пили кофе, говорили о Союзе; сказал ему, что имею кабинет в заводоуправлении. А он вроде бы заканчивает с макетом «Арины». Иудин в финансировании приложения отказал. В заключение встречи Борис забрал читать «Сезон».

Позвонила Ирина Новосельская. В Интернет прошла только одна фотография. Прочитал ей текст диплома. Мою бандероль с книгами они не получили и просят для публикации фотографию получше. Где бы её взять. Ответил, что уже вышел четвёртый выпуск, как-нибудь вышлю.

Звонок Заного. Просит помочь перевезти картины и развесить в музее Пушкина. Жалко гробить время, но пообещал завтра же приехать.

14 ноября

Созвонился с Иудиным по возврату «В-3». В Братстве забрал напечатанные вопросы для Кутырёва, отдал книжку Смирновой, со-



сканировал диплом для Селезнёва и «выпросил» у Андрея Стариченкова «Сектоведение» А. Дворкина. На обратном пути забрал у Иудина 20 экз. «В-З». Позвонил Николаеву. Моё письмо у хозяев, а их самих не будет до следующей недели.

Отвёз на кафедру философии вопросы для Кутырёва и направился в «Русский клуб». Разговаривал с Калининой. Много сплетен узнал от неё. И зря предложил, чтобы Седов провёл встречу с определённой группой литераторов. Она это могла понять в «извращённом» виде. Взял у неё телефон Изумрудова и два последних номера «Нижнего Новгорода». Затем – у Заноги. Долго ждали машину, загрузили картины, развешивали их в музее Пушкина.

Наконец-то позвонил Борис. От «Сезона» он в восторге. Считает, что повесть обязательно надо печатать. Я волновался, дожидаясь этого звонка, очень сомневался в «Сезоне». Но теперь успокоился. Борис сегодня приезжал ко мне в офис, но меня не застал. Рассказал ему о звонке Новосельской. Договорились, что увидимся завтра на «Светёлке».

15 ноября

На заводе дочитал «Чудовище» Астахова. Думаю, эту повесть можно печатать. Хотя не всё меня устраивает. Начал читать книжку стихов Куклиной. Чистая женская лирика. С трудом дозвонился до Баранова. Набор ещё не начинали. Это огорчительно.

В музее Пушкина. Всё хорошо и достойно. Очень понравились песни на стихи авторов книги. На фуршете предложил Валентину Николаеву дать свои размышления-миниатюры в «Вертикаль». Опять говорили с Борисом о «Сезоне». Он сказал, что повесть «во мне живёт». В конце (уже порядком подвыпили) подошёл ко мне Половинкин и предложил, вернее, спросил, соглашусь ли я возглавить организацию. Принципиально я согласие дал, но от разговора уклонился. Сказал, что лучше встретимся в понедельник-вторник. Фигарев будто только за этим и следил. Бесстыдно полез подслушивать наш разговор. Половинкин сказал, что все проголосуют за меня. Ой ли?

Относительно дел «Вертикали» вчера что-то лишнего наговорил Борису. Ирина узнала – в «Универсале» уже второй раз вернули платёжку из Сбербанка из-за неправильного оформления.

16 ноября

Перед отъездом на встречу со скульптором Пуриховым (вчера договорились встретиться на улице Бекетова) позвонил Астахов. Он в Нижнем. Поговорили о делах «Вертикали», но встречу я назначил на завтра в Доме книги. На Бекетова пришли Селезнёв, Фигарев и я. Пошли в мастерскую. Смотрели работы (скульптурный портрет матери мне очень понравился, но были и другие замечательные работы), о многом говорили. Меня несколько резануло высказывание Бориса, что «Вертикаль» задумали вместе. Хотя в чём-то он прав. Художник по моему «намёку» подарил скульптурку Христа. Вообще, человек Виктор Иванович приятный, молодежавый (хотя 62 года), ученик Гусева. Впервые видел столько скульптурных работ. Узнал о «каторжном» труде творца.

Вечером звонил Занога. Поделались взаимными приятными впечатлениями о вчерашней презентации. Завтра встретимся там же.

17 ноября

Звонил Фирсов. Разговор был долгим. И опять всплыло «председательство». Он хочет по своим каналам этот вопрос прозондировать. Я опять (предварительно) дал добро. А вообще его идея о создании «русского клуба» мне импонирует.

Встретились с Астаховым. Он передал мне дискету со своими работами и распечатку статьи. Очень разговорчив и многословен. Вместе дошли до музея Пушкина. Опять встретились с Заногой (на открытии выставки, на этот раз пришлось что-то сказать). Пришли Никитин, скульптор Пурихов. После вечера сидели в мастерской у Заноги (Никитин, Фирсов, Я, Карель), пили водку. Одолевал стихами Карель, но в остальном всё было взаимно уважительно и по обсуждаемым темам интересно.



18 ноября

В братстве забрал материалы Смирновой. Жильцов говорит, что Шамшурин хочет собрать людей по поводу Союза. Если Калинина права и в министерстве культуры была куча проектов, то сейчас он будет предлагать бороться за свои интересы. Тут я вне игры.

Созвонился с Игорем Николаевым. Взял телефон его хозяина (Паршин Сергей Викторович) и позвонил. Сразу договорились о встрече. Отвёз счёт Университета. Обещал завтра перечислить. Пешком прошёл на завод. Начал писать о художнике, дочитал стихи Куклиной. Жаль, что она вне Православия. Не хватает глубины переживания, обострённости, философичности. Прочитал и статью Астахова. Тема интересная, но как тяжело улавливать смысл написанного. Он и говорит так же.

Вечером звонок от Заног. Володя уточнил, как мы будем размещать его репродукции: только на обложке или ещё на вклейке. Я сказал, как получится. Всё будет зависеть от финансирования. Владимир расстроен, что о его выставке нигде нет информации. Это, конечно, недоработка организаторов. Пообещал, что завтра поговорю с Жильцовым об информации в «Православном слове».

19 ноября

В Братстве встретился с Вадимом. Он расплатился за все остатки «Вертикали». Завтра привезу новый выпуск на склад. Встретился с Жильцовым. Он сам напишет о выставке Заног.

В фирме Игоря Николаева сказали, что Университет оплатили. Пошёл за машиной, забрал в Университете тираж и 360 экз. сразу завёз в Братство. Вечером созвонились с Селезнёвым, съездил к нему за рукописью «Сезона».

20 ноября

С утра на заводе. Почти написал заметку о Пурихове. Но чтобы сделать телефонные звонки, пришлось сходить в Союз, где у меня произошёл некоторый инцидент с «работниками» «Речи». Звонки. *Изумрудову*. Погово-

рили о возможной публикации его работы о Садовском. *Никитину*. На следующей неделе он мне позвонит и скажет, когда будет время для встречи с Адриановым. *Адрианову*. Завтра ему завезу «В-4». Тогда же поговорим о материале для «В-5». *Коломийцу*. Он болен. Видимо, на операции. *Баранову*. Рукописи для набора отданы секретарю Крюкова. *Секретарю Крюкова*. Только начала набирать «Испытания». Возможно, к пятнице закончит. Договорились, что в пятницу я всё заберу.

Вернулся на завод и опять немного поработал над статьёй о скульпторе. Собрал оставшиеся материалы и отвёз Юрину. Он пообещал, что к понедельнику постарается перевести в набор. Вот это темп. Там же встретился с Жильцовым. Довёз его до Братства. Опять бодяга о выборах, о всяких кандидатурах. Скукотища!

Ирина узнала в «Посылторге», что деньги ещё не перевели. Обещают завтра.

21 ноября

После обеда был у Адрианова. Забрал рукопись воспоминаний для «В-5». Много пили водки. Пришёл редактор с вёрсткой от Рябова. Оказалось всё кстати. И с ним познакомился, и телефоны записал. Рябов выпускает книжечку стихов Адрианова. Редактор (Щеглов Геннадий) подарил дискету с книгами Андрея Паршева «Почему Россия не Америка» и «Почему Америка наступает».

Только зашёл домой — звонит от Пашкова Лена Чернова. А я и соображаю плохо, и язык заплетается. Приглашает в «Комедию» на что-то 25 числа. Сказал, что буду.

Пришло очередное письмо со стихами, на этот раз из Ставропольского края, но написано от руки — ничего не разобрать.

22 ноября

Звонил Вострилов. Сказал ему, что, возможно, будем печатать его материал о Шереметеве. На заводе позвонил секретарям Крюкова, а попал на него самого. Говорит, что надо встретиться. Условились, что завтра я позвоню. Затем Юля вынесла рукописи и дискету с набором. Сказала, что по мелочи



будет мне печатать. На большее нет времени. Вообще-то она милая и доброжелательная женщина.

Пешком пошёл домой через «Нижегородские новости». Юрин почти всё набрал — осталось немного повозиться с «Сезоном». Встретимся, как и договаривались раньше, во второй половине дня в понедельник. Я принесу остатки.

Дозвонился до скульптора, сказал, что почти всё написал. Он обрадовался. Приедет в понедельник на завод. Связался по телефону с Прибутковской. Завтра она должна передать дискету с рассказом. Потом позвонил Адрианов. Переживает, всё ли нормально было вчера. (Это по поводу того, что он «устал» и залёг спать, а мы поехали по домам). Успокоил его, что всё было вежливо и достойно.

23 ноября

Вчера вечером позвонила Калинина. Седов в понедельник хочет собрать писателей, поговорить. Может быть, отчасти это идёт и с моей подачи. Она сказала, что «министр поддерживает издание в Нижнем Новгороде журнала» и предложила мне показать свой. Условились, что контрольный звонок будет в понедельник.

На телевидении встретился с Прибутковской. Передала дискету с рассказом «Последний билет». Домой пробежался пешком. На улице морозцем подсушило, быстро идти было в удовольствие, настроение приподнятое. Ещё и Фирсов позвонил, чтобы я написал информацию об их презентации. Спыхватились, когда поезд давно ушёл.

Вечером заново переписывал заметку о Пурихове, приводил в порядок мысли, выстраивал композиционно. Начал читать рукопись Адрианова. Удручающе много опечаток и стилистических неточностей. Об общем впечатлении пока судить не могу. Сегодня же одолел биографию Кафки. Везде навязываемый «еврейский вопрос» уже порядком надоел. Попытался связаться с Селезнёвым (стихи), но, похоже, у них «гуляют». Попросил Надежду, чтобы Борис мне перезвонил.

Совсем поздно неожиданно сел и составил план книги «Обретение России». Выходит страниц 250 формата «Вертикали». И ведь почти всё набрано в альманахи. Осталось только сверстать. Сдам «В-5» в печать и сразу возьмусь за эту книгу. Дальше откладывать не следует. Она сложилась.

24 ноября

Меня начинает угнетать неясность со стихами для «В-5». Почитал Астахова — нет, это не то. Звонил Володя Занога. Прочитал мою «Лестницу» и очень добро об этом рассказе отозвался. Даже сказал: «Он меня потряс». Приглашал в свою новую мастерскую, но мне пришлось отказаться. Долго говорили о творческом труде, обучении ему и самостоятельной работе. Потом звонил Фирсов. Вынужден был отказаться от его предложения, перенёс встречу «на потом». А написать можно не о презентации книги, а о ней самой, упомянув к месту и о выставке Заноги.

25 ноября

Калинина о встрече с министром так и не позвонила (как я надеялся), поэтому с утра поехал на завод. У лифта встретился с Репуленко. Зашли ко мне, поговорили «на ходу». Попросил его выдать из командировочных 500 рублей на набор (он согласился) и напомнить Крюкову, что он хотел поместить в «Вертикали» статью. После читал рукопись Адрианова. Впечатление то же.

В срок пришёл Пурихов. Поработали с ним над статьёй, внесли некоторые уточнения. Скульптурку, которую он мне подарил, оказывается, купил у него наш Художественный музей. Называется она «Иисус идущий». Есть у него и скульптура летящего ангела (она пострадала во время потопа, разбились части деталей), которую он пообещал восстановить и подарить нашей редакции, когда будет место, где установить. Прочитал Виктор Иванович подаренную мной «В-3». Всё ему понравилось. О «Лестнице» сказал, что когда дочитывал, слёзы пошли.

Проводил Пурихова и дочитал Адрианова. Собрал остатки рукописей, отнёс в набор



Юрину. Отдал ему деньги, порадовал. Договорились, что «вчерне» сделает макет на этой неделе. Но вот с обложкой ничего не выйдет. Надо просить Коломийца. У Пашкова встретился с писательницей Еленой Пугиной. Предлагает свою детективную повесть. А почему бы и нет. Обменялись телефонами, я пообещал прочитать. Шамшуриным в своём журнале «Кириллица» (оказывается, тираж всего десять экземпляров) тоже опубликовал какую-то её повесть.

26 ноября

Печатал, а по сути, переписывал заметку о Пурихове. Кажется, получилось. Сразу отнёс подготовленный материал в «Православное слово», оставил на столе у Жильцова. По телефону разговаривал с Кутырёвым. «Вопросы ваши риторические. Неконкретные. На них на все я бы мог ответить — да, да, да. Это ваши размышления... Но у меня есть мысль, как подготовить ответ. Сегодня я всё сделаю». Ну что же, и, слава Богу. Осталось только «добыть» статью о Заного. В редакции передали подборку стихов для «Вертикали» Андриановой. И пришло письмо со стихами из Богородска. Андрианова позже звонила, просила посмотреть её стихи и миниатюры.

27 ноября

Созвонился с Жильцовым. Статью о Пурихове Володя пообещал поставить в следующем номере. В «Нижегородской правде» Мухина тоже всё встретила доброжелательно, только попросила фотографии. Зашёл к Юрину. Передал ему книги для образца, как делать макет. Часть переданных рукописей (в понедельник) он уже набрал. Осталось немного.

Заехал к Коломийцу. Он только что выписался из больницы. Пока болел, написал венки сонетов и рассказ. Рассказ готов для «Вертикали». Его шофёр довёз меня до Строительной академии. Встретился с Кутырёвым, забрал у него материал и немного поговорили. Он прочитал «Кольку» и «Друга». Выходя от него, встретился с Заногой. Володя шёл по вчерашней моей просьбе. Верну-

лись к нему в мастерскую, попили чаю. Забрал у Володи наброски титульного листа и позвонил Пурихову, сказал, чтобы отнёс фотографии. Вечером подготовил ответ Кутырёва для набора, а также эпилог к публикации Кутырёва, недостающие биографические справки, титульные листы, ещё раз просмотрел «Содержание».

28 ноября

Звонок от Донского. Приглашает за новой книжкой. Перенёс на потом, поехал к Юрину. Окончательно обговорили макет (для черного варианта), и оставил для набора Кутырёва со своими вопросами. Теперь буду ждать звонка от Юрина.

У Донского встретился с очень говорливым казаком — Камгановым. Михаил Иванович терзал своими «стихами», высказал обиду на то, что в «В-4» поместил его вирши в послесловии. А ведь я ожидал, что всё этим закончится, такая будет благодарность.

Звонил сегодня и в Художественный музей. Статья о Заного будет, возможно, дней через десять. Пришло письмо из Сокольского с претензиями -стихи не печатают и денег не шлют. Вот так вот, пожалел старушку, ответил добрым словом.

29 ноября

Утренние звонки: Фигарев объявляет, что он агитирует всех за меня, как фигуру номер один на выборах. Согласен ли я? Ответил — да. Но что-то уж всё очень суетливо. Заного, оказывается, звонил вчера, но мне не передали. У него есть предложения по обложке. Договорились, что я к нему зайду.

Написал ответ в Сокольский район.

Мороз сегодня лютый, минус семнадцать, ледяной ветер. А ведь вчера ещё был плюс один и лужи.

У Заного. Опять — о его репродукциях, стихах к ним. Володю занимает только это, причём вне общей концепции книги. Я опять нервничал и был излишне раздражён, о чём очень сожалею. Да и прежде чем спорить, надо было проникнуться идеей, предложенной Владимиром.



Зашёл в Университет, забрал плёнки для обложки «В-4». В Сбербанк от «Посылторга» пришло 5000 рублей. Ещё с утра собирался ехать на завод, но такой холод, что от этой затеи отказался. Вернулся домой и сел писать о книге «Связь времён».

Позвонила Пугина. Рукопись повести она приготовила. Встретимся завтра в «Доме книги». Набрал черновик дарственного письма Пуриховав связи с подаренной мне скульптурой Христа. Вечером позвонил Фирсову, условились, что завтра я к нему приеду. Человек он добрый, организатор хороший, своим отказом от встречи я его, похоже, обидел. Теперь дело поправил.

30 ноября

Пришли стихи из Москвы. И неплохие. Отберу из них для «В-5». Встретился с Пугиной. Объяснил ей концепцию альманаха. Она передала свою книжку, вышедшую в Москве. Подарил свою книгу «Искушение». Из разговора показалось, что есть надежда на сотрудничество. Затем вечер у Фирсова. Замечательная библиотека. О многом переговорили и многое обсудили.

1 декабря

Зима!!! Морозы стоят уже третий день. Читал стихи из Москвы. Отобрал пять, но с натяжкой. Подготовил автору короткое письмо. Звонила Калинина. Длиннющий её монолог по поводу её предстоящей работы в министерстве культуры, о болезнях Адрианова и Шамшурина, что-то о журнале. Всё это бессистемно и утомительно. Но раз она не идёт в Союз, то что же за расклад сил возможен на выборах? Думаю, будет рваться Фигарев.

Позвонил Фирсов. Опять о статье про презентацию и всё в этом роде. Пришлось сказать, что если и напишу, то на основании книги попытаюсь порассуждать об общих тенденциях культуры. Позже позвонил Занога. Я порадовался этому звонку. Значит, не обиделся. Володя извинился в свою очередь за то, что был слишком настойчив и даже «навязчив». Слава Богу, что не случилось обиды. Вина была бы на мне. Он продиктовал

четверостишия и попросил совета по новым вариантам подписи к картине «Сквозь века».

Если завтра всё пойдёт по плану, то сделать предстоит много. Я всё чаще и чаще с нетерпением жду завтрашних дней. Сейчас — это моё лучшее время за многие годы, сознательные рабочие годы.

2 декабря

День на заводе. Звонил Пурихову. Сегодня должен он отнести фотографии. Жильцов — стихи пока не набраны. Заноге сказал своё мнение о вчерашних четверостишиях к картине. Крюков от встречи отказался. Занят. Читал повесть Пугиной и дневник (блокадный) матери директора музея завода. Его можно было бы использовать в публикации.

Пошёл к Коломийцу. Мороз минус четырнадцать, солнечно, безветренно. И зануло сердце от воспоминаний детства. У Коломийца оставил «В-4» пять экз. и письма для набора. Самого его не было, но вышла на работу секретарь. Теперь жить легче. Затем прошёл к Юрину. Он подготовил макет «В-5», который порадовал, но неожиданно оказался всего 130 страниц. Правда, без стихов. Оставил Юрину для набора московские стихи и подписи для картин Заноги. Завтра опять встретимся.

3 декабря

Утром звонок Заноги. Хвалит рассказы Коломийца и хочет с ним познакомиться.

На заводе просидел над вёрсткой четыре часа. Много сделал. Позвонил Репуленко насчёт типографии. Он подтвердил, что Крюков интерес вроде бы к изданию не потерял. Позвонил в «Православное слово». Материал о Пурихове поставили. Свои фотографии он тоже принёс.

Прошёл к Коломийцу. Отправил все накопившиеся письма (включая Назарову М.В.). В выходные Алексей Маркович, как корректор, прочитает вёрстку. А вот к Юрину не успел, придётся ехать завтра.

Звонок от Фигарева. Он всех обзвонил, все за меня, кроме Шамшурина. Тот, вроде бы, не может простить критики в его сторону



в очерке о Костине. Это уже становится серьёзным, и я всё отчётливее понимаю, что не хочу этого, что во что-то «вляпался». Впрочем, чувство подсказывает: они меня и не выберут.

4 декабря

На заводе вычитывал «Сезон». Удручающе много неточностей, ошибок. Созвонился с типографией Радиолоборатории. Если цена верна, то подходит. От завода пошёл домой пешком через «Нижегородские новости», Университет, Занogu. Юрин набрал и передал распечатку от Жильцова. Володя принёс обещанные стихи прямо ему. В Университете выписал счёт на «В-5». Со срочным счётом нужно идти и к Крюкову.

Зашёл к Заногe. Какой-то нудный разговор об издании. О том, что это не может быть окупаемым. Слава Богу, затем от этой темы ушли. Но Юрин в подписях к репродукциям картин всё перепутал и наделал ошибок.

Домой шёл пешком через мост. Валил крупный снег. Тихо. Хорошо!

Звонок Селезнёва. Наконец-то! Оказывается, ему не передавали мои просьбы перезвонить. И опять – разговор о моём избрании в Союз. (Об этом же говорили и с Высоцким, сегодня утром встретившись на остановке. Правда, я больше слушал да молчал. Говорил только Саша). О том, что Калинина готовит какую-то встречу. Я же предложил ему срочно подготовить стихи для «В-5» и передать мне не позднее пятницы. «Арину» он так и не подготовил.

5 декабря

С «нервами» дочитал дома вёрстку. Как много небрежности, как это раздражает. Дозвонился в Радиолобораторию и договорился, что завтра возьму у них счёт.

Сходил в Братство. На складе узнал, что «Вертикаль» в Москву для обмена ещё не возили. Это нехорошо. Марина Смирнова показала полосу с моим материалом о Пурихове. Хорошие фотографии. Пришёл домой и за один присест дописал статью о книге «Связь времён». Этим доволен. Обязательство по её написанию уже тяготит.

Сбегал к Барлиту на хладокомбинат. Снежок падает, температура минус десять. Хорошо! Подарил ему «В-4». Вечером опять сидел над вёрсткой, что-то поправлял, добавлял. Похоже, это до бесконечности.

6 декабря

Всё началось неудачно. В Радиолоборатории счёт переписали. Первая сумма была ошибочной. С площади Горького пешком пошёл в Геологию. Коломиец из командировки не вернулся. Вторая неприятность. Папку с вёрсткой всё-таки оставил у него на столе. Дальше – до завода. Солнечно и морозно. И с таким удовольствием я вошёл в свой убогий кабинетик на девятом этаже – просторный, светлый, тёплый – сел читать рукопись Пугиной. Пришёл Репуленко, посидел у меня. Но на мои вопросы ответить не смог, надо встречаться с Крюковым. Или хотя бы послать по факсу письмо. Я сказал Репуленко, что еду в командировку, и он отдал остальные 2000 рублей. Посмотрел музей завода (имя хозяйки его так и не узнал) и сочинил (по просьбе) запись в книгу гостей. Впервые держал в руках царских времён «паспортную книжку». Надо обязательно снять с неё копию.

Дома вечером звонок от Фигарева. На прошедшем Правлении все единогласно высказались за меня. Хочет со мной встретиться. Затем звонок от Бориса Селезнёва. Он подтвердил ту же информацию, но в более развёрнутом виде. Кстати, Жильцов и Шамшурин отказались категорически. А мне стоит ли во всё это лезть? Ладно, собрание покажет.

Кстати, Репуленко сказал, что насчёт комнаты для меня после Нового года подумает. Всё-таки какой он порядочный мужик, хотя внешне довольно замкнут и угрюм, суров. Набросал, опять же по подсказке Репуленко, письмо Крюкову, которое отошлю в понедельник. И тут звонит Володя Занoga. Прочитал мой очерк «Путешествие к мечте», восхитился Иссык-Кулем. Говорили долго и по-доброму. Его выставка переезжает в музей Добролюбова. Я думаю, там ей будет



«просторнее». Звонила и Пугина. Похвалил её повесть, но извинился, что прочитал пока только половину. Она готова печатать у нас только детектив бесплатно и с продолжением в нескольких выпусках.

7 декабря

Мороз продолжается. В Союзе встретился с Фигаревым. Александр опять говорил сумбурно, малопонятно. Я уяснил только, что будет ещё выставляться Климешов и что Шамшурин против меня. Он очень заинтересован в сохранении «Речи».

Вместе зашли в банк. Я снял деньги. В музее Добролюбова маленький вечер Бараховича. Ему 70 лет. Юбиляр показывал (в записи) Рождественский капустник «Онегин в Нижнем» 1998 года. Интересное представление. Фуршет. Фигарев убежал к Половинкину. Я за столом один в почти незнакомой компании. Но это не беспокоило. Позже подошёл Половинкин (Фигарев, как хвост, за ним). Представил меня рядом стоявшему пожилому композитору: «Это наш настоящий русский писатель». «Ах, так это вы Сдобняков! Я всегда читаю ваши статьи в «Нижегородской правде». Спрашивал о вас у Бедняева. Только редко публикуетесь». Закончили застолье втроём — я, композитор и Барахович, который подарил мне свою книгу. Дома соседка принесла стихи и плёнку от Селезнёва. Борис приезжал, но никого не застал.

8 декабря

Перепечатал материал о книге «Связь времён». Позвонил Занога. Его знакомый подсчитал возможность публикации «В-5» — Николаев Юрий Андреевич. Был звонок от Селезнёва. Я искренне похвалил его подборку. Получилась цельной и внешне, и внутренне (в своём духовном состоянии). Опять много говорили о предстоящих выборах. И всё-таки мне не хочется влезать во всё это...

9 декабря

Рано я закрыл записи вчерашнего дня. Позже звонил Эрастов. Хотел удостовериться, что я действительно дал согласие на из-

брание. Говорил вещи трезвые, по стратегии верные. Выразил полное одобрение моей кандидатуре и боязнь, что Седов устроит «базар» на собрании. Я опять сказал, что до избрания никаких шагов предпринимать не буду и за себя агитировать тоже. Но некоторые свои предложения в случае избрания рассказал. Разговор у нас был доверительный, с условием о его неразглашении. Ещё позже звонил Пурихов, рассказал о том, как отнёс фотографии в редакции, и предложил встретиться. Порадовал его, что во вторник выйдет статья в «Православном слове». Я возьму номера газет, и тогда уж мы повидаемся.

Позвонил Смирновым. Ольга обрадовалась, она ждала моего звонка. Дополнительные материалы для публикации подготовила. Просит ещё 3 экз. «В-4». Из «Дома бракосочетания» опять приглашают сделать презентацию «Вертикали». Почему бы не воспользоваться? Ольга завтра (условились встретиться днём) даст мне телефон, с кем переговорить на эту тему, и материалы для альманаха.

А сегодняшнее утро началось со звонка Бориса. Вышла газетка «Площадь искусств» с заметкой о «Вертикали». Вроде бы очень критической. Сам он не читал — позвонил Бочкова.

Поехал к Смирновым. Оставил им «В-4» и забрал пять материалов для альманаха. С площади Лядова пешком — сначала к Коломийцу, а затем на завод. У Алексея Марковича отпечатал письма для Крюкова и от Пурихова. Он рассказал, что кто-то из команды Кириенко дал альманahu высокую оценку.

На заводе читал рукопись детектива. Дозвонился до Художественного музея. В среду возьму статью о Заноге. Переправил письмо секретарям Крюкова. Прошёл в «Нижегородскую правду» (оставил статью для Мухиной) и к Юрину. Оставил для набора стихи Бориса и решил вопрос со стихами Заноги. Вечером забрал готовые фотографии, снятые на презентации книги «Связь времён» и в мастерской Пурихова.

Звонил Фирсов о выборах. Всё вычисляет, кто за меня, кто против. Всё кому-то звонит,



агирует. Позвонила Калинина. Приглашает 18 декабря в Арзамас на праздник книги. Согласился. Просит взять с собой книжки «Вертикали». Потом — директор музея Короленко. Тоже просит провести презентацию и подарить музею комплект альманаха. Пообещал подарить, а презентацию провести в середине января. (Телефон у меня есть, ещё раньше давал Пашков, предлагая взять какие-то дневники художника для публикации).

10 декабря

Утренний звонок Пурихова. Уточняет время встречи. Решили, что вечером у него в мастерской. В Братстве на складе сказали, что Вадиму о моих книгах напомнили, но он ответил: «Не в этот раз». Взял газеты с материалом о Пурихове. Отдал М. Смирновой «В-4» и спросил у Жильцова о материале из Ульяновска о Зайцеве. Он послал в Ульяновск письмо и сообщил о безгонорарности «Вертикали».

Я получил гонорар. Пошли в столовую. Пили водку. Говорили о поэзии. Но потом Володя опять свернул к выборам: «Почему бы тебе не взяться!» Я отказался говорить на эту тему, но он настоял. В итоге выходит, он будет голосовать за меня.

Пока был дома, позвонил Фёдоров. Самые выгодные условия. Дальше «Вертикаль» надо печатать у него. К трём поехал в мастерскую к Пурихову. Добирался полтора часа — снег, на дорогах сплошные пробки. Но сама встреча прошла замечательно. Приехал Занога. Так втроем и просидели до девяти, говоря о русской культуре, значении нашей работы в ней, о сегодняшнем её положении. Конечно, пили водку (но немного). Подарил Пурихову «Искушение», газеты, попросил подписать дарственное письмо, Заноге отдал фотографию, где мы с ним на презентации. (Кстати, в мастерской стоит бюст Владимира работы Пурихова). Вечер прошёл очень тепло и доверительно, душевно. Просто праздник.

Приехав домой, узнаю, что звонила Ирина Новосельская из Москвы. Моё интервью вышло. Позвонил Коломиец. Прочитал вёрстку,

всё понравилось. Есть предложения по поводу сокращения начала моей повести. Но его привели в совершенный восторг стихи, переданные Жильцовым, женщины из села Григорова: «Это открытие! Лучшая поэзия, что у нас была!!!» Ну, в такой степени я, может быть, его восторг и не разделяю, но стихи и мне понравились своей искренностью, чистотой, естественностью и непридуманностью.

Закончился день звонком Селезнёва. Макет «Арины» ещё не готов, но на подходе. Долгий разговор о том, что будет «после твоих выборов». Просится на место Фигарева. Я этому только рад, и если всё произойдёт, то со временем так и будет.

11 декабря

У Федотова взял счёт на издание, в Художественном музее — статью о Заноге. С площади Минина — пешком до завода (там дочитал детектив, позвонил Жильцову о предисловии к стихам его протеже и сделал запись в книге музея), а потом — к Коломийцу. Алексей Маркович вычитал большую часть вёрстки. Всё ему нравится, только справедливо отметил слабое и затянутое начало моей повести. Позвонил Рагиму. Душевно поздравили друг друга с Днём Конституции. А вот до Новосельской никак не дозвониться — занято.

Никакой реакции на моё письмо от Крюкова пока нет. Это огорчает. Вечером дома сидел над макетом, переделывал содержания, писал последнюю страницу с благодарностями и так далее. Всё нахожу и нахожу недочёты. Селезнёв позвонил и сообщил, что макет «Арины» готов и находится у него уже выведенный на чистовую. Хочет печатать в «Полиграфленде» у Федотова.

12 декабря

Задумал написать «Послесловие» к пятому выпуску. Как-то всё сразу сложилось и стало понятно, о чём писать. Даже сделал наброски. Но пока совершенно нет условий для работы, негде присесть — все дома, все столы заняты.

Позвонил Никитин. Просит, чтобы я договорился о встрече с Адриановым. И что



прикажете делать? Второй раз ему отказывать — значит сильно обидеть. Идти к Юрию Андреевичу — это покупать водку (свободных денег нет) и пить (этого тоже не хочется). Всё-таки набрал телефон Адрианова. Со мной встретиться он готов, а с Никитиным опять: «Квартира не убрана, Наташа болеет...». Пришлось мне Валерию Васильевичу сказать, что Юрий Андреевич занят работой над вёрсткой новой книги и встречу просит перенести. А мы с ним можем увидеться у Заного сегодня вечером в мастерской. На том и порешили.

Но Заного я звонил несколько раз, его всё не было дома. Зато полностью составил «Послесловие» для «В-5» из двух ранее написанных материалов, и ещё кое-чего к нему подписал. Получилось стоящее и для умных людей многое объясняющее. И тут вспомнил слова Коломийца, решил вместо «Послесловия» назвать «Вступительное слово редактора» и поместить в самом начале — как объяснение для тех, кто не понимает задач издания. Для этого пришлось полностью переделать титул и первые страницы. А уж коль вспомнил разговор, что литературно-православное издание уже своей заданностью в названии отталкивает некоторых читателей, то на это поддается не надо. Мы тем и интересны, что обозначаем свой путь, свои задачи. Эта наша цель стратегическая и только она нас «выведет в люди», найдёт сторонников. Пойти путём отказа от религиозного и национального — это потерять лицо, привлекательность. Это предательство!

Дозвонился до Селезнёва. А он «весёленький» — с Федотовым о встрече договорился, статейки Высоцкого не видел. Вот и весь разговор. И тут же звонок пьяного Высоцкого, не передумал ли я избираться в Союз: «Не переживай, мы тебя поддержим». Это меня раздражает, но ничего, зачем-то терплю.

13 декабря

Прошёл день непродуктивно, но в отдыхе. Дочитывал Паршева «Почему Россия не Америка». Ещё раз перелистал часть вёрстки, которая у меня. Ошибок больше не нахожу. Да,

звонила Людмила Калинина. Время отъезда в Арзамас изменилось, едем вчетвером: я, Чуянов, она и Светлана (эта зачем — непонятно) на «Волге» вместо «Газели». Не будет лишних выступлений, всё закончится одной встречей и банкетом. Так я надеюсь. Людмила в министерстве работает куратором Союзов писателей и художников. Относительно моей персоны, как претендента на выборную должность в Союзе, она, мне показалось, ничего не знает.

14 декабря

Звонит Борис. Ждёт меня на площади Ленина. Встретились. Борис пьян. Говорит, повторяясь и талдыча одно и то же. Посоветовал Борису обсчитать макет в других типографиях, но не уверен, что он это сделает. А если и сделает, сколько месяцев потребуется при такомто «медленном» отношении к делу?

Пришло заказное письмо из Адыгеи, из Майкопа от Селедцова Олега с повестью «Нет в раю нераспаятых». Об альманахе он узнал через «Православное слово».

15 декабря

В университете выписал накладные для «Волгагеологии» и узнал стоимость «Арины». Сразу позвонил Селезнёву, сообщил. У Юри-на оставил для исправления вёрстку и всё, что с ней связано. Коломиец перепроверил. Забрал у него остатки «Вертикали». Позвонил Новосельской, узнал у неё адрес и выслал сразу «В-4». Она сегодня же обещала отослать газеты с моим интервью. (Оставил для набора статью о Заного и фото Адрианова, чтобы вставить в рамку).

Вернулся к Юрину. Оставил вторую половину исправленного материала и забрал для вычитки стихи Селезнёва. Зашёл к Мухиной. Статья о Пурихове должна вот-вот появиться, а о «Связи времён» ещё не готовила. Но материал ей секретарь передала. Когда шёл из редакции, встретил Заного. Выставку в музей Добролюбова он перевёз. Завтра можем сходить и посмотреть.

Зашёл в Союз. Фигарев в Москве. Половинкин, открыв конверт: «Это Фигареву, а



потом вам». Видно, подумал о выборах, как о деле решённом.

Из дома позвонил Пугиной. Сказал, что повесть прочитал, и она мне, в общем-то, понравилась. Всё сделано профессионально, в культуре русского письма. Но что делать дальше, я не знаю. Как этот материал использовать? Отдам ещё двум коллегам на прочтение, чтобы посоветоваться о дальнейшей судьбе повести в «Вертикали».

И самое неприятное. Разговаривал по телефону с секретарём Крюкова. Моё письмо ему передали с почтой. Резолюции пока нет. Но если я прошу помочь деньгами, то их у завода нет. Что-то там не получилось с заказом. Видимо, рассчитывать на первоначальный разговор с Крюковым не приходится. Что же тогда делать? Подготовить укороченный вариант в прежнем размере («В-4») и объёме? Попробовать через Крюкова получить бумагу из Балахны на его печатание?

Вечерний звонок от Пурихова. Заного рассказал ему, что встретил меня, что публикация ожидается в ближайшее время. Они с женой читают мою книгу, уже осилили «Мост». Нравится. Поговорили недолго, но со взаимной симпатией. И у меня родилась мысль. Вот бы обосновать что-то в виде клуба при Союзе из художников, учёных, музыкантов, актёров... Не формально, а по духу. И приглашать в этот клуб предпринимателей. Это надо серьёзно обдумать. Мысль очень неплохая, и я около неё «хожу» давно. Она становится всё реальнее. Дай-то Бог.

16 декабря

Пешком дошёл до завода. Тепло, но к концу недели по прогнозу опять холода до тридцати градусов. Забрал из кабинета остатки бумаг. Наверное, больше сюда не вернусь. Пошёл к Юрину. Оставил ему правку Селезнёва. Узнал, что в «Волгагеологии» набрана статья Пуховой. Сходил и туда, забрал наборы (готова и моя автобиография) и принёс Юрину. Теперь все материалы собраны.

В «Нижегородских новостях» у Пашкова собрались Жильцов, Заного, Кузнецов из Лукоянова. Жильцов принёс заметку к стихам

Дарявиной и сказал, что из Ульяновска пришёл ответ с согласием опубликовать статью в «Вертикали» о Борисе Зайцеве. Вместе с Володей получили гонорары в «Нижегородской правде» — почти триста рублей. Все вместе пили водку. Жильцов агитировал за Шамшурина, радовался, что тот станет главным редактором местного литературного журнала. Мы с Пашковым в этом его не поддержали. И вообще, откровенное пристрастие Жильцова к Шамшурину, преданность и агитация за эту фигуру вызывает у меня настороженность. Объяснения этому не нахожу. Уж не такая Валерий Анатольевич великая личность.

17 декабря

Утром звонит Заного, беспокоится. Вчера мы с ним потерялись. Я оставил его в «Художественных промыслах», а сам ушёл на остановку, ничего не сказав. Договорились встретиться у музея Добролюбова, посмотреть Володину выставку.

Отправился на выставку пешком. Володя принёс газету Климешова с репликой Высоцкого о «Вертикали». Глупо, всё передёрнуто. Да и не может Саша мыслить на уровне «Вертикали». Слишком мелок и эстетически, и творчески.

Заглянули в «Нижегородские новости», от туда – в выставочный зал и в мастерскую к Володе. Пили чай, ели варенье, отогревались душой и телом.

Вечером звонки: *Фирсов* – Опять о выборах в Союз. Кого он обзвонил, все поддерживают меня. И ещё долго в этом же духе. *Селезнёв* – О завтрашней поездке в Арзамас. Он даже не знает, что не едет. Я отослал его для выяснения к Калининой. Насчёт «Арины» он так больше нигде ничего не уточнял. Всё ждёт, что Надежда принесёт координаты какой-то очень дешёвой типографии. Сам он палец о палец не ударил.

18 декабря

Пока было время до отъезда в Арзамас, набросал планчик тезисов о том, что предстоит сделать в первую очередь, если меня выберут председателем. (Это для возможно-



го выступления). Затем написал черновик письма Патриарху. Так долго собирался! Но и теперь не уверен, стоит ли его отсылать (конечно, с экземплярами «Вертикали»).

Поехал в Министерство культуры. Было ещё рано, поэтому решил зайти в Союз, узнать у Высоцкого о газете с его репликой. Встретил на первом этаже Половинкина и Эрастова. Они о газете ничего не знают. Поднялись наверх в кабинет Половинкина. Пришёл Фигарев и Высоцкий. Газеты у него тоже нет. Думаю, Климешов принесёт 21 декабря. Фигарев объявил, что Шамшурин будет выдвигать свою кандидатуру на выборах. Половинкин очень расстроился и погрузился. На предложение Жени выступить в поддержку меня Половинкин отказался. Боится обострения с Шамшуриним. Интересно, тот его «полоскает» при каждом возможном случае, а этот боится даже ответить. Странно.

В Министерство почти опоздал. В Арзамас ехали вчетвером — я, Чуянов, Калинина, Светлана. Вечер в Центральной библиотеке, а потом банкет в пединституте. Подарил «В-4» Чуянову и «В-3,»В-4» ректору института с предложением о сотрудничестве. Тот воодушевлённо согласился. Вообще, он дядька очень интересный, «живой», подвижный и азартный. Издаёт более шестидесяти книг в год. Мы и на банкете сидели вместе, друг против друга.

Ещё перед собранием, за кофе и бутербродами, Плотников завёл разговор о выборе меня руководителем Союза, а Еремеев обмолвился, что ему написал Адрианов обо мне. Но что это было за письмо, я не понял. Петра перебили, а мне выспрашивать было неловко.

19 декабря

Очень ранний звонок Жильцова. Сказал, что меня разыскивает Елесов из Кулебак (он мне присылал свои стихи, а я ему предложил участвовать в распространении «Вертикали», и вот вроде бы он готов подключиться к работе), а затем заговорил о выборах Шамшурина, о том, что меня выберут в Правление... Подразумевается, что я должен снять свою кандидатуру. Предлагает завтра встретиться

на какой-то презентации и всё обговорить. Пока на встречу я согласился.

Потом звонок Климешова. Нахваливает «В-4»: «Вы здорово растёте». На мой вопрос о реплике в его газете пробубнил что-то мало вразумительное. А потом разговор пошёл опять о выборах. «Мы должны выставить своего единого кандидата». (Я думаю, ему очень хочется, чтобы этим кандидатом был он). Пришлось сказать, что я свою кандидатуру не снимаю. Тогда всё встало на свои места. Он обещал полную поддержку, но кто знает. Ох, как вспоминается предательство (полное!) прошлого года.

Сегодня ходил только пешком. В «Земле Нижегородской» оставил Гладышевой «В-4» и узнал в секретариате, что материал о Селезнёве подготовлен и лежит у них. В «Нижегородских новостях» — Юрин поправил набор Адрианова, и я его (чистый) понёс Юрию Андреевичу. У Адрианова обедали, очень хорошо и душевно разговаривали. Попросил Юрия Андреевича написать предисловие к моей будущей книге «Обретение России». Он сразу согласился. Наташа сказала, что «Вертикаль» хорошо «набирает вес». И опять о выборах. Оказывается, Рябов просил Адрианова выступить на собрании за Шамшурина. И тот в раздумьях. Пришлось ему всё рассказать относительно моей персоны. Наташа воскликнула: «Отлично!». Юрий Андреевич задумался. Наташа меня просила убедить Адрианова не выступать за Шамшурина, и я это ему сказал. Тот, похоже, согласился.

Дома звонок Прибутковской. Была в Министерстве культуры. Там случайно узнала о собрании, что в Министерстве поддерживают Шамшурина. Рассказал ей о своей кандидатуре. Нина за меня, но у неё в субботу съёмки. Как-то попытается передать своё мнение через Полину Николаевну (по моей подсказке) в заклеенном конвертике.

Позвонил Адрианов: «В наборе не хватает половины текста». А ещё ему звонил Фигарев: «Зондировал почву. Лобов мне уже два дня не звонит, после своей поездки в Москву и возбуждённого звонка после неё. А посидели сегодня хорошо».



За набор я расстроился — опять проблемы. Но сравнил его с рукописью и увидел, что всё в порядке. Это Адрианов что-то перепутал или забыл. Потом был звонок Селезнёва. «Арину» он решил печатать в Университете. Не обошлось и без обсуждения выборов: «Телешева целиком за тебя...». Поздний звонок Климешова: «Мы полностью за тебя. (Кто мы? Как в прошлом году?) Но условие — Фигарев там работать не должен. Он агитирует за Шамшурина». И я этому верю. Человека более беспринципного и продажного, чем Фигарев, действительно встретить трудно. Атмосфера накаляется. Чем всё закончится? Ясно, Фигареву сказали, что министерство даст под Шамшурина денег, и он «потёк».

20 декабря

Фигарев позвонил и пригласил на правление. Я созвонился с Юриным. Правку он закончил. Срочно поехал к нему. Сделали титул и «вывели» материал Адрианова (он действительно отдал ему только чётные страницы). Созвонился с Юрием Андреевичем и отправился к нему. Всё объяснил. Он попросил посидеть и рассказал, что звонил Рябову, Шамшурина и отказался завтра ехать на собрание. Кстати, показал мне книжку, выпускаемую областной библиотекой, «Календарь памятных дат» с юбилеями наших писателей. Я посмотрел Карасёва и Осипова. Мои статьи там указаны.

Вернулся к Юрину. До 16.00 распределяли материалы в макете. Сделали почти всё. Был в Союзе. На правление пришло мало народу. Что-то говорил и я. Когда прощались, Половинкин сказал, что ему нравится мой настрой. Назад поехали с Эрастовым на машине Селезнёва. Вроде бы должны выиграть выборы, но полной уверенности нет. Женя настроен по-боевому.

Доехали с Селезнёвым до улицы Бекетова. Там за пивом ещё поговорили, и я отправился домой. Борис очень переживает. Уверен, что в случае нашей победы в его жизни многое изменится.

Дома звонки от: *Прибутковской* — очень постарается завтра быть; *Заного* — его при-

глашает на собрание Фирсов, чтобы поддержать меня. И как быть, он не знает. Видно, боялся меня обидеть. Я рассоветовал ему приходить. *Фирсов* — долго ругал Шамшурина. Он многих обзвонил: «Старики и молодёжь за тебя, а вот что среднее поколение»? Меня удивило, что Валентин Николаевич тоже поддерживает. Мерзко ведёт себя Фигарев. Бойтся прогадать и готов продать любого и любому.

21 декабря

Пешком пошёл в Союз. На мосту попал под ледяной ветер, но так и дошёл, не пользовавшись транспортом.

О самих выборах писать не очень хочется. Шамшурин выиграл с перевесом в один голос. Дискуссия шла жёстко, но в рамках. Я выступал хорошо, корректно. За Шамшурина пришли уговаривать и от министерства культуры, и Сериков из Законодательного собрания. Учитывали голос не вставшего у нас на учёт нового члена, голос не присутствующей Телешевой. В общем, натянули. Может, и слава Богу? После дискуссии Шамшурин подошёл ко мне, пожал руку. А когда объявили результаты голосования, то первым меня зачитал в списке предложенного нового правления.

После в гостинице «Россия» у Ковшовой вместе с Климешовым, Николаевым, Рыжаковым пили водку. У всех настроение одно — ты не проиграл. Ну — это всё бравада! С пришедшим Селезнёвым пришлось доводить до подъезда «ослабевшего» Рыжакова. И впервые в этом году так мело. Как же я люблю такую погоду!

22 декабря

Началось! Пошли успокаивающие звонки. *Заного* спокоен, мудр: «Он выиграл — а ты победил». *Фирсов* говорил что-то о возможной подтасовке (я думаю, они просто всё держали под контролем). *Селезнёв*: «Бочкова просит нас не выходить из правления, чтобы защитить литобъединение «Феникс», а Телешева сообщила, что к ней приезжали и она проголосовала за Шамшурина». *Прибутковская*: «Ты стал вторым человеком. Это



очень много. Ведь у Шамшурина такие связи, а у тебя их нет».

Прогулялся до «Светёлки» и обратно. Заменял у Фирсова книгу, но слушать графома-нов не стал. Нет на это никаких сил. Вечером звонит *Ковшова* из Сарова. Беспокоится за Рыжакова. Объяснил ей, что довели писателя до подъезда. Потом *Пашков*. Сочувствует. О выборах писать не будет — не хочет делать рекламы Шамшурина. Всё-таки какое-то чувство горечи есть. Чего тут лукавить. Но выиграй я — что бы стал делать?

23 декабря

Борис сообщил по телефону: всё-таки самая дешёвая печать «Арины» в Университете. Просит с ним сходить. Иду пешком. В типографии договорился. К Рождеству выпустят несколько десятков книжек. Борис, похоже, с похмелья, соображает туго. Макет «Арины» мне не понравился, сделан непродуманно и небрежно. Жаль, но говорить ничего не стал. Исправить всё равно невозможно. А посоветовать переделать — это ещё несколько месяцев.

Предварительно позвонив, пошёл к Адрианову. У него вчера были Плотников и Еремев. Говорили о выборах — подавленно. Я расказал свою версию (после того, как забрал вёрстку для «Вертикали») прошедшего собрания. Оказывается, Рябов за час до собрания опять звонил Юрию Андреевичу, уговаривал. Адрианов возмущён выборами, нервничал.

Прошёл в «Волгагеологию», взял письмо, пришедшее из Москвы, от Кан. Она согласна на безгонорарную публикацию. Тут же снял копии с «Реплики» Высоцкого. Пошёл в «Нижегородские новости». С Юриным поработали над макетом. Осталось совсем немного. У Пашкова, по его рекомендации, познакомился с режиссёром из ТЮЗа (Белов Лев Серапионович). У него есть какая-то интересная рукопись из Франции о Серафиме Саровском. Обменялись телефонами. Пашков сообщил, что меня сегодня выберут замом Шамшурина. Всячески язвил по этому поводу. У него верная информация — я ему сразу поверил.

В Союзе на правлении я опять говорил какие-то, на мой взгляд, правильные и нужные вещи относительно экономических дел. Крепко наехал на Фигарева. Но вообще всё правление мне чужое, и мы с Селезнёвым в нём, как две белые вороны. Правда, Борис, как мне показалось, адаптировался быстро. Меня, по предложению (разыгранный спектакль) Жильцова, утвердили первым замом «по экономическим вопросам». А затем, когда расходились, началось. *Калинина*: «Если бы Седов знал о другой кандидатуре. Ведь к нему никто, кроме Шамшурина, не приходил. А он к нему не очень был расположен». *Жильцов* — «Если бы я знал, что ты идёшь. Ведь это я всё организовывал для Шамшурина. И Серикова приглашал. Я же не знал, что тебя выдвинут. После две ночи не спал, сердце болело». И я ему верю. Не на того поставил. Всё-таки результаты голосования их ошеломили.

Уже после сидели с Володей и Борисом в «крестьянке». И тут, при полном молчании Селезнёва, Жильцов обвинил меня в хитрости и нечестности. Это я, который открыто излагал свои взгляды, хитёр? А они, молчание и приспособляющиеся, честны и открыты? Расстались холодно, как чужие.

Домой звонили. *Адрианов* дважды. Сначала спрашивал о правлении и опять посетовал, что не пошёл на собрание: «Десять голосов сразу бы перешли». А второй раз попросился в редакционный совет. Я сказал, что с радостью: «Сам не предлагал, потому что стеснялся». «А я стеснялся попросить... Компания уж очень хорошая». Попрощались очень тепло.

Фирсов: «Ты не очень там усердствуй. Пусть сами покажут, на что способны. Шамшурин ненадолго. Через два с половиной года пере выборы. Так сказал Половинкин. Это по новому положению». Мудрый мужик. То же советует Ирина. Позвонил и Белов. Договорились встретиться у него дома завтра. Не забыть отвезти альманахи.

24 декабря

Ночью проснулся и никак не мог заснуть. Чтобы время не терять, подготовил поправки



и дополнения к макету (последняя мелочь) «В-5». Проснулся почти к обеду. И тут звонит Заного. Оказывается, он вчера днём меня искал, хотел пригласить на закрытие года Украины в России в оперный театр. Жаль, что я там не побывал. Это было бы лучше, чем вчерашняя неприятная встреча в столовой. Потом сразу — Донской. Интересовался, кто вместо Половинкина в Союзе. Про себя и выборы я ничего не сказал, только: «Шамшурин».

Оказывается, Федотов остатки книжек Михаилу Ивановичу так и не доделал.

Пошёл в Братство. «Вертикаль» лежит на складе, Вадима нет, и в Москву он до середины января не поедет. Хотелось повидать Жильцова, да тот в редакцию не приходил. Поехал я к Юрину. Довели до конца макет и вывели его. Пашкову сказал, что его имя назвал среди друзей «Вертикали». — «Ты не против?» — «Нет. Только тебе будет хуже». — «Ерунда. Всё равно нам нужно как-то объединяться». — «Да».

Созвонился с режиссёром. Встречу перенесли на завтра. Потом с Селезнёвым. В четверг он хочет частично оплатить «Арину».

Зашёл из редакции к Заного, оставил макет. Владимир его крепко покритиковал. Я же был раздражителен и не сдержан. Слава Богу, мы всё это загасили. А потом пришла его супруга. Пили кофе, хорошо разговаривали. На прощание попросил его на меня не обижаться.

Дома узнал, что звонил Адрианов, просил перезвонить. Набрал номер. Юрий Андреевич хочет, чтобы мы нашли общий язык с Рябовым. Он говорил с ним обо мне и считает, что у нас всё должно получиться. Опять хорошо отзывался о «Вертикали». Позвонил Борис. Он разговаривал с Ковшовой. Та рассказала Переяслову о «Вертикали», и он просит срочно прислать ему альманахи в Союз писателей на Комсомольский проспект, чтобы он написал в январский выпуск газеты.

25 декабря

В Союзе я ещё больше убедился, что у этой команды серьёзные цели на здание. Смотрели уставы, помещения, подвал.

В «Волгагеологии» встретился с Коломийцем. Дозвонился до Переяслова. Он говорит: «Давно надо было прислать». Отправил в Москву «В-2», «В-3», «В-4».

Договорились о моём столе в геологическом музее.

От Юрина позвонил Бровкину. Он был не очень приветлив. Условились, что я завтра перезвоню, и договоримся о встрече. Думаю, он лукавит. В Учебном театре встретился с Беловым. Посмотрел один акт учебного спектакля — он мне искренне понравился. Ребята играли чисто, без наносного актёрства. Лев Серапионович передал обещанную рукопись киносценария. Я ему подарил «В-3», «В-4».

Домой звонок Фигарева. Понёс какую-то ахинею насчёт сегодняшней встречи в Союзе. Я бросил трубку.

26 декабря

Ещё вчера почувствовал, что простыл. Сегодня же совсем свалился. Решил куда не выходить. Только читать и работать по телефону. Позвонил Климешов. Обменялись впечатлениями по поводу прошедших выборов. Но главное, опять решили «держать курс на объединение». Совместно нашими изданиями выступать на презентациях и вообще друг друга поддерживать. Павел пообещал, что напишет о «Вертикали» для «Предпринимателя» (оказывается, о художниках для этого издания пишет он), а о собрании попробует дать в «Нижегородскую правду». Потом Жильцов, больше для сглаживания ситуации, так я думаю, говорит, что ждёт два материала, мною обещанных.

Читаю рукопись киносценария из Франции («Помоги!» Катрин Фанту-Гурнэ). Любопытно, как они видят Россию и нас. Какой-то лубок. Ничего они в нашей истории и в нашей душе не понимают, а туда же, лезут судить. Но читаю с интересом. Рукопись о пути главного героя к вере, к Серафиму Саровскому, его паломничество в город Саров. Всё это переплетено с детективным сюжетом. А ведь написано католичкой! Вот такой коктейль.



Дозвонился до Бровкина. Условились встретиться завтра. Позвонил Борис. Он отдал часть денег за «Арину» в типографию Университета. Книжку уже печатают.

27 декабря

Приехал в «Нижегородские новости». Пока ждал Юрина, сделал несколько звонков. С Климешовым и Заногой договорились о встрече в Художественном музее на открытии выставки Шихова, а с Беловым – что он свяжется с Парижем и сообщит мои координаты для контакта. Я сказал, что отрывок из сценария могу напечатать. Дозвонился и до Репуленко. Пришлось сказать, что в командировку я съездил. А он встретится с Крюковым, и мы с ним созвонимся 30 декабря. Ключ от комнаты, он сказал, пока отдавать не надо.

Пришёл Юрин. Быстренько с ним заверстали три странички, я их забрал для Коломийца. Прошёл к Бровкину. Очень хороший офис. Встретились в комнате для переговоров. Жездрин рассказывал ему обо мне, и он меня вспомнил. Состоялась беседа заинтересованная и результативная. Я довольно вразумительно представил «Вертикаль» и то, чего хочу от него. Николай Игнатьевич взял моё письмо и обещал позвонить. На его вопрос, о какой сумме идёт речь, я ответил — 20000 рублей или сколько сможет. В конце он подарил мне складник, масло и воду с миром, привезённые с Бари от Николая Угодника. Окрылённый, пешком, в тридцатиградусный мороз, прошёл к Коломийцу. Оставил вёрстку М. Чижова (Алексея Марковича не было) и посмотрел свой стол в музее. Уютно!

Поехал в Художественный музей. На площади Минина был в три часа — рано. Решил дойти до памятника Чкалова и посмотреть на Волгу. Из-за мороза Бора не видно. Ветер. А на середине реки какой-то чудак ходит. Видно, рыбак. Невероятно! Тут за десять минут замерзаешь до невозможности... Пошёл в «Землю Нижегородскую». Опоздал. Гонорар не получил (все уже ушли), но в вёрстке видел, что завтра идёт заметка о «В-4».

В музее на выставке Шихова: фотографировался с Николаевым у его портрета, выяс-

нил у Фигарева недавнюю «проблему», долго говорили с Шамшуриным о перспективах (он познакомил меня с женой), немного — с Климешовым, Пуриховым... С Заногой и его супругой рано ушли в музей Добролюбова. Там презентация книги Терехова. Пел Водопьянов. Люди по ощущению мне чужие, о чём и сказал Владимиру. Там же неожиданно столкнулся с братом. Даже хотел уйти, но потом передумал. Всё равно на фуршете сидели за разными столами. Были там Жильцов и Проймин — ко мне внимательные и предупредительные. Когда уходил, на улице встретил Павла Климешова — он шёл в музей. Сказал ему, что всё уже закончилось, и опять говорили о наших делах, об объединении, о поддержке друг друга.

28 декабря

Прочитал рукопись повести «Нет в раю нераспятых» Олега Селедцова из Майкопа. Да, я не ошибся. Нужно её печатать. Сразу набросал письмо автору. А позже, после договорённости с Прибутковской, что она будет писать обо мне статью для «Предпринимателя», набросал примерный план для неё.

29 декабря

Подготовил две статьи для «Православного слова» — об «Арине» составил (с дополнениями) из двух заметок, написанных для этого приложения ранее и переписал о книге «Связь времён». Всего вышло двенадцать рукописных страниц. Завтра планирую отнести. Вечером позвонил проведать меня Борис. Он всё думает, как быть с Литфондом.

30 декабря

Отнёс статьи Жильцову. Позвонил в Университет и Репуленко. Пачку «Арины» можно сегодня забирать, а Виктор Георгиевич сам перезвонит мне позже.

Поехал в «Землю Нижегородскую». Забрал у Гладышевой газеты с заметкой о «В-4» и отправился в «Волгагеологию». Там позвонил Новосельской (она по факсу передала опубликованное интервью) и отдал в набор письмо. Рамки с моими бумагами готовы.



Красиво. По приглашению Алексея Марковича отметил с ними «Новый год». Когда приехал домой, позвонил Борис, позвал к себе. И я поехал. Хотелось подержать в руках «Арину». Опять выпивали (не надо бы — в этом месяце что-то слишком часто прикладывался к рюмке), Борис с любовью подписал мне «Арину».

31 декабря

Пришло письмо из Москвы. Ирина сконструировала интервью из моих заметок, публикаций и нашего летнего разговора. Получилось неплохо. И газета солидная, видно по опубликованным материалам. Ещё письмо от Союза писателей с открыткой и листовкой о деятельности правления. Позвонил Лев Белов. Мои координаты в Париж передал. Но свяжутся, наверно, после Рождества. Сейчас много хлопот. Договорились после праздников обязательно встретиться.

Погода сегодня истинно новогодняя. Тепло, валит снег. Ходил на стоянку, очищал от

снега машину. С удовольствием покидал снег лопатой за забор. Неудобно — вокруг машины сугробы.

Наташа передала, что вчера, как и обещал, позвонил Репуленко. Попросил связаться с ним 8-го января. Он организует встречу с Крюковым.

Звонки: *Донской* — в газете инвалидов опубликован новый состав правления Союза писателей и всякие хвалебные слова о Шамшурине. *Шамшурин* — поздравлял с Новым годом.

Вот и прошёл ещё один год «Вертикали». Сколько всего он вместил в себя! Путь пройден непростой, значительный. На стеллажах стоят уже четыре книжки и полностью подготовлен макет пятой. Были статьи, интервью, новые встречи с людьми интересными и замечательными. Те, кто знает о «Вертикали», считают её фактом не случайным, а состоявшимся. Что ж, будем надеяться, что и дальше Господь меня не оставит... Будем жить!..



Елена КРЮКОВА

СОЛДАТ И ЦАРЬ

Складень. Фрагменты романа

ПРЕЛЮДИЯ. ВСЕ РАВНО

Чем больше я живу, тем яснее вижу: земля пульсирует кровью, как человеческое тело.

Если она долго живет без войны или революции, то сама себе делает кровопускание, будто эта грубо, щедро льющаяся кровь может ее очистить от грязи. Выливаясь из ее черного разрубленного тела, омыть все, что гниет и смердит.

Но это иллюзия. Так мы говорим, чтобы себя утешить.

В смерти нет ничего высокого. Она ждет всех, и меня тоже. Говорят: революция прекрасна, она вдыхает в народ новые силы! И он бежит к яркому свету будущего!

...На свет полыхающего страшного зарева бежит он, народ.

...Моя бабушка, Наталья Павловна Еремина, была пятой дочерью моих прабабки и прадеда, а всего детей родилось одиннадцать. Я ловила, как котенок, клубок из ее корзины, у ее толстых мощных ног, когда она вязала. Или шила на старой ножной швейной машинке. Нога бабушки ритмично двигалась, ткань ползла из-под руки.

...Сейчас думаю: это ползло, падало на пол время.

Баба Наташа держала в зубах нитки, иголки. Когда вязала – и спицы, как собака палку. Я смеялась. Она вынимала спицу изо рта, беззубо и морщинисто улыбалась мне и говорила. Рассказ будто не прерывался. Я вздыхала и слушала. Вертела в пальцах перламутровую пуговицу от старого бабушкиного сарафана.

Бабушка рассказывала о прадеде Павле, а потом еще об одном человеке, его друге.

Звучало это примерно так, не берусь воссоздать все точнехонько:

– Твой прадедущка Павел нам этот дом построил. Верней, перестроил, из ветхого старья. Плотник был отменный. Топор танцевал в его руках. А уж настрадался он в жизни! Где только ни мучили его. В особом лагере на Новой Земле отсидел пятнадцать лет. До этого – Соловки. До Соловков – Уссурийск. До Уссурийска – поселение, Минусинская котловина. Там у него и женщина была! Мать знала, сильно плакала. А до Минусинска...

Баба Наташа опять зажимала в губах спицу. Металл тонко блестел, я торопила рассказ: а дальше?

– До Минусинска... Был Омск... А до Омска – Екатеринбург, теперь Свердловск... Там он горячего хлебнул... А до Свердловска – Тобольск... А в Тобольск отец прямо с войны попал, из окопов... А на войну – из Нового нашего Буяна взяли...

Я отматывала вместе с бабушкой клубок времени назад. Разматывала время.

...Только сейчас разматала – а ветер уже разматал ключья шерсти, порванные нити.

И вот наступило странное и важное время – связать все эти гнилые, истлевшие, летающие по серому ветру нити. Нечто важное, верное рассказать. Для кого важное? Для меня самой? Или для тех, кто будет это читать и думать над этим?

Время – ветер, оно выдувает непрошенные мысли. Люди привыкают не думать в тишине, а только работать, делать. Им кажется – важные дела. Или отдыхать, наслаждаться.



Почему «хлебнул горячего» в Свердловске? Почему у этого города два имени? Горячее – это страшное, я догадалась тогда.

Много позже я узнала, уже со слов моей матери: прадед Павел Ефимыч, красноармеец, служил в отряде, который сторожил последнюю царскую семью в Ипатьевском доме в Екатеринбурге.

Уже нет того дома: сломал товарищ Ельцин. Или господин Ельцин, как угодно. Наш первый президент. Я с замиранием сердца спрашивала маму: а правда, прадедушка Павел расстрелял царя? Мать прижимала палец к губам. Так же, как бабушка, она всегда шила на ручной швейной машинке «Подольская», черной, чугунной, с золотой вязью по гладким женским бокам. И все так же ползла из-под руки, со стола на пол, разнообразная ткань.

Палец, прижатый к губам, говорил без слов: говорить нельзя. Запрещено.

Мама, глазной врач, рано надела очки. Сапожник без сапог. Толстые стекла непомерно увеличивали глаза. Мы, девочки, таких лупоглазых цариц рисовали чернилами на школьных промокашках. Она стала портнихой по наследству, домашней, только для семьи. Шить она умела все – от пальто и шубы до детской распашонки. Все семейство обшивала. Ночами.

Однажды ночью я услышала, как она плачет. Осторожно ступая босыми ногами, вышла в большую комнату – мама называла ее «зала». Большими красивыми руками мать вцепилась в чугунную плаху «Подольской», лоб лежал на руках, она всхлипывала. Толстые очки валялись на полу. Я подошла и погладила ее по плечу. Подняла очки.

«Мама, что ты плачешь?» – спросила я тогда робко. Я не умела утешать, стеснялась. Меня ласкали и любили, а я не умела ласкать. Боялась. Мать утерла лицо ладонями. Потом погладила мне шершавой, будто наждачной ладонью заспанное лицо.

«Деда вспомнила. Как он нас всех, сестер, любил. Меня звал Нинусик. Томочку – Тамочка. Валю – Валеночек. А ты знаешь, доченька, ведь он царскую семью расстрелял. И на всю жизнь это запомнил. А все равно его

по лагерям затаскали. Не помиловали. Хотя видишь, ради советской власти он невинных людей убил».

Как это невинных, думала я смятенно, ведь проклятые цари мучили народ, стреляли в него, издевались над ним! Надо было обязательно их убить!

Нас так учили в школе. Я не знала другой правды, да и не было ее.

Я стояла, слушала мать, водила пальцем по золотым вензелям на черном чугунном боку швейной машинки. Машинка напоминала мне черную тяжелую корову. А на корову кто-то накинул попону с золотыми, царскими узорами.

«А когда его увозили на подводе из Буяна на поселение – он так всех нас обнимал! И плакал, и кричал: я еще вернусь, вернусь!»

Мать крепко вытерла лицо падающей на пол материей. Потом она начала, среди ночи, шепотом рассказывать мне про молодого прадеда Павла. «Остались снимки... Там он такой красивый... И деток красивых нарожал от Насти, да и она была хороша, полька... А про царей он нам рассказывал, сажал нас на колени и губы мне к уху прижимал, губами щекотал... Говорил: «Цари были такие тихие. Смирные... Дочери – хорошенькие». Особенно ему нравилась Мария... Он все их имена помнил, а мы путали... А потом обнимал нас и плакал. Мы его спрашиваем: «Ты что, деда, плачешь?» Тогда он смеялся через силу и кивал: правильно, солдаты не плачут!»

Солдаты. Так я и представляла прадеда Павла – то плотника с топором в руках, то солдата с винтовкой за спиной.

Он стоит, винтовка за плечом, закуривает махорку, а его окружают солдаты, друзья, толпятся.

...Потом все эти солдаты стали приходиться ко мне во сне.

Именно солдаты, а не цари, хотя правильной было бы, если бы девочке, по девчачьему чину, снилась царская семья, гордая царица и царевны в кружевных платьицах. И бородатый важный царь.

Я потом увидела в книгах фотографии царя в военной форме; он тоже был солдат. Для меня тогда не было разницы между офице-



ром и солдатом. Все они в гимнастерках, и у всех суровые военные лица. Брови хмурятся. Только одни солдаты делают революцию, а другие на них нападают, чтобы красную, прекрасную революцию убить.

А потом те и другие объединяются и однажды защищают нашу Родину от страшного чужого врага.

Когда Гитлер напал на Советский Союз, прадед Павел отбывал срок в особом тайном лагере на Новой Земле. Сейчас есть мнение, что никаких таких лагерей на Новой Земле не было: ни на острове Вайгач, ни на острове Колгуев. И что все это сочинения до-сужих репрессированных, желающих, чтобы как можно больше было в прошлом секретного дикого страдания. Однако мой прадед Павел там, в новоземельском лагере, доподлинно сидел.

Всю войну с фашистом они просидели там, на мертвом Севере, где белые льды и красные жуткие закаты. Где медленно колыхается, варится серое ледяное олово моря. Они шили для Советской Армии тулупы и валяли валенки. Валеночки...

И убили Павла Ефимыча, прадеда моего, при попытке побега. Бежал вместе с другом. Сухарей тайком насушили, хранили под старой лодкой. Этому самому другу бежать удалось, а Павла подстрелили. Часовой с вышки стрелял метко. Друг снял у Павла с груди темный, позеленелый крест. На себя надел. С двумя крестами шел. Добрался до Волги, до Костромы. На барже плыл, милости ради. Донес до Самары. Отдал дочке, Наталье Павловне.

Я смутно вспоминала бормотанье бабушки: «Сидел на кухне... Столы газетами покрыли... Как раз пост, пирожки с картошкой матушка испекла... Крест у меня на ладони лежал, я его слезами обливала... А этот человек, царствие ему небесное, до нас добрался, как хорошо, последнюю весточку принес...»

И хорошо, ясно помнила я: на шее у бабы Наташи, на груди, чуть ниже яремной ямки, тяжелый медный крест, слишком тяжелый и большой, неженский. Такие нательные кресты носили служилые и торговые люди, сол-

даты, крестьяне. Мужики. Я залезала к бабушке на колени и трогала этот крест пальцем. Он не холодил палец, а странно обжигал.

Сейчас думаю: вот он носил крест, Павел Ефимыч. В Бога верил. Тогда все верили. Нельзя было иначе. И все же поднял руку на царей. На своих царей.

...Нет, не поднял... Не стрелял...

...сейчас уж не встанет из могилы и не расскажет, как оно все было.

...Да тогда они уже не своими были, цари-то. Они уже были чужаками в поменявшей одежду стране.

Новое платье России сшили, красное.

Стрекотала швейная машинка.

Текла красная ткань из-под грубых родных рук.

Кровь родная, люди родные, а цари чужие. Немцы. Немчура. Чужие. Немые. Иные.

Представляла, как прадед Павел стоит, солдат, с ружьем наперевес, и ружейный ствол на царя наставляет. Может, это он и убил последнего царя?

Честь убить царя пытались присвоить многие. Цареубийца, это же навсегда в истории! Называют разные фамилии. Разные люди пишут на эту тему мемуары. Так до сих пор никто и не знает, кто это сделал.

Когда начинается революция или война, нет правых и виноватых. У каждого своя правда, и он борется за нее.

Бабушка рассказывала не только о человеке, донесшем до семьи Павла Еремина его нательный крест; а еще об одном друге. С ним Павел Ефимыч вместе служил в красном отряде в Екатеринбурге.

Этот друг был не только прадеда друг. Но и бабы Наташи друг, так я понимала.

Потому что она так ласково и в то же время сердито называла его, будто обзывала: «Мишка Лямин». Скажет: «А, Мишка Лямин...» – и рукой махнет, будто муху отгоняет.

То ли презрительно, а то ли озорно.

Будто самого этого загадочного Мишку, смеясь, по руке бьет.

Значит, знала она его, этого Мишку.



В ящике старинного письменного стола красного дерева у бабушки, среди разных фотографий, лежала и такая: два солдата стоят перед камерой, глядят в объектив осовело. Слишком долго, видно, держал двух мужчин нерасторопный фотограф перед волшебной коробкой: никак не мог зажечь магний. Я рылась в ящике, когда бабушка уходила в молочный магазин за кефиром, молоком и творогом, доставала из ящика пожелтый снимок. Кто слева, кто справа? Прадеда Павла я уже узнавала: он и правда был красив. Степной и дикой красотой. Брови вразлет, фуражка надвинута на лоб, узкие калмыцкие глаза. Рядом пялился в камеру другой солдат. Ростом выше Павла Ефимыча. Длинный и нескладный. Шинель мала, чуть выше колен. Не шинель, а казачий тулуп. На башке будёновка. Глаза тарашит. В отодвинутой вбок руке сжимает винтовку, крепко упирая ее прикладом в дощатый пол.

Я глядела на снимок и со сладким страхом думала: а, может, это он убил?

«Мишка Лямин, – тихо говорила бабушка, разложив на столе кефир и творог, и белые, будто мраморные, яйца, и мясной горячий пирог в промасленной бумаге, глядя из-под очков на желтый, коричневый, как в печке запеченный, снимок в моих руках, – Мишка, рыжий, бесстыжий, он наш, буянский, он же ко мне сватался. А я ему отказала. Ох и рыжий! Аж красный был! Вот какой рыжий! Идет по Буяну – как фонарь горит! Издалека видно! И после гражданской войны тоже приезжал в Буян. Тоже свататься хотел. Мне сказали. Да я уже вышла за деда твоего, Степана. А Мишка до нашей избы так и не дошел. Застеснялся. Ну что ж... Судьба такая».

А что с ним потом стало, с этим Мишкой, спрашивала я.

«До генерала дослужился», – с тяжелым длинным, как жизнь, вздохом отвечала бабушка.

...Детей интересуется смерть. Может, потому, что они о ней ничего не знают, зато верно и жгуче ее чувствуют. Им не надо говорить, что все мы умрем. Им на эту тему сняты сны. Иногда снится, как их убивают; во сне

они бегут, убегают, а за ними топот ног, их настигают и стреляют в них. И дети вскидывают руки и падают животом на забор. Или на кирпичную стену. Или на колючую проволоку. Или просто на землю.

У меня такой сон был. Он приходил ко мне несколько раз. Адская боль, когда в тело входит пуля. Я ощущала, как из меня льется горячее, льется кровь. Руки хватались за забор – я пыталась, уже умирая, через него перелезть. Перелезть из смерти в жизнь. Я делала над собой страшное усилие и просыпалась. Кровь, громыхая, толкалась в уши, разрывая барабанные перепонки. Меня убили, думала я дико и быстро, но вот же я проснулась, и все это понарошку.

Кровь толкалась в сердце, в губы, в глаза. Я неистово радовалась, что я жива. Я живу, и это такое счастье! Неужели я когда-то умру? Или меня убьют, как во сне?

Или убьют не во сне?

Я запомнила, как зовут того солдата, с желтого снимка. Быть может, это он меня во сне убивал. А может, кто другой. Это уже неважно.

Когда бабушка Наталья умерла, все ее вещи достались дочерям, Валентине и Тамаре. Нина, моя мать, не получила из ереминского дома ничего: ни вещицы, ни иконки, ни фотографии, ни вышитой бабушкиными руками подушки. Хотя очень просила: «Отдайте мне корзинку с последним вязаньем и спицами».

...Бабушка сидит. Вяжет. Во рту держит две спицы с янтарными шпешечками-наконечниками. На столе наперсток, серебряный, с такой же янтарной головкой в дырках. Ножная финская машинка укрыта холстиной. «Ты знаешь, Леночка, они, отец и Мишка, очень дружили. Переписывались. Отец вернулся с Урала в Новый Буян – ему то и дело от Мишки почту приносили. А отец не умел особо писать, хотя грамотный был. Однако Мишке отвечал. Карандашом царапал. В Буяне Павел Ефимыч стал церковным старостой. Маслобойку завел... Мельничошку... А потом письма перестали приходить. Нас раскулачили... Мельничошку отняли,



маслобойку покалечили... Сломали... Все сломали, все».

...Все сломали, все. Но мы же наш, мы же новый мир построили!

Построили, а потом опять разрушили.

А потом опять построили.

А потом...

И так всегда.

Значит, нет выхода из круга?

Я жила и не думала об этом друге. О солдате этом. Рыжем и бесстыжем. А в последние годы вдруг стала думать и думать о нем. И видеть его. Почему-то его, а не прадеда Павла, ярче, четче.

Что такое смерть? Это когда забывают до конца. Напрочь. А жизнь, наверное, это то, когда тебя видят и помнят.

У нас сейчас многие молодые хотят революции. Мы озираемся по сторонам, смотрим на те земли, где революции эти произошли, и хорошо видим: да, опять кровь, разруха и смерть. Ничего, кроме смерти. Но смерть проходит, и приходит жизнь. Только она уже совсем другая.

И из смерти, из войны или революции надо выкарабкиваться страшно долго.

Страшно и долго.

Сколько усилий для того, чтобы построить новое!

А что такое новое? Может быть, это опять время?

А оно старым или новым не бывает. Оно всегда одно.

Его шьют и режут. Прострачивают очередями. Сшивают петлями виселиц. Ставят на нем огненные заплатки. А оно такое текучее, скользкое. Льется и ускользает.

Недавно мне приснилось, что в меня опять стреляют. Но я не убегаю. Я стою ровно и тихо. И смотрю убийце прямо в лицо.

Я хорошо знаю его.

Помню по желтой фотографии.

Вот здесь у него морщинка под глазом. Вот здесь, возле уха, родинка.

Он мне как брат. Родной.

...И он не опускает винтовку. Он стреляет все равно.

ИПАТЬЕВСКИЙ ДОМ

...Опять ночь, и опять не спать. Раньше они привыкли к дисциплине. Когда их арестовали и сослали, дисциплина рухнула: ее расстреляли, а потом сожгли.

Царица в ночной сорочке расчесывала волосы и все пытала царя: «Знаешь ли ты что-нибудь об этом страшном человеке?» – «О ком, моя прелесть?» – «О Ленине».

И царь вздыхал. Ему не хотелось беседовать об этом на сон грядущий, но жена спрашивала, и он не мог ей отказать. «Я мало знаю о нем. Но то, что знаю, и правда страшно. Он впустил германцев на Украину. Украинцы с нами больше нет. Там командуют австрияки. Он залил русскую землю кровью, ты же видишь, текут реки крови, и я, царь, уже не в силах это остановить. Я подслушиваю

речи красной охраны. Я слышу ужасное. Он пытается в подвалах и расстреливает невинных людей. Многие уезжают. Боже, Боже мой, Ники, почему же мы, мы не уехали?!»

Царица клала изящную английскую расческу на край табурета. Вместо туалетного столика – кривоногий табурет. Вместо ковров – грязные ситцевые тряпки, чтобы закрыть по стенам дождевые потеки и кровавые следы раздавленных клопов.

Кто пустил его во власть? Никто. Откуда он появился? Никто не знает. Вроде бы, милая, он жил за границей. И, кажется, люди говорили, что когда-то, давно, мой отец повесил его старшего брата. За то, что он был террорист. И покушался на жизнь моего папа.



«Какой негодяй!» – шептала царица и пригласивала ладонями седые волосы, какая дрянь! Вдруг прижимала руку ко рту – так она делала всегда, когда слишком волновалась. «А ты не думаешь, милый, что он арестовал тебя, нас всех, потому, что хочет нам всем – за брата – отомстить?»

«О, нет, наверное, нет. Он, видимо, просто сумасшедший. Умалишенный. Русь, милая, всегда славилась юродивыми. Они ходили по площадям, городам и деревням, побирались, нищенствовали и пророчили. Да! Пророчили! Но ведь не убивали же никого! Да, юродивые Христа ради никогда не убивали никого. А этот – страшен. Он просто с виду здоров. Он пишет и произносит речи, отдает приказы, объявляет мобилизацию, вот из отбросов, из ненавидящих нашу жизнь Красную Армию создал. А на самом деле он – страшный больной. Он болен. Он, милая, тяжело болен. Он требует хорошего лечения, но его не излечишь. Он упивается своей болезнью, он обожествляет ее. Это я чувствую. Все, что не ложится под его красные идеи, должно быть уничтожено, раздавлено, застрелено, сожжено. И приспешники его такие же. Но, видно, он умеет красно говорить, он зажигает толпу. Народ идет за ним, как за Крысоловом из Гаммельна. О! Милый! Крысолов из Гаммельна! Моя любимая сказка в детстве. Но я так боялась, так боялась этого Крысолова! И вот... мы до него и дожили...

Ты видишь, видишь, какие он бросает лозунги в толпу? Когда в Тобольске мне еще доставляли газеты пачками, я все, все читал. Смысл всех его речей и воззваний был один. Какой же, солнце? Не молчи! Говори! Когда ты говоришь, мне легче!

И царь быстро, смущенно, торопливо, боясь причинить боль, но, опасаясь и утаить правду, говорил, и царица жадно ловила эти тихие, гладкие бусины катящихся по кровати, по полу слов, таких с виду обычных, а на деле – их люди произносят один, два раза в жизни, а может, и никогда: знаешь, Sunny, он освобождает людей от страха убийства. Ну да, да, так просто, он развязывает всем руки, он развязывает совесть, он думает так, и вслух говорит так: «Убивайте, убивайте, убивайте,

сжигайте, стреляйте, насилуйте, грабьте, режьте, рубите, топчите ногами – все можно, все в вашей власти, нет страха, все – ваше, Бога – нет!» И, милая моя, толпа... толпа слушает его, и загорается, и орет, и рычит, и хочет – всего... Всего того, чего у нее нет... И не было... Солдаты говорят: «У него такие глубокие, такие печальные, думающие, такие бездонные глаза. Глаза – без дна». Он пишет свои декреты и морщит лоб, и прикрывает эти глаза без дна тяжелыми веками. Я читал эти декреты, солнце. Это декреты умалишенного. Это караули безумца. Все отнято у буржуев и поделено. Отобрать и поделить! Он не раз повторял это в своих речах. Красные в восторге от этого. Они наизусть учат эти декреты! А там!.. Там... Там все наше имущество отнято у нас и роздано всем, самым последним нищим, там буржуи в поте лица работают на заводах и фабриках, и станки отрезают им руки и раздавливают ноги, там у крестьянина земли не то чтобы надел, а вся страна! Вся! У каждого! А женщины там, darling, женщины... Ты не поверишь... Но не затыкай уши... Поделены между всеми мужчинами... Нет жен и мужей... А женщины – всеобщие жены, они принадлежат всем...

Царица сидела, слушая, с прижатой ко рту ладонью» «Но ведь милый! Милый! Он ненавидит Россию! Как же надо ненавидеть Россию, чтобы вот это все делать с ней!»

Царь, в солдатском исподнем, лег на кровать и подложил руки под затылок. Он сначала сморщился всем лицом, будто хотел заплакать и не мог, потом все морщины разгладились, брови расправились и полетели по лицу балтийской, забытой чайкой.

Ненавидеть? Россию? Он едва не смеялся. Еще немного, и смех разорвет его рот, его щеки. Жена прижала ладоши к щекам и застыла, глядя на него ледяными, зимними глазами: «Милый, что с тобой? Тебе плохо? Тебе... Может, воды принесу?» – «Да». – «Нет. Да, ненавидеть! А разве Россию можно любить? Ну вот скажи, разве можно? Россия свергла нас с трона, унизила, растоптала, мотает по кошевам, пароходам и поездам по Сибири. Россия, милая, может, Ленина давно ждала! Ждала и заждалась! И дожда-



лась! Ей Ленина надо было! Не меня! Не отца! Не моего несчастного деда с кровавыми культями вместо ног! Не царей, нет! Ей, солнце мое, надобны жестокость и кровь, и она всегда, всегда такая была, наша Россия, а я, дурак, не знал... Не понимал, не сознавал... И теперь... Только теперь...»

По спокойному, странно светлomu, чистому лицу катились спокойные, медленные слезы. Руки так же были закинута за голову. Ворот исподней рубашки отогнул. На волосатой, уже седой груди блестел медный нательный крест. Жена встала перед кроватью на колени и покрывла поцелуями эту родную грудь, руки, припала к меди простого, как у мужика, крестика. Ладонями отерла с его лица слезы. Это родное, до морщины знакомое, жестоко, на глазах стареющее лицо было сейчас так чисто, светло и ясно, как никогда; будто никакая грязь, никакой ужас, кровь и безумие его никогда, даже краем, не касались.

* * *

Они все вооружены. Все до единого с оружием.

Хорошо Авдеев их вооружил.

Не царей убивать, конечно; они ж не изверги. Это если на них кто-нибудь извне полезет.

А ведь полезут, вот ей-богу, святой истинный крест... Тыфу ты, опять это богово, какое ж прилипучее, – честное слово, полезут. Неужели они, отправляя на волю письма, ни в едином не обмолвились о своем спасении?

«Их спасение – наша смерть. Все проще простого. А потому, Мишка, смотри в оба и другим присоветуй. Ночью-то не спи».

Он не спал, если ночью Авдеев ставил его на охрану; пучил глаза во тьму, а весенняя тьма была светлая, голубиная. Пасхальные дни всегда такие. Небо нежней голубиной грудки. Поймай голубку и расцелуй ее в клювик! Она Господу привет понесет.

«Вот заладили: Бога нет, Бога нет. А ну как Он есть?»

На лестнице сегодня стоят латыши, а еще молодняк, злоказовские. Со Злоказовского завода. Это Авдеев их пригнал: его рабочие

дружики. Лица какие славные у них. Горят верой. Человек должен во что-то верить! Отняли Бога – веруй в революцию. Отняли царя – верь в Ленина, он не подведет. Он за всех болеет, одним пустым чаем у себя там в Кремле питается. Не спит. Склонен над картой. Глядит на страну опухшими от бессонья глазами. Карта вся горит под его руками. Там и сям кострища, огни. Строчат пулеметы. Рвутся бомбы. Один город Ленин красным карандашом обведет. Другой обведет. Стрелки нарисует: вот так движутся войска. Они там, в Европах, и эти, бывшие, контрреволюционеры, с ног сбились, на языке мозоли вспухли: убеждают друг друга и весь мир, что большевики – чума, холера, гибель, язва египетская. Ну, будет вам язва!

«Мы наш, мы новый мир... Построим...»

– Эхэй, Микаил! Запарка, тшай, эст?

Михаил стоял на первом этаже, около лестницы. Со второго этажа, с последней ступеньки, через перила свешивался австрияк Фридрих Зеemann.

– Фриц, спать тянет, да?

– Та, та! Йа! Тафай запарка!

Лямин полез в карман и вытащил пакет с заваркой. Пашка отсыпала ему на кухне, сама бумагу уголочками завернула.

Кинул пакет вверх. Австрияк поймал.

– Держи.

– О, данке, данке, топарисч!

Латыши, австрияки. Интернационал. Латыши молчаливые, словечка не изронят. Так и стоят на карауле с мраморными мордами. Мраморные белобрысые львы. Лямин сколько перевидал этих каменных львов у домов богачеев: в Самаре, в Саратове, в Тобольске. Символ власти! «Все, теперь львы – мы».

Еле добьешься от латышей, кого как зовут. Да у всех имена немислимые, похожи на немецкие: Генрих, Ингерд, Готфрид, Интарс. Да и покличешь – башку не обернут. Медленный народ. Зато стреляют хорошо. И лица, когда палят, такие же мраморные, твердые, невозмутимые.

И говорят только по-своему. Это беда: не поймешь, о чем. Может, мятеж хотят поднять?



Австрияки тоже лопочут по-немецки, но бойкие, оживленные, у них шило в зад торчит; стараются с нашими солдатами заговорить, отношения завязать. Хотя сегодня ты тут – охрана, а завтра – в войсках Красной Армии, на фронтах, а послезавтра у тебя нет и быть не может. Вот и вся дружба.

А тянется, тянется человек к человеку.

Злоказовцы – другие. Эти – своя братва. Кричат, матерятся, а то и сцепятся – из-за махорки, из-за горбушки. И порой ножи в ход пускали. Да только комендант с ножами разобрался быстро: одного – к забору и шлепнул, другого – домой, к мамке, отправил. Вон из революции. Парень пятился, выходя из ворот, плакал, размазывал слезы и сопли по щекам, с ужасом глядел на застреленного товарища. К порезанной руке портянку прижимал.

Злоказовцы несут вахту вокруг Дома. Это потяжелей, чем в Доме. На улице холодно, особенно ночами, да и опасней: кто угодно может прокрасться к забору и выстрелить, и бомбу кинуть.

Лямина никогда еще не ставили на внешнюю охрану. Он был «внутренний». «Домашний пес», – шутил про себя.

Слишком много солдат. Все не вмещались в комнаты первого этажа. Авдеев расселил их в соседнем доме; раньше здесь жило семейство Попова. «Ты куда?» – «В дом Попова, на ночевку». – «А петух там у вас есть?» – «Зачем петух?» – «Чтоб будить». – «А я думал, чтоб сварить!»

Фриц покостылял на кухню – заварить себе чаю. Лямин, понизив голос, крикнул ему в сутулую спину:

– Эй, и на меня завари!

Австрияк обернулся, и Лямин пальцами потер в воздухе, показал, что завари, значит, сложил пальцы в щепоть и вроде как чаю в стакан насыпал.

– Йа!

«Орем мы. Ее... Разбудим».

Пашка спала в кладовой. И запиралась изнутри.

Он как-то ее спросил: «Тебе там не душно? Не задохнешься часом?» А она засмеялась: «У меня воздуха в легких впрок запасено, я

рыба глубоководная». И показала ему язык. Такой озорной, обидной, она раньше нравилась ему. Теперь у него осталось одно: боязнь, страх за нее. «А на чем же ты спишь?» – «Книжки штабелями сложила и сплю».

Он видел, что она врет, но как докажешь?

За окном захрипел мотор. Что в авто ночью делает Люханов?

«Черт, может, проверяет. Может, Авдеев куда-то кого-то везти приказал. Но не царей. Все спят. Никто за ними не идет, будить их».

...Как она... Спит? Этого он не видит. Нет, видит. Но не глазами.

...Она спит так: голову повернула на подушке, лежит на спине, одна рука вздернута и повернута ладонью вверх, другая лежит на одеяле. Она хочет повернуться и не может. Ей снится сон. И ему снится сон. Ей и ему снится один и тот же сон.

...В этом сне: губы ощущали теплую кожу, колкие кружева, тепло, а вот жар, а вот еще жарче, это слишком пылающе, так нельзя долго. Можно не выдержать.

... – Эхэй! Микаил! Йа приносить тшай!

Он стряхнул морок. Принял из рук австрияка горячий стакан. Обжег ладони и сам своему детскому ожогу засмеялся.

– Спасибо, Фриц. Ты друг.

– Трук, трук, йа!

Фриц все время мерз и ходил даже в теплые дни в накинутах на плечи шинели.

«Сколько мы на фронтах таких вот австрияков побили, немцев, венгров – не счесть. А нынче они наши друзья. Трук, трук. Мировая революция это, вот это что!»

Лямин поставил стакан с коричневым горячим чаем на пол, на плашку недавно крашенной половицы.

Мировая революция представилась ему в виде страшной и прекрасной, громадного роста бабы, с полной голой грудью, с широченными, в три обхвата, бедрами. Она стояла, оперев одну ногу в один город, другую – в другой; ее рыжие огненные космы бешено и весело развевались в ночи, и она волосами своими освещала непроглядную ночь – поля, леса, города с заводскими трубами, снега в лощинах, железнодорожные пути, старые тракты. Стояла над землей, глядела сверху



на людские города и хохотала и что-то задирское, путеводное кричала. И от ее яростного крика города загорались, польхали заводы и фабрики, трещали пулеметы, люди валились на снег площадей, осыпались, как песок или дряхлая известь со стены, царские дворцы, лопались жирные животы капиталистов, а баба все стояла, крепко уперев ноги в землю, опускала голову, и пламя с ее головы перекидывалось на материки, на дальние острова, на столицы и хижины.

«Мир хижинам, война дворцам... Вот точно так! Война – дворцам! Вся кровушка выпита из нас! Вы нами владели? Теперь вот тарелкой каши повладейте-ка! И та вам не принадлежит!»

Мотор тарыхтел, тарыхтел, потом смолк. Лямин все-таки подошел к окну: а вдруг кто чужой мотор заводит? Рядом с автомобилем стоял Сережка Люханов. Он увидел Лямина в окне и успокаивающе поднял к плечу кулак: я тут, все в порядке, штатная проверка. Лямин кулак сжал в ответ. Так друг другу потрясли кулаками, и Лямин вернулся на свое место под лестницей.

Чай ждал его, как пес, у ног. Он наклонился за чаем, и тут за дверь в комнате царей раздался тонкий женский стон, и он дернулся, носком сапога задел чай, стакан опрокинулся, и чай вылился на пол. Он следил, как кипяток медленно течет по крашеной половине: «Вот и попил, и согрелся». Оглянулся: чем бы подтереть? – и рукой махнул: и так высохнет.

«Хорошо живем. Охраняем царя, хорошая служба. И денежку дают. И харч опять же. И...»

Перед глазами замельтешили, побежали конские морды, конские ноги. Уши услышали уже позабытый грохот. Снаряды летели, и пули свистели, и он – среди всего этого крошева и огня – тоже стрелял, а вокруг столбом вставала до неба страшная, оглушительная ругань, он в мире и в жизни своей никогда такого мата не слышал, как там, на войне.

«Война! Я ж воевал. Я что, туда опять хочу?! А ведь ушлют, ежели что. Вдруг что напортачу с царями этими. Или Красной Армии солдаты понадобятся. И все, каюк: Авдеев

напишет приказ, меня рассчитают, погрузят в мотор... Потом в вагон... И... Гражданская наша война большая... По всей России размахнулась... Пошлют куда хотят... Хоть в донские степи... Хоть под Петроград... Хоть под Иркутск... Хоть...»

Медленно, шепотными стылыми губами, повторял себе: «Я же живой, я пока еще живой, потому что я тут, при царях, при царях. Цари мою жизнь спасают, выходит так. Что, он должен быть им благодарен? Как это раньше, при царях, говорили: «премного благодарен...»

...Глаза слипались, и между ресницами мелькали, среди конских ноздрей и бешеных, угольных косящих глаз, женские глаза. Они уходили и вводили, и он шел, а потом летел, и его губы уже целовали эти улетающие глаза, а женщина вроде бы сидела на коне, хорошо сидела в седле. Да не женщина, а девочка, милый подросток, только у нее почему-то сильные руки деревенской бабы – она и сено может граблями ворошить, и лопатой весь огород вскопает – не охнет... И вот верхом скачет... «Маша... Маша!..»

«...Я Пашка, Пашка я, а ты дурак!..»

...И конские морды мотались и всхрапывали, и хвосты летели мимо – все летело мимо, мимо; все жгло, обжигалось. Нельзя было ни к чему прикоснуться, все умирало на глазах, и даже плакать нельзя было, слезы все выжег огонь, и зрачки выжег, глаза вытекли, он видел нутром. А нутро – вот оно стонало, плакало и выло, оно рычало и орало, и рвалось надвое, а в него стреляли, и вылезали наземь и кишки, и сердце, и все дурацкие людские потроха. А они у нас такие же, как у коня, у свиньи, у всей на свете живности: «Человек! Остановись! Зачем ты убиваешь человека! Ведь ты же его не освежуешь, не съешь, в его шкуру не оденешься! За чем...»

...– Ты! Солдат Лямин! Почему спишь на карауле?! Э-э-э-эй, Лямин, так твою растак!

Михаил махнул башкой, как конь, и выпрямился, выгнул спину и выпятил грудь. Винтовку – к ноге.

– Виноват, товарищ Мошкин!

– А-а-а-ах, ты...



К нему слишком близко, так, что пахнуло отвратным перегаром, подошел Александр Мошкин.

Товарищ Мошкин – правая рука Авдеева. То ли его заместитель, то ли его ученик. Да просто помощник; парень на подхвате. Авдеев уходит на ночь к себе домой, в Доме не ночует – вместо него тут торчит Мошкин. Он злоказовец и, видно, старый приятель Авдеева. Солдаты странным образом кличут его не Александр, а Гордей. Почему? «Повар Гордей, не отрави людей!» Мошкин поварешку отродясь в руках не держал. Вот бутылку – это да, это с удовольствием и всегда пожалуйста. Особливо на дармовщинку.

– Так-растак, Лямин! Повеселимся?! Али коротка не коротка?!

Лямин держал винтовку крепко.

«А что, ежели попугать? Взять да и на него наставить.

Он тебе потом такого наставит... Не дури...»

– А у меня косушечка есть!

Вынул из кармана косушку. Поводил ею в воздухе.

– А еще у меня... Вот что есть!

Вынул из другого большую сизую бутылку, в ней плескалось мутное, белесое.

– Глафирка гнала. Ох, слезу вышибает! Закуска-то как? Имеется? Али поварихой закусим? Ты не против? От задка кусочек...

У Михаила перед глазами помрачнело.

– Ты, говори, да не заговаривайся.

– Сейчас народ разбужу! Эй! Народ!

Орал в полный голос. Из караульной высовывались головы.

– А, повар Гордей.

– Мошкин это!

– Повар Гордей, не страшай людей...

Мошкин, держа в обеих руках водку и самогон, вращал бутылками не хуже, чем жонглер в цирке.

– Давай-давай, ленивцы! Отметим нынешнюю ночь!

– А што, Мошка, нынешняя ночка сильно отличацца от давешней?

На круглом веселом, лоснящемся лице Мошкина, скорее женском личике, с мелкими кукольными противными чертами, для мужика негожими, нарисовался таинствен-

ный рисунок. Он прижал к губам бутылку с самогоном, горло бутылки, как прижимал бы палец: тс-с-с-с.

– Тиха, тиха... Я вам щас... Отдам приказ. Живо в гостиную! И валяйте оттуда – несите роялю в караульную!

Солдаты, потягиваясь, выходили из караульной. Кто не спал, стоял на часах – винтовки на плечи вскинул, подошел ближе: что за шум, а драки нет?

– Слыхали! Быстро – роялю – в караульную! Не... Обсуждать-ть-ть!

Оглянулся на застывшего Лямина.

– А ты глухой, што ли, Лямин?! Или ты против?! А-а-а-ах, ты против... Приказа?!

– Я не против! – Лямин прислонил винтовку к перилам.

Солдат Исупов схватился за ручку двери в гостиную и рванул дверь на себя.

«Вот так бы взять... И рвануть дверь... Ту...»

Царям приказано не запираяться на ночь. Они выполняют приказ. Они – послушные. Они – овцы.

Солдаты, стуча сапогами, вваливались в гостиную, обступали большой рояль, похожий на застывшее черное озеро, озеро под черным льдом. Раньше инструмент стоял в чехле, да холщовый чехол содрали безжалостно – на солдатские нужды, на портянки.

– Эка какое чудище!

– Дык она же чижелая, рояля эта.

– А нас-то много.

– Ты, Севка, заходи с тыла! С тыла!

– А и где у ее тыл?

– Где, где! В манде!

– Давай, ребя, хватай! Подымай!

– Раз-два-взяли... Еще раз взяли!

– Понесли-и-и-и-и!

Спускали рояль по лестнице, как чудовищный, для невероятного толстяка, черный гроб. Струны скорбно звенели. Толстые рояльные ножки ударялись о перила. Солдаты кричали, хохотали, шутили солено, жгуче.

– А ты всунь, всунь ей под крышку! И прищемит навек.

– Похоронную музыку умеешь играть?! Не умеешь?! Так научись.

– А точно, боком на бабу похожа! Так бы и прислонился.



– И ножки у ней, и жопка!
– А кто из нас наилучший музыкант?
– Да вон, Ленька Сухоруков! Он такую музыку игрывал в окопах! И на костях, и на мудях...
– Лень, и чо, народ слушал?
– Слушал, ишо как! И денежку кидал!
– Ну ты арти-и-ист...
Кряхтя, задевая боками рояля о стены, шумно, с криками и прибаутками, наконец, перетащили рояль в караульную комнату. Подкатили к окну.

– Ой, у ее и колесики... Славно...
– Пошто к окну водрузил! Таперя к окну не подойдешь, фортку отворить!

Мошкин качался в дверях, все обнимал, лелеял свои бутылки.

– Вот, отлично, хорошо, люблю! Муз-з-ыку...

– Эй, тяни стаканы!
– А мы из горла. По кругу.
– Заразишься какой-нить заразой!
– А ты чо, больной? Не дыши на меня!
– Да ты ж не доктор, дышите – не дышите...

Федор Переверзев уже тащил гармошку. Уже перебирал пальцами по перламутровым пуговицам, растягивал меха.

Мошкин, шатаясь, добрался до рояля. Ему услужливо пододвинули стул. Он сел, проверил задом, крепко ли, хорошо ли сидит, покачался на стуле взад-вперед, даже попрыгал; откинул крышку, нежно, пьяно погладил клавиши.

– Ух ты моя маленькая, роялюшка моя. Как давно я на тебе не играл. А вот щас поиграю на душеньке моей.

Обе руки на клавиши положил.

Михаил смотрел: черная-белая, черная-белая, и так торчат в рояльной пасти все эти зубы то черные, то белые. В ночи светятся. В караульной темно. Илюшка внес зажженную керосиновую лампу. В лампе, внутри, трепетал, умирал и рождался опять смутный, мерцающий сквозь всю закопченную жизнь, хилый огонь. Красный. И тут красный. Странный красный фитиль, красно горит.

«И неужто будет играть? Брямкать по этим черным, белым зубам?»

Мошкин вжал пальцы в клавиши, а потом побежал ими по клавишам, и из рояля

полезли, поползли, а потом и полетели упрямые звуки. Звуки жили отдельно, а Мошкин отдельно. Неужели он все это делал своими руками? И где только научился?

Мошкин запел мощно, пьяно, фальшиво и все-таки красиво.

– Ах, зачем эта ночь! Та-а-ак была хороша... Не болела бы грудь! Не страдала б душа!

Солдаты знали эту песню. Подхватили.

– Полюбил я ийо-о-о-о... Полюбил горячо-о-о-о! А она на любовь... Смотрит так холодно...

Лямин крепко почесал себе грудь поверх гимнастерки: «Фу, пахну, стирать одежду надо, в баню надо. Когда еще поведут?»

В стекло часто, мотаясь под теплым сильным ветром, била усыпанная крупными зелеными почками ветка. Будто сердце бьется.

– И никто не вида-а-ал... Как я в церкви стоял!.. Прислонившись к стене-е-е... Безутешно... Рыда-а-а-ал!

– Слышьте, ребята! Кончайте вы это уныние! Оно же и смертный грех, однако! Однако давайте-ка наши, родненькие припевочки! Эх-х-х-х!

Илюшка нес стаканы, вставленные один в другой, высокой горкой. Раздавал стрелкам. Солдаты брали стаканы, вертели, переворачивали, нюхали.

– Чисто ли вымыт, нюхашь?

– А как иначе! Выблюешь же, ежели из грязи пить!

– Да по мне хоть из лужи, был бы самогон крепкий!

– Повар Гордей, наливай!

Обе бутылки, притащенные Мошкиным, стояли на рояльной крышке.

Мошкин встал, качнулся, но удержался на ногах; зубами открыл одну бутылку, вторую, ему подносили стаканы, и он наливал так – из обеих рук. И ни капли на пол не сронил, такой аккуратный.

Солдат Переверзев закрутил, завертел гармошку, растянул, сжал, гармошка издала пронзительный визг, потом зачистил, забегал пальцами по пуговицам, и сам зачистил голосом, вытalkingивая веселые жгучие слова из шербатого рта:



– Ты куда мене повел,
Такую косолапую?!
Я повел тебе в сарай,
Немного поцарапаю!

Частушку подхватил, вернее, вырвал изо рта у Федора покрасневший после глотка водки Илюшка. Он подбоченился, вцепился себе в ремень, выставил вперед ногу в гармошкой сморщенном сапоге.

– Гармонист, гармонист,
Торчат пальцы вилками!
Ты сыграй мне, гармонист,
Как бараю милку я!

Подскочил, упер руки в боки Степан Идрисов:

– Эх, яблочко,
Ищю зелено!
Мне не надо царя,
Надо Ленина!

Все пили. Опустошали стаканы.

Стакан в руке у Михаила обжигал лютым холодом, запотел, будто стоял на льду или в погребе, и вот его вытащили и втиснули ему в кулак.

Он пил, глотал, самогон дохнул в него чем-то былым, забытым, домашним. Пьянками, пирушками из детства, когда разговлялись на Пасху; когда, после смертей и поминок, друзья притекали к отцу, стукали четвертями об стол, рассаживались и сидели долго, и пили, и голосили песни, и быками ревели, плакали так.

Федор кинул Лямину через веселые шары, теплые кегли голов, юно и бодро подбритых, косматых, седых, лысых:

– А ты чо не поешь? Али не наш, не русский?!

Самогонка хватила обухом по голове. Все цветно и пылко закружилось, заблестело восторгом и слезами. Лямин поставил стакан на рояль, сделал ногами немислимое коленце – подпрыгнул и ножницами ноги в воздухе скрестил: раз-два! А когда приземлился, колени согнул, присел – и так пошел вприсядку, вы-

брасывая ноги в сапогах в разные стороны, и уже кого-то носком сапога больно ткнул, и на него выругались и засмеялись.

– Эх, яблочко,
Да на тарелочке!
Зимний мальчишки гребут,
А не девочки!

Эх, яблочко,
Да кругложопое!
Революция висит
Над Европою!

Гогочут, огрызаются, головами крутят, частушки подхватывают; вот уже все хотят петь; вот уже все горланят вперебой, кто во что горазд, и Мошкин зажимает уши руками и визгливо кричит:

– Ти-ха!.. Люди-то ведь спят!..
– Люди?

Ванька Логинов подшагнул к Мошкину. Протянул руку за ополовиненной бутылью. Без всякого стакана, из горла, мощно хлебнул.

– Это они – люди?! Цари говенные?! Со-сали из нас века соки, силушку... Землю всю – себе под пузы подгрести!.. Пировали, танцевали, пока мы на пашнях да в забоях да на мануфактурах – корчились... А ты: лю-у-уди!.. Сказал тоже.

И сразу, без перерыва, оглушительно, хрипло грянул, растягивая в отчаянной улыбке рот без верхнего резца – в драке выбили:

– Эх, яблочко,
Да семя дулею!
Попляши-ка ты, наш царь,
Да под пулею!

Переверзев так терзал гармонь, что Лямин испугался: как бы не разорвал надвое.

«Она там спит. Она... Уже не спит».

– Ты... – Коснулся плеча Федора. – Потше, а...

– А што, ушки болять?!

Гармонь орала, взвизгивала и вздыхала, и плакала, как человек.

Всюду: на полу, на полках, на черном льду рояля – окурки, папиросы, самокрутки,



стаканы, портянки, снятые от жары гимнастерки, и даже среди всего этого впопыхах сдернутый с шеи вместе с рубахой чей-то, на грубом веревочном гайтане, почернелый натальный крест.

* * *

...Аликс стояла у зеркала, когда вошел комендант Авдеев.

Он был противен ей. Впрочем, как и они все, тюремщики. Но Авдеев был противен особенно. Ей хотелось плюнуть в его харю, и она тут же одергивала себя, упрекала в бесчувствии и злобе, тут же, на ходу, где заставляло ее это чувство – в коридоре, в столовой, во дворе на скудной бледной прогулке, – пыталась молиться, и молитва выходила плохо, застревала не только в горле, но и во лбу, в сердце. Больная, длинная заноза. И мучит, и колет, и вытащить нельзя. И теперь уже никто не вытаскивает.

Ее Ники провел бессонную ночь из-за криков пьяной солдатни; он лежал на кровати, уже одетый. Лег в штанах и гимнастерке поверх ничего, в дырах, покрывала. Это не было покрывало инженера Ипатьева; комендант откуда-то распорядился доставить его вместе с огромными, величиной с добрую шубу, подушками, набитыми смрадным старым пером. Может быть, из блошиной пролетарской ночлежки?

Аликс дернула углом рта, и ее лицо стало напоминать ожившую белую венецианскую маску.

Она хотела поздороваться с этим человеком – и не поздоровалась. Не могла.

Стала совсем плохой христианкой, никудышной.

И Авдеев, тоже не здороваясь, торжествуя сказал:

– Ну как почивали... Граждане?

Через шматок молчания добавил:

– Арестованные.

– Благодарю. Ужасно, – подал голос с кровати царь.

И царь тоже не мог говорить с Авдеевым. Мало того, что он их унизил по приезду – он продолжает унижать их и сейчас, и всякий

день! Царь напряженно думал, чем и как он, по рождению и по праву царь, мог бы унижить это красное отребье, бывшего слесаря. Думал, кривил рот, по лбу его текли и извивались мучительные морщины, но так ничего и не придумывалось ему такого, чтобы Авдееву вдруг стало больно. А потом он так же, как Аликс, останавливал себя и упрекал: «Как можно! Господь создал всех, всех людей одинаковыми! А эти люди, они просто заблудились! Их просто нашипиговали дикими идеями... И они запутались. Им можно, им надо помочь!»

Но как, чем помочь? И будет ли эта помощь принята? Царь не знал. Говорить с ними о Христе? Они Его отвергают. Для них Бога нет уже давно; с самого начала революции, о которой, как они говорят, они всю жизнь мечтали, они приближали ее, не шли, а просто бежали к ней, брели, спотыкаясь о смерти и ссылки, ползли. И вот доползли. И она обернулась братоубийственной войной. «Авдеев, ты мой брат! И я бы обнял тебя, и расцеловал на Пасху, троекратно. А ты... Морду воротишь. Ты – меня – презираешь! Ты ненавидишь меня, я же вижу; но я, я должен тебя – любить! Как мне это сделать? Как мне сделать это искренне, по-настоящему, как это делал, умел Христос?»

– В чем ужас-то?

Николай скинул с кровати обмотанные портянками ноги на пол. Долго натягивал сапоги. Потом медленно, очень медленно поднял лицо к коменданту. Лицо царя, прежде такое приветливое и сияющее, все неистово заросло бородой и напоминало грозовую тучу.

– Ваши, – он подчеркнул это, – ваши солдаты всю ночь буянили. Что они праздновали? Свадьбу? Крестины?

Авдеев уже нагло смеялся.

– Скажите, а вы, гражданин полковник, никогда, в армейскую свою бытность, не веселились, не гуляли, не кутили? Или, вы хотите сказать, вы никогда в жизни не пили водки? С мужчинами такое бывает.

Царица так и стояла около зеркала. Вертела в руках пузырек с духами «Shypre» Франсуа Коти. Потом поставила духи на зеркаль-



ную тумбу, они зелено, алмазно отразились в зеркале; схватила кисти своего шелкового капота и стала нервно щипать их.

– Почему же нет. Я веселился. Но в тех местах, где рядом за стеной не спали.

– Ничего! Ведь перетерпели же? – весело крикнул Авдеев.

Авдеев понимал, что издевается над царями. И это доставляло ему ни с чем не сравнимую радость, даже счастье. Слесарь, он теперь распорядился царской семьей! Вот как вознесла его жизнь! Когда она его еще так вознесет? Да, видимо, уже никогда. Значит, надо ловить этот миг удачи. И пусть неудачник трясется в рыданиях. А он празднует! Это он сегодня празднует! Да каждый день с царями – как день рождения; какое удовольствие их топтать, видеть, как глаза бывшей императрицы темнеют от ярости!

Царица бросила вертеть шелковые кисти халата. Сказала себе: «Спокойно, спокойно, Аликс, успокойся. Это всего лишь человек; и ты всего лишь человек. Вас жизнь поставила на одну доску. Но ведь и одесную Христа висел разбойник, и ошую висел; и один Его поносил и проклинал, а другой смиренно, нежно попросил его: «Помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем!» – и Он ответил живой и любящей душе: «Ныне же будешь со Мною в Раю».

...А этот, этот – неужели с тобою в Раю будет?..

...Боже, не надо мне такого соседства... И Рая тогда – не надо...

Сделала шаг к Авдееву. Очень важный, трудный шаг.

– Я бы хотела вас попросить.

– Ну?

Авдеев опять улыбался. Он не мог скрыть радости и довольства.

– Я бы хотела, чтобы рояль... Которую, не знаю по чьему приказу, сегодня ночью перенесли в караульную комнату... Была возвращена на прежнее место. В гостиную. Моя дочь Мария... Она любит играть на рояли. И другие дети тоже. Пожалуйста! Прошу вас!

Авдеев прищурился. Все, кто побывал в Москве, рассказывали, что их вождь, Ленин, любит прищуриваться; и теперь Авдеев пытался копировать Ленина. И все время щурился тоже. Как будто плохо видел.

– Идите вы к черту!

Аликс изо всех сил попыталась не отшатнуться.

– Господь вам судья.

Она тяжело, через силу подняла тяжелую, растолстевшую руку и медленно, скорбно перекрестила коменданта. Комендант плюнул царице под ноги.

– Тьфу! Не надо мне этих ваших крестов! Вы и так уже всю землю, все небо закрестили! Крестили, крестили, и что толку? Везде огонь полыхает! Война! И мы победим.

– Сим победиши... – прошептала старуха и уже себя самое осенила крестным знамением.

Авдеев победно поглядел на царя, на царицу и вышел. Нарочно громко хлопнул дверью. Аликс растерянно обернулась к мужу.

– Зачем тогда он приходил?

– Ты так и не поняла? – Николай смотрел на жену печально, еще немного – и глаза его превратятся в круглые, полные невылитых слез, огромные, мрачно-светлые очи византийской иконы. – Поглумиться.

– Но ведь глум... – Она искала русское слово. – Глум... Насмешка... Издевательство... Это... Ему же будет хуже, его же жалко! Ему все это вернется... Рикошетом... Вернется все, все...

Жена уже плакала. Муж подошел к ней, взял ее за плечи и стал покрывать ее влажное, дряблое, нежное, востроносое лицо мелкими, быстрыми поцелуями.

– Да, да. Конечно. Вернется. И его жалко. Ты права. За него надо молиться. Ты будешь за него молиться? Будешь?

– Буду... Буду...

Она всхлипывала, как набедокурившая девочка. Крепко обняла его за шею. Шея царя стала слабая, он весь был истощен, слаб и хил, еле стоял на ногах. Ему всего пятьдесят лет. Всего пятьдесят.

А ей? А ей – три тысячи.

– Мальчик мой, – сказала царица и сильно, больно притиснула его голову к своему седому виску, к зареванной щеке.



* * *

...Глубокой ночью, в Тобольске, в Губернаторском доме, творилось священнодействие.

А впрочем, обычнейшее из обычных дел. Женщины шили.

Со стороны – распахни дверь – сидят девицы и шьют; но отчего посреди ночи?

А им так захотелось. Днем выпались.

Лифы и буфы. Струятся складки. То холстина, то шерсть, то шелк. А вот даже бархат подвертывается под руку. Сам так и лезет. Пришей меня! Ушей меня!

А если охрана спросит, что они тут делают?

Можно быстро ответить: мы хотим завтра одеться во все новое, нам старое надоело.

А можно и так: Насте приснился сон, а он вещий, ведь ныне ночь с четверга на пятницу. И сон такой: мы все сидим и шьем. И иголки мелькают в руках. Узкие стальные молнии во мгле.

– Какая мгла, мы же вон – на столе – свечку жжем!

– При свечке не увидишь, куда иглу втыкаешь. Эй, охрана, зажечь свет!

– Настенька, что ты так кричишь-то, тебе привиделась охрана. Они ночью не придут. Спокойно шей.

– Я спокойно шью, Таточка. Я только не знаю, куда... Вот этот...

– А, этот! Вот сюда. Давай покажу. Вот так.

– А эту... Пуговицу куда, Тата?

– Олечка, думаю, вот сюда. И к ней... Рядом... Давай еще одну...

...Ночь только кажется огромной. На самом деле она идет, и проходит уже. И они должны успеть. Они нынешней ночью, впятером – Лиза, нянька Саша, Тата, Настя и Ольга – зашивают все драгоценности, что они увезли с собой из Петрограда, в одежды великих княжон. Работы много. Бриллианты, сапфиры, изумруды, жемчуга, золото надо спрятать искусно. Зашить под подкладки, вшить в лифы платьев, с испода корсетов, обшить камни холстиной, превратив их в пуговицы.

Татьяна дирижирует этой ночью. Ночь – оркестр. Драгоценности – ноты. Иглы и нитки –

скрипки и виолончели. И поют, вздрагивают голоса, исполняя не разученные никогда еще партии.

– Прячь лучше... Все видно...

– Вот прекрасный лиф. Давай... Вот тебе подкладка... Я сама вырезала...

– Бери скорей. Самый крупный...

Огромный алмаз перетек из дрожащих пальцев Насти в пальцы Лизы Эрсберг.

– А сами не можете, ваше высочество?.. Ладно, давайте...

– Ольга. Держи. Не вырони. У тебя руки трясутся.

– Это у тебя трясутся.

– Не возводи на меня поклеп.

– Ваше высочество, дайте я.

– Сашенька!.. Какая ты добрая.

– Тут была пуговица зеленая... Зеленая...

– Изумруд, что ли?.. Это папа подарил мама на свадьбу...

– Тихо... Не ори...

– Я разве ору...

Руки ходят, передают друг другу камни, золото высверкивает яркой спинкой ящерицы. Камни холодные. Их только что достали со дна реки. Со дна жизни. Их обтекала кровь, как вода. Их целовали и ранили себе губы; да все в прошлом.

– Девочки, а что с нами было в прошлом? Кто помнит?

– Не будем про прошлое. Давай лучше про будущее.

– Давай! Нас скоро освободят. Вот там, куда мы едем.

– Мама сказала, есть отряд верных офицеров.

– Тата, Таточка, а ты правда веришь в это?

– Тише!

Няньчка Саша Теглева сидит спиной к закрытой двери. У Сашеньки очень широкая спина, и стул к двери стоит слишком близко. Когда, не дай бог, будут открывать – наткнутся на стул и открыть не смогут. Пока будут возиться со стулом – девочки все успеют спрятать. А если они захотят обыскать?

– Душки, а может, запереться?

– Настя, Родионов же позавчера сбил с двери защелку.



– А ты делай так: бери холщовый лиф... Вот... Камни насыпай в лиф платья... Вот так... Накладывай холст... И зашивай, вот так, аккуратненько, по бокам... А потом прошей насквозь, простегай, ну, как одеяло...

– Вот так?..

– Да, миленькая, именно так... У тебя получается...

Ветер, ветер. Стекла в окне трясутся. Души трясутся. Но души – не зайцы. И не должны подгибать лапки. Их мама смелая. Смелыми станут и они. Да уже стали. Цесаревич в своей комнатке спит спокойно, не стонет. Сегодня воистину спокойная ночь.

– Лиза!.. Кажется, кто-то идет. Шаги по коридору!

– Никого... Тебе почудилось...

Опять шьют, кладут, обкладывают тканью, зашивают по краю, по краю.

Игла прокалывает жизнь по краю. По краю.

И они, вместе с иглой, тоже идут по краю. Они – живые иглы, и тянут за собой черную нить времени.

В окно, как в зеркало, глядится густо-синее небо с крупными сибирскими звездами. Небо само себе нравится. Анастасия вскидывает от шитья лицо. Лицо цвета гимназического мела, нехорошо девочке не спать в это время. «Если не спишь в два часа ночи, то и не заснешь до утра», – говорит мама. Но сегодня такая ночь. Она слишком важная. Мама все правильно решила. Это драгоценности короны. Скоро комиссаров прогонят чудесные белогвардейские отряды, великие герои, и снова наступит... На земле мир, в человецех... Благоволение...

– Таточка...

– Что?.. Тише...

– А мама мне говорила: «Нельзя причинять боль никакому живому существу...»

– Все верно говорила... Шей...

– Она говорила: «Каждый цветок, каждый лепесток чувствует боль... И ужас... И даже камень – чувствует...» А наши камни чувствуют?.. Вот они сейчас боятся, когда мы их куда-то в темноту зашиваем... Какими-то нитками... Они тоже живые?..

– Шей, Стася... Все – живое...

– А животные?..

– Что животные?..

– Мы же их убиваем... А потом едим... Им тоже больно...

– Всем больно...

– Олечка, я знаю, что всем... А что, если вообще не жрать мяса?..

– Настя, не жрать, а есть... Настя, мы же не едим мяса в пост...

– Пост проходит... И потом опять мясо...

– Лиза! Поддай мне вон то ожерелье.

– Длинное, жемчужное?..

– Да... В нем мама была... На коронации...

– Господи, какое красивое... Я будто век не видала все наши драгоценности...

– Ну вот, смотри и запоминай...

– Да я и так все помню...

– Мама сказала: «Кто из вас первой будет выходить замуж – той и подарю жемчуга...»

– Ой, тогда я первой выйду!..

– Настинька, сначала жениха заведи...

– Саша! Знаешь что... Встань... И пересядь на кровать, к нам... А сама ножку стула в ручку двери воткни... Так надежнее...

Нянька Теглева встала и послушно исполнила приказание Ольги. Перевернула стул и продела ножку в дверную медную, сто лет не чищенную ручку. Осторожно присела на край кровати.

– Нас всех здесь много... Я кровать продавлю...

– Не бойся, ты худенькая. Не продавишь...

Рубины. Вот этот – из Индии. Подарок английского короля Георга. Колье королевы Виктории. Ожерелье покойной матери Аликс, их бабушки, ее они никогда не знали – она в могиле. Жемчуга: розовые, черные и желтые, добытые со дна моря, – это папа привез из Японии. Какая сказочная страна, там женщины ходят в деревянных сандалиях и в кимоно и на спине завязывают огромный бант, они похожи на тропических бабочек. А вот и золотая бабочка, в размах крыльев вставлены крупные и мелкие сапфиры. Тоже Индия? А, может, Африка? Драгоценности – это весь мир. Вот он, весь на ладони, перед тобой.

И рассыпался, раскидывался вдоль по кровати, по смятым простыням, весь мир – алмазы и рубины, кровь и слезы, крики зады-



хающихся от газов на военных полях, ругань в окопах, тусклый стальной блеск угрюмых танков, медленно падающий с бруствера офицер, солдаты в грязи, стонущие, тянущие руки: «Больно! Больно! Спасите!» Жемчуга стерильных бинтов, опалы марли, хрустальные друзы госпитальной ваты, парча хирургических повязок, и вот, страшно улыбаясь, обливаясь кровью рубинов и яшмы, турмалинов и кораллов, встает убитый человек, а у него вместо сердца – сквозь решетки, прутья ребер – горит свеча, и огонь падает на непролазную грязь, на столбовую дорогу, на стонущих, умирающих от взрыва, на расстрелянных во рву. Драгоценности – вот они, свечи уже в руках людей, их толпа, они идут, да не в храм, а мимо храма, за сумасшедшим человеком, он так страшно, надсадно кричит, вопит: «За мной! Я дам вам счастье! А всех, кто не с нами, мы убьем!» – И лысая его голова сверкает гладко обточенным кабошоном, и внутри чудовищной лысины, в ее бледном опале, перекачивается огонь красной крови, ее несгораемый, неопалимый сгусток. Умирают цари, над ними поют панихиду, над ними кадят и зажигают все, все до одной, золотые свечи на гигантском небесном паникадиле, оно размахнулось во все звездное весеннее небо, это Пасхальное золото, и это кровью красят яйца. Это не яйца искусника Фаберже – это то алое яйцо, что несчастная Магдалина поднесла на голую ладони надменному императору Тиберию, поцеловала и поднесла. Это все было еще до раскола, еще до Иоанна Грозного, еще до князя Олега и княгини Ольги, еще до скорбных бездонных икон Византии. Так давно, что люди уже забыли, как это было, а драгоценности вот не забыли, они, живые, весь путь прошли, катились по земле и катились, и переступали босыми, в мозолях, ногами каторжан, и звенели серебряными кандалами, они только прикидывались чугунными, и захлестывали живые шеи золотыми веревками, они лишь притворялись пеньковыми. А сокровища все вспыхивали, все обжигали руки и сердца, блестели во ртах вместо зубов, торчали подо лбами вместо глаз, бросали их в печь вместо черного древнего угля,

лопатой гребли из отхожего места, грузили на телеги и выкидывали на свалку вместе с робронами на китовом усе и фламандскими кружевами, а они все катились и катились из тьмы, из смерти, из прошлого. И над ними впору было стоять со свечой и петь ирмосы и тропари, а кто там стоит, улыбаясь во все драгоценное лицо?.. Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ... И сущим во гробех... Живот даровав...

Да это не человек! Это свеча! Это... Драгоценность...

– Таточка, у тебя нитка порвалась... и запуталась... Давай я вставлю.

– Спасибо, душка, я сама.

– Тебе плохо видно. Свеча догорает.

– Свеча?.. Да, и правда...

– Правда?..

– Все, все правда...

– И то, что мы сидим и шьем здесь, тоже правда?

– Да.

– А я думала, мне все это снится...

Катится круглый теплый жемчуг под их еще детские пальцы. Нет прощения. И нет возврата.

Под столом перевернулся и во сне взлаял их любимый спаниель.

– А рубин похож на кровь, Тата.

– Настя, что ты болтаешь.

– Девочки... Девочки... Умоляю, тише...

* * *

ИНТЕРЛЮДИЯ

Какая музыка звучит! Какая музыка играет, когда здесь пулемет строчит, а здесь с молитвой умирают!

Какая музыка... Теперь... Постой... Минуты улетают... Пока открыта в небо дверь, пока за дверью смерть рыдает.

Какая музыка... Молчи... Хрипят... Кричат... стреляют, слышишь... Жгут у иконы две свечи. И обнялись. И еле дышат.

Какая музыка...

...Да разве жизнь – это музыка? Это все штучки благородных салонов, рояли это все барские, старые, желтые, источенные жуч-



ком, широко развернутые на пюпитре ноты. А жизнь – вон она, за блестящими чистыми стеклами окна, за кружевными занавесями: бабы идут в лаптях, мужики – в грязных сапогах, и тащится тощая лошаденка, впряжена в старую телегу, в телеге свалены мешки, непонятно, с чем: с картошкой, а может, с подмерзлой свеклой, а может, с овсяными отрубями. На мешках – детишки: глаза голодные, ручки тонюсенькие, как плеточки. Плачут – как щенки скулят. И что? А то! Мы в революцию пошли, чтобы вот этот, этот народ одеть, обути, накормить! Выучить грамоте!

...О, если бы так. Если бы так и было.

Но ведь все это было и не совсем так.

Революционеры готовили революцию ради смуты. Не все, но многие. Народом, его именем лишь прикрывались. Им важно было ввести народ в смуту – растерянным народом легче управлять, легче гнать его туда, куда задумано властителями. Сам Ленин удивлялся и восхищался: «Как это нам удалось почти без кьови взять Зимний дворец! Ведь это же пьосто чудо, батенька! Фойменное чудо! Я сам до сих пой не могу опомниться! Ну, у нас тепей вейховная власть! И уж мы ее, будьте добьеньки, не отдадим! Ни за какие ковьижки не отдадим! Никому!»

Революционеры готовили революцию ради коммунизма. А что же это такое, коммунизм? Утопия? Трагедия? Вампука? Райский сад на земле? Почему люди за коммунизм отдавали жизни? Зачем клали себя, свои сердца, мясо, кости и души в фундамент нового мира, что никогда не был построен? И не будет.

Не будет?

Для этого надо понять, что такое коммунизм.

Коммунизм – это когда все равны, все довольны, все счастливы, все грамотны, все работают, все всем обеспечены, все рождаются, вырастают, живут. А потом умирают.

Нет преступников. Нет опасных и гадких болезней. Нет войн. Нет революций. Нет тайн за душой. Нет голода. Нет страданий. Ничего нет.

А умереть можно и безболезненно: кто пожелает, тому делают сонный укол.

Но это только в виде исключения. А так все умирают сами собой, тоже радостно и счастливо, с сознанием хорошо выполненного на земле долга.

Люди всегда идут за несбыточной мечтой. Так одержимый любовью парень идет за девушкой, даже если ее увозят за тридевять земель; идет, сбивая в кровь ноги, по дорогам своего добровольного страдания. Мечта тянет крепче любого магнита. Мечта выворачивает тебя наизнанку, перелицовывает, перекраивает. Из верующего в Бога ты становишься тем, кто разбивает молотком иконы и взрывает церкви.

Во что же ты веруешь? А, в коммунизм. Понятно.

Где же Бог в тебе? Неужели Он тебя оставил?

Ты шепчешь тихо: «Коммунизм – это будущее земли. И никуда вы все от него не уйдете. Никуда».

...Мы забываем о том, что все они – и Ленин, и Троцкий, и Свердлов, и Дзержинский, и иже с ними – цедили сквозь зубы, когда белые наступали на фронтах и громили красных: если нас разобьют в пух и прах, мы уйдем, да, уйдем, но мы уйдем так, что мир содрогнется; вместо этой страны оставим гнусное, чертово пепелище. Пустыню. Мертвое поле. И ничем его не засеешь долгие годы. Века. Наш ужас запомнят навеки. Мы убьем эту страну. Мы выкосим ее людей.

Мы будем уходить по колено в крови, уплывать отсюда по морям крови.

Смерть. Смерть. Вот она, встает в полный рост.

Откуда? Из могил вождей?

Памятники им презрительно снесли, сдернули с помпезных пьедесталов. Отдали в переплавку. Из бессмертной бронзы отлили иные монументы.

А могилы их живы. Они шевелятся. Шевелится над ними земля.

...И над гробницами царей кровавым потом покрывается мрамор, и течет горячими слезами, как церковный воск, позолота, и жестокие, сумасшедшие ученые нагло вскрывают склепы, и вертят в руках черепа, и измеряют линейкой кости, и сомневаются,



и верят. Я все думаю: в чем они сомневаются и чему верят?

Погибли цари; но ведь погиб, смертью храбрых полег и народ.

Царей и народ смерть сравнила. Уравнила.

Там, за могилой, они нас видят, нынешних, а мы, нынешние, о них молимся одинаково: что о расстрелянных мужиках, что о царских дочерях. Я вот молюсь за прадеда моего Павла, убитого в лагере при попытке к бегству. И я молюсь за цесаревича Алексея, застреленного с отцом, матерью, сестрами и слугами там, в затхлом подвале, обклеенном полосатыми обоями; и они оба, мужик Павел и цесаревич Алексей, верю, слышат меня, и их утешает жалкая, тихая молитва моя. Они родня моя, и я родня им. Мы вместе, и мы едины.

Это чувство трудно понять тому, в ком течет иная кровь и дышит иная душа.

...Смерть не щадит никого, и бестолковое дело просить ее обождать за дверью. Есть такая старинная шотландская песенка, ее очень любил Бетховен: «Миледи Смерть, мы просим вас за дверью подождать! Нам Дженни будет петь сейчас, и Бетси – танцевать!»

Мы все спорим, ссоримся, суетимся, и мысль о смерти отталкиваем от себя. Она нам не нужна, она совершенно лишняя в наших веселых и горячих рабочих буднях. Она произойдет с кем-то другим, но только не со мной! Не со мной!

...Другие революционеры, нынешние, готовят другую смуту. Власть никогда не радуется подданных. Власть всегда надо порушить, свергнуть, уничтожить затем, чтобы на ее месте водрузить другую власть и торжественно объявить: вот, теперь это будет самая лучшая власть в мире!

А люди-то одни и те же. Люди-то не меняются.

Человек слаб, и человек грешен, и человек любит сладкое, и человек любит причинять боль и наблюдать смерть. Эта болезнь течет в крови человека.

И проходит совсем немного времени, и люди убеждаются, что новая власть несколько не лучше, а, может, во много раз хуже

прежней; что народ страдает не меньше, а еще больше; что обман, подлог, жестокость, издевательство, насмешка, истязание, гибель никуда не исчезают, а все такие же остаются. И люди ропщут, люди копят огненный гнев, и опять изливают его на власть: ведь это только она, власть, во всем виновата!

А не вы ли, родные, за нее, за власть эту, сражались?

Не вы ли жизни свои клали, чтобы эта власть воцарилась?

Красная власть! Равенство и братство!

...То, что все не равны и никогда равны не будут, поняли уже давно. Но соблазн вновь и вновь таится в этом красном лозунге: «Свобода, равенство, братство». Где свобода, покажите!

Где она! И какая она!

Какого цвета? Какого ранга? Какого закона?

Революция – не свобода. И любое государство – не свобода. И нет свободы и быть не может; как не может быть вечной жизни, земного бессмертия.

Это не значит, что несвободна душа.

И это не значит, что нет бессмертия небесного.

Сыграй мне это все по барским, усадебным нотам! Простучи по клавишам этот нежный, душистый мотив! Пусть за душу берет. Зажги свечи в медных шандалах! Зима за окном. Волчий мороз. Крупные, цветные, колючие звезды. Хочешь поплакать над старой, над мертвой Россией?! Плачь, пожалуй! Какая музыка поет! Какая музыка... Пылает... Когда под знаменем народ... Идет в атаку... Умирает...

* * *

– Сашка, ты, главное, пей. Отличный самогон. Я такого никогда не пивал.

– Я пью, ты не гоношись.

Люкин взял бутылку и отхлебнул из горла. Глоток вышел громкий, захлебный. Лямин аж отшатнулся.

«Ишь жадный какой. Так и все выхлебает».

Смутно подумалось о большой прозрачной четверти, что стояла в коридоре за сундуком.



Четверть странного стекла, не голубого, не зеленого, а будто в стекло, когда выдували бутыл, подмешали опал или перламутровую крошку: туманная и переливалась радугой.

И внутри – радуга. Радость, счастье. Вот дано же это счастье мужику – выпивка. В любви горе про горе забудешь. А, может, его и избудешь. Пьяным, говорят, море по колено.

«Море. Море крови».

– И вот, значитца, Мишка, потащили мы эти дурные чемоданищи на пристань. Я два ташу. Думаю: и зачем, ну зачем людям столько барахла? И с собой возить. За собой этот воз тянуть. Ну, правильно, сами не тянут, тянут другие! На этом, брат, вся ихняя радость и построена. Лакеи за креслами стоят: што вам подать такого-энтакого? Горничные с подносами бегут, спотыкающа: не изволите ли блян... Тьфу!.. Блянманже? На кухне повара над блюдами потеют. А за ними надсматривают: то ли в супчик положили, то ли мяско стушили! Так ли мелко капустку порезали, как надо, штоб ихние царские зубки легко ту капустку прожевали! И не дай-то Бог в котел бросить не тую косточку. Али на сковороду тухлый кусочек. Ешкин кот! Да тебя самого с потрохами съедят! На тую самую сковородку и бросют! И даже не разрежут! Не ошпилют! Так и сжарят, в одежке!

Захотел хрипло, простуженно.

– Ты пей, пей. Согреешься.

– Да вроде б весна на дворе. А меня знобит. И верно, на параходе меня просвистало, на палубе. С тех пор и дохаю.

Лямин подвинул к себе стакан и налил в стакан. Люкин издал короткий смешок.

– Ты, ешки, прямо как культурный таперица. Из стакашка пьешь. А я вот прямо из нее, из родимой. – Еще раз припал к горлу синебокой бутылки, глотнул мутную, похожую на пахту жидкость. – Дотащили мы барские энти, проклятые чемоданы. Прощай, Тобольск! Когда ишо свидимся!

– Ну, не зарекайся.

– Да свидимся, конечно; куды мы без Сибири-матушки? Сколько лет по морю плавал, моря дна не доставал, пил я водку, ел селедку, по матане тосковал! Эх, Сибирь моя, да

реки рыбные! Полюби меня, матаня, парня видного!

Люкин знал невероятное количество чапушек. Вот и тепер заблажил на весь коридор, зачастил: «Цари проснутся и не уснут. А пускай их слушают! Народ поет».

– Я любила Ленина, я любила Троцкого, а тапер буду любить Васятку Тобольского!

Лямин хохотал уже. Обнимал обеими ладонями бутыл, будто грел об нее руки.

– Ты погоди... Сашк... Ты давай – про пароход...

Люкин перевел дух.

– Уф. Про пароход? Про па-ра-ход?! А што-о-о... Да ништо. Пароход «Русь» называцца. Чуешь, энто гордо звучит! Русь! А я смерти не боюсь!

– Хватит ты.

– Не злися, злун. Реки наши огромные, могучие. По реке плывешь, а будто по морю! Все думаю: какое оно, море? Ты вот видал?

– Видал.

– А игде?

– В Питере.

– Счастливец ты! В Питере побывал.

– Я недолго там поплясал. На одной ножке.

– А море, море-то все одно видал. Наш Тобол все лучше моря. Ширше. Говорят, вот, Байкал, славное озеро. Ну чисто море. Не бывал.

– Еще побываешь.

– Да какие наши годы. Конечно, поеду! Вот война закончицца... Все энти смерти, Ешки... И женюся, детей нарожу и с ими на Байкал поеду. Озеро-море глядеть!

– Ты давай про княжон.

– Ну, и вот мы по сходням валим на пароход. Кучи нас, народу-то. Во-первых, энти. Приделись, как на парад! Платьца в рюшечках, в руках зонтики несут, раскрытые, а дождя нет. Я, дурак, таких не видал никогда; а энто оказались от солнца. Штобы щеки не напекло. За ими семят слуги. Ну, вся энта... Свита. Все, кого из Питера в Тобольск вместе с ими привезли. Энтот, матросик, Нагорный ему фамилие, на руках мальчонку несет.

– Цесаревича?

– Ну, кого же! Мальчишка матроса за шею руками крепко обхватил. Сидит. Как на коне,



сидит, и с матроса сверху вниз – на нас, на скот смотрит. Глаза большие, по плошке. И в глазах такое... И жалко ему нас, и видно: презирут он нас. Мы для его все одно – скот. Мы для всех их – скот! Скот, Мишка!

Лямин отпил из стакана. Самогон был, скорее, сладкий, чем горький, и пах яблоком.

«Яблочко натолкали, а еще, может, зверобоя. Зверобоем несет».

– Ты спокойней. Не блажи.

– А што?! Их перебудим?! Так разбудитесь, жги вашу мать! – заорал Люкин.

Лямин усмехнулся и еще выпил. Занюхал ржаной коркой. Хлеб уже исчез, незаметно.

– Тогда ори сильней. Чтобы сюда прибежали и твой рассказ слушали.

– Ладно ругаться-то, чай, не поп за грехи. – Люкин пьяно подмигнул Михаилу. – Я все, я смиренный. Я просто иногда хулиганю. Распояшусь... И опять подпояшусь. Ну и вот, они все хлынули на палубы, по трапу, с трапа чуть в воду не попадали, неловки дак. А за ими мы. Охрана, ешки! Впереди нас Родионов. Вот странный мужик: то, знашь, наглый такой, то смиренней козявки. И нашим и вашим, што ли, на дудке играют? Не пойму я его.

– Да черт с ним.

– Черт с одним, черт с другим! Со всеми у нас черти! – Люкин зубасто захохотал, и Лямин видел: у него во рту все зубы прочернели от недоедания, от цинги. – Родионов машет руками направо, налево. Кричит: «Табе суды, а табе суды!» Всех по каютам растолкал, быстро управился. Не, Родионов, ежели надо, сообразительный. Ухватистый такой... Вижу, перед им энти мотающца: дядька-матрос и парнишка у его на руках. Параход качат... И они качающца. Как вот самогонка в бутылки. – Люкин взял в нетвердую руку бутылку и покачал туда-сюда, маятником. – На горный мрачно так глазами Родионова сверлит! Белки навывкате! Мальчонка, вижу, дремлет. Сморился. А нам, вопрошат энтот злыдень матрос, куды подацца прикажете, вашество? А вам бьет его голосишком в щеку Родионов... А вам, вам... Да ко мне в каюту! Вот куды! К вам, тянет матрос, к ва-ам?! Да ваши не пляшут. Энто – приказ! Командир приказал – ты, моряк, не смей ослу-

шацца! И пошел матрос, волокет спящего мальчонку, и у его от затылка такие, знашь, сквозь бескозырку бешенные лучи хлещут. Аж мне жарко стало.

Дом инженера Ипатьева нежданно обратился в пароход. И плюхал, как пароход, и хлопал плицами, и погудывал, и мелко дрожал, повторяя вибрацию страшных, с железными челюстями и стальными клешнями, машин в трюме, и разрезал носом тугую, теплую, темную волну майской ночи.

– День как прошел? Не помню особо. Ну, так себе прошел. Мы ели, пили... Песни играли... Вечер сошел. Все угомонилися. Челядь в своих каютенках притихла. А што им. Они в услужении ведь, все для хозяев привыкли робить. А тут им и робить запретили. В каютах позакрывали. Родионов самолично с ключами ходил по коридору и всех замыкал. А штоб не убегли! Правильно. Острастка нужна. В любом деле острастка нужна! Правильно я говорю-у-у... Мишка-а-а?..

Михаил не был так пьян, как Люкин; Сашка пьянел быстро, за ним это водилось.

– И царенка с дядькой взял да замкнул у себя в каюте. А сам думаешь, куды спать пошел? Ну, угадай с трех раз? Не угадашь ни за какие коврижки. Пошел не спать! Всю ночь на палубе просидел, простоял... Аккурат напротив каюты княжон. То у поручня стоит, то в белое кресло сядет. Сидит. Голову чешет. Думат головой Родионов. Мыслит, што будет. У нас на селе один татарин ходил и кричал: «Думай, думай, голова, шапка новый купим!»

За окнами шумело. Ветер? Листва? Вода?

– А княжнам – ах-ах-ах-аха! – Смех забулькал у Люкина в глотке, как самогон. Он проглотил его. – Княжнам командир запретил на ночь запирацца! Ходил коло их каюты и кричал: «Я вам ключ не даю, изнутри не запретесь, снаружи тоже не запрю, штобы я, значитца, мог к вам в любое время ночи зайтить и проверить, на месте ли вы! А то вдруг вы к едрене матери сбежите, в воду попрыгаете да уплывете, и поминай как звали! А мене потом ответ держать!» Ах-ха... – Руки Люкина уже блуждали, бегали, брали и роняли, уже блудили по столу, пальцы порочно шевелились – сбондить, проткнуть, смахнуть бу-



тыль со стола, как слезу со щеки. – Да, прав он, хитрец! А што хитрец? Каждый из нас... Перед властью... Хитрый...

В окно постучали. «Ветки», – вздрогнул Лямин и засмеялся своему детскому страху.

– Коло дверей часовых поставил. И кого, думаешь? – Люкин помотал головой, смешно, по-утиному. – Бронницкого, Куряшкина, Шляхтина... И меня! Охо-хоха! Ну, скажу я тебе... Скажу я тебе, Мишка, энто собла-азн... Куряшкин шуточки отпускает! Мы грохочем. Ночь-полночь! Мы не спим, и они не спят! Де-е-евушки!

Лямина как кипятком обдало: «Неужели покусилась? Обнагтели?»

Боялся спросить. И хотел.

– Знаю, зна-а-аю, об чем интересуюсь! – Опять это подмигивание, хитрое, сальное. – Знаю, да не скажу! Так тебе все и выдай, держи карман ширше! Ой, и весело нам было! Ухо к двери прислоняли, слушали. Как они там копошацца. Как божьи коровки в кулаке. Эх бы, в кулак бы косу взять... Головенку отогнуть... Всяко мы там себе представляли! Слышим из каюты Родионова крики. Стуки. Это Нагорный в стену, в дверь барабанит. И чем брякал? Сапогом? Чайником?

– Пустой бутылкой?

– Ах-ха-ха! Слышим, матрос орет благим матом: «Эй вы, негодяи, што за наглецы, игде такое только видано, мальчонка болен, а если ему лекарство какое понадобится, а если его на воздух надо вынести, а если он в уборную захочет?!» Мы ему через весь коридор кричим: «Если ты, матрос, в гальюн захочешь – ссы в золотой царский кувшин!» Га-а-а-а! А он в ответ кричит: «Не боюсь я ни вашего командира, ни вас всех, гады! Идите к бесу! Вы сами первые бесы и есть!» Мы ему орем: «А ты заткнись, полосатая гнида, царский костыль! Тебя ишо пулечка найдет! Пулечка-дулечка... Дурочка-курочка...» А он нам: «Плевал я на вас! Вы меня все равно убьете, так я ж смерти не боюсь, я моряк, я в волну глядел и смерть на дне моря видал! А у вас у всех рожи такие, такие рожи! Не рожи, а рыла! Вы ж не знаете, што такое человек, потому што вы звери!» Потом тихо стало. И у княжон тишина, и у матроса тишина. Все.

Как умерли все. Мы уши навестили. Винтовки ближе к себе придвинули. Револьверы на боках щупам. Ну, думаю, а вдруг на парад какой шпиен пробрался, и в окно к княжнам залез, и шас они на нас – из оружия – как лупанут?! Да хоть из пулемета!

Михаил улыбнулся углом рта.

– Лупанули?

– Игде там! Ночь она и есть ночь. Тихо, темно... Паракорд шлепат себе. Безветрие. Ровно идет, как нож по маслу. Мы караулим. Веки слипающца, едрить их... Бронницкий вздохнул да и лег на пол у дверей. Руки под скулу подложил. И через миг захрапел! Во, думаю, тоже нахал! А мы с Куряшкиным и Шляхтиным ка-ак переглянулись... Как зыркнули друг на друга – враз все глазами сказали... И друг друга хорошо поняли. Хар-ра-шо-о-о-о!

Лямин тоже понял. Самогон больше не пьанил. Он вцепился пятерней в длинную гусиную шею бутылки.

– Ну, поняли.

– И ты ведь понял?! Да-а-а! Понял! Не отпирайся!

– Да. Понял.

– Глаза глазами, а языки-то языками. Развязали мы их. Первым шепчет Куряшкин: «Ну чо, ребята, рискнем? Такие курочки! Как из сдобного теста слеплены! В царской печке пекли...» – Люкин сглотнул. Показал щербатые зубы. – Мы руки протянули, сплели. Вроде как поклялися молчать... Стоим. Ой, стоим! Так стоим... Ха-а-а... Што мочи нет... Опять глазами друг друга шпыняем. Шляхтин бормочет: «Ну, што ж? Што медлим?» Руку на медную ручку дверную положил. Рука волосатая. Я на волосы энти гляжу. И представил, как он энтой самой рукой... Шарит по вороту, по шее, лямки разрывает... Кружево рвет... И лапат, и царапат энти грудки девичьи, нежные, белое мяско куриное... А другой рукой рот вопящий зажимат... Эх-х-х...

Замолк. Тяжело, надолго.

Лямин завозился на стуле.

– Ну, так...

– А, вошли мы али не вошли? Ишь, быстрый какой! Мы сперва захотели энто дело сбрызнуть. Ну, и для храбрости. Шляхтин из-за пазухи бутылешку тащит: «Вот, – говорит, –



моя мене на дорогу всунула, а я ищо, дурачила, отказывался». Без закуски? Без закуски. Так оно ищо боле жжет. Каждый приложился. По первому кругу. По второму. Без закуски, Мишка, сам знашь, оно быстрее идет... Но и пьяней, однако. И што мозгуешь? Пялился што?!

Посмотрел с сомнением на бутылку.

– Больше половины... Или меньше половины?... Как знать... Плевать... Три их там, три. За дверями. За стенкой. Так и вижу их. Сорочки их ночные. Не спят, небось; сидят каждая на своей койке, а то и сбились в кучку, обымаются. Трусят! И мы, трусим. Ну, шутка ли. Их же все же нам приказали – охранять. А не... – Грубое, дикое слово вывалил Сашка; и Лямин вздрогнул кожей всей спины, так вздыбливаясь и встает из травы лежащий зверь, почував охотника. – Три девчонки. И хороши собой. Особенно хороша энта, гордая. Татьяна. Нас трое, и их трое! Ну, тут мы развеселились. И ищо глотнули! И стали, Мишка... Их делить. Ну да! Делить! А што тут такого! Все честь по чести!

Волосы у Михаила превратились в ползучих змей и растопырились, и потекли с затылка, с темени по вискам, по щекам, вдоль лица. А, может, это тек пьяный пот.

– Судим-рядим. Я кричу: «Тебе, Шляхтин, я знаю, Анастасия по душе!» Он башкой мотат: «Нет, не-е-е-ет, я б Ольгу взял!» Младшая, грит, слишком неуклюжа! Неуклюжа, ешки... Да зато царская дочь! На всю жизнь – детям, внукам – рассказов! Куряшкин ищо хлебнул, крикнул и шипит: «Бросьте спорить, Анастасия – мне!» Ну все тут ясно. Куряшкину – младшенькая, Шляхтину – старшая, а мене, выходит так, Татьяна?! Ну, все как я мечтал! О-хо-хо-ха-ха-а-а!

Лямин глядел на носки своих сапог: «Снять бы сейчас сапоги. Ноги болят. Притомились. Упрели».

– Татъя-а-а-ана... До того горделива, зла на нас... Обращивалась, глядела, как из глаз огонь швыряла... И штобы мы дотла сожглись в энтом огне, ешкин кот... А тут я шас буду ее мять, крутить... В тепленькой параконной постельке, ешки... Дрожим. Озверели. Водка все не кончацца, мать ее! А што, бутылку за борт выкидывать?! Бутылку ж нужно допить!

По последнему кругу пустили. Но мы уж и были хороши: нас вечерком – наливкой, целой четвертью – Агафон Шиндяйкин угостил... Он наливку тую у вдовы Гермогена с кухни украл... Когда попы поминки делали...

Дом Ипатьева молчал и дрожал. И все внутри Лямина дрожало противно, скользко.

Внутри ползали скользкие жабы и длинные ящерицы, высовывали раздвоенные языки. Перед ним из ночи вышел призрак Марии; Мария укоризненно, но не гневно, а тихо, печально глядела на него уплывающими во тьму глазами, и ее губы шевелились, ему показалось, он различил: «Что сделали вы с моими сестрами? Зачем?»

– Я Татьяну энту – там, в Губернаторском доме – завсегда подстерегал. Она идет, а я тут как тут, под ноги ей суюсь. Ух, и ненавидела она меня! Я ей, наверное, хуже жабы кажусь. А мене начхать, жаба я али какое чудище. А она – подо мной. А я – над ей! И энто, слухай, Мишка, так сладко! энто слаще всего, оказывацца!

– Даже слаще случки?

– Случка – што! Раз, и кончилась. А вот энто, когда чуешь себя все время над ими – высоко над ими! Чуешь себя над царями – царем!.. Вот оно торжество-то игде... Вот счастье...

Скуластое лицо Люкина замаслилось, скулы блестели, глаза сочились пьяным соком, и масляный рот обнажал промасленные самогоном зубы, и масляные пальцы жирными рыбами двигались в темном прокуренном воздухе, плыли.

– Дочки кровопивца... Деспота... Вырастут и станут точно такими же... Ты погляди на старуху! Ведь она ведьма!

– Ты...

Слова кончились. Остался один слух, короткий, бесконечный.

– И вот стоим мы и думам: как же оно лучше вперецца-то в каюту? Как войти? Ворвацца? В воздух стрелять? Всех перебудим. Тайное дельце-то затеяли. Тихо вползти? Мол, штобы поглядеть, как они спят? По головам счесть? Растерялся. Опять переглядываюсь. Шляхтин весь колыхацца. Как в падучей. Руку на ручку положил. Ручка забавная. В



виде птичьей башки. То ли павлин, а то ли орел. Орел! Царская, значитца, ручка. Медно, красно блестит в ночи... Кровь, Мишка, везде кро-о-о-овь...

Бормотал все тяжелей, все тише. Стискивал бутылку кулаками. Дышал в нее, как в чей-то чужой женский рот перед поцелуем.

– А паракорд, едрить его, все идет... Тарахтит... Машины скрежешут... Маслом машинным пахнет... Чую, горячо, жар там, внутри, в железном брюхе... Идет... Живет... А мы щас снасильничам этих девок, голубую кровь энту – и што?.. Они назавтра все – вот те крест – с палубы – в темную воду попрыгают... На дно, к ракам... Э-э-э-э, думаешь, я спужался?! Да ништо! Никогда еще Сашка Люкин не пужался! И другим не советовал! Я руку Шляхтина... С медного орла – стряхнул... как крошку... И сам – руку... На энту ручку... положил...

Лямин уже слышал голос, будто сквозь печную заслонку.

– И нажал... Повернул...

Лямин будто спал уже, а и не спал.

Глаза открыты, а разум улетел.

– Слышу: сопят за мной... Войти хочут... Меня вперед толкают... Плечом напирают... Энто Куряшкин, плечом-то... И вдруг... Хлобысь!.. Валицца будто мешок с камнями... Бух на пол... И звон, трезвон... Бутылка по полу катицца... Пуста-а-ая... Я ничо не понимаю, а стрямко мене... Выгнул шею-то – а сзади... Шляхтин – без почуха свалился... И бутылка по паракорду катицца... Прочь...

Обоими кулаками крепко сжав, поднял бутылку и допил остатки. Глотал быстро и крупно. Пил, как воду в жару.

– Куряшкин меня – в скулу кулаком сунул: ну, ты... Войдешь?! Оттиснул от двери... Сам шагнул... И за порог сапогом зацепился... И тоже растянулся... ругается скверно, блядословит... Я ему – сапогом – на хребет наступил... Давлю: ты, хватит!.. Поигрались... Попрыгали в кроватках с царевнами...

И вдруг вскинул голову и громко, отчетливо, как и не опьянел в доску, прокричал, будто с трибуны – народу:

– В бога! Душу! Мать!

Голова Лямина отделилась от шеи и поплыла в мрачном прокуренном воздухе сама по себе. Смотрела на все сверху сизыми, цвета водки, глазами. Все наблюдала. Примечала.

Голова видела сама свой затылок, без надоевшей фуражки, мокрый от ужаса лоб, и как Сашка допивает водку и бутылка выпадает у него из рук стеклянным клубком и катится, а кошки нет, чтобы поймать; а где-то рядом, в комнатах, лежит этот мальчишка, истекает вечной кровью, а может, не лежит, а плывет, и вокруг него спасательные круги на стенах каюты, и скрипит зубами матрос Нагорный, скрипят винты в пазах, трещит обшивка, лязгают железные кишки в трюме. И эти девочки. Они плачут, обнявшись, но так, чтобы никто не услышал.

– Шаги... Рядом... Командир... Он же не спал... На ветру – встает... Так вашу так! Товарищ Родионов, виноват! Расстреляйте! Ты... Хрипит... Тащи его... За ноги... А он уже?.. Али ишо... А я ему: не знаю, товарищ командир... Откуда я знаю...

Ветки плыли мимо. Ночь плыла и плескала в лицо, охлаждала волной плывущую голову. Пьяным соловьем щелкало, заливалось сердце. Вот-вот тоже выйдет из груди, рассмеется и поплывет.

– Мы – пьяные... Пья-а-а-аные... Нам все прощают... Потому что мы-и-и... Пья-а-аные... И нет на нас управы... А зачем управа?.. Кто ее выдумал?.. Мы сами себе управа... И так отныне будет всегда... Во веки веков... Аминь!.. К лешему... Надрался я...

Икнул. Выблевал на стол ржаной шматок.

– Я оттащил... В угол... Сперва Шляхтина... Потом Куряшкина... А може, наоборот... А какая разница?.. Оттащил – и свалился на их... Сам упал... Командир меня обкостерил сверху донизу... Голосом – отхлестал... А я только вздрагивал... Блаженно... И засыпал...

Люкин упал носом в свою блевотину. Поднял чугунную голову и стряхивал грязь ладонью, как кот, умывался лапой.

– А утром... Што утром?.. Утро как утро... Обычное утро... Водичка под солнцем блестит... Весело идем, ходко... Чайки вьюцца за кормой... Мы – винтовки вынули... пулеметы на палубу выкатили... и давай в птиц



стрелять!.. Охота же... Любо... Ну, любо... Мужики же мы... Али кто... Нам только дай пострелять... Хлебом не корми... Напутал я... К лешему-кикиморе!.. Прицеливался, в чайку попадал точно, в грудь ей... Она – падала... Крылья сложит и камнем вниз... В волны... А волны – трупик несут... Кричат они противно!.. Противные птицы!.. Гадкие!.. Из пулеметов – по чайкам... пли!.. Всех перестрелям!.. всех!.. Все-е-е-е-ех... И никто нам не указ... На виселицу нас тащите... на плаху... к стенке... А мы все равно – вас всех – перестрелям... вас!.. Кто посягат на нашу свободу... На нашу!.. Свобода... свобода...

Голова Лямина, ее уши внезапно услышали донесшееся из глубокой глубины, из дальней дали: «Эх, эх... без креста... Тра-та-та...»

...Это в Губернаторском доме, в зале, на маленькой нишей сцене, заезжий артист из Петрограда читал царям новомодные стихи. Как его пропустили к пленникам? А может, он шпион? Обыскали тщательно. Лямин сам обыскивал. Оружия нет при себе? А тайных писем? А режущих и колющих предметов? Правда, ничего нет? Ну, мы проверим.

– Эх, эх, без креста...

– Без какого... перста?..

Сашка Люкин окончательно уронил башку на стол. Щекой лежа на столе, бормотал последнее, бредовое:

– Дочки убийцы... Убийцы... Распять их... вытрепать... и убить... А ключ-то в замке трещит!.. Кто закрывает каюту?.. Кто приказал?.. Кто... На ночь?.. До утра?.. Но утро, утро уже... Утро... Утро...

За окнами светлело. Холодное снятое молоко майского рассвета лилось в комнату. Лямин выдыхал перегар и страх. Ему стало беспричинно весело. А голова? Опять приросла к шее, как ни в чем не бывало. Вернулась.

Только плицы, эти чертовы парходные плицы, зачем они все шлепают по воде?

* * *

– Начальник охраны Павел Еремин!

– Я.

– Отобрать у всех, у кого имеются, револьверы системы «наган»!

– Есть отобрать.

Еремин двинулся выполнять приказ.

Он его выполнил.

Револьверы он собирал в большой кожаный ягдташ.

Притащил их в комендантскую. Юровский, подняв плечи, будто мерз, стоял около рояля. На нем была неизменная тужурка, застегнутая на все до единой пуговицы.

– Холодно, – поежился Юровский, – на улице пятнадцать градусов.

– А разве это холодно? – удивился Еремин.

– Давай сюда наганы.

Юровский указал на письменный стол.

– Но тут же документы! Как бы не попортить, товарищ комендант.

– Тогда давай сюда.

Кивнул на рояль.

Господская игрушка, музыкальная забава. Тоже попортит, но кто об этом теперь думает! Пальчики великих княжон не будут бегать по черным, белым этим костяшкам.

– Павел. Ты все понял?

– Да. Все.

Еремин стоял – мрачнее только туча грозовая.

– Сегодня!

– Я понял.

– Сейчас! Скоро!

– Всех?

Голос Еремина железом царапнул по лицу, по груди Юровского.

– Да. Всех! Всю семью.

– А доктор? Слуги?

– Всех, я сказал.

– Понял.

– Пойди предупреди солдат, чтобы не паниковали, когда выстрелы раздадутся.

– Сказать, что будем расстреливать?

– Сказать, что это мы, мы будем стрелять.

Охранник Стрекотин на посту?

– Так точно.

– Стрекотина – ко мне!

Еремин отлучился. Привел Стрекотина. Юровский кинул на приведенного быстрый взгляд.

– Ты ведь пулеметчик.

– Так точно, товарищ комендант.

– Ты все помнишь, о чем я тебе говорил?



- Так точно.
- Твой пулемет где?
- На окне стоит. Я при нем.
- Молодец. Ступай.

...Пулемет излучал холод. Андрей Стрекотин стоял рядом с пулеметом навытяжку, как на параде. Напряженно слушал звуки Дома. Разные звуки, то хилые и слабые, то резкие и страшные. Он не мог сложить звуки воедино, кубики звуков распадались, и со дна мешанины звуков вдруг поднялись и совсем рядом раздались шаги. Человек быстро сбежал по лестнице. В руке зажат револьвер.

Еремин подбежал к Стрекотину и всунул ему револьвер в потную ладонь.

- Наган? Зачем? У меня ж пулемет.

Стрекотин заглянул в лицо Еремину. Зачем он это сделал!

- Расстрел... скоро.

Повернулся. Ушел. Стрекотин ошалело глядел Еремину вслед.

Быстро положил револьвер на подоконник. Пристально, долго на него смотрел.

Положил руку на пулемет. Потом другую. Обеими руками обнимал пулемет, как женщину.

Опять топот по лестнице. Еще идут. Еремин, Медведев и с ними Никулин. И Лямин. И за ними – люди. Высокие, широкоплечие, сивые. С холодными лицами. Среди них – такой же холоднолицый, да только малорослый. Сивые пряди лезут на глаза из-под фуражки. Меж собой говорят по-чужому.

Стрекотин считает людей: пять, шесть, семь, восемь. Никулин отворяет дверь комнаты, около которой Стрекотин обнимает пулемет. Комната, что в ней? Пустая. Латыши, Еремин, Никулин, Лямин и Медведев входят в нее и плотно закрывают дверь за собой. Стой, сиротливый Стрекотин, обнимай пулемет. У каждого этого сивого коня в руке – наган.

Облизнуть сухие губы. Водки бы выпить!

Не водки – воды. Целый жбан.

Пить и пить, пока не лопнешь.

Дверь наверху хлопнула, а Стрекотин так вздрогнул, будто – в него выстрелили.

...Латыши осматривались в подвальной комнате. Мало места. Наползают друг на дружку стены. Гром сапог поутих. Кто-то сел на пол. Курить тут комендант запретил.

У всех латышей были имена: Ян, Витольд, Генрих и еще такие же заковыристые для русского слуха; и они окликали друг друга по именам. Лишь одного почему-то кликали прозвищем, по-русски: Латыш.

Все рослые, а этот плюгавый. Недорослый, и слишком тощий. Такая тощая маленькая собака, до старости щенок. Шея вытянутая и хрупкая, как у девчонки. А руки неожиданно, устрашающе большие и сильные. Такие руки – быка задушат. Зло просвечивало во всем его остром, испитом лице, в сивых жирных прядях, торчащих из-под обода фуражки; он наводил неясный страх. Белые пряди, будто седые. А может, и поседел; мудро, видя столько смертей и самому убивая, остаться молодым и веселым.

Беловолосый, четкий, жесткий. Рослые – к нему, малявке, оборачивались и перед ним вытягивались, как перед командиром.

Латыши перекинулись парой слов и замолчали. Револьверы нагие, у них в руках. Только у Латыша на боку, в кобуре. Огромные руки стащили с головы фуражку, растерли шею и пригладили, прилизали белые спутанные волосенки.

Латыш обвел всех белыми глазами. Улыбнулся щербато. Длинные зубы, длинные и резцы, и клыки. Веснушки на птичьем носу-клюве собрались в грязный комок.

- Что примолкли? Бойтесь?

Стрелок, сидевший на полу, покачал головой.

- Разве можно так спрашивать. Глупый ты.

– А я никогда и не был умным, – блеснул глазами Латыш.

Так в забое мигает свет шахтерского фонаря.

– Какая пустая комната! – воскликнул молодой латыш, держа наган на раскрытой ладони, как мертвую черную птицу. – Все вещи, что ли, отсюда вынесли?

Сидящий стрелок рассматривал револьвер у себя в руках.

– Хорошее оружие. Как у нас его много! Мы победим.



Латыш усмехнулся, а сидящий отвернулся, чтобы не видеть его усмешку.

– Ты в этом уверен, Роберт?

– Вот расстреляем сейчас русских владык, и все как по маслу пойдет.

Латыш прищурился.

– Как по маслу? А масло не прогоркло?

– Что за разговоры, – вмешался длинный, журавлем стоявший на смешно вытянутых ногах, до потолка головой достающий чекист. – Не сейте в публике панику.

Хрипло засмеялся.

– Эх, жаль, нельзя курить.

– В публике? В палачах, ты хочешь скazać?

Молчание обхватило всех крепко, как после разлуки. Губы на крючок, зубы на замок.

И молчали, темно и страшно, уже все: и Латыш, и Роберт, и длинный журавль, и все эти рослые крепкие люди, заброшенные в чужую страну, большую и странную, для того, чтобы ее ненавидеть, вспахать, убить и перекрыть.

И чтобы никто никогда не узнал, что тут была Россия; это будет иное государство, с иной властью и иными, лучшими и чистейшими, людьми.

А может, власть будет другая, а люди все те же: подлецы, предатели.

...Старуха приподнялась на локте и нежно смотрела на лицо спящего мужа. Он спал крепко и сладко. Быстро засыпал, как всегда, а если разбудить – по-военному быстро открывал глаза и стремглав вскакивал с постели. И первым криком всегда было: «Солнце мое! Ну что, проспали? С добрым утром!»

До утра далеко.

И далеко, очень далеко отсюда стреляют; это артиллерия. Скорее бы. Скорей.

Легла навзничь на тощую подушку, а сон не шел. Может, и не придет сегодня. У нее часто бессонница.

За слепым стеклом окна затарахтела машина. Тяжелый грохот; видать, грузовая. Может, это им дрова привезли? Лето уральское странное: то жара, то холода, а ведь осень грядет. Через месяц-полтора здесь, говорят, уже первые заморозки.

Сердце билось ровно, но странные боли вот здесь, в подреберье. Как доктор Боткин говорит: шалит верхушка. Почему верхушка у сердца – внизу? Когда она сдавала экзамены на сестру милосердия, она досконально изучила книгу Дмитрия Зернова «Анатомия человека». Она все прекрасно помнила: правое предсердие, левое, правый и левый желудочки. Желудочковая аритмия самая опасная. Фибрилляция предсердий – с ней еще можно жить. Но, как смешно говорит ее Ники, мужлан и содафон, хрен редьки не слаще.

Улыбка сморщила губы. Милый! Как он спит. Как сын на него похож.

Легкие, лепестки в тысяче кровавых пузырьков, полные воздухом. Трубка трахеи, бальные роскошные веера бронхов. Бронхит – это вылечивается, а бронхоаденит – не всегда. Она перевернулась на живот. Постель грела слишком сильно и странно, она лежала как на углях. Опять легла на спину. Пружины трещали. Суставы, сочленения костей, двуглавая мышца бедра, бицепсы и трицепсы. Любимый так прекрасно всегда занимался гимнастикой. Ему из Лондона братец Георг присылал список упражнений с рисунками. И он повторял рисунки точь-в-точь. Мышцы под любимой кожей! Как она покрывала их поцелуями, все, всюду, эти ноги, руки, эту сильную, загорелую на северных ветрах спину.

Да, что у человека внутри? Где прячется душа? Где она живет, маленькая, милая, жалкая?

Она большая, она размером с небо; просто она вмещается в нас, а те, в ком она внезапно умирает, не могут ее отыскать. И превращаются в вурдалаков.

Кожа и кости, нервы и мясо. Раненые в ее госпиталях, как стонали они на койках своих. И она подходила и клала им руку на лоб, и они просили ее: вот так поддержи, сестричка. Сестричка! Они не знали, что она – царица. И ей было все равно. Ей даже радостно было, что они этого не знали. Не все человеку надо знать. Вот никто не знает часа своего; и это правильно.

Забинтовать рану. Наложить сначала марлю, пропитанную спиртовым раствором, по-



том вату, потом обмотать стерильным бинтом. Витки бинта ложатся, эта белая живая спираль вьется, успокаивает. Это как гипноз. Больной верит, что он выздоровеет; а ты веришь в то, что вылечишь его.

А ты помнишь, как они умирали? В тех твоих палатах бессонных, слишком чистых, тобой же и вымытых, – помнишь?

Стонали. Выгибались. Кусали, рвали зубами простыни. Орала, не стерпя мучений. Хрипели. Отходили. Ты садилась к изголовью, брала уже покрытые липким чужим потом руки, отирала мокрые виски. Шептала: «Да примет Господь с миром чистую, безгрешную душу твою». Ты сама им грехи отпускала. Священник уже не успевал, да и не успел бы. Эти смерти приходили внезапно, их нельзя было уследить, расчитать. И ты была одна за всех. За батюшку. За врача. За сиделку. За мать, – ее умирающий звал икусанным, вспухшим, запекшимся ртом.

Мама! Мама! Ты где! Мне больно!

Я тут, шептала ты, я тут.

И наклонялась, и целовала умирающего бойца так, как целовала живого, любимого Ники.

Ники, прости мне! Я их всех целовала. Но я же целовала их души! Предсердия и желудочки упускали ритм, а душа-то жила, и она все видела и радовалась: вот он, последний поцелуй, последняя чистая любовь.

А ей кто-то даст такой последний поцелуй, когда она будет умирать? Кто? Ники? Дети?

Нельзя об этом думать. Воображать, где и как ты умрешь. Это запрещено. *Verboten*.

Муж простонал во сне. Она провела ладонью по его лбу. Боже, и он вспотел. Кто так щедро натопил печь? Теперь, летом? Эта кухонная баба, Прасковья? Но почему ее вдруг трясет, будто в лихорадке, в инфлюэнце, и больно и трудно глотать, и бежит к ней ее вечная мигрень, вот она, боль, рядом, и дня без нее не прожила, соскучилась!

Старуха положила руку себе на лоб. Закрывает глаза. Мы не знаем, отчего глаза видят, а уши слышат; тело – такая же загадка, как и душа, и жизнь – загадка, и время – загадка. Что там будет с нами после смерти? Господи, Ты один о том знаешь.

Опять грозно зарычал мотор и смолк. Во дворе не спали. Ну, у них, у охранных, свое хозяйство. Они их, убивая и мучая, берегут. Это так трудно совместить.

...Ермаков, со всклокоченными адскими волосами и взглядом обезумевшего от одиночества филина, глядел сквозь стекло кабины грузовика. Подъехали к Дому. Окна горят в первом этаже. Во втором – темень, спят.

– Кто идет! – задвленно крикнул у ворот караульный.

Ермаков грубо распахнул дверцу.

– Трубочист!

Караульный загремел цепями и задвижками и открыл ворота.

– Въезжай!

Шофер подрулил к темной стене, мотор встал.

– Выходи, – сказал Ермаков шоферу тихо и жестко, – иди прочь и не оглядывайся.

Шофер, смерив Ермакова потрясенным взглядом, вывалился из кабины, как куль с мякиной. Потрусил к воротам. Исчез за ними.

Ермаков выпрыгнул из кабины и подошел к кузову.

– Эй ты! – Задрал патлатую башку. – Кудрин! Ты тут жив или нет!

– Жив.

Через борт кузова перекинул ногу человек. Ловко спрыгнул на землю, присел, спружинив ногами.

– Вот он я.

– Как настроение?

Ермаков жег Кудрина зрачками.

– Боевое. Какое ж еще.

– Это славно. У меня тоже!

Оба враз хлопнули друг друга по плечам.

– Сегодня великая ночь. О ней потом напишут в учебниках истории. Наши дети и внуки будут про эту ночь читать. А мы с тобой, ха, ее делаем. Вот этими руками.

– Да. Этими.

Кудрин поглядел на свои руки. Руки как руки. Плоские живые лопаты.

– Чур, царь мой, – сказал Ермаков.

Воздух со свистом выходил сквозь его зубы и ощеренный рот.



* * *

Одинокие шаги стихли, и послышался опять хор шагов. И хор голосов.

Они шли и переговаривались меж собой – тихо, по-ночному. Кто по-русски, а кто и по-тарабарскому.

Никулин сел на пол кладовой. Рядом с ним тускло светился кирпично-темной медью баташовский самовар. На бок самовара падал луч света из дверной щели. Никулин пощелкал ногтем по погнутой старой меди, испещренной ямками и клеймами.

– Ишь ты... с медалями... тульский...

– А вот на Урал залетел.

Павел Медведев тоже звонко щелкнул ногтем по медному выгибу.

– Эй, кончайте стучать.

Кабанов сделал грозное лицо. Никулин погладил самовар, как кота.

– Да ладно тебе.

Лямин и Сашка стояли у двери. Не сядились ни на пол, ни на старые стулья и кресла. Иные стулья были перевернуты, ножки торчали вверх.

«Это не стулья. Это мертвые козы, свиньи, лошади. Телята. Валяются. Это мы их убили».

Латыш шагнул к Лямину и сказал, вроде как не Лямину, вроде в пространство:

– Там перегородка деревянная. Хорошо. Не будут пули отскакивать.

Лямин глядел ему в лицо, не понимая ни слова.

Латыш ухмыльнулся и стал еще противнее.

– Рикошетов не будет.

Лямин сделал вид, что не понял, хотя теперь он понял все.

Латыш говорил по-русски с ужасающим акцентом.

...Заспанный Люханов, потирая лоб кулаком, бесслышно, осторожным кошачьим шагом шел по двору к грузовику.

...Они шли – так идут вокруг церкви крестным ходом.

Впереди шел царь. Он нес Алексея на руках. Царь в гимнастерке, и сын тоже. На головах военные фуражки. Мальчик так любил

военную одежду. Он воображал себя полковником, подобно отцу; и все свое детство проиграл в войну, в солдатики.

Два оживших солдатики из его старинной царской игры. Оба в военной болотной амуниции, оба воины. Но зачем они так смиренно идут? Воин должен сражаться.

О, иногда воин и молится. Например, перед дальней дорогой.

Или перед тяжелым боем.

Аликс и девочки – что они могли надеть спросонья? Только платья, без кофт, жакетов и плащей; их же никуда не везли, им просто приказали перейти в нижнюю комнату, и все.

– Евгений Сергеич, я не поняла, что сказал комендант?

– Он сказал, что всем нам надлежит сфотографироваться. На всякий случай, ваше величество. Мало ли что.

От этого «мало ли» у нее заалели щеки. Царь обернулся и даже в тусклом коридорном свете увидел эту краску на щеках.

Из-за плеча сына послал жене ласковый взгляд.

Взглядом можно погладить и воскресить, а можно и убить.

– Солнце, тебе не тяжело?

– Папа, я сам пойду! – возмущенно и громко сказал Алексей.

Царь плотнее прижал к груди сына.

Они спустились по лестнице и вышли во двор. Тата глубоко вдохнула свежий летний воздух.

– У меня легкие, наверное, стали на тряпки похожи... Я хочу плавать, купаться...

– И я!

Анастасия задрала голову и смотрела на звезды.

Мария смотрела в лицо Ольге. Ольга молчала. Мария поглядела на мать. Она шла рядом с ними, с матерью и старшей сестрой.

– Какие крупные звезды, – беззвучно сказала Мария. – Какая ночь.

– Эти звезды на миг, – так же неслышно отозвалась Ольга.

Мать шла между ними и молчала. Они обе слышали только ее дыхание. И обе, с разных сторон, смотрели на ее профиль, тонкий, светлый, намалеванный чьей-то безумно



влюбленной кистью на старой доске, истлевшей за старым шкапом, за занавесями паутины.

Открылась дверь в нижний этаж. Они переступили порог.

Царь и цесаревич, Тата, Настя, Ольга, царица, Мария, Боткин, девица Демидова, повар Иван Харитонов, лакей Трупп. Все несли в руках подушечки, любимые вещицы; подушки – чтобы сесть мягче, голые стулья холодят зад и хребет, а безделушки – чтобы с ними навек сфотографироваться. Мария вошла последней и закрыла за собой дверь.

* * *

Юровский обернулся через плечо.

Крикнул:

– Входи!

А они все уже и так вошли.

«Латыши первые. Зачем латыши? И этот, плюгавый, вон он, в первых рядах».

Он видел его затылок. Его плохо выбритую шею под черной фуражкой. Сивые волосы торчали, как жесткая конская грива.

– Мотор как тарахтит, – пробормотал Сашка.

Латыши стоят в комнате. Никулин, Медведев и Кудрин – в дверях.

За ними – Лямин и Люкин.

Вперед протолкался Ермаков. У него было глиняное лицо.

Встал рядом с Юровским. Вплотную.

Ермаков ощущал, как Юровский дрожит. Очень мелко, будто стоит в трюме корабля, а вокруг вибрируют машины: ходят рычаги, крутятся колеса и шестерни.

Машина работает, грохочет, лязгает, колеса вращаются, шестерни зацепляют зубьями плотный, промасленный воздух, черную гарь. Лязг и вздрог. Лязг и стук. Лязг и вопль.

Железо бьет о железо, машина работает, она запущена, и ее не остановить.

Наган в руке Лямина превратился в мертвый сгусток. Он состоял не из стали. Из косной, навек умершей материи, имени которой на земле не слышали.

...Лямин едва дышал. А ему казалось он дышит хрипло, громко, оглушительно, на

весь подвал слышать, на весь дом, – он ловил ртом воздух и все никак не мог поймать, воздух утекал и ускользал у него из ноздрей, из губ, у него голова перестала рождать мысли, а вместо головы что-то такое тяжелое, горячее, черное стало думать внутри него: может, это было голодное чрево, а может, сердце или то, что еще осталось, застряло у него меж ребер вместо сердца, – он не знал. Это черное и тяжелое, и пылающее головней, этот странный черно-красный, горячий сгусток думал вспышками боли, и эти вспышки странно слагались в отрывочные, разорванные, оторванные от прежней жизни слова.

Боль. Скоро. Подлые. Нет. Пуля. Прежде. Уйти. Убежать. Убить. Кого? Здесь. Везде. Всегда. Зачем? Надо. Горько. Ложь. Правда. Будет? Было! Есть. Да. Нет!

Утро взорвалось и закричало: нет! – и Лямин чуть приподнял над ногой наган, ствол его был как живой, он вертелся сам по себе и вздрагивал сам, Лямин обернулся, и на встречу ему из тьмы полетело странно яркое, красно горящее, и вместе с тем черное, угольное, лицо Юровского.

Дыханья двенадцати смешались.

Людская машина работала не хуже железной.

Жила, дышала, двигалась.

Шестерни и рычаги. Руки и головы. И ноги, ноги.

В сапогах.

Юровский шагнул вперед.

Правая его рука уткнулась и утонула в кармане брюк. В левой он держал бумагу.

Бумага мелко дрожала.

Лямин услышал скрип половицы под его сапогом.

«Будто чайка над рекой прокричала».

– Ввиду того, что ваши родственники продолжают наступление на Советскую Россию, Уралсовет постановил вас расстрелять!

Николай стоял лицом к этим вошедшим в комнату, черно-кожаным людям.

Он даже не успел рассмотреть и осознать, что у них в руках – револьверы.

Зато Александра рассмотрела.



И – не дрогнула ни лицевой мышцей, ни кожей, ни пальцами. Дышать чаще не стала.

Только сердце, голубь, взлетело и ухнуло куда-то в синюю жаркую бездну.

...Это Ной выпустил из ковчега голубя на землю.

...Повернулся к чекистам спиной. Глядел на всю семью свою, любимую.

...Глаза Ольги, честные, печальные.

...Затылок сына. Как спокойно мальчик сидит! Не шелохнется.

...Тата, руки в кулаки сжала. Детка! Держись!

...Настя напугана. Кажется, она поняла.

...му Sunny, а ты?

...Глаза Маши. Машка! Вот и все.

...Юровский, читая эти слова, а он их все уже выучил наизусть, не дрогнул ни умом, ни душой, ни телом, ничем; он здесь, в подвале, был странно заморожен – будто мороженая рыба, будто твердое бревно огромного осетра зимой, у проруби, убитого багром по голове осетра. И вот этот мерзлый осетр внезапно воскрес, и умеет читать, и потешно стоит стоймя, и держит в плавниках важную бумагу, и читает по бумаге, шевеля круглым усатым ртом, приговор этим людям – отжившим свое, отплавившим свое на золотых балах, никчемным людям. Да хватит, – одергивал он себя, читая приговор, – да люди ли они? это они – люди? это он – человек, проклятый царь, уничтоживший столько народу в своих войнах, на виселицах и в застенках, это она-то – человек, гадкая царица, она путалась с Распутиным, путалась с кем угодно, она продавала и предавала, и это ей – на свете жить? нет, ей – не надо, ей на свете, такой гадине, жить – запрещено! И читал дальше, и дочитал до конца, а когда настала тишина, он почему-то подумал про цесаревен: и эти, эти – тоже нелюди, жрали и пили с золота, дрыхли на серебре, выдали бы их замуж за иноземных царей-королей, и они так же, как все ее предки, мордовали бы, истязали, изводили, убивали народ. Свой? Чужой? Все равно. Все равно? Нет, этого нельзя. Этого нельзя, – шептал он сам себе, – нельзя никогда этого допустить, мы

лучше уьем их всех здесь и сейчас, здесь и сейчас. И делу конец. Ай, молодец. Это я молодец.

Часы тикали в тишине. Серьги с поддельными алмазами и броши с поддельными сапфирами сверкали в тишине. Коричневые, как крепко заваренный чай, фотографии с виньетками красовались в витрине ателье в тишине. Лекарство капало в мензурку в тишине. Хирургические скальпели блестели в тишине. Страницы великих книг про революцию, кровь и слезы шуршали в тишине. Патроны падали в магазин маузера в тишине.

Вся его жизнь прошла в тишине, а вот теперь можно и погрохотать.

Он слушал тишину и радовался: они, гады, услышали, они все поняли. Они готовятся.

Он стал искать глазами лицо царя, а когда нашел, стать искать его глаза, – и нашел глаза, и воткнул в них свои глаза, нет, он не пытался его испугать или пригвоздить глазами, сейчас это за него успешно и быстро сделают пули, – он просто хотел поглядеть глубоко, очень глубоко в глаза человеку, которого он сейчас убьет, вот сейчас, сей момент, а этот человек был самым первым человеком в России и одним из первых в мире – еще вчера.

Аликс головы не повернула. Смотрела вперед, прямо перед собой.

Повернулся сын.

Он повернулся всем корпусом на этом неудобном, жестком стуле и поглядел на отца.

Отцу в лицо. В глаза.

Ловил его глаза.

И не поймал. Царь сделал шаг назад и опять встал лицом к Юровскому, латышам и солдатам.

Голос вылетел из него птицей, птица ударила грудью сначала об одну стену, потом о другую, потом о потолок.

– Что? Что?!

Лицо Ермакова перекошилось.

– Читай еще раз. Внятно! Не услышали!

Юровский приблизил к лицу бумагу. Он наизусть знал написанное там.

Он хотел заслонить этой бумагой лицо, потому что лицо вдруг стало страшным, и он



знал, что оно – страшно. И хотел его закрыть, спрятать, чтобы не видели и не ужасались другие.

Пока еще живые.

– Ваша родня продолжает наступать на молодую Советскую республику! И Уралисполком! Постановил! Расстрелять... вас!

Царь развел руками и опять повернулся к семье.

– Как? Зачем?!

Кажется, это крикнула Нюта Демидова.

Цесаревич не кричал. Но крепче сжал губы. Но весь странно потянулся, вытянулся, будто хотел встать и не мог. А может, он и вправду не мог.

– Не верю!

Это крикнула Тата.

– Боже... Я так и знал...

Доктор Боткин.

– Папа!

Настя.

– Не может быть.

Ольга.

– Мама, родная... Это неправда...

Маша.

Аликс подняла к нему лицо.

Он увидел ее глаза.

У них обоих были глаза похожи: у нее водяные, речные и без дна, и у него тоже.

Юровский обернулся к стрелкам и крикнул задушенно:

– Готовься!

...Царь глядел в лицо Юровскому, и он не узнавал это лицо, напротив него стоял не человек, а странная, дикая, черно-красная масса, красный рот двигался, черная куртка дергалась и шевелилась, и царь подумал страшно и быстро: вот и все, – но человеческое тесто напротив вздувалось и вспучивалось, и он еще успевал думать сразу обо всем, обо всей своей жизни, обо всех родных и любимых, обо всей стране, обо всей земле, он обнимал все это последней смертной думой – и хотел молиться, но вместо этого сам обратился в молитву; он стал молитвой, стал словами, что тысячу, сотни тысяч и бесчисленно раз повторяли людские губы, ими, этими словами, бессильно пла-

кали людские сердца, и так хорошо ему было быть молитвой, так сладко и чисто, по настоящему чисто и правильно, праведно, – и он еще успевал поблагодарить за это чудо, но кого, теперь уж он не знал, потому что в нем, в молитве, которую он стал, таких слов не было; и он молитвой вис в воздухе, растворялся, тек, истаявал, застывал прежде горячим, а теперь зимним свечным воском.

И он, вернее, то, чем он стал сейчас, молитва, – он достиг, пламенея и застывая, рта, губ жены, достиг ее яремной теплой ямки и нательного креста в ней; и она шептала молитву, шептала бессвязно, торопливо, и горячей слезной молитвой, самим собой, всем собою, он целовал напоследок эти любимые, морщинистые губы.

– Господи!

Царь сжал кулаки.

Александра подняла руку. Она хотела коснуться руки царя, но не коснулась.

Улетала, плакала голубка.

– Прости им, ибо...

По глазам цесаревича словно ударила молния, и он зажмурился.

– Не ведают, что творят...

Юровский вырвал кольт из кобуры. Вскинул руку и прицелился в царя.

Пуля ушла сразу.

Царь слишком близко стоял. Не попасть было бы смешно.

Царь пошатнулся и стал падать.

«Как все просто. Боже! Как же все просто у Тебя!»

Все стали стрелять. В комнате раздался грохот, и она стала заволакиваться сизым дымом.

Ермаков сделал к царю огромный шаг. Его рот превратился в пасть, и она, кривая и косая, неожиданно заняла все лицо; поглядеть – так смеется человек взалхлеб.

Ермаков тоже выстрелил в царя. В упор. Когда он уже падал.

За сутулым плечом кособокого Ермакова стоял Михаил Кудрин.

И он тоже выпускал пули в царя. Из старого браунинга. Одну, вторую.



Царь лежал на полу. Из его ран текла кровь.

Лямин понял: они тут все, все до единого, сперва стреляли в царя.

Так много ран. Много крови.

«Юровский же просил, приказывал: чтобы крови не было!»

Приказ не исполнен. Все стрелки палили в одного человека.

...Может быть, и хорошо; сразу умер; счастье ему.

...И царица повторяла, все повторяла слова молитвы, и забывала их, и ужасалась этому; она внезапно все забыла, и себя маленькую, в пеленках и распашонках, и себя – невесту, и себя – в родах, и себя – с лицом в морщинах, с опухшими до колен ногами – в этом тряском возке, едущем по ледяной весенней Сибири; она помнила только одно – дети тут, Бэби тут, и разве это возможно, чтобы их убили? Нет! Это же никак невозможно! Этого не может быть никогда! Это кто-то страшный, черный, красный, криволицый, придумал, и напрасно он наводит наган, и зачем эти ружья, эти штыки, это и не штыки вовсе, а елочные игрушки блестят; опять вернулось Рождество, опять Новый год, но какое же это отмечают новолетие? – она уже не знает, она забыла; и она разлепила губы, чтобы сказать мужу: родной, я забыла все, все, помоги мне все вспомнить! – и случайно, быстро опустила глаза вниз, и увидела царя, смиренного лежащего на полу без движения; и она повела глазами вбок и увидела сына – он лежал рядом с недвижимым отцом, но он двигался, он шевелился, о счастье, он был жив! Жив!

Мой Бэби жив! Мой Бэби жив! Мой Бэби жив! – кричала она молча, вздохнув, сама себе, беззвучно, без глотки и рта, – и ее сын услышал ее, а может, и увидел – высоко над собой, крупную, страшную, тяжелую, большую, охотником подбитую птицу, – не мать, не царицу, а древнюю, источенную ветрами гору, – уже такую далекую, что не добросить снежком, не достать слабой, в синяках, больною рукой.

...Царица хотела наложить на себя крест, рука поднялась. Опять взмыла!

Пуля опередила знамение.

Ольга тоже хотела перекреститься. И не успела тоже.

Кто выстрелил в Ольгу? Никулин?

Кто выстрелил в царицу? Юровский? А может, Ермаков?

У Юровского на поясе висели две кобуры.

«Два револьвера, второй выхватил и палит».

Один у него кольт, другой Лямин не помнил, какой; вроде не револьвер, а пистолет, маузер.

Мишка видел, как сначала побелело досиная, потом высветилось изнутри запрокинутое лицо старухи. Как быстро она умирала! Все. Умерла. Грудь не поднималась. Не дышит.

Павел Медведев подшагнул ближе, вот уже вошел в комнату из дверного проема.

Все они палили враз. Вразнобой. Косо, криво. Пули все равно прямо летят.

Палили. Палили теперь уже мощно, зло, как придется.

Чем гуще, тем лучше. Яростнее.

Скорей бы. Скорей убить. Чтобы эти глаза на тебя не смотрели.

Миг один – а запомнится на всю жизнь. Эти глаза девушек. И как они глядят на тебя, и как ты стреляешь им в лицо.

...Вот этих глаз боялись те, кто положил револьверы на пол к сапогам Юровского.

...Что Юровский сделает потом с ними, с теми, кто отказался? Убьет?

...Да их уже убили, голову на отсечение. Они и до постов своих не дошли. И на улице не покурили.

...Да кому они нужны. Кому мы все нужны.

Их было тут три ряда расстрельщиков.

Сначала стоял первый ряд. Ермаков. Юровский. Никулин. Медведев. Латыш плюгавый.

За ними – еще латыши, Кабанов.

За ними – Лямин, Люкин и Кудрин.

Руки. Руки, держащие револьверы. Руки стреляют, револьверы содрогаются. Руки обжигает выстрел того, кто стоит сзади. Руки в ожогах, пули уходят и уходят.

Комната маленькая. Одиннадцать человек в ней, и их расстреливают, палачи близко от жертв, жертвы глядят в лица палачам. Не спрячешься.



Руки черными живыми палками высовываются из двустворчатой двери.

Из рук – в живых – летит смерть, и живые становятся мертвыми.

Не сразу.

Грохот выстрелов. Частокол рук и оружия.

Это казнь, и она проста и страшна.

Так надо.

«Так надо, ведь мы боремся за наше светлое, светлое будущее! За коммунизм!»

Медведев палил и держался рукой за шею. Отнял руку от шеи.

Лямин увидел у него на шее красное пятно.

«Ожог. Хорошо, что самого не стрельнули».

Пули отскакивали от тел и рассыпались по комнате. Прыгали, как градины в грозу.

...Цесаревич глядел на мир снизу вверх, и мир ему казался теперь очень большим, странно большим, все было увеличено во много раз, и еще раздувалось, пухло, росло на глазах. Лица людей походило на воздушные шары, и надувались еще и еще, вот-вот лопнут, волосы их вились змеями и червями, в руках эти огромные дикие люди держали узкие, длинные сколы льда, и эти сколы остро, снежно блестели во тьме. А тьма все густела, и комната становилась не комнатой, а громадным сундуком, и внутри сундука были не только они все, но и драгоценности всего мира, что его сестры так старательно зашивали в рубахи и корсеты. И мальчик хотел протянуть руки, поднять их над головой и упереться ладонями в крышку сундука, чтобы открыть ее, чтобы впустить воздух в эту тьму и духоту, и чтобы они все немедленно вылезли из этого страшного дымного ящика, поглядели друг на друга и рассмеялись: что это такое с нами было! что это случилось! ты знаешь, darling? а ты? а ты? а ты?

И – никто не знал, никто бы ему не ответил, и он это вдруг понял – и стало все горько, горько стало во рту и горько в желудке, и горько в голове, и горько вокруг него, в самом воздухе; трудно было дышать горечью, но он все-таки дышал, а потом в горечь ворвалась невыносимая боль, и он хотел вытолкнуть из себя боль и горечь в одном сильном крике, но не

мог. Он даже не смог набрать в грудь воздуха, чтобы закричать.

Скосил глаза и рядом со щекой своей увидел чью-то ногу в белом башмачке и окровавленном белом чулке, и понял – это сестра, но кто? Настя? Тата? Оля? Маша?

Машка, это Машка, это твой туфелек, я узнал, лепетал он уже не губами, а болью, он весь превратился в боль, он перестал быть, а боль – была, и нога Марии рядом, в этом белом чулке в красных пятнах и белом узком башмаке, тоже – была.

...Мальчик лежал на полу. Он шевелил головой и рукой.

Он был жив.

Что он говорил?

«Боже! Он что-то говорит. Он живой! Черти! Пристрелите! Застрелите его!»

Нюта Демидова истошно кричала.

В нее стреляли, а она защищала грудь, голову и живот подушкой; и пули застревали в подушке, и попадали в нее, и она вопила и визжала и обливалась кровью, и все равно выставляла вперед эту подушку, последнюю надежду, щит последний.

Почему так скачут, как полоумные, пули?!

– Ай! Яй! Спасите! Люди! Люди!

«Мы не люди, мы кто-то другие».

Думал о них, о себе холодно, железно.

Повернул голову, глаза бегали, плыли и путались зрачками в сизом, как табачном, дыму – и увидел Марию.

Жива. Она еще жива.

Она стоит у стены. Раскинула руки.

Будто собой, телом защищает – то, что за стеной.

А что за стеной? Пустота?

«Она представитель старого мира! Чудовище! Она дочь чудовища!»

«Это ты чудовище. Ты чудовище сам».

Мария смотрит на свою лежащую на полу мертвую мать, и ее рот приоткрыт. Она не понимает, все еще не понимает, что с ней и что со всеми ними. Она хрипло дышит, у нее прострелены легкие, может, навывлет, пули застряли в ее нежном теле, и то, что он так звал и вождедел, оказалось просто мясом,



просто – мышцами, кожей и хрящами, и костями, и сукровицей.

«Кровь. У нее вовсе не голубая кровь. Она не цесаревна!»

«У них у всех кровь красная. Как у всех людей».

– Спасите! На помощь!

Это кричит она? Кого она зовет?

«Боже! Она зовет меня!»

...Мария стала огромной дырой в ветхой, в тонкокрылой ткани, и ткань расплзлась, дыра становилась все больше, все огромней, смотрела непроглядной чернотой, и чернота эта была она, Мария, и ветхие края старой ткани была тоже она. А потом оказалось так, что эта черная огромная дыра на самом деле была ее рот, криво распухший, раззявленный в утробном, неистовом, как в родах, крике; что-то рождалось, выходило из нее, наверное, душа, а может, она сама уходила, проваливалась в эту дыру, и сама черным орущим ртом смеялась над собой, и редела, и рвалась, все рвалась и разлезалась, трещала по швам и расходилась в стороны.

И дыра, вернее, то, чем стала она сама, крикнуло: «На помощь! помогите!» – но никто не бежал на помощь, и не шел, и не полз, а только ползли по полу чьи-то красные руки, цеплялись за половицы, крючились, волоклись в дыму, пытались встать, чьи-то ноги, все в красном, мокром, липком. И тот ор, тот крик, переставший быть великой княжной Марией Николаевной, девочкой Машкой, – синие глаза, дулевские чайные блюдца, крепкие, широкие и теплые руки и плечи, богатырша и хохотушка, озорная полковница Девятого драгунского Казанского полка, оборвался на высокой ноте, и все, что было жизнью, что дрожало наяву и являлось во сне, медленно повернулось задом, и зад этот был голый, уродливый, страшный, адский, затянутый дымом и руганью, занавешенный звоном пуль и треском затворов, и зад этот, позорный и похабный, истертый задник жизни, был самой настоящей смертью, – и чернел на глазах, быстро и

беспощадно превращаясь в уголь, в золу, в ничто.

И вместо сатанинского зада вдруг явилось лицо; и лицо это было плюгавое, бледное, русое мочало волос свисало с висков, рот щерился, лисий нос нюхал дымный, пороховой воздух, рот шевелился во тьме, – лицо глядело в черную дыру, и лицо выражало открытую, на ветру горящую ненависть, довольство, будто кусок вкусного горячего пирога зубы откусили, и решение доделать поганое, но верное дело до конца.

...Растолкать всех. Разбросать и задних, и передних. Выбежать перед всеми.

Подбежать к стене.

...Ее – на руки. Ногой разбить стекло окна. Вскочить: земля рядом.

Земля. Воздух. Ночь.

...Давай. Вперед. Она еще жива.

Ольга сползла спиной по стене. Держала в руках подушку. По рукам текла кровь.

Ольга смотрела на свою кровь, и глаза ее останавливались.

Медленно, тускло, – так гаснет керосиновая лампа, когда прикручивают фитиль.

– Мама... Мама...

Цесаревич лежал рядом с отцом и с матерью. Он опять пошевелился.

Стрелки палили. Пули рикошетили.

Русские бойцы исходили хриплыми матюгами. Латыши стреляли молча.

...Доктор Боткин лежал ничком. Голову повернул и лежал на щеке, будто на диване прикорнул.

Лакей Трупп мертв. Повар Харитонов мертв.

Лежат, задрвав подбородки; в потолок мертвыми глазами глядят, как в небо.

Как орет девица Демидова! Не смолкая!

Пули летают от стены к стене. Над головами. Пули живые. А люди мертвые.

Демидова испустила дикий визг и метнулась от стены к стене. Как пуля.

Ударилась всем телом о стену. Рухнула. В поднятых руках – подушка.



«Она этой подушкой от смерти не заслонится!»

В подушку палили пули. Вонзались в нее.

И подушка ожила. Стала живой плотью.

Подушка стала человеком, а человек превратился в орущую подушку.

Это подушка летала по комнате, и в ней застревала медная смерть.

Стрелки ополоумели. Они перезаряжали револьверы и палили опять.

Дым. Всюду дым. Все дым.

...Дым... Едкий... Ожоги...

– Еще заряди! Почему они живы?!

– Чертовщина! Еще! Еще давай! В эту!

Татьяна сидела на корточках рядом с Ольгой. Около стены.

Она плакала и кричала.

Одна из пущенных латышами пуль попала в Татьяну, ей прямо в грудь.

И – не свалила ее. Отскочила и полетела. И ударилась о стену, и отскочила снова.

– Цум тойфель, – белым ртом вылепил Юровский.

Запах пороха разъедал ноздри. В дыму ошалело качалась под потолком еле видная электрическая лампочка.

Мать умерла. Отец умер.

Сын здесь. Он еще не умер. Не убит.

Он ранен. Тянет руку.

Рукой – от пуль – защищает.

«Зачем он все еще жив?!»

Лямин с ужасом понял: патроны в его обойме закончились.

«Перезарядить? Не буду. Гори все синим пламенем!»

Никулин стоял около мальчика. Мальчик поворачивал голову. Лежал на спине и вертел головой. И стонал. И кусал губы. И опять что-то говорил.

«Что он говорит? Боже!»

Лямин звал Бога к себе, не думая и не понимая, кого зовет.

А когда понял – содрогнулся.

...Плюгавый Латыш стрелял хорошо. Но дым, этот чертов дым, он заслонял все. Он

заползал под веки, разъедал ноздри, заволакивал весь бочонок подвальной лютой комнаты белым, сизым тюлем, заливал молоком. Латыш облизнулся: «Молочка бы теперь. Какого молочка?! – оборвал он себя, работай, работай, стреляй!» Он работал не на дрянную русскую революцию – работал на себя: он слишком ненавидел эту чужую, огромную, мощную землю, под боком у которой, под громадным ее, богатым и теплым брюхом, притулилась его крохотная жалкая Курляндия. И он должен был однажды обнаружить, обнародовать эту тяжелую, чугунную ненависть, скинуть ее с плеч, а заодно и подработать, заработать чужих денег, подоить немного эту чужую кошмарную революцию, как чужую, на поле забредшую корову. Подоить, а потом зарезать, разделить и суп сварить. Суп – не получится! Жаль! Слишком велика Россия для тебя, плюгавый. Значит, сцепи зубы. Просто уничтожай. Убивай. Работай! Пали! Там, где пули не достанут, – работай штыком, прикладом! Революция – грязное дело; это война, война всегда грязна, как ее ни обеляй, как ни кричи про ее героев. Нет никаких героев. Есть деньги. Есть чужая ненавистная земля. Есть работа: нынче, сейчас расстрелять эту гадость. Эту царскую мразь.

Латыш услышал за собой крик и, продолжая стрелять, покосился. Кричал Ермаков. В дыму и чужих бешеных криках, в плаче и воплях казнимых он не понимал и половины русских, чужих, тошнотворных слов.

Никулин стоял над Алексеем. По лицу Никулина гулял ужас.

Наследник все еще жив. Непонятно. Отвратительно. Кровь все еще бродит по его худому телу; и у Никулина сама, сама стреляет рука.

А эта, тонкая рука подростка снова защищает лицо, глаза, лоб. Душу.

Душа. Вот оно. Душа! Может, такая живучая именно душа?

И, может, есть и бог, и все его святые, и они над ними всеми смеялись, а они – вот они, тут?

Никулин бесполезно палил в мальчика.



Царица и царь лежали в лужах крови.

Девочки в крови – сидели, ползли.

Демидова орала.

Латыш прицелился в нее. Выругался.

Лицо Никулина обратилось в железный крест: брови – перекладина, нос – столб.

Юровский шагнул к нему в дыму и глухо, невнятно бросил:

– Отойди. Мясник.

Фигура Юровского высывалась, торчала из дыма черным огородным пугалом.

Лицо дымом заволокло. Над фуражкой дым вился. Везде, всюду, и сверху и снизу – дым.

И сам Юровский соткан из дыма; все сон, и сейчас развеется.

Окна! Окна открыйте!

Юровский сделал еще шаг и оказался над лицом лежащего мальчика.

Поднял руку с кольтом и выпустил две пули ему в ухо.

Из угла рта цесаревича поползла струя крови. Кровь потекла и из уха по щеке, затекла за шею, разливалась алым озером. Вокруг затылка, вокруг головы всей.

«Красный нимб. Нимб – красный!»

Мальчик лежал навзничь. Голова в красном круге.

Не двигался. И больше ничего не говорил.

Лямин напрасно искал глазами глаза Марии.

И ее самое не видал в дыму.

...Вот она! На корточках сидит; около стены; и Настя с ней.

Головы – руками закрыли.

Нюта Демидова визгнула в последний раз и повалилась перед княжнами, все так же крепко прижимая к груди подушку, живую, последнюю, теплую, милую.

Валялась на полу и дергалась. Жила.

К цесаревнам подскочили Кудрин, Медведев и Люкин.

На искаженном, исковерканном отчаяньем, дымом и истерикой лице Сашки Люкина читалось еще и ужасающее любопытство: а почему эти чертовы девчонки так долго не гибнут?

– Жалезные, што ли!

Кудрин и Медведев палили в княжон. Люкин вздернул руку и выстрелил тоже. Рука сама повелась вбок и вверх, и он попал в подоконник.

– Мазила! – яростно крикнул, обернувшись, Медведев.

Вбежал Кабанов и заорал, приседая, перекрывая грохот выстрелов:

– Прекратить стрелять! Живых – заколоть штыками!

«Почему Кабанов орет приказ? Почему не Юровский?»

«А какая разница! Все равно!»

Демидова и лежа на полу закрыла лицо подушкой. Подушка медленно сползала с лица, и обнажился рот Демидовой, застывающий в вечно, невыносимом вопле.

– Доколи! – как зверь, крикнул Ермаков, оборачиваясь к Лямину.

Мишка поднял винтовку и занес штык над девицей Демидовой.

...Ему казалось – он размахнулся хорошо. И рука у него вроде сильная.

И винтовка у него американская, винчестер.

Все вроде путем.

Штык, это же огромный нож. Острие вошло в плоть. Плоть подалась и хрустнула.

Брызнула кровь.

...Еще нажать, еще, еще.

«Где я? Кто я? Что я делаю? И я ли это?»

Тупой штык трудно входил в тело, ломал грудные кости, пробирался к легким.

Демидова вцепилась обеими руками в штык, пытаясь выдернуть его из груди.

Ее визг пробил потолок, достиг крыши и вышел наружу.

«Стекла треснут от такого вопля. Я не могу ее заколоть!»

...Подбежали стрелки. Кто? Он не видел, не понимал. Заблестели штыки. Визг достиг предела и оборвался.

...Кудрин, Латыш, Кабанов и Никулин доби-вали девицу Демидову прикладами.

Били по голове. Лицо в лепешку расквасили. Череп треснул, глаз вытек.

...Поднял голову. Будто голову его отрубили, и она лежала отдельно на полу, и каталась в чужой крови. Потом ее подняли и пристави-



ли к туловищу, но ничего не соображает она, ибо, как круглый каравай, адский хлеб, кровью пропиталась.

Вот, сидит голова его на плечах его; и смотрит он глазами; но это не его голова, и не его глаза, и – не его жизнь.

Не его голова повернулась. Не его лицо металось, летало. Не его глаза искали, чтобы крикнуть, обнять и поцеловать.

...И ни разу, не одной мысли в чужой голове – о Пашке.

О женщине этой, что делила с ним войну, постель и смерть.

Мария! Где ты! В этом дыму! Мария!

...Ермакову казалось – это он, он один убил царя. А когда ему это показалось – громадная гордость стала его расpirать изнутри, и он, дыша дымом и шуря в дыму, вдруг сам себя увидал в дымном кривом, чудовищном зеркале: он такой большой, больше этой подвальной каморки с полосатыми обоями, больше Ипатьевского дома, и пробивает головой крышу, и ощущает: он, он – царь! Всей этой черной ночной земли, всех орущих и быстро бегущих людей! Всех железных машин, издающих лязг железных костей! Он и правда царь, ведь он царя убил, – и пусть попробует кто-нибудь оспорить у него эту честь; он его убил, он, а не Лямин, не Юровский, не Никулин, не Курдрин! Не Латыш! Не Кабанов! Никто из них! И никогда! А только он, он один, он – царя – прикончил!

Да еще многих, многих тут, в этом чаду и дыму: тела мелькали перед ним, и он бил и стрелял, и бил все крепче, насмерть, и стрелял все точнее, все жесточе, а перед ним мотались охвостья белых, измазанных кровью исподних рубах, и хвойно-зеленое сукно гимнастеров, и черные магазины маузеров и черные стволы наганов, и штыки, похожие на вздетые в снежных дымах морды остроносых стерлядей, а какая разница, на рыбалке они, на охоте, на бойне, в лесу, в зверинце? Вот она, жизнь! А вот смерть! А вот он, их всеобщий красный царь Ермаков!

...И вдруг стал опять маленьким, и сжимался в комок все сильнее, все быстрее, стал

величиной с булавочную головку, и испугался, что вот сейчас кто-то на него невзначай наступит сапогом – и раздавит, и хрустнет он, хрустнет кристаллом поваренной соли, утопчут его в грязь, и – все, как и не было его.

...И только лицо, странное женское лицо, жесткое, жестче железа, с крепкими злыми скулами, с ледяными глазами, мелькало в дыму и опять пряталось в нем, и насилу он вспомнил, что эту девку зовут Пашка, и что она солдат, и тоже, со всеми вместе, сторожила тут царей; но ведь она отказалась стрелять, так почему же она тут?

...Они подходили к мертвому царю и стреляли в него.

Разряжали в царя револьверы.

Дым бесился и плясал. Вместо потолка над головами летели тучи. Юровский подскочил к дверям и раскрыв их шире, еще шире.

...Мария!

Мишка вопил это надсадно внутри себя, а из его горла выходил рык, собачий, волчий.

Две девчонки в углу у стены.

Они еще сидят. Нет. Одна лежит, свернувшись клубком; так спит котенок на чьих-то коленях.

Лежит и вздрагивает, и стонет.

Другая?

– Мария, – его собственный хрип ожег ему щеки и губы.

Перешагивая через тела, вляпывая сапоги в кровь, он подошел к младшим княжнам.

Пальцы Анастасии вздрагивали.

Мария сидела. Все еще сидела у стены.

И все еще руки – на голове.

Из-под живой шапки беспомощных рук Мария смотрела на него.

И он слишком близко увидал ее глаза.

...Пашка лежала в кладовой на полу. Под ее животом, под расплющенной тяжестью тела грудью, под раскинутыми ногами в тяжелых грязных сапогах холодели доски, они превращались в лед, в плоскую ледоходную льдину, и Пашка куда-то далеко, в страшное, в неведомое куда плыла на этой льдине; льдина то кренилась, и тогда Пашка вцепля-



лась ей в края с острыми зубринами, то опять выпрямлялась, тогда Пашка переводила дух, вытягивала руки вперед, осязая холодный гладкий крашенный лед, и с трудом соображала – да ведь это она лежит на полу, в кладовой на половицах, но себе не верила, река опять несла ее быстро, вертя льдину на перекатах, на своей широкой, блестящей под солнцем, холодной и мокрой спине, и Пашка не знала, Енисей это или Волга, Нева или Кама, Урал или Исеть, Иртыш или Тобол, – все равно, ей было все равно, она знала: вот сейчас льдина перевернется, и я перевернусь вместе с ней, и я окажусь в воде, и я захлебнусь и пойду ко дну, – и, задыхаясь, спрашивала себя: «Пашка, дура, а может, ты уже тонешь, может, перевернулось уже все давным-давно?»

И мира нет, и ледохода нет, и царей нет, и веры нет; и нет церквей, и нет войны, и нет оружия, – она безоружная лежит на земле, и никто не подойдет к ней, не спасет ее. Она одна, совсем одна. И никого рядом.

Где-то далеко, за стеной, стрельба и крики. Зачем? Надо крепче зажать уши. Тогда выстрелы кажутся шелканьем дятла, а крики – комариным писком. Это просто лето и лес, и огромная вырытая яма. Где их закопают? Мишка сказал – в лесу.

Она крикнула: «Мишка! Мишка!» – и зажала себе рот рукой. И куснула руку.

Он там убивает, а она здесь валяется и себе руки грызет, – разве это хорошо, солдат Бочарова? Мишка, кричала она, катаясь по полу, Мишка, возьми меня с собой туда, ну давай это я, я, давай я всех их застрелю! Я! Я одна!

– Спаси меня.

Это сказала она? Или сказали глаза?

Мишка, не помня себя, поднял наган.

«Я спасу тебя. Я тебя застрелю. И все кончится».

Он зажмурился и стал стрелять.

...Пули погружались в смерть и отскакивали от жизни.

Жизнь оказалась крепче всего.

Она оказалась золотой, алмазной, жемчужной. Серебряной. Медной. Железной.

Жизнь оказалась крепче всего, что имелось на земле под широким и бесполезным небом.

* * *

ИНТЕРЛЮДИЯ

Кто-то из них, умирая, не понял, что умирает – так быстро он умер. Кто-то умирал долго и страшно, в муках, хватая руками штык, хрипя, крича, истекая кровью. Но удивительно было для всех них – и для тех, кто сразу упал под выстрелами, и для тех, кто визжал и плакал, закрываясь руками от пуль и штыков, что в самый момент смерти что-то важное с ними со всеми произошло. Если бы они могли говорить, все они, каждый из них, они бы это могли рассказать более связными, ясными словами. Но они говорить не могли тогда, не могут и теперь, хотя те, кто молится им как святым, утверждают, что они им помогают в скорбях и избавляют от бед. Я сейчас о другом.

О том, что все они стали подниматься над залитым кровью полом и, невесомые, собираться теснее, сливаться, прижиматься друг к другу телами уже не тяжелыми и плотными, а нежными и странно светящимися. И вот так, поднимаясь и прижимаясь, они образовали в дымном воздухе, еще минуту назад полном гари и криков, странное, шевелящееся, золотистое, источающее свет облако. Я почему так уверенно говорю об этом облаке? Имену ли я на это право?

Да, если так рассуждать, имела ли я право все, что с ними там и тогда случилось, заново здесь и сейчас создать, воссоздать?

Кто-то скажет: нет. А кто-то заплачет и обнимет меня при встрече.

И я обниму и расцелую того человека: мы с ним друг друга пойдем.

...Это светящееся, слегка колышущееся облако зависло в центре подвальной комнаты и потом медленно, будто глядя щупальцами света полосатые, продырявленные пулями стены, двинулось к двери. Солдаты возились с их мертвыми телами, а облако света двигалось, подлетало к двери и вот уже вылетало из нее.



Перед облаком распахнулась непроглядная тьма. Вместо лестницы была тьма. Вместо дома была тьма. Облако попыталось вылететь во двор – вместо двора была тьма. Они все с ужасом стали переглядываться: «Боже, мы ослепли! Где наше зренье! Где Твой свет!» – но светились их руки, светились их проколотые штыками сердца под сломанными ребрами, свет, идущий от них, соединенных, разгорался все ярче, и вот в ответ свету шевелящегося в лютой тьме облака далеко и высоко загорелся другой свет.

Тот, другой свет стал приближаться. А облако стало медленно подниматься. Я говорю это здесь так смело потому, что я не один раз видела это во сне. Это не доказательство. Кто скажет, что сон – это правда? Да кто поручится за то, что все, что рассказано здесь, – правда? Когда я говорю, что народ в революцию был обманут своими вождями. что они пообещали народу землю, а потом отняли ее, – мне говорят: да разве это правда! Когда я шепчу: Цари были светлые и святые, – надо мной смеются: какая же это правда! А когда пытаюсь сказать, что и народ был измучен, и Цари ослабли, запутались, заблудились и наделали, пока правили страной, множество ошибок; и правда забитого и нищего народа – это тоже правда, и правда великих любящих Царских сердец – это тоже правда, – тут я вызываю бурю праведного гнева: да как ты смеешь мыслить и жить за них! Раскладывать все по полочкам! Делать выводы!

Ты просто хитрый сочинитель, вот ты кто! А нам – настоящую правду подавай!

...Правда всегда одна. И правда эта, как бы ни затыкали сейчас уши безбожники, – это правда о сатане и о Боге. Где-то здесь, посреди тесных строчек, в сердцевине быстрых своих каракулей, я пишу слово «бог» с маленькой буквы – и это значит, так говорят и мыслят люди, растоптавшие в те дни Бога и забывшие, и проклявшие Его; а где-то – старательно и почтительно – с буквы прописной, так, как Он и должен именоваться, во веки веков, аминь. И это значит, что люди, говорящие так, молятся Ему и любят Его.

Россия под крылом Бога у многих вызывала и вызывает ненависть. Русские Цари

и русское самодержавие мешали ходу безбожной истории. Кто и когда вычислил величину ее шагов? Да, красная Советская страна, переняв у царской России все повадки империи, стала сама себя, как барон Мюнхгаузен, вытаскивать из болота смерти за волосы. Да так и не вытащила: гибельное вонючее болото все равно хищно засосало ее. Тьмы тем погибли в гражданскую войну, тьмы тем – когда нахлынула черная волна раскулачивания, тьмы тем – в концлагерях и тюрьмах, тьмы и тьмы – во вторую великую войну с немцем. Сколько же людей – целые народы! – положила на алтарь светлого будущего несчастная мать, наша Родина? Все эти тьмы тем умирали для того, чтобы послевоенные дети, наконец, могли ходить в школу спокойно – снаряды над головами не свистят, за решетку отца и мать не сажаяют, – но зато, дети, зато быстро забудьте слово «Бог»! Никакого бога нет! Все это бабушкины сказки! Все это бред сумасшедшего!

А это кто такой, дети, на стене, на портрете? Не видите разве? Не понимаете? Или стесняетесь сказать? Это никакой не бог! Правильно! Это же дедушка Ленин!

...Свет сверху падал все стремительнее. И светящееся облако стало все быстрее набирать высоту. В черноте, которую не мог разрезать никакой, самый острый зрачок, два света наконец столкнулись, схлестнулись, – и громадный яркий шар взошел в ночи, как пьяное, немислимое и радостное солнце, и это ночное крутящееся над мертвыми крышами, над мертвым городом солнце высвечивало все грязные углы души, все обманы и подлоги, все предательства и обиды. Солнце облило нежным золотым светом и простило все убийства; все пытки; все казни и расстрелы; все людские боины, где люди людей топтали конями, давили танками, забрасывали бомбами, летящими из железных брюх гудящих крылатых машин. Распахнулись руки света и обняли бедный, мертвый, без Бога, мир, лежащий под ним. Обняли нежно, прощаясь. Навек? Да разве у света, у Бога есть «сегодня», «завтра», «навек»! У Бога есть только «всегда», и что бы ни делали, что бы ни сотворяли с Богом жестокие, бедные



люди, – Он все равно придет; Он улыбнется; возьмет тебя в объятия света; крепко прижмет к Себе; простит, и полюбит, и возьмет с Собою, и вознесет.

И уже все равно будет, какие там, внизу, черные черви копошатся, кто там, внизу, на мертвой несчастной земле, ругается сквозь гнилые зубы или беспощадно хохочет, насмехаясь над самым святым, что еще есть, что осталось еще в памяти человека. Мир без Бога – подлый и гадкий мир. Но такого мира просто нет. В самой язве боли, в самом ужасном черном военном хмелю и кровавом похмелье человек, опоминаясь от ужаса содеянного, вдруг слышит голос, видит над собой в угарной, табачной и безбожной тьме свет – и падает на колени, и косным языком просит прощения; сам не знает, у кого просит, тяжело, стыдно ему имя Бога назвать, а – придется, потому что всем нам надо будет умирать, всем придется умирать, только не всех нас, конечно, казнят как наших Царей, расстреляют в подвале, а сколько таких подвалов было до расстрела Царей, и сколько плах было, и сколько виселиц и гекатомб было – после! И Бог это все не остановил? И – не остановит? Так где же тогда Бог? Или Он – слепой и глухой и без сердца?

А лучи света все текут и текут из черного ночного зенита. Из яростной тьмы, такой плотной, хоть ножом режь.

И человек – не зверь. Хотя бывает лютее зверя. Человек всегда жив, он – живой. До человека можно достучаться. Но лишь тогда, когда рядом с ним Бог. И этого всегда, всегда хочет Бог; человек же, безумец, часто отворачивается от Него, смеясь над Ним и презирая Его, и человек платит за это слишком дорогой ценой.

Он даже сам не знает, какой. Не осознает.

Заливается, захлебывается реками, морями крови умалишенная земля.

И хочет – еще крови. Хочет – еще революции.

...Вам – еще революции?! Вы – по революции заскучали?!

Вы и правда считаете, что революции движут миром?!

...Светящийся огромный шар плыл, вращаясь и перекатываясь, над спящим горо-

дом, над нежной летней рекой, над притихшим черным лесом. Кое-где раздавались выстрелы. Где-то истошно кричала женщина: ее насильовали, выворачивали руки. Где-то плакал ребенок: он ночевал на рынке в ящике из-под астраханской воблы, тихо плакал и прижимал к себе рыжую собаку, и целовал ее в холодный нос, они оба с собакой зарывались в опилки вместо одеяла, и им было тепло, они согревались друг другом. Где-то любили люди. Обнимались и целовались. Где-то умирали.

...Они все, став светом, забыли, что умерли в муках. Так женщина, рождая ребенка, терпит скорбь, а когда родит, уже не помнит скорби.

Они, в объятиях света, поднимались над землей все выше и выше, легко и счастливо летели, озирая сразу, вместе, в один миг, прошлое, настоящее и будущее, и им было это странно и тревожно, они видели оттуда, сверху, из живой ночной черноты, далеко внизу свои искалеченные тела, видели не глазами, исчезло зренье, а чем они видели все, они не могли бы сказать. И они горько улыбались над собой, над мертвыми телами своими: вот, оказывается, каково это, умереть – это значит продолжить жить, потому что есть будущая жизнь, потому что есть Бог!

И Бог, как бы это ни хотелось опровергнуть тем, кто не хочет, чтобы так было, кто отрицает Бога, кто смеется над верой и глумится над ней, – Бог был рядом с ними, Бог был их, и Бог был в них, и они сами, все, до единого, были в Боге и стали Богом.

Простите, люди, что я вот так все это здесь прямо и просто сказала; что назвала все своими именами; если там, за порогом смерти, все будет не так – значит, и жизни этой нет, не должно быть, и наша земная жизнь всего лишь дьявольский мираж, морок, и тогда все напрасно, и правда все равно; и все равно, правда и ложь, и все равно, любовь и ненависть, и все равно, стыд и бесстыдство, и все равно, грех и святость, и все равно, грязь и чистота.

Но ведь не все равно!

Нет! Не все равно!



...Они летели, крепко обнявшись с Богом, и Бог нес их, своих любимых, все выше, и выше, и выше.

* * *

Лямин ходил по Дому.

Дом был и мертвым и живым вместе; и Лямин ходил по нему так, как доктор выслушивает опасно больного и боится поставить ему правдивый диагноз, и боится обидеть, и боится убить словом.

Лямин ходил по комнатам, поднимался и спускался по лестницам. Он ходил один. В доме еще была Пашка, она, как обычно, стояла на кухне у плиты.

Охрану постепенно распускали, но не на волю отпускали: оформляли стрелков на фронты.

Лямина ждал, скорей всего, ему уж Авдеев намекал, фронт на Урале – красные войска бились на Урале с белыми, и ему уже сказали, что определяют его в сводный Уральский отряд какого-то комиссара Блюхера, под Богоявленск.

Это означало – он из Екатеринбурга должен двинуться на юг; там, по слухам, шли жестокие бои, но шанс был, что красные возьмут перевес.

«Нас – больше. Красных – больше! Под красное знамя вся страна встает! А эти... недобитки...»

Дом глядел бельмами белых окон. Известку со стекол никто не успел отмыть. Всюду валялся мусор, и усеянный мусором Дом походил на громадную свалку.

Лямин открывал дверь царской спальни. Перешагивал через зубные щетки, еще испачканные в засохлом зубном порошке, и резные изящные гребенки. Переступал через булавки и заколки, через невиданные скребницы с жесткой торчащей щетиной – то ли платяные, то ли для обуви, а может, волосы дамам чесать, – через пустые флакончики; поднимал флаконы с полу, отворачивал пробки и вдыхал запах – нежный, то сирени, то ландыша, то роз. Сапоги хрустко, жестоко наступали на разбросанные фотографии, на деревянные позолоченные рамки.

Подходил к гардеробу. Распахивал двери. Руки любопытствовали, а глаза стыдились и прятались. Но он вскидывал веки, и прямо перед ним на длинных брусках качались пустые вешалки, и он видел, как они превращаются в живые плечи, и плечи одеваются в шинель и кутаются в шубку, как руки влезают в рукава, а ноги торчат из-под обшитых кружевном юбок. Он громко хлопал дверью гардероба и отшагивал от него, и деревянный ящик, как пустой гроб, отзывался смертным эхом.

Отпахивал и дверцы печей. К печам за все это время он успел привыкнуть – ведь сам чайничек их топил. Он думал, печи глянут на него пустыми зевами, а он открывал дверцы – и на него вываливались кучи золы: здесь сожгли горы тряпок, утвари, безделушек и, может, писем и книг. И, конечно, нот – все девушки были превосходные музыкантши, он помнил, как Ольга играла и пела, как Татьяна легко и любовно перебирала клавиши.

...На этом рояле бойцы пили водку, в него ссыпали пепел от папирос.

Всякой вещи свое время и свое место под солнцем.

Лямин приседал перед печью, трогал золу. Она была еще теплая.

«Я тут ничего не жег. Я ничего не трогал тут! Все сожгла охрана, пока мы ездили их хоронить».

Дверцы скрипели, будто пели. Он шел дальше. Не мог остановиться. Ноги сами его несли. Вот она столовая. Сколько раз они ели тут; и сколько раз у царей из-под носа выхватывали недоеденное блюдо, смеялись над ними, тыкали им в нос огрызком ржаного: жри! жри! Кровушку попили, теперь хлебушком закусите!

В камине тоже возвышались горы золы. Здесь тоже много чего пожгли. Возле каминного стояло кресло-каталка. В этом кресле выкатывали цесаревича гулять; в нем иногда сидела царица, ее подкатывали к бельмастому окну, подавали ей книгу, и она читала. С мокрым полотенцем на больной голове. С больными ногами, даже летом укутанными в шерстяные носки.

Лямин шел, и тоска затхлой грязной водой наполняла его легкие, и трудно было дышать.



Он хотел туда, дальше, в комнату, где спали царские дочери.

Он открывал дверь, и ему в лицо была сухая жесткая пустота. Пустота томилась и поражала. Голые стены хохотали над ним. Ему хотелось закрыться от пустоты, как от солнца или пули, рукой. Железная круглая коробка из-под конфет; на коробке написано крупными буквами: «МОНПАНСЬЕ ТОВАРИЩЕСТВО АБРИКОСОВЪ И СЫНОВЬЯ».

Вкус лимонных леденцов он остро почувствовал под языком и на губах.

...Вкус ее губ, так и не распробованных.

Под кроватью стояло судно цесаревича. Лямин не понимал, как тяжело он болен, и что это за болезнь такая. Ему Пашка сказала – это когда человека ранят, а кровь льется и не останавливается. А если ушибется – кровь льется внутрь, и ты можешь умереть от того, что твои потроха кровью зальет, как река берега заливаает в разлив. Судно! Они все подтыкали эту посудину под мальчишку. И отец, и мать, и сестры, и доктор. И эта, сенная их девка, как ее, Нюта. Почему здесь так мрачно?

Он огляделся и понял, почему. Окно было занавешено клетчатым шерстяным пледом. Он не знал, что это плед, думал – одеяло. Подошел к окну, заморское одеяло сорвал. Кинул на голый матрац.

«А где же их походные кровати? Ведь на них они спали? На такой – она спала?»

Тревога выкрутила нутро. Он выбежал из спальни княжон. Пошел по коридору, твердо, зло распахивая двери – одну, другую, третью. Дошел до комнат, где спала охрана, и до караульной. Толкнул дверь караульной ногой; там стояли эти кровати, длинные, на низких ножках, – настоящие солдатские.

«Да ведь Пашка говорила – их и воспитывали как солдат. Утром царь заставлял их ложиться в холодные ванны, а после растираться жесткими полотенцами, а после делать по пятьдесят приседаний. И они все это проделывали».

Он представил себе Марию – в лифчике и панталонах, с синей пупырчатой, гусяной кожей после ледяной ванны, приседающую перед распахнутым настезь, даже зимой, окном и терпеливо считающую: «...тринад-

цать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать...»

«Ей здесь рождение отмечали. Девятнадцать».

И вспомнил, как добыл ей на день рождения пирог; вкуснейший пирог, с малиновой ягодой, обмазанный яичным белком, облазил все кондитерские – и нашел, и купил на последние деньги, и наврал: мне самолучший, невесте на именины несусь, и ему кричали в спину: товарищ, еще теплый! ваша невеста будет довольнешенька! – и он бежал, тащил пирог через весь Екатеринбург, тяжело дыша, хватая воздух небритыми губами, представляя, как она удивится и обрадуется; и она и правда удивилась и обрадовалась, а потом пришли солдаты и Никулин и отняли пирог, Пашка наябедничала, и Мария глядела на него глазами, в которых собралось все смущенье и вся радость погибшего мира.

Где же вся их радость? Там, в лесу.

Где же вся их жизнь? Там, в глубокой шахте.

Не ври себе. В лесу, под землей их смерть; а их жизнь все равно раскатилась, рассеялась всюду; вот облако в небе, оно так похоже на ее кружевное летнее платье.

Он согнулся и плотно уложил лицо в ладони, будто себя уложил в гроб и прикрыл крышкой.

И так долго стоял.

...И по всем комнатам валялись иконы. Множество икон.

Иконы, их красные ненавидели и презирали. Хотя иные солдаты тайком крестились на образа, а на груди носили кресты на гнилых старых гайтанах. Царские иконы валялись под его ногами, хуже шелухи от семечек; их можно было пнуть, раздавить сапогом, плюнуть на них, пустить на растопку – они бы не сопротивлялись. А как крестилась на них царица! Благоговейно, блаженно. Он никогда не видал, чтобы люди так крестились на иконы, как она.

«Умоленная была. Ей бы – в монастырь... игуменьей...»

Отчего-то подумал: и царю пребывать бы патриархом, а не царем.

Иконы валялись и в отхожем месте за Домом. И у дома Попова, где ночевала охрана;



и Лямин знал об этом. Он это видел. Но сейчас он шел по Дому, и он разговаривал с Домом, как с больным другом, и он жаловался Дому на то, что произошло.

«Ты понимаешь, мы их убили. А они – в тебе – жили. Жили! И всюду висели иконы. И они на них молились. И – не вымолили жизни себе».

Он трогал корешки их книг. Пухлая Библия, обтянутая темной кожей, из нее торчали длинные, обшитые атласом закладки. Атлас выцвел и продырявился.

Молитвослов. Акафист святой преподобной Ксении Блаженной Петербургской.

Акафист Божией Матери. Житие святого Серафима Саровского. «О терпении скорбей».

Четы-Минеи – да, это они читали каждоедневно, поминая житие каждого святого, что родился в этот день.

А это что за книги? Лямин наклонялся, шепотом, по слогам читал имена и заглавия.

«Лев Тол-стой. «Вой-на и мир». Антон Чехов. «Рас-сказы». Сал-ты-ков... ков... Щед-рин. Авер-чен-ко... Миха-ил Лер-мон-тов...»

Тезка, улыбнулся он Михаилу Лермонтову, и ласково погладил книгу.

Поднял с полу еще одну. На обложке стояло: «АЛЕКСАНДРЪ ПУШКИНЪ. СОЧИНЕНІЯ». Развернул. Зрачками выловил сразу и обжигающе:

*...если жизнь тебя обманет –
Не печалься, не сердись;
В день уныния смиришь,
День веселья, верь, настанет.*

*Сердце в будущем живет,
Настоящее уныло;
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.*

На голой кровати лежала тщательно остружанная широкая доска. На этой доске ел, пил, играл и читал цесаревич, лежа в постели. Остро и влекуще пахло, но не духами, а чем-то пряным и терпким. Лямин догадался: лекарствами. И верно, по подоконникам, на полках, на тумбочках в избытке виднелись пузырьки и флакончики, пробирки и чашеч-

ки, бутылки и мензурки; в них прозрачно застыли лекарственные пьянящие смеси, которые лишь сутки, двое назад принимали внутрь эти люди.

Лямин шагнул к подоконнику и взял в руки странную бутылочку в форме гитары. На бутылочке была приклеена этикетка. Он прочитал: «СВЯТАЯ ВОДА». Беззастенчиво и бессознательно отвинтил пробку. Что надо сделать? Глотнуть? Помазать виски, грудь? Вылить себе на затылок?

Хотелось пить. Он, морщась, глотнул. Подносил к губам брезгливо, а глотал чисто, радостно, вкусно. Вода и впрямь оказалась вкуснейшей – холодной в жару, чистой и свежей.

«Будто серебра живого глотнул. И правда, святая».

Думал так, нимало не веря в это.

Вышел в прихожую. Там на лавке стояла приоткрытая коробка. Из коробки торчала шерсть. Он подумал: овечья, – и поднял крышку, а под крышкой оказались человечесьи волосы, и он отпрянул. И снова набросил крышку на коробку, и отошел, и выругался шепотом.

Это были остриженные волосы девушек; их остригли, когда они хворали корью, еще давно, там, в своих дворцах. А коробку эту, с волосами княжон, они зачем-то с собой возили, вместо того чтобы выкинуть на помойку.

Лямин потопал сапогами, стравивая с них налипшую грязь. Повернулся и пошел опять в столовую.

Что-то его беспокоило в столовой, а он не знал, что. Вошел. За стеклами шкапа виселись сервизные тарелки. Половину из них уже растащили. На полу валялись сухие полевые цветы: гвоздики, ромашки, мышиный горошек, донник.

«Донник любят пчелы. Кто сюда цветы при-волок? Да и бросил».

Вроде как в память... На полу лежат...

Повел глазами. Один из стульев был обтянут чехлом.

И на белом чехле – прямо посередине – на спинке стула – отпечаток: красная ладонь, и потеки засохшей крови.



«Руку обтерли... После того, как трупы выносили...»

Его прошибла дикая мысль: может быть, это отпечаток его собственной руки.

* * *

Михаил спал некрепко, и вдруг проснулся, как не спал.

Ему почудилось – он висит в воздухе над койкой.

Он был, странно, один. Вся охрана делась куда-то. Чуть позвякивали железные пружины под его телом. Он завозился – пружины зазвенели громче; затих – пружины продолжали звенеть.

– Что за черт, – сказал Лямин в полный голос и спустил с койки ноги.

Пружины звенели весело и беспорядочно, сами по себе.

Встал. Огладил колени, расправляя штаны. Спал одетый. Раздеваться не было сил.

Вытер пот с шеи, со щек. Дверь слегка отворилась.

«Ага, вот кто-то из наших возвращается».

Дверь дернулась и опять закрылась. Лямин остановившимися глазами смотрел на нее. Открылась опять, пошире. В черную щель втиснулись плечо, рука, пять пальцев высовывались из обшлага пиджака и радостно, насмешливо пошевеливались. Кто-то невидимый за дверью пальцами перебирал: то ли дразнился, то ли зазывал.

– Уйди, – сказал Лямин потерянно, потрясенно, а голоса не было.

Вслед за плечом и рукой в дверь протиснулась нога в начищенном башмаке. Потом к ней приставилась другая. Дверь открывалась все шире, и в комнату влезла грудь, обтянутая жилеткой, и другая рука, и спина, и весь пиджак. А голова? Голова где?

– Где голова?! – крикнул Мишка, и ему казалось – он слышит свой крик.

И, как только он крикнул это, – явилась голова.

Мощная лысина. Белый кегельный шар. В усадьбе у помещика Ушкова, когда их, детей, водили к помещику на рождественскую елку, он однажды видел такой круглый, гладкий

шар на вертящейся ножке; и сказали тогда, что это барский глобус.

На белом глобусе лысой головы призрачно плыли рисунки морей и океанов. Проплывали и умирали земли, города, острова. Вспыхивали красные пустыни и гасли кровавые ледники. Голова глубже протиснулась в щель, плечо нажало сильнее, дверь тоненько, жалобно застонала и распахнулась вся. Вслед за лысой страшной, громадной, как земля, головой человек из двери вышел весь. Он был маленького, даже слишком маленького роста. На собачку похож. Или на маленькую обезьянку.

«Карлик... Откуда он тут? Может, из цирка? Может, я сплю?»

Лямин крепко ущипнул себя, крутанул пальцами кожу на запястье. Охнул. Под кожей расплывалась кровь.

«Эка я. Как гусь клювом, чуть мясо из себя не выщипнул».

Лысый карлик нагнул голову, рассматривая Лямина исподлобья. Мотнул головой туда, сюда. Из окна сочился голубой лунный свет. Лысина человечка блестела точеной слоновой костью. Он раскинул ручки и растопырил пальцы, словно приглашая Мишку то ли к беседе, то ли к призрачному застолью. То ли молча говорил: ну вот и все, дорогой товарищ, и нечего мне вам больше сказать, вы сами с усами, и все уже совершилось.

– Где я видел тебя, – пробормотал Лямин. Пот стекал у него с надбровных дуг под брови, на веки.

Лысый карлик шагнул к нему, еще шагнул, и Лямин попятился.

– Ну, ну, товайищ. Что вы так напугались? Я не кусаюсь.

Лямин замер.

Человечек радушно, склонив лысую башку к плечу, поглядел на него. Коротко рассмеялся, потер коротенькие ручки.

– И сесть не пыгласите? Тогда я сам сяду. Не тьевожьтесь! Вы в полнейшей безопасности. Пока, ха-ха, вас не клюнул жайеный петух! Сами знаете куда! Ха! Ха!

Лямин обеими руками отер мокрое лицо. Человечек уселся на стул, положил ногу на ногу. Один башмак чистый, надраенный до



зеркального блеска; другой – грязный, и грязь налипла комками, красная, рыжая мглистая глина.

Он нагнул голову. Лысина блеснула в лунном свете. Лысина сама взошла, как Луна – только не на небесах, а в комнате, напротив потерявшего дар речи Лямина.

– Что же вы молчите? Меня – узнали? Вижу, вижу, что узнали! Да кто тепей меня не знает! Меня, батенька, знает тепей весь мий! Вы смотрите на меня и думаете: это пизьяк! Не-е-е-ет, батенька, уж увольте! Какой я пизьяк! Я самый настоящий, и пывдивее меня нет никого на свете! И, знаете что, по секьету скажу, – и не будет!

Лямин протянул руку. Он хотел дотянуться до керосиновой лампы на столе и разжечь ее. Он еще не успел прикоснуться к ней – она дернулась, как живая, отскочила от него по столу, подъехала к краю и упала, и разбилась с легким жалобным дребезгом.

Он смотрел на тонкие осколки на полу, и дрожал, и шептал себе: не дрожи, уймись, утихни, все сон и бред.

Лысый карлик обцепил ручонками свое выставленное вверх колено. Покачивался на стуле. Рассматривал Лямина, как жука в гимназической коллекции.

– Вот вы, товайиш, на меня так смотрите, будто бы я у вас – куйицу укьял. Или вас в кайты обыгьял. А я вам, между пьочим, стьяну – подайи! Целую огьомную стьяну! С йеками, морями, океанами, гоами, дойогами и полями, дейевнями и гойодами! С людьми, между пьочим! Люди, батенька, ведь это тоже матейял! Да еще какой! А вы и не догадывались?! Ого-го, какой матейял, люди! Самый наипейвейший!

Лямин раскрыл рот, и наконец голос излетел из него.

– И я, по-вашему, матерьял?

– И вы, батенька! И вы! Еще какой! Вы – кийпич в такой фундамент, на каком мы постьоим такое здание... Никому в мийе не снилось! И, надо сказать, такие кийпичи скьепляются только – знаете, чем? Ну? Чем?

Лямин почернел лицом.

– Вейно! Кьовью! Только кьовью, и больше ничем!

– Неужели без крови нельзя? – еле выговорил Лямин. Щеки его пошли рябью, как река под ветром; он скрипел зубами.

Лысый карлик радостно всплеснул ручонками.

– Нет! Нет и нет! Стьоительство будущего тьебует только кьови! Вот пьедставьте себе. Цай Петьй Пейвый задумывает возвести на болотах – новую столицу. Нагоняет со всей Йоссии в чухонские болота мужиков. Бьет их батогами. Коймит чейт-те чем. Они мьют как мухи! А гойод, гойод – встает из болот! Йождается! Петьогьяд стоит, товайиш, на кьови и только на кьови! Но если бы этой кьови не было – был бы Петьогьяд?! А?! Была бы слава Йоссии?! А?! Не слышу!

Карлик прижал к уху ладонь, сложив ее раструбом.

– Нет, – ледяными губами вылепил Михаил.

– Именно так! Вот и делайте выводы!

Михаил видел – на лысине явственней стали проступать очертания материков. Суша вздувалась, моря опадали, утекали в черные ямы. Плиты континентов смещались, ползли, напоззали друг на друга. Гибли земли и горы в невиданных катастрофах. Лямину казалось – он слышит крики людей; кричали гигантские толпы, плотные массы, кричали хуже животных, загоняемых в капкан бойни.

– Мы – кровь...

– Да! Точно! Вы – кьовь! И больше ничего! Кьясная, теплая кьовь! Матейял, из которой лепится жизнь!

– И вы считаете... – Это было чудовищно, но они беседовали. Как два простых, живых русских человека за ночным чаем, за рассеянным пасьянсом. – Что пролитая кровь – это всегда добро? Не зло?

Лысый закинул белую голую голову и захохотал.

Он хохотал тихо и вкрадчиво, топорща усы – так мог бы хохотать толстоголовый, бархатный кот-британец.

– Исключительно так! Одно с дьогим всегда очень, очень тесно связано. Невозможно йазлепить два явления, если одно вытекает из дьогого! Пьичинно-следственные связи? Так вот же они! Вы нас югаете за кьясный



тейой, за штабеля йасстъялянных – а мы вам – электйификацию всей стъяны! лампочку в каждую избу! плотины чейез Днепй, Волгу, Обь, Енисей! чейез Амуй! чейез Яну, Индигйку и Колыму! и туйбины кыютятся, и светом залита глухая медвежья тайга! а потом! вы даже не знаете, что будет потом!

– Что?

Губы Лямина белели, а глаза проваливались в слепую черноту.

– Пейелет на азыоплане чейез Северный полюс! оюжие, какого не было еще ни у кого и нигде! пулемет, что можно будет с собой носить в каймане – и стъялять из него без пейеыва! Вы нам – о пюлитой кьови, а мы вам – вспаханнные и засеянные хлебом, пшеницей и йожью, безоглядные, безгъяничные степи! освоенную тундью! облет на самолете новейшей констыюкции вокьюг Земли! И – поднимемся над Землей, и воплотим в жизнь сумасшедшие идеи этого глухого самоучки, этого ююодивого поляка... как его бишь... Циолковского... и постъюим йакету... и – взлетим! К звездам! К звездам, вы-то ведь не глухой, вы-то – слышите!

Да, Лямин все слышал. До слова.

И моталась, моталась перед ним эта белая ледяная голая башка, и ходили по ней живые, умопомрачительные, гигантские тени.

– И – поголовная, заметьте, поголовная гьямотность!

Карлик орал весело и оглушительно, и Лямину хотелось заткнуть уши.

Но руки налились свинцом и висели вдоль тела.

И тут лысый карлик сделал незаметный шаг и подскочил к нему. Лямин не успел отшатнуться. Лысый схватил его за руку, вцепился крепко, как клещ. Кожа на всем теле Лямина собралась в крупные складки лютого отвращения. Он задрожал и хотел выдернуть руку, но лысый оказался много сильнее; он подтащил Лямина к лунному окну и свободной рукой, маленькими пальчиками постучал по стеклу, приглашая взглянуть, что же там, снаружи, где Луна и звезды.

– Смотрите, товарищ! Я покажу вам, как мы все – пьеобъязимся!

Карлик выкинул вперед руку и стал вроде бы выше ростом. И стал расти. Он стал расти и увеличиваться, и крупнеть, и ширеть, и грозно наливаться сначала медью, потом чугуном, потом бронзой, и бронзовели черты его лица, бронзовой, твердой и блестящей становилась борода, бронзовели усы и уши, и громадная лысина бронзово сверкала, – а губы его разлеплялись все так же живо и весело, и все так же слышал Лямин эту быструю картавую речь, энергичную, смелую, страстную, смеющуюся:

– Смотрите! Пока у вас есть глаза и йазум! Смотрите, ужасайтесь, изумляйтесь! Востойгайтесь! Я-то, я знаю все! Так пьеобъязится наша стъяна! Она станет по-настоящему великой. Все, что было, – йазбег! Но все великое стоит, повтою еще и еще йаз, на кьови. Да, нас обвинят в том, что мы утопили стъяну в кьови! Нас обвинят в том, что мы по всей стъяне настъюим тъюем и лагейей. И сгноим там, уььем там тысячи, мильены, десятки мильенов людей! Но если мы не сделаем этого – нас йаздавят, как блох. Нас пейестъяляют, как куйопаток! От нас не оставят и мокього места! А мы окъепнем. Мы станем сильными. Сильнее всех в мийе. И мы – выигъям втоую великую войну! Пейвая мийовая война была стъяшной, да. Но втоая, товарищ, будет еще стъяшнее! Готовьтесь! Я-то знаю. Весь мий ополчится на нас! Нам будут кычать в уши, тъюбить по всему свету: у вас в Йоссии – власть къясных олигайхов! Но зато у нас, единственных на всей Земле, будет бесплатное обязование и бесплатная медицина! А? Каково?!

Он все крепче вцеплялся в руку Лямина.

«Отсохнет рука... Отвалится...»

Лямин глядел в окно, кивал, глаза его расширялись. За окном перед ним проплывало время. Оно принимало очертания людей, зверей, машин, башен, танков, плотин, самолетов, ракет. Оно несло мимо, не оставалось. И отражалось в лысине карлика, как в выпуклом, кривом зеркале.

«На мне – крест... А он мне в правую руку впился... не перекреститься...»



– Да воскреснет Бог и расточатся врази... Его...

Лямин поднял левую руку и дико, смешно перекрестился ею.

Лысый человек выпустил его руку. Пальцы растопырились, жадно шупали воздух. Наткнулись на подоконник.

...он стоял у подоконника один, совсем один, и тупо, слепо смотрел на фонарь, си-нею лысой Луной горящий перед Ипатьевским домом.

ПОСТЛЮДИЯ. МОЛИТВА

Я подхожу к окну. За окном – ночь.

Ночи на земле всегда больше, чем дня, несмотря на то, что солнце может выкатываться на небо надолго, и гореть там, и поселиться, а может, не падая за горизонт, кругами ходить вокруг земного окоема – так на Севере.

За окном ночь, и у нас не Север. Не Заполярье. У нас – Волга. Вот она, подо льдом, за холмами. Сугробы высятся и играют радугой в скупом фонарном свете. Люди днем месили сапогами грязь – таяло, – а к ночи опять все сковало лютым черным льдом.

В ночи встречаются завтра и вчера. Ночь – наиболее полное сегодня и наиболее полноправная вечность. Звезд нет, я их не вижу: сумрак, сутемь и странный свирепый гул – издадека, из-за труб и крыш.

Недавно, еще вчера, у меня дома был в гостях один человек, и я кормила его супом, макаронами и нарезала ему хлеб, и заваривала чай. А он, жуя хлеб и хлебная суп, прихлебывая обжигающий чай, говорил мне такие речи: « Мы когда возьмем власть – церемониться не будем. Отберем все у богатых и поделим! И утопим страну в море крови. Мало никому не покажется! И понастроим лагерей. Я сам их построю. Я сам, самолично, упеку в лагеря тех, кто меня, нас всех – погубил. И еще мы построим заводы и фабрики, и погоним туда всех богатеев, и они на нас – будут работать! Да! И еще как! Да, мы откатимся назад, не спорю. Но лет через пятьдесят мы наберем силу. И вот тогда, тог-

да у нас появятся все чудеса мировой техники! Перед которыми мы сейчас раболепствуем! Но до этих счастливых пор – валяйте, богатеи, трудитесь, вкалывайте! Чтоб вы узнали, что такое труд! Да, кровь! Да, смерть! Они к вам явятся, они придут! А вы, вы все, тошнотворные миролюбы! Вы все – мещане, обыватели! Гнусь! Вас первых – будут резать и стрелять! Мы все равно сделаем смуту, мы порушим всю вашу сладкую богатую гадость, мы рассадим всех губителей народа, кровососов, жиряг, по нашим новым тюрьмам... и так пройдет много лет, и мы все равно поднимемся, и вырвемся вперед – да, скажете, какой ценой! а кто сказал, что ни за что не надо платить? за первенство ведь надо платить! и мы заплатим! Заплатим! Мы – не поскупимся! Как вы, вы – скупитесь!»

Человек задорно, запальчиво говорил это все и при этом ел мой суп, солил моей солью макароны, размешивал ложкой сахар в чашке чая, и я слушала эти речи, слишком хорошо узнавая их; слушала и не перебивала, ни единого словца поперек не вставила.

Мне просто нечего было ему сказать.

Мне, мещанке; обывательше; миролюбке; пошлой пацифистке; просто – женщине, что варит суп с куриной ляжкой и жарит на медленном огне макароны с мелко накрошенным репчатый луком.

Мне совсем нечего было ему сказать.

И я вышла в кухню, задернула шторы, перекрестилась и помолилась о том, чтобы Бог изгнал из этого человека бесов. Одного, но самого страшного беса – главного, краснорожего, рогатого и зубастого, жаждущего крови и мести, крови и воздаяния, крови и революции.

И я вспомнила о том, как один человек, за сто лет до моего рожденья, говорил: «Революция – это всегда посягновение на Небеса».

Да именно так: Небеса – с прописной буквы.

Цари. Небеса. Бог. Церковь. Родина. Все с царственной, с прописной буквы.

А поскольку все мы, люди, созданные по образу и подобию Божию, дети Небес, значит, революция – убийство не только Небес, но и земли и самих людей на ней.



Революция – не движение вперед. Не двигатель человечества. В огне революций гибнут страны и народы, позорно умирают, а не воскресают, и их бинтуют и перевязывают и трудно, нарочно воскрешают, привинчивают к ним мертвые руки и окровавленные ноги, насаживают на плечи разбитые головы, и они начинают свою жизнь сначала, но это уже не та страна, что была раньше, и не те люди, что в ней жили. Это все уже – другое.

Эй, светлое будущее! Где ты? Отзовись!

Я, крестьянка, из семьи жигулевских крестьян, знаю, что такое холод и голод, когда убивают и едят кошек и собак и детей; что такое кровавая продрозверстка и черные кожаные жуки-люди с наганами за поясом: «Хлеб давай, иначе всех перестреляем!» Я знаю, что такое раскулачивание, а проще – раскрестьянивание, когда из избы выбрасывали – вперемешку – на голубой, синий снег – тяпки, корыта, самовары, тряпки, платки, детей, пеленки, зыбки, тулупы, сундуки, немощных, уже не ходячих стариков, сдернутых и поднятых со смертного одра, вынутых из uspения, и грузили, все так же вперемешку, словно бы бревна или дрова, на подводы, – а хозяин, распатланый, с белым бешеным взглядом, стоял в сугробе, ему вязали руки за спиной, а он орал надсадно и страшно: «Прощайте, милые!» Я знаю, что такое приговоры тройки крестьянам Самарской губернии в годы, когда смерть размалеванной шлюхой гуляла по стране и танцевала, сама с собою, перед толпами изгнивающих во рвах скелетов, адский свой танец. Я знаю, что такое новая с немцем война, когда мои крестьяне уходили на фронт – солдатами, ополченцами, партизанами. Я знаю, как варили лебеду и жевали жмых в послевоенных селах и деревнях, а малые дети радовались, когда на селе похороны, и покойника мимо избы в гробу на телеге везли: значит, поминки будут, и можно будет поесть! Я знаю, как забирали в колхозы всю животину – коней, коров, свиней, гусей, индюшек, – и как расстреливали крестьян за найденный на колхозном поле колосок. Я знаю, как впервые выдавали крестьянам паспорта – ровно через полвека после

Великой, Октябрьской, Социалистической. Я знаю и вижу, как гибнут и зарастают бурьяном колхозные поля; как вороны переступают крестами красных лап на крестьянских пепелищах; как умирает деревня, нищая, сгубленная, замученная, – та деревня, трудами которой мы питались и питаемся, жизнью которой всегда жила русская земля – поверх всех революций и поперек всех войн.

Ну, где же ты, светлое будущее, за которое бились красные? За которое умирали в бою, погибали в застенках, во славу которого трудились и не изнемогали, а потом все-таки – изнемогали, хрипели, стонали и падали прямо к ногам Великого Призрака? Где ты?

...Молчит. Не дает ответа.

...Что ж, тогда и я не дам ему ответа.

И не дам ответа этому человеку, что ест мой обед и говорит мне в лицо о том, как меня первую будут – в революцию – убивать.

Меня уже убивали. И не раз. И распинали. И клали под колеса танка. И привязывали к паровозному колесу. И жгли на костре.

И стреляли в меня, да, стреляли.

Это в меня стреляли тогда, в подвале дома инженера Ипатьева. А я – воскресла. Воскресла, юродивая, и брожу по стране в кружевных, испачканных кровью лохмотьях великих княжон. И пою свои песни. Воскресни, Царь мой, воскресни! И пою во славу тех, кто принял в сердце пулю и лег под штыки – не только во славу Царей, но во славу всех убиенных. Да, всех, вы не ослышались. Всех. Ибо кто споет славу всем без остатка, если не я?

Царица-Смерть! Ты сторожи нас. Ты наш палач.

*Со светлым ликом и в горе диком,
ты в нас, ты с нами,
твой тонкий плач.*

...Нет, это все не то. Не то! Опять нытье. Опять сантименты. Художники пламенны, равно же как и революционеры. Они не плачут.

Но как быть, если и они в свой смертный час лепечут кривыми устами молитву, если и они боятся, пронзаются великой последней



болью, и любят, быть может, впервые в жизни, и просят прощенья, тоже впервые? Дай-то Бог, если попросят! Дай-то Бог!

Но широкий этот, ах, слишком, необъятно широкий человек, гуляй-поле, метель на полмира, – и ведь его пытались беспощадно сузить и затолкать в ранжиры, в реестры, в расписания, в инструкции, – он-то свою ширь великую, слезы свои, что безбрежнее иной реки разливаются, и ненависть свою, что запросто – дай волю – мир может с ног на голову перевернуть, – этот человек не может, не умеет каяться; покаяния он не хочет, боится, считает его никчемным и бестолковым; да просто смеется над ним. И ему кажется: он покается – и свою ширь, и свою свободу – потеряет!

...А была ли она, свобода?

А была ли девочка?

А был ли мальчик?

А был ли тот, расстрелянный в подвале, мальчик? И те девочки, с пулями меж ребер, с колотыми ранами в груди?

И все мальчики и девочки великой страны, что – на лесоповалах – в катажах – на табуретах под петлей – в урановых рудниках – за мотками колючей проволоки – в залитых кровью, слезами, блевотиной и мочой трямах – близ глубоких, в потеках глины и дождей, сырых рвов под прицелами старых

винтовок – стояли, лежали, сидели, жили, умирали?

Может, они нам, нынешним, приснились?

Мир не знал таких потерь. Мир не знал такого великого обмана.

Мы полетели к звездам, но мы так и не расплатились за всех наших убитых мальчиков и девочек.

И – ничем не расплатимся.

Это уже мерным, медленным последним приговором вписано в небесную Библию с желтыми, как человекья кожа, исходящими кровью страницами, огненными навечными письменами.

Вы можете эти письмена не читать. Вы можете смеяться над молитвой.

Но, когда вы будете умирать, я, юродивая, убитая и воскресшая, очень вас прошу: когда сердитые, мрачные ангелы с громко шелестящими крыльями будут падать и падать с золотого высокого неба, чтобы подхватить вас на крепкие, мощные руки и забрать вас, куда – это уже не ваше дело, вам этого не дано знать и даже догадаться об этом не дано, вот тогда вы помолитесь, пока еще ваши губы шевелятся и еще шевелится в вас ваше сердце. Помолитесь за душу свою. За всех, кто умер своею и не своею смертью. За всех, кто ушел и уходит и уйдет.

За всех, кто придет.



Олег ВОРОПАЕВ

ФОРТ

*над бурунами полыни
невидимый всадник
в воздухе чёрном
удары копыт*

Морозно. Февраль. Я и тридцать «ментов удачи» меняем закисших, засидевшихся здесь обитателей. Прежний командир – копия Швейка. В подусниках, бравый, слегка опохмелённый. При упоминании о пиве и сосисках передёргивается всем телом, нервно вибрируя левой щекой: тик.

– Тёплая постелька, кашка зашибись... – всем своим видом он уже в пути.

К обеду хозяйство принято. Краткий традиционный «фуршет». И вот:

– По машинам! – командует Швейк, и мне, уже почти с подножки: – Передавать так всё с потрохами, старик. В Мречетове третий дом от дороги – подруга. Настоящее имя – чёрт его разберёт. Проще – Лика. Только от соседей... Ну сам понимаешь... У них с этим строго. Кстати, южане о твоём назначении раньше меня знали. Фамилию, там, звание, возраст... Ну это так, информация к размышлению. Удачи!

Швейк отворачивает лицо. Скрежет сцепления, мотор. И караван исчезает в степи, оставляя нам право войны и сырое тепло прокуренных кубриков за бетонными блоками форта.

* * *

Следующие два дня – рекогносцировка. Это по-военному. Проще – осматриваемся. Граница в трёхстах метрах, по лесополосе с ровом почти в человеческий рост.

Выезд манёвренной группы, ночные дозы, секреты, как продолжение детской «войнушки». Только пожары вдали и выстрелы настоящие. И ещё – ненависть. Прицельная. Южная. Скрытая. Явная. В рукопожатиях. Взглядах. Во всём...

А степь удивительна здесь. Всхолмлённая. С полубарханными выбросами песка. Шаг-два – и впадина, да такая, что танк укроется – не заметишь. Озёра – блюдцами, холодные, мелкие, с множеством уток. А у перелесков и одичалых лесополос редко когда не выскочит из-под ног заяц, лиса ли, не вспорхнёт куропатка.

Вместилище запахов – травы. Зимние, неживые ещё, а солнце пригреет – и млеют: душица, чабрец, коктейль ароматов – полынь. И всё это словом одним – буруны. В точку, точнее не скажешь.

* * *

Ближайшее селение южан – Мречетово. Полсотни домов, из которых жилых половина от силы. Кругом запустение, грязь. Многие окна в бурых ресницах – следы огня.

У крайнего дома южанин с внушительным, хищно завёрнутым носом копается в тракторе. На дверце и задней части кабины пулевые следы, в разводах облупленной краски – свежие. Южанин всем своим видом выказывает к нам полное равнодушие, и только в нарочито небыстрых движеньях его угрюмая нервность.

Входим в селенье. Ощущение вхождения в зону прицела. Со мной трое из тридцати – самых отчаянных. Готовность убить, о которой так долго твердили на «курсах войны», – для них «не барьер». С ними надёжно.

Третий дом с краю. Я помню... Но сразу нельзя. В одной из обжитых хатёнок пожилой хитроватый хозяин приглашает на чай. «Спасибо. Не надо. Кто в доме?»

– Жёны мои, – чешет в затылке.

Заходим. Действительно – две женщины. Старшая смотрит презрительно, с вызовом,



младшая – мягче, с усмешкой (как выяснится потом – горная снайперша). В некрашенной мебели, в серых коврах – чужая неясная жизнь.

Оборачиваюсь к вошедшему следом мужчине:

- А молодёжь где? Воюет?
- Скажу «нет», командир, не поверишь.

Промолчу, можно?

Прощаясь, протягивает руку. Пытаюсь не заметить, но в последний момент отвечаю коротким пожатием.

Третий дом с краю... Неуютность облупленных стен. Во дворе одинокое дерево, облупленное у корня.

– Здесь ждите, – не узнавая свой голос, почти чревоуещаю. Три тени отходят в сторону. Скалясь, закуривают.

Грузная дверь. Небольшая прихожая. Кухня. И комната с низким окном. Ковёр на полу. На полках и просто в углу – книги... Гамсун, Набоков, Рембо...

- С обыском или в гости?

Оглядываюсь. Близко на низкой тахте сжатой пружинной – женщина-кошка. Колени у глаз.

- Лика?
- Да.
- Лика.
- Что?

Некрасива, а впрочем, довольно мила. Губы тонковаты.

- Времени мало... Я ночью...
- Не стоит. Ночью я к озеру выйду.
- Обманешь.
- Зачем? Ты же снова... Знаю... Инстинкт...

основной... – усмешка.

- И всё же...
- Да, – тихо, одними губами.

* * *

С наступлением сумерек, проверив наряды и отдав обычные распоряжения, по возможности незаметно выбираюсь из форта. Наряд на вышке, конечно, в курсе. Ночное движение в зоне обстрела опасно. У приграничного рва, досылая патрон в патронник, оглядываюсь. В слепящих, светящихся коль-

цах прожекторов форт кажется кораблём пришельцев.

Вот и озеро. Собственно, это даже не озеро, а удлинённая сигарообразная лужа с дёготно-чёрной водой и поросшими камышом топкими берегами.

Безветрие, и шелест камыша странен.

Отыскиваю место посуше и, по возможности, удобное для обзора. Усталость последних дней тяжелит веки. Иголочки нервов в ногах и спине. Напротив – осколок дороги. Ближняя и дальняя её части за бурунами. Зеваю. Бодрюсь. Не уснуть бы. Вглядываюсь в часы, но стрелок не различить. И вообще неуютно... Основной инстинкт? Основной инстинкт. Под пальцами холод оружия. Тень на дороге. Она? Не она? Замирает...

– Лика?..

Она. В мужской камуфляжной куртке. Ближе. Медленными шагами, как к эшафоту. Вот и лицо различимо, тонкие губы в помаде.

- Не верил?..
- Не знаю...

О чём говорить? Ведь непременно же надо о чём-то! О римлянах древних, к примеру, легионерах... Но рядом, сквозь одежду – движение её плеч, и это заводит.

- К тебе?..
- Нет! Не сегодня... Не надо...
- К чёрту «не надо»!

Пуговицы. Бессчётное множество пуговиц. Плечи... И тёплая грудь.

– Холодно... – губы дрожащие, тонкие, с привкусом мяты.

* * *

Зачистка. Нас перебрасывают в чужую «зону ответственности». В незнакомых селеньях – безопасней и легче. Едем «на броне» приданного БТРа. Наш «Урал» неуклюжей железной коровой пристроился сзади. Прохладный утренний ветер скользит по лицу, вбираясь за воротник. Прикрываю глаза и чувствую, как медленно вязну в трясине какого-то оцепенения меж явью и сном. И вот уже – явь не явь, а маленький северный город, и в нём моя мама, совсем молодая, у серого облупленного подъезда хрущёвской



пятиэтажки. И рядом, значит, должен быть я, в берете, в болоньевом белом плаще по моде «шестидесятых». За плечами ранец. Я – первокурсник. Отец фотографирует, смеётся: «Эй, спичка, глаза в объектив!..» Отца давно уже нет. А мама всё в той же «хрущёвке». Одна.

Вот и селенье южан. БТР притормаживает так резко, что кто-то из вперёдсмотрящих едва не улетает под колёса: «К машине!» Мои «головорезы» и приданные силы ВВ, весело переругиваясь, сыплются с «брони», разбираясь в шеренги. Краткая постановка задачи, и через пару минут: «Вперёд!»

Намеренно или намеренно-случайно в домах южан всё ставится с ног на голову. Хрупкое – разбивается, сыпучее – рассыпается, ценное – исчезает. Вначале пытаюсь препятствовать. Но скоро понимаю, что видимость порядка – лишь в зоне моего присутствия. На улице подходит улыбчивый «старлей» – командир ВВ:

– Первый раз на зачистке?

– Угу, – мычу вполоборота, обсуждать это с кем бы то ни было как-то не хочется.

– Ну и... впечатление?

– ... (перехожу на ненормативную лексику).

– И зря! Эти зачистки – единственное средство заставить их убраться отсюда. В горы. За реку. К ё... матери! Куда угодно!..

Он прав. Без сомнения, прав. И жалости к южанам у меня нет. И всё же...

В одном из ближних дворов – крики, возня. Что там?.. Навстречу мой старшина. Его костистые руки с засученными, несмотря на февраль, по самые подмышки рукавами, победно потрясают обрезом.

– Нашли, нашли, командир! Вот!.. И патронов к нему!

Обладателя обреза выволакивают следом. От страха глаза его мертвенно-неподвижны. Он молод. Лет восемнадцать от силы. Какой-то солдатик из приданных резко, почти без замаха, сует ему кулаком в лицо.

– Ты вчера в наших стрелял, собака!

Встаю между ними.

– Из ружья стреляли, командир! – «приданная сила» лягает ногой упавшее тело.

– Разберутся! – ору, не молчать же... Господи, сам-то хоть верю? Мальчишку, скорей всего, перекупят.

Рядом уже другое лицо. Женщина. Перекривленный рот. Что-то кричит, без конца повторяя: «Ца-ха!». Брызжет слюной. Мать. Старики в высоких шапках поодаль качают головами. Китайские болванчики. Из перебитого носа задержанного кровь быстрой струйкой стекает ему на грудь. Красное пятно всё больше...

– Уберите его! – я... или кто-то? Крик или шёпот?..

Парня заталкивают в машину. Хлопает дверца. Женщина, встав на колени и воздев руки к небу, безумно вопит... Потом, как в дурном представлении, оседает в дорожную грязь. Через несколько минут, отъезжая, вижу её в той же позе. Грязные щупальца-пальцы царапают землю.

На отшибе ещё один дом. Последний. В хозяине – сдержанность. Вежливость страха. Сын взрослый: «Где-то на пастбище». В одной из комнат – спортзал. Силовые, сработанные вручную, станки – дерево и железо. На подоконнике «магнитофон-батон», кассеты рядом. Вставляю одну за другой. Ритм боевых барабанов. Мотив одинаков. На земляном полу – одноразовые шприцы. Инъекции кайфа и мужества. Быт молодого южанина. Самый обычный. На выходе прихватываю сборную гантелину из нержавеющей стали. Военный трофей. Последний и первый.

* * *

Темнеет. Пора возвращаться, но пара глотков разведённого спирта и Лика ломают реальность.

В квадрате окна коптящий огонь далёких нефтяных скважин. Два факела-близнеца, приближенных ночью.

– Неужели всё это действительно с нами? – шевелятся тонкие губы. – Не странно тебе, что ты вообще здесь, в этом чужом, неясном для тебя настоящем, и что ты пришёл сюда убивать и, может быть, быть убитым.

– Об этом... Зачем?



– О чём же? О сексе? О «Фаусте» Гёте? Ремарке?..

– Хотя бы. Эрих-Мария неисчерпаем...

Улыбнувшись, она прижимается ближе.

– Знаешь, а я полукровка.

– И тебе это нравится? – по-моему, я пьян (вопрос странен).

– Не то чтобы... Просто я сама не могу понять, кто я.

Она говорит, но друг-алкоголь уютной волной делает слух мой всё больше прозрачным. Что ж, говори... Приятно, что рядом. И даже не кто-то... А именно... Кто? Полукровка? Понятно. Училка словесности? Что ж?.. Но школы здесь нет. Даже начальной. Родные и близкие... Где они? Мне всё равно... Просто... Случайно и просто... Одна...

Но если ещё... на час... полтора – в форте сыграют тревогу.

Пора!

– Лика.

– ...

Руки змеиным кольцом: «Не уходи!» Скажет? Не скажет?

Нет. Распадаются руки.

Два факела-близнеца провожают до форта.

* * *

У соседей ЧП. Расстреляна группа дозора. Четверо. Днём. Не ночью. В насмешку их сложили крестом. Двое с контрольными выстрелами. Судя по повреждениям автомашины, били из нескольких точек. Одновременно.

До вечера «по тревоге» утюжим окрестности. Никого, кроме нескольких чабанов. И те разыгрывают полоумных. Сдохнут скорее, чем что-то расскажут.

Небо над нами песчаное, тихое. Бог?.. Если он есть, конечно... Кажется, в жёлтой светящейся взвеси этого неба не выжить... Даже ему.

– Командир, – кричит мне водитель, – солжары по счётчику ноль! На базу пора. Или самих нас тут грохнут.

Киваю: «На базу».

В форте до странного тихо. Без вечернего гогота и матерного гула из кубриков. Прохо-

жу к себе и, не зажигая света, сижу, уперевшись глазами в завешенное газетой окно. У нас без потерь. Пока без потерь. Пока... Ударил в рельсу. К ужину.

В столовой тепловатый чай – залпом. И на территорию. Холодная, приторная темнота охватывает без остатка. Мгновение смерти такое же чёрное, вязкое, верно...

– «Тиха украинская ночь...»

Вздрагиваю, отступая на пару шагов. Футы!.. Радист. Приданная сила. Из Питера. Чувствую перегар.

– Пьян, Меленчук?

– Не, пиво только...

– Зае... ты со своим пивом, слышишь? Завтра же в штаб... Там пусть решают...

– Ребята погибли... За что?!

– Это война...

– Отвянь, командир! – и дальше фальцетом: – Ну завтра, что хочешь! Хоть в штаб, хоть в... Хоть режь, хоть стреляй! Но дай одному... одному побыть дай!

Будь. Хрен с тобой. Отхожу, унимая нарастающее в груди клокотанье. Обострять глупо.

* * *

Ночь, и огромные птицы над фортом. Белые пятна в прожекторном свете. Сонные крики то тише, то громче. Время проверки нарядов. Зябко, ещё и туман. Выхожу на бугристый, выложенный кирпичом «плац-пятачок» и замираю, закинув голову.

– Опять гуси-лебеди, – преувеличенно бодро орёт постовой с вышки, – вторую ночь...

Поднимаюсь к нему. Наверху ещё холодной. Птицы совсем близко. Кольцо их то уже, то шире. Вееры-крылья, и кажется: холод от них. Гуси – не гуси?.. Вскидываю автомат и одиночными – долго и часто...

– Есть! – кричит постовой. И сразу же тяжкое тело о землю. – Есть!

Внизу, в вагончиках, быстро затихающая возня. Кто-то из наряда тянет птицу к свету. Венценосный журавль. Венчик – корона. Красная книга.

Протягиваю руку, раненая птица пребольно клюёт в запястье... «Вы убиваете птиц.



Зачем вы убиваете птиц?» Это откуда?.. Абсурд...Театр Ионеску?.. Белые птицы...

* * *

Лица. Полузакрытые глаза. Волосы распущены. «Нет водки. Водки нет», – шепчет.

– Лица, я журавля убил.

– Зачем?

– Не знаю... Он странный. Чудной, большескрылый. Скорей, альбатрос из Бодлера. Только без моря.

– С хандрой и матросами. Матросы – твои автоматчики. Ради бога, не трогай литературу. Лучше скажи – здесь, у меня, ты поэту?

– Да.

– Нет водки, прости.

* * *

Нет журавлей. Пусто над фортом. Главная новость – волки. В горах бои, и обнаглевшие, объевшиеся мертвечиной звери пришли в буруны. Ночью они обступают форт и воют. Тягуче... Самозабвенно... Соло по очереди или хором – на несколько голосов. К утру исчезают. «Взять» волка заманчиво. Уж тут чабаны не скупятся, сразу барана, а то и двух, хочешь – под нож, хочешь – так бери... Наряд с вышки, нет-нет, постреливает.

– Не волки, оборотни какие-то, – снайпер Володя щурится в оптику. – Вроде выцеливаю...

Володя – снайпер-фанатик. Его СВД – игрушка. На выездах он пеленает её, как младенца. То, что над этим смеются, ему безразлично. Спокойный и тихий, с доверчивым мягким взглядом, даже и выпьет – ни лишнего слова. И зарубок на прикладе у него нет – не в характере. Сколько их было бы?.. Вспомнит ли всех?..

* * *

– «Я помню, я помню, носились тучи по небу, жёлтому, как новая медь...»

– Совсем, как сегодня. Почему Гумилёв?

– Предчувствие трагедии у него – высшая мера. В конечном счете, выше самой трагедии. И, может быть, выше поэзии...

– Выше поэзии ничего нет. У Гумилёва уж точно. Он странно мне близок. Особенно его «Заблудившийся трамвай». Мороз по коже.

– А «Жираф»?

– Красиво, но как-то слишком... Ты был женат?

– Это что-то изменил?

– Был, значит?

– Как-то давно, студентом ещё, провожал одну даму. Из ресторана. Только что познакомились. Идём, болтаем, а у меня одно в голове: как бы в общагу её затащить. Дама роскошная – в золоте, в норковой шубе. А тут – в общагу, с клопами и пьяными «разборками» в коридорах. Вдруг слышу – догоняет нас кто-то, издали что-то кричит. Остановились. Я и понять ничего не успел, но чувствую – губы вдребезги. Ну и в ответ ему... И, видно, удачно – смотрю, он уже на асфальте. И всё же потряс он меня... Сознание фрагментами – фары, слепящие справа и слева... Дама моя посередине дороги... руками размахивает, такси тормозит...

На заднем сидении, крахмальным платочком стирая мне кровь:

– А кто это, знаешь?

– И кто же? – глотая солоноватый комок, – Мохаммед Али?..

– Муж мой, – и дикая гордость в глазах.

В общагу мы тогда не попали, слонялись по городу, сидели в гостях у подруги её, такой же ухоженно-нежной – в банном халатике... Где-то ещё... Потом как-то встретил её... С мужем, похоже. Под ручку. Узнала, конечно...

– К чему эта притча?

– Так... Просто... О браке...

– О браке, о драке, – смеётся. – А завтра весна... Ты чувствуешь – завтра...

* * *

Жёлтое солнце и ветер. Март. Вощёным паркетом трава на склонах.

Прихватив ружьишко (АК за спиной), спешу на озёра. Птицы на них и зимой вдосталь, теперь-то и вовсе. Пора перелёта. Подкрадываюсь долго, почти ползком. Ломкий кустар-



ник карябает руки. Грязный болотный пух облепляет одежду, лезет под брюки и в рот, колет в носу. Ох, не сдержусь же!

– А-чихи! – чих мой лучше всякого выстрела поднимает на воздух утиное братство. Всё, без остатка. Вот это подкрался! С досады «луплю» в уходящую, свистящую крыльями стаю. Без толку. Столько усилий!

Продуваю стволы. Заряжаюсь. Левый – «нулями» на зайца, правый – картечью – «на что покрупней». Напрямую до форта километра четыре, лесом все шесть, но дичи в лесу поболее.

На севере лес как лес. Вошёл – и с концами, как в море. А здесь – островками, смурной и колючий. Чужой. Карельские ламбы и ельники мрачные – ближе. Но что это? Что?.. Копытная дробь. Всадники? Сколько их? Распластываясь, вжимаюсь в землю. Топот отчётливый, тяжкий. Почти на меня. Вот... И в бурном просвете движенье голов. Человека и лошади. Лишь на секунду... Что-то ещё?.. Заметил меня?.. Медленно упираю приклад в плечо. Вот он!.. На мушке. Шапка из кожи мехом вовнутрь. Сдвоенный выстрел. Всадник – тряпичная кукла, вскинув руками – в траву. Выдох и вдох. Встаю на колени – в горле пульсация крови... Нет! Никого! Значит, один? Глохнут удары копыт. Тише и тише. Лошадь уходит. С дрожью в коленях – к нему. Вновь заряжаюсь: может быть... ранен? Только бы не легко. Что это бьёт по лопаткам? АК?.. Господи, совсем же забыл про него! Вроде бы здесь. Или подальше? Да! В задранной куртке болотного цвета – ничком. След по траве. Полз? Вероятно. Но... может быть, жив?! Жду. В спину стволами. Не дышит...

Где же оружие? Где?.. Нет?.. Просто пастух?..

Переворачиваю тело. Горбоносое, заросшее ржавой бородкой лицо. Примерно мой сверстник. Под глазом, слегка приоткрытым, тёмная точка. Такая же, с тонким кровоподтёком – на шее. Подрагивающими руками расстёгиваю куртку и рубаху. Грудь и живот целы. От прикосаний к тёплой одежде мутит. Значит, в лицо и в шею...

* * *

В форте: «Старший наряда, ко мне!» Через минуту слушаю обстановку:

– Не появлялись... Не было... На связь регулярно... Отдыхающая смена после бани просит... Из их же запасов... Бутылочку...

(Ладно... Бог даст – не напыться.)

– В пределах...

– Понял... В пределах... Ещё...

Обрываю:

– Свободен.

Сунув под бушлат сапёрную лопатку, спешу – к рыжебородому...

Успеть до темна бы...

* * *

Оружие у южан в «схронах». Пастух у такого схрона уже не пастух, а вольный стрелок.

Кто ты, рыжебородый?..

* * *

«Всё лучшее – генералам!»

В штабе суета сует. «Генерал Горлодав!» – изо всех углов. «Гор-ло-дав! Гор-ло-дав!» – у бака с объедками полаивают собаки. «Гор-р-лодав!» – с голых тополей откликаются им грачи.

В штабе не в форте – цивилизация. Женские лица по кабинетам.

– Развелось генералов! Мёдом им тут намазано, что ли? – командир сводного отряда Балдасов не скрывает мрачности. – По линии постов... Никого не пропустит... Сон и всякие там выезды отменяю, сидеть на местах и ждать – длиннющие пальцы его музыкально колотят об стол. – Особенно «пятёрки» и «тройки» касается, вечно у вас там спят или сопли жуют...

«Пятёрка» и «тройка» – наши соседи. На «тройке» командир совсем мальчишка. Вид у него классически лопухого второгонника. Если из его «русского устного» убрать нецензурную брань, «великий и могучий» сожмётся до уровня междометий. К тому же он заикается и подчинённых своих иначе как «мои ху-хун-венбины» не называет. Командир «пятёрки», Петрович, полная ему противоположность. Во-первых, он стар свыше всяких



пределов, а во-вторых, «выражается» редко. Недавно его наряд остановил мотоциклиста-южанина. Документы были в порядке, а на вопрос: «Что в люльке?» – тот, не спеша, достал из неё АК и полоснул проверяющих очередью... По счастью, не на смерть, но Петрович с тех пор в бессрочной опале.

– ...Поэтому не знаешь, какой сержант тебя уволит, – завершает совещание Балдасов.

* * *

Генерал действительно решил прокатиться по всей линии. Моя задача – сопроводить его от подконтрольной нам промежуточной вышки через форт до следующей «высотки». А вот и он... Меж двух пропылённых и мятых уазиков джип его, удивительно резкого красно-вишнёвого цвета, кажется причудливым украшением, свалившимся в буруны неизвестно откуда. Скрип тормозов, хлопки дверей. Генерал невысок, но широкой кости, с лицом угрюмо-бульдोजьим.

– Как служба, сынок? – спрашивает неожиданно добродушно.

Сынок – это я. Рапортую. «Ем глазами...» Вид у меня, похоже, в полном соответствии с бессмертным петровским указом – «лихой и придурковатый».

– Ну-ну, – усмехается Горлодав, протягивая руку. Ладонь у него горячая, пухлая, но не вялая. (К людям с вялым рукопожатьем у меня необъяснимая антипатия.) – На вышке-то почему никого?..

– Опасно, товарищ генерал. Качается... Как ветер – особенно...

Вышка – чугунная труба со скобами-ступенями внутри и дощатым «гнездом» наверху. В дурную погоду она раскачивается так, что наряду, несущему на ней службу, думать о чём-то, кроме своей безопасности, едва ли возможно.

– А я ведь предупреждал – постового наверх! – из-за спины генерала выныривает штабная личность.

– Показуха это, товарищ генерал. На вышке небезопасно. Болтов в основании где нет, где проржавели насквозь, – выступает вперёд Балдасов, из длиннющих своих паль-

цев скрытно сворачивая мне кулак. – Сейчас ветерок небольшой, но если хотите, товарищ... Попробуйте сами... – перст его картинно вытягивается в сторону вышки.

– А что?! – пышная фигура штабиста исчезает в трубе.

Впрочем, наверху она так и не появилась. После недолгой возни выныривает обратно:

– Ступени не все... И вообще, грязно там, товарищ генерал. Гадят негодяи! – штабист елозит подошвой о землю. – Минируют!

– Ты что же это, Балдасов... Гвардию мою под откос? Ох, и змей, – басит Горлодав и вдруг взрывается смехом, – ох, ох-х... ох и развлёк же! Суп отдельно, мухи отдельно... И показуха тоже! Ох-х!.. Однако, пора. Разборы полётов потом. – Суровеет.

Все по местам. Согласно субординации. Джип – генералу. Мне старый «Урал». До следующей «вышки» я впереди... Так-то!.. Всё лучшее – никому.

* * *

Разборы полётов. Командир «пятёрки», Петрович, уволен. («Да вы охренели! Проспать генерала!») Балдасову – выговор, ну и т.д.

* * *

– Лика.

– Что?.. Говори, наконец! Что-то новое?..

– Да. Скоро уеду.

– Скоро – когда?

– Несколько дней.

– Мне... плакать?

– А сможешь?

– Конечно.

– Знаешь, сегодня мне хочется верить... где-то, когда-то... ты – рядом...

– Забавно. И я бы тебя удержала?

– Не знаю...

– Странно. В каких-то несчастных двухстах километрах отсюда люди не знают войны. А мы?.. Там в этом мире мы станем чужими.

– А здесь?

– Здесь?.. Лучше не надо... Не спрашивай... Правда, сейчас разрыдаюсь, – смеётся.

– А ты? Как же ты?



– Не важно. «Что с нами будет, подумать ужасно...» Сейчас хорошо. А завтра?.. Какая разница... Ехать мне некуда... да и не на что, кстати.

– А если бы?..

– Если?.. Отстань. Обними.

* * *

Ночью подошли бензовозы. Огромная колонна урчащим левиафаном застыла внизу у шлагбаума. За мою смену – третья. Первые две к всеобщему неудовольствию я завернул. Южане, кстати, парламентарии отменные. «Без мыла...», как говорится. Вот и эти – двое из ларца – кто кого «переулыбит». Южная фальшь.

Молчанье форты обманчиво. На самом деле все, включая поваров, на огневых точках. Ждут. Игра так игра.

Ставка! – карандашная дрожь на бумаге.

– Мало!

Переглянувшись – накидывают ещё. Удваиваю. Улыбочки – «в нитку»:

– Вай-вай, зарезал, совсем без ножа, слушай!..

Загнул. Не без этого. Но ведь ведутся же, черти... Бегают глазки. Купюры – в рулонах. Тяжёлые. Первый. Второй. В обе ладони.

– Можно!.. Добро!..

Взлетает шлагбаум.

* * *

Часть «выигрыша» отдаю старшине. От веса купюр он весь поджимается, будто вот-вот и вприсядку:

– Ого!

Дальше – по-братски.

За риск командир берёт половину. Так принято. Я в этот раз взял больше. Сколько? Порядком... Бензин недёшев.

Утренний развод. Шуточки. Смех. Значит, прошло...

– Смирна! Отставить! Р-равняйся! Нарядам... приказываю заступить...

Скоро домой, и голос мой свеж.

* * *

– Когда?

– Завтра.

– А задержаться? – отводит глаза.

– Ты же знаешь...

– ...

– Лика.

– ...

– Я человека убил.

– Это не птицу... тогда?..

– Да... или почти... Лика, вот деньги. На «угол» и койку. Не в Москве, конечно. Немного добавишь и хватит. Только не здесь...

– Бензовозы?

– Не важно.

– Спасибо. Знаешь, а я возьму. Пусть не уеду. Просто – фантом реальности... А тут много. Ты прямо Крез в погонах. Жалеть не станешь?

– Не знаю... возможно.

– А что, если рядом с тобой? В одном городке...

– Не надо.

– Шучу, командир. Испугался? А вот что! – не хлопнуть ли нам, как ты говорил?..

– Почему «говорил»?..

– Потому что... Ты правда – убил?!

– ...

Головой на колени.

– У меня неразбавленный.

– Буду.

– Spiritus vini. За что?

– Глупый. Конечно, за нас...

* * *

Отъезжали под вечер, почти по-тёмному. Я обернулся. Вспыхнувший прожекторами «периметра» форт вновь показался мне космическим кораблём пришельцев...

На стыке лесополос бесцветно мелькнуло Мречетово.



Кирилл СЛОВОХОТОВ

ЖИВОЕ СЛОВО

За массивным дубовым столом, слегка согнувшись над чистым листом, сидит Писатель. В старинной перьевой ручке, как кровь, пульсируют чернила. Сейчас он дотронется самым кончиком ее до бумаги, и на ней образуются причудливые узоры письма, которые будут иметь способность приобрести любую форму. Капля чернил породит сотни ответвлений: подобно виноградной лозе они расползутся по белой поверхности, переплетаясь друг с другом. Мысли начнут произрастать от самых корней, постепенно приобретая законченность. А потом Ему надо будет взять садовые ножницы и точными аккуратными взмахами убрать всё лишнее, чтобы придать этому новому, свежему растению подобающую форму.

На листе бумаги теперь уже целое древо, в пышной кроне которого щебечут птицы, аромат его зелени разносится за многие версты, на него сбегается всякая живность, не проходят мимо и люди: каждый путник находит на нем плод, срывает его и пробует на вкус – отдельная ягода, являясь частью целого, заключает в себе одновременно всю его полноту.

Иные набирают горсть, чтобы донести ее до своих близких и разделить с ними радость от их вкушения. Писатель видит это и воспринимает как символ к посадке новых ростков. Яркие капли чернил впитываются бумагой, листы ее превращаются в белых птиц, которые разлетаются по всему свету, неся на своих крыльях ожившие слова и мысли.

Теперь есть ради чего трудиться – канули в Лету бездушные машины, печатающие и умножающие копии – мертвое стало еще более мертвым, затихнув уже навсегда много лет назад. А семена, лишь терпеливо ожидавшие своего часа, пустили ростки,

оживляя своим примером доброе начало в людях.

Всё ныне живое и дышащее – даже бумага, произведенная заботливыми руками Мастера Бумажных Дел, и чернила, добытые из сока растений. От старого мира осталось только железное перо, которое Писатель окунает в чернильницу. Но скоро и перо будет живое – как только оно вырастет до подходящего размера на птице. Тогда Он очинит его и будет слушать тихое скрежетание кончика о шероховатую поверхность писчей бумаги. От этого непременно родятся новые мысли, и древо примет изначально еще более совершенную форму.

Теперь люди снова понимают ценность книги как не печатного, а написанного от руки Слова. Роль Писаря возвысилась до такой степени, какой она была много веков назад, когда зло еще не вырвалось наружу из гиблых мест и не смешалось с Родом Человеческим, превратив его в бушующую толпу.

Эти Хранители Слова вновь кропотливо низывают жемчуг букв на нити строк и укладывают получившуюся красоту ровными рядами. Им некогда расточать Время – именно оттого они используют самые лучшие, отобранные заботливыми руками Писателей образцы.

Нематериальное и бесценное приобретает при этом вполне материальную форму, впитывая которую, внимательный Читатель снова превращает всё в невесомую материю мыслей и чувств, и она впитывается в его сознание посредством тонких фильтров.

Писатель, зная это, создает всё новые и новые сочетания, подобно тому, как парфюмер получает новые ароматы в своей мастерской.

И отчего же Человечество утратило это Знание на многие столетия? Как возможно было променять будоражащее, вибрирую-



щее цветом и звуком, живое многообразие ощущений на запах тления и скрежет металла?..

Как хорошо на душе оттого, что есть еще и Художники, и Поэты, и Музыканты – они создают гармонические колебания, волны, по которым легче плыть всем вокруг – Ремесленникам, Плотникам, Кузнецам. Всем Людям.

Прежний человек стал, наконец, Человеком. Так было заведено от века и да будет во веки веков.

Писатель, желая снова отправить белых вестников в полет, макает перо в чернила. Согнувшись над столом, при свете свечи, отбрасывающей пляшущие блики на деревянные стены, он выводит несколько слов – квинтэссенцию мыслей, которые только что пронеслись вихрем сквозь его сознание. Хвостик последней буквы выходит необычайно изящным и красивым.

Раздается царапающий барабанные перепонки писк будильника. За окном темно и сыро.

ВЕСНА

Быстро стаял снег в этом году. Отзвенела серебряная капля, подсохли лужи, талая вода из них впиталась в чрево земли, чтобы дать жизнь измученным жаждой весенним росткам.

По оштукатуренной стене вверх и вниз, вдоль и поперек сплывают крохотные черные паучки, будто бы тоже вылезшие погреться на солнце. Движение их представляется бесцельным, хотя, наверняка, и в нем есть некая упорядоченность, недостижимая для нашего разума.

Птицы щебечут, но уже не так громко, как раньше. Краски свежи, но уже не обжигают своей новизной. Все знакомо и предопределено.

Маятник времени в природе колеблется бесконечно, а вместе с ним и все живое – то замирает, погружаясь в летаргический сон, то вспыхивает, источая разнообразные звуки и благоволия. То ли дело человек – колебания его маятника стремятся затухнуть, в особенности, если их не оживлять каким-либо воздействием. Страшное дело – привычка. А коль сама жизнь становится привычкой – это совсем никуда не годится.

Баба Нюра сидит на завалинке и провожает своим прозрачным, водянистым взглядом редких прохожих. Дышится, однако же, легко. Узловатой клюкой, вырезанной сыном из орешника, она то постукивает по поверхно-

сти вытопанной тропки, то царапает на ней незатейливые узоры, задумываясь, вероятно, о чем-то сокровенном.

Ветра почти нет, воздух застыл плотной массой на всем дворе, как студень в предназначенной специально для него посудине. Солнце еще не в зените, однако греет уже по-летнему, так что цветы в доме дружно поворачивают к нему свои головы на тонких, бледных после долгой зимы, шеях.

Баба Нюра снимает одну варежку и прикладывает руку к дереву, словно пытаясь вобрать в себя часть этого тепла. А затем и вторую. Она сидит некоторое время с закрытыми глазами, потом открывает их, чтобы посмотреть на свои руки. Сквозь бледную, изрезанную сеткой морщин кожу проглядывают тонкие вены, по которым остывающая кровь несется обратно к сердцу. Она снова закрывает глаза, чтобы увидеть почти на этом же самом месте своего деда – Пахома, который с отцом и устроил все хозяйство здесь почти век назад.

Она, семилетняя, прыгает вокруг него то на одной, то на другой ноге. А дед, густо попыхивая самосадам, крутит ус и улыбается ей. Он сидит в овчинном полушубке, привезенном давным-давно кем-то издалека и уже порядочно изъеденном молью, и валенках с кожаными заплатками на пятках и мысках.



– Что, дедушка, скоро уж сморода да клубника поспеют?

– Куда ж еще? Рано ведь!

– Ох, хочу клубники. Картоха за зиму вот как приелась!

– Да ты что ж, не помнишь уж, как и картохи не было?

– Помню, деда, помню. А все ж ягод хочется.

– Терпи, терпи. Дождешься... – деда Пахома пробирает глубокий, грудной кашель от едкой махорки.

– А ты, деда, ягодок хочешь?

– Чего-чего? Не слышу...

Девочка вновь повторяет вопрос, уже громче.

– А-а, ягод... Я уж думал, что и в прошлом году не дождусь. А в этом...

– Дождешься, деда, дождешься... Я тебе сама соберу и принесу.

– Иди ко мне, – он сажает девочку на колени, так что ноги ее не достают теперь до земли, она весело болтает ими в воздухе. И при этом уже в который раз разглядывает грубые, мозолистые, закаленные работой руки с узловатыми пальцами и непропорционально большими суставами. Она трогает эти ладони – вроде бы теплые, а вроде бы нет, стараясь понять, отчего так происходит.

– Деда, слышь, а?

– Ну что? – он вроде бы отходит от короткой дремы от ее звонкого голоса.

– А чего так – уж конец апреля, а ты все в овчине да в валенках?

– Это мне удобно так.

– И не жарко?

– Не-е... Даже холодно бывает.

– Чудной ты, деда... – Нюрка смеется.

А дальше она, словно со стороны, видит себя собирающей смородину с огромного, старого куста, нижние ветви которого лежат на земле под тяжестью ягод. Она ест их с ладони, давясь слезами. «Пусть бы вообще они никогда не зрели больше, пусть бы время замерло, а дед так и курил бы дальше свой самосад!» И она бы все так же сидела бы у него на коленях и задавала ему свои глупые вопросы. Что теперь эти ягоды – дед их все равно не попробует. И так ей становится его жалко, что просто невыносимо.

По щеке старой женщины сползает слеза.

– Баба Нюра! – окликает ее соседский мальчонка, забежавший вернуть одолженную мать десятку.

Она открывает глаза.

– Ты что это – плачешь?

– Где?

– Да вон же – слезы у тебя.

– Солнце яркое сегодня, Ванька.

– Да, солнце жарит прямо. А чего ты в бурках?

– Много будешь знать – скоро состаришься.

– Чудная ты, баба Нюра....

НАСТОЯЩЕЕ РОЖДЕСТВО

Двадцатое декабря. Редкие снежинки, лениво кружась, опускаются на едва схваченную морозом землю. Она чувствует, как одна крошечная льдинка цепляется за ее ресницы и тут же растаивает, сползая слезинкой по щеке. Какое оживление вокруг! Она идет по Курфюрстендамм*, ослепленная тысячами огней, яркими, кричащими

витринами, вслушивается в быструю речь прохожих, вылавливая из каждого разговора отдельные фразы.

«Сколько событий, проблем, новостей...»

Все кружится, словно сумасшедший вихрь в преддверии Рождества. И эти Weihnachtsmärkte**... Три года назад все было ново и необычно, хотелось прямо бро-

* Знаменитый бульвар Берлина, известное место для покупок и развлечений

** Рождественские рынки, крайне популярные в Германии



ситься туда, в самый центр водоворота, стать его мельчайшей частицей, закружиться в этом танце цивилизации. Ах, да – какая чистота, порядок... Все это весьма впечатляло ее. И не только это. Как интересно было наблюдать за людьми. Как будто бы везде все одинаково, но в то же время... Тогда она смотрела на них, жадно впитывая все эти манеры, усваивая стиль общения. И уже через полгода или около того она поржала в этом дивном мире, радуясь тому, как быстро открыл он для нее свои двери.

Еще несколько снежинок крошечными каплями осели на ее лице. Зябко.

Она опускает подбородок поглубже в ее любимый шарф, захваченный еще из дома. Снег несколько усиливается, возможно, из-за ветра. Теперь ей почему-то неуютно. Беспокойно. А ведь вокруг – праздник... Месяц назад – повышение и прибавка к окладу, почти в полтора раза. Но нет в этом всем приятном беспокойстве чего-то родного и так нужного теперь. И дело даже не в датах, хотя и в них тоже... Нет в этом всем самого главного.

Сворачивая с Ку-дамм в один из бесчисленных крошечных переулков, которые имеют свойство совершенно запутывать своей похожестью впервые попавших в Берлин, она с радостью отмечает, что ветер теперь дует в спину. А ведь она всегда любила гулять в метель, особенно сильную, там – на родине. Верно, снег здесь другой... Да и ветер особенный.

«Надо зайти к Шремеру, раз уж я оказалась поблизости», – думает она и, ускоряя шаг, сворачивает в еще более крошечный переулок и оказывается перед небольшой уютной лавчонкой с бронзовой вывеской «Antiquitäten» [«антиквариат»]. В прошлый раз здесь удалось отыскать недурной подсвечник французской мануфактуры позапрошлого столетия.

Над дверью раздается тонкий звон колокольчика.

– Herzlich willkommen, liebes Fräulein! [Добро пожаловать, милая барышня] – улыбается знакомый ей пожилой немец с лихо закрученными усами, имеющими желтоватый

оттенок на кончиках от долгой привычки к курению.

– Guten Abend, Herr Schrömer [Добрый вечер, господин Шремер!].

– Sie möchten etwas zu Weihnachten gern haben, oder? [Вы хотите что-то к Рождеству, не так ли?]

– Na ja, vielleicht etwas Nettes als Geschenk für die Familie [Ну да, возможно, что-то для семьи, в качестве подарка]...

– Einen Moment, bitte. Mal sehen [Один момент, пожалуйста. Сейчас посмотрим]...

Он отходит куда-то вглубь, исчезая в полумраке подсобного помещения. Взгляд Анны падает на плетеную корзинку с открытками.

Через мгновение Шремер появляется за прилавком с двумя шкатулками:

– Die wären vielleicht ganz interessant [Вот эти были бы весьма интересны]... – начинает он и тут же обрывает фразу, замечая, что она держит в своих длинных, озябших пальцах открытку. – Anfang des 20. Jahrhunderts. Da steht etwas auf Russisch geschrieben, oder? [Начало 20 века. Тут что-то написано по-русски, верно?]

– Ja, das stimmt. Ich nehme die Karte gern. [Да, верно. Я беру открытку.]

Пока она достает из слегка потертого кошелька из лакированной кожи купюры, немец просит напоследок:

– Seien Sie so freundlich die Aufschrift zu übersetzen? [Не будете ли Вы любезны перевести надпись?]

– Ach, ja... 'Liebe Anja, wir hoffen darauf, dass du vor den Weihnachten zurückkommst. 20.12.1907' [Ах, да... «Дорогая Аня, надеемся, что ты вернешься до Рождества. 20.12.1907»]

– Heimweh? [Тоска по дому?] – спрашивает Шремер.

– Teilweise... Das kann man kaum ausdrücken... Auf Wiedersehen, frohe Weihnachten, Herr Schrömer! [Отчасти... Это нельзя выразить... До свидания, счастливого Рождества, господин Шремер!] – она разворачивается и закрывая за собой дверь лавки антиквара, едва слышно добавляет, – русская тоска...

Билет домой, купленный вчера и спрятанный во внутреннем кармане куртки, сейчас



будто бы начинает выделять тепло. Маленькое Рождественское чудо. Теперь она уверена, что поступила правильно.

Время возвращаться домой и отныне всегда праздновать Рождество по-настоящему. На родине.

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ

Хрупкую морозную тишину нарушали шаги невысокого, коренастого мужчины, который то и дело оступался, проваливаясь в еще рыхлый снег, выпавший совсем недавно, прямо накануне Нового года. Человека этого звали Иваном Степановичем.

В храме в эту ночь не служили, так что он возвращался домой после Навечерия – шел медленно, словно размышляя о чем-то, так что в каждом его шаге чувствовалась особенная сосредоточенность. Было нечто особенное и в этой Рождественской ночи: цепкая ледяная хватка ее кистей будто бы сжимала Ивана Степановича все больше при каждом выдохе, как удав стискивает плотными кольцами свою жертву.

Он чувствовал этот холод, заставлявший ошетиниваться каждый волосок на теле. Это была не обычная стужа, от которой можно отогреться, присев у очага и протянув к нему ладони. Холод наполнял его сейчас изнутри, вначале заставляя биться мелкой дрожью все части тела, а потом словно лишал разум всякой воли к сопротивлению. Иван Степанович ускорил шаг настолько, что можно было подумать, будто он опасается чего-то, что наблюдает за ним из темноты. Но он боялся теперь только лишь этого ненормально-го холода...

Мысли его сейчас вновь замкнулись на небольшом пространстве больничной палаты. Он явственно слышал тиканье дешевых кварцевых часов на стене над входной дверью. Наблюдая за плавным движением секундной стрелки, он в один момент осознал, что жизнь утекает, как песок, куда-то в небытие. Сейчас он смотрел на свою жизнь как на некую субстанцию: она вдруг материализовалась, приобретая совершенно конкретную форму и утратив эфемерный образ

суммы идей и чувств. Ему захотелось взять камень, чтобы швырнуть его прямо в эти часы. Полно...

Дневной сон с полчаса назад сморил его соседа на противоположной койке. Сейчас он повернулся на бок, заставив панцирную кровать жалобно скрипнуть. Из-под покрывала показались грубые немые пятки, оттенком и свойством своим, вероятно, походившие на советский кожаный портфель. Иван Степанович остановил взгляд сначала на окне, рассматривая буйство свежих красок расцветающей природы, потом перевел глаза на потолок, заметив в плафоне люминесцентной лампы горстку скопившихся там дохлых мошек. «Символично...» – подумал он.

Далее он уже перестал вести счет времени. Здесь оно замерло, превратившись в густую, как кисель, массу. Изредка эту неприятную тишину нарушал крик медицинской сестры.

«Только первый день...» – с грустью думал Иван Степанович. Сосед справа тихо захрапел.

«Может, встать, да толкнуть легонько?» – Нет, неудобно выйдет. Храп, словно от этой мысли, сделался будто бы громче.

Несколько раз сменив положение в гамаке, сработанном из металлической сетки, Иван Степанович, не ощутив и минимального удобства, решил подняться и сесть на стул.

Сосед, почувствовав движение, проснулся и, немного помедлив, повернул голову к Ивану Степановичу:

– Ну что?.. Не спится?

– Куда там...

– Неужто волнуешься? Ты, это... брось.

«На «ты»... Ну кто он такой, чтобы на «ты» обращаться?» – Ивана Степановича слегка покорило от такой фамильярности. В его кру-



гу это было не принято. Однако он сдержал свой внутренний порыв, не подавая вида:

– Есть немного. А вы, неужели вы спокойны?

– Мы? – как будто с усмешкой переспросил собеседник. – Мы... тоже, есть немного. У тебя на завтра назначено?

– Да, говорят – к часу. Врач с обеда вернется – и начнут.

– И мне тоже к полвторому... Да ну его... Целый день почти впереди. Кефиру хочишь?

«Хочишь... Ну как же можно так сказать – «хочишь»? Хотю, не хотю. Так и отвечаю».

– Спасибо, вроде не голодный еще. А откуда у вас лишний кефир?

– «Вы», да «вы»... Я вроде как один на койке сижу. Может, нечисть только какая вокруг крутится. Говори «ты», да и все. Проще так.

– Хорошо. Но непривычно как-то.

– А привыкай. Здесь, брат, все одинаковы. Делить-то нечего.

Следующие несколько часов комбайнер Саша рассказывал разные истории, стараясь хоть как-то подбодрить доцента Ивана Степановича. Последнему знакомство это хоть и не казалось сначала достаточно приятным, но уже не раздражало. Время плавно подошло к вечеру.

Палата, разделенная стеной на две равных части, вмещала в себя пять коек, крайняя у двери пустовала. Один из пациентов в том отсеке целый день лежал, не проявляя ни малейшего интереса к жизни вокруг, если ее вообще можно было так назвать.

Часов около восьми к Ивану Степановичу с соседом подошел еще один обитатель противоположного отсека, утром представившийся Алексеем.

Тогда Иван Степанович не заметил пластмассовый клапан размером с бутылочную пробку, притаившийся под гортанью.

– В карты не хотите сыграть? – просипел Алексей, придвигаясь ближе, так что доцент ощутил гнилостный запах, исходящий прямо из пластикового стента.

– Пожалуй, нет... – Иван Степанович слегка отпрянул назад, стараясь не выдать свои эмоции. – Я, вообще-то, не играю в карты.

– Давай научим! – Алексей обнажил верхние, отсутствовавшие через один, зубы.

– Леха, отстань! Дай человеку отдохнуть. Не обижайся только.

– Ну – как хотите, пойду, покурю.

Когда он вышел, Иван Степанович с удивлением переспросил:

– Пошел курить? У него же, это самое...

– Да... Я тут уже неделю торчу, все по обследованиям водят. Ходят курить, а ты что ду-мал? Тайком, – задумчиво произнес Саша. – Я ж тоже курил. Докурился, вот... А ты?

– Да как же возможно курить? Нет, я даже не пробовал.

– Неужто не пробовал? Совсем?

– Ну, было дело. Но только один раз.

– Это правильно, знаешь... Теперь только понятно становится.

Оба замолчали.

Всю ночь Ивана Степановича мучил один вопрос: «За что?» За что он очутился здесь? Абсолютно нелогичной и противоестественной казалась ему вся ситуация и сама атмосфера. «Может, это дурной сон?» – доцент сначала слегка ущипнул себя за мочку уха, потом еще раз – уже гораздо сильнее.

Душная ночь облаком опустилась на все вокруг и расплзлась по углам больничной палаты. Иван Степанович не спал, ворочаясь с боку на бок в металлическом гамаке. Все так же тикали часы, все так же похрапывал сосед, видя, вероятно, уже десятый сон. На той половине спали ее обитатели.

Он слышал только биение своего сердца: ритм его не был спокойным – видимо, сказывалось определенное волнение. Иван Степанович тыльной стороной ладони стер несколько капель пота со лба, по которому пролегли глубокие горизонтальные морщины. Часам к четырем доцент сдался. Тревожный, поверхностный сон охватил и его...

Ровно в семь в палату заглянула медсестра. Иван Степанович уже не спал, а просто лежал с закрытыми глазами, словно желая отсрочить этот момент. Незнание способна вызывать у человека животный, бессознательный страх.

Саша уже сидел на краю кровати и натягивал бывшие в употреблении, вероятно, несколько дней носки. Характерный их запах донесся до доцента.



– Ну что, Иван, как спалось?
– Нормально... – соврал доцент Иван Степанович.

– Почти как дома? Я же знаю... Жуткие они, эти панцирные кровати, – далее Саша ловко употребил известно нецензурное слово.

– Как ни ворочайся, никак положение не найти.

– Пойдем в столовую, завтракать. Война войной, а обед по расписанию.

– Не хочется чего-то еще...

– Ты это... слышь – не дури. Потом вообще, может, есть не сможешь, или нельзя будет. Пойдем!

В тесной столовой хирургического отделения доцент и комбайнер уселись прямо друг напротив друга. В белые неглубокие тарелки было положено по два казенных половника рисовой каши. Давали еще чай в свою кружку, кусочек сыра, ломоть белого хлеба и сливочное масло, размером с половину спичечного коробка, завернутое в золотистую фольгу.

Иван Степанович почему-то обратил внимание на срез ломтя – он был шероховатый, с задирами, происходившими по вине затупившегося ножа.

– Приятного аппетита, – произнес Иван Степанович.

Сосед не ответил, а только хмыкнул в ответ да кивнул головой, ибо рот его уже был полон, а челюсти перемалывали пищу с таким усердием, что на висках вздымались и ходили бугры мышц.

Доцент неторопливо перемешал ложкой масло и осторожно попробовал больничную стряпню на вкус.

– Ешь, не бойсь, – ухмыльнулся Саша и продолжил опустошать тарелку.

Иван Степанович ел бесшумно, наблюдая за чавкающим соседом. Когда дело дошло до чая, Саша принялся пить его большими глотками таким образом, который в народе иногда обозначают словом «сербать». В самом конце он задержал последний глоток, чтобы прополоскать им рот.

Доцент опустил глаза в свою чашку, ожидая раскатистой отрыжки, но ее не последовало. Вместо этого Саша сложил фольгу та-

ким образом, чтобы получилась зубочистка, и принялся ковырять ею в зубах.

В палату на подпись принесли бумаги. Саша сразу же, размашисто, не глядя, поставил свои закорючки в трех положенных местах и протянул документ врачу-анестезиологу.

Доцент принялся за тщательное изучение написанного, но строки перед глазами путались и прыгали, превращаясь в бессмысленное нагромождение букв и предложений. Такого с ним еще не случалось. В одно мгновение куда-то исчезла вся грамотность и щепетильность. Кое-как дочитав до конца пять страниц, он поставил подписи и отправился в ординаторскую, чтобы вернуть требуемый документ.

За окном палаты весело чирикали птицы. В один момент Ивану Степановичу показалось, что они нарочно дразнят его, вертя длинными хвостиками прямо на ветке в метре от стекла. Он вздохнул и погрузился в свои мысли.

Без пятнадцати час в палату вошла медсестра, окутанная облаком лекарственных запахов, и нарочито строгим голосом приказала готовиться к операции:

– Так, вы вдвоем, раздевайтесь – и на каталки!

– Раздеваться?! – в один голос удивленно ответили мужчины.

– А как же? Вы что, не знали?

Ответа не последовало.

– Живее. Через пять минут приду. Вот – накрыться, – и она швырнула каждому по невесомой синтетической пеленке светло-зеленого цвета.

– Иван... Ты, это...

– Что? – отозвался доцент.

– Ты в Бога веришь? А?..

Иван Степанович там, в обычной жизни, обязательно нашелся бы, что ответить. А сейчас он просто растерялся, и эта нехарактерная растерянность читалась не только на его лице, но и в каждом движении:

– Я... я никогда не думал, знаешь... А что?

– А ты не думай. Хоть сейчас поверь. На секунду, на час, на сутки... Держи, – Саша



протянул доценту крохотный медальон. – Это из монастыря. Только они же, это... все снимать заставляют. Даже цепочку.

– Так куда же я его возьму?

– А я уже придумал. Смотри! – он развернул левую ладонь. К безымянному пальцу скотчем был примотан крохотный крестик.

– Хитро...

– Давай, не медли. Времени совсем уж нет.

Иван Степанович, колеблясь, протянул соседу свою левую руку. Комбайнер достал моток прозрачной ленты и прикрепил медальон таким же образом.

– Ну вот.

– Спасибо – Иван Степанович и Саша обменялись крепким рукопожатием.

Скинув с себя исподнее, оба улеглись на холодные каталки.

– Удачи тебе, – шепнул Саша.

– И вам. В смысле, тебе.

Дальше Ивана Степановича долго везли по бесконечным коридорам. Он слышал, как распахнулись тяжелые металлические двери операционной. По команде он переместил свой корпус с каталки на такой же холодный металлический стол, укрытый какой-то тряпичей. Последнее, что осталось в его памяти – прозрачная маска с анестетиком и три пальца, которые последовательно загибал врач-анестезиолог. Глаза застелил густой, белый туман...

«Как же холодно... Разве такое вообще может быть? Конечности еще не ощущаются, мысли текут довольно вяло. Какой яркий свет... Будто чье-то ледяное дыхание обжигает изнутри, каждая клетка пропитана холодом...»

Иван Степанович силится повернуть голову – не получается. Ни одна часть тела не слушается команд мозга. Он пробует открыть рот. Никак.

Из тела будто бы выкачали всю энергию...

Что-то, вероятно из медицинского оборудования, издает писк через равные интервалы времени.

Холод становится еще более невыносимым. Вокруг, кажется, никого нет. «А что, если...? Нет... Не может быть – вот так – просто и бессмысленно...»

Время то ли остановилось, то ли наоборот, несется, сломя голову. Сейчас нет никаких ориентиров. Иван Степанович пробует еще раз посмотреть в сторону. Голова слегка поворачивается. Слева окно занавешено плотной шторой, через которую не проникает свет.

«Попробуем направо... А – Саша!.. Это же он – лежит с закрытыми глазами. Грудная клетка его медленно вздымается и опускается. Живой. Так... Что это тянется из-под покрывала?»

Взгляд Ивана Степановича несколько раз фокусируется и расфокусируется. Наконец он замечает две пластиковые трубки, прозрачные, с кровью внутри. Руки его пока не слушаются. А холод все усиливается. Озноб начинает бить его все яростнее, так, что невозможно подавить его никаким усилием воли. Он хочет крикнуть, но рот не раскрывается. Мысли его, однако, становятся яснее. Он снова поворачивает голову на затылок.

Через какое-то время рядом возникает медицинская сестра. Он опять хочет закричать: «Холодно!»

Вдруг она, словно догадавшись, включает тепловентилятор и ставит его в ноги, так, чтобы воздух заходил под покрывало. Медленно, капля за каплей жизнь вместе с теплом начинает возвращаться в его тело...

И вот он снова в палате. На часах – почти полночь. Металлический гамак по-прежнему безжалостно издевается над телом. Только теперь повернуться не выходит. Иван Степанович правой рукой придерживает две пластиковые трубки дренажа, примостившись на самом краю кровати, – так она меньше прогибается. Делая вдох и выдыхая, он чувствует неприятное чавканье внутри грудной клетки, будто бы кто-то отжимает тряпку над ведром с водой. Излишки крови и лимфы при этом сочатся в бутылку с мутной желтой жидкостью, стоящую на полу, под кроватью.

Сосед еще не просыпался.



«Надо бы медальон вернуть... А ведь не заметили же...»

Внезапно все вокруг здесь, в больничной палате, словно предстает в новом свете: взгляд доцента вновь перемещается на соседа, потом он сосредоточивается, будто бы погружаясь в глубины собственного сознания.

«Как же? Как же раньше было не понять?.. Вот он – напротив... И тот, за стеной... И на этажах ниже и выше, везде – все – одинаковы. Неужто всякие должности, деньги – все, для чего мы живем?..»

В этот момент вся предыдущая жизнь начала, подобно кадрам старой кинохроники, прокручиваться перед глазами Ивана Степановича. Он принялся вспоминать свои взлеты и падения. Вспомнил, как присуждались ему различные звания и награды. Вспомнил даже, какой галстук был на нем на защите диссертации. А ведь он – без пяти минут профессор.

«Да... карьерный рост. А, собственно, почему рост? В чем выражается он? В физических величинах? Ведь сосед, Саша, – он же ничем не отличается... А ростом он, вроде бы, даже выше... Нет же, он – лучше, лучше во многих отношениях. Господи...»

Иван Степанович впервые поймал себя на мысли, что обращается к Богу. От этого ему стало и страшно и необыкновенно хорошо в одно и то же время.

«Как же можно было не догадаться?.. Вот оно что... Гордость – причина всего. От нее

я здесь. Как возможно было прожить сорок пять лет на этом свете и не осознать?..»

Медальон на пальце как будто стал теплее. Ладони Ивана Степановича вспотели, так что он тут же вытер их по очереди о серый больничный пододеяльник.

«Да, да, все это гордыня. Чтoб ее...»

На второй день боль несколько утихла. Лежа на спине, сосед рассказывал о том, как в редкие выходные, в период летней страды, всегда возвращается на свою пасеку, к пчелам.

Иван Степанович слушал его, не перебивая. Его жизнь не шла ни в какое сравнение с Сашиной. Все сложности, которые обыкновенно считаются благоприятным приобретением образованного городского жителя, со всех сторон облепили его так, что он, казалось, уже никогда не сможет распрямиться под их гнетом...

«Господи, прости...», – повторял он про себя сотни раз подряд.

Наконец он подошел к дому. Прежде чем ступить на порог, он достал из внутреннего кармана куртки пластмассовую коробочку и открыл ее. В свете луны в его руках вспыхнула серебристая искра того самого медальона. Вновь стало тепло.

«А ну – этой весной и себе пасеку обустрою», – подумал Иван Степанович, открывая перед собой входную дверь.

ПОЧЕМ?

Мало ли затерялось на просторах нашей необъятной родины небольших, а то и вовсе крохотных городков да деревень? А ведь и в них живут люди, со своими радостями, чувствами, проблемами...

Случилось, что несколько лет назад заехал я к своему старому знакомому, будучи проездом в Калужской области. Дело шло к отпуску, так что торопиться было незачем и

некуда. За окном автомобиля мелькали деревушки, до боли похожие одна на другую. В иных местах стояли одиноко вдоль дорог заброшенные, покрытые мхом и растительностью до самого верха, храмы без куполов, которые, как было понятно, никто и никогда уже не восстановит. Нерентабельно. Сухое слово, все чаще звучащее уже много лет, подобно приговору. Проезжая, смотрел я



на эти церкви, сложенные большей частью из добротного красного кирпича ныне неизвестной мануфактуры, а душа от этого зрелища испытывала острую, как от резкого удара, почти физическую боль...

Было что-то неопишимо родное и в покосившихся бревенчатых домиках – коттеджи встречались мало. Редкие их обитатели, замершие на обочинах, задумчиво провожали глазами мой автомобиль, ибо ехал я не быстро, стараясь не превышать дозволенную скорость. «Все больше старики. А дети, дети где?» – задавал я себе один и тот же наивный вопрос. Сердце мое ликовало несколько раз, когда я замечал загорелых ребят на старых, отремонтированных заботливыми руками родителей велосипедах. Вспомнилось мне и собственное босое детство...

А еще бросались в глаза белые, как поганки, грибки спутниковых антенн, приделанные почти к каждой обитаемой избе. Так вот оно – то, что объединяет наш народ...

Друг мой обитает в населенном пункте, представляющем собой нечто среднее между деревней и поселком городского типа. Был я там всего один раз, да и то уже так давно, что почти забыл дорогу. Наконец, к вечеру, преодолев последние пять километров по грунтовке, от души посыпанной крупной и мелкой щебенкой, моя окутанная облаком пыли «Газель» остановилась прямо перед свежевывкрашенной калиткой. Грозно залаяла собака, отчего врассыпную бросились отъездившие дворовые коты. Я повернул ключ в замке зажигания, выключил фары, спрыгнул на землю и, поправив рубашку и съехавшую в сторону пряжку ремня, направился к дому.

Первой меня заметила его жена – статная женщина лет тридцати восьми, не утратившая еще своей природной красоты. Она мало изменилась с тех пор, как я видел ее в прошлый приезд.

– Здравствуй, Коля!

– Привет! А хозяин где?

– Сашка-то? Он думал, ты позже будешь. Сказал, через полчаса вернется. В магазин поехал, да еще зачем-то.

– Ясно. Как вы?

– Да ничего, с Божьей помощью. Все по-прежнему...

– А Ваня?

– Ваня на речке, грозился окуньков принести, к ужину как раз. А мне еще корову подоить надо. Ты проходи в дом-то.

– Это вам, – я протянул ей пакет с разными сюрпризами для всех, которые по моему разумению могли сослужить хорошую службу. Обидно ведь, когда подарки просто ставятся на полку или убираются в далекий шкаф...

– Зря только деньги тратил... Ох, Николай... Неловко же как.

– Неловко знаешь что?

– Что?

– Штаны через голову надевать. А я не обиднею, коль, пока есть возможность, что-то вам полезное подарю.

– Спасибо. А я все же к корове пойду.

– А где она?

– А вот – за домом прямо уже.

– Пойдем вместе. Давно я уже не видел, как молоко получается.

Сидя на массивной березовой колоде для рубки дров, я наблюдал за тем, как сцеживаемое парное молоко тонкими струйками со звоном льется в эмалированное ведро, образуя небольшой слой пены. Корова лениво дергала ушами, сгоняя досаждавших ей насекомых. Дарья справилась с работой за десяток минут. Я взял ведро и занес его в дом для процеживания.

Друг мой с сынишкой приехали через полчаса на мотоцикле. Мы, как и полагается, обменялись рукопожатиями. Сам Саша мало изменился, а четырнадцатилетний Ванька оказался крепким смышленным парнем, ростом почти с отца, так что если бы я встретил его на улице, то, конечно бы, не узнал.

Хоть Дарья и звала всех к ужину, который она давно успела приготовить, мы тремя ножами в шесть рук принялись чистить на улице рыбу, которую добыл Ванька. Впрочем, управились быстро, так что беспокойство хозяйки не успело перерасти в женский гнев.

Уже сидя за столом, я отметил про себя, насколько здоровая атмосфера царилась здесь: за разговорами не возникало неловких пауз,



и я чувствовал себя почти как дома. Да и внешность этой семьи производила благоприятное впечатление: на них не было, если так можно выразиться, печати цивилизации. Жизнь здесь текла размеренно, как это и было задумано Богом для человека...

Темы разговоров сменяли одна другую, и, когда мы уже, наконец, успели обсудить все произошедшее за несколько лет, Саша упомянул, что на следующий день они ожидают гостей. Оказалось, что его брат, живущий в столице с момента совершеннолетия, собирался приехать погостить.

– А когда? – спросил я.

– Да прямо завтра.

– А как же?.. – начал я, но Саша оборвал меня на полуслове.

– Дом большой. Все поместимся. Даже не вздумай!

– Хорошо. Но все же, если бы я знал, то приехал бы через недельку.

– Ничего. Нам веселее будет, правда, Даша?

– Конечно!

Весь следующий час мой друг предавался воспоминаниям. Рассказывал эпизоды из детства: как они с братом ходили за грибами и заблудились в лесу, как строили дом на дереве из досок и накрывали его брезентом, как радовались, когда родители купили им пневматическую винтовку, и они охотились на дроздов, которые клевали клубнику... Много чего рассказывал... Помнил он при этом мельчайшие детали и подробности. Брат его теперь приезжал редко – все некогда...

Наконец вмешалась Дарья, которая до этого сидела почти молча:

– А знаешь, Коля, мы же столько всего в этом году собрали – и ягоды, и грибы, картошку вот почти выкопали. Такого урожая за всю жизнь не припомню.

– Да, мы тебе обязательно дадим всего с собой, – добавил Саша. – Одним со всем не управиться.

– Но...

– Не возражай только, – в один голос ответили супруги.

– Вот Стас приедет с женой, мы и им всего дадим. Мы с Дарьей вчера полдня всякие за-

катки собирали, пакеты. В морозилке порядок навели. А мед-то, мед – тоже свой у нас, мы с тестем занимаемся понемногу.

– Скучаешь, по брату-то?

– Скучаю... – протянул Саша. – Ну что тут уже, день всего остался. А теперь – пойдем спать. Завтра день большой будет.

Я разместился в небольшой уютной комнате, которая не менялась, вероятно, уже лет тридцать. Было в этом простом, незамысловатом интерьере то, что никогда не найдешь в городской квартире. Даже сам запах деревянного дома настраивал меня на другой лад. Я знал, что оно – настоящее – совсем рядом. За окном в высоких кронах берез шумел ветер. Я заснул крепким безмятежным сном, таким, какой, вероятно, не охватывал меня уже, по крайней мере, десяток-другой лет...

С самого утра следующего дня Саша и Дарья суетились, готовясь к приезду долгожданного гостя. Встали они гораздо раньше меня, еще до рассвета. Я проснулся в шесть и пошел на кухню. Там пахло свежей выпечкой. Дарья налила мне полный стакан парного молока и подала на крупном блюде несколько пирожков с яблочным повидлом:

– Подкрепись, пока я еще чего-нибудь приготавливаю.

Я стоял и смотрел, как она суетится. Потом пришел Саша, и мы снова говорили о чем-то. Во всей обстановке чувствовалась приятная суета, напоминавшая подготовку к какому-то значительному семейному празднику. Супруги находились в приподнятом настроении и шутили со мной и друг с другом.

Часам к четырем перед домом остановился черный внедорожник, покрытый изрядным слоем пыли. Первым к калитке выбежал Ванька, за ним поспешили Саша и Дарья.

Я стоял у окна и наблюдал за тем, как братья пожали друг другу руки и обнялись. Говорили они негромко, так что слов было не разобрать. Александр и Станислав были похожи, почти одного роста, но при этом между ними существовала колоссальная разница – ее я заметил позже, когда мы сидели за столом.

Из машины вышла и жена Сашиного брата. Ее имени я не запомнил – то ли Таня, то



ли Полина. Она сухо улыбнулась, в ее позе, в том, как она держалась, чувствовалось какое-то нетерпение. Я увидел, как она, вытащив из сумочки салфетку, стала протирать правое крыло автомобиля от пыли. Потом позвала Стаса и стала на что-то указывать. Трое осматривали, видимо, какую-то царапину под разными углами в течение нескольких минут, прежде чем, наконец, прошли в дом. Я почему-то обратил внимание, как то ли Таня, то ли Полина открыла входную дверь: взявшись за ручку, она тут же украдкой протерла длинные тонкие пальцы той же самой влажной салфеткой. Но этого не заметил никто, кроме меня.

А в деревенских домах часто бывает так, что хозяйева случайно хватаются руками за ручку входной двери, когда несут корм животным на дворе. Видимо, Дарья в спешке тоже оставила там какую-то крупицу, даже не заметив этого.

Я вышел навстречу гостям, нас представили друг другу. Стас зачем-то снова надел туфли и вышел на улицу.

– Сейчас придет, – сказала то ли Таня, то ли Полина.

Запахавшийся Сашин брат вернулся с картонной коробкой:

– Это вам.

– Да ты что, зачем? А что это?

– Это... йогуртница, – ответила за Стаса его жена.

– Спасибо. А как ей пользоваться? – спросила Дарья.

– Вещь очень хорошая. А как пользоваться... – там все в инструкции написано. Да, Стас?

Он кивнул головой.

– А, кстати, помнишь, насос для лодки, что ты мне в прошлый раз привозил, до сих пор работает. Такой удачный оказался, – как-то не вовремя встрял в разговор Саша.

– А-а... Хорошо, – пробормотал брат. – Да, насос, помню...

Разговор за столом начался с царапины на крыле:

– Представляете, ехали, и от встречной машины камень прямо здесь, в повороте по

краске чиркнул. Мы не сразу даже заметили, – сказал Станислав.

– И что теперь?

– Да это не страшно. Но, знаешь ли, к страховщикам надо будет идти по поводу ремонта. Там еще есть повреждения, но это все по страховке устраняется. Мы так всегда делаем. И в сервис надо бы съездить – «автомат» чего-то постукивать начал.

– А сколько пробег?

– Тридцать тысяч с небольшим. Так все дорого становится. Столько хлопот. А мы еще старую машину никак не продадим.

– Все-таки надумали продавать?

– Да, но два салона невыгодные условия предлагают. Вот в понедельник я еще поеду в один.

Он что-то еще рассказывал про автомобиль, но что именно, я уже не помню. Наверное, я просто не слушал. Теперь у меня была возможность посмотреть на лица двух братьев: они были удивительно разные, такими же, вероятно, были и их натуры с набором всех человеческих свойств и качеств. Саша старался оживить разговор, но у него это не получалось: он как будто бы перебирал по одному множество ключей из связки, но никак не мог найти подходящий, чтобы отпереть замок. А может, этого ключа и вовсе теперь не было?..

То ли Таня, то ли Полина сидела молча, вероятно, нервничая. Ела она совсем мало. Нервозность эта, как я догадывался, имела постоянное, а не периодическое свойство. Эта была ее черта. Из рук она не выпускала телефон:

– Ваня, а интернет у вас всегда так работает? – обратилась она к подростку.

– Не знаю... – замялся он. – У меня, вот... – он вытащил из кармана простенький кнопочный телефон с облезшими клавишами.

– И ты без интернета обходишься?

– Ну да, а что?.. – мальчик искренне удивился. – У нас на компьютере есть. Но я редко, раз в неделю там копаюсь. Некогда, знаете...

Она едва заметно скривила губы и вновь ушла в киберпространство, изредка отрывая глаза.



Утром следующего дня Стас с женой уезжали раньше меня: им надо было торопиться. Их ждали салоны, кредиты, шопинг. Саша старался держаться весело и непринужденно. Вдоль стены дома, на полянке, залитой солнцем, стояли батареи банок, солений и варений, пакеты, заботливо завязанные и подписанные рукой Дарьи. В руках у нее самой был букет только что сорванных цветов.

Саша суетился, вспоминая, все ли они вынесли на двор, к машине. Стас неторопливо загружал багажник. То ли Таня, то ли Полина вновь рассматривала царапину на крыле.

– Ста-а-а-с. Смотри, и здесь еще! Как же мы вчера не заметили?! – тонким голосом протянула она.

– Подожди, приедем, разберемся.

Саша спохватился:

– Дарья, Даша! А картошку-то забыли! Сейчас принесу.

Он через минуту-другую возвратился с половиной мешка картофеля, завернутого еще

в тряпицу сверху, чтобы не запылить автомобиль брата.

– Вот и морковь еще, здесь, в пакете.

– Сколько? – грузно повернувшись, спросил Стас.

– Ну картошки килограммов пятнадцать, а морковки – не знаю, три, наверное. Она хорошая, сладкая такая...

– Не-е. Сколько я должен?

– В смысле?

– Ну это же работа ваша, сам понимаешь...

Саша на мгновение застыл, потом поднял глаза и посмотрел на брата. Взгляд этот был жалким, как у несправедливо побитой хозяином собаки...

– Мы люди не бедные. Ты что это надумал?..

По дороге домой мне стало ясно, что даже в своем возрасте я ничего еще не смыслю в этой жизни...

ПИАНИНО

Начало сентября. Вечереет. Мы стоим на горбатом мостике и смотрим на колеблющиеся отражения в воде. Верхушки деревьев гладит своими руками пока еще теплый ветер. Похоже, будет дождь. Поверхность водоема гладкая, как лед зимой. Так и хочется бросить об неё какой-нибудь камушек, чтобы посмотреть, как крошечные волны начнут разбегаться по кругу от того места, где он упадет в воду.

В укромном уголке замечаем какой-то новый силуэт. В сумерках и не разглядишь сразу, что это такое.

– Пойдём, посмотрим?

– Пойдем, – соглашаюсь я.

Через несколько шагов становится ясно, что это пианино. В парке. Под мостом.

– Какое чудо! – восклицает та, что стоит со мной рядом.

– Чудо – это ты!

– Да нет же, посмотри – это настоящее пианино, – она бросается к нему, оставляя

мою руку. Кажется, будто всё её внимание и существо устремляются только к одному объекту. Не только здесь – в парке, в городе, стране, но и в целой Вселенной...

Я замечаю огонёк в её глазах.

«А может, и правда – чудо?... Но ведь... Ведь это же неправильно – бросать инструмент (конечно, если он рабочий и настоящий) прямо здесь, под мостом. Ведь скоро от сырости покоробится и расклеится древесина...»

Судя по внешнему виду, инструмент старый, сработанный на совесть, добротный и обстоятельно.

А чудо уже открывает крышку клавиатуры и начинает извлекать стройные, гармонические сочетания, которые для меня были, есть и останутся непостижимыми и недостижимыми. Я закрываю глаза. «Верно, что-то из Шопена...»

Она играет, а я слушаю и следую за ней. Она идет по нотному стану, вдоль по линей-



кам, снимая с них сами ноты, и бросает их в этот инструмент, прямо на клавиатуру. А я иду следом и удивляюсь, как это она не проронит, не пропустит ни одной: все ложатся ровно на свои места.

- Расстроено, – с грустью произносит чудо.
- Продолжай. Пожалуйста.

И она продолжает, кажется, ещё лучше, ещё энергичнее, вкладывая себя в эту музыку. А старое пианино отвечает взаимностью, будто добрый знакомый.

Минут через пять где-то в его глубине замирает последняя нота и я, еще не открыв глаза, слышу, как опускается крышка – легко, почти без стука.

- Мы же будем приходить сюда?
- Обязательно.

«Не буду говорить ей...»

- Ты молодец!

Мы становимся поодаль, а к пианино подбегает мальчонка лет пяти и требует родителя приподнять его над землей, чтобы тоже сыграть. Под неловкие удары по клавишам все вокруг хохочут. Весело...

Проходит еще несколько минут, и на площадку к пианино спускаются молодые люди в косухах, богато убранных металлическими побрякушками. Один, высокий, с немытыми длинными волосами резким движением откидывает крышку так, что старое пианино издает недовольный треск. За этим следуют несколько грубых ударов по клавишам, которые молодой совершает в попытке воспроизвести одну из незамысловатых мелодий, засевших в червоточинах его мозга.

Мы разворачиваемся и уходим. Но обязательно вернемся снова.

Похоже, что чудо всерьез подружилось с пианино, которое стареет на глазах – на нём появляются царапины, заботливо нанесённый кем-то лак слезает от капризов погоды, само дерево набухает от осенней влаги и коробится. Но тем не менее, голос этого удивительного инструмента всё ещё слышен. Пианино живёт...

Мы возвращаемся сюда вновь лишь спустя два месяца – ведь и в жизни случается

такое, что не находится времени на старых друзей. К сожалению.

Первые морозы начинают сковывать землю, покрывая её едва заметной стеклянкой корочкой, ещё легко крошащейся под ногами. Пруд замерзает от краёв, оттуда, где мельче, а центр его всё ещё нетронут, и в нём по-прежнему можно любоваться причудливыми отражениями.

Мы подходим к горбатуму мостику и замечаем женщину лет восьмидесяти, стоящую на противоположном берегу, как раз над ступеньками, ведущими к пианино.

Мы проходим дальше. «Мне кажется, или старушка смотрит на нас как-то особенному?» – думаю я. И действительно, поравнявшись с ней, мы слышим её голос:

- Ребята, а не можете мне спуститься по ступенькам? Больно уж они крутые.
- Конечно, поможем!

Мы берём её под руки, каждый со своей стороны. Старая женщина беспомощно водит в воздухе палкой с металлическим набалдашником, пытаясь куда-нибудь её пристроить, пока я, наконец, не забираю её.

Около пианино стоит окрашенная зеленым лавочка, на которую мы усаживаем старушку.

- Спасибо. Спасибо вам, что не постеснялись старого человека, подошли...
- Да что вы... – в унисон отвечаем мы.
- Заметно, что голос чуда слегка дрогнул.
- Вы торопитесь? – спрашивает старушка.
- Нет, совсем нет, – опережает меня чудо.
- Да, то есть нет... – сбиваюсь я. – Не торопимся.

– Ведь через месяц с небольшим Рождество, верно? Я так жду и Нового Года, и Рождества, сколько себя помню. Всю жизнь. Есть в этих праздниках что-то доброе и светлое. И я помню почти всё, что происходило в эти дни. Сейчас в памяти всплывает один эпизод. Мы отмечали Новый Год. Мои ребята, ученики, подготовили прекрасный концерт. Было это лет двадцать с небольшим назад. Вот представьте: самый конец декабря, на улице уже совсем темно, а мы сидим в тёплом зале, посередине которого стоит расцвеченная огнями ель. В воздухе – аромат



свежей хвои. На сцене стоит пианино. Огни в зале приглушены, а над пюпитром прикреплена небольшая лампочка, освещающая ноты.

Одна из моих учениц, Маша, решила поставить на время исполнения произведения подсвечник прямо на пианино, зажгла свечи. И в самом конце, когда она закончила играть и прозвучала финальная нота, зал аплодировал, она встала и каким-то образом задела канделябр. Одна свеча выскочила и упала на лакированную поверхность, оставив след, шрам на нашем любимом инструменте.

– Вы, должно быть, расстроились?

– Да я уж и не помню... Нет, это не повод расстраиваться. Как тебя зовут, деточка? – обращается она к чуду.

– Таня.

– Таня, подойди к этому пианино, посмотри на его поверхность там, справа, ближе к задней стенке.

Чудо подходит и смотрит на инструмент.

– Да, здесь что-то есть. Видно даже сейчас.

– Это то самое пианино? – в один голос спрашиваем мы.

– Оно... Оно самое. Такие шрамы не заживают.

– Так вы играли на нём?

– Да, целых сорок лет. Я выросла и старела вместе с ним. Сейчас уже всё меньше остаётся... Ну, вы понимаете... – приглушенно произнесла она и задумалась. Затем старушка засунула полупрозрачные кисти в рукава, чтобы согреть их. – Танечка, сыграй что-нибудь, – тихо просит она.

– А откуда Вы знаете, что я играю?

– По глазам видно. С моим-то опытом... Сыграй, прошу тебя.

Чудо открывает крышку клавиатуры и пробует пару клавиш. Звука нет. Они опускаются почти бесшумно, не находя препятствия, с какой-то едва воспринимаемой сипотцой.

– Как же... – Таня опускает глаза, – как же теперь играть?

Она заглядывает внутрь, под крышку. Все молоточки выворочены, а механизм совершенно и окончательно испорчен.

Пожилая женщина встает.

– Возьмите палку, предлагаю я, помогая ей подняться на ноги.

– Нет, нет, не надо. Не беспокойтесь. Вот, теперь руки совсем отогрелись, теперь хорошо.

Она подходит к пианино с какой-то новой энергией, неизвестно откуда взявшейся в этом ветхом, слабом теле и опускает руки на клавиатуру. Заметно, как плохо разгибаются некоторые суставы. – Слушайте!

Пальцы её скользят по зebre клавиш. Мы стоим рядом, почти онемевшие, и не говорим ни слова.

Чудо поворачивается, обращая на меня удивлённый взгляд широко раскрытых глаз:

– Это вальс си-минор. Шопен, – шепчет она.

– Да, Танечка. Ты слышишь его! – старушка продолжает играть.

– Слышу! Определённо слышу...

И я слышу в тишине парка эту мелодию.

Старушка, закончив играть, поворачивается к нам:

– Пойдем?

Она закрывает клавиатуру и проводит ладонью по её холодной поверхности.

– Прощай, друг... – едва слышно произносит она.

Втроём мы поднимаемся по ступенькам.

Вечереет.



Ирина БУДАЧЕНКОВА

ТВАРДОВСКИЙ И ГЛИНКИНСКИЙ РАЙОН

«Не раз уже упоминал о своеобразных «мобильных Твардовских чтениях», которые проводит Смоленский общественный совет совместно с библиотекой им. А.Т. Твардовского. Казалось бы, ничего особенного: просто выезжают в район смоленские «твардовсковеды», работники культуры, писатели, поэты – авторы и издатели нового литературно-краеведческого журнала «Смоленская дорога», книг о смолянах и Смоленщине... Так, на яблочный спас попали мы в Болдинский монастырь, из Шумяч отправились в Петровичи, на родину мировой знаменитости – фантаста Айзека Азимова, в Глинковском районе посетили «твардовские места».

Впрочем, «твардовские места» – слишком громко сказано. Ни в Ляхове, ни в Белом Холме, ни в Язвине никаких материальных следов не осталось. Нет бывших помещичьих усадеб, в которых размещались знаменитые Ляховская и Белохолмская школы, нет даже следов церкви, где крестили Александра...», – в статье «Время, люди, камни...», опубликованной в одном из номеров журнала «Смоленск» за 2009 год, – делится впечатлениями журналист Петр Привалов.

Что тут скажешь? Что возразишь? Действительно, камня на камне не осталось от бывших «твардовских мест». Но согласитесь, что и в том же родном для Твардовских Загорье долгие годы царило такое же запустение и уныние. Слава Богу, что вспомнили об этом уголке и воссоздали его вновь. Кто знает, может, и до «глинковских твардовских мест» когда-то придет очередь. Во всяком случае, хочется на это надеяться. Тем более, что Александр Твардовский – имя в русской литературе не рядовое.

Так все начиналось

С Глинковским районом у Твардовских связано немало. Более того, на этом угол-

ке земли, именуемом сегодня Глинковским районом, все начиналось. Вряд ли сегодня кто-то, кроме людей, подробно занимающихся исследованием биографий Твардовских, известно, что мать А.Т. Твардовского Мария Митрофановна в 1888 году была крещена в церкви села Словаж Лобковской волости. Сегодня это местечко входит в состав Глинковского района. В деревню Белкино Ельнинского уезда (ныне Глинковский район) Смоленской губернии, из деревни Бар Краснинского уезда переехали родители поэта. Здесь в начале прошлого века родился старший брат Александра Трифоновича – Константин Трифонович Твардовский. О факте крещения Александра в церкви села Язвино известно повсеместно. Случилось это летом 1910 года. В деревне Чернево (тоже наши места) появился на свет один из младших братьев – Иван Трифонович. «В метрической книге церкви села Ляхово Смоленского уезда 5 ноября 1915 года зарегистрирована смерть Г.В. Твардовского, умершего в возрасте 94 лет от «натуральной болезни», – пишет о кончине деда поэта краевед и журналист В.Д. Савченков в книге «Хутор-хуторок».

Интересно раскрывается тема «Твардовский и Глинковский район» и в статье М.А. Бароненкова «Малоизвестные факты из жизни поэта», опубликованная в нашей районной газете в апреле 1989 года, а также в воспоминаниях родственников и однокашников поэта.

Спасибо его учителям

Не открою чего-то нового, если скажу, что каждая выдающаяся личность начинается с учителя. Повезло человеку – встретил он на своем пути учителя необыкновенного, одержимого своим делом и любовью к детям, все в его жизни сбудется. Не повезло – равно-



душный попался преподаватель, считай – талант загублен. Александру Трифоновичу Твардовскому повезло в этом плане не единожды. Да он и сам понимал это как никто. О своих учителях, Марфе Карповне и Ульяне Карповне, которые могли донести до сознания детей красоту и величие русского языка и литературы, тепло говорил поэт в своей речи на Всероссийском съезде учителей 7 июня 1960 года. Эти две замечательные женщины, сестры Галактионовы, встретились будущему поэту в обычной сельской школе села Ляхово, что была в четырех-пяти верстах от хутора Загорье. Туда отец Трифон Гордеевич Твардовский отправил учиться в 1920 году сразу обоих своих сыновей: Константина – в пятый класс, Александра – в третий. К.Т. Твардовский вспоминал: «Ляховская школа размещалась в доме помещика Бартоломея. Дом был двухэтажный, большой, с печным отоплением. Учились мы с Александром не лучше других, но и не хуже. Русский язык давался Александру лучше, чем другим ученикам, а остальное – так, на среднем уровне. Иногда мы в плохую погоду ночевали в школе, спали на полу; набиралось таких ночлежников, бывало, до двух десятков. Видимо, чтобы предупредить излишнее баловство, вечером к нам приходила Ульяна Карповна с томиком Гоголя и вслух читала нам рассказы».

Исследовательница творчества А. Твардовского Р.М. Романова в одной из своих работ писала: «Не с Ляховской ли начальной школой связывал впоследствии Твардовский свои первые, уже сознательные опыты стихосложения, когда отмечал: «Писать начал с десяти лет».

Братья поэта подтверждают это предположение. Иван Трифонович вспоминал: «Уже тогда, в Ляховской школе, брат между сверстниками слыл «поэтом»...»

В 1922 году Александр Твардовский окончил четвертый класс, а так как пятый класс в ней был упразднен, пришлось искать новую школу. Один год поэт учился в Егорьевкой школе, а затем в его жизни была Белохолмская трудовая школа, куда он поступил осе-

нью 1923 года. Годы учебы в ней оставили, по высказываниям самого А.Т. Твардовского, самые яркие воспоминания.

«На высоком левом берегу реки Свиной, на холме, возвышался белый трехэтажный кирпичный дом. На восточной стороне этого дома, выходящей к реке Свиной, была великолепная терраса, окупанная кустарниками..., – вспоминал одноклассник поэта Г. Т. Сиводедов, – два первых этажа этого великолепного здания были заняты классными комнатами...»

При школе, по воспоминаниям бывших учеников, была, довольно большая, библиотека, куда попали книги из частных помещичьих собраний. Для страстного книгочея Александра Твардовского это было очень важно. Он самозабвенно получал знания из книг, серьезно продумывая каждое прочитанное произведение. В характеристике, которые обычно давались на учащихся, значилось, что ученик Александр Твардовский имеет выдающиеся способности к русскому языку. К нему же он проявляет большой интерес.

Одноклассники отмечали, что уже в ту пору А. Твардовский обладал более правильной литературной речью, был значительно начитаннее своих сверстников.

В течение года учебы в Белохолмской школе Александр Твардовский был всецело поглощен написанием стихов. Иногда он пытался показать написанное своим наставникам.

И вновь доброе слово хочется сказать о педагогах. В Белохолмской школе в двадцатые годы были подготовленные педагоги, многие из них имели университетское образование.

Рассказывая об учителях, нельзя не вспомнить о еще одной неординарной личности, которую юному Твардовскому довелось встретить именно в стенах Белохолмской школы. Два раза в месяц в Белый Холм приезжал, назначенный ГубОНО, Борис Игнатьевич Коваленко, который впоследствии стал профессором, членом-корреспондентом Академии педагогических наук РСФСР, крупным ученым.



В Белохолмской школе он устраивал «суды» над героями изучаемых литературных произведений. Он, будучи личностью яркой, смог привить ученикам любовь к родной литературе: обучал учащихся навыкам литературного рекламирования, развивал эстетические вкусы школьников. В письме к Б.И. Коваленко в декабре 1960 года А.Т. Твардовский писал: «Я хорошо помню Вас и очень признателен за доброе Ваше участие в моей судьбе в давние годы ранней юности».

Первые трудовые

С Глинковским районом у А. Твардовского связано и начало трудовой биографии. Его первые трудовые годы пришлось на 1924, 1925... годы. Лишь в 1928 году Александр Трифонович переезжает в Смоленск.

После того, как Белохолмская школа закрылась, перед Александром Твардовским встал вопрос о трудоустройстве. Первым местом работы будущего поэта была Староханинская школа, куда он пришел пионервожатым. Жить он определился в дом своих друзей Сиводедовых.

В 1925 году по рекомендации местной партачейки А. Твардовский стал работать секретарем Ляховского сельсовета. Трудно представить, но на тот момент секретарю было всего пятнадцать лет. Грамотный, серьезный, он пользовался авторитетом у местного населения. Столь юный возраст не мешал Твардовскому делать серьезные дела. Он активно борется с неграмотностью среди взрослого населения, посещает кустовые комсомольские собрания в Язвине, читает стихи на сельской сцене, активно сотрудничает с областными газетами. Позже А.Т. Твардовский напишет: «В Язвине мы проводили кустовые, как они тогда назывались, комсомольские собрания окрестных организаций. И сколько было там молодости, споров, волнений и песен. Неповторимое время!»

С января 1925 года Александр Твардовский пишет довольно острые заметки в губернские газеты. Через год Твардовский

участвует в слете селькоров. Там он впервые знакомится с Михаилом Исаковским.

На всех одна беда

В одной из публикаций о А.Т. Твардовском мне встретился интересный факт. Оказывается, что когда в начале 1930 года в Ляхове была организована сельскохозяйственная артель, в нее вступила и семья Твардовских. Колхозная жизнь была недолгой.

Семья Твардовских, как и многие крестьяне в тридцатые годы, была раскулачена и выслана в Уральский (ныне Свердловский) район. Реабилитированы Твардовские спустя 65 лет решением комиссии УВД Смоленской области от 30 января 1996 года..

Признаться, для меня шокирующим открытием было упоминание о том, что раскулачиванию Твардовские были подвергнуты согласно решению Глинковской районной особой комиссии. Оказывается, не только добрые воспоминания связаны у Твардовских с Глинковским районом. Но факты – вещь упрямая. Давайте вновь вернемся к книге В.Д. Савченкова «Хутор-хуторок». Автор книги первым знакомит широкую читательскую аудиторию с выдержкой из архивных материалов дела № 34188 в отношении трудоселенца Трифона Гордеевича Твардовского. В них говорится: «На основании решения Глинковской районной особой комиссии по раскулачиванию от 19 марта 1931 года Твардовский Трифон Гордеевич был признан кулацким элементом и подвергнут политической репрессии по классовому признаку – раскулачиванию и выселению из дер. С-Загорье Смоленской области. Вместе с ним были высланы и находились на спецпоселении в Н-Туринском районе Уральской (ныне Свердловской) области – жена Мария Митрофановна (1888 г.), дети – Константин (1908 г.), Анна (1912 г.), Иван (1914 г.), Павел (1917 г.), Мария (1923 г.), Василий 1927 года рождения».

Основание: применение и вид репрессии по политическим мотивам в административном порядке:



Постановление ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 года «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством».

За сухими строчками архивных документов не разглядеть той боли, тех невероятных мучений и страданий, что выпали на долю Твардовских. Но они были, и этого из жизни не вычеркнешь. Иван Трифонович Твардовский в своей книге «Родина и чужбина» так описал свое чувство страха за семью: «Во второй половине 1936 года Александр Трифонович, переезжая в столицу на жительство и учебу в Московском институте философии, литературы и истории (МИФЛИ), свою жилплощадь (комнату, где проживал в Смоленске со своей семьей) в двухэтажном доме на улице Краснознаменной передал семье отца, которая прибыла в Смоленск в июне того же года из Русского Турека. Изредка я получал письма от родителей. Из них мне было известно, что в смоленских газетах появлялись публикации, в которых утверждалось о якобы кулацких тенденциях в творчестве А. Твардовского. Меня беспокоило и то, что я не был уверен, что Александр Трифонович точно знает, каким образом наш отец смог перевезти семью из Зауралья на среднюю Вятку. А вдруг, думал я, ему ничего неизвестно о том, что отец самовольно оставил место ссылки, если нет, так это же риск! И переписка моя потому была крайне сдержанной, чтобы поменьше было известно, кто и где находится.

И тут вот такая неожиданность. В том же 1936 году, в августе, придя в общежитие, я увидел нового, поселившегося на соседней койке человека в воинской форме. Нет, он

ничем не был похож на сотрудника НКВД — демобилизованный красноармеец из какой-то технической воинской части, назвался по фамилии Долбежкин, я назвал свою фамилию — Твардовский. Так вот мы и познакомились. Он рассказал, что служил один год, поскольку имеет среднее образование, устроился на «Можерез» крановщиком, комсомолец. Затем перевел разговор на то, что фамилия Твардовский ему знакома, что в Глинковском районе, на его родине в Смоленской области, были Твардовские и что теперь их там нет: раскулачили и куда-то сослали. Я, право же, ничего не мог сказать, что невнятное промямлил, как бы про себя: «Н-да-а...», сам подхватился, как бы узнать насчет чая, к титану, а в лицо, почувствовал, хлынул жар, будто приблизился не к титану, а к электропечи.

Пока я ходил да готовил чай, наш новый сосед познакомился и уже беседовал с моим товарищем Ваней Белофастовым. Мало-помалу, овладев собой, я смог предложить чай — от сердца отлегло».

У нас бывал еще не раз

На Глинковскую землю Александр Трифонович Твардовский возвращался потом еще не один раз. Известно, что у нас в районе он бывал, работая разъездным корреспондентом областных газет, в конце 20-х годов. В 1935 году он посетил Глинковский и соседние районы вместе с Михаилом Исаковским. В годы войны он также посещал родные места и в своем очерке «На родных пепелищах» есть строки о той боли, которую он испытал, увидев разоренное, так знакомое ему, Ляхово.

ТВАРДОВСКИЙ И ПРИСТАВКИН – БОЛЬ ОДНА НА ДВОИХ...

Глинковский район – лишь маленькое пятнышко на карте огромной России. Не разглядеть его торопливому глазу, а впрочем, и не отмечен он там. Слишком мал, чтоб быть

замеченным... «Да и что у вас там особенного, в вашей Глинке? Какие такие люди, великие душой, к ней прикипели?» – спросят с нескрываемым равнодушием те, кому до



западном пограничном краю нашей страны она во все времена первой принимала удары от недругов, приходящих с запада. А в эту минувшую войну, очевидцы мне рассказывали: отсвет горевшего Смоленска, полыхающее над ним кроваво-багровое небо было видно за сотню километров. Людям казалось, что наступил конец света.

Но и здесь, в деревнях, война творила свое беспощадное дело. Меня поразило, что через два-три десятка лет о войне жители в деревнях говорили так, будто она произошла вчера; такую незаживающую рану оставила она в душе каждого смолянина. Да посчитайте сами: в том же Глинковском районе было до войны сорок тысяч жителей, ныне осталось едва шесть-семь. И так по всей области. Она до сих пор, мы же об этом не пишем, не знаем, не добрала до довоенной численности населения. Ну а символом особой жестокости стала соседняя с Белым Холмом деревня Ляхово, ее называли второй Лидицей, фашисты сожгли в домах 384 человека, в основном стариков, женщин и детей».

Как тут не вспомнить знаменитого очерка А.Т. Твардовского «На родных пепелищах». Нет конца боли и скорби... «Обезображена, изуродована вся моя родная местность. Нет сил и действительно нет слов, чтобы рассказать об этом по живому впечатлению. Каждый километр пути, каждая деревушка, перелесок, речка – все это для человека, здесь родившегося и проведшего первые годы юности, свято особой, кровной святостью. Все это часть его собственной жизни, что-то глубоко внутреннее и бесконечно дорогое. И видеть все это таким, каким оно выглядит после немцев, – это почти физическая боль... Язвину сожжено. Нет церкви, нет школы... Ляхово, памятное мне тремя годами обучения в начальной школе и ярмарками на духов день, полностью сожжено немцами летом 1942 года. Сожжено с людьми. В огне погибло около двухсот жителей, главным образом женщин и детей».

Александр Твардовский, военный корреспондент, изрядно поколесивший по фрон-

там, многое видел своими глазами, но речь от встречи с разоренным родным краем оставила в сердце незаживающую рану. Нет ничего страшнее, чем разоренная родина. И эта боль в произведениях А.Т. Твардовского и А.И. Приставкина.

Нет сомнений в том, что А.Т. Твардовский с огромной любовью относился к нашим местам. Сколько у него стихов о Смоленщине! Даже о родной для нас с вами Глинке есть строки. Помните:

*Здравствуй, пестрая осинка,
Поздней осени краса.
Здравствуй, Ельня!
Здравствуй, Глинка!
Здравствуй, речка Лучеса!*

Помнил, одним словом. Знал, что нет ничего более святого, чем то место, где начинал, куда бегал пацаном по родным дорожкам.

Для Анатолия Приставкина, родившегося в городе Люберцы Московской области, небольшие деревеньки Глинковского района тоже стали родными. Для него свято все, что связано с его родом, с его корнями. Если можно так сказать – это связь на генном уровне. Не единожды он приезжал сюда по зову сердца и по приглашению глинковцев тоже. Думаю, с повестью знаменитого российского писателя «Белый Холм» знакомы многие. А нам, жителям того района, что стал объектом внимания самого Анатолия Приставкина, и сам Бог велел прочесть эти страницы.

Об авторе говорят, что он часто исповедовался перед читателем. «В полной мере это удалось Приставкину в повести «Белый Холм»... Автор предстает зрелым, много пережившим человеком, отцом двух детей, когда семья, игравшая в его жизни чрезвычайно важную роль, распадается, и он растерянно останавливается, потому что не может представить, как ему жить дальше. Именно в этот момент отец писателя предлагает ему совершить поездку на свою родину – Смоленщину, в село Белый Холм. Об этом путешествии Приставкиных в места,



где многие века жил их род, и рассказывает повесть. Жизнь нескольких поколений семьи Приставкиных становится фактом литературы, автор раскрывает ее перед читателями как срез с истории жизни народа. Именно в этом коренное отличие повести Анатолия Приставкина от многих внешне похожих на нее сочинений, герои которых, запутавшись в сложностях городской жизни, совершают паломничество на «землю предков», чтобы через древние корни своего рода впитать в себя соки родимой почвы и, пережив возрождение, вернуться назад. В повести «Белый Холм» речь идет о более сложной связи поколений, которую автор ощущает постоянно», – писала критика.

В дорогой Анатолию Приставкуину Белый Холм и его окрестности он вернется позже, в 2003 году. Не уйдет эта тема и из его творчества. Думаю, не многие знают о том, что несколько лет назад из-под пера А. Приставкина вышла документальная повесть «Первый день – последний день творения», где писатель, в том числе, делится и своими впечатлениями от посещения Глинковского района: «Первый раз побывал я в родной деревне отца до войны, в классе втором, и запомнил избу, деда с бабкой, пирог с картошкой, землянику в лесу. А отец мой, ровня Александру Твардовскому, бегал с ним в школу, тоже во второй класс, из соседних хуторов: Загорье и Радино. В последний же раз приезжал я сюда с отцом, который был в моем позднем, нынешнем, возрасте. Так и сказал: попрощаться. Мы тогда взяли моего сына Ванюшку и племянника Павлика, подростков, теперь-то им под сорок. А привечала нас дальняя родня: Нина и Михаил, которые переехали из ликвидированной деревни Спасской сюда, в Белый Холм, на центральную усадьбу...»

А потом Анатолий Приставкин вспоминает, как принимали его на родине отца и деда в последний его приезд: «...Так вот она-то вострепетала, моя бедная, моя несчастная родина. И если говорить о стыде... Стыдно, когда она зовет, а ты делаешь вид, что не

слышишь. Поехал я, в общем... Надо ли описывать, что встречи на родине особенно трогают: дети на центральной площади встретили хлебом-солью, а потом под гармошку играла женщина, нам пропели старинную приветственную песню. А далее вместе с земляками возложили венки к могиле Неизвестного солдата.

Мне приходилось участвовать в торжественном ритуале возложения венков к вечному огню у Кремлевской стены, это всегда волнует. Здесь, в Глинке, было как бы менее величественно, зато по-человечески трогательно. И дети, слава Богу, их было много на митинге, пронесли торжественно венок, сплетенный ими из хвои, и положили к подножию памятника, где врезаны в стену сотни имен воинов, отдавших жизнь за освобождение Глинки. Но не все, не все. Вот опять я услышал, что к этому дню собраны останки еще нескольких сотен. Сколько же их пало, что до сих пор собираем и собираем... И не можем собрать... Страшный урожай далекой войны!»

Далее Анатолий Игнатьевич, делаясь впечатлениями, то и дело упоминает о том, что здесь, на Смоленщине, в Глинковском районе, он часто вспоминал своего старшего брата по перу. Ни на минуту он не забывал о том, что именно эта земля роднит его с А.Т. Твардовским. И даже на приглашение приехать сюда еще он готов был ответить стихами Александра Трифоновича. Вот как он пишет об этом: «Я киваю. Ну, что сказать. Разве что стихами поэта... “Скоро ль, нет ли, не знаю, вновь увижу свой край... Здравствуй, здравствуй родная... Сторона. И – прощай!»

Жаль, но та поездка на празднование 60-летия освобождения Глинковского района действительно оказалась последней. Через некоторое время Анатолия Игнатьевича Приставкина не стало. Однако Глинковский район до сих пор остается тем уголком земли, где помнят и чтят своих знаменитых земляков, и два великих имени – Александр Твардовский и Анатолий Приставкин – для его жителей свои, родные.



Александр МОРОЗОВ

ОБЪЕДИНЁННЫЕ ЛИТЕРАТУРОЙ

Развивая трансграничное сотрудничество, в рамках мероприятий ко Дню единения народов Беларуси и России 22 февраля 2016 г. состоялся видеомост между белорусским Островцом и российским Смоленском. Литераторы смоленской областной организации Союза российских писателей и авторы районного объединения «Островецкой земли голоса» рассказали о своих городах, о работе своих писательских организаций, обсудили современные литературные процессы и ближе познакомились с творчеством друг друга. Кроме того, благодаря данному видеомосту были налажены контакты между смоленской областной и островецкой районной библиотеками и островецких библиотекарей пригласили принять участие в научно-практической конференции, которая будет проходить на базе Смоленской областной библиотеки. Приятно было увидеть своих старых друзей: Владимира Макаренкова, который более десяти лет возглавляет Смоленское отделение Союза российских писателей, Любовь Сердечную, прекрасную поэтессу и автора-исполнителя, с которой

мы познакомились в белорусском Полоцке на фестивале «Славянская лира» и других авторов Смоленска, многих из которых очень многое связывает с Беларусью. Островецких авторов, присутствовавших на этой встрече, тоже многое связывает с Россией. Кто-то там родился, у кого родители и родня живут там.. Капиталина Петровская и Людмила Кухаревич, Инесса Богдевич и Мария Пяшко, Светлана Батилева и Александр Морозов читали свои стихи. На встрече звучала русская и белорусская речь и все отлично понимали друг друга. Послушать поэтические строки пришли наши библиотекари и ценители художественного слова. Данута Францевна Чарнушевич, долгое время возглавляла культуру в Островецком районе, а сейчас находится на заслуженном отдыхе, она высоко оценила уровень прошедшего мероприятия и пожелала всем удачного продолжения начатого. Присутствовал и при общении литераторов двух стран и представители СМИ, которые освятят прошедший видеомост на страницах своих газет – это важное для сближения наших стран культурное событие.



Зинаида ПАСТУХОВА

НОВЫЕ СКУЛЬПТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ СМОЛЕНЩИНЫ

В последние годы в городе Смоленске и в районных центрах области появились скульптурные памятники, связанные с именами и событиями, которые имеют значение для всей российской истории и культуры.

Среди новых памятников в городе Смоленске – памятник замечательному российскому писателю Борису Львовичу Васильеву.

Когда в 1971 году на экраны нашей страны вышел фильм «Офицеры», многие зрители ходили смотреть его по несколько раз подряд. В 2011 году Россия отметила дату – 40 лет, как этот фильм пользуется любовью у зрителей. Это был гимн русским офицерам. Фраза из него «Есть такая профессия – Родину защищать» вошла в народ.

Потом появились еще фильмы, ставшие классикой советского кино – «А зори здесь тихие...», «Аты-баты, шли солдаты», «Не стреляйте в белых лебедей», «Вы чье, старичье?» и другие.

А всего по сценариям писателя Бориса Львовича Васильева на экраны нашей страны вышли 15 фильмов.

Он родился в довоенном Смоленске, в семье кадрового офицера Царской, позднее – Красной и Советской армии (отец ушел из жизни в 1968 году). Мать – Елена Николаевна – была из дворян.

В Смоленске он пошел в школу. Позднее всегда вспоминал свое детство здесь. Любил этот город. И писал: «Мне сказочно повезло: я издал свой первый вопль и увидел свой первый свет в городе Смоленске... История раскачивала народы и государства, и людские волны, накатываясь на вечно пограничный Смоленск, разбивались о его стены и стойкость защитников, а брызги оседали в виде польских кварталов, латышских улиц, татарских пригородов, немецких концов и еврейских слободок. И все это разноязычное, разнобожье и разноукладное население лепилось вокруг крепости, возведенной

Федором Конем еще при царе Борисе, и объединялось в единой для всех формуле Житель Города Смоленска... Здесь был край Ойкумени Запада и начало ее для Востока... И каждый тащил свои пожитки, если под пожитками понимать национальные обычаи, семейные традиции и фамильные привычки... И Смоленск был плотом, и я плыл на этом плоту среди пожитков моих разноплеменных земляков через собственное Детство...».

3 июля 1941 года Борис Васильев ушел на фронт добровольцем в составе комсомольского батальона и был направлен под Смоленск. Здесь он попал в окружение, но в октябре 1941 года подразделение вышло из него.

Во время воздушного десанта под Вязмой 16 марта 1943 года Б. Васильев попал на минную растяжку и с тяжелой контузией оказался в госпитале. После восстановления, уже осенью 1943 года, он поступил в Военную академию бронетанковых и механизированных войск имени И.В. Сталина.

После окончания Академии в 1946 году Б. Васильева направили на работу на Урал испытателем колесных и гусеничных машин.

Закончил военную службу он в 1954 году в звании инженер-капитана, написав в рапорте, что причиной принятого им решения было желание заниматься литературой.

Первой его литературной работой стала пьеса «Танкисты», в том же 1954 году. Позднее он заканчивает студию при Госкино СССР, где осваивал специальность сценариста фильмов.

В 1958 году по его сценарию вышел художественный фильм «Очередной рейс», затем – фильм «Сержанты», в 1960 году – «Длинный день», в 1964 году – «След в океане», в 1966 году – «Королевская регата», в 1969 году – «На пути в Берлин» и, наконец, прогремевший на весь мир фильм «Офицеры».



Кроме сценариев для фильмов, Б. Васильев писал прозаические произведения. В журнале «Новый мир» в 1970 году в №№ 8–9 была опубликована его повесть «Иванов катер». Но слава писателя пришла к нему еще в 1969 году, когда в журнале «Юность» № 8 опубликовали его повесть «А зори здесь тихие...».

Через год по этой повести был создан спектакль в театре на Таганке. И эта постановка стала одной из самых популярных у зрителей в 1970-е годы. Кинорежиссер Станислав Ростоцкий, посмотрев спектакль, вскоре сделал экранизацию этой повести. Прошло уже много лет, но зрители и сегодня с удовольствием смотрят этот фильм, идут на спектакли в разных театрах нашей страны, где режиссеры предлагают новые варианты этого замечательного произведения. В Смоленске этот спектакль успешно идет в Камерном театре.

В 1973 году композитор Кирилл Молчанов написал оперу по этой повести.

А недавно молодой кинорежиссер предложил создать свою трактовку повести с участием молодых актрис кино (2008 г.). Эта работа Б. Васильева до сих пор никого не оставляет равнодушными.

В 1990-е и 2000-е годы Б. Васильев занимался исторической прозой. Среди его исторических романов – «Вещий Олег», «Ольга – королева русов», «Князь Святослав», «Владимир Красное Солнышко», «Александр Невский», «Государева тайна», «Владимир Мономах».

Борис Васильев – лауреат Государственной премии СССР, премии Президента России, премии Российской академии кино – «За честь и достоинство» и многих других. Среди его наград – Орден Трудового Красного Знамени (1981 г.), Орден Отечественной войны II степени (1985 г.), два ордена Дружбы народов (1984, 1994 гг.), ордена «За заслуги перед Отечеством» III и II степеней (1999, 2001 гг.).

Он ушел из жизни в Москве на 89 году жизни и был похоронен на Ваганьковском кладбище со всеми воинскими почестями.

А уже через год в Смоленске появились мемориальная доска на улице Большая Со-

ветская, на здании, куда когда-то ходил в школу № 13 ученик Б. Васильев (автор работы – смоленский скульптор П.А. Фишман), и бюст писателя Б. Васильева на улице Докучаева (автор работы – смоленский скульптор В.С. Гращенков).

Смоляне гордятся своим земляком – знаменитым писателем.

Подходя к главному собору в городе Смоленске – Успенскому, можно увидеть над входом фигурный барочный фронтон, на котором есть три изображения: Успение Богородицы (в центре) и покровители Смоленской земли – Авраамий Смоленский и Меркурий Смоленский.

Среди икон в интерьере храма есть икона с изображением Авраамия Смоленского.

В центральной части города Смоленска находится комплекс древнего Авраамиевского монастыря, переживающего в наши дни новую жизнь.

Монастырь получил название по имени первого его игумена – Авраамия Смоленского.

О жизни этого выдающегося человека, позднее признанного святым и покровителем Смоленска, мы знаем из написанной его учеником книги – «Житие и терпение св. Авраамия».

В 1549 году на Макарьевском соборе произошла канонизация святых Авраамия и его ученика Ефрема (автора книги об учителе). Причем, учителю было установлено всеобщее, а ученику – местное празднование. Обои – в день успения Авраамия – 21 августа (сейчас день памяти Авраамия Смоленского отмечают 3 сентября).

Известно, что Авраамий родился в семье знатных родителей Симеона и Марии в конце XII века. Отец мальчика был одним из бояр Смоленского князя и пользовался большим авторитетом и у жителей Смоленска, и у князя. В семье, кроме мальчика, были еще девочки. Сын у родителей был ребенком долгожданным. В семье называли его Афанасием. Воспитывали ребенка, как написал Ефрем, «в христианском духе и в добрых нравах».

Позднее Афанасия отдали на обучение в один из монастырей, при котором работала



школа. Учился мальчик старательно, а после окончания учебы захотел стать монахом.

После смерти родителей Афанасий получил большое наследство, но решил все богатства пожертвовать на храмы и монастыри. Много средств отдал он для сирот и вдов. А сам принял постриг и с именем Авраамий жил в Богородичном Успенском монастыре, который находился недалеко от Смоленска (известно, что этот монастырь существовал еще в 1522 году. О нем упоминал историк Н. Карамзин в книге «История государства Российского»).

Спустя какое-то время Авраамий пришел на службу в небольшой монастырь в Смоленске. Как рассказывает его ученик, для украшения монастырского храма Авраамий написал две иконописные работы – «Страшный суд» и «Мытарства небесные». Авраамий много занимался наукой. Выписывал книги из Греции, Болгарии, Сербии. Сам писал книги, среди которых известны работы «Слово о небесных силах, чего ради создан бысть человек» и «О двенадцати мытарствах».

Доброе отношение к людям, советы и помощь многим принесли ему в городе уважение и любовь жителей. А теплое отношение смолян, высокий уровень знаний, занятия наукой вызвали зависть у местного духовенства. Вскоре последовали разного рода обвинения и требования убрать его из города, наказать: «Одни говорили заточить, а другие – к столбу пригвоздить и зажечь, а иные – побить камнями».

В городе состоялся суд, который проходил «на дворе владычном» в присутствии князя. В первый день суда наказания не вынесли. На следующий день противники добились выдворения Авраамия в монастырь, откуда он пришел, причем с содержанием его под вооруженной охраной. Но в этот год случилась в Смоленске большая засуха. Погиб почти весь урожай.

Люди восприняли это как наказание за суд над Авраамием. На суде один из защищавших Авраамия предупреждал, что, осуждая невинного, рассердят осудившие Бога.

Под давлением горожан судившее Авраамия духовенство пошло в монастырь про-

сить у него прощение. Ему снова разрешили служить в Смоленске, а в новый монастырь, построенный на средства епископа Смоленского, Авраамия назначили настоятелем. Позднее этот монастырь стал называться Авраамиевским.

Известно, что при игумене Авраамии в монастырь принимали «после великого испытания по книгам». В период XIII–XIV веков Авраамиевский монастырь был культурным центром Смоленска.

Авраамий прожил 50 или немного более лет (по одним источникам – умер в 1221 г., по другим – точная дата неизвестна) и был похоронен в этом монастыре. Вплоть до XVII века здесь сохраняли его мощи. Они исчезли в эпоху польской оккупации Смоленска.

В 1655 году эта территория принадлежала шляхтичу фон Лярскому. Царь Алексей Михайлович распорядился выкупить здесь землю и построить деревянную церковь.

Монастырь был возобновлен с названием «Авраамиевский».

В 1755 году на территории Авраамиевского монастыря был построен новый каменный собор. Он пострадал во время военных действий в 1943 году. В 1973–1976 годах собор реставрировали. В 2014 году собор обновили еще раз и открыли для верующих и туристов.

В XIX веке при монастыре работала духовная семинария. Она пользовалась признанием у многих смолян. Позднее в ней учились будущий известный ученый В.В. Докучаев и будущий всемирно известный писатель-фантаст А.Р. Беляев.

В 2000 году вышла книга профессора Смоленского университета В.В. Ильина «Люди Древней Руси». В ней есть глава о замечательном человеке Древней Смоленщины – Авраамии Смоленском.

С 2003 года в Смоленском гуманитарном университете проходит научная конференция «Авраамиевские чтения», по результатам которой выпускается сборник научных публикаций.

На выставке памяти смоленского скульптора, народного художника России, Альберта Сергеева в 2011 году была показана



его работа «Юность Авраамия Смоленского» из мастерской скульптора, выполненная в бронзе. Это была мечта художника поставить такой памятник в нашем городе.

В 2014 году рядом с собором на улице Маршала Жукова был установлен памятник покровителю города, защитнику смолян, писателю, переводчику, иконописцу, просветителю Авраамию Смоленскому. Автор памятника – смоленский скульптор, ученик А. Сергеева, преподаватель университета В. Гращенков.

В молитве-обращении к Аврааму Смоленскому есть такие слова: «...Отче Преподобие Авраамие, Христа Бога моли непрестанно, спаси град наш и люди, любезно тебя почитающая».

У смоленского писателя Юрия Пашкова в вышедшей в 2015 году книге «Зарницы памяти» есть такие слова: «...А потом, гоня прочь все тени войны, полыхнуло ослепительным светом, громыхнуло животворным громом слово «Победа» – самое главное, самое долгожданное».

8 мая 2015 года, в канун юбилейного Дня Победы, в городе Смоленске торжественно был открыт Монумент воинам-защитникам и освободителям города в разные периоды его истории.

Гранитная стела высотой 14 метров, окруженная тремя бронзовыми фигурами воинов (каждая фигура – 2,7 метра), установлена на постаменте с облицовкой из красного гранита. Три воина символизируют три больших войны, в которых Смоленск сыграл важную роль, – война с Речью Посполитой в XVII веке, Отечественная война 1812 года и Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Воины-победители улыбаются и машут букетами цветов.

Площадь Победы, на которой теперь стоит новый монумент, стала соответствовать своему названию.

В день открытия полотно с памятника торжественно сняли трое ветеранов Великой Отечественной войны. Губернатор Смоленской области Алексей Островский, выступая на открытии памятника, сказал: «Я думаю, что мы можем гордиться, что сегодня стали

свидетелями того, как на главной площади нашего города происходит историческое событие. Я уверен, что многие люди старшего поколения многие годы будут приводить сюда своих детей, своих внуков и рассказывать им об истории нашей великой страны» (газета «Аргументы и факты. Региональное приложение» № 20, 2015). На памятных досках под фигурами воинов есть тексты.

Автор памятника – белорусский скульптор Игорь Чумаков – в интервью Смоленской теле-радиокомпании пояснил, что на полноценное воплощение проекта не хватило средств из-за изменения цен на гранит и бронзу, но реализацией проекта он в целом удовлетворен.

Два памятника замечательным творческим людям были открыты в Демидовском и Вяземском районах Смоленской области.

В декабре 2015 года Юрию Владимировичу Никулину исполнилось бы 94 года. В 1921 году, накануне наступающего года, в городе Поречье (сейчас – Демидове) Смоленской губернии родился мальчик, которому суждено было стать знаменитым актером цирка и кино, директором цирка в Москве на Цветном бульваре, участником многих телевизионных передач в России и любимым артистом многих жителей большой страны – Советского Союза.

На Смоленщине всегда помнили, что знаменитый Никулин из этих мест, но поставить ушедшему от нас великому актеру памятник получилось не сразу.

На объявленном в 2011 году конкурсе скульпторы и художники предложили 18 проектов. Победил проект белорусского скульптора Игоря Чумакова. Именно его работа была признана лучшей.

Отец Юрия Никулина – Владимир Андреевич – рос в Москве. Там он окончил гимназию, учился на юридическом факультете университета, служил в армии, а с 1918 года учился на курсах Политпросвета. После окончания курсов отец попросил направить его в Смоленск. На Смоленщине, возле города Поречье, мать и сестра отца работали учительницами в деревенской школе. В Поречье он познакомился с будущей матерью Юрия



Никулина. Они поженились и остались жить в этом смоленском городке.

В Поречье отец организовал передвижной театр – театр революционного юмора. Там он ставил представления.

В 1955 году Юрий Никулин впервые выступал с цирком.

В 1925 году семья Никулиных переехала в Москву. Юрию Никулину было тогда 4 года.

В Москве мальчик пошел в школу. В этой же школе его отец вел драматический кружок. Естественно, что в кружке участвовал и младший Никулин. Семья Никулиных два раза в неделю обязательно посещала театр, а, возвращаясь домой, мать с отцом обсуждали пьесу, игру актеров. Их внимательно слушал сын.

Юрий закончил школу, и в том же 1939 году его призвали в армию – в войска зенитной артиллерии. Худой, длинный и сутулый, он часто вызывал смех у своих сослуживцев, но никогда не обижался на них, а смеялся вместе со всеми.

Уже через месяц после начала его службы началась война Советского Союза с Финляндией. Юрий Никулин находился под городом Сестрорецком, охраняя воздушные подступы к Ленинграду. Однажды, протягивая линию связи от батареи до наблюдательного пункта, он обморозил обе ноги.

В апреле 1941 года он стал готовиться к демобилизации, но 22 июня началась Великая Отечественная война.

Батарея Юрия Никулина вела огонь по самолетам, прорывавшимся к Ленинграду. Никулин воевал до весны 1943 года, дослужил до звания старший сержант и затем дважды попадал в госпиталь. Из госпиталя его направили служить в Колпино, в 72-й зенитный дивизион. Победу он встречал в Прибалтике. Однако уволился из армии только 18 мая 1946 года.

Летом того же года Юрий Никулин пробовал поступать в театральный вуз и в институт кинематографии. Но ему везде отказали. А в сентябре он узнал, что есть набор в Студию клоунады при Московском цирке. Отец поддержал его в этом выборе. Из нескольких сот желающих в Студию приняли только 18 человек. Среди них был и Юрий Никулин.

25 октября 1948 года на манеже цирка впервые появился молодой актер. Репризу для него и его напарника Бориса Романова подготовил отец Юры.

В 1949 году он познакомился со студенткой сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева – Татьяной Покровской. Их познакомил знаменитый тогда клоун Карандаш, который выбирал в конюшне академии маленького жеребенка для номера в цирке. А через полгода Татьяна стала женой молодого артиста цирка.

В 1955 году Юрий Никулин впервые выступал с цирком за границей.

А в 1958 году страна увидела Никулина в фильме «Девушка с гитарой» по сценарию Владимира Полякова и Бориса Ласкина. Эпизоды с участием Юрия Никулина оказались самыми смешными в фильме. Удачный дебют повлек за собой новые предложения сняться в кино.

Так появились роли в фильмах «Неподдающиеся», «Друг мой, Колька», «Без страха и упрека». Позднее его узнавали в фильмах Леонида Гайдая «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция “Ы”» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница». В комедиях Ю. Никулин часто выступал в сложившейся тройке с Георгием Вициным и Евгением Моргуновым. Этот ансамбль актеров с восторгом принимался зрителями. Образы трех смешных героев никого не оставляли равнодушными и сделали фильмы с их участием классикой советской комедии.

Но, кроме комедий и номеров в цирке, были еще и роли в кино, где актер предлагал нам обладателей глубоких человеческих чувств, даже драматических переживаний. В 1961 году Юрий Никулин снялся в одной из лучших своих картин – фильме «Когда деревья были большими» режиссера Льва Кулиджанова. В своем выборе главного героя режиссер не ошибся. Зрители увидели нового Юрия Никулина – человека, потерявшего во время войны семью. А другие режиссеры вдруг увидели совершенно новые грани актера Никулина. Фильм имел большой успех у зрителей.



А еще были роли в полюбившимся зрителям фильмах «Ко мне, Мухтар!», где неожиданно для многих Юрий Никулин прекрасно сыграл милиционера, «Двенадцать стульев», «Старики-разбойники», «Бриллиантовая рука» (в ансамбле с Андреем Мироновым и Анатолием Папановым).

В замечательном фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев» у Юрия Никулина была роль монаха. Лента получила множество международных наград и признание зрителей и кинематографистов.

В 1974 году Сергей Бондарчук доверил Юрию Никулину роль солдата Некрасова в фильме «Они сражались за Родину». Это была еще одна победа режиссера и актеров, среди которых был и Юрий Никулин. Фильмы такого качества сыграли большую роль в воспитании нового поколения советских людей. Ну, а фронтовики говорили творческой группе: «Большое спасибо за такое кино».

В 1975 году режиссер Алексей Герман пригласил Юрия Никулина на драматическую роль военного журналиста в фильм «Двадцать дней без войны». А спустя 10 лет на Международном кинофестивале в Роттердаме картина была удостоена специального приза.

В 1982 году Юрий Никулин стал главным режиссером и директором цирка на Цветном бульваре.

К этому времени он уже был Лауреатом Государственной премии РСФСР (1970 год), Народным артистом СССР (1973 год), дважды был награжден Орденом Ленина (1980, 1990 годы), орденами Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени, Героем Социалистического Труда (1990 год) и действительно народным и любимым в стране актером.

За участие в военных действиях у Юрия Никулина были медали «За отвагу», «За трудовую доблесть», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».

Он часто участвовал в телевизионных программах, стал ведущим в передаче «Белый попугай», очень популярной в стране. Многие артисты и просто жители Москвы и дру-

гих городов помнят о помощи Ю. Никулина им в сложных жизненных ситуациях.

Юрий Владимирович ушел из жизни неожиданно, 21 августа 1997 года, не пережив операцию на сердце. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Там же поставили ему очень выразительный памятник, к которому в течение всего года приходят люди.

В 2000 году в Москве, рядом со зданием цирка на Цветном бульваре, был открыт первый памятник Юрию Никулину в городе, где он прожил большую часть своей жизни (автор – Александр Рукавишников, архитектор – Михаил Посохин).

В местном музее есть экспозиция, посвященная артисту. Его имя носит областной фестиваль молодежных театральных и цирковых коллективов. В городе Смоленске на кинофестивале «Золотой Феникс» вручают одному из победителей премию имени Ю.В. Никулина.

С появлением в Демидове памятника Юрию Владимировичу Никулину город стал еще одним центром притяжения туристов на Смоленщину. Скоро здесь появится и восстановленный дом-музей, где жили молодые родители Юрия Никулина и где когда-то родился он.

Смоленщина гордится тем, что на ее земле в 1920-х годах рос будущий знаменитый русский актер.

И вот, спустя 11 лет, в городе Демидове, на его малой родине, рядом с краеведческим музеем, на гранитной цирковой арене сидит бронзовый Юрий Никулин. Хочется посидеть рядом, послушать его рассказы о жизни или серию анекдотов, которые собирал. Еще он собирал фигурки клоунов, и очень гордился этой коллекцией.

Таких, каким был Юрий Никулин, трудно заменить.

Выдающийся русский актер театра и кино, Народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР Анатолий Дмитриевич Папанов хорошо известен несколькими поколениям жителей бывшего Советского Союза.

О нем уже написаны книги и статьи, сняты документальные фильмы и телепередачи.



А.Д. Папанов родился в городе Вязьме в 1922 году. Позднее семья переехала в Москву, и уже там он окончил школу.

В 1930-е годы Папанов работал литейщиком на 2-м Московском шарикоподшипниковом заводе и занимался в самодеятельной театральной студии при заводе.

В 1937 году его сняли в эпизодической роли в фильме «Ленин в Октябре».

В августе 1941 года его призвали в армию. Он служил в зенитной батарее. А. Папанов прошел всю войну. В 1942 году его тяжело ранили в ногу в боях под Харьковом, и в 21 год стал инвалидом 3-й группы.

А после войны А. Папанов поступил учиться на актерский факультет ГИТИСа. Женится на своей сокурснице Надежде Каратаевой, с ней и другими сокурсниками уехал в город Клайпеду (Литва) открывать там новый театр.

Позднее его пригласили в Московский театр сатиры. Здесь прошли 40 лет его трудовой деятельности.

Но если бы Папанов оставался только театральным актером, его знали бы, наверное, только москвичи и гости столицы. Страна узнала А.Д. Папанова благодаря замечательно сыгранным ролям в кино. Фильмы «Белорусский вокзал», «Берегись автомобиля», «Приходите завтра», «Иду на грозу», «Живые и мертвые», «Золотой теленок» и другие стали кинематографической классикой. Голос и манера говорить у него были особенные. Всего же А. Папанов сыграл в более 70 фильмах.

Особым этапом его творчества стало озвучивание мультипликационных фильмов. Его голос звучал в фильмах «Маугли», «Кот в сапогах», сериях «Ну, погоди!» и многих других.

Его наградили орденами Октябрьской революции, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Трудового Красного Знамени, многими медалями. В 1964 году он стал лауреатом Всесоюзного кинофестиваля. После роли в фильме «Холодное лето пятьдесят третьего...» он был награжден Государственной премией СССР (но уже посмертно).

А.Д. Папанов закончил свое земное время неожиданно, 8 августа 1987 года, в 65 лет. Он умер дома от сердечного приступа. В последнем в его жизни фильме ему пришлось

еще раз пережить период войны, в которой он сражался.

Его похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище на участке № 10. Его имя присвоено малой планете (астероиду) № 2480. На Волжском пароходстве зарегистрирован теплоход «Анатолий Папанов», а в историю советского кино он вошел как классик театрального и киноискусства.

Администрация Смоленской области в 2011 году объявила конкурс на создание проекта памятника А.Д. Папанову на его родине, в городе Вязьме.

Конкурс проходил с 23 ноября 2011 года по 15 февраля 2012 года. Было подано 15 заявок и 18 проектов. В апреле 2012 года Конкурсная комиссия выбрала проект памятника Анатолию Папанову. В состав Комиссии входили представители Смоленской области, Вяземского района, скульпторы, жена и дочь А. Папанова. Победителем конкурса стал белорусский скульптор Игорь Чумаков. Именно его макет больше всего понравился родным актера.

31 октября 2012 года в центральной части города Вязьмы памятник любимому актеру миллионов людей нашей страны был открыт. На церемонию открытия памятника приехали жена и дочь актера, губернатор Смоленской области А. Островский, артисты из Московского академического театра сатиры, где много лет служил А. Папанов. Артисты привезли с собой Письмо – благодарность вязьмичам от имени всех актеров и художественного руководителя театра А. Ширвиндта.

В этот же день в Вяземском историко-краеведческом музее была открыта выставка, приуроченная к 90-летию А. Папанова. Многие новые экспонаты, представленные на ней, передали в дар музею родные актера.

На каменной скамье на одной из центральных улиц города Вязьмы теперь сидит бронзовый двойник знаменитого актера. На скамейке, рядом с ним, с одной стороны – изображения театральных масок, а спинку скамейки образует кинолента. Театр и кино – это родные стихии мастера.

**Борис БУРШТЫН****ЧЕТЫРЕ ГОДА****Воспоминания о литературной жизни Смоленска 1921–1924 г.****I. До «Арены»**

Артель художников слова «Арена», клуб поэтов, приютившийся в как бы вросшем в землю крохотном домике Штраниха по Мало-Вознесенской (теперь – Мало-Университетской) улице... «Понедельники» «Арены»... – кому даже из членов союза писателей и из писательского актива говорят что-нибудь эти холодные слова?

А ведь 12–14 лет тому назад «Арену» знал каждый в Смоленске, кто хоть немножко интересовался литературой. «Арена» признавалась многими «самым интересным местом в Смоленске», кто хоть раз попадал сюда, тот обычно делался завсегдаем ее литературных вечеров. Учащаяся молодежь буквально ломилась в двери «Арены». Об «Арене» писали и в «Правде», и в «Известиях», и в «Красной нови»...

С какой бы антипатией ни относиться к «Арене», как бы строго ни учитывать допущенные ею идеологические ошибки, можно ли, однако, вычеркнуть «Арену» из истории послеоктябрьской литературы Смоленска? Можно ли отрицать известную роль, сыгранную «Ареной» в деле выявления и объединения местных литературных сил?



Весна 1921 года. Как сейчас помню этот литературный вечер в актовом зале университета, теперь – пединститута. Целой вереницей проходили передо мной своеобразные фигуры незнакомых поэтов. Каждый читал свое капитальнейшее произведение. Сергей Страдный – свою поэму «Рыжая кляча», Евсей Эркин – поэму «Россия», Лухманов (тогда – Арсений Осенний) – свои футуристические стихи, Навесский (тогда – еще

Вороновский) – свою сентиментальную и старомодную лирику, под такими стилизованными, или просто забавными названиями, как «Дождливая пастушеская», «Полудикая кошка» и т. д. Читал еще перебравшийся скоро в Минск, а впоследствии промелькнувший как-то среди московских поэтов И. Дукор. Читал и Гришин, мрачный человек в военной форме, выступавший под странным псевдонимом «Чорт», свои не менее странные по форме, «заумные» стихи, под такими названиями, как «Регулы войны», «Нервная по матам», «Желтые ревы», «Дырявый звон» и что-то еще в таком же необычном духе. Выступал со своими формалистическими, холодными и отточенными стихами застрелившийся через год молодой юноша, Сергей Тарарин, как сейчас помню, в чрезвычайно развязной и несколько наигранной – «снисходительной» – манере, с каким-то длинным и тонким «посохом» в руке.

Первым взял слово в диспуте какой-то, как я узнал потом, учитель, пожилой человек, начавший свое выступление с некрасовского «Сейте разумное, доброе, вечное» и пересыпавший свою беспощадно обвинительную по адресу современной поэзии речь целым каскадом патетических цитат. Вот на одной классической цитате, насколько помнится, из «Памятника» Державина, приписанной им Пушкину, я его и поймал, разоблачив его в своем выступлении, к большому удовольствию слушателей.

В числе немногих выступавших с критикой был и я. Это было мое первое «литературное крещение» в Смоленске. Как курьез, вспоминаю: Навесского я обвинил в подражании песенкам Плевицкой (очень модной незадолго до этого эстрадной певицы). Задал я ему вопрос и такого порядка: чем питалась



«героиня» одного из его стихотворений – кошка, оставшаяся запертой в крестьянской халупе во время войны и одичавшая там. Навесский со слезами на глазах (он вообще был слабоват на слезу) возражал, что нет ничего плохого в подражании Плевацкой и что нельзя от поэта требовать строгого соблюдения фактической стороны дела, ибо это значит требовать от него прозы. «Впрочем, она могла питаться мышами», – добавил, под хохот всего зала, находчивый поэт.

Вечер этот был, понятно, бесплатный. Публики было немного, выступавших «со стороны» еще меньше. Таким образом, поэты, сидевшие за столом на эстраде, были и главными действующими лицами диспута.

Не знаю, защита ли моя поэтов от нападения первого оратора, некоторая ли искусственность в вопросах поэзии, которая чувствовалась, по-видимому, в моем выступлении, но немедленно после вечера с поэтами, по их инициативе, было завязано знакомство, и я был приглашен на ближайшее закрытое заседание литературной студии Смоленского пролеткульта, вокруг которого группировались поэты – участники вечера.

С литературной студией пролеткульта связаны первые брожения послеоктябрьской литературной жизни Смоленска. Из недр студии родилась артель художников слова «Арена», которой, при всех ее ошибках, суждено было, как уже говорилось выше, сыграть не последнюю организационную и активизирующую роль в создании условий для нормально развития и роста смоленской литературы.

Впрочем, физиономия студии сама по себе производила очень странное впечатление. Характерные черты пролеткультовского движения не нашли в ней, мне кажется, почти никакого отражения, кроме двух: организационной замкнутости, тесно граничившей с кружковщиной, и расплывчатости марксистскообразных «установок» в ее работе.

Правда, литературная студия просуществовала при мне очень короткий срок, всего, насколько помнится, несколько месяцев. Не помню, как обстояло дело с декларациями, но в практике студии за этот срок я не

обнаружил признаков организованной пропаганды классовости искусства.

При всем желании, нельзя было согласиться с тем, что студия объединила вокруг себя *пролетарских* поэтов и писателей. Необычайная пестрота мировоззрений, входивших в состав студии или фактически принимавших участие в ее работе поэтов, говорила как будто о другом.

Для студии была характерна, по-моему, с одной стороны, оторванность от масс (я, например, не помню ни одного выступления студии на фабрике или заводе и, наоборот, ни одного выступления рабочего писателя или поэта в студии), а с другой – система широко открытых дверей для любого поэта, желающего вступить в студию, совершенно независимо от его мировоззрения и литературного направления, несмотря на заполнение при вступлении весьма пространной анкеты.

Ни о какой «творческой самостоятельности пролетариата» в направлении «выработки пролетарской культуры» при таких условиях, естественно, не могло быть и речи.

В связи с этим, и структура студии, по крайней мере, в те дни, когда я знал ее, была чрезвычайно своеобразна. В составе студии, прежде всего, не было студийцев. Чуть ли ни все поэты числились инструкторами: одни – с жалованием, другие – без одного, одни – с правом получения талончиков в общественную столовую на суп из чечевицы, другие – без этого права. Одним словом, выражаясь канцелярским языком, одни были штатными инструкторами, другие – внештатными, общественными.

Таким образом, и я примерно в двухнедельный срок стал «инструктором литературной студии Смоленского пролеткульта», Впрочем, без жалования и без обеденных талончиков.

■

Во главе студии стоял замечательный и, кажется мне, во многом неповторимый юноша – крестьянский поэт – коммунист Сережа Страдный. Настоящая фамилия его была Смирнов. В среде своих товарищей,



да и не только товарищей, а даже и среди смоленских мальчишек, он был больше известен под кличкой «Рыжая кляча», данной ему по названию его поэмы популярнейшей в те дни. Он был довольно высок, вернее, длинен, худ, ходил вразвалку и как-то – не-то весело, не то наивно – носил на нескольких сутулых плечах маленькую рыжую голову, с громадным количеством веснушек и с длинными, «до плеч», волосами, ритмически сотрясавшимися на ходу.

Сережа был настоящий, неподдельный крестьянин, отнюдь не работавший «под мужичка», довольно грамотный и кое-что читавший. Он имел хорошую, здоровую сметку, политическое чутье и известный, хотя, понятно, и довольно еще примитивный, художественный вкус. Но у него, по-видимому, не было почти никакого опыта в руководстве литературной организацией.

К сожалению, у меня не сохранилась поэма Страдного «Рыжая кляча», изданная в Смоленске в виде миниатюрной и чрезвычайно неряшливой брошюры, так же, как не сохранились и отрывки из незаконченной посмертной поэмы «Проститутка».

Под руками у меня имеются сейчас полтора десятка его стихов, помещенных в двух маленьких сборничках, выпущенных литстудией Смоленского пролеткульта в 1920 г. под названием «Паяльник». В этих «Паяльниках», едва ли имевших какой-нибудь успех в массе рабочих читателей, печатались стихи поэтов, группировавшихся вокруг литературной студии. По ним-то, главным образом, я и могу приблизительно восстановить сейчас в памяти творческое лицо того или иного поэта. Но эти немногочисленные и случайные стихи не являются, понятно, достаточно солидным материалом для того, чтобы сейчас, по прошествии 14 лет, дать хотя бы с относительной полнотой настоящие литературные характеристики.

Во всяком случае, что касается Сергея Страдного, то смело могу сказать, что поэт он был начинающий, но как без самоуверенного гениальничания, так и без ученической робости. Он сам учился, но серьезно, по-

взрослому, так, что одновременно мог учить и других.

По-видимому, основной темой его поэзии были первые мотивы о новой деревне, о связи ее с городом, о механизации сельского хозяйства, и хотя ему во многом импонировал Есенин, – тем не менее, его примитивные стихи по своему содержанию, по своему духу были чрезвычайно далеки от реакционной есенинской деревенской лирики и даже прямо противоположны ей.

Разве не говорят об этом хотя бы вот такие строки из стихотворения «Отдых»:

«Я пришел в сени нежной рощицы
От любимых машинных огней.
Убаюкай меня тихим посвистом
Сизокрылый певец – соловей!»

или из символического стихотворения «Размах»:

«Наострю железную лопату,
Размахнусь тяжелым топором,
Разобью бревенчатую хату
И спалю порывистым огнем.
И на гудах глинистого пепла
Я построю каменный дворец,
Закреплю в невиданные петли
И скую сияющий венец!..»

А в стихотворении «Деревня» поэт пишет:

«Краснея крашеными крышами,
Еще невиданных домов, –
Стоит деревня многолица,
Сестра восставших городов...
...В стальном размахе расширяется,
Под рев набата новых лет,
И, с городами обнимаясь,
Рай созидает на земле.»

Нежно любя природу, как это чувствуется по многим его стихам, об аллегорическом «железном мятеже полей», тем не менее, писал Страдный. Интересно сопоставить эти схематичные и отвлеченные стихи о новой деревне с теперешними стихами, хотя бы



того же Исаковского, значительно более насыщенные тематически и сюжетно, более конкретными, стремящимися увязать техническую переделку деревни с переделкой человека, с изменениями его психоидеологии, с его громадным культурным и политическим ростом. Какая огромная пропасть лежит между этими, казалось бы, родственными, по существу, стихами двух поэтов!

К Страдному еще не раз, должно быть, придется вернуться в процессе дальнейших воспоминаний. Сейчас скажу только, что этот, нелепо погибший от сыпняка, примерно 20-ти лет от роду (осенью 1921 года), талантливый юноша по праву должен войти в историю развития местной послеоктябрьской литературы как один из первых революционных крестьянских поэтов Смоленщины и организаторов (пусть даже не вполне удачливых) местных разрозненных поэтических сил.



Кого, собственно, инструктировали «инструктора» литературной студии – для меня остается тайной и по сей день. Вся работа студии сводилась, мне кажется, к еженедельным собраниям поэтов в одной из комнат Пролеткульта, на которых читались и обсуждались собственные стихи, к очень редким открытым вечерам, вроде описанного, и к изданию, время от времени, тощих, серых и шершавых сборничков стихов пролеткультовских поэтов.

Мне ярко вспоминаются сейчас несколько вечеров, наполненных льющимися в громадные окна студии ароматным сумраком, запахом расцветающих тополей, неуловимой весенней тревогой... За окнами слышутся апрельские шорохи, звонкие голоса, гулкие шаги. А мы – человек десять поэтов – сидим в комнате и с большой серьезностью «анатомируем» только что прочитанные кем-нибудь из нас стихи, осуждаем неудачные образы, ругаем точные рифмы, восхваляем ассонансы и аллитерации. Если бы вслушаться со стороны в продолжительные дискуссии по поводу какого-нибудь четверостишия, легко

можно было бы заметить особенно сильное увлечение присутствующих имажинизмом и имажинистами.

Впрочем, как это ни странно, увлечение это было преимущественно платоническим, ибо на поэтической продукции большинства поэтов влияния имажинизма отразились мало. Сережа Страдный, тоже увлекаясь формальными приемами имажинистов, немедленно превращался во врага тех же имажинистов, как только дело доходило до идейного содержания их творчества. Вообще, надо отдать ему справедливость, он был, несмотря на свою молодость и неопытность, очень строгим в своем подходе к поэтическим произведениям, и я хорошо помню, как беспощадно и правильно он разоблачил реакционные тенденции в одном из моих собственных стихотворений – «Поэтам», – имевшем большой успех у других товарищей за его художественные достоинства.

Я раскрыл свое поэтическое инкогнито на втором или третьем собрании, когда подозрения на мой счет стали уж слишком определенными, «допросы» на счет моего «практического» отношения к литературе слишком настойчивыми, а жажда поделиться с компетентными людьми плодами своих «вдохновений» – слишком непреодолимой. Вспомним Швабрина из «Капитанской дочки»: «...стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузьмичу графинчик водки перед обедом»... Вот нечто подобное испытывал в то время и я.

Стихи мои, помню, произвели на присутствующих далеко не однородное впечатление. Некоторые, как Евсей Эркин и С. Страдный, встретили их довольно сдержанно, Шевелев отозвался о них одобрительно, не приминув попутно выругать стихи Эркина, Навесский же, со свойственной ему экспансивностью, встретил их восторженно. Он прослезился и дрожащим голосом заявил, что отныне передает мне свою корону лучшего смоленского лирика, которую, кстати сказать, он возложил на себя, выражаясь деликатно, без постороннего участия и по-



мощи... Истинную цену этой короны знал каждый из присутствующих...

Между прочим, не могу не отметить того интересного обстоятельства, что смоленские поэты в новой поэзии оказались гораздо более сведущими, чем я – недавний москвич. Не говоря уже о пролетарских поэтах, как ныне покойные Александровский и Полетаев, как Герасимов, Кириллов, Обродович и др., о которых я имел весьма смутное представление, даже и имажинистов, и таких поэтов, как Борис Пастернак, местные поэты знали лучше меня. Очень хорошо они разбирались и во всех тонкостях теории стихосложения. И нужно сказать, что я очень много почерпнул в области знакомства с послеоктябрьской поэзией от общения с моими новыми друзьями.



Я попробую в дальнейшем набросать хотя бы самые коротенькие и приблизительные характеристики наиболее интересных поэтов Смоленского пролеткульта. Сейчас же, вопреки установившимся традициям, говорить сначала о «главных», с целью создания этакого трамплина для разговоров об этих «главных», остановлюсь на тех, которые не сыграли особой роли в литературной жизни Смоленска, но являлись все же настолько колоритными фигурами, что невозможно о них умолчать.

Возьмем Николая Корста. Он пришел в литературную студию немного позже меня и быстро «сошел со сцены», уехав, кажется, в Москву. Корст был молодой, но очень культурный человек. Москвич, педагог по профессии, он преподавал, если не ошибаюсь, литературу в 3-й пехотной военной школе. Он писал стихи. Сейчас мне чрезвычайно трудно охарактеризовать его поэтическое лицо, ибо из всех его стихов осталось у меня в памяти только название подготовленной им к печати книжки – «Золотая стезя». Помнится, словно бы и на стихах его лежал, как и на заглавии книжки, отпечаток этакой торжественности, стилизации «под старину» и, пожалуй, манерности. Впрочем, стихи его были

содержательны и не лишены даже некоторой философской глубины. Не знаю, был ли Корст талантлив, но он был не глуп, образован, энергичен, не лишен организаторских способностей и литературного вкуса.

В совершенно другом плане интересен был Шевелев. Он был поэтом «со странностями», начиная с внешнего вида и кончая тематикой. Будучи в те времена студентом-медиком, он пытался в художественной, поэтической форме изобразить некоторые биологические и физиологические процессы. Я не буду конкретизировать и подтверждать сказанное примерами, ибо они наложили бы на мои воспоминания слишком уж анекдотический отпечаток и сделали бы их не совсем удобочитаемыми. Впрочем, во избежание возможных кривотолков, должен оговориться здесь же, что в этих не совсем обычных опытах Шевелева не было даже крупницы порнографичности. Все это делалось совершенно серьезно, искренно и убежденно. Может быть, в этом своеобразно сказывалось его выявившееся впоследствии с большей определенностью призвание врача-санпросветчика. Как человек, он причудливо совмещал в себе чрезвычайную скромность и конфузливость с удивительной способностью неожиданно выпаливать в глаза самые неприятные вещи. Впоследствии, через несколько лет, Шевелев, вместе с еще тремя студентами-поэтами выступил с книжечкой стихов под названием «Весенний семестр». Перечитывая сейчас помещенные в этой книжечке вещи Шевелева, видишь, как ярко отразились в тематике и в их образах черты его будущей профессии.

Форма стихов Шевелева свидетельствует об эклектизме и подражательности автора, об отсутствии у него, несмотря на «бойкость слога», своего устоявшегося стиля.

С именем же Шевелева связано воспоминание о своеобразной литературной мистификации, к которой широко прибегал в начале своей работы и другой поэт, Александр Гитович. О нем, о наиболее ярком представителе младшего поколения поэтов, вышедших из «Арены», речь впереди. То, о чем мне



хочется рассказать сейчас, было несколько позднее, уже во времена «Арены». Шевелев, являясь ее постоянным посетителем, насколько помнится, никогда не выступал на открытых вечерах «Арены», по-видимому, из-за своей застенчивости. Впрочем, в этот позднейший период не читал он своих стихов (мне, по крайней мере) и в узком кругу. Но поэту нужен был нелюбимый критик – и Шевелев отыскал этого критика довольно своеобразным способом. Я вел тогда в газете Западного военного округа «Красноармейская правда» литконсультацию. В газету поступало громадное количество всяческого литературного материала, авторами которого являлись красноармейцы и начсостав. Отзывы на этот материал давались как на страницах самой газеты, так и путем посылки начинающим авторам личных писем. Популярностью у красноармейцев этот уголок газеты, под общим заголовком «Нашим поэтам», пользовался необычайной, и число авторов, жаждавших отзыва, росло с каждым днем. При этом, у меня было немало постоянных корреспондентов, посылавших на отзыв чуть ли не каждое свое новое произведение. Это было единственным местом, где начинающие могли получать советы, помощь. Это была своеобразная школа начальной культуры, из которой, между прочим, несколько человек прочно «вошло в литературу».

Присылаемые произведения, часто молодецкие по исполнению, всегда бывали проникнуты неподдельным революционным чувством и пафосом.

Эти красноармейцы, курсанты, краскомы, политработники, т. е. лучшие представители доподлинной трудовой молодежи, вышедшие из гущи рабочих и крестьянских масс, давали в своих произведениях не имитацию, а самую суть, самое «нутро» мироощущения, психологии и быта этих масс.

Так вот, однажды редакцией было получено письмо со стихами за подписью красноармейца Рибшенкова. Стихи выделялись из массы красноармейских произведений, если не талантливостью, то, во всяком слу-

чае, своей грамотностью и относительной литературностью. По крайней мере, никаких подозрений стихи эти не вызвали. Каково же было мое удивление и конфуз, когда в выпущенном в 1923 г. в издании «Арена» сборничке «Весенний семестр» я увидел одно из хорошо знакомых мне и получивших мой положительный отзыв стихотворений красноармейца Рибшенкова, напечатанным за подписью Н. Шевелева и посвященным «Борису Бурштыну». Так, оказывается, скромный поэт, не раскрывая до поры до времени своего инкогнито, получал нужные ему критические замечания и так он отблагодарил за оказанную ему помощь!..

Кстати, просматривая сейчас для этих своих воспоминаний сохранившиеся у меня вырезки из «Красноармейской правды», я неожиданно наткнулся на свой отзыв о стихах работающего сейчас в Смоленске прозаика Е. Марьенкова.

Неужели и он мистифицировал? Или он был тогда красноармейцем? Одно несомненно: и Марьенков не избег общей участи и грешил в свое время по части стихов...

Однако, вернемся назад. Рядом с Корстом и Шевелевым возникает в памяти еще одна, весьма почтенная, фигура Александра Николаевича Вьюнова, представителя более старого поколения, любителя античной поэзии, автора сонетов, вещей, написанных, кажется, александрийским стихом и чуть ли не гекзаметром.

Каков был основной род занятий Вьюнова и источник его существования – я сейчас затрудняюсь сказать. Помнится, словно бы он имел какое-то отношение к самодеятельному театру (под псевдонимом Агатов), а также и к музейному делу.

А. Н. Вьюнов и теперь живет в Смоленске. Тогда он аккуратно посещал заседания литературной студии, был одним из организаторов «Арены», автором ее наименования и первым ее казначеем. Впрочем, он очень скоро выбыл из состава «Арены» и совершенно отошел от нее, не испытав на себе основных трудностей ее создания и роста.



■
В начале лета 1921 года ряд студий Пролеткульта, в том числе и литературная студия, со всем своим «штатным» составом отправились в Москву, где происходил смотр провинциальных пролеткультов или что-то в этом роде. Одним словом, поехали «людей посмотреть и себя показать». Студия отсутствовала дней 10-15. Помню, что поездка Пролеткульта походила на переселение беженцев. Для отъезжающих на вокзале был сформирован специальный эшелон, в котором они жили и в Москве.

В столице наши поэты выступили на целом ряде массовых вечеров и, судя по их рассказам, имели успех.

Не обошлось, как водится, и без курьезов. Сережа Страдный, насмотревшись в Москве разных поэтов, побывав в различных поэтических кабаках, вроде «Стойла Пегаса» или «Кафе Домино», по приезде из Москвы показал совершенно новую манеру публичного чтения стихов. Он выставлял правую ногу вперед, полусгибал в колене и, начиная дрожать ею, завывающим голосом произносил стихи. Когда товарищи смеялись над ним, Сережа серьезнейшим образом уверял, что это последняя московская мода и что каждый уважающий себя поэт должен читать только так.

■
О таких поэтах, талантливых и выделявшихся из массы пролеткультовцев своим относительным мастерством, как Евсей Эркин и Сергей Тарарин, хочется рассказать подробнее. Но, поскольку формировались они на моих глазах, главным образом уже по выходе из Пролеткульта, постольку я остановлюсь на них позже, когда буду говорить об «Арене», хотя ни тот, ни другой формально членами «Арены» и не состояли. Также позднее буду говорить я подробно и о Николае Лухманове, ибо его работа в Пролеткульте под претенциозным псевдонимом Арсеней Осенний (безвкукусность которого мне удалось доказать Лухманову не без некоторого труда) явилась только бледным вступлением

к его убежденной, страстной и проникнутой прямо-таки жертвенной любовью к своему детищу – деятельности в «Арене». Лухманов был своеобразный и интересный поэт, но он был значительно более талантлив как организатор. «Арена» была создана в значительной степени его руками в самом буквальном смысле этого слова, она поддерживалась теплотой его сердца и, когда Лухманов уехал, «Арена» в смысле внутреннего своего горения была уже не той.

И Лухманова сейчас уже нет в живых. Он умер от туберкулеза около четырех лет тому назад в Москве, издав незадолго до смерти очень интересную, талантливую книгу о новой архитектуре. Последние годы, после довольно продолжительного увлечения областью кинематографии, он специально занимался вопросами архитектуры, дружил с виднейшими архитекторами-новаторами и, по всей видимости, глубоко и оригинально понимал свой предмет.

Среди всех самым близких, для меня лично, был Николай Лухманов, надежный товарищ и преданный друг в моей творческой и организационной работе в области литературы...

■
Когда вспоминаешь о Навесском, невольно примешивается к хорошему чувству чувство боли и досады за талантливого человека, который прожил удивительно бездарную, нетрезвую и неопрятную жизнь.

Во времена Пролеткульта Навесский, именуюсь еще Вороновским (его настоящая фамилия), был совсем молодым, примерно 23-летним, поэтом. «Нежным поэтом», как он сам себя называл. Он находился под смешанным влиянием этакого «Блока для бедных» – Дмитрия Цензора, песенки Вертинского и уже значительно позже – во времена расцвета «Арены» – под влиянием Сергея Есенина и, особенно, его стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу».

Писал Навесский в те дни о «розовых» артистических «уборных», о пастушках, о покинутых кошках, о золотых листьях осени и, как



подобаает лирическому поэту, о безнадежной любви... Все это было как-то очень старомодно, но в общем довольно, как говорится, «мило» и совсем не бездарно.

По рецепту Блока, Навесский всегда готов был горько плакать «...над малым цветком, над маленькой тучкой жемчужной».

Ходил он «ради стиля» в красной турецкой феске, которая не являлась еще тогда на ее родине, в Турции, символом реакции.

«Закрывайте занавесочки!
Нашим дамам на беду,
Я в своей турецкой фесочке
Вдоль по улице иду!..»

Это звучит смешно и забавно в своей наивной самоуверенности и самовлюбленности. Но насколько все же это звучит лучше более позднего, пародийного, но, по существу, трагического в своем мрачном юморе двустушия, тоже посвященного либо кем-то Навесскому, либо Навесским себе самому:

«Ходит Кеша по полям
С русской горькой пополам...»

Да, эта искусственно привитая себе склонность к «русской горькой», ибо поэт должен быть «гулякой праздным», настоящим, неподдельным представителем богемы, немало навредила Кеше.

Многие думают, однако, что в судьбе Навесского явилось решающим то, что он не был, кажется, по выражению одного из пушкинских героев, «врагом бутылки». Хорошо зная его, соприкасаясь с ним довольно близко в течение целого ряда лет, я думаю по-иному.

В этом, несомненно, одаренном и даже, если хотите, неглупом человеке, совершенно ясны, мне думается, черты вырождения, имеющего определенные социально-бытовые корни. К врожденной расхлябанности, сентиментальности, слезливости прибавьте еще своеобразные методы «домашнего воспитания» и, как прямое следствие этого воспитания, лживость, безответственность, амо-

ральность, и вам станет совершенно ясно, что Кешина слабость к выпивке отнюдь не первопричина, а, наоборот, скорее, следствие, один из неотделимых атрибутов его своеобразного «люмпенпролетарства».

Живя до совершенно зрелого возраста на иждивении и под крылышком «мамы», нигде не работая и пописывая лирические стихи, не читая в то же время ничего серьезного, Кеша напился северянинскими «ананасами в шампанском», надышался кокаином запахом песенок Вертинского, а немного позднее наслушался всяческих красочных историй о пьяных скандалах Сергея Есенина. Да это еще что! Ведь сам Александр Блок в своем общеизвестном стихотворении «Поэты» как бы указал молодым поэтам линию их поведения! И Кеша мало-помалу пришел к убеждению, что он страдает воспетым Блоком «всемирным запоем», что и пьянство, и все его экстравагантные выходки, создавшие ему славу чудака и оригинала, а больше – шута горохового, возвышают его над «обывательской лужей».

Некультурность Навесского, этот злейший враг всякого человека вообще, а в особенности литературного работника, была прямо анекдотична. Совершенно целомудренное незнание лучших образцов мировой классической литературы было просто потрясающим. Помню, как однажды, шутки ради, я спросил Навесского, кто ему больше нравится в тургеневских «Отцах и детях»: Вронский или Обломов. И Навесский совершенно серьезно ответил: «Конечно, Вронский!»

С годами Навесский приобрел очень скверную привычку – говорить неправду на каждом шагу и по каждому поводу, говорить неправду без всякой причины и нужды. Сначала, по-видимому, он просто любил пригнать «для красного словца», но затем, несомненно, он уже сам верил в тот совершенно чудовищный вымысел, который он преподносил вам с абсолютно честными глазами в качестве сущей правды. Тяжелая страсть к систематической лжи, мистификации и самозванству, несомненно, подлежавшая изучению психиатра, делала нормальную



жизнь для Навесского и его нормальные отношения с людьми абсолютно невозможными. Этим и объясняется, что при совершенно бесспорном наличии, по крайней мере, в прошлом, какого-то человеческого обаяния, исходящего от его непосредственной талантливости, врожденного юмора и мягкости сердца, Навесский ни с кем и нигде ужиться не мог.

Немногим из смоленских поэтов и писателей удалось избежать тяжелой, но и не безынтесной стадии покровительства Навесскому. Здесь речь идет не о таких «прекраснодушных лириках», каким, скажем, был когда-то я сам или Николай Зарудин, или Урлауб, или целый ряд других поэтов.

Из этого уже более позднего периода я вспоминаю такого нелюдимого, сурового и ортодоксального в своих взглядах человека, как один из убежденнейших и последовательнейших противников «Арены» – впоследствии небезызвестный литератор и деятель РАППА – Мих. Лузгин, бывший тогда председателем военно-редакционного совета Западного округа. Вот уж Лузгина никак нельзя было заподозрить в симпатиях к «интеллигентским хлюпикам». И, тем не менее, некоторый период времени Лузгин определенно пригрел и опекал Навесского, безусловно интересовался им. Навесский чуть ли не ежедневно бывал в квартире Лузгина, и, когда в присутствии Лузгина кто-нибудь так или иначе задевал Навесского, Лузгин говорил: «Кешу вы не трогайте. Он – особенный». Так, по крайней мере, рассказывали люди, близкие стоявшие к Лузгину.

А Досифей Александрович Норицын, бывший редактор «Красноармейской правды»? А Г. Р. Нилов – «Грон», бывший секретарь и талантливый фельетонист «Рабочего пути»? А Николай Смирнов – художник той же газеты? А целый ряд других редакторов, секретарей редакций, просто писателей и поэтов? Сколько их в свое время интересовалось Навесским и покровительствовало ему какой-то положенный срок. Многие, по-видимому, раскаивались потом в этом покровительстве, ибо редко кого Кеша не подводил тем

или иным и, обыкновенно, самым неприятным образом.

Впоследствии, когда Навесский зарабатывал уже сам, печатая в местных газетах небольшие злободневные стихи, хроникерские заметки, отчеты о рысистых бегах, он так и «циркулировал» от одной газеты к другой. Примерно в течение года или полутора лет полностью завершая свою «орбиту»: из «Рабочего пути» – в «Красноармейскую правду», оттуда, после очередной выходки, – в «Юный товарищ», из «Юного товарища» – в «Смоленскую деревню». А отсюда – в ту газету, в которой первым сменялся редактор. И круг начинался сначала.

Часто Лухманов доводил «нежного поэта» до слез, упрекая его в несолидности, в мальчишестве и с удивительной прозорливостью предсказывая ему печальную судьбу: пребывать до седых волос под снисходительной кличкой «Кеша».

Некоторым может показаться, что слишком много места уделяю я здесь Навесскому. Но этого никак не изменить, ибо, если Навесский сам по себе и не заслуживает большого внимания, то никак нельзя отрицать того, что он был в свое время отнюдь не последней фигурой в литературном движении Смоленска. С Навесским волей-неволей придется столкнуться еще не раз и на последующих страницах моих воспоминаний.



Лично я меньше всего помню Гришина и Дукора. С ними, кроме первого описанного мною вечера, я встречался на закрытых собраниях студии раза два, не больше. Вскоре после моего вступления в студию они уехали из Смоленска. Но до меня оба они, по-видимому, играли в студии роль более значительную, чем многие другие, являлись активными участниками открытых вечеров и выпускавшихся студией сборничков, да и помимо всего этого они были просто более или менее интересными, выделяющимися фигурами среди поэтов Пролеткульта.

В мою задачу не входит, конечно, давать критический очерк творчества воспомина-



емых мною поэтов. Это дело будущих компетентных исследователей и историков литературы, вооруженных не только большей, чем у меня, эрудицией в области поэзии, но и сохранившимися, по-видимому, в какой-нибудь из местных библиотек печатными материалами, полностью представляющими творческую продукцию местных поэтов того периода.

Стараясь, по возможности, воскресить с наибольшей точностью и правдивостью ход организационного развития послеоктябрьской литературной жизни Смоленска до создания ассоциации пролетарских писателей, припомнить ряд отдельных фактов и событий, так или иначе связанных с этим развитием и характеризующих его, воссоздать образы живых людей, в той или иной степени двигавших (а, может быть, и тормозивших) это развитие. В деле критической оценки местного творчества я могу быть очень «приблизительным», ибо пользуюсь в этой своей работе только вызываемыми памятью далекими и, может быть, искаженными временем впечатлениями и самыми отрывочными печатными материалами.

Какими же все-таки мне представляются сейчас Дукор и Чорт – Гришин?

Хотя в стихах Дукора и не было как будто той «зауми», которая характеризовала в известной степени стихи Гришина, тем не менее, в некоторых дукоровских строках можно было найти кое-что общее с Гришиным, по-видимому то, что определялось влиянием футуризма на них обоих.

Впрочем, отыскивание сходства между этими поэтами едва ли является особенно прочной и обоснованной позицией для характеристики того и другого, ибо в основном они были совершенно различны.

Дукор производил впечатление культурного человека. Он был общителен и заинтересован в разговоре. Таким, по крайней мере, его довольно туманный облик рисует моя память. Но в своем творчестве он был абсолютно не самостоятелен. Стихи его говорят о некотором пристрастии к древней мифологии. Его строчки содержат такие определения,

как «сын циклопа и буйных менад» или «злые парки», причем определения эти относятся к современным понятиям. Наряду с явно бросающимися в глаза урбанистическим началом, с переплетающимися влияниями на поэта и Брюсова, и Блока, из таких, например, строк Дукора, как:

«Знойные акафисты
В мгле дуплистых келий –...»

выглядит вдруг лицо Клюева или раннего Есенина.

Редкой безвкусицей, на мой взгляд, отмечены такие «футуристические» стихи, как, скажем, «Мое удивление Совнаркому». Приведу его начало:

«Человечки вопили, что ты хочешь
изнасиловать
Какого-то наследия заржавленные гвозди.
Послушай, родимый! Нет краше милого,
Чем твой узывно-полыхающий посвист...»

Современному слуху, мне кажется, особенно претит это слишком уж «вольное», а по существу, реакционное, изображение Совнаркома в виде какого-то былинного «Соловья-разбойника». Не говорю уж об этом поразительном «изнасиловании гвоздей».

Наряду с очевидными, хотя и не очень удачными, поисками оригинальной новой формы, Дукор, судя по таким, например, строкам, как:

«В этих кольцах колючего газа,
В этом жидком расплавленном сне,
Мы не вспомним ни разу, ни разу
О далекой, ненужной весне, –...»

отнюдь не отрицал традиций и принципов символизма.

Во многом противоположен Дукору был Гришин. Он производил более цельное впечатление. Очень неразговорчивый и неприветливый в жизни, он старался, по-видимому, быть последовательным в своем стремлении к преобразованию содержания



и формы поэзии. Правда, ему это не очень удавалось. Он делал настойчивые попытки к преодолению в своем творчестве канонов мещанской лирики и не менее настойчиво в единственно известном мне цикле стихов «Ритмы революции» пытался, в противовес Дукору, тематика которого была чрезвычайно расплывчата, разрешать злободневные политические темы.

Но Гришина уже не удовлетворяла и усвоенная многими поэтами того периода элементарная форма торжественных, как гимн, стихов, с бесконечным использованием таких слов, как молот, сталь, железо, кузнец, завод, труд и т. д.

Ощущение революционного брожения и революционных потрясений в различных странах Западной Европы сделало основной идеей известных мне стихов Гришина идею мировой революции. Если же он писал о нашей революции, то у него получалось все-таки так, что в стихах воспевалась не конкретная Октябрьская революция, а революция «вообще».

Стихи его были внутренне напряжены, насыщены революционным пафосом, но им не хватало, если можно так выразиться, положительного содержания, в них чувствовалось разрушение, и почти не чувствовалось созидания.

Возможно, в связи с анархо-футуристическими влияниями, свойственными пролеткультовцам вообще, в стихах Гришина доминирует и «стихийность революции». Революция изображается поэтом в виде ветра, бури, чугунного дождя, всеиспепеляющего огня.

В связи с этим, образы Гришина были преимущественно отвлеченными, космическими, символы, от которых ему не удалось уйти, – чрезвычайно туманными, метафоры – чрезвычайно гиперболическими, ритмы – ломающимися, а язык – нередко «заумным» и доступным иной раз пониманию только самого автора.

Преодолев дешевую красоту и литературшину, подняв стихи на высоту революционного пафоса и политической целеустрем-

ленности, Гришин, в то же время, фактически сделал очень мало, мне кажется, в области создания массового искусства. Он в тот период, по крайней мере, не смог органически усвоить пролетарское мировоззрение и овладеть действительно новой, оригинальной, но и вполне доступной массам поэтической формой.

Приведу одно стихотворение Гришина под странным заглавием «Нервная по матам», хотя и наиболее из всех «заумное», но далеко не лишнее характерных черт для его творчества в целом:

«Вся в неровных ритмах,
На вожжах из нервов,
Вся равняюсь в битвах,
Шагом вечно первым,
Нервная по нарам,
На лице с загаром,
Нервная бежишь...
От равнин скалаешь,
С улиц в щели хатам,
Нервная скакаешь,
Нервная по матам,
Что ни шаг, шахуя!»

Полагаю, что едва ли найдется много даже искусственных в футуристической поэзии людей, которые поймут, что в этом стихотворении речь идет о революции!..



В самый последний период существования литературной студии Пролеткульта появился еще один поэт, которому довелось сыграть более или менее значительную и активную роль в деле создания «Арены». Это был Александр Китаев, разносторонне одаренная индивидуальность (поэт и художник), но, как человек, представлявший собою то, что в общезнании принято называть прошедшим «огонь и воду и медные трубы». По крайней мере, проявленные им энергия и заинтересованность в организации «Арены» на деле оказались далеко не бескорыстными, что и привело «Арену» к полному разрыву с ним.



Впрочем, поскольку в литературной студии Китаев себя никак не проявил, подробнее о нем я расскажу в следующем очерке.

■

В среде поэтов, объединенных при литературной студии, живы были воспоминания о целом ряде безвременно ушедших товарищей, которых я – лично – уже не застал.

К таким в первую очередь надо отнести Бориса Верхоустинского, писателя уже печатавшегося далеко за пределами Смоленска, имевшего уже какое-то свое лицо и некоторое литературное имя. Судя по словам товарищей, он играл большую роль в жизни студии, пользовался громадным авторитетом и любовью среди пишущих, и его смерть нанесла студии сильнейший и, по-видимому, непоправимый удар, лишив ее опытного и надежного руководства. Возможно, что именно с потерей Верхоустинского студия пришла к тому странному состоянию, в котором я застал ее и которое без надлежащей помощи не в силах был изменить, при всех своих способностях, малоискусшенный в этих делах Страдный.

Как передает студенческая литературная газета того времени, «Искусство», от тифа, как и Верхоустинский, умер на южном фронте писатель В. Барков. От скарлатины умерла поэтесса Иванова, от воспаления мозга – поэт Киселев, один из наиболее, мне кажется, самоопределившихся и оформившихся поэтов Пролеткульта.

Примерно в то же время покончил самоубийством поэт Войтов. Ни об Ивановой, ни о Войтове, как о поэтах, я не имею никакого представления, т. к. вместе с ними погибли и почти все их произведения. В частности, все рукописи Ивановой, по сведениям той же газеты, сожгла в печке, нагревая квартиру, ее квартирная хозяйка. По другим мотивам уничтожила мать Киселева его «Утро сельской коммуны». Произведение сына было «истреблено» за его кощунственность.

■

Наряду с пролеткультовской группой поэтов, из недр которой организовалось затем

ядро инициаторов и строителей «Арены», существовала в тот период в Смоленске еще одна поэтическая группа, не имевшая связи с литературной студией (хотя она и участвовала вместе с поэтами студии в сборнике «Ступени»), впоследствии временно занявшая резко враждебную позицию по отношению к «Арене».

Эта группа, состоявшая из трех поэтов: Дмитрия Земляка (Горшкова), Семлевского (Буркина) и М. Исаковского – опиралась на редакцию газеты «Рабочий путь». В группу входили крестьянские поэты. По крайней мере, в отношении Земляка и Исаковского это не подлежит сомнению, несмотря на то, что оба они не ограничивали себя только деревенской тематикой. Что же касается Буркина-Семлевского, то, довольно хорошо помня его лично по редакции «Рабочего пути», я совершенно не помню ни одного из написанных им стихотворений, хотя две книжечки его «В зареве пожаров» и «Изломы» и лежали у меня в свое время на книжной полке.

В то время самым талантливым из этой группы представлялся мне Дм. Земляк, стихи которого, при всей их схематичности, свойственной большинству революционных стихов того времени, отличались известной красочностью, звучностью и какой-то неуловимой свежестью, несмотря на используемые им чрезвычайно элементарные и трафаретные, казалось бы, средства художественного выражения, вроде, например, следующих:

«...Смех и выстрелы. Гром и солнце.
Люди падают. Гнев и ласка.
Эх, горят огни, как червонцы,
Это жизнь идет, словно сказка...
Волны музыки. Реки песен.
В сердце – зарево. Взгляд из стали...»

Или:

«...Нам не нужно с тобой бессилья,
О котором шумят камыши.
Вырастают гигантские крылья
У моей пролетарской души...»



Став в 1924 году редактором «Рабочего пути», позднее перебравшись, кажется, в Иваново, а затем – в Московский радиоцентр по линии деревенского вещания, Земляк совсем забросил, по-видимому, свою поэтическую работу. А жаль: человек он был с несомненным поэтическим дарованием.

Михаил Исаковский... простые и ясные, но, вместе с этим, удивительно своеобразные стихи этого поэта пользуются сейчас, как известно, большой популярностью и любовью. Несмотря на то, что Михаил Васильевич уже около 4-х лет тому назад переехал в Москву, литературная связь его со Смоленском очень крепка, и с годами, я бы сказал, не только не ослабевает, но укрепляется. О Михаиле Васильевиче, о Мише Исаковском, о Михвасе, как его называют многочисленные доброжелатели и друзья, в дальнейшем придется вспоминать неоднократно. Линия отношения Михаила Васильевича к «Арене» развивалась на протяжении почти 3-х лет довольно сложно и зигзагообразно. Достаточно сказать, что в последний период существования «Арены» линия эта шла как раз в обратном направлении тому, как она шла в начале.

Начав с положения убежденного врага «Арены», М. В. закончил положением ее последнего председателя.

Я бы меньше всего хотел быть понятым здесь таким образом, что, мол, взгляды Исаковского были не определены, убеждения не устойчивы, принципы не тверды. Наоборот, эту довольно сложную эволюцию в его отношениях к «Арене» я объясняю как широтой взглядов Михаила Васильевича, его честностью и объективностью, отсутствием мелкого пристрастия, умением сознавать и исправлять свои собственные ошибки, так, главным образом, и тем, что «Арена» 1923–24 годов уже значительно отличалась от «Арены» 1921 года. И ее существо за эти два-три года сильно изменилось в направлении, способствовавшем сближению с ее недавними врагами.

Однако, не буду забегать вперед. С Михаилом Васильевичем, повторяю, мы еще

встретимся на этих страницах. Здесь мне хотелось отметить одно: что Исаковский – поэт того далекого периода, казался мне не только не талантливым, но, прямо скажу, едва ли не наиболее безнадежным из всех местных поэтов. Бывают ошибки, в которых радостно сознаваться. Такой ошибкой для меня явился мой «прогноз» относительно Исаковского. В оправдание себе скажу, однако, что, кроме вполне понятной наивности содержания и примитивности формы его старых стихов, на них лежал еще больше всего угнетавший меня отпечаток штампа, рутины, дешевой литературщины (в духе этакого – Скитальца), которые так враждебны именно простоте, то есть качеству наиболее покоряющему сейчас в стихах Исаковского. Казалось, что мимо Исаковского проходят все завоевания новой поэзии, что он, как глухой, совершенно не слышит раскатов борьбы, так шумно развертывавшейся тогда на поэтическом фронте...

В стороне от Пролеткульта в мое время, но, как говорили, имея отношение к организации литературной студии, стоял беллетрист Н. С. Коржанский, с большим стажем в литературной работе, печатавшийся в толстых журналах еще до революции. Но с ним некоторая связь возникла уже в более поздний период.



Перечитывая страницы этих первых набросков моих «литературных воспоминаний», я вижу, что в них почти отсутствует воспроизведение событий, дел, фактов. Да, ими в этот описываемый мною краткий период и на самом-то деле жизнь нашей литературной студии была небогата.

Весь интерес этого периода для меня лично заключался в моем знакомстве с живыми, талантливыми людьми, многие из которых сыграли ту или иную роль в литературной жизни Смоленска.

С некоторыми из них меня надолго связали общие интересы, общая увлекательная работа, наконец, личная дружба. С большинством мы разошлись по различным причи-



нам, почти что не успев сойтись. Но здесь мне хотелось честно и правдиво, насколько позволяет мне память и способность возвыситься над субъективными впечатлениями и вкусами, воспроизвести образы, если не каждого, то большинства хотя бы в нескольких штрихах.

Ибо эти мелкие штрихи, эти отдельные образы помогут, быть может, кому-нибудь в будущем составить цельную картину смоленской литературной жизни того периода.

II. Период организации «Арены»

Мысль о создании «Арены» зародилась в голове Николая Лухманова. Она зрела, по-видимому, давно, ибо душно и тесно становилось в замкнутых стенах Пролеткульта...

Появление «Арены» на свет не случайно совпало с началом Новой экономической политики и организационная форма, в виде «трудовой артели», была, несомненно, обусловлена НЭПом.

Фактическое начало организации «Арены» совпало с ликвидацией литературной студии, без всякой непосредственной зависимости, однако, одного от другого.

Первоначальное ядро «Арены» сформировалось целиком из поэтов литстудии. Сначала каждый из подходящих, по мнению Лухманова, поэтов подвергся, по-видимому, индивидуальной обработке в целях выяснения его отношения к лухмановской идее. Затем, когда почва была пророщена и надежные единомышленники подобраны, проект организации артели был доложен на общем собрании поэтов литстудии. На одном из следующих собраний был принят разработанный, в основном, тем же Лухмановым устав артели, и на пятом собрании, как свидетельствует уцелевший у меня протокол, избрано ее первое правление со мной – председателем, Корстом – товарищем председателя и Лухмановым – секретарем.

Кстати, здесь небезынтересно вспомнить, как же отнесся к мысли об организации артели Сергей Страдный.

В связи с тем, что дни руководимой им литературной студии, как и дни Смоленского Пролеткульта в целом, были все равно сочтены, Сережа не имел никаких формальных оснований возражать против создания артели и клуба поэтов. По существу, он тоже не возражал, поскольку основное ядро «Арены» на первых порах намечалось в составе только тех поэтов, которых он хорошо знал по литературной студии.

Таким образом, не взяв на себя активной роли в новой литературной организации, Страдный, тем не менее, состоял в первое время существования «Арены» ее действительным членом. Документальным доказательством этому служит хотя бы сохранившаяся у меня программа первого «Вечера поэтов», организованного «Ареной» в июле 1921 г., в которой в числе шести выступлений поэтов «Арены» значится и выступление Сергея Страдного.

Однако, после резкой критики «Арены» «Рабочим путем» Сережа Страдный, как партиец, решил выйти из состава «Арены», так как вокруг «Рабочего пути» группировалась тройка крестьянских поэтов-коммунистов: Земляк, Семлевский, Исаковский – бывших инициаторами организации «Коллектива пролетарских писателей», которая и послужила, по-видимому, основным поводом к выходу Страдного из «Арены». Об этом коллективе одна из случайно сохранившихся у меня заметок в «Рабочем пути» говорит следующее: «15 августа (1921 года – Б. Б.) состоялось совещание инициативной группы по организации коллектива поэтов, стоящих на точке зрения пролетарского творчества. На совещании присутствовали местные поэты-коммунисты: Дмитрий Земляк, С. Страдный, М. Исаковский и Семлевский. Совещанием принят за основу предложенный устав. Решено устроить при одном из рабочих или красноармейских клубов отделение клуба пролетарских поэтов и писателей, где устраивать выставки, делать доклады, читать лекции, устраивать вечера, организовать выступления по предприятиям и пр. Решено издавать небольшой журнал, популяризиру-



ющий пролетарское творчество. В журнале намечены пока следующие отделы: 1. Стихи и проза, 2. Публицистика, 3. Пролетарская сатира, 4. Библиография, 5. Хроника и 6. Почтовый ящик. Решено также выпустить коллективный художественный сборник, весь сбор с которого поступит в пользу голодающих».

Насколько мне известно, коллектив этот окончательно как официальная литературная организация оформлен не был. Подтверждает это и один из бывших членов самого коллектива, М. В. Исаковский. Из массы мероприятий, намеченных инициативной группой, был, мне кажется, осуществлен только выпуск сборничка стихов и, возможно, имели место эпизодические выступления по предприятиям.

Но, так или иначе, на втором открытом вечере «Арены» – в августе того же года – Сережа, как свидетельствует об этом афиша, выступал вместе с нами, но уже не в качестве члена «Арены».



Итак, артель художников слова «Арена» была оформлена, устав ее соответствующим образом зарегистрирован, правление избрано, название, после долгих споров, найдено, и перед нами встали две основных задачи: найти и оборудовать постоянное помещение для клуба поэтов и, независимо от подыскания помещения, сейчас же начать фактическую деятельность в виде открытых вечеров, организации издательства и – по образцу московских поэтов – собственной книжной лавки.

Эти свои воспоминания я начал с описания публичного вечера в Пролеткульте, на котором состоялось мое знакомство с смоленским «литературным миром». Теперь вспоминается другой вечер – первый открытый вечер «Арены», состоявшийся в зале теперешнего городского театра (тогда в этом здании было кино).

Устраивая этот вечер, мы преследовали три цели, из которых, надо сказать, не все отличались похвальной скромностью. Мы

намеревались путем демонстрации своего творчества сломать стену равнодушия и индифферентности, господствовавших в Смоленске по отношению к послеоктябрьской поэзии, получить средства, необходимые для реализации наших планов, и, наконец, просто-напросто «во весь голос» заявить о своем появлении на свет.

Все три цели требовали каких-то экстраординарных, героических мер. Для того чтобы широкая публика пошла тогда на литературный вечер неизвестных поэтов да еще заплатила бы за это деньги, да еще проделала бы все это в 11–12 часов ночи, так как зал предоставили в наше распоряжение только после соответствующего количества киносеансов, надо было действительно заинтересовать публику преподнести ей что-то из ряда вон выходящее...

Перед моими глазами лежит сейчас пожелтевший от времени (как пишется во всех лирических воспоминаниях) листок-программа вечера. На ней дата – 23 июля 1921 г. – начало фактической жизни «Арены»... В программе сразу бросаются в глаза несколько необычные вещи, которые, будучи анонсированы, еще до вечера вызвали первое нападение на «Арену» в печати.

Прежде всего – «бомбические портреты» – изобретение неизменно-эксцентричного Александра Китаева. Под этим «террористическим» термином крылось самое невинное содержание: краткие и несколько шуточные взаимные литературные характеристики выступающих поэтов. Каждая характеристика по замыслу должна была быть дана так быстро и остро, чтобы произвести впечатление взорвавшейся бомбы.

Дальше – в антракте – ознакомление с книжной лавкой поэтов, существование которой оправдывалось цитатой из Пушкина:

«Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать!»

После второго отделения – антракт, во время которого каждый из публики призывался голосовать за лучшего, по его мнению, поэта данного вечера.



Наконец, в третьем отделении публика приглашалась провести «двадцать минут в кухне поэтов», что означало демонстрацию того, как происходит разбор стихов на студийных собраниях «Арены». В заключении – подсчет поданных в антракте голосов, и «венчание» победителя «лаврами» в виде цветка и почетного звания «поэта красной розы».



Впрочем, это только то, что было предусмотрено программой. Кроме этого, нами был придуман целый ряд трюков и неожиданных эффектов, долженствовавших ошеломить публику.

Сейчас мне не верится как-то, что это никто иной, как я, – своей собственной персоной – «отмачивал» такие «колена» и за грех не считал», как говорил Аркашка из «Леса», подобным, не совсем благопристойным путем «выводить в люди» только что рожденную

организацию. Времена футуристической «желтой кофты» были не за горами и «пощечины общественному вкусу» считал себя вправе отвешивать каждый, у кого по молодости чесались руки. При этом совершенно игнорировалось то обстоятельство, что, скажем, бунт Маяковского, пусть даже анархичный и мелкобуржуазный по существу, был направлен против дореволюционного порядка вещей, что гигант Маяковский рассыпал свои звонкие затрешины вкусом того общества, которое, безусловно, заслуживало этого. Совершенно иной запах исходил, например, от имажинистских «пощечин», точно так же, как совершенно иным запахом веяло и от наших, казалось бы, совершенно безобидных, но, несомненно, реакционных по своей целевой направленности «трюков» и «эффектов», являвшихся объективно ни чем иным, как той же пощечиной вкусом советской общественности.

Тогда, в «завоевательном» пылу, мы не понимали этого и сочили принципиально справедливое нападение на нас со стороны «Рабочего пути» заушательством и пристрастием.

Однако, вернусь к рассказу.

Лухманов, со свойственной ему слабостью к футуристическому грохоту, придумал ввести в действие нашего вечера барабаны, которые предвещали бы появление на эстраде каждого поэта. Для этого по обоим внешним углам эстрады было поставлено по громадному барабану. Из-за кулис, по направлению к каждому из барабанов, были прочерчены мелом кривые, по которым метеором проносились одновременно два мальчугана, одетые в специально сшитые крылатые костюмы, каких-то не то мотыльков, не то стрекоз. Они оглушительно колотили в барабаны и так же быстро уносились назад, очищая поле действия для очередного поэта. Помню, каких трудов стоило нам разыскать на улице подходящих мальчуганов, уговорить их за соответствующее вознаграждение взять на себя роль этих своеобразных «глашатаев» и научить их выбегать в одно и то же время, с одинаковой силой колотить в барабан и,



оглушив публику, убежать обратно по той же кривой, симметрично описывая на эстраде нечто вроде дуги.

Один из мотыльков в самый разгар чрезвычайно затянувшегося вечера расплакался, очевидно, захотел спать, и мы едва-едва уговорили его, при помощи конфет, довести свою роль до конца...

Кстати, мне хорошо запомнилась почему-то симпатичная физиономия этого мальчугана, и я совсем недавно еще узнал его на одной из улиц Смоленска, правда, уже в образе широкоплечего и цветущего парня. Мне очень хотелось с ним заговорить, но я постеснялся напомнить ему «об ошибках молодости»... К тому же едва ли в его памяти сохранилось что-нибудь из того, что я помнил так хорошо...

Мне кажется, не меньшим сюрпризом, чем эти стрекозы-барabanщики, «кухня поэтов» и «бомбические портреты» явились для неискушенной публики и сами «футуристические» стихи Лухманова и «модное» чтение Сергея Страдного, о котором я уже упоминал в первом очерке, и стилизованный доклад Николая Корста о современной поэзии, под столь же изящным, сколь и претенциозным названием – «Беатриче мира»...

Публики на вечеру было не очень много, но все же она была, слушала, изумлялась, забавлялась и добросовестно подавала свои записки за наиболее понравившихся поэтов.

Вечер закончился забавным инцидентом. Против ожидания, наибольшее количество голосов получил не Навесский – автор самых, казалось бы, лиричных и доходчивых стихов. «Нежный поэт» был чрезвычайно потрясен этим невниманием публики и, когда победителю поднесли две прекрасные алые розы, Навесский быстро подошел, вырвал из рук его одну из роз и, судорожно прижав ее к груди, с дрожью и слезами в голосе произнес: «Нет уж, эту розу я несусь маме!»



Через несколько дней в «Рабочем пути» появилась разносная рецензия. Это была первая ласточка, за которой последовала целая

«стая» резких отзывов об «Арене». Критиковали жестоко, не стесняясь в выражениях, и не столько по существу прочитанного на вечеру, сколько по поводу его шарлатанской физиономии. Автор рецензии был в этом прав.

При менее страстном и предвзятом отношении к «Арене», за этой умышленно, хотя и бесспорно неудачно заостренной внешностью, он бы, несомненно, мог заметить совершенно серьезное и идеологически вполне доброкачественное содержание большинства прочитанных стихотворений. При объективной оценке об этом можно и нужно было сказать. В пылу полемического задора автор рецензии не сделал этого.

В рецензии было много уязвимых пунктов с точки зрения элементарной логики и добросовестности, и мы не замедлили использовать эти пункты для насыщенного сарказмом опровержения. Я не помню сейчас этого опровержения, но хорошо помню, что весь смысл, вся острота нашего, казавшегося нам убийственным сарказма были вложены в какой-то анекдотический пример с тремя «старыми девами» (читай: с поэтами, – Исаковским, Семлевским, Земляком) и столькими же извозчиками. И в этом тоже сказалось влияние Китаева. В редакцию были отряжены идти Лухманов и я. Фактический редактор – опытный «газетный волк» и главный вдохновитель противоаренской «кампании» – Г. Л. Цейтлин (работавший потом некоторое время в «Известиях» под псевдонимом Гр. Львович) куда-то уехал. Нас принял М. В. Исаковский, бывший тогда де-юре редактором «Рабочего пути». Михаил Васильевич встретил нас с очень серьезным и суровым видом. Прочел наше письмо и сказал, что может его опубликовать, но только без анекдота о старых девах и извозчиках.

– Но ведь в этом анекдоте заключается весь полемический смысл нашего письма! – возразил я Исаковскому. Однако, несмотря ни на какие наши доводы, Исаковский остался непреклонен и печатать письмо полностью отказался. Так мы и ушли, не солоно хлебавши и унося совершенно пре-



вратное убеждение о жестоком и деспотическом характере Исаковского.

Итак, повод к первому выступлению «Рабочего пути» против «Арены», представлявший нам тогда никак уж не принципиальным и сводящимся к голому факту столь «дерзкого» возникновения артели художников слова, на самом деле, как видно из сказанного выше, имел под собою идеологически достаточно обоснованную почву. Мы не видели этого. Мы рассуждали примерно так: ведь никаких деклараций о платформе «Арены» мы не делали, устав артели, утвержденный Губполитпросветом, естественно, не может содержать в себе ничего предосудительного, творческая же продукция поэтов «Арены» ничем не отличается от поэзии литературной студии Пролеткульта, которую никому из наших противников не приходило в голову квалифицировать как антипролетарскую.

Мы не хотели понять того, что уже в самой крикливой и беззастенчивой форме первых вечеров «Арены» ясно сквозили тенденции, абсолютно враждебные пролетарскому искусству.

Признать свои ошибки, осознать свою неправоту, объективно посмотреть на вещи нам мешало, правда, и то, что некоторые сотрудники «Рабочего пути» неоднократно сгущали краски в своих нападениях и обвинениях; они вульгаризировали самое понятие пролетарской литературы, сводя сущность ее к примитивной агитационности; учитывая культурную ценность «Арены» по существу и возможность ее правильного использования, они не помогали ей изжить недостатки, а всеми возможными средствами стремились как будто к ее ликвидации.

С наших «олимпийских высот» нам казалось тогда недопустимым со стороны редакции то, что она не подобрала для ведения полемики с нами людей, находящихся во всеоружии литературных знаний и искушенных в литературных боях, а доверила это дело «простым смертным». Действительно, нужно сказать, что до Михаила Лузгина, который впоследствии возглавил «противоаренскую кампанию», дискуссию с нами

проводили товарищи, не очень грамотные в литературных вопросах. Отсюда вытекал целый ряд курьезов. Теперь особенно забавно видеть, перечитывая сохранившиеся у меня полемические высказывания наших обвинителей, как они подстригали под одну критическую гребенку все поэтические направления, наименование которых имело несчастье оканчиваться на «изм».

Наши обвинители не хотели сначала понять одного: «Арена» не была литературным направлением, литературной школой, группой, первой формой профессионального объединения поэтов и писателей, принадлежавших к различным литературным направлениям и школам, но объединенных тем, что все они стояли на советской платформе и все они по-настоящему любили свое дело. Это было именно так. У нас не было не только единого литературного направления, но не было у нас даже ведущего направления. Все – и футуристы, и неоакмеисты, и имажинисты – уживались в «Арене» на равных правах, и никто бы не мог сказать, что, допустим, левовец Костецкий, только по тому, что он левовец играет в жизни «Арены» большую роль, чем «нежный лирик» Навесский. По-просту говоря, здесь доминировало влияние того, кто оказывался более значительным по удельному весу своего дарования. И вот, это объединение представителей различных литературных направлений под знаменем «Арены» объявлялось нашими противниками как «буржуазная беспринципность».

Но как это ни странно утверждать, именно мне, даже и в этом они были в значительной степени правы, ибо, как будет видно из дальнейшего, именно вот этой разношерстностью и пестротой состава артели воспользовались люди, ничего общего с советской поэзией не имевшие, и пытались протаскивать с эстрады «Арены» свои глубоко реакционные стихи. Скажу без обиняков то, что представляется мне сейчас неподлежащим никакому сомнению: ведь партийное руководство на первых порах деятельности «Арены» отсутствовало, а это, вместе с пестротой состава «Арены», заставляло ее



двигаться, как говорится, «без руля и без ветрил».

Таким образом, когда сейчас восстанавливаешь в памяти, насколько возможно, общую картину полемики «Арены» с «Рабочим путем», когда оцениваешь по существу ту «кампанию», которую повел «Рабочий путь» против «Арены» немедленно же по ее возникновении, тогда очень определенно видишь принципиальную правоту «Рабочего пути». Это особенно касается периода уже после создания клуба поэтов.

Больше всего мне жаль теперь, что наряду с некоторыми положительными оценками нашей работы почти не сохранились у меня отрицательные отзывы той, первоначальной, стадии существования «Арены». Пусть читатель не усмехается многозначительно. Это имеет свой вполне основательный *raison d'être*, как говорят французы.

Невозможность полемизировать в печати с нашими обвинителями и, как нам казалось тогда, зашателями, иной раз нас очень нервировала. И вот уже, когда мы работали в собственном помещении и когда накопилась у нас довольно солидная пачка газетных вырезок, конечно, по своему содержанию в подавляющем большинстве неодобрительных, наиболее изобретательные из нас придумали оригинальный способ полемической борьбы. Была сделана большая доска, на которую были наклеены все ругательные отзывы. Водрузили доску на видном месте, в зрительном зале «Арены», и сделали на ней довольно вызывающую и едва ли отражавшую даже и тогда наше истинное настроение надпись: «Что «Арене» приятнее всего».

Небезынтересно, кстати, отметить, с какой точностью увековечиваются подобные эпизоды «для потомства». Первый «историк» «Арены» – писатель Вячеслав Шишков, поместивший в одном из номеров «Красной нови» за 1923 г. обширную, хотя и не очень обоснованную статью об «Арене», – изобразил все это совершенно в другом освещении и представил дело таким образом, будто бы ареновцы вывесили на стене под цитированной выше надписью положительные

отзывы о своей работе. Это было бы, бесспорно, более правильным, но что, скажите, пожалуйста, было бы необычного в том, что «Арене» «приятнее всего» похвалы и к чему была бы эта надпись? Вячеслав Шишков не понял всей «соли» нашей выдумки.

Эта доска, содержавшая единственные экземпляры вырезок, была снята со стены еще задолго до ликвидации «Арены» и неизвестно куда исчезла.



Корст фактически так и не был товарищем председателя «Арены». Он уехал, не успев вступить в исполнение своих обязанностей. Вместо Корста был выбран Китаев и поначалу – надо сказать – не было никаких оснований раскаиваться в этом выборе. Александр Китаев был чрезвычайно энергичен и изобретателен в создании клуба поэтов и, особенно, книжной лавки. Жил он со своей женой в маленьком домике за Ильинской церковью, т. е. на том месте, где сейчас расположена площадь Дома советов. Окна его комнаты, с низким потолком и скрипучим полом, выходили в запущенный яблоневый садик. Немало часов провел я в этой, не похожей на городскую, комнате за чтением или слушанием стихов, за обсуждением организационных вопросов молодой артели художников слова.

Прошлое Китаева было очень темно, точно так же, как теперь темно для меня его настоящее. Была в его биографии, в биографии скромного сельского учителя, какая-то «история», в результате которой Китаев «пострадал» и, по его словам, подвергся «преследованиям» со стороны реакционной части учительства и работников наробразы. Насколько можно было судить об этой истории по отрывочным рассказам самого Китаева, дело сводилось не к таким уж невинным пустякам. В сельской школе, которой Китаев заведывал, он ввел в порядке чуть ли не обязательного обучения так называемый «алекитизм» (производное от «Александр Китаев») – своеобразный сокращенный язык, благодаря которому, по замыслу изобрета-



теля, достигалась громадная экономия времени, бумаги и всего прочего. Сам Китаев весьма бегло изъяснялся на этом языке и даже писал на нем стихи. Не знаю, пользовался ли этот язык особенным успехом у учеников, но, когда это нововведение стало известным органам народного образования, Китаева привлекли, кажется, к уголовной ответственности. Впрочем, в конце концов, дело окончилось для Китаева, по-видимому, сравнительно благополучно, и он поплатился только своим местом учителя.

Когда я познакомился с ним, мне кажется, он нигде не служил. Работала как будто только его жена. Сам же Китаев писал стихи и изощрялся в изыскании средств для издания своей второй книжки. Первая книжка «Оранжевый колорит» только что вышла в очень недурном «издании автора». При этом все, от стихов до обложки, являлось творчеством самого поэта.

Стихи Китаева мне представляются несомненно талантливыми, технически зрелыми, хотя и недостаточно ровными по форме. Наряду с прекрасной, полнокровной, образной строфой, в его стихах обнаруживалась ужаснейшая безвкусица.



Обложка книги Китаева

В некоторых своих стихотворениях, особенно из его позднейшего неизданного цикла «Янтарные плоды», Китаеву удавалось приблизиться по форме к классической ясности, напоминавшей бунинскую, но зато и эстетизмом Бунина веяло от его в целом безыдейного творчества. Он умел рисовать замечательные картинки с натуры, причудливо совмещая в них примитивный и циничный эротизм с утонченным пониманием музыкальной и световой гаммы стиха и с чувством стиля. Но дальше этого, внешнего, он не шел.

Китаев был не молод. За его плечами насчитывалось около 35 лет довольно беспоконной, по-видимому, жизни. Он сильно сутулился, держал голову несколько набок, смотрел исподлобья, избегая встречаться своими зеленовато-серыми бегающими глазами с вашим взглядом, и говорил сиплым, придушенным шепотом.

Китаев был «шарлатан» и «авантюрист» по натуре, и это шарлатанство сказывалось во всем, начиная с «алекинизма» и кончая его деятельностью в «Арене». Весьма характерным был способ распространения «Оранжевого колорита» через мальчишек, торговавших по улицам «рассыпной Явой» и при посредстве написанных самим поэтом беззастенчивых рекламных анонсов.

Характерна была и история с его пьесой «Синие крокодилы», которую автор разрекламировал гораздо более талантливо, чем написал. Эта халтурная пьеса, посвященная, кажется, консерватизму в учительской среде, была продиктована, по-видимому, личными счетами и поставлена каким-то халтурным драмкружком. Если она и имела некоторый успех, то, несомненно, скандального порядка. Но шума было создано вокруг этих «Синих крокодилов» предприимчивым автором чрезвычайно много.

Декларированные Китаевым в предисловии к своей книжке «напряженные творческие искания, стремительное движение вперед – к совершенству форм, к солнечной ясности духа» – нисколько не мешало ему с чисто торгашеской ловкостью продавать пло-



ды своих вдохновений и пытаться сделать «Арену» выгодным коммерческим предприятием.

Китаев появился в литературной студии уже тогда, когда вопрос о формах организации «Арены» был решен. Следовательно, он пришел к нам не в те дни, когда мы платонически занимались коллективным обсуждением стихов, а только после того, как от наших замыслов запахло чем-то более существенным, нежели хорошая рифма. И, наоборот, как только Китаев понял необоснованность своих надежд, он ушел от нас так же быстро, как и появился... Но в первое время, повторяю, Китаев принес «Арене» большую практическую пользу, что, впрочем, нисколько не оправдывает нас в неразборчивости при выборе людей.



Энергичные поиски помещения для клуба поэтов увенчалась, наконец, успехом. Лухманов напал на замечательный особнячок на нынешней Мало-Университетской улице, занятый реквизиторским складом городского театра. Этот невзрачный, низенький домишко имел два замечательных подвала, которые были как будто специально предназначены для «поэтического кафэ». Не без труда нам удалось получить ордер на это помещение и каким уж образом, я не помню, но городской театр вынужден был дать обязательство очистить занимаемую площадь под клуб поэтов.

Но не так-то легко было реализовать это обязательство. Мы занимали отведенное нам по ордеру помещение, как вражескую территорию в условиях позиционной войны: шаг за шагом, медленно, упорно и настойчиво. Сначала мы получили в свое владение всего только 2–3 квадратных сажени. И эта миниатюрная площадь была немедленно закреплена нами. На ней была открыта книжная лавка поэтов, продавщицей в которой посадили жену Китаева.

Из книг, которыми торговала, или, вернее, должна была торговать лавка (понятно, помимо «Оранжевого колорита»), помню толь-

ко принесенное кем-то на комиссию полное собрание сочинений не то Писемского, не то Шеллера-Михайлова и стихи Земляка, Исаковского и Семлевского, доставленные нам для продажи на комиссионных началах их авторами – нашими «врагами».

Как торговала лавка, явившаяся подражанием московским лавкам поэтов и писателей, сколько в ней было продано книг – сейчас не помню. Помню только, что вырученных денег далеко не хватило даже на то, чтобы расплатиться с продавщицей. Но это было и неважно. Важно было то, что мы имели какую-то свою «базу», место, в котором мы сходились ежевечерне для литературных разговоров, для обсуждения сделанного за день, для составления планов на завтра... Лавка эта, просуществовавшая всего месяца два, являла собой видимость какого-то реального дела. Нам эта видимость нужна была для того, чтобы с большими основаниями добиваться как можно скорее предоставления артели всего помещения.

Ведя эту борьбу «за территорию», мы в то же время должны были разрешить исключительной сложности, проблему изыскания средств для оборудования и содержания клуба.

Это была задача далеко не легкая. Нам, поэтам, никогда не занимавшимся никакими коммерческими делами и ничего не понимавшим в этих делах, вдруг пришлось вести переговоры с какими-то довольно сомнительными дельцами, искавшими применения как своим капиталам, так и своим спекулятивным способностям и пытавшимся уловить нас в свои сети.

Мы хорошо понимали, что, не располагая никакими средствами, кроме своей заработной платы по месту службы (да и служили в то время, как видно из предыдущего, не все члены «Арены»), и не имея основания рассчитывать на чью-либо помощь со стороны, нам необходимо было использовать помещение, отведенное под «Арену», для организации в нем какого-нибудь подсобного предприятия, на прибыли от которого мог



бы существовать клуб поэтов со свободным входом на его вечера.

Множество всяких идей рождалось в наших головах, но в результате тщательного отбора остались две: организовать в помещении клуба поэтов театр миниатюр, а в подвалах, о которых я уже писал, – ночное кафе, на манер московского «Домино» или «Стойла Пегаса».

Таким образом, переговоры у нас шли по двум линиям: во-первых, с актерами, и, во-вторых, с буфетчиками. При этом последняя категория представляла для нас в тот момент наибольшую ценность, т. к. здесь мы должны были получить в качестве арендной платы деньги, на которые нам предстояло оборудовать зрительный зал и сцену.

Я не буду занимать внимание читателя описанием всех сложных «стадий» и «фаз», в которые выливались наши переговоры с представителями этой почтенной профессии. Скажу только, чтобы к этому больше не возвращаться, что в конце концов был заключен договор с каким-то Кукушкиным, от него была получена в виде первого взноса какая-то незначительная по тому времени сумма, что-то миллиона в два, и на этом финансирование Кукушкиным нашего довольно воздушного предприятия прекратилось. Однако, было бы ошибкой думать, что договор был нарушен по инициативе Кукушкина. Ничего подобного. Договор расторгло правление «Арены», уличив Кукушкина в каком-то очень странном «тайном соглашении» с Китаевым, послужившем поводом к разрыву с последним. Но все это, как и наши практические старания завязать связь с театральным миром, относится к более позднему времени, когда городской театр помещение уже освободил и нам необходимо было срочно приступить к его эксплуатации.

Как-то посреди лета, по настоянию Китаева, мы посетили на даче заведующего Губоно, А. П. Чаплина, с целью выяснить его отношение к «Арене». Ходили к нему Китаев, Лухманов, Страдный и я.

Чрезвычайно симпатичный и серьезный человек А. П. Чаплин, кажется, и посейчас работающий в Наркомпросе, высказал в беседе с нами вполне благоприятное мнение о нашем начинании; жена же его любезно напоила нас парным молоком. Сережа слишком приналег на угощение и весь обратный путь проболел желудком, ужасно забавляя нас всех своим поведением и наивным испугом. Тогда никому не приходило в голову, что Страдный действительно так близок к смерти.

Мнение Чаплина фактически ничем не укрепило нашего положения и не дало нам почти ничего реального, кроме официальных разрешений на открытие клуба и т. п., в выдаче которых едва ли нам могли отказать и без Чаплина. Но морально нас это мнение тогда чрезвычайно поддержало.

Наряду с борьбой за фактическое осуществление своего права на площадь, наряду с дипломатическими переговорами с теми, которые могли под существование клуба поэтов подвести материальную базу, наряду с этим мы готовили второй открытый вечер «Арены» и делали первые робкие попытки приступить к развертыванию издательского дела. Помню, как сейчас, что из полученных от Кукушкина двух миллионов первые сто тысяч были уплачены художнику П. З. Лаленкову (теперь работающему в одном из театров Москвы) за изготовление им эскиза обложки для первого сборника «Арены» под названием «Бульвар поэтов». Эскиз этот сохранился у меня до сих пор, но сборник стихов так и не увидел света.

Несколькими месяцами позже тот же Лаленков с большим изяществом иллюстрировал изданную под маркой «Арены» миниатюрную книжечку Лухманова – «Мозоли Москвы», – явившуюся плодом описанной мною в первом очерке поездки пролеткультовцев в столицу. Эта сатира Лухманова на отрицательные стороны московской литературной жизни была чрезвычайно популярна в Смоленске.



Обложка книги Лухманова

К вечеру памяти А. Блока, о котором мне в дальнейшем предстоит сказать несколько слов, была издана на ужаснейшей серой бумаге маленькая книжка стихов «Арена Блоку». В ней были напечатаны 4 небольших стихотворения, написанных на смерть поэта мною, Китаевым, Лухмановым и Навесским.

19 августа в пользу голодающих Поволжья культпросветкомиссией Смоленской губернской милиции было организовано в саду «1-го Мая» «большое гулянье», а на открытой сцене – «грандиозный концерт», в котором участвовали «лучшие артистические силы города Смоленска, солисты оперы и балета и поэты из “Арены”».

Из этих выдержек из афиш можно заключить, что «Арена» получила официальное признание. Ее уже приглашали для участия в вечерах и концертах и, наравне с артистами, платили за выступления деньги. «Рабочий путь» иногда благоприятно писал о наших вечерах, как, например, о Блоковском вечере, хотя и именовал нас, по-видимому, демонстративно, «поэтами из литстудии Смоленского Пролеткульта», которого к тому времени уже не существовало.

Мы охотно согласились, понятно, принять участие в концерте на открытой эстраде, но, желая полнее использовать подвергнувшийся случай, поставили условием, что после этого концерта, в тот же вечер, нам пред-

ставят помещение в зале курсов милиции (угловой дом между площадью Дома советов и садом им. Серафимовича) для специального вечера поэтов.

Претензия наша была удовлетворена, и та же афиша извещала о том, что в 1 час ночи состоится вечер поэтов, в котором участвуют, наряду с другими поэтами, Навесский, Лухманов, Страдный, и «Поэт красной розы», и автор «Оранжевого колорита».

В чудесную, теплую августовскую ночь состоялся этот вечер, к которому все мы долго и серьезно готовились и о котором так писал я, заканчивая свой лирический экспромт:

«...А на поле большом плаката,
Как блик уходящего лета,
Распластался мечтой крылатой
Вдохновенный “Вечер поэтов”...»

Помещение было чрезвычайно заботливо убрано. В гостиной продавались рукописные книжки поэтов – участников вечера. На стенах висели художественно исполненные Китаевым плакаты со специально написанным каждым из нас четверостишием. Помню только свое собственное четверостишие, едва ли особенно правдиво отражавшее, однако, даже и тогдашний мой взгляд на проблему взаимоотношений читателя с поэтом:

«Читающему нас: спеши, иль не спеши,
Будьжизньтвоя вмирудлиннее, будькороче, –
Всей радости, тоски рожденных нами строчек
Тебе не вычерпать бадьей твоей души!»

Здесь, видимо, искренность и правдивость своих взглядов, своего убеждения были принесены мною в жертву эффектному образу, звучной рифме, неверной и неоригинальной, но довольно остро и четко, как бы афористически, выраженной мысли.

Во время подготовки зала к вечеру произошел весьма любопытный и характерный эпизод: из милицейской школы к Китаеву были присланы для переноски написанных им плакатов два милиционера. Когда они стащили эти плакаты по назначению, Китаев преподнес в знак благодарности каждому из них по нескольку экземпляров «Оранжевого колорита».



Надо было видеть удивление и растерянные лица тех, которые удостоились получения такого оригинального и щедрого подарка.

На этом же вечере состоялось наше знакомство с Б. М. Зубакиным, именовавшимся тогда профессором и действительно несколько смахивавшим на «профессора черной магии». Его красивое, бледное и томное лицо, с громадным лбом, было обрамлено длинными, закинутыми назад и спускавшимися по-поповски до плеч волосами и реденькой шелковистой бородкой. Голова его, благодаря длинным волосам, казалась непропорциональной его маленькому росту. Костюм Зубакина был чрезвычайно странным. Он носил ужасно длиннополую, до пят, красноармейскую шинель, из-под воротника которой выглядывал высокий, с отворотами, крахмальным воротничком. С его громадными красноармейскими ботинками совершенно не гармонировали лайковые перчатки и черная фетровая шляпа.

Впервые я увидел Зубакина на каком-то утреннем симфоническом концерте. Он делал вступительное слово, кажется, к Бетховенской программе. Говорил он высоким, сильным и вибрирующим голосом, очень красиво, цветисто, с искусственным пафосом и с умелым использованием ораторских приемов.

Производил впечатление Зубакин человека очень одаренного, обладающего известной эрудицией в вопросах искусства, но в то же время человека загадочного, играющего перед вами какую-то роль и как бы всегда скрывающего от вас что-то самое главное. Одно время он довольно активно работал в «Арене»: читал доклад о Блоке, позднее, уже после открытия клуба, делал доклад и о моем малозначительном творчестве. В перечне книг, готовившихся к печати в книгоиздательстве «Арена» в 1921 г., можно найти две книги Б. М. Зубакина «А. Блок и его трагедия» и – под псевдонимом д-р Л. Эдвардс – «Литературные портреты». И это же время, как это ни странно, никто из нас, по-моему, не имел понятия об основном роде занятий Зубакина и о том, где он состоит профессором и по какой научной дисциплине.

Мне передавали о нем в то время много интересного, в частности, о его удивительной способности излечивать внушением головную боль, но все это было из области досужих разговоров и отнюдь не вносило никакой ясности в загадочный образ Зубакина.

Много позднее мне довелось услышать сочувственные отзывы о Зубакине в Москве, в среде мхатовских артистов, и пришлось неожиданно встретиться с ним совсем недавно в Смоленске. Но и здесь образ Зубакина не стал для меня яснее.

На упомянутом мною вечере, вернее, уже после вечера, Зубакин с большой похвалой отозвался о прочитанных некоторыми из нас стихах и предложил нам продемонстрировать свой дар импровизации. Нужно сказать, что в области импровизации на заданную тему Зубакин представляет собою действительно совершенно незаурядное явление. Импровизации его куда значительнее и талантливее написанных им стихов.

Между прочим, «злые языки» говорят, что в красочном эпизоде с импровизатором, описанном Огневым, если не ошибаюсь, во второй части «Дневника Кости Рябцева», изображен (кстати, очень острыми и меткими сатирическими штрихами) Б. М. Зубакин.

Этот сделанный – в отличие от первого – уже в совершенно серьезном плане вечер поэтов и – в частности – внепрограммная его часть имели большой успех. Еще более серьезно был обставлен, естественно, уже упоминавшийся мною вечер памяти Блока, умершего, как известно, 7 августа 1921 г. Талантливый доклад Зубакина, замечательное чтение им же «Двенадцати», искренность и теплота стихов, написанных на смерть Блока поэтами «Арены» и с волнением прочитанных авторами, товарищеская беседа о творчестве умершего поэта с присутствовавшей публикой – все это придавало вечеру окраску совершенно иную, чем та, которая отличала наш первый вечер.

■

Вечер памяти Блока состоялся 27 августа. В сентябре же я уехал в Крым – в Балаклаву.



Эта поездка доставила мне большое удовлетворение не только потому, что я впервые в жизни был на Черном море, но и, главным образом, потому, что я привез оттуда целиком написанный в гористых, солнечных садах Балаклавы цикл лирических стихов «У генуэзских башен» и два стихотворения из так и не законченного мною «Степного цикла». Как раз эти стихи, будучи весьма индивидуалистичными по содержанию и в художественном отношении, так и остались, с моей точки зрения, навсегда едва ли не лучшими из всего, написанного мною в течение так рано прервавшейся моей поэтической карьеры.

Живя в Балаклаве, я переписывался с Лухмановым и потому был в курсе важнейших дел «Арены». Впрочем, событий в ее жизни было в этот двухмесячный период моего отсутствия не очень много. «Вечер Камен», проведенный ареновцами совместно с приехавшим в Смоленск на гастроли известным драматическим и киноартистом и мелодраматиком В. В. Максимовым да неожиданная смерть Страдного. Вот, кажется, и все, не считая, конечно, частичных успехов, одержанных «Ареной» в изнурительной борьбе за принадлежавшую ей жилую площадь...

На «Вечере Камен» (это название в пушкинском духе было придумано, конечно, Китаевым) Максимов, помимо своего традиционного «Умиряющего лебедя», читал стихи поэтов «Арены» и, в частности, мое стихотворение «Колокола», построенное на звукоподражании.

Где и когда дошла до меня весть о смерти Страдного, как это ни странно, я не помню. Минутами мне кажется даже, что я приехал к его похоронам и присутствовал на них. Но ни одной, хотя бы самой отрывочной картины этих похорон не рисует моя память. Этот зияющий провал в памяти, сохранившей так много всяческих мелочей, тем более странен, что Сережа Страдный был для меня далеко не безразличен. Умер он, как я уже писал, от сыпного тифа, оставив нам несколько десятков своих незрелых стихов и бесконечно теплое воспоминание о себе

как о талантливом, самобытном человеке и прекрасном товарище...



Читатель, должно быть, уже обратил внимание на то, что на этих страницах, в противоположность первому очерку, почти не встречаются новые лица. Объясняется это отнюдь не тем, что, увлекшись описанием тех или иных, более или менее значительных для жизни «Арены» фактов и деталей, дополняющих общую картину этой жизни, я забыл о живых людях.

Нет. В этот период первых неуверенных шагов «Арены», в период ее организационного оформления и строительства, в период громадных и, как казалось минутами непреодолимых трудностей, ареновцы были одиноки. Даже далеко не все и ареновцы-то проявляли активность. Большинство же старых товарищей по Пролеткульту, вроде, например, Эркина, Тарарина, осторожно и, может быть, даже сочувственно присматривалось со стороны к нашим усилиям, довольно откровенно в то же время не веря в их продуктивность.

И только после того, как «Арена» была построена, наши ряды начали расти, начали пополняться все новыми и новыми поэтическими и писательскими кадрами. Поэтому-то и воспоминания о них – впереди.

III. Как строили клуб поэтов

«Арену» основали и отстроили собственными руками, продав последние сапоги и брюки, два поэта, Николай Лухманов и Борис Бурштын», – так писал Вячеслав Шишков в своей статье об «Арене» в «Красной Нови».

В этом своем утверждении писатель был прав только отчасти. Непосредственно в постройке клуба поэтов активнейшее участие принимал еще Василий Васильевич Большаков, человек, между прочим, не имевший никакого отношения к поэзии, и не только, должно быть, не написавший в своей жизни ни одной пары рифмованных строк, но едва ли и сохранивший в памяти ко времени зна-



комства с нами какое-нибудь выученное в детстве хрестоматийное четверостишие.

Каким же образом, однако, попал этот человек в «Арену»? Что связало его с нами и заставило в течение почти целого года отдавать свое время, силы, средства и, если хотите, жар своего сердца совершенно, казалось бы, чуждому для него делу?

Впервые я встретил Василия Васильевича, помнится, у Китаева, сразу же по возвращении своем из Крыма, то есть глубокой осенью 1921 г. В те дни помещение, отведенное под клуб поэтов, уже целиком принадлежало нам. Следовательно, перед нами стояла сложнейшая и неотложнейшая задача – приступить к его перестройке и оборудованию. Дело это было большое. Надо было несколько отдельных крайне запущенных каморок превратить в сцену и зрительный зал, а подвалы приспособить под ночное кафе.

Для всего этого нужны были деньги, строительные материалы и рабочие руки. Ни того, ни другого, ни третьего у нас не было. Кукушкинские миллионы таяли, как дым, на всяческие текущие расходы, и для строительства, следовательно, оставались крохи. На дальнейшее «субсидирование» Кукушкин подавался очень туго, а другие источники доходов у нас и то время отсутствовали. Не говоря уже о ремонте и оборудовании, нам нужно было просто-напросто платить за аренду помещения, да и помимо того, возникал целый ряд совершенно непредвиденных расходов, связанных с этой арендой...

Во всяком случае, если В. Шишков и допустил некоторую поэтическую гиперболу в части, касающейся продажи сапог и брюк, то, по существу, он не ошибся, так как львиную долю жалования, получаемого нами на службе, мы с Лухмановым тратили на нужды «Арены». Но это были капля в море, и долго на таком шатком материальном базисе «Арена», естественно, существовать не могла.

Мы чувствовали себя, как в тупике. Особенно досадно это было потому, что такое безвыходное положение совпало с получением помещения, которого мы добивались так долго...



Дом «Арены»

И вот здесь-то судьба послала нам В.В. Большакова. Раскопал его Лухманов со свойственным ему исключительным чутьем. Рыща по различным организациям в поисках тех или иных благ для «Арены», Лухманов забрел в правление СПО, как сокращенно называлось Смоленское потребительское общество или Союз потребительских обществ – точно не помню. Наскочил в этом правлении Лухманов на завхоза, тов. Большакова, у которого начал зондировать почву насчет возможности получения строительных материалов. Завхоз поинтересовался – для чего нужны эти материалы. Лухманов рассказал о проектируемом театре миниатюр. У завхоза неожиданно загорелись глаза. В чем дело? Оказывается, должность завхоза Большаков исполнял только ради «насущенного хлеба», по призванию же он был тоже в своем роде «жрецом искусства», суфлером, состоял членом коллектива артистов и страдал из-за отсутствия постоянной сценической площадки.

Таким образом, завязалось знакомство, а потом и дружба, скрепленная замечательными и радостными часами ежевечернего, общего и непривычного для нас с Лухмановым физического труда в качестве плотников, печников, маляров и штукатуров.

Нами и Василием Васильевичем Большаковым руководили, как это видно, различные побуждения, и конечные цели мы ставили перед собой разные. Он стремился построить театр, совершенно не думая о поэтических вечерах и судьбах поэзии, мы же, поэты, строили свой клуб, расценивая проек-



*Правление и актив «Арены». Сидят (слева направо)
Н. Лухманов, Б. Бурштын, М. Волчанецкий, Б. Глебов.
Стоят Е. Костецкий, Н. Березкин, Н. Навесский, Е. Ткаченко*

тируемый в его стенах театр миниатюр только как временное подсобное предприятие, обеспечивающее существование клуба поэтов и возможность развития и роста литературной работы.

Но мы одинаково любили свое дело, и эта любовь теснейшим образом соединила нас, соединила настолько, что мы не видели тогда никакой разницы в наших целях и замыслах.

Василию Васильевичу мы были обязаны тем, что «Арена» была построена и мечта наша осуществилась. Его же собственные замыслы, как будет видно из дальнейшего, не были реализованы. И, тем не менее, видя, что и труды, и средства потрачены для него даром, Василий Васильевич никогда не упрекнул нас этим, мало того, никогда даже не заикнулся о возвращении ему безвозмездно отданных им в «Арену» многочисленных вещей из домашнего обихода, вроде ламп, стульев и т. п.



«Целую зиму и весну работали топором, таскали кирпичи», – писал Вячеслав Шишков о строителях «Арены». – Пахло весной

и березами – они шли на работу и, возвращаясь, говорили: «Арена» будет построена». В этих коротких, хотя и не лишенных теплого чувства строках для меня лично заключено громадное содержание. Ведь до тех дней, когда запахло березами, было много суровых зимних дней, вечеров морозных и вьюжных, в которые в неотапливаемом и полуразрушенном помещении «Арены» работать было нестерпимо холодно. Застывали ноги и коченели руки, как бы замерзали на губах веселые слова, шутки и прибаутки, на которые «для поддержания духа» не скупилась мы с Лухмановым, и которые со сдержанной улыбкой слушал наш неразговорчивый «десятник» В. В. Большаков.

Когда мы приступили к строительным работам в будущем клубе поэтов, некоторые наши товарищи недоверчиво смотрели на кучу плотницких и печных инструментов, принесенных из дому хозяйственным Большаковым, на груду извести, щебня, кирпича от разрушенных печей, на штабель мерзлых и звонких досок. Они откровенно считали, что мы затеяли не более, как детскую игру, и что дальше «разрушения» мы не пойдем.



Рабочих рук у нас было очень мало. Вьюнов был освобожден от работы «по возрасту». Китаев после первого же «сеанса» по разборке печей казался большим и от дальнейшего участия в работе уклонялся вплоть до своего окончательного разрыва с нами, Кеша Навесский был вообще не работник, хотя и непрерывно состоял членом «Арены» и поддерживал с нами постоянную связь, а Евсей Эркин, только что вступивший в «Арену» для поэтической работы, не пожелал быть плотником и подал заявление об уходе.

Таким образом, нас осталось трое, действительно активных членов «Арены», причем активность эта была, как явствует из только что сказанного, довольно своеобразна и ничего общего с поэтическим творчеством не имела.



Было бы, однако, совершенно ошибочно думать, что эта новая нагрузка отвлекала нас от прямой поэтической работы. Ничего подобного. Никогда, кажется, не писалось нам с Лухмановым так продуктивно и хорошо, как именно в этот период, подогревавший нас сознанием, что мы делаем большое и непривычно полезное дело, далеко выходящее за рамки личных поэтических достижений. В частности, мне лично «творческий вибрион» не давал покоя и во время самого процесса той или иной физической работы в «Арене». Пилил ли я с Лухмановым бревно, вытаскивал ли для вторичного использования холодными, как лед, клещами гвозди из разобранных стен и перегородок, выполнял ли какую-нибудь другую «черную» работу по поручению Большакова, редкий момент был свободен у меня от какой-то приятной взволнованности, от не прекращающейся в сознании, одновременно и радостной, и мучительной творческой работы, чаще всего по отысканию какого-нибудь не дающегося во вновь рождающемся стихотворении образа, незаменимого слова, наиболее точно выражающего мою мысль, мое настроение.

Я даже помню несколько совершенно конкретных случаев в этом роде. Не один день

«ловил» я, почти физически ощущавшийся мною, но неуловимый эпитет «блесткий», который только и мог точно, с моей точки зрения, передать изображаемую картину:

«По лику ночи, как веснушки,
Разбрызган блестящий бисер звезд...»

И второй случай, связанный с работой над моей лирической «Поэмой о пропавшем сердце». Мне нужно было для полноты картины нарисовать, как вороны, опускаясь на снег, оставляют на нем свои стрелчатые следы. Эта картина мне долго не давалась, и дома, сидя поздними вечерами над поэмой, я, чтобы не задерживать очень активного в те дни творческого процесса, сделал в соответствующем месте пропуск, как часто делал это и раньше. Но ведь жажда конкретного осознания, словесного выражения, художественной «реализации» бродящего как бы в подсознании образа – это нечто вроде «навязчивой идеи» для поэта. Кто из поэтов и писателей не знает этого? И меня это пропущенное место мучило ужасно. Помню, как однажды вечером Лухманов, Большаков, я и, кажется, Навесский работали на крыше «Арены», счищая с нее снег. Я механически работал лопатой, а сам напряженно искал слов и красок для выражения «неуловимого» образа. И в этой необычайной обстановке, по колено в снегу, над заснеженными огородами, улицей и обрывом, так долго не дававшаяся мне тайная пружина образа была схвачена:

«Вот сейчас за окном метель белоснежная
кружится
И вороны растерянно стрелки лапок
роняют в снег...»

И таких эпизодов можно было бы привести еще немало...

Время от времени мы приглашались различными организациями на случайные вечера, дававшие нам возможность знакомиться с публикой, которая отличалась чрезвычайной пестротой и своеобразием,



в зависимости от того, где устраивался вечер. Особенно запомнился мне почему-то вечер в клубе пожарных. Он мне очень напоминает теперь один из вечеров в зошеновском рассказе, сюжет которого основан на том, что всех разнообразных участников концерта провинциальная публика приняла за одного-единственного трансформатора-гастролера. Вечер наш казался тогда также чрезвычайно курьезным, по тому совершенно потрясающему равнодушию, с которым принимала нас публика. Сейчас мне думается, что в факте полнейшего непонимания или неприятия нашей поэзии тогдашним читателем – все же больше печального, чем смешного. И виноваты в этом больше всего были мы сами. Мне кажется сейчас, что в стихах большинства из нас не было тогда гармонического сочетания художественности и простоты. Не говоря уж о просто «зумных» произведениях, вроде стихов Гришина – «Чорта», подобных которым у нас в «Арене», пожалуй, уже никто не писал, надо сказать, что одни из нас писали, пользуясь самой элементарной, безобразной и – по существу – прозаической формой, никак не действовавшей на воображение даже неискушенного читателя или слушателя, другие же совершенно затемняли содержание изысканной, надуманной и перегруженной образами формой, нередко совершенно чуждой этому содержанию.

Пожалуй, именно в то время наиболее часто форма вступала в конфликт с содержанием. Шло это обычно по линии подражания таким «пролетарским поэтам», как, скажем, Герасимов, Александровский, Кириллов, которые, в свою очередь, откровенно подражали символистам. И на деле получалось так, что поэт уже не писал с большой буквы слов «пролетарий» или «завод», как незадолго до этого, а, говоря о пролетарии и заводе, он их символизировал в виде совершенно чуждых самому их существу образов, вроде «железного мессии» или «железного храма», как будто «индустриальный» эпитет – «железный» – сообщал этим религиозным понятиям новое наполнение.

Имели место литературные факты и другого порядка, когда, например, вполне современная форма прикрывала либо совершенное отсутствие логически развивающейся мысли, либо ее реакционное убожество.

Совершенно естественно, что ни те, ни другие стихи не могли доходить, увлекать, заинтересовывать, особенно тех неподготовленных слушателей, которыми наполнялись в большинстве случаев аудитории во время наших выступлений на стороне.



Далеко не все шло так гладко в нашем строительстве, как это представлялось, по видимому, Шишкову. Очень многое в создании клуба поэтов определялось условиями, весьма далекими от «доброй воли» строителей. И, вопреки утверждению Шихкова, далеко не всегда, возвращаясь поздним вечером с работы домой, мы были уверены в том, что «Арена» будет построена. Много сомнений было и в успешном завершении начатого дела, часто оно казалось нам непосильным и обреченным на провал.

Дело осложнялось и внутренними нашими неурядицами, «изменой» друзей, ослаблением наших рядов.

Ведь за этот период фактической стройки «Арены» произошло много событий, значительно изменивших ее членский состав. Почти автоматически выбыл из «Арены» А.Н. Вьюнов, в силу не известных нам причин, абсолютно переставший интересоваться ее жизнью и делами. Как я уже писал, значительно отделился Навесский и, не успев вступить в «Арену», подал заявление о выходе из нее Эркин. А это, учитывая удельный вес последнего, как поэта (конечно, в Смоленске), явилось для нас чувствительным моральным ударом. Наконец, уличенный в каких-то некрасивых комбинациях в компании с буфетчиком Кукушкиным, направленных против материальных интересов «Арены», выбыл из ее состава Александр Китаев, один из основных работников организации в первые месяцы после ее возникновения.



Окончательному выходу Китаева из «Арены» предшествовало нечто вроде «саботажа» с его стороны, о чем я уже упоминал, и разрыв у меня и Лухманова личных отношений с ним.

Но не только это создавало затруднения в нашей работе по созданию клуба поэтов. Ведь то, что мы работали сами, обходясь без наемной рабочей силы, не избавляло еще нас от постоянных и чрезвычайно мучительных денежных затруднений, которые не могли быть устранены личными взносами трех активных членов «Арены».

Даже наше карликовое строительство требовало больших затрат на самые разнообразные материалы, которых удалось закупить совершенно ничтожное количество на остатки кукушкинских денег.

Благодаря знакомствам Большакова и изобретательности Лухманова, нам удавалось некоторое время выкручиваться всяческими способами, вплоть до получения даже кое-каких материалов в долг. Но долго это продолжаться не могло, и в один прекрасный день мы были поставлены перед чрезвычайно безотрадней и затруднительной альтернативой: либо немедленно добыть какую-то довольно солидную сумму денег, либо срочно ликвидировать строительство и отказаться от помещения. Перестройка и оборудование помещения застыли на мертвой точке, кредиторы настаивали на неотложной уплате долгов, органы коммунального хозяйства, кроме требования квартирной платы, предъявляли к нам и требование скорейшего пуска в эксплуатацию предоставленного нам помещения, угрожая в противном случае отобрать его, как неиспользуемое по назначению.

Правда, обратившись за поддержкой в Губоно, мы в известной мере получили ее. Как сейчас помню посещение «Арены» А.П. Треппель, бывшим тогда зав. Губполитпросветом и пришедшим к нам убедиться в том, что клуб поэтов действительно строится, что это не афера и не очковтирательство. Таким образом, при помощи Губоно мы избежали временно одной опасности – потерять помещение. Но это ни-

как не разрешало вопроса в целом, ибо, при тогдашнем нашем положении, строительство двинуться вперед не могло, и вопрос о нашем выселении через некоторое время неминуемо встал бы снова.

Опять начались поиски всяческих способов «разбогатеть». Вот здесь нам очень мог бы пригодиться Китаев... Думали мы, думали – и ничего, кроме устройства большого открытого вечера поэтов, придумать не могли. Для вечера решили снять помещение на Сенной площади, арендуемое оперой. Впоследствии в нем было «Пролеткино». За помещение надо было заплатить большие деньги. Но иного выхода не было. Это была игра «ва-банк», причем на карту мы ставили судьбу «Арены». Каждый из нас сознавал это. Даже Навесский принял горячее участие в подготовке к вечеру. Поэты, не состоявшие членами «Арены», но поддерживавшие с нами, по-видимому, по инерции, еще со времен Пролеткульта, постоянную творческую связь, тоже охотно согласились принять участие в вечере.

Несмотря на отсутствие Китаева, программа была составлена самая разнообразная и, по примеру первого вечера, изобиловавшая всяческими неожиданностями. Рекламу, правда, мы, наученные горьким опытом, сделали на этот раз гораздо скромнее.

Помню, в программе, кроме серьезных выступлений, были и всяческие экспромты, шутки, буриме и, кажется, даже выступления артистов оперы.

Долго и тщательно готовились мы к этому вечеру, но ему не суждено было состояться. Как говорится в бульварных романах, карта наша была бита. Нам, что называется, не везло, и даже стихия была против нас.

Стоял примерно конец февраля. В воздухе действительно иногда уже пахло «весной и березами», но зима упорно не хотела сдаваться, и за робкие ласки весеннего солнца частенько оплачивала морозом и метелями. Так случилось и в день нашего «решительного боя». Уже с утра мело, и, когда мы с Лухмановым пришли в кассу оперы справиться о результатах предварительной продажи биле-



тов на вечер, вход в театр был занесен снегом. С часами метель не только не улеглась, но еще усилилась, разыгравшись к вечеру в настоящую снежную бурю. Мы забрались в театр сразу после обеда и, чуть ли не каждые десять минут, по очереди выбегали на улицу посмотреть – не утихла ли пурга. Но снег валил и крутился, наметая на улицах громадные сугробы; приходившие в театр служащие, поэты, артисты являлись совершенно засыпанными этим проклятым снегом, с запорошенными глазами, с ногами мокрыми до колен... Естественно, что чувствительнейший «барометр» нашего материального успеха – касса – с неумолимой ясностью предвещал катастрофу. Свист ветра звучал в наших ушах похоронной симфонией, надежды гибли, «Арена» в нашем воображении уже окончательно и бесповоротно умирала...

Несмотря на долгое и совершенно бессмысленное, продиктованное, по-видимому, отчаянием ожидание публики, в театре собралось десятка полтора самоотверженных друзей и незнакомых людей, которым, по-видимому, «нечего было терять».

Вечер был, конечно, отменен. Слабым утешением являлось то, что, по наведенным справкам, в драматическом театре тоже совершенно не было сбора.

Таким образом, результат нашего героического мероприятия по спасению «Арены» выразился в том, что долг наш увеличился на сумму арендной стоимости оперного театра.



Небывалую катастрофу с нашим вечером, полное, казалось бы, крушение наших надежд – мы, как это ни странно, пережили очень легко. Растерянность нашу мы, «как прах отрясли от наших ног», вместе с прилипшим к ним снегом по возвращении домой из оперного театра.

«Чем хуже – тем лучше», – повторяли мы себе парадоксальное положение, заключающее в себе странную утешительную силу в безвыходных обстоятельствах, подобных тем, в которых мы очутились. Снег был удобным оправданием нашего провала в чужих

глазах, но наедине со своими мыслями, мне лично смысл всего происшедшего представлялся в несколько ином свете. Мне казалось еще далеко не доказанным, что сбор отсутствовал из-за метели, то есть, что он был бы, если бы метели не было. Не правильнее ли, думалось мне, искать причины постигшей нас неудачи значительно глубже – в самом принципе организации этих платных вечеров, построенном на не совсем безупречном, по существу, «коммерческом расчете», в переоценке своих творческих сил, своей «популярности», возможности своего влияния на аудиторию, наконец – в недооценке культурного уровня тех, которые могли бы составить нашу аудиторию, если бы мы подходили строже и объективнее к своим задачам? Должного урока из таких выступлений, как, например, в клубе пожарных, мы для себя – видимо – не извлекли. А кто в этом виноват? Только мы сами!

Ночь после несостоявшегося вечера, прошла для меня далеко не бесследно. По-видимому, так же она прошла и для Лухманова, который вполне согласился с моими мыслями, высказанными ему по секрету на следующий день.

Излишне – я думаю – говорить о том, что от Большакова наше неприятное открытие мы с Лухмановым по молчаливому соглашению тщательно скрыли, хорошо понимая, что ни в коем случае нельзя вселять сомнения в наших силах в его доверчивое сердце. Быть может, это было не совсем честно по отношению к товарищу, но этого требовала, нам казалось, польза нашего общего дела.

Однако, одной нашей самокритики (пользуюсь средствами современной терминологии) было недостаточно. Надо было что-то немедленно предпринять, и при том это «что-то» должно было быть весьма радикальным и решительным. Я, по совести говоря, ничего путного придумать не мог, но Лухманов недаром загадочно молчал и улыбался какой-то внутренней, углубленной в себя улыбкой,

Дня через три, исполненных мучительной тревоги и каких-то беспричинных и весьма туманных надежд, запоздавший Лухманов



пришел в «Арену» и торжественно положил передо мною и Большаковым маленькую пеструю и хрустящую бумажку. Это был чек или ассигновка не то на пятнадцать, не то на тридцать миллионов рублей, точно не помню, добытых им у тогдашнего председателя Губпрофсовета, теперешнего председателя ЦК союза работников искусств – Я.О. Боярского.

Оказывается, Лухманов, руководствуясь тем неопровержимым соображением, что нам «кроме долгов, терять нечего», отправился прямо к Боярскому и откровенно рассказал как о наших планах, так и о безвыходном положении, в котором мы очутились. Боярский внимательно выслушал, по-видимому, весьма искренний и взволнованный рассказ Лухманова, подумал и сказал, по свидетельству Лухманова, примерно так: «Это, собственно, меня не касается, но – сказать по секрету – я и сам когда-то писал стихи – и я понимаю вас. Я вам помогу». Реальным результатом этого обещания был чек, принесенный Лухмановым и дававший нам возможность расплатиться с неотложными долгами и довести оборудование клуба поэтов до конца.

Надо полагать, что Боярский не считал, что вопрос создания культурного учреждения действительно его не касается и что о собственных стихах – писал он их или не писал – он упомянул в данном случае больше для красного словца. Во всяком случае, это упоминание дало нам повод впоследствии в шуточном «Смоленском справочнике», помещенном в журнале «Око», назвать Боярского в плане дружеского шаржа – «нежнейшим лириком Губпрофсовета».

Деньги, полученные нами, представляли собой временную ссуду с обязательством погашения ее в несколько сроков. Несмотря на то, что клуб поэтов работал на иных принципах, чем это предполагалось сначала, и никаких подсобных предприятий при нем не было, ссуду эту мы выплатили, хотя и со значительным опозданием против предоставленных нам сроков. Но, говоря откровенно, это была только номинальная уплата долга, так как при погашении нашей ссуды

мы внесли именно то число миллионов, которое мы получили, то есть очень значительно выиграли на курсовой разнице. У меня лично нет никаких сомнений в том, что Боярский совершенно сознательно давал нам эту лазейку, превратив таким способом большую часть выданных нам денег в безвозвратную ссуду.

Таким образом, Я.О. Боярский не только оказал нам вполне реальную помощь в постройке «Арены», но и с удивительной чуткостью помог нам «быть честными» и хотя бы *de jure* расплатиться со своим долгом.



Воплощение нашей мечты в жизнь стало вполне реальным.

Теперь уже все в оборудовании клуба зависело целиком от нас. В связи с вынужденной потерей времени стройка шла усиленными темпами. Проходящие мимо нашего дома даже поздно ночью могли слышать стук топора и визг пилы. Мне самому именно этот период нашей стройки был особенно интересен. В строительных вопросах и в вопросах театрального оборудования я абсолютно ничего не смыслил, и всякие «специальные» разговоры Большакова с Лухмановым о настилке полов, о шпаклевке, о форме портала и о падугах звучали в моих ушах совершенно непонятной тарабарщиной. Я никак не мог понять, откуда знал все это Лухманов, но стыдился проявить свое невежество неуместным вопросом об этом.

Тем интереснее и, я бы сказал, радостнее было видеть, как эти непонятные и отвлеченные на мой слух разговоры мало-помалу приобретали вдруг какие-то сначала не совсем ясные, но с каждым днем все более и более реальные, определенные и гармоничные архитектурные формы, как из беспорядочного нагромождения балок и досок вырастала, не без моего участия, сделанная по всем правилам сценическая площадка, с которой и мне предстояло читать свои стихи...

Но наряду с заботами, непосредственно касающимися строительства, в связи со скорым его окончанием перед нами вставали другие заботы. Надо было серьезно занять



ся организацией театра миниатюр, нужда в котором особенно обострялась в связи с тем, что от кафе поэтов, при зрелом размышлении, мы отказались из опасения придать физиономии нашего клуба несколько кабацкий оттенок. К этому времени увлечение «романтикой» московских поэтических кафе у нас как-то уже выветрилось. Да и кроме того, по правде сказать, мы не очень-то были уверены в рентабельности подобного предприятия в смоленских условиях.

Мы и прежде зондировали почву у тех или иных знакомых актеров, но все это было очень обще, неконкретно и расплывчато.

Сейчас, после долгих дебатов и размышлений, мы решили связаться с В.Н. Кондратьевым, которого Навесский горделиво величал своим другом и называл его за глаза не иначе, как «Васька Кондратьев». Кондратьев был хороший актер на роли героев-любовников и фатов и, служа в предыдущем сезоне в Смоленском государственном театре, с успехом играл Фердинанда в «Коварстве и любви» и особенно Антона Мельцера в «Хорошо шитом фраке». В этих ролях я его помню и сейчас. В сезоне 1922 г. Кондратьев был без театра (по каким причинам – не знаю) и, сам организовав коллектив, время от времени ставил то там, то сям свои спектакли. В последние годы я слышал о нем как о директоре Архангельского драматического театра.

Будучи хорошим актером без театра, умелым организатором, возглавлявшим к тому же уже готовый коллектив, Кондратьев представлялся нам во всех отношениях подходящей фигурой на роль руководителя театра миниатюр в «Арене». Хотя мы и не предполагали иметь свой театр, а стремились только на тех или иных условиях сдать на четыре-пять вечеров в неделю наше миниатюрное помещение, нам хотелось все же «вверить» это дело в надежные руки, чтобы застраховать свой клуб от халтуры.

Помню, как через посредство Навесского мы организовали встречу с Кондратьевым у меня дома. Сам Навесский, во избежание фамильярности и несерьезности в тоне встречи, был удален и принимали Кондра-

тьева мы с Лухмановым. Беседовали мы долго. И надо сказать, что Кондратьев оправдал наши ожидания: он отнюдь не собирался возглавлять халтурное дело и предъявил нам в области оборудования сцены такие серьезные требования, которых мы не предвидели и выполнить не могли. Так и расклеилось дело с Кондратьевым. Позднее мы вели переговоры еще с другими артистами, в том числе с Зайцевым, игравшим на сцене под фамилией Бухарин, хорошим местным комическим актером-любителем, но кажется недостаточно «светлой личностью». Насколько помнится, сколоченная Бухариным группа актеров и любителей дала в помещении «Арены» несколько очень неудачных в материальном отношении спектаклей в плане модного тогда в Москве «Павлиньего хвоста», и на этом театральная деятельность «Арены» закончилась. Я сам спектаклей этих из-за болезни не видел, и каков был их идейно-художественный уровень – совершенно не помню.

Таким образом, мы вынуждены были отказать еще от одного своего проекта, который, впрочем, был, мне думается, вполне осуществим. Надо было только взяться за дело понимающему человеку.

Этот вынужденный отказ от открытия театра в «Арене» обусловил и на дальнейшее время непрочность материальной базы клуба и вызвал уход из «Арены» В.В. Большакова, которому в ней нечего было больше делать.

Однако, я забегаю вперед...



В помещение «Арены» во время нашей работы частенько заглядывал то тот, то иной из поэтов. Ведь никакого литературного учреждения, где можно было бы почитать стихи, либо свои, либо вновь появившиеся в печати, поговорить о них и поспорить в те дни в Смоленске не было. А жажда литературного общения, естественно, была велика. И еще не отстроенная «Арена» уже служила отчасти удовлетворению этой жажды.



Из наиболее часто посещавших нас, не считая члена «Арены» Навесского, назову Эркина, Тарарина, Михаила Добрынина. Этот, последний, в то время был отчасти поэтом, отчасти критиком. Он учился в университете, по-видимому, на педфаке и был известен как организатор студенческого листка под названием «Колокол», довольно нескромно провозглашавшего своей основной задачей не более не менее как «организацию сознания студенчества». Добрынину у нас дали прозвище «социологическая подкладка» в связи с тем, что он любое свое выступление всегда либо начинал, либо заканчивал этим термином. По существу, конечно, ничего смешного в этом не было, наоборот, было чрезвычайно ценно постоянное стремление Добрынина дать социологический анализ каждого произведения и судить о его ценности именно с этой стороны. Эти попытки Добрынина приобретали особое значение, если учесть грубейшие ошибки, которые допускались в то время многими из нас в своих письменных и устных высказываниях по линии определения самого понятия «пролетарское искусство». Вот, например, передовая «временника» смоленской студенческой артели художников слова – «Искусство», – редактировавшегося Эркиным (№ 1, декабрь, 1921 г.), прямо так и заявляет: «Какова бы там ни была авторская идеология, – но если жизненная правда художественно отобразилась, – такое произведение может быть отнесено к действительному искусству». Правда, здесь не говорится: «к искусству пролетарскому», но следующая фраза, в сопоставлении с только что цитированной, наводит на серьезные размышления: «К искусству и стремится только недавно сорганизовавшаяся, наравне с другими трудовыми артелями, артель поэтов и писателей». То есть, получалось так, как будто эта студенческая артель (кстати сказать, просуществовавшая, должно быть, всего несколько недель) стремится к искусству, для которого отнюдь не обязательна определенная – советская – идеология... Если бы мы заглянули в вышедший позднее журнал «Око», речь о котором в дальнейшем

неизбежна, то мы нашли бы там целую кучу не менее замечательных перлов.

Добрынин был в то время очень молодым, но весьма развитым человеком, державшимся и говорившим с апломбом, как раз наоборот пропорциональным его росту и чисто внешней солидности.

В настоящее время Добрынин работает в качестве профессора по русской литературе в высших учебных заведениях Москвы и печатается в ряде центральных изданий.

Из посторонних наиболее тесную связь с нами поддерживал Эркин, который, как видно из предыдущего, числился даже некоторое время членом «Арены». Эркину в то время было лет 25. Работал он корректором в какой-то типографии и одновременно учился в университете. Он был очень серьезно работающим и очень строго относящимся к себе поэтом, но, как человек, он был с некоторыми странностями. Не совсем обычная наружность Эркина обращала на себя внимание. Он был очень смугл, с довольно правильными чертами лица и с горящими черными глазами – «с глазами бедуина», – как сам он писал о себе в одном стихотворении. Отличительными чертами характера Эркина были гордость, неуживчивость и, я бы сказал, подозрительность к окружающим. Ему постоянно казалось, что над ним смеются, что его оскорбляют, и он ошетинивался, как еж. С ним трудно было поэтому говорить просто и естественно, и при общении с ним всегда ощущалась какая-то натянутость и наэлектризованность. В то же время сам Эркин был нередко очень не сдержан и даже груб, особенно в своих литературных высказываниях. Сказать на публичном литературном вечере о стихотворении, прочитанном каким-нибудь поэтом или поэтессой, – «зеленая размазня», «чушь», «белиберда» или что-нибудь в этом роде Эркину ничего не стоило.

Относясь свысока к своим товарищам – поэтам, Эркин в то же время испытывал явно преувеличенное почтение ко всякого рода авторитетам, иной раз весьма сомнительным. В моих ушах и сейчас звучит при воспоминании об Эркине одна фраза: «Я



познакомился с Федором Жицем – автором замечательной книги «Секунды», фраза, произнесенная им с такой гордостью, как будто речь шла не о Федоре Жице, а, по меньшей мере, об Андрэ Жиде. Мне часто вспоминается и эпизод во время посещения «Арены» одним из «вождей» имажинистов Анатолием Мариенгофом, когда Эркин, конфузясь перед нами, просил у поэта автограф...

В «Арене» Эркин, нам казалось, не ужился потому, что ему не было предложено в ней руководящей роли. Впрочем, постоянно бывая на всех вечерах «Арены», выступая с ее эстрады и принимая активное участие в ее литературных дискуссиях, Эркин признавался нами как бы своим и, во всяком случае, наиболее близким нам из всех поэтов, не входивших в «Арену».

Когда я познакомился с Эркиным, я знал услышанную мной на первом же вечере его поэму «Россия», в которой, помнится, очень чувствовался Блок, которая была произведением совершенно незрелым, но таким, что в нем ощущались искры настоящего таланта. Потом я прочел его более ранние стихи, напечатанные в сборниках «Паяльник» и «Ступени» и, кажется, изданных отдельной книжечкой под претенциозным названием «Стихи рабочего стремления», и, на конец, цикл его стихов «Строки», напечатанный в уже упоминавшемся мною студенческом журнале «Искусство».

Во всех этих стихах Эркин был абсолютно несамостоятелен, причем, в них причудливым образом сплелись влияния Есенина, Брюсова, Блока и подражавших тому же Блоку – Александровского, Герасимова и других поэтов «Кузницы».

Ну разве не Блоком веет от таких, скажем, строк:

«...Зачем по шали полинялой
Крупинки падающих слез, –
Иль юность плохо променяла
На серебро своих волос?
Ты от меня ничем не скроешь
Души исколотое дно,
В минут колеблющемся рое
Узнать мне тайну суждено. –

И чудятся глухие версты,
По ним блуждающий клубок...»

Или:

«...И всем вещам вокруг не снится,
Что ждет их кафельная печь,
Что времени лихая птица
Не пощадила нежных плеч...»

Разве не Есенин слышится в такой строфе:

«...И слышу дрожь знакомой рощи
На скошенном, немом лугу,
Где одинокий месяц ропщет,
Роняя звон студеных губ».

И разве не Брюсовскому «Городу» рабски подражает молодой поэт в своем стихотворении «Город», хотя идея этого стихотворения совершенно иная, чем у Брюсова:

«Гигантский, каменный, плечистый,
Сверлящий тысячью очей, –
О город, грохотно-речистый,
Бунтарь равнинных площадей!
Закинув ввысь свой лик из стали,
Вздохматив дым руками труб,
Кидаешь крик за криком в дали,
С гудением железных губ...»

Несравненно сильнее, ярче и самостоятельнее, несравненно совершеннее технически большинство стихов Эркина, составивших его книжку «Август», вышедшую в Москве в издательстве «Сегодня» в 1927 г. В этой книжке собраны лучшие стихи поэта, в разное время печатавшиеся в различных периодических изданиях.

Эркин, между прочим, был первым из наших Смоленских поэтов, пробившим себе путь в центральные журналы.

«Август» – скромная книжка хороших живых стихов, уже почти свободных от неприятной риторичности и надуманности, от агитационной ходульности, от элементарной подражательности ранних стихотворений поэта.



«Август» – показатель большой и серьезной работы поэта над собой, показатель хорошо-го знакомства с последними достижениями лучших поэтов, показатель строгого вкуса и элементов уже известного мастерства.

В стихах «Августа», в его конкретных и жизненных образах хорошо вскрывается лирическая сущность автора и в то же время его умение мыслить. Строфы Эркина очень стройны, ритмичны, но, пожалуй, несколько акмеистически холодны.

Два-три стихотворения книжки намечают пути для выхода поэта из замкнутого круга его «камерных», лирических настроений и мотивов на более широкую дорогу современной советской поэзии:

«Ведь я был прав, что гулко стукнул дверью
И бросил дом с гитарой на гвозде!..»

Правда, пути эти очерчены в «Августе» еще очень неясно, а сейчас они и совсем затерялись, так как уже давно не слышен голос этого даровитого поэта. Но по «Стихам рабочего стремления» можно с полным основанием заключить, что современные революционные темы отнюдь не чужды Эркину, он только не научился еще тогда разрешать их в настоящей художественной форме. Мне лично очень жаль, что Эркин замолчал, и как-то само собой возникает желание обратиться к нему самому написанные им еще в 1921 г. строки из прекрасного, прозрачного стихотворения «Август» (по которому названа и вся книжка):

«Играй, играй серебряную песнь,
Босой мальчишка, утром деревенским
Встречая август – золото и синь!..»

Рядом с Эркиным возникает фигура другого поэта – Сергея Тарарина. Этот тонкий, выскокий и сутулый юноша, ему не было тогда, я думаю, и двадцати лет, не мог не обращать на себя внимания. И не только потому, что он был очень манерен, что всегда как-то странно и сосредоточенно ходил, как будто считал шаги, что нигде не расставался с длинным и

тонким «посохом», что и читал стихи и говорил каким-то странным, наигранно-небрежным тоном, с каким-то искусственным и – местами – несколько нелепым пафосом и презрением к окружающим...

Он обращал на себя внимание несвойственным его возрасту апломбом в своих суждениях, который не был лишен известной почвы. Каждому бросался в глаза острый полемический ум этого юноши, его умение логически рассуждать, удивительная начитанность, даже, пожалуй, эрудиция.

Манера держаться и говорить делала Тарарина не очень приятным, а его замкнутость в общении с окружающими заставляла быть с ним всегда на стороже. Не будучи ни с кем из нас интимно близким, Тарарин не терял, однако, с нами связи в период организации клуба поэтов, в дальнейшем был завсегда-таем «Арены» и неоднократно выступал с ее подмостков и как критик, и как поэт.

В 1922 г. вышла в издании автора небольшая книжка его стихов.

Книжка эта производит чрезвычайно странное впечатление. Стихи, помещенные в ней, на первый взгляд, как будто говорят о том, что автор их в своем творчестве был совершенно оторван от нашей бурной действительности, от общественной жизни, от вопросов классовой борьбы. Страницы ее полны символического тумана. Но это не имеет в себе ничего общего с тем символическим стилем послеоктябрьской поэзии, который был внесен в нее такими поэтами, как Кириллов, Герасимов и другими, и был призван – плохо ли, хорошо ли – выражать революционные идеи. Нет. Содержание стихов Тарарина совершенно иное. Смысл многих его стихов не сразу доходит до сознания. Они воспринимаются сначала просто, как не совсем понятная, но весьма мелодичная музыка. В них много ярких и изощренных красок, много красивых музыкальных слов, много красивых конкретных вещей, вроде ожерелий, фарфоровых чаш, рубинов, барельефов, темных фиалок, посеребренных проводов, но таких красок, слов и вещей, за которыми не кроется никакого содержания,



которые играют в стихотворении как бы самотадавливающую роль.

Но все же больше, чем этих конкретных вещей содержится в его стихах всяческих отвлеченных понятий, как мечты, сказки, сны и поэтому все стихи в целом кажутся тоже какими-то нереальными, отвлеченными, полупризрачными.

Однако, упадочность, реакционность поэзии Тарарина заключается не в этом кажущемся осуществлении пресловутого лозунга «Искусство для искусства». Нет. При более пристальном взгляде на его стихи начинаешь понимать, что все эти краски, все эти изысканные вещи, все эти красивые слова нередко использовались поэтом с целью затуманить содержание, затушевать упадочную мысль, реакционную идею, что Тарарин как поэт вовсе не стоял в стороне от классовой борьбы, но только в этой борьбе он находился «по другую сторону» от нас.

Восстанавливая в памяти стихи Тарарина, видишь, в каких чрезвычайно мрачных красках рисует он советскую действительность.

Страницы книжки Тарарина, исполненные пессимизма, очевидного неверия в победу пролетариата, упадочности, реакционности, были с этой точки зрения совершенно недооценены нами, а ведь многие из стихов этого сборника зачитывались с подмостков клуба поэтов – и подвергались нашей критике. Мы близоруко и легкомысленно объявляли Тарарина непонятым там, где он был чрезвычайно последователен и понятен. Не сказывалось ли в этом «ослепении» красивой формой нечто от «искусства для искусства» в нас самих?

В 1922 г. или в начале 1923 г. Тарариным в «Арене» было прочтено одно стихотворение, не подвергшееся почему-то предварительному просмотру, в котором даже мы, при всей своей близорукости и доверчивости по отношению к Тарарину, не могли не обнаружить за красочной и изощренной внешностью явно контрреволюционных тенденций. В результате этого Тарарин был публично лишён права выступлений в «Арене».

Непосредственно за этим мы с удивлением услышали даже о причастности Тарарина к вскрытой антисоветской группе. В этом нашли себе объяснение «странности» поэта, его замкнутость, презрение к окружающему и т. п.

■
Тянувшаяся, как нам казалось, непереносимо долго ненастная, снежная зима, наконец, прошла. Наступила теплая, солнечная весна. Дни становились длиннее, и мы начинали свою работу в «Арене» уже при дневном свете. Окружавшие нашу работу таинственностью, наглухо закрытые всю зиму ставни были открыты, окна распахнуты, и впервые солнечный свет ворвался в «Арену», освещая реальные результаты наших трудов.

А результаты, честное слово, были не плохие! Миниатюрный, скромный, но уютный зал, сцена, две комнаты за сценой, одна из которых была артистической, а другая – комнатой правления. Кроме того, был приведен в порядок смежный с залом небольшой сводчатый полуподвал, в котором предполагались буфет или курительная.

Денег нам хватало в обрез, поэтому мы вынуждены были первоначально отказаться даже от проводки электрического освещения и, скрепя сердце, решили довольствоваться керосиновыми лампами. Для зала Большаковым были принесены из дома две красивых старинных лампы на бронзовых кронштейнах. В качестве абажуров для них Лухманов где-то отыскал матовые шары. На сцене – тоже лампа, только настольная. Все это придавало помещению «Арены» оттенок «домашности» и интимности, что несколько утешало. Очень огорчались мы, что вместо удобных кресел, нам пришлось заказать для зала самые простые, узкие и длинные скамьи. Этим, правда, мы выигрывали не только деньги, но и количество мест, но зато много теряли, как во внешнем виде клуба, так и в комфорте.

Излишне, я думаю, говорить о том, сколько хлопот и спешки было у нас в последние дни перед открытием клуба. Сколько разго-



воров и споров возникало по поводу того, как обставить сцену, должны ли быть на ней ширмы или сукна, и какого цвета они должны быть. Все до мелочей у нас, казалось бы, было предусмотрено и все-таки десятки неожиданностей возникали на каждом шагу.

Наконец, день открытия был назначен: 10-е апреля. Было решено открыть клуб вечером поэтов, ограничив круг участвующих только членами «Арены». Программа была разработана самым тщательным образом. Вечер должен был быть прежде всего солидным, ведь мы теперь не были «богемой», «бездомными» поэтами, зарабатывавшими себе сомнительную «славу» на случайных площадках. Мы являлись обладателями своего клуба и, как рачительные хозяева, заботились о том, чтобы создать ему авторитет.

Мы получили разрешение в Губполитпросвете на устройство сразу четырех вечеров, которые должны были проходить ежедневно, и выпустили афишу и уличные плакаты на все вечера сразу. На второй вечер был назначен доклад Добрынина «Древнехристианский коммунизм», на третий – доклад Якович-Подвицкой «Творчество Андрея Белого», на четвертый – «поззоконцерт» Николая Навесского, с моим вступительным словом о его творчестве, под названием «Художественный анахронизм».

Как видно уже из этого краткого перечня, никакого твердого плана работы клуба поэтов по началу не было, да и не могло быть. Ведь наши собственные силы и возможности были слишком ограничены, а знакомство с местным «культурным рынком» было у нас очень слабое. Таким образом, мы вынуждены были брать то, что нам предлагали, и были лишены возможности предлагать сами. Да, откровенно говоря, едва ли мы и имели право что-либо предлагать, так как полной отчетливости и ясности в круге стоящих перед нами конкретных задач у нас самих тогда не было.

Впрочем, сама жизнь сразу же определила этот круг и в значительной степени сузила его, по крайней мере, на первое время.

В связи с тем, что мы вынуждены были отказать от наших первоначальных планов

организации подсобных предприятий – кафе и театра миниатюр, нам пришлось вечера наши объявить платными. Была нанята кассирша, в Финотделе были зарегистрированы билеты, и у входа в прихожей был поставлен маленький столик для их продажи. Однако, несмотря на назначенные нами очень низкие цены, первые же наши вечера показали, что единственно правильным принципом работы клуба был проектировавшийся нами сначала принцип бесплатного входа в него. Сборов у нас не было, в связи с чем и второй и третий вечера пришлось даже отменить, а на четвертом вечере – «поззо концерте» Навесского – касса из прихожей уже была убрана, и кассирша получила расчет.

Таким образом, сразу же сам собою определился объем нашей работы и порядок наших вечеров.

Когда В.В. Большаков понял, что на его планах должен быть поставлен крест, он незаметно и тактично удалился, предоставив нам право безраздельно хозяйничать в клубе поэтов, наполовину выстроенном его руками. Роль Большакова в постройке клуба мы отметили впоследствии, выбрав его почетным членом «Арены».

Итак, открытие клуба состоялось 10-го апреля 1922 г., то есть почти точно через год со дня моего первого знакомства с местными поэтами.

Все было подготовлено для торжественного вечера, но, как я уже писал, «стихия была против нас». Чуда, правда, не свершилось, и снежной метели, как в описанном уже мною случае, не было, но зато, в соответствии с сезоном, часа за два до начала вечера начался проливной дождь, продолжавшийся всю ночь.

И, если Вячеслав Шишков, по своему обыкновению, преувеличивает, утверждая, в угоду юмористической ситуации, что в вечер открытия «на сцене было несколько человек поэтов, а публики – только один человек», – то все же он недалек от истины. Продан был, действительно, кажется, только один билет. Но, кроме того, присутствовало несколько человек приглашенных. Кроме



поэтов, товарищей по Пролеткульту, вижу и сейчас на этом далеком, но таком памятном вечере лица наших друзей: директора Гостеатра – Морозова, впоследствии работавшего директором Московского театра быв. Корш; Н.Н. Львова, ныне работающего в театре Центрального Дома Красной Армии в Москве; моего приятеля и сослуживца, военного врача, но «поэта в душе», С.П. Архангельского (кажется, он-то и был единственным человеком, купившим билет) и, конечно, неизбежного «дедушки смоленских поэтов» – семидесятипятилетнего – Гришечко-Климова, о котором я еще должен буду рассказать. Из числа приглашенных почетных гостей, как явствует из этого краткого перечня, посетили нас немногие.

«В день открытия “Арены” лил дождь, но, тем не менее, открытие носило торжественный характер» – пишет Шишков.

Да, торжественности, по крайней мере, в нашем настроении было конечно немало – и отсутствие публики на этот раз мало нас смущало. А, может быть, и дождь помогал нам обманывать себя насчет сборов, возможных «в хорошую погоду»?

В своем вступительном слове я рассказал историю возникновения «Арены», постройки клуба и в общих чертах наметил стоящие перед нами задачи. Помнится, что Н.Н. Львов приветствовал нас от имени собравшихся. Потом началось чтение стихов, прекрасно принимавшихся немногочисленной публикой.

В теплой товарищеской атмосфере клуб поэтов вступал в жизнь...

**Журнал «Наступление»
(Запгиз, Смоленск).
1935. №№ 4-5, 8, 9.**



Борис ЛУКИН

НАПОЛЕОН В РОМАНЕ ЛЕРМОНТОВА, или о датах в «Княжне Мери»

(роман «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова)

Начало этой истории «о датах» еще в прошлом веке. В середине девяностых, при подготовке к поступлению в Литературный институт им. А.М. Горького, перечитывал я роман М.Ю. Лермонтова и обнаружил, как оказалось впоследствии интереснейший отрывок в дневниках Печорина: *«Я возвратился в Кисловодск в пять часов утра, бросился в постель и заснул сном Наполеона после Ватерлоо... Когда я проснулся, на дворе уж было темно...»*

Этот отрывок не привлёк бы моего внимания, как и не привлекал, видимо, внимание ни одного исследователя творчества писателя за многие предыдущие десятилетия. И я бы пробежал взглядом мимо, если бы не имя французского императора. Да и в творчестве Лермонтова французский император оставил свой след, простое перечисление стихов, посвященных Наполеону, это доказывает.

Ещё и поэтому я задумался, какое отношение имеет Наполеон к финальной (и при этом – любовной) сцене в «Княжне Мери» и почему Печорин, вспоминает его, вроде бы ни с того ни с сего? Для Лермонтова подобный литературный недочёт просто неприемлем. Каждая его фраза всегда выверена, всякое слово на своем месте. Это доказано работами многочисленных филологов-лермонтоведов.

Конечно, он легко может усадить Максима Максимыча, отрекомендованного как непьющего, за бутылку кахетинского и даже вложить ему в уста приглашение выпить и рассуждения о качестве местных вин. Че-

ловеку одинокому свойственно иной раз и преувеличить, а, стало быть, это не ошибка... Но «пустое» упоминание о Наполеоне... Этого быть не могло.

Именно «пустое» воспоминание, да еще как-то неслучайно «в ночь после сражения под Ватерлоо» меня и заинтересовало. Слишком важным оно было в жизни Наполеона. А при чём тогда здесь Печорин?

Как ни странно, ответ нашёл сразу, стоило мне только перелистнуть в «Герое нашего времени» несколько страниц назад и прочитать: *«16 июня. Нынче поутру у колодца только и было толков, что об ночном нападении черкесов...»*.

Долгие годы никто даже не задумывался над этой лермонтовской задачей, просто потому, что и задумываться исследователям в прежние десятилетия было не над чем. Загадка? Нет... Просто текст издавался неправильно...

А почему это произошло, выяснил советский литературовед Борис Викторович Томашевский. До Академического собрания сочинений 1957 года (6 томов под его редакцией) долгие сто с лишним лет над теми же строчками стояла другая дата – «27 июня».

И хотя первое Академическое собрание Лермонтова вышло в 1911 году под редакцией профессора Д.И. Абамовича (6 томов), только в упомянутом выше издании 1957 года есть в примечаниях следующий важный текст (т. 6, с. 655–656):

«...в «Княжне Мери» мы восстанавливаем рукописную датировку записей Печорина,



начиная с записи от 22 мая. В печати (уже в издании 1840 года) даты эти изменены по сравнению с автографом, но произошло это, несомненно, в результате какой-то ошибки.

(Впервые роман был издан в Санкт-Петербурге, в типографии Ильи Глазунова и К°, в 1840 г., в 2 книгах. Тираж 1000 экземпляров. – Б.Л.)

В записи от 21 мая говорится: «завтра бал по подписке в зале ресторации»; следующая запись, рассказывающая о событиях на балу и сделанная, очевидно, непосредственно после него, датирована в автографе 22 мая, а в печати – 29 мая. Это вносит явную бессмыслицу, усугубляемую тем, что в следующей записи, датированной в автографе 23 мая, а в печати – 30 мая, Грушницкий благодарит Печорина за то, что Печорин вчера (т.е.) 22 мая, (как и должно было быть) защитил Мери.

Далее в печатных датировках появляется ещё одна бессмыслица – явный результат недосмотра: после даты «6-го июня» следует дата «13 июня» (в автографе в первом случае – «22 мая», во втором – «3 июня»), а затем – «12-го июня».

Надо полагать, что основная ошибка, превратившая дату «22 мая» в дату «29 мая», повлекла за собою дальнейшие изменения и ошибки.

В изданиях 1840 и 1841 годов даты записей (после 21 мая) следующие: 29 мая, 30 мая, 6 июня, 13 июня, 12 июня, 13 июня, 14 июня, 15 июня, 18 июня, 22 июня, 24 июня, 25 июня, 26 июня, 27 июня.

В прежних изданиях (Висковатова, Введенского, в Соч. изд. Академической библиотеки, в изд. «Akademia») делалась только одна поправка: дату «13 июня» в первом случае заменяли датой «11 июня»; остальные даты воспроизводились по изданию 1840 года. Мы решили вернуться к рукописным датировкам вообще, поскольку первая же печатная дата, расходящаяся с рукописной (29 мая), вносит явную путаницу».

Станным образом мне повезло. Попадись мне в руки томик Лермонтова в другом

издании, я бы, может быть, никогда не нашёл ответа на возникший вопрос.

Стоило мне только перелистнуть в книге несколько страниц назад и прочитать: «16 июня. Нынче поутру у колодца только и было толков, что об ночном нападении черкесов...».

Важно, что именно эта редакция романа оказалась у меня в тот день.

Это я увидел, сравнивая несколько академических изданий собраний сочинений М.Ю. Лермонтова.

Многие годы коллекционирую Академические собрания классиков: Пушкина, Лермонтова, Грибоедова и др.

Вот так долго, 117 лет со дня первой публикации сохранялась ошибка в датировке, которая не позволяла заметить ту самую фразу о Наполеоне.

Что же такого важного в ней?

Дело в том, что в сражении возле бельгийской деревни Ватерлоо Наполеон потерпел поражение в 1815 году 18 июня.

Это число в тексте романа ничего не говорило исследователям творчества Лермонтова из-за ошибки в датировке дневников Печорина.

В принципе и не требуется вроде бы подтверждений правильности рукописных дат. Это же авторской рукой поставлено. Но...

Что же замечательное скрыто в этой дате?

В Лермонтовской энциклопедии читаем: «Проблема личности – центральная в романе: «История души человеческой... едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа» (VI, 249), – говорит в романе Лермонтов. Здесь прямая переключка с гиперболой В.Г. Белинского, который в 1840 писал: «Для меня теперь человеческая личность выше истории, выше общества, выше человечества. Это мысль и дума века!» (XI, 556)».

Если заявлен такой подход к судьбе героя, то даты в романе и ошибка при издании не случайны.

Я вынужден объяснить смысл этих цифр в дневнике Печорина. По крайней мере, как я их понимаю.



Во-первых, это подтверждение правильности восстановления Томашевским датировки в Академическом собрании сочинений Лермонтова 1957 года.

Во-вторых, и самое важное – это раскрывает никем до Лермонтова не использованный в прозе ход – датировка событий в художественном произведении, отсылкой к историческому событию, героем которого является третье лицо более чем хорошо известное читателю тех лет. Отметим и прием передачи состояния героя – состоянием этого третьего исторического лица.

В нашем случае это третье лицо – Наполеон и его состояние в ночь после проигранного сражения. А событие это – битва при Ватерлоо.

Каково же оно?

В словаре Брокгауза и Ефрона читаем:

Ватерлоо, селение в Бельгии

(Waterloo) — селение в Бельгии, в 20 в. от Брюсселя, на большой дороге из Шарльруа. С 1815 г. селение это приобрело мировую известность, так как сражением, происшедшим около него 18 июня, завершилась политическая и военная деятельность императора Наполеона I. Пруссаки называют это сражение — сражением при Бель-Альянсе, а французы — при Мон-Сен-Жан.

Вернемся к Печорину.

По верной мысли исследователей: «Он и большинство окружающих его людей живут как бы в разных временных и ценностных измерениях».

Эти временные и ценностные измерения и усиливают значение особой авторской датировки.

«16 июня. Нынче поутру у колодца...»

17 июня..... «Два часа ночи... не спится... А надо бы заснуть, чтобы завтра рука не дрожала».

Завтра следует понимать, как этот же день – 17 июня – потому что мы часто ночью говорим завтра, хотя по часам это уже сегодня. Ночь перед дуэлью он читает роман Вальтера Скотта, лежавший теперь и у меня на сто-

ле: «то были «Шотландские Пуритане»... Наконец рассвело. Нервы мои успокоились...»

Кстати, о романе Вальтера Скота «Пуритане» тоже почти ничего не сказано у исследователей. А роман этот приключенческий, по нынешним меркам, подростковый... Если не замечать политического подтекста, революционности не только государственно направленной, но и клерикальной.

Между прочим, в произведениях Лермонтова герои никогда не бывают в церкви... Мцыри же – что не менее грешно по взглядам того времени – убегает из монастыря, убегает в мир...

А именно этот мир, столь привлекательный для не посвященного с его законами, условностями, так ненавидел Печорин!

В тот же день после дуэли: «Уже солнце садилось, когда я подъехал к Кисловодску, измученный на измученной лошади. Лакей мой сказал мне, что заходил Вернер, и подал мне две записки: одну от него, другую... от Веры».

18 июня.

Наполеон проиграл сражение. Гюго в «Отверженных» написал: «Пробил час падения необыкновенного человека» (Глава 9, Неожиданность). А у Лермонтова в романе необыкновенный человек – Печорин.

У Гюго же читаем: «Ватерлоо – не битва. Это изменение облика всей вселенной».

Можем ли мы охарактеризовать события, случившиеся с Печориным «катастрофическими»?

Наполеон убегает с поля боя, Печорин пытается догнать потерянное счастье, но вынужден вернуться ни с чем, потеряв коня, успокаивая себя обычными для него речами о бессмысленности первого порыва – догнать Веру, увидеть...

Весь девятнадцатый век (да и сейчас, видимо) сражение при Ватерлоо оставалось загадкой и для тех, кто выиграл, и для тех, кто проиграл.

Таково же положение Печорина после дуэли – читателю трудно понять победил ли Печорин, закрывший глаза, проходя мимо



окровавленного трупа Грушницкого. Доктор Вертер в этой победе явно сомневается.

«Взошел доктор: лоб у него был нахмурен; он против обыкновения не протянул мне руки».

Да и Печорин не случайно весь день проплутал в горах, в растерянности и потерянности почти по-наполеоновски.

Упоминание Наполеона в таком виде низводит его образ до состояния обыденного, бытового, почти как в известной пошленькой присказке советской поры: «А лампочки Пушкин в подъезде выворачивает?».

Но здесь важно отметить, что 18 июня в романе не дата дуэли, а день после неё, когда Печорин осознаёт потерю всего прошлого счастья и рушит надежды на счастье Мери. Можно сказать, «убивает» её наповал своим отказом её любви.

Т.е. мы делаем вывод, что, по Лермонтову, битва не сама дуэль, а духовная борьба внутри Печорина, которую он проигрывает окончательно, что мы и увидим в главе «Бэлла». Кстати, записи в дневник о прошедшем Печорин производит как раз в крепости, когда Максим Максимыч уезжает на охоту.

По нашему мнению, это не просто совпадение, а еще одно подтверждение неразрывности смысловой цепочки, смыслового наполнения Лермонтовым датировки в дневнике.

Печорин принадлежит к разряду людей «необыкновенных». Лермонтов был куда необыкновеннее. Именно поэтому и в первой публикации все даты перепутаны, уверен, не случайно. Этакий привет от гения... Сродни чтению Печориным «Пуритан».



ИВАН ЛУКИН

ДВА ПИСАТЕЛЯ И СОЛОВЬИ

Есть в моей жизни человек, который живет уже почти сто лет. Человек из другого времени, из другого века. Моя мама называла его легендарной личностью, и это правда. Человек этот – писатель Евгений Львович Войскунский. Он как будто соединяет меня с тем прошлым, в котором жили мои предки.

Родился он в Баку 9 апреля 1922 года, поступил в Академию художеств в Ленинграде, после первого курса был призван в армию, позже оказался на флоте. Интересен тот факт, что Войскунский не мечтал о морской службе, продолжавшейся тогда 5 лет, дабы поскорее из армии вернуться к учебе. Но жизнь решила по-своему. И Евгений Львович не только прошел всю войну на Балтийском флоте, завершив ее в чине капитан-лейтенанта, но и после Победы служил еще около 10-ти лет. В итоге, благодаря «судьбозлодейке», Россия и мир получила одного из лучших писателей-маринистов.

В годы войны Войскунский был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны 2-й степени и многими другими боевыми наградами. 22 июня 1941 года молодой солдат оказался на полуострове Ханко (Гангут). На этой земле трудно было не стать моряком. Ведь все служившие там называли берег – палубой великого родного корабля.

Великого... без преувеличения. В этом месте за 225 лет до того момента – 9 августа 1714 года, под командованием Петра I произошла первая в истории России морская победа русского флота над шведской эскадрой. Здесь, на легендарной, стратегически важной позиции, в 1941 году шли тяжелые бои. Об этом периоде Евгений Львович позже напишет рассказы, повести, романы и пьесы.

Много поистине интересных, нередко опасных и даже страшных вещей произо-

шло с молодым человеком на войне. На полуострове Ханко он сначала был красноармейцем в составе железнодорожного строительного батальона. Потом стал работать корреспондентом газеты «Красный Гангут», писал фельетоны, статьи, заметки. Евгений Львович много и подробно рассказывал об этом в своих произведениях.

В октябре 1941 года его забрали в штат редакции газеты. И, попрощавшись с друзьями, на попутном грузовике он поехал в город Ханко. Войскунский явился в редакцию «Красного Гангута», размещавшуюся в здании штаба базы, в подвале. Штаб располагался в каменном строении – одном из немногих сохранившихся после обстрелов в городке. «В первый же день на него налетел высокий блондин в армейской форме, который декламировал стихи Эдуарда Багрицкого. В рассказе Войскунского, напечатанном в газете незадолго до этой встречи, те же строки в бреду твердит раненый боец: «Он мертвым пал. Моей рукой водила дикая отвага...». Войскунский сразу же подхватил: «Ты не заштопаешь иглой прореху, сделанную шпагой». Перебивая друг друга, они принялись наизусть читать Багрицкого.

Так познакомился Евгений Войскунский с Михаилом Дудиным, в будущем, звездой советской поэзии, а пока резво начинающим свой творческий путь молодым русским поэтом, родившимся 20 ноября 1916 года в «маленькой, всего шесть дворов» деревне Клевнево Фурмановского района в крестьянской семье. Юность Михаила Александровича обычна для первого поколения молодёжи страны Советов. Учился в Калининской школе крестьянской молодежи, жил в общежитии, одновременно в соседней деревне Рождествино учил неграмотных. Продолжая образование в Ивановской текстильной фабрике-школе, выпускал стен-



газеты и был направлен в комсомольскую газету «Ленинец». Работал журналистом в Иванове, Комсомольске, на Баксанстрое в Кабардино-Балкарии, одновременно учился на вечернем отделении педагогического института.

Многое успевали делать наши деды. Вот и Дудин начал печататься ещё в 1934 году, а первый сборник его стихов – «Ливень» – вышел уже в 1940-м, по следам первой в его жизни войны. В 1939 году молодого поэта призвали в армию, на финский фронт. Так что, на момент встречи с Войскунским это был уже поэт с книгой!

К концу жизни у него будет настоящий иконостас из наград, премий и званий, но, думаю, самыми дорогими для него оставались всё же те, первые – боевые ордена и медали. Михаил Александрович Дудин умер 31 декабря 1993 года в Санкт-Петербурге, похоронен на родине, в селе Вязовское Фурмановского района, об этом своём желании он тоже успеет написать:

*В селе Вязовском на старом погосте
Землёю становятся мысли и кости...
Здесь память о предках моих небогата,
Здесь Родина жизни моей, и когда-то
Окончится дней моих длинная повесть.
Умолкнут стихи, успокоится совесть,
Друзья разойдутся, разъедутся гости...
Найдите мне место на этом погосте.*

Времена меняются, но мы знаем, что в ноябре 1996 года в библиотеке села Широкова открылся общественный музей поэта М.А. Дудина, а в 2002 году широковской сельской библиотеке было присвоено его имя.

Но вернемся к моменту знакомства двух наших героев-писателей: одного, как я уже сказал, еще не очень известного поэта с книгой, и второго, не менее дерзкого, но делающего лишь первые шаги в журналистике, бывшего студента-художника. Заживут они в одной крохотной комнатке в здании

редакции. По словам Евгения Львовича, скорее всего, прежде там была каталажка: комнаты маленькие, узкие, очень похожие на камеры. В такой малюсенькой комнатке товарищи и вели по ночам свои разговоры, делились мечтами, читали друг другу стихи. Многие воспоминания Войскунского о Дудине связаны именно с этим начальным периодом службы на Ханко. А в творчестве Евгения Львовича эти годы займут основополагающее место.

В октябре 1941 года Ханко оказался в тылу противника. Выражаясь по-военному, «стратегический смысл его обороны был утерян», поэтому стали приходить конвои и вывозить людей и технику. Конвои состояли из транспортных судов, эсминцев и тральщиков. Ходили они с остановкой: сначала до острова Гогланд, на следующую ночь добирались до Ханко. И таким же образом возвращались – в два «прыжка», через остров Гогланд. Ко 2 декабря 1941 года полуостров опустел, остались только заслоны на границах и островах. Работников редакции газеты «Красный Гангут» принял на борт последний конвой. Грузились весь световой день. Ближе к вечеру вышли в море. Этому предшествовала большая работа на берегу. Уничтожалась боевая техника, пушки, взрывались платформы, паровозы, даже типографское оборудование.

В последний конвой входило 2 эсминца, тральщики и катера. Войскунский был на большом электроходе «Иосиф Сталин», загруженном людьми и продовольствием сверх всякой меры. В четырехместной каюте было очень тесно: в ней расположились 20 пассажиров. Транспорт принял на борт около 6 тысяч человек. Войскунский с Дудиным долго стояли на верхней палубе и смотрели, как горит Ханко. Довольно скоро малоповоротливый транспорт напоролся на мину, раздался первый взрыв, погас свет, по трансляции приказали всем оставаться на местах. Через час раздался второй взрыв, очень сильный, корабль начал крениться на правый борт. Началась паника. Войскунский с Дудиным держались вместе. Им сунули в руки носилки, и они из трюмов в кают-компанию но-



силы раненых – их было очень много. Прогремел третий взрыв. Дудин затащил друга в каюту, где стояли винтовки, и предложил застрелиться. «Не хочу рыб кормить!» – сказал он. По словам Евгения Львовича, на Михаила было страшно смотреть, но Войскунский не растерялся, схватил его за руку и силой вытащил из каюты. (Эта история напоминает сцену из пьесы «Дни Турбиных» М. Булгакова, хотя она вряд ли была им знакомой по предвоенным театральным постановкам.)

«Сталина» пытались взять на буксир – ничего не вышло, поскольку четвертым взрывом разбило форштевень. Крен усиливался, но электроход держался на плаву. Подходили тральщики, на них прыгали люди. Штормило, поэтому надо было выбрать момент, чтобы не промахнуться мимо узкой палубы. Товарищи поднялись на верхнюю палубу. Дудин прыгнул на борт подошедшего тральщика, Войскунский собрался сделать то же самое, но тральщик отвалил от электрохода и стал удаляться. Войскунский слышал, как Миша закричал: «Женька, прыгай! Прыга-ай!». Но было уже поздно – тральщик уходил. Евгений Львович рассказывал позже не раз, что не помнил, сколько провисел на борту – две минуты, десять, час.

Через некоторое время подошел еще один тральщик. Войскунский прыгнул. Вместе с ним прыгнули и другие ребята из команды. Это был последний корабль конвоя, подходивший к борту «Сталина». Около трех тысяч оставшихся солдат попадут в плен, а на Родине долгие годы не будет известно об их судьбе.

Я сразу представил, какой был шок у друзей, когда один из них уже спасен, а у другого впереди неизвестность. При этом, расстояние между кораблями продолжало медленно и неумолимо увеличиваться.

Это событие из жизни двух писателей довольно широко известно по их биографиям и романам Войскунского. Я рассказал о нём только потому, что оно связано с важной для русской литературы историей, которую не знает почти никто. Об этом чуть позже...

Наше знакомство с Евгением Львовичем произошло давно. Сначала с ним познакомился мой папа, приехав к нему как журналист-корреспондент по заданию газеты, в которой на тот момент работал. Папа был поражен тем, что произведения Войскунского он читал и полюбил еще мальчишкой. Мой дедушка, Иван Петрович, был старше Евгения Львовича всего на три года. Папа, наверное, почувствовал к нему сыновьи чувства, они сдружились, и у нашей семьи появилась еще одна добрая традиция – несколько раз в году навещать Евгения Львовича.

Смутно помню эти первые свидания и мысли, возникшие от знакомства с таким необыкновенным человеком. Я не понимал еще, как важно дружить с человеком такой судьбы. Я с любопытством рассматривал в его квартире офицерский китель, кортик, библиотеку, старые фотографии, карты. С еще большим интересом я слушал беседы папы и Войскунского. Они увлеченно разговаривали о любви, литературе, политике и многом другом. Говорили еще и об антологии военной поэзии, которая тогда готовилась к изданию. Войскунский вспоминал о стихах, которые читали и любили во время войны, об особенной возвышенности в них патриотических чувств, эти воспоминания дополнялись картинками фронтового быта и историями судеб. Зашел разговор и о поэте Михаиле Дудине. Войскунский стал читать наизусть любимые стихи поэта и вдруг, прочитав отрывки из «Соловьев», которое считает одним из его лучших стихотворений, неожиданно вспомнил ту самую историю, ради которой я сегодня пишу этот очерк.

Папа в ответ рассказал историю создания «Соловьев», известную ему по воспоминаниям Дудина. Подробности первой истории я сразу не запомнил, поэтому весной 2015 года специально поехал к Евгению Львовичу и попросил еще раз рассказать о «Соловьях». Дома я расшифровал записи и был счастлив – вот она, история создания стихотворения «Соловьи» Михаила Дудина, как ее помнит 93-летний моряк и писатель.



– Это было начало июня 1942 года. В это время в Кронштадте, пожалуй, не было ни дня без артобстрела. Была очень напряженная и нестабильная обстановка. Хотя тяжелая блокадная зима была позади, голод все равно остался, да и блокада еще не снята. В один из тех дней, я тогда работал в газете кронштадтской военно-морской базы «Огневоый щит», я уходил из редакции в среднюю гавань, на каком-то тральщике, брать материал для газеты и, возвращаясь домой, попал под очень сильный обстрел, переживал его довольно долго, прижавшись к стене дома, в общем, выдался трудный день. Вечер был тоже беспокойный, я сидел с двумя-тремя работниками газеты рядом с домом, в котором была наша редакция, в сквере. И вдруг, мы услышали, как поет соловей, типичное такое щелканье. Пошелкал, пошелкал и выдал длинную руладу, очень красивую. Мы замерли. «Надо же, – подумал я, – война, обстрелы, смерть и вдруг – соловей!». Это было чудом. В очередном письме я написал об этих соловьях моему другу – Мише Дудину, который работал на тот момент в газете Ленинградского фронта «На страже Родины». С Дудиным мы подружились в напряженной обстановке и сразу же – на всю жизнь. Потом был еще этот страшный переход, когда транспорт подорвался на минах, ну, ты, наверное, знаешь об этом. Так вот, я написал письмо Дудину и отправил ему, не посчитав свое наблюдение чем-то важным. Проходит недели две-три, я получаю из Ленинграда бандероль в большом самодельном конверте. В нем был номер газеты, в которой работал Дудин, раскрываю и вижу – крупно набрано: Михаил Дудин, «Соловьи», стихотворение. А сверху Дудин написал: «Женьк! В этих «Соловьях» и ты виноват!». Ты его не помнишь, наверное, оно довольно большое...

Здесь Евгений Львович по памяти прочитал первую строфу:

*«О мертвых мы поговорим потом.
Смерть на войне обычна и сурова.
И все-таки мы воздух ловим ртом
При гибели товарищей. Ни слова
Не говорим».*

Писатель, продолжая цитировать отрывки, дочитал до строчки, в которой говорилось про умирающего солдата, который шептал: «...напишите Поле – у нас сегодня пели соловьи». Тут-то я и попросил рассказать про этого бойца, спросив:

– Евгений Львович, скажите, а Михаил Дудин сам придумал этого солдата или же это реальный человек?

– Разумеется, он это придумал, хотя смерть мы видели довольно много и часто. Мы были корреспондентами, мотались по частям, кораблям, на передовой.

Здесь Евгений Львович задумался и потом продолжил цитирование стихотворения:

*«И, может быть, в песке, в размытой глине,
Захлебываясь в собственной крови,
Скажу: “Ребята, дайте знать Ирине –
У нас сегодня пели соловьи.
И полетит письмо из этих мест
Туда, в Москву, на Zubовский проезд”».*

Евгений Львович опять задумался. Воспользовавшись заминкой, я выразил ему свое искреннее восхищение этим за душу берущим произведением, сказав, что уже несколько дней изучаю его, знаю почти наизусть. Дальше задал вопрос, который появился у меня при первом же прочтении:

– А вот здесь речь идет о «тристапятидесятом дне войны», это дата написания стихотворения?

– Скорее всего, это дата создания стихотворения. Помню, что было начало лета, где-то середина июня. Но здесь важно понимать смысл стихотворения! Он заключается в том, что весь этот ежедневный ужас войны не сломал нас, не лишил возможности ощущать и понимать красоту соловьиного пения.

Я обратил внимание на акцент, который поэт сделал, применив, не совсем верную форму произношения числительного. В первых, чтобы выделить этот день, запомнившийся ему по многим причинам. Во вторых, чтобы обратить внимание читателей, что война продолжается почти год. Именно такое задание он и получил от комиссара.



В-третьих, эта строчка разделяет стихотворение на три части. В первой части говорится о том, что сердца людей превратились в пепел: *«Мир груб и прост. / Сердца сгорели. / В нас остался только пепел, да упрямо / Обветренные скулы сведены».*

Именно таких солдат с зачерстевшими душами изображал в своих произведениях и Ремарк. Но он же показывал и возрождение к мирной жизни пришедших с войны солдат. У нас в «Соловьях» мира еще нет, только война.

Во второй части умирающий солдат как бы дарит свою душу соловью – певцу жизни. Если бы душа была выгоревшей, смог бы соловей петь?

Третья часть похожа на стихотворение о любви, в ней много размышлений героя о личной мирной жизни, в которой есть место и соловьям, и детям. Именно об этом пишет поэт. Я не цитирую здесь текст, потому что поставлю его в финале целиком, я акцентирую внимание на ключевых точках, чтобы при прочтении замысел автора раскрывался более полно, и не нарушалась целостность композиции.

Мы беседовали с писателем о его дальнейших отношениях с Михаилом Дудиным: «Мы часто встречались в послевоенные годы, и, когда Дудин приезжал в Москву, или я приезжал в Ленинград, он со смехом спрашивал: «Женьк, а помнишь, как я склонял тебя к тому, чтобы мы застрелились?» Когда мы вспоминали об этом, то обычно смеялись. У нас было заведено посмеиваться друг над другом. Хотя, та ночь была очень страшной, страшной ночи у меня в жизни больше никогда не было...»

Здесь Евгений Львович помолчал, видимо, вспоминая те минуты, и продолжил, как это часто бывает у творческих людей, вслед за своими мыслями, а не в русле темы беседы: «Отношения между нами, несмотря на разницу в возрасте, были товарищескими, скорее, даже братскими. Он никогда не подчеркивал того, что он старше или что он талантливый, успешный поэт, хотя я значительно позже вступил в литературу, чем он. Это был

великодушный человек, с широкой русской душой нараспашку... Все годы существования СССР он не позволял себе делать выпады против власти, считая, что этим может повредить стране, он был поэтом-государственником».

Слушая Войскунского, я понял, что именно поэтому, рассказывая о создании стихотворения «Соловьи», Михаил Дудин на первое место ставил не личную жизнь, не человеческие чувства, а долг перед Родиной, представителем которой в данный момент был батальонный комиссар. Изначально, по словам поэта, «Соловьи» были своеобразным «социальным заказом» и даже просьбой на уровне приказа: «К первой годовщине войны батальонный комиссар, редактор армейской газеты «Знамя победы», попросил меня написать к дате стихи, причем разрешил лирику... – пишет Дудин в воспоминаниях. – Я повернулся на каблуках и вышел из редакции. День был ясный. Всё цело и зеленело. По вечерам и на утренних зорях всю заливались соловьи. И мне казалось, что соловьиные перекаты заглушали глухой рокот артиллерийских дуэлей. Накануне погиб мой дружок по взводу разведки – Витя Чухнин. (Дудин ещё в 1940 году написал посвященное другу-художнику ироническое стихотворение «Кукушка», заканчивающееся привычным в те годы риторическим призывом: *«Художники! Из чугуна и стали, Отбрасывая к чёрту хлам и лом, Творите так, чтоб мёртвые восстали И, как живые, встали над врагом».* – И.Л.). Накануне я получил письмо от своего ивановского друга-поэта Володи Жукова. Грустное письмо. Володя сообщал мне, что наш общий товарищ и земляк, тоже поэт, Коля Майоров погиб под Москвой. (Николай Майоров – поэт, политрук пулеметной роты 1106-го стрелкового полка 331-й дивизии. Погиб у деревни Баранцево Смоленской области. Похоронен в братской могиле в селе Карманово Гагаринского района Смоленской области. – И.Л.). И мне захотелось написать о них.

Я забрался в заросли орешника. Расстелил на зеленой траве шинель. Лег на живот.



И вывел в своей тетради первую строчку: «О мертвых мы поговорим потом...»

Получается интересная вещь: автор «получил заказ» сразу с нескольких сторон. От погибших друзей – память о них требовала высказаться. От живых друзей, которые напоминали ему о силе жизни, противостоящей смерти и войне. От комиссара, устами которого говорила страна миллионами русских людей. Этот «заказ» шел и из сердца молодого поэта. Его душе, той самой, «широкой русской душе нараспашку», нужно было выговориться, и сделала она это через стихотворение.

СОЛОВЬИ

*О мертвых мы поговорим потом.
Смерть на войне обычна и сурова.
И все-таки мы воздух ловим ртом
При гибели товарищей. Ни слова*

*Не говорим. Не поднимая глаз,
В сырой земле выкапываем яму.
Мир груб и прост. Сердца сгорели. В нас
Остался только пепел, да упрямо*

*Обветренные скулы сведены.
Тристапятидесятый день войны.*

*Еще рассвет по листьям не дрожал,
И для остротки били пулеметы...
Вот это место. Здесь он умирал -
Товарищ мой из пулеметной роты.*

*Тут бесполезно было звать врачей,
Не дотянул бы он и до рассвета.
Он не нуждался в помощи ничьей.
Он умирал. И, понимая это,*

*Смотрел на нас и молча ждал конца,
И как-то улыбался неумело.
Загар сначала отошел с лица,
Потом оно, темнея, каменело.*

*Ну, стой и жди. Застынь. Оцепеней
Запри все чувства сразу на защелку.
Вот тут и появился соловей,
Несмело и томительно защелкал.*

*Потом сильней, входя в горячий пыл,
Как будто сразу вырвавшись из плена,
Как будто сразу обо всем забыл,
Высвистывая тонкие колена.*

*Мир раскрывался. Набухал росой.
Как будто бы еще едва означась,
Здесь рядом с нами возникал другой
В каком-то новом сочетанье качеств.*

*Как время, по траншеям тек песок.
К воде тянулись корни у обрыва,
И ландыш, приподнявшись на носок,
Заглядывал в воронку от разрыва.*

*Еще минута – задымит сирень
Клубами фиолетового дыма.
Она пришла обескуражить день.
Она везде. Она непреходима.*

*Еще мгновенье – перекосит рот
От сердце раздирающего крика.
Но успокойся, посмотри: цветет,
Цветет на минном поле земляника!*

*Лесная яблонь осыпает цвет,
Пропитан воздух ландышем и мятой...
А соловей свистит. Ему в ответ
Еще – второй, еще – четвертый, пятый.*

*Звенят стрижи. Малиновки поют.
И где-то возле, где-то рядом, рядом
Раскидан настороженный уют
Тяжелым громающим снарядам.*

*А мир гремит на сотни верст окрест,
Как будто смерти не бывало места,
Шумит неумолкающий оркестр,
И нет преград для этого оркестра.*

*Весь этот лес листом и корнем каждым,
Ни капли не сочувствуя беде,
С невероятной, яростною жадой
Тянулся к солнцу, к жизни и к воде.*

*Да, это жизнь. Ее живые звенья,
Ее крутой, бурлящий водоем.
Мы, кажется, забыли на мгновенье
О друге умирающем своем.*



*Горячий луч последнего рассвета
Едва коснулся острого лица.
Он умирал. И, понимая это,
Смотрел на нас и молча ждал конца.*

*Нелепа смерть. Она глупа. Тем боле
Когда он, руки разбросав свои,
Сказал: "Ребята, напишите Поле -
У нас сегодня пели соловьи".*

*И сразу канул в омут тишины
Тристапятидесятый день войны.*

*Он не дожил, не долюбил, не допил,
Не доучился, книг не дочитал.
Я был с ним рядом. Я в одном окопе,
Как он о Поле, о тебе мечтал.*

*И, может быть, в песке, в размытой глине,
Захлебываясь в собственной крови,
Скажу: "Ребята, дайте знать Ирине -
У нас сегодня пели соловьи".*

*И полетит письмо из этих мест
Туда, в Москву, на Zubовский проезд.*

*Пусть даже так. Потом просохнут слезы,
И не со мной, так с кем-нибудь вдвоем
У той поджигородовской березы
Ты всмотришься в зеленый водоем.*

*Пусть даже так. Потом родятся дети
Для подвигов, для песен, для любви.
Пусть их разбудят рано на рассвете
Томительные наши соловьи.*

*Пусть им навстречу солнце зноем брызнет
И облака потянутся гуртом.
Я славлю смерть во имя нашей жизни.
О мертвых мы поговорим потом.
Июнь, 1942*

Известный поэт Евгений Евтушенко в своей антологии «Десять веков русской поэзии», писал о Дудине: «Душа его была спасена теми фронтовыми соловьями». Конечно, он прав, это доказывает не только творческий путь Дудина, но и все произведения Войскун-

ского, особенно роман «Полвека любви», в котором личная жизнь писателя становится частью истории страны.

И понял я, что не победили бы наши прадеды и деды в той страшной войне, если бы защищали только комбата и себя – уставшего, ожесточившегося солдата. Если бы не осознавали, что землю надо пахать, о чем напоминала им и трава на бруствере, и цветы на поле, примятые вражескими сапогами. Если бы не чувствовали каждой клеткой тела своего, что их ждут матери, дети, жены, сестры, невесты, и что каждая из них слышит тех же соловьев, воспевающих жизнь, поет ту же песню «В землянке» или читает «Жди меня».

В подтверждение этих мыслей, и завершая очерк, приведу мнение русского историка, литературоведа, философа и критика Вадима Валериановича Кожинова. Много лет назад он первым обратил внимание на любопытное исследование одного своего знакомого, немецкого историка-русиста, Эберхарда Дикмана. Дикман заметил, что в Германии во время войны не звучало ни одной связанной с войной лирической песни, имелись только боевые марши и «бытовые» песни, никак не соотношенные с войной. Приведу в качестве примера знакомое мне стихотворение «Оккупация песни» русского поэта-фронтовика Валентина Давыдовича Динабургского (ещё живущего в Брянске и пишущего; кстати, родившегося в один год с Войскунским):

*Фриц наяривал «Катюшу»
на губной гармошке,
разбередивая душу
хуже, чем бомбежка!*

*Он играл почти без фальши –
весело, задорно!
Только слушать было страшно,
нестерпимо больно.*

*От Карпат и до Полесья
жизни лад порушив,
оккупировал и песню –
то есть, значит, душу!*



*До окопа того фрица –
метров тридцать с гаком.
Мне б в него зубами впитаться,
а я сдуру плакал...*

Значит, самими немцами подтверждалось, что наша страна являлась полной противоположностью фашистской Германии. Жизнь в СССР от окопов до глубокого тыла была насквозь пронизана одними и теми же лирическими песнями и стихами (та же самая «Катюша»). Из воспоминаний Г. Жукова известно, что он не воспринимал жизнь 1941–1945 годов без постоянно звучащих из радиотарелок и поющих миллионы людей лирических песен о войне. Именно поэтому смысл войны и для маршала Жукова, и для простого солдата можно было выразить словами из песни А. Фатьянова «Соловьи»:

*«Пришла и к нам на фронт весна,
Солдатам стало не до сна
Не потому, что пушки бьют,
А потому, что вновь поют,
Забыв, что здесь идут бои,
Поют шальные соловьи...»*

Я назвал очерк «Два писателя и соловьи», а под конец работы задумался, разве только эти два писателя так думают и чувствуют? Разве не весь народ стоял с ними рядом, плечом к плечу и так же воспринимал мир? Про себя могу сказать точно: я с ними.

Март–апрель, 2015

Послесловие, которого могло и не быть

Совершенно случайно обнаружил в Интернете видеозапись чтения Михаилом Дудиным стихотворения «Соловьи» в далеких шестидесятых. Обратил внимание на ссылку: «Мне двадцать лет». Поискал фильм, посмотрел сначала «Заставу Ильича», но не нашел там выступления Дудина. Вернулся к правильной ссылке, к другой версии фильма,

где и знаменитый вечер поэзии в Политехническом оказался иным, и «Соловьи» – на своем законном месте. А ведь правильно было задумано режиссером, что пока звучит трагическое стихотворение, герои фильма – они чуть старше меня – говорят о любви... А Дудин за кадром читает: «*«Ребята, напишите Поле – / У нас сегодня пели соловьи». И сразу канул в омут тишины / Тристапятидесятый день войны...»*».

И получилось, по словам поэта, в жизни. Помните дальше написано: «*Пусть даже так. / Потом родятся дети...?*» В год выхода фильма на экраны страны родится мой папа – сын фронтовика.

А теперь уже и меня будят на рассвете томительные эти соловьи.

Май, 2016

Войскунский Евгений Львович – советский, российский писатель. Родился в Баку 9 апреля 1922 г. Служил в ВМФ. В Великую Отечественную войну – на Балтийском флоте; капитан-лейтенант. Окончил заочно Литературный институт им. А.М. Горького (1952). Печатается с 1950-х. В соавторстве с двоюродным братом И. Лукодяновым в 1960–1970-е годы были написаны произведения в жанре научной фантастики, ставшие классикой. У Евгения Львовича всегда оставался неисчерпаемый запас жизненного материала, накопленного за годы службы на Балтийском море. Многим читателям, не знакомым с ранними книгами Войскунского о войне и знавшим его лишь как фантаста, роман «Кронштадт» (1984) открыл его как сильного прозаика-реалиста. В 1990 году вышел роман Войскунского «Мир тесен» – книга о войне, составляющая с «Кронштадтом» своего рода дилогию. В 2000 опубликованы романы «Девичьи сны» и «Полвека любви», а в апреле 2007 – к 85-летию писателя – роман «Румянцевский сквер». Сегодня Е.Л. Войскунский по-прежнему в строю, работает над новым историческим романом. Живет в Москве.



Сергей ЖБАНКОВ

ХИМЧИСТКА

– Девушка! Объясните мне, пожалуйста, что это такое?

– Как – что?! Это ваша обновленная шуба.

– Нет, это теперь ваша обнулённая шуба! Шуба моей жены была коричневой, блестящей. А это – грязно-черная муть с татуировками и проплешинами.

– Какие татуировки, мужчина! Это просто клеймо с внутренней стороны проступило. Оно лишний раз говорит о том, что ваша шуба сертифицирована. Мы вашу шубу очень тщательно обрабатывали...

– А я вас что просил? Освежить верх...

– Мы освежили. Она почти неделю висела на свежем воздухе...

– А почему вот здесь и вот здесь нет ворса, а лишь голые места?

– Наш скорняк провёл анализ этих мест и вынес заключение: эти места – ягодицы животного, из которого была сделана ваша шуба. А на ягодицах шерсть не растёт. Вы же сами это знаете...

– А почему перед шубы стал длиннее, чем зад?

– Потому что перед шубы сделан из передних частей шкур животного. А она, передняя часть, всегда впереди задней... Вспомните, как бежит ваша нутрия. Вначале она выбрасывает передние лапки, и лишь потом за ними устремляется остальное тело. Поэтому

перед вашей шубы уже устремился вперёд, а задник ещё только готовится...

– Но ведь раньше всё было нормально!

– Просто раньше шкурки вашей шубы дремали. А здесь, у нас, под воздействием тепла и благотворных химикалий они пришли в движение. Молекулы шкурок перестроились, скрытая энергия выплеснулась, процесс пошёл... Это же так просто, мужчина!

– Ничего себе – просто!.. И что мне теперь делать?

– Смело берите шубу и отдавайте жене. Пусть походит в ней неделю по морозцу. Шкурки вашей нутрии не приспособлены к большим холодам. Произойдёт обратная реакция, молекулы вернуться в обычное положение, процесс повернёт вспять, перед вашей шубы сравняется с задом и застынет в ожидании новой химчистки.

– А вы в этом уверены?

– Как в себе, мужчина!

– Ладно, давайте, Действительно, пусть походит по морозу...

– Ну, как, Андроник Саркисович?

– Ай да Вероника Ивановна! Умница! Убедила, меня убедила! Прошла экзамен на «отлично». Беру на работу в свою химчистку!.. Ты у меня уже пятая, которая биофак с красным дипломом закончила!

ШАМΠΑНСКОЕ

Застолье было в самом разгаре. Время неумолимо приближало присутствующих к заветному бою курантов. Михалыч потянулся через весь стол и уверенно взял в руки бутылку с шампанским.

– «Шампанское полусладкое» – прочитал он на этикетке и поморщился. – А ведь я, братцы, чуть сдуру не женился в девятнадцать, – неожиданно заявил он.

– Но зато ты женился с дуру в двадцать семь! – вставил словечко Витя. – Согласись, это ещё обиднее...

– Не об этом речь! – цыкнул Михалыч. – Я к тому, что от этого необдуманного шага меня спасло... шампанское.

– Как это? – удивленно спросил Харитон Генрихович, нашел вилкой в салате кусочек колбасы и передал его кошке. Кошка есть



не стала, и Харитон Генрихович съел колбасу сам.

– Я вlepил пробкой в лоб Нинкиной матери, от которой она отскочила, ударилась в большую хрустальную вазу...

– Пробка или Нинкина мать? – вставил очередное словечко давно захорошевший Витя, но тут же утих, увидев игру нервного тика на лице Михалыча.

– Хрустальная ваза рухнула на пол, попутно отбив палец на ноге Нинкиному отцу, – завершил эпопею с шампанским Михалыч. – А я вылетел из их квартиры, как пробка! И больше туда не влетал... Готовьтесь, скоро двенадцать!

– У меня тоже был случай с шампанским, – отпив из фужера, сказал Харитон Генрихович и неспешно выудил свой галстук из лотка с заливной рыбой. – Босс пригласил сотрудников к себе на новоселье. А на улице жара, тридцать градусов. Купили мы ему картину, пылесос, шампанское, час тряслись в маршрутке. Приезжаем. Босс приглашает нас в новый зал для приёма гостей. Рассаживаемся. Мне дают слово. Я что-то говорю, открываю шампанское... А ведь жара. Тридцать градусов. Час тряслись... Короче, вылетает со скоростью звука пробка, а за ней – всё шампанское. Заливаю им стены, стол, одежду

присутствующих, босса, а потом короткое замыкание, огонь, пожарные машины...

Словом, залечив сломанные рёбра и подбитый глаз, я вот уже шесть лет работаю в вашем дружном коллективе...

– Да... – протяжно произнёс Витя. – История... Шампанское – оно ведь такое... Однажды и я поимел дело с шампанским... Гостил у одной подруги. Или она у меня... Короче, выпили винца, водочки, пивка наверх... Утром просыпаюсь, башка – опора для башенного крана. Надо поправлять здоровье. Глядь, бутылка с шампанским на столе нетронутая. Я дрожащими руками открываю. Пробка не идёт. Открываю – не идёт. Я – зубами. Тут мне она по зубам как даст и внутрь внедрилась. Зубы в стороны, пробка в желудок. Во, глядите!

Витя широко улыбнулся и продемонстрировал присутствующим полное отсутствие передних восьми зубов – по четыре сверху и снизу...

Внезапно Михалыч жестом приказал всем молчать.

– Так... Парни, куранты! Давай фужеры! Новый год настаёт!

Витя и Харитон Генрихович дружно протянули фужеры. Михалыч разлил из бутылки и с криком «С Новым годом, хлопцы!», первым опрокинул в себя фужер... с водкой.

КАША С КОМОЧКАМИ

Лизунчик, привет, моя сытенькая! Так давно с тобой не ела! Как дела с весом? На сколько похудела?.. На шесть ки... На шесть кило?! За пять дней?! Ты ври, да не завирайся! У меня от этих твоих слов сразу два голубца изо рта выпали...

Лизунчик, жду от тебя правду! Сколько весишь?.. Сто десять?! Да мы же с тобой неделю назад вместе взвешивались. И обе были по сто двадцать... Особенно ты... Поправиться за пять дней на шесть кило можно. Мы и на десять с тобой поправлялись. Особенно ты. Но вот чтобы похудеть...

Лизунчик, а как ты похудела?.. Я прямо лопаюсь от зависти... Не перебивай! Не только

от жира. И от зависти тоже лопаюсь! Почему не для меня?! Как жрать вместе – для меня, а как худеть – так только тебе одной!

Аппендикс вырезали... Кому?! Тебе?! А он на еду никак не влияет?.. Не влияет... Он что, такой тяжёлый?! Так ты сейчас в больнице?!

Ой, Лизунчик, я тоже хочу вырезать себе аппендикс! Раз он шесть кило весит. Устрой, а?.. Нужен приступ аппендицита? А где ж его взять? Ты же знаешь, что у меня бывают только приступы голода. Один раз в сутки... на двадцать четыре часа. Или двадцать четыре – по часу...

Лизунчик, а что ты там ешь – в этой своей больнице?.. Почти не ешь?! Ты – мало ешь?!



Не верю! Ты ешь только много! Мы обе едим только много. Особенно ты... Нет, ты больше меня!..

Похудела благодаря еде?! Так это же то, что надо, Лизунчик! Это же мой вариант! Я сейчас ручку с бумагой возьму. Записывать буду... Сейчас... И где эта ручка... Вот она, под противнем с плюшками... Взяла... И ручку тоже взяла, диктуй!.. Ну, как... По порядку диктуй: что на завтрак, что на обед, что ночью ешь...

Так, пишу... Каша манная на воде с комочками... С комочками... А у комочков какая начинка, Лизунчик? Типа пельменей?.. Тоже каша?!. А какой тогда смысл в комочках?.. А-а, чтобы их не ели... Тарелка как бы полная, а съедобны только две-три ложки... Здорово придумано!

Ещё винегрет? А из чего он? Пишу... Из всего, что осталось от вчерашней еды... Написала. А вчерашняя еда – это что?.. Пишу... Хлебные крошки, слипшиеся макароны, яичная скорлупа, комочки от манной каши... Ух ты, опять комочки! Незаменимый продукт!

А на обед что дают?.. Так... Картошку с глазками?! Как это?! Она что, видит?.. Не знаешь... А какое отделение рядом? Глазное?.. Ну, тогда всё понятно. Оттуда эти глазки. А каких, Лизунчик, в картошке глазков больше – голубых или карих?..

Огурцы бочковые... По форме?.. По содержанию?.. Думаешь, в бочках из-под пороха

делали? А почему?.. Да ты что! После обеда канонада в отделении начинается...

Подожди, не спеши... Пишу... Ржавая селёдка... Какая?! Ржавая?! Интересно. А как её готовят?.. Я тоже так думаю. Ржавчину добавляют. Откуда?.. Да с труб ржавых соскребают!.. И посыпают селёдку. Чтобы в организм железо поступало. Ты уточни там, Лизунчик, как они это делают, ладно?..

Вчера на обед гуляш приносили? Цивильно! Ароматный?.. А из чего? Как не знаешь?! Не донесли, по персоналу гуляш гулять пошел...

А ужин? Ледяная рыба на ужин? Шикарно! Я знаю, это такая здоровенная. Вкусная?.. Почему не попробовала? А-а, её приносили, чтобы ледяная рыба в отделении оттаяла, а потом назад унесли...

Курятина с перьями? Перья – это макароны такие? Перья – это перья такие... Понятно. Ну и как, аппетитно? Ну, курятина с перьями?.. А-а, тебе только перья достались... Не распробовала...

Чего-чего?.. Даже хлеб не ешь?! А твой знаменитый бутерброд: половина батона вдоль, а сверху половина «Бородинского» поперёк...

Беденькая ты моя! Худенькая ты моя! Что тебе из еды привезти-то? Колбасы? Мяса? Индюшку?.. Да не плачь ты! Объясни чётко, что тебе поесть привезти? Слушаю... Ах, вот оно что! Так ты, оказывается, дома свои вставные челюсти забыла...

ПРОБУЖДЕНИЕ

Она проснулась в три часа ночи. Долго прислушивалась к тишине, всматривалась в темноту и чему-то загадочно улыбалась. Не было привычного внутреннего напряжения, тяжесть в районе грудины ушла, дышалось легко, думалось свободно...

А ведь совсем недавно, буквально два месяца назад, у неё круглосуточно раскалывалась голова, тряслись руки, подёргивалась левая щека. Она заводилась с пол-оборота, могла накричать на родных, швырнуть на пол тарелку, заявить, что подаёт на развод...

Муж спал рядом, тихо похрапывая, разметав по кровати свои мощные натруженные руки...

«Он у меня такой хороший», – подумала она и нежно прижалась губами к его плечу, на котором красовалась татуировка: имя Лена, пронзённое стрелой любви. Это было её имя.

Она откинула со лба прядь волос и о чем-то задумалась. А затем обхватила голову ладонями и сильно сжала их в районе висков...

– Маш, ты чего?! – внезапно проснулся муж. – Ты чего мою голову плющишь? Больно же...



– Ой, прости, Костик! – Она быстро убрала руки и виновато улыбнулась: – Опять головы перепутала... Задумалась...

– А может, тебе всё-таки надо поменять работу? – окончательно проснулся муж. – Ты же так медленно сойдёшь с ума. Год – другой – и твоя психика не выдержит...

– Ничего, я справлюсь, – всхлинула она.
– Я – закалённая. Я многое пережила... К

тому же у меня ещё целых трое суток, чтобы хорошенько выспаться, побродить по лесу, отрешиться от всего. Спи, милый! Всё хорошо...

Она поправила на муже одеяло и опустила свою голову на подушку...

Спустя час учительница пятого «б» заснула. До первого сентября оставалось ровно трое суток...

ВИАГРА

Аптека. В окошке фармацевт. Заходит странный клиент – подчёркнуто стройный, с высоко поднятой головой, поднятыми вверх руками и торчащими вверх волосами.

– Мужчина, если вы сдаваться пришли, то полиция через дорогу. А здесь – аптека.

– Не-не, я к вам! Я у вас три дня назад виагру купил... По акции.

– По какой акции?

– За пять упаковок слабительного таблеток виагры в подарок.

– Было. Я помню...

– Ток вот... Виагра оказалась бракованной. Не той ориентации.

– В смысле?

– Эффект пошел не вниз, а вверх.

– То есть?

– Внизу осталось всё, как было...

– Это как?

– Да никак. Поэтому виагру и выпил.

– Ну...

– А сверху всё изменилось...

– Это как?

– (становится боком) Видите?

– Что?

– Я всю жизнь сутулым был.

– И что?

– Горбатым! А сейчас?

– Стройный!

– Вот именно!

– Ну и отлично!

– И шея гнётся перестала...

– Это как?

– Спина не гнётся, шея не гнётся. А внизу гнётся всё... Как и гнулось...

– Это как?

– Да вот так... Поэтому виагру и выпил...

– Я помню.

– Раньше хоть мог посмотреть у себя внизу. Что там делается. А теперь согнуться не могу. Только чувствую... Ничего там не делается...

– Отлично!

– Что отлично?! Глаза смотрят только вверх...

– Это как?

– Чтобы поесть, мама ставит мне тарелку на сервант...

– Ну...

– С работы уволили...

– В смысле?

– Прихожу утром... после виагры... Чуть опоздал... А на работе собрание. Голосуют: нового директора назначить или старого оставить. Все сидят молча. А тут я с поднятыми руками. Директор говорит: «Все против моего увольнения, и только вот он – двумя руками «за»...» А после обеда уволил...

– Ну...

– Жена говорит: «Ты всегда чмокал меня в щечку перед сном, а сейчас на меня и не смотришь...»

– Волосы причесать не могу...

– Почему?

– Дыбом стоят! Их причёсываешь, а они, как пшеница на ветру, колышутся. И ничего не помогает! Исправляйте ситуацию, иначе я за себя не ручаюсь! Все верхние полки у вас в аптеке разнесу!

– Вот, держите! Таблетка виагры. Другого производителя. Мгновенного действия. Сейчас эффект быстро перекинется в нужное для вас место... А побочный эффект уйдёт...



(Клиент кладёт таблетку в рот, проглатывает)

- Ну?
- Уже чувствую...
- Что чувствуете?
- Внизу эффект чувствую...
- А вверху?
- И вверху чувствую... Поровну чувствую. Но посмотреть не могу. Шея не гнётся, спина не гнётся... Глаза окончательно вверх зака-

тились... Ноги теперь не гнутся... Пальцы на ногах вверх задрались... Ой...

- Что?
- (шепелявя) Язык квелху задилаться начал...
- А там?
- Где?
- Ну, там? В зоне виагры...
- А там – тисына!

БЕЗ ШАНСОВ

Колючая проволока, установленная по всему периметру огромного здания, подрагивала на ветру и таила в себе триста семьдесят вольт.

Снаружи перемещались конные разъезды казаков с пиками, а внутри были расставлены омовцы со щитами и резиновыми дубинками.

По углам на сторожевых вышках разместились наблюдатели из ОБСЕ, призванные мониторить ситуацию. Над территорией летали беспилотники и проводили видеосъёмку объекта.

При входе в здание стояли три детектора лжи, металлоискатели и дознаватели. А чуть поодаль разместилась большая группа надзирателей со служебными собаками.

Повсюду были развешаны видеокамеры, из каждого угла выглядывали озобоченные оперативники, переговаривающиеся по рации. По коридорам бегали санитары с носилками, на которых сидели психологи, готовые в любой момент прийти на помощь.

Людей по одному запускали в здание, прошупывали швы на одежде, выворачивая карманы и изымая все предметы вплоть до зубочисток. Затем их подвергали испытаниям на детекторе лжи, пропускали через металлоискатели и просвечивали рентгеном.

Наконец, последний из конвоируемых оказался внутри. Им оказался невзрачный прыщеватый юноша в очках. Он испуганно озирался по сторонам и тихо шептал: «Мама... Мама... Защити меня, папа...».

Прозвучала оглушительная сирена. К толстому краснощёкому мужчине в новом чёрном костюме подошел полковник в кроповом берете. Он отдал честь и отрапортовал: – Товарищ начальник! Задание выполнено! Можно приступать!

– Ну, положим, не товарищ начальник, – поправил краснощёкий, – а просто директор! Благодарю за службу!

Затем он осмотрел подавленно молчащую толпу и заявил: «Поздравляю вас с началом ЕГЭ! Как вы уже поняли, дорогие мои, шансов списать ни у кого из вас нет!»

АВТОНОВОСТИ

Объявление

Продам колёсные диски с записями песен Ваенги и Стаса Михайлова.

Происшествие

Вчера машина злоумышленников подрезала «Лексус» популярного стилиста Сергея



Зверева. Трое вымогателей подбежали к авто Сергея и стали требовать от звезды десять тысяч долларов на ремонт якобы поцарапанного им бампера. В этот момент из машины Зверева вышло восемь охранников и битами, а затем и сам Сергей, который провёл для бандитов мастер-класс подрезания: подрезал им чубчики, усы, ногти на ногах, а также топливный и тормозной шланги на их машине...

На ходу

Продаётся новая «Лада-малина», на ходу, нуждается в небольшом ремонте тормозов. Пробег – 6,5 км. Это мой последний пробег за машиной, пока я её не догнал и не остановил...

СМСка

Мужик! Пять дней назад ночью мы угнали твою синюю «Приору». У тебя, мужик, ни одна

дверца изнутри не открывается и стёкла не бьются. Сидим в твоей тачке в трёх километрах от города при минус двадцати пяти. Случайно нашли в бардачке номер твоего мобильного. Мужик, открой нам, ради Христа, за вознаграждение, а то совсем околели...

Чёрный бумер

Срочно недорого продам чёрный бумер 2011 года выпуска, отличное состояние, три года как из Германии, без пробега по России, гаражное хранение. Вы спросите: почему без пробега по России? Упирается, зараза, не хочет выезжать из гаража, российских дорог боится...

Реклама

После посещения клиники по пересадке волос «Реал транс харя» лысая резина на машине юриста Виктора стала респектабельнее...

ПАТРИОТ

– Буду перед вами откровенен: я всегда и при любых обстоятельствах откровенен. А теперь о главном. Меня просто выворачивает наизнанку от одного только слова «взятка». Так выворачивает, что потом жена долго помогает мне вворачиваться назад...

Эрос Павлович на секунду затих, как бы переваривая то, что только что сказал, и продолжил дальше:

– Каждый выявленный случай коррупции, эти ненасытные щупальца расхитителей, эти типы, забывшие, что такое честь и совесть... Они должны приносить пользу стране, а они выносят и вывозят из неё всё, что только можно, и особенно то, что нельзя!

Эрос Павлович величественно повёл головой и смахнул со лба пот.

– Арестовали одного, второго, третьего... Осудили... Хорошо... Но на их местах почему-то оказываются такие же, только ещё более жадные и оборотистые... – продолжил он. – Сколько же их, аморальных типов, утративших чув-

ство меры, забывших про патриотизм, развелось на наших необъятных просторах?! И растут, как грибы, элитные посёлки, скупаются побережья Франции и Испании, строятся гигантские яхты, виллы и туалеты...

Эрос Павлович погрозил куму-то кулаком, покусал в возмущении нижнюю губу и вновь стал гвоздить к позорному столбу взяточников:

– Эх, бросить бы клич и собрать всех нас, честных людей, выслушать бы каждого, создать бы единую платформу по борьбе с этим злом и навалиться бы всем миром на гидру коррупции! – нервно прокричал он. – И я готов уже сейчас стать застрельщиком этой инициативы, этой всеобъемлющей силы, объединить вокруг себя честных россиян, сплотить их ряды и указать верные направления по очищению государства, по полному очищению страны от коррупционной мерзости!

Эрос Павлович аккуратно рванул на себе рубаху и воздел руки к потолку:



– Патриоты страны! ПАСЕ, ЕС, ООН и Африканский национальный конгресс! Все люди мира! Всех, кто меня знает; всех, кто меня видит; всех, кто меня слышит; я призываю: дадим отпор взяточникам, ударим им больно по рукам, вырвем с корнем ростки обмана и лицемерия! Нет коррупции! Долой оффшоры! На должность – с чистой совестью! Это говорю всем я, Эрос Павлович Ванькин!..

– Постой, постой, Эросик! – перебила его жена. – В целом, конечно, убедительно! Много правильных слов. Но ты явно переигрываешь! И не надо лишнего пафоса! Ты ведь не адвокат на процессе, а человек, находящийся под домашним арестом. И это твоё, так сказать, последнее слово. Не надо бить себя в грудь, не надо этих выбрасываний рук – типа ленинским путём! И подработай

последнюю часть – тоже мне, Че Гевара нашёлся!

И ещё: дай-ка я приведу в порядок твой костюм... Как-как? У тебя на пиджаке за три миллиона что написано? «Армани»! Сними и подай мне красные нитки, я исправлю пару букв... Вот, «Армяне», совсем другое дело... И рукав надо чуть надорвать – для большей убедительности. Мол, взятка, в получении которой тебя обвиняют, была подстроена, мол, человек ты среднего достатка, носишь обноски... И вместо туфель из крокодиловой кожи – сланцы... Так, подводим итоги внешности: не брит, не мыт, не причёсан, слезу пускать научился – отлично!

Ну, с Богом, патриот! Шансы в суде при такой взятке на условный срок у тебя малы, но поборись, поборись, дорогой!

РОЗЫ

Мужчина! Да-да, вы! Ну куда же вы... Не проходите мимо походкой моремана, купите розы! Смотрите: листик к листику, бутончик к бутончику!.. Да не батончик, а бутончик! Понюхайте!.. А-а, пахнут-то как!.. Вот-вот, полное преображение! Ясность ума и трезвость мысли!.. Что значит, не хуже рассола?.. Да куда ты пошел?! Занюхал – как закусил?! Вот гад! Сто таких роз тебе в одно место, алкоголик несчастный!..

Девушка! Эти розы такие же милые, как и вы! Нежность, грациозность, изящество! Длинные стебли, напоминающие по стройности ваши ножки! Листочки, напоминающие ваши накладные ногти! Аромат, напоминающий запах вашего дезодоранта от пота... Купите розы, улучшите себе настроение! Взгляните на своё воплощение в цветах! Вы с розами – это же полотно кисти Рафаэля!.. Натё, берите, берите... Я вам кровь пустил?! А как же вы думали: раз розы, значит, шипы... Зачем же так грубо?! Я считывал, что вы – полотно, а вы – картонка, дерюга, кусок мешковины!..

Молодой человек! Роза – земное воплощение преданности! Подарите розы возлюблен-

ной, сделайте её счастливой!.. Девушка, вы его возлюбленная? А вот сейчас мы и проверим, любит ли он вас! Скажите, чтобы он купил вам розы!.. На какое ещё молоко не хватит?.. Получается, что и он вас не любит, и вы лишены эстетизма! Вы – сама Роза?! Имя такое?! Ну что же, придёте домой – выпейте аспирин, с аспирином дольше не увянете... Сама псих!..

Дедушка! Да не иссякнет радость красоты земной! Розы на столе – стимул жизни на земле! Купите букетик роз, полюбуйтесь ими, вдохните их аромат... Не отворачивайтесь, вдохните! Нет, вдохните!.. Я заставлю вас вдохнуть... Вдохнули?.. Теперь выдыхайте!.. Выдыхайте, дедушка, выдыхайте!.. Что с вами, дедушка?.. Кто астматик?! Вы – астматик?! А почему сразу не сказали?! Где ингалятор?.. В каком кармане?.. Держите!.. Пшикайтесь, пшикайтесь на здоровье, дедушка, и гребите к своей бабушке!..

Маш! Ну, ты и даёшь, Маш! На сорок минут опоздала. А я тут со злости чуть с цветами твоими не расстался! Знаешь, сколько желающих было букет купить! Буквально из рук выхватывали. Еле отбился. На, держи! Эти розы – символ моей любви и верности!



ДВЕ ДРОБИНКИ

– Я – маньяк! – с ходу заявил мужчина, едва двери лифта закрылись. И добавил: – Сексуальный!

– Сексуальный – это хорошо, – оживилась я. – Значит, повезло. Сама такая же. Сексапильная и сексуальная. Надя! – и я протянула ему руку.

– Маньяк, – сухо сказал он, но руку мне пожал. – Овладеваю женщинами против их воли.

– Такая же, – улыбнулась я. – Женю на себе мужчин против их воли. А потом издеваюсь над ними по нескольку лет. Четыре покоцанные жертвы сбежали в неизвестном направлении...

– Вот вы какая, – уважительно сказал маньяк. – Кто бы мог подумать...

– Мой тебе совет, коллега: убери из своего лексикона слово «маньяк», а просто представляйся, как сексуальный, – порекомендовала я. – Да за тобой десятки юбок сутками бегать будут. Хвост кометы!

– Тогда они перестанут меня бояться, – почесал лоб маньяк. – А мне от этого кайф. Когда меня бояться. Мне этого будет не хватать.

– Но зато тогда и тебя не будут хватать. А то схватят разок... за это самое – и всё. Одни воспоминания...

– Ладно, мы отвлеклись, – снова засуетилась маньяк. – Я – маньяк...

– Я это уже слышала, – раздраженно сказала я. – Чем докажешь?

Маньяк открыл рот и судорожно глотнул воздух. – Я... это... маньяк...

– Этого мало! – заявила я. – Назвался маньяком – покажи себя в деле. Я жду бурю страстей, всплеск эмоций, марафон удовольствия... Чего замер? Небось, такой же, как мой последний муж – тот даже в сорок минут не укладывается...

– Во сколько?! – мгновенно вспотел маньяк. – Сорок минут?!

– Ну да... Ты хочешь сказать, что сорок минут для тебя много?

– Многовато, – признался маньяк, и его лицо приобрело пунцовый оттенок. – В таких скученных условиях... Боюсь, не справлюсь... Не оправдаю ваших надежд...

– Ну ты разочаровал, – покачала головой я. – Так себя преподнёс, так интригующе начал и так обыденно кончил... Может, ты и не маньяк вовсе? Чужую славу на себя примеряешь...

– Нет, маньяк! – ударил себя в грудь маньяк. – Обо мне два раза в газетах писали. Мол, бойтесь, женщины, орудует маньяк... Честное слово, писали!

– Не верю! – перебила его я. – Мы уже девятнадцать этажей проехали, а мне ни одного доказательства предъявлено не было. Блефуешь! А вот я тебя сейчас сама изнасилую. – И для убедительности пропела: – Маньячок, маньячок – две дробинки и крючок!

– Женщина, замолчите! – взмолился маньяк. – Зачем же унижать... Меня Мишей зовут... А можно мне домой?

– Миша, – улыбнулась я. – Давно бы так... Слушай, Мишуля, я на двадцать пятом живу. Муж на соревнованиях, дома никого. Только ты да я! Приглашаю на оргию маньяков!

– На что?! – спросил маньяк и облизнул сухие губы.

– На оргию, – повторила я. – Чай, коньяк, мороженое... А там посмотрим... Например, кино про немецкого сантехника...

– А дома точно никого? – немного расслабилась маньяк. – Мороженое – это хорошо...

– Да что я – дура маньяков домой при живом муже водить?! – заявила я. – Он у меня дзюдоист. Узнает – мигом с татами сравнивает. Давай, Миша, выходи, приехали...

Мы вышли из лифта. Маньяк мелко подрагивал и жался к стене. Я открыла дверь квартиры и жестом пригласила Мишу войти. Миша вошел...

Навстречу нам, закрыв своими плечами весь дверной проём, вышел мой муж. Рядом с ним занял выжидательную позицию мой рослый доберман. Муж кашлянул и сказал голосом, от которого даже мне, хорошо знавшей его, стало как-то не по себе:

– А это что ещё за замухрышка?

– Миша, – буднично представила я гостя. – Местный маньяк-самоучка. Говорит, что сексуальный. Ты пока с ним, Вася, пообщайся. Рекса можно подключить. Угости его как следует... мороженым, а я за молоком сбегаю – забыла купить...

Я улыбалась, стоя в опускающемся лифте, а где-то высоко-высоко продолжали слышаться отрывочные, леденящие душу, глухие крики – это мой Вася и мой доберман поближе познакомились с Мишей. И, видимо, кормили его мороженым...



Геннадий ПАСТУХОВ

Из цикла «Записки гоя»

«СЛАВА КПСС»

За все, что есть в моей судьбе,
Спасибо, партия, тебе!

граф Эти

Нет! Что ни говори, а тридцать лет партийного стажа дают о себе знать, даже если ты полностью разочаровался в результатах деятельности КПСС.

Взять, к примеру, Виктора Петровича Харитоновна.

Прошло уже достаточно много времени с тех пор, как он добровольно вышел из партии?. А покинул ее ряды он только после истории с ОМОНОм у вильнюсской телебашни. Он немного подождал, думая, что последует осуждающая реакция высшего партийного руководства, но генсек промолчал, ЦК КПСС промолчал. И только тут Виктор Петрович понял, что эта акция была организована с ведома, если не по указанию, компартийных лидеров. Эта догадка очень его расстроила, и он в знак протеста написал заявление о выходе. Партия к этому времени по его запоздалому выводу перестала быть «умом, честью и совестью нашей эпохи»*.

А теперь Виктор Петрович работает в другой общественно-политической системе, в другой стране, совсем неплохо чувствуя себя в производственной сфере, если не принимать во внимание, что чего-то ему все же не хватает. Это «чего-то» было еле ощутимой малостью непонятной консистенции, но явно не материальной. Но все-таки наступил момент истины. В конце концов, озарение посетило его. Он понял, что ему не хватало ремня, имеется в виду, приводного, в соответствии с бытовавшим в то дальнейшее время лозунгом «Профсоюзы – приводной ремень

к коммунизму», а так же «мобилизующей и организующей силы», говоря простыми словами – коммунистической партии.

Трудовой коллектив предприятия выполнил производственное задание с опережением на месяц. В прошлой жизни Виктора Петровича такого не было вообще. Там все планы выполнялись на сто один процент, так чтобы не выше погрешности планирования. Не дай бог значительно перевыполнить плановое задание – план повысят, а денег не добавят, и будешь упираться за те же самые деньги.

А здесь грандиозное событие никак не было отмечено. «На месте директора, то есть хозяина, надо было бы собрать хотя бы общее собрание трудового коллектива, на котором отметить передовые подвиги», – думал он. Но хозяин молчал, наверное, выгоду подсчитывал в это время, а парткома на предприятии нет. И разыгралось воображение Виктора Петровича – необходимо провести партийное собрание.

Нет ничего проще, чем провести партийное собрание. Виктор Петрович в свое время, будучи секретарем партбюро, делал это ежемесячно. Для проведения партсобрания необходимо лишь наличие партийной организации.

Именно этого и не было, что обескуражило Виктора Петровича вначале, но потом он вспомнил давнишний анекдот, вернее часть его, которая звучала так: «Один русский – пьяница, два русских – драка, три русских – первичная партийная организация». «Это как раз к месту сказано, – подумал Виктор Пе-

* Из статьи В.И. Ленина «Политический шантаж», а также строчки из партбилета члена КПСС.



трович. – Необходимо в нашем коллективе найти трех русских». Он стал перебирать в уме всех, кто был в его окружении. Нет, трёх русских он не обнаружил. Но ведь среди окружающих его евреев, несомненно, есть бывшие коммунисты. Взять хотя бы Матвея Перельмана. Бывший главный механик бакинских нефтяных приисков, два ордена Ленина за трудовые достижения... Чтобы занимать такую должность и получать ордена Ленина беспартийному?.. Ни за что! Да и отец его был секретарём райкома партии, но в 1937 году его репрессировали. Не вернулся его отец из тех мест, но Матвей Перельман и в Израиле симпатизировал КПСС. Или хотя бы взять Лёву Полякова! Он же сам говорил, что являлся секретарём парткома ленинградского НИИ котельного машиностроения. Да, наверняка, есть ещё ряд товарищей, которые приложили свои руки к строительству коммунизма в отдельно взятой стране. Иосиф Кацман! Начальник строительного треста! Он, что? Был беспартийный? Саша Ходорковский был начальником транспортного отдела на громадном заводе. У него только шоферов в подчинении было 400 человек. Мог он быть беспартийным? Хотя, тут большой вопрос, он ещё узником совести был, т.е. сидел срок за свои убеждения. Но три человека уже есть. С другой стороны, они же не русские, они – евреи. А что говорит по этому поводу тот же самый анекдот? «Один еврей – торговая точка, два еврея – международный шахматный турнир, три еврея – большой джазовый оркестр». Нет, партийной организацией даже не пахло. Кстати, почему на последних выборах в Кнессет нет представителей компартии. Где КПИ, где? У них же, вроде, даже был генеральный секретарь. Как его? Ну да, товарищ Вильнер! Память услужливо подсказала, откуда он знает эту фамилию – этот товарищ был в качестве гостя, приглашенного на XXII съезд КПСС – съезд строителей коммунизма. Виктор Петрович спросил у окружающих его еврейских товарищей, а где сейчас товарищ Вильнер и коммунистическая партия Израиля? Нет её. Израиль вылезился от «детской болезни ле-

визны». Виктор Петрович понял, что с этой стороны помощи искать бесполезно и, вроде бы, успокоился.

Но в один из рабочих дней ни с того ни с сего, не прерывая процесса выполнения производственного задания, в окружении трудящихся рядом с ним евреев и арабов, он заговорил ленинским голосом, включая его интонации и неполноценное «р». «Мы будем годы и десятилетия работать над внедрением субботников в повседневную жизнь. Мы придём к победе коммунистического труда»*. Присутствующие, которые поняли, улыбались: «Ну и даёт сегодня Петрович. Он что? Не понимает, что в Израиле суббота в соответствии с Библией нерабочий день?».

Он всё понимал, и сам удивлялся неуместности ленинских слов в этой стране, но ничего не мог поделать с собой.

Пару недель спустя во время работы он увидел на верстаке маску сварщика, на которой было написано «СЛАВА». Она его заинтересовала, и он такой же краской и таким же шрифтом под этим словом добавил «КПСС». Последствия были минимальные. Слава, который подписал маску своим именем, чтобы её у него никто не позаимствовал, больше ей не пользовался. Он был родом из Молдавии и мечтал о присоединении своей страны к Румынии. И только главный инженер, проходя мимо Виктора, спросил встревожено: «Виктор, что это такое?». И встретив непонимающий взгляд Виктора Петровича, махнул рукой. Он понял, что это совершенно несерьёзно.

Но как-то в середине апреля, во время обнаружения Лениным «Апрельских тезисов»**, Виктору Петровичу приснился Владимир Ильич и Надежда Константиновна. Он слышал совершенно отчетливо, как Ленин говорил Крупской: «Наденька, не надо драматизировать события! Революция

*Ленин В.И. Оригинал звучит так: «Мы будем годы и десятилетия работать над применением субботников, их развитием, распространением, улучшением, внедрением в нравы. Мы придём к победе коммунистического труда».

** Это не цитата.



еще впереди. Ради благополучия трудящихся всего мира мы, несомненно, пожертвуем не только Вашим личным благополучием, но и благополучием трудящихся России».*

«Вот где она – истина», – подумал Виктор Петрович... и успокоился.

20.04.16

Подражание Д. Хармсу

Шалапин Фёдор Иванович как-то приехал в Одессу на гастроли. Но дверь в одесский русский драматический театр оказалась закрытой. Недолго думая, он вышел на параллельную улицу и стал петь. Мимо шли люди и говорили: «Вот дерёт горло мужик». А пел он, как обычно, басом. С тех пор улица и стала называться – Дерибасовская.

22.04.16

Подражание К. Пруткову

Жевательную резинку, из которой при жевании делают пузыри, смело назову презервативом, а презерватив смело назову желательной резинкой.

Как корабль назовёшь, так он и поплывёт

Очень меня удручает ситуация с партией «Яблоко». Уж какой год не попадает в Думу. И чем дальше, тем хуже. Почему партия ли-

берального толка не популярна в народе? Мне кажется, что всё дело в названии. Ведь если партия либеральная, да к тому же демократическая, и название её состоит из первых букв фамилий основателей Явлинского, Болдырева и Лукина, то либералы и демократы должны были бы поставить буквы в порядке алфавита. А вы попробуйте, это ж полный конфуз.

☉ Оправдание однополой любви

У великого Пикассо, однако, тоже был глубокой период

☉ Осторожней с названиями

Украинские парламентарии затеяли глупое дело с сокращением названий городов. Особенно с городом, жители которого давно страдают бессонницей. Ещё в шестидесятых годах прошлого столетия это уже было ясно.

В то время я учился в Москве. Подхожу я в продуктовом магазине к прилавку, а там уже стоит человек. Встал я за ним, вроде как в очередь. А он мне говорит: «Хорошо у вас, идёшь по улице и читаешь названия магазинов Мосмясо, Мосмолоко, Мосхлеб, Мосторг. Заходишь, а там всё есть».

Да и у меня в Смоленске тот же принцип: Смолмясо, Смолмолоко, Смолхлеб ... Только не всегда всё есть.

А ты слышишь, как звучит: мол, мясо; мол, молоко; мол, хлеб. А я из Одессы, так у нас звучит вопрос: «А де мясо?, а де молоко,? а де хлеб?» Это ещё терпимо. А как этот принцип звучит в Херсоне?!!

* Это не цитата.



Агафонов Андрей Николаевич – прозаик. Родился в 1972 году в Смоленске. Окончил в 1995 г. Смоленскую государственную медицинскую Академию. Работает врачом-терапевтом в одной из смоленских поликлиник. Автор книг (жанр – фантастика): «Повести Куницына» (Смоленск, 2008) и «Последний поход» (Смоленск, 2010). Член Союза российских писателей. Живёт в г. Смоленске.

Будаченкова Ирина Ивановна – член Союза журналистов России. Окончила Смоленский педагогический институт, работает в редакции газеты «Глинковский вестник». Подборки стихов, рассказы, материалы по литературному краеведению и статьи печатались в журналах «Читаем. Учимся. Играем», «Библиополе», «Библиотека», «Смоленск», газетах «Литературная газета», «Смена», «Вдохновение», «Рабочий путь», «Смоленская газета» и других. Стихи вошли в состав сборников «Вечный огонь», «Память сердца», «Ожидание чуда», «Годовые кольца». Является составителем сборников «Имя тихое Глинка», «Наш славный земляк Александр Шаховской». Живёт в п. Глинка Смоленской области.

Бурштын (Иринин) Борис Сергеевич (1893 – 1964) – поэт-переводчик, литературный и театральный критик. Родился в деревне Заплюсье бывшего Лужского уезда Петербургской губернии. В 1918 г., недосдав последние экзамены в Московском университете, добровольцем пошёл в Красную Армию. Служба на Западном фронте привела его в Смоленск, где он и остался после демобилизации и жил до 1938 г. Печатался в областных газетах «Рабочий путь» и «Красноармейская правда», выступал по радио, активно участвовал в жизни литературных организаций г. Смоленска.

Воропаев Олег Владимирович – поэт, прозаик. Родился в 1963 году в г. Заполярном Мурманской области. Окончил сельскохозяйственный факультет Петрозаводского государственного университета. Работал зоотехником в хозяйствах Мурманской области и Карелии, преподавал биологию в школе. С 1994 года офицер МВД. Ветеран боевых действий в Чеченской республике. Подполковник милиции в отставке. Публиковался в центральных и региональных периодических изданиях. Автор нескольких книг стихов и прозы. Член Союза писателей России. Живет на Ставрополье.

Жбанков Сергей Петрович – писатель-сатирик, эстрадный драматург, детский писатель. Родился в 1955 году в дер. Тарасово Демянского района Новгородской области. Окончил Смоленский медицинский институт. Публиковался в большом количестве центральных газет и журналов, коллективных сборниках, альманахах, изданиях Болгарии, Израиля, Канады. Автор трех книг сатиры и юмора. Лауреат и дипломант нескольких конкурсов и фестивалей сатиры и юмора. Главный редактор журнала Содружества юмористов России и СНГ «ВЕСЕЛУХА», главный редактор детского журнала «ФАНТАЗЕРЫ». Автор более 30 сценариев телевизионного сатирического журнала «ФИТИЛЬ», автор театра Е. Петросяна и ряда современных эстрадных исполнителей. Лауреат премии «Золотой телёнок» клуба «Двенадцать стульев» «Литературной газеты». Член Союза российских писателей. Живет в г. Смоленске.

Ермаков Олег Николаевич – прозаик. Родился в 1961 году в Смоленске. Воевал в Афганистане, работал журналистом. Автор книг: «Знак зверя» (Смоленск, 1994), «Запах пыли» (Екатеринбург, 2000), «Свирель вселенной» (СПб., 2001), «Знак зверя» (М., 2006), «Возвращение в Кандагар» (М., 2006). Публиковался в журналах «Октябрь», «Знамя», «Новый мир», в «Литературной газете», «Литературной России». Участник коллективных сборников: «Недолгое пребывание в камере пыток» (М., 1991) и др. Произведения О. Ермакова переведены на английский, французский, шведский, китайский, итальянский языки. Лауреат премии журналов «Знамя» и «Новый мир». Награжден медалью «100 лет со дня рождения А.Т. Твардовского». Член Союза российских писателей. Живёт в г. Смоленске.

Криволапов Андрей Игоревич – переводчик, редактор, телеведущий. Родился в 1958 году в заполярном поселке Тикси. Окончил МЭИ и заочно факультет иностранных языков СПбГУ. Служил в летном составе ВВС, имеет воинское звание гвардии майора. После выхода в запас активно занялся художественным переводом. В сотрудничестве с крупнейшими книгоиздательствами России сделал достоянием русского читателя романы: «ВАЛИС» Ф. Дика, «Под крышами Парижа» Г. Миллера, рассказы и повести Ф.С. Фицджеральда, К. Воннегута, П. Ди Филиппо, С. Ликока, Ф. Дика, «Сравнительную



биографию Наполеона и Гитлера» Д. Сьюарда, автобиографию М. фон Рихтгофена «Красный барон» и другие, всего – более пятидесяти произведений разных жанров. Составитель таких научно-фантастических серий как «Сокровищница боевой фантастики», «Иные миры», «Тирания». Переводы на английский язык издавались в США. Автор и ведущий программы «Сигнальный экземпляр» на «РЕН-ТВ – Смоленск». Член Союза писателей России, Международного литературного фонда, Совета по научно-фантастической и приключенческой литературе при СП РФ. Живет в г. Смоленске.

Крюкова Елена Николаевна – поэт, прозаик. Родилась в Самаре. Профессиональный музыкант (фортепиано, орган). Окончила Московскую консерваторию (1980), Литературный институт им. Горького (1989), семинар А. В. Жигулина (поэзия). Публиковалась в журналах: «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Нева», «День и Ночь», «Сибирские огни», «Бельские просторы», «Зинзивер», «Слово», «Дети Ра», «Волга», «Юность» и др. Лауреат премии им. Цветаевой (книга «Зимний собор», 2010), Кубка мира по русской поэзии (Рига, Латвия, 2012), премии журнала «Нева» (Санкт-Петербург, 2013) за лучший роман 2012 года («Врата смерти, № 9, 2012), премии Za-Za Verlag (Дюссельдорф, Германия, 2012). Лауреат региональной премии им. А.М. Горького (роман «Серафим», 2014). Лауреат Пятого Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» («Серебряный Витязь» за роман «Старые фотографии», 2014). Лауреат Международной литературной премии им. И.А. Гончарова (роман «Беллона», 2015). Дипломант литературной премии им. И.А. Бунина (книга рассказов «Поклонение Луне», роман «Беллона», 2015). О Елене Крюковой пишут литературные критики России: Игорь Золотусский, Лев Аннинский, Наталья Игрунова, Павел Уляшов, Валерия Пустовая, Мария Скрягина, Елена Сафронова, Роман Багдасаров; русские поэты и писатели – Евгений Евтушенко, Захар Прилепин, Олег Ермаков, Владимир Корнилов, Владимир Леонович, Анатолий Жигулин, Петр Епифанов. Член Союза писателей России с 1991 г. Живёт в г. Нижнем Новгороде.

Кузин Михаил Владимирович – поэт, прозаик. Родился в 1963 году в городе Омске. Окончил филологический факультет Омского государственного педагогического института

им. А.М. Горького. Ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», медалью «За отвагу», медалью «За отличие в охране общественного порядка» и др. Десять лет являлся бессменным автором и ведущим телевизионной программы «Территория Закона» на ГТРК «Иртыш». Участник первого Всероссийского совещания молодых писателей в городе Ярославле (1996 г.). Лауреат третьего областного праздника прессы в номинации «Закон и правопорядок» (1997 г.), лауреат творческого конкурса имени генерала И. Алексеева (2011 г.). Произведения публиковались в коллективных сборниках и альманахах: «Очарованный странник» (Ярославль), «Путник» (Украина), «Паровоз» (Москва), «Под часами» (Смоленск), «Сто лет дорогами войны» (Санкт-Петербург), «Традициям верны», «Складчина», «Тарские ворота», «Иртыш-Омь», «Точка зрения», «Омск театральный», «Годовые кольца» и др. Автор поэтических сборников: «Вспомни хорошее» (Омск, 1992 г.), «Сложная пьеса в четыре руки» (2011 г.), «Город синих рассветов» (2013 г.); повестей: «Я сюда еще вернусь» («2011 г.), «Парадокс Алголя» (2014 г.). Член Союза российских писателей и Союза журналистов России. Живёт в г. Омске.

Курт Воннегут (11 ноября 1922 г. – 11 апреля 2007 г.) – один из известнейших американских прозаиков XX века.

Родился в Индианаполисе, штат Индиана, в семье преуспевающего архитектора. Первый литературный опыт Воннегут получил в школе, где два года был редактором ежедневной школьной газеты. В 1940 году Воннегут поступил на химический факультет Корнельского университета и одновременно стал сотрудничать в газете «Cornell Daily Sun». Учился он весьма средне, и в 1943 году его, наверняка, бы отчислили за неуспеваемость, если бы он не записался в армию. В декабре 1944 года Воннегут попал в плен к нацистам и был отправлен в дрезденскую тюрьму. Вместе с товарищами по несчастью пережил бомбардировку Дрездена союзной авиацией в феврале 1945 года – их спасло то, что они спрятались в подвалах бойни. Это событие легло в основу его знаменитого романа «Бойня номер пять»

В мае 1945 года Воннегут вернулся в Америку, проучился два года в университете Чикаго, одновременно работая полицейским репорте-



ром, затем переехал в Скенектади и устроился на работу в компанию «Дженерал Электрик». Именно там началась его писательская карьера: в феврале 1950 года журнал «Колльерс» опубликовал рассказ «Доклад об эффекте Барнхауза». На следующий год Воннегут уволился из «Дженерал Электрик» и вместе с семьей переселился в Массачусетс. До 1959 года, когда был опубликован роман «Сирены Титана», Воннегут успел напечатать десятки рассказов, поработать учителем в школе для умственно отсталых детей, торговым представителем концерна «Сааб» и т. д. Затем были опубликованы еще четыре романа, а завершилось это бурное десятилетие выпуском в 1969 году лучшего романа Воннегута – «Бойня номер пять». В семидесятых–восьмидесятых годах Воннегут продолжает активно писать и публиковаться: выходят романы – «Завтрак для чемпионов» (1973), «Рецидивист» (1979), «Малый не промах» (1982), «Галапагосы» (1985), «Мать-Тьма» (1986), «Синяя борода» (1987), «Фокус-покус» (1990). В 1997 году он публикует роман «Времетрасение», который становится одним из заметнейших событий в американской литературе последнего десятилетия XX века. Писатель скончался 11 апреля 2007 года в Нью-Йорке. Представленные рассказы ранее на русский язык не переводились.

Куимов Олег Владимирович – прозаик. Родился в семье военнослужащего в г. Кировскан (ныне – Ванадзор) Арм. ССР. 13.11.67. Окончил среднюю школу в г. Юрга Кемеровской обл. Учился в томском университете на геолого-географическом факультете. Ныне проживает в д. Мильково Ленинского района Московской области. Работал отделочником, разнорабочим, экспедитором, прорабом, менеджером, имеет небольшой опыт редакторской работы в журнале «Неопалимая купина», занимался коммерцией. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Постоянный автор журналов «Луч» и «Рюкзачок с сюрпризом». Публиковался также в журналах: «Наш современник», «Лампа и дымоход», «Север», «Южное сияние», «Южная звезда», «Отчий край», «Вокзал» – и в газетах России, Беларуси и Армении. Лауреат различных литературных конкурсов. Живёт в д. Мильково Ленинского района Московской области.

Литвинов Александр Васильевич – прозаик, публицист, врач-терапевт, доктор медицин-

ских наук, профессор. Родился в 1949 году в с. Киваи Клинцовского района Брянской области. Автор книг: «Лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины» (в соавт. с Б. Ариэлем. – Смоленск, 2001), «Нобелевская плеяда медицинской науки» (в соавт. с И. Литвиновой. – Смоленск, 2008; М., 2010), «Медицина в художественном пространстве» (в соавт. с И. Литвиновой. – Смоленск, 2010; М., 2012, 2013), «Вселенная сердца глазами врача» (в соавт. с И. Литвиновой. – М., 2015), «Смоленский губернатор-реформатор Н.П. Бороздна» (Смоленск, 2014). Рассказы, эссе и прозаические миниатюры публиковались в альманахе «Под часами», региональных периодических изданиях. Живёт в г. Смоленске.

Лукин Борис Иванович – поэт, критик, переводчик. Родился в 1964 г. в г. Нижнем Новгороде (г. Горький). Отучившись в МВТУ им. Баумана и Литературном институте им. А.М. Горького, в бурные девяностые растил детей, работал сторожем, преподавателем русского и литературы, продавцом, фирмачом, журналистом в московских многотиражах. В новом веке редакторствовал в газете «Российский писатель» и в отделе литературы «Литературной газеты». Его произведения постоянно публикуются в российских и зарубежных периодических изданиях. Стихи из книг «Понятие о прямом пути» (1995), «Междуречье» (2007), «Долгота времени» (2008) переведены на многие языки мира. Автор-составитель пятитомной Антологии современной литературы России «Наше время» (М., Издательство Литературного института им. А.М. Горького, 2009–2013 гг.), более знаком читателям своими эпическими произведениями, характерными для книги гражданской лирики «Поединок» (М., «Советский писатель», 2010). В 2012 году в издательстве журнала «Юность» увидела свет книга любовной лирики «LeLь», получившая положительные отзывы критиков. Редактор-составитель десяти томника Антология русской поэзии о Великой Отечественной войне «Война и Мир». Член Союза писателей России. Лауреат Большой литературной премии России и др. Живёт в селе Архангельском Рузского района Московской области.

Лукин Иван Борисович родился в 1998 году в Москве. Пишет стихи и прозу. Публиковался в литературных альманахах и журналах Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Тулы. Неодно-



кратный гость писательских чтений в Ясной Поляне. Стипендиат губернатора Московской области за выдающиеся успехи в учебе и спорте. Живет в с. Архангельское Рузского района Московской области. Учитя в Литературном институте им. А.М. Горького.

Макаренков Александр Олегович – прозаик, поэт, бард, художник, журналист. Родился в 1962 году в г. Сафонове Смоленской области. Окончил художественно-графический факультет Смоленского педагогического института. Автор книг: «Монологи межсезонья» (сборник стихотворений, рассказов, рисунков, живописи, 1993 г.), «Лабиринт “М”» (стихотворения, рисунки и песни, 1996 г.), «Когда умирает снег» (рассказы, повесть, 1997 г.), «Двенадцать писем к Еве» (стихотворения, рисунки, 2000 г.), «Утренний свет» (рассказы, 2002 г.), «Путешествие» (стихотворения, рисунки, 2003 г.), «Праздничная женщина» (стихотворения, рисунки, 2007 г.), «Дюжина» (рассказы, 2009 г.), «Накануне Рождества» (стихотворения, рисунки, 2011 г.), «Путешествие с пером и кистью» (альбом живописи, графики, иллюстраций, 2012 г.), «Срезы времени» (интервью, новеллы, эссе, 2014 г.). Книга «Срезы времени» удостоена Диплома на Германском международном литературном конкурсе «Лучшая книга года» («Buch des Jahres», 2015 г.). Живёт в г. Раменское Московской области.

Монахов Владимир Васильевич – поэт, прозаик, журналист. Родился в 1955 г. Автор более десяти сборников стихов и прозы. Активно публикуется в журналах и альманахах. Его тексты вошли в антологии «Русский верлибр», «Сквозь тишину. Антология русских хайку, сенрю и трехстиший», «Приют неизвестных поэтов. Дикоросы», «Антология ПО под редакцией К. Кедрова», «Нестолличная литература», «45 параллель», «Бег времени. Иркутск», «Жанры и строфы современной русской поэзии» под редакцией Е. Степанова, «Лучшие стихи 2011 года». Финалист первого Всероссийского конкурса хайку. В 1999 году награжден Пушкинской медалью Международного Пушкинского общества (Нью-Йорк). За серию лирико-философских эссе, опубликованных в журнале «ЮНОСТЬ». В 2005 году назван лауреатом литературной премии имени Владимира Максимова. В 2009 году за «Русскую сказку» вручена национальная премия «Серебряное перо». Лауреат Международного

поэтического конкурса «Лёт лебединый» имени Петра Вегина (2014). Занял второе место в номинации «Бэла» за лучшую новеллу о любви в международном Лермонтовском конкурсе (2014). Входит в литературную группу ДООС (Добровольное общество охраны стрекоз) под псевдонимом Братскозавр. Член редколлегии альманаха «45 параллель» (Ставрополь). Живёт в г. Братске Иркутской области.

Морозов Александр Родился в 1969 г. в городе Дебальцево Донецкой области. Член правления ВТС «Конгресс литераторов Украины», член Межрегионального союза писателей Украины и Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь». Лауреат литературных премий: «Бориса Гринченко», «Владимира Сосюры», «Свой вариант», «Серебряный стрелец» – ряда международных и республиканских фестивалей и конкурсов в номинации «Поэзия». Организатор Всеукраинского песенно-поэтического турнира «Рыцари слова», основатель литературной серии «Творческие силы Украины +». Автор слов гимна г. Дебальцево. За вклад в развитие русской литературы в 2010 г. награжден медалью Шолохова. Публиковался в газетах, журналах, альманахах и в коллективных сборниках. Увлекается краеведением. Изданы книги «Дебальцево. Взгляд сквозь годы» (В двух томах). В августе 2015 г. в Издательском доме Олега Федорова вышла книга публицистики «Дебальцево. На линии огня». В сентябре 2015 г. с группой писателей Донбасса был приглашен в Москву для участия в презентации книги «Строки мужества и боли», а в октябре того же года участвовал во Всероссийском совещании писателей, пишущих на военные темы. Живёт в Беларуси.

Овчинников Сергей Михайлович – прозаик. Родился в 1963 г. в г. Щёкино Тульской области. Окончил Рязанский медицинский институт. Работал врачом под Владимиром, в Тольятти, в настоящее время – врач-венеролог в г. Туле. Автор книг: «Разговоры с собой» (Тула, 1995), «О любви» (Тула, 1998), «Танюша» (М., «Книжный сад», 2001), «Жаворонок» (Тула, 2004), «Разговор с собой» (избранное, Тула, 2008). Печатался в журналах: «Время и мы», «Родина», «Наша улица», «Роман-журнал XXI», альманахах «Тула» и «Пенаты». Участник Антологии «Наше время». Редактор литературно-художественного альманаха «Тула». Лауреат премии им. Л.Н. Толстого за



лучшую тульскую прозу 2011 г., лауреат премии «Золотое перо Тулы» (2011). Член Союза российских писателей. Живёт в г. Туле.

Осепян Левон Оганесович – прозаик, поэт, переводчик, издатель, фотохудожник (многие фотоработы использованы в книжных изданиях для оформления обложек и в качестве иллюстраций, автор большого проекта «Деятели культуры в портретах Левона Осепяна»). Родился в 1952 г. в г. Ереване. Публиковался в коллективных сборниках и альманахах, в журналах: «Меценат и Мир», «Армянский перулок», «Арагаст», «Литературная учеба», «Литературная Армения» и др. Автор книг: «Посещение Земли», «Пьесы», «Крик», «Телефонный звонок», «Моя Голгофа», «Как я однажды чуть не затопил Венецию» (Москва, Гуманитарий, 2014). Его переводы с армянского произведений известных армянских прозаиков публиковались в журналах: «Студенческий меридиан» и «Меценат и Мир». Произведения Левона Осепяна переводились на армянский, польский, словацкий, чешский, таджикский, румынский, немецкий, итальянский, французский и английский языки. Главный редактор альманахов «Меценат и Мир» и «Арагаст» («Парус»). Член Союза российских писателей. Оргсекретарь Правления Союза российских писателей. Живет в г. Рязани и в Подмоскowie.

Пастухов Геннадий Васильевич – поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1940 г. в г. Дружковка Донецкой области. Публиковался в армейской печати, смоленских газетах, коллективных сборниках и журналах. Автор сборников: «Судьбы песочные часы» (Стихи. – Смоленск, 1997), в 1999 г. вышел сборник рассказов «Записки голя» (Рассказы. – Смоленск, 1999). В 2001–2002 гг. издал две детские книжки – «Рукодельница» и «Белый гриб». «Поэзы и прозы» (Смоленск, 2008), «Войной не обнаружен» (Проза. – Смоленск, 2009). В 2014 году в Могилёвском литературном альманахе «Брама» была напечатана подборка его рассказов в переводе на белорусский язык. В 2015 году была издана книга белорусского поэта С.С. Украинки «Белый аист, черное перо» в его переводе на русский язык. Генеральный директор книжного издательства «Радопа». Член Союза российских писателей. Живет в г. Смоленске.

Пастухова Зинаида Исаковна – доцент Смоленского гуманитарного университета, кан-

дидат культурологии. Родилась в Белоруссии, в г. Мозыре. Окончила Искусствоведческое отделение МГУ и аспирантуру в НИИ искусствознания (г. Москва). Работала в Смоленском областном управлении архитектуры и Смоленском областном управлении культуры. Автор книг: «По Смоленщине» (Москва, 1985), «Шедевры русского зодчества» (Смоленск, 2000), «Древнерусские города» (Смоленск, 2004), «Градостроительство на Смоленщине в 18–19 веках» (Смоленск, 2004), «Скульптурные символы Отечественной войны 1812 года на Смоленщине» (Смоленск, 2006), «Скульптурные памятники Смоленщины. Знаменитые земляки» (Смоленск, 2007), «Архитекторы России» (Смоленск, 2008), «Города Смоленщины» (2010), «Смоленщина в мировой культуре» (2011) и более 70 публикаций в научных и литературных сборниках и журналах. Награждена Грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. Живет в г. Смоленске.

Пранов Алексей Николаевич родился в 1961 году. Окончил Рославльский техникум ж/д транспорта и Российский государственный аграрный заочный университет. Охотовед-биолог. Печатался в газетах Рославльского, Ершичского, Шумячского районов. Издал две книги стихов: «Охотничьи трофеи» (2008), «Пора предзимья» (2014). Живет в г. Рославле.

Сдобняков Валерий Викторович родился в 1957 году в Красноярском крае. Получил высшее экономическое образование. Член Союза писателей России и Союза журналистов России. Секретарь Союза писателей России. Председатель Нижегородской областной организации Союза писателей России. Основатель и бессменный главный редактор литературно-художественного журнала «Вертикаль. XXI век». Автор более двадцати книг прозы, публицистики, критики. Лауреат литературных премий Нижегородской области им. М. Горького (2004, 2012), города Нижнего Новгорода (2004, 2007), всероссийских премий «Хрустальная роза Виктора Розова» (2006), «Белуха» им. М. Гребенщикова (2012), Международной премии им. М.А. Шолохова (2008) и ряда других. Митрополитом Волгоградским и Камышинским Германом награждён дипломом «Во внимание к подвижнической деятельности по воссозданию в России христианского образа жизни». В 2011 году Указом



Президента РФ награждён государственной наградой – Медалью Пушкина. Живёт в г. Нижнем Новгороде.

Сергеенков Виталий Александрович – журналист, литератор. Родился в 1955 году в г. Каменск-Уральский Свердловской области. Получил высшее филологическое образование. Работал в различных печатных СМИ Смоленской области: газеты «Рославльская правда», молодежная «Смена», областная «Рабочий путь», региональный выпуск «МК в Смоленске». Неоднократно побеждал в журналистских областных конкурсах. Победитель Всероссийского журналистского конкурса «Вопреки» («Новая газета», Фонд защиты гласности, партия «Яблоко»). Стихи, рассказы, очерки опубликованы в различных периодических изданиях, в журналах: «Смоленская дорога», «Россия молодая».

Член Союза журналистов России. Живет в г. Рославле.

Словохотов Кирилл Павлович – художник. Родился в 1987 г. в г. Рудня Смоленской области. Окончил РСШ №1 в 2004 г., факультет иностранных языков (английский, немецкий) Смоленского Государственного Университета им. А.Т. Твардовского в 2009 г., экономический факультет Смоленского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова в 2012 г. Участник различных выставок, в том числе персональные выставки: в стоматологическом центре «Максима» г. Смоленска (2015 г.), в историческом музее г. Рудня (2016 г.). В Интернете известен под творческим псевдонимом Otto Steinach, является автором сайта www.ottosart.ru и публикует видеоматериалы, посвященные живописи на YouTube. Живёт в г. Рудне.

Альманах

Составитель Владимир Макаренко

ПОД ЧАСАМИ

Книга 2

№ 15

Текст печатается в авторской редакции

Выпускающий редактор *И.А. Флиманкова*

Технический редактор *М.В. Алейник*

Корректор *Г.В. Селицкая*

Альманах «Под часами»
размещён на национальном цифровом ресурсе Rucont.ru
в коллекции региональных цифровых ресурсов
«Смоленский цифровой ресурс» <http://rucont.ru/collection/318>

ООО «Свиток»

Лицензия ЛР № 6193 от 01.11.2001

Комитет по печати Российской Федерации
214025, Смоленск, ул. Нормандия-Неман, 31–216
Тел.: 8-910-787-82-59

Подписано к печати 10.10.2016 г.
Формат 70x108 1/8. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Гарнитура «Franklin».
Печ. л. 50. Тираж 110 экз. Заказ №